АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ

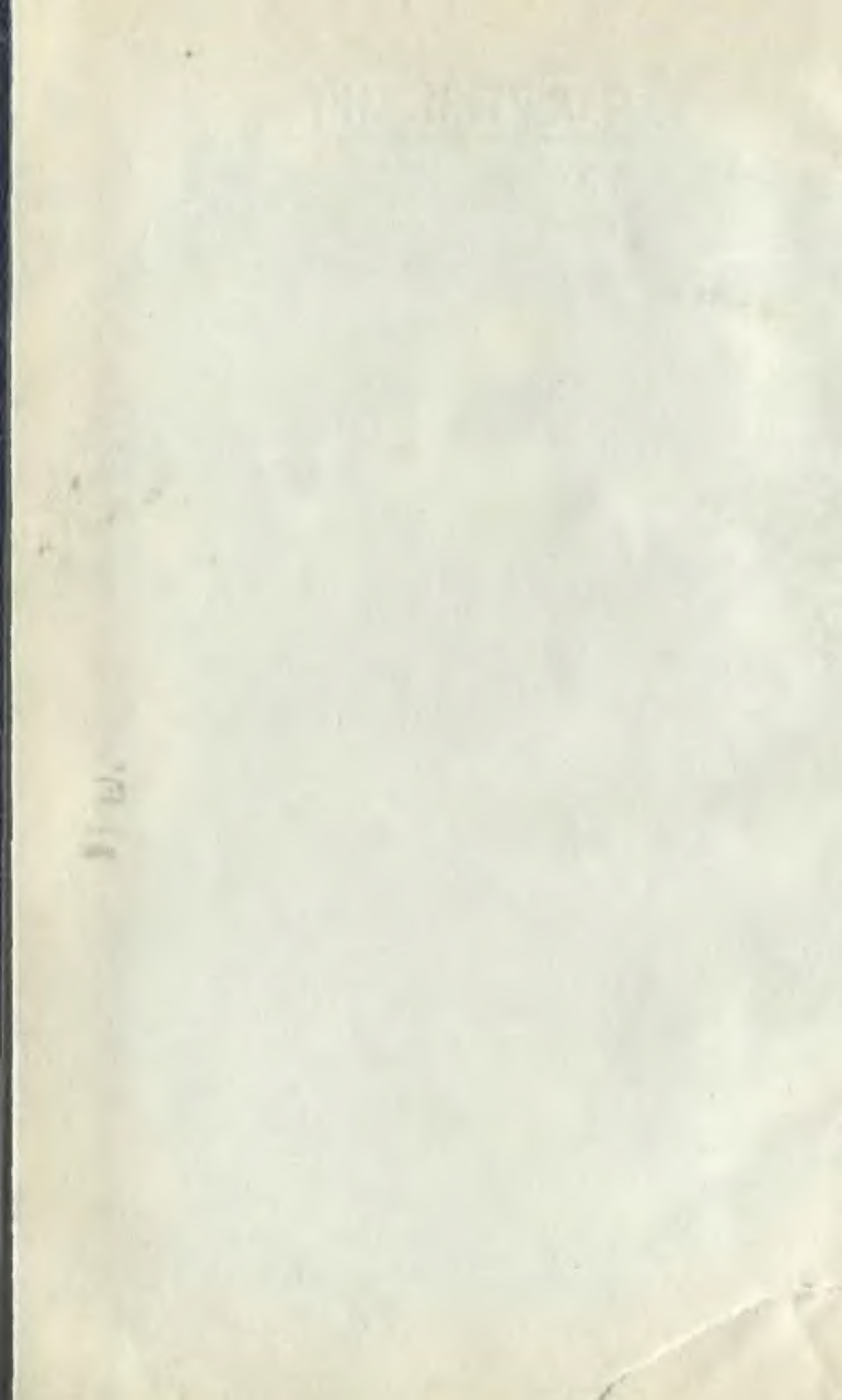
Дорогой длинною...

Дорогой длинною...

„Я знаю некоторого одного резин
мячика, котораго до тѣх
швыряли изъ угла въ угол
пока однажды он не подпр
до неба!" А. Вертинский

А. Вертинский

А. ВЕРТИНСКИЙ



АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ

Дорогой длинною...

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1990

84 Р 7
В 31

Составление и подготовка текста
Ю. Томашевского

Послесловие
К. Рудницкого

Оформление художника
Г. Саукова

В $\frac{4702010200—2244}{080(02)—90}$ 2244—90

ISBN 5—253—00063—1

Дорогой длинною...

Стихи и песни

Рассказы, зарисовки, размышления

Письма

От составителя

В этой книге осуществлена первая попытка собрать наиболее значимое из литературного наследия Александра Николаевича Вертинского (1889—1957)— поэта, композитора и артиста, человека оригинальнейшего таланта и незаурядной судьбы.

Сборники стихов и песен А. Вертинского выходили в Париже (1938, «Песни и стихи»), Вашингтоне (1962, «Песни и стихи»), Стокгольме (1980, «Из песен А. Вертинского»), Сен-Франциско (1986, «Песни и стихи»), Нью-Йорке (1982, «Записки русского Пьеро») и других «чужих городах», однако в нашей стране, несмотря на то, что А. Вертинский еще в 1943 году вернулся на родину, был предан ей и ею любим, все попытки с изданием сборника его произведений оказывались тщетными. Появлялись отдельные публикации. Так, в 1962 году в журнале «Москва» (№№ 3—6) были напечатаны отрывки из воспоминаний А. Вертинского о годах эмиграции, прошли несколько стихотворных подборок, включенных в те или иные тематические сборники («Стихи о музыке». М., 1986; «Русский романс». М., 1987), в периодических изданиях изредка печатались отдельные стихи и новеллы. Но, конечно же, подобные, можно сказать, случайные «напоминания», что был-де такой у нас поэт и певец, никоим образом не могли удовлетворить спрос на знания людей о том, кто же все-таки А. Вертинский и чем он славен.

Первый и наиболее обширный по объему раздел настоящего издания — мемуары. По признанию самого А. Вертинского, он не любил этот жанр. Начальные главы (в книге они— заключительные) писались не столько по душевной потребности, сколько по нужде, по заказу, сделанному еще в эмиграции шанхайской газетой «Новая жизнь». Работа над ними велась с июня 1942 по июнь 1943 года с таким расчетом, чтобы каждый очередной «подвал» появлялся

в газете раз в неделю. Эти главы, этот «эмигрантский цикл» в отличие от урезанной публикации в журнале «Москва» печатается полностью. При подготовке текста внесены незначительные изменения стилистического характера, в соответствии с современным правописанием приведены в порядок орфография и пунктуация (надо учесть, что зачастую А.Вертинскому приходилось писать те или иные страницы наспех, чтобы представить их в газету к определенному времени).

Главы воспоминаний, в которых А.Вертинский рассказывает о своем детстве, юности и первых шагах в искусстве, были написаны уже после возвращения на родину, причем не в первые годы, а незадолго до смерти. Видимо, чувствуя, что времени у него мало, он спешил, писал урывками, чаще всего в поездках, разъезжая с концертами по стране. Здесь тоже пришлось произвести некоторую работу над текстом, как указанную выше, так и иную, уточняющую отдельные скорописью изложенные эпизоды, обороты и выражения. Однако во всех случаях соблюдалось бережное отношение к слову и духу авторского письма.

К сожалению, А.Вертинский не успел написать о годах, прожитых в Китае, и о последних четырнадцати годах жизни на родине. Но, думается, читатель не будет так уж разочарован и огорчен: Китай довольно подробно представлен в разделе, где помещены прозаические этюды А.Вертинского, а о том, как он жил и работал, вернувшись домой, наглядным свидетельством служат его письма из концертных поездок по стране.

Второй раздел— стихи и песенные тексты. Ни один из зарубежных сборников и все они вместе взятые не содержат такого количества поэтических творений А.Вертинского, как настоящий сборник. Здесь собрано практически все, что он написал как поэт. Отбор текстов составил определенную трудность, ибо в нередких случаях А.Вертинскому приписывались тексты песен, ему не принадлежащие (как, например, «Кокаинеточка»— слова Агатова, или «Игуменья», чей автор самому А.Вертинскому был неизвестен). В поэтический раздел, естественно, не вошли стихотворения поэтов, на слова которых А.Вертинским была написана музыке, а также тексты, созданные в соавторстве, ибо доля участия А.Вертинского в совместной работе неизвестна.

Все стихи, их строфы и строчки выверены по различным источникам и, конечно же (когда это было доступно), по оригиналам. А.Вертинский сам признавался, что его «память не удержала» некоторые даты написания тех или иных стихотворений. Мы сочли необходимым, когда возникали сомнения подобного рода, датировку и место создания стихов опускать.

Следующий раздел представляет собой многожанровую композицию: короткие рассказы, этюды, зарисовки.

Далее публикуются письма А.Вертинского разным лицам, жене и дочерям. Эти письма представляют, на наш взгляд, особую ценность. То, что, по указанной ранее причине, не вошло в воспоминания, в достаточно широком объеме отражено в письмах. Надо отметить, что мы публикуем далеко не все из эпистолярного наследия А.Вертинского, однако и то, что принято к публикации, думается, даст читателю вполне реальное представление не только о творческих, бытовых и прочих аспектах жизни поэта и артиста, вернувшегося домой после двадцатитрехлетнего странствия по свету, но и позволит наглядно проследить эволюцию его понимания того, как устроена жизнь людей на вновь обретенной им «милой навеки» родине. Кроме писем В.М.Молотову и С.В.Кафтанову (напечатаны в журнале «Кругозор», 1989, № 3), все остальные письма публикуются впервые.

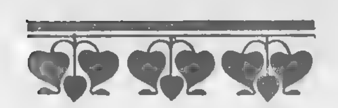
И, наконец, последнее: своеобразный монтаж из бесед и интервью А.Вертинского, напечатанных в разные годы в различных эмигрантских газетах и журнелах. Этот монтаж строился с таким расчетом, чтобы на первый план вышли ответы корреспондентам и предельно были бы сокращены их собственные рассуждения, е также «художественные обрамления» интервью и бесед.

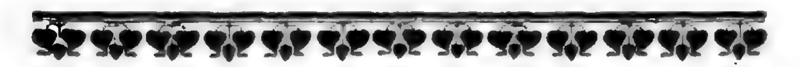
В заключение необходимо сказать, что, имея в виду особую участь литературного наследия А.Вертинского, выразившуюся в несправедливо долгом отсутствии его в читательском обиходе, решено в целях экономии места для его собственных произведений воздержаться от подробного комментирования текстов и ограничиться подстрочными сносками только в тех случаях, когда это диктуется непременной необходимостью. Изучение жизни и творчества А.Вертинского вступает, по сути дела, лишь в первую свою фазу, и мы надеемся, что настоящий сборник послужит хорошим стимулом для привлечения исследователей литературы и искусства к работе, кото-

рая обещает большой интерес как для них самих, так и для будущих их читателей. Помимо прочего, публикация книги Александра Николаевича Вертинского имеет и эту желанную цель.

Издательство и составитель выражают глубокую благодерность жене А. Н. Вертинского — Л. В. Вертинской, предоставившей материалы для книги «Дорогой длинною...» и оказавшей незаменимую помощь при их подготовке к печати.

Дорогой длинною...





Россия без каждого из нас обойтись
может, но никто из нас без нее
не может обойтись. Горе тому,
кто это думает,
двойное горе тому,
кто действительно без нее обходится.

И. С. Тургенев

Я не спеша собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела...

А. Блок

Дорогой длинною,
Да ночью лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня!..

Детство

Многое я помню ясно и отчетливо, но многое стерлось в памяти. Что же осталось?

Лоскутки... Маленькие разноцветные лоскутки... Обрывки, клочки минувшего, обрезки и остатки. Ну что ж. Ведь из лоскутков можно сшить, например, одеяло. Или даже ковер! Правда, он будет пестрым, но и вся жизнь моя была пестра. Приукрашать и облагораживать прошлое, подгонять то, что сберегла память, под сегодняшние уже зрелые взгляды и понятия мои мне не хочется. Эта книга даже не мемуары. Это сильно потрепанная записная книжка, найденная на самом дне сундука памяти, добрая половина страниц которой вырвана или унесена ветрами времени. Книжка человека, у которого было немного свободных минут, ведь для того, чтобы прожить на чужбине,— надо много и тяжело работать. Все же кое-что в ней сохранилось. Самым уязвимым местом этих отрывочных воспоминаний будут, конечно, даты. Иногда помнишь само событие, но когда оно было? В каком году? Этого память не удержала. Итак, начнем с детства.

Я смутно помню себя ребенком трех-четырех лет. Я сидел в доме у своей тетки Марьи Степановны на маленьком детском горшочке и выковыривал глаза у плюшевого медвежонка, которого мне подарили.

Лизка, горничная, девчонка лет пятнадцати, подошла ко мне и сказала:

— Будет тебе сидеть на горшке! Вставай, у тебя умерла мама!

В тот же вечер меня привели на квартиру к родителям. Они жили на Большой Владимирской в 43-м номере. Дом этот в Киеве стоит и до сих пор, выходя двумя парадными подъездами на улицу.

Очевидно, для утешения мне дали шоколадку с кремом.

Мать лежала на столе в столовой в серебряном гробу вся в цветах. У изголовья стояли серебряные подсвечники со свечами и маленькая табуретка для монашки, читавшей Евангелие.

Быстро взобравшись на табуретку, я чмокнул маму в губы и стал совать ей в рот шоколадку... Она не открыла рта и не улыбнулась мне. Я удивился. Меня оттащили от гроба и повели домой, к тетке. Вот и все. Больше я ничего не помню о своей матери.

Отец не был официально женат на моей матери, так как ему не давала развода его первая жена Варвара, пожилая, злая и некрасивая женщина. Много горя принесла она моей матери, и после того как родились дети — сперва сестра Надя, а через пять лет и я,— отцу пришлось «усыновить» нас. Когда мать умерла, Надя осталась жить у отца, а меня отдали тетке Марье Степановне, сестре матери.

Марья Степановна была молодая, красивая, своевольная и капризная женщина со всеми характерными чертами, свойственными ее дворянскому сословию, из которых главное было — самодурство. Поскольку отец не мог жениться на моей матери, союз их рассматривался Марьей Степановной как мезальянс, и мать моя — самая нежная и кроткая из всех четырех сестер и самая юная — пролила много слез, расплачиваясь за свою первую и последнюю любовь. Она была изгнана из семьи, родители не признавали ни ее, ни ее незаконного мужа. Тетки же мои, сестры матери, были добрее и не порывали связи с ней. Но отца моего тетки не любили, считая его «соблазнителем» сестры и виновником ее «падения». Мне часто приходилось слышать из уст Марьи Степановны:

— Твой отец — негодяй!

Я обижался и верить этому не желал. В глубине детской души я твердо знал, что мой папа чудный, добрый и красивый.

По профессии он был адвокат. И довольно известный. Уже потом, много позже, я узнал, что его очень любили и ценили как сердечного, отзывчивого человека и блестящего юриста. У него была огромная клиентура, почти сплошь состоящая из бедных людей, которых он защищал безвозмездно. Да еще и помогал семьям своих подзащитных. На зто нужны средства, и отец параллельно вел громкие процессы, за которые получал большие гонорары.

Впрочем, денег зтих не было видно. Куда девались они?

Этого никто не знал. Тщетно доискивались родственники. Деньги исчезали куда-то. А жил отец скромно. Не пил, не кутил, не играл ни в карты, ни на бирже. Так или иначе, но после его смерти ничего, кроме подарков от клиентов, в доме не осталось.

Хоронили отца в маленькой Георгиевской церкви. Товарищи вынесли его гроб, чтобы поставить на колесницу катафалка, и вдруг... Огромная тысячная толпа каких-то серых, бедно одетых людей, заполнившая площадь перед церковью, быстро оттеснила маленькую группку киевских юристов. Отобрав гроб с телом отца, толпа на руках понесла его к кладбищу. А колесница везла венки.

Никто ничего не мог понять. Что зто за люди? Откуда взялись они? Оказалось, все зто отцовская клиентура.

Какие-то женщины вдовьего вида, старики, калеки, дети, рабочие, студенты, мелкие чиновники, «бывшие» люди — бедный и темный люд, дела которых он вел безвозмездно, которым помогал и поддерживал. Они никого не подпустили к гробу, кроме меня и сестры (нас вела нянька). Ни одного человека. «Это было странно и страшно»,— рассказывал мне потом один из его товарищей. Даже полиция не понимала, в чем дело.

Зато теткам тут все стало ясно. Вот куда девались его заработки!

Смерть матери последовала от неудачной женской операции. Результатом ее было заражение крови. Она сгорела в несколько часов. Отца не было в Киеве; уезжая по делу, он строго-настрого запретил ей зто, но...

Застал ее уже в гробу. По-видимому, он очень любил мать, потому что переживал ее смерть тяжело. Постепенно его товарищи стали замечать за ним какие-то странности. То он отказывался от самых выгодных процессов, то растрачивал свой темперамент на явно безнадежные дела, точно желая пробить стенку лбом, то вдруг начинал «заговариваться». Иногда во время защитительной речи, когда дело уже почти

было выиграно, он вдруг останавливался, точно к чему-то прислушиваясь, и вдруг выходил из зала заседаний, а иногда и совсем исчезал из здания суда. Стали следить за ним. Оказалось, что он ездил на кладбище, где была похоронена мать. Как-то ранней весной его нашли без чувств на ее могиле. Он лежал ничком, во фраке, как был в суде, упал манишкой на снег, в распахнутом пальто. Его подняли, привезли домой. Он заболел... у него началась скоротечная чахотка. Больше он не встал с постели. Однажды у него горлом хлынула кровь. В доме не было никого, кроме десятилетней сестры. Она еще догадалась подать ему таз, но поддержать его не смогла. Обессилев, он упал на подушку и захлебнулся кровью.

После смерти отца сестру забрала старшая сестра матери, Лидия Степановна, которая была замужем за губернским землемером Трофимовым и жила в Ковно. Как жилось моей сестре у Трофимовых, я не знаю. Только Надя всегда плакала, когда вспоминала об этой жизни.

Мне было твердо сказано, что никакой сестры у меня нет. Наде то же самое объявили обо мне. Так мы и жили, оба зная, что у нас нет никого на свете. Но судьба решила иначе.

Однажды, перелистывая журнал «Театр и искусство», я прочел в составе комедийной труппы Сабурова фамилию — Н. Н. Вертинская.

Я удивился. Однофамильцев я до той поры не встречал. Из любопытства я написал ей письмо на театр:

«Милая, незнакомая Н. Н. Вертинская! У меня такая же фамилия, как у вас... У меня когда-то была сестра Надя. Она умерла маленькой. Если бы она была жива, она была бы тоже Н. Н.— Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия. Но у меня никого нет на свете, и я это сделал от... скуки. Напишите мне, если вам нетрудно»... и т. д.

В ответ пришло письмо, полное слез. Это было письмо Нади. Ей в свое время тоже сказали, что я умер. Зачем это было нужно моим теткам? Чего они хотели добиться этим? Не понимаю. И до сих пор не могу понять.

Но таковы факты.

Теперь назад к детству. Вспоминая о нем, я вижу Киев. Мой дорогой, любимый Киев! Яснее всего я вижу его весной. Мы жили тогда на Фундуклеевской улице, в доме Дымко,

а потом Лучинского. Улица та поднималась от Крещатика вверх и, дойдя до Пироговской, красиво спускалась вниз, к Еврейскому базару. Рядом с нашим домом было цветоводство Крюгера, а на противоположной стороне — анатомический театр. Поэтому на улице всегда пахло либо цветами, либо трупами.

Киев, как известно, расположен на горе над Днепром, и улицы его круты и извилисты.

Девятого марта, по православному календарю на «40 мучеников», в день моего рождения, торжественно и пышно приходила весна. Приходила она точно в назначенный день, никогда не опаздывая и не заставляя себя ждать. Она приходила, как добрый хозяин в свой старый, заколоченный на зиму дом, и сразу принималась за работу. Открывала ставни, очищала снег с крыш, раскутывала молодые яблони в саду и наводила порядок.

Теперь весна приходит неточно, с запозданиями, иногда ее даже не увидишь, и время как-то незаметно из зимы и холода переходит в лето.

А тогда...

В нашей квартире выставлялись двойные рамы, переложенные ватой с мелко нарезанным красным и синим гарусом. Осторожно выливались в раковину стаканчики с серной кислотой. Отклеивались окна, и в комнаты врывался март! Еще холодный, пахнущий морозцем, шумный, голубой и солнечный.

Старый кот Кануська вспрыгивал на подоконник и, раздувая ноздри, облизывал свою полинявшую за зиму шерсть. Он изумленно и радостно смотрел на воробьев, которые нагло порхали под самым его носом, звонко чирикали, сидя на голых кустах еще не проснувшейся сирени. Кот сладко потягивался. «Наконец-то! Додумались! — казалось, говорил весь его удивленный и довольный вид.— А то сидишь тут всю зиму в натопленных комнатах и даже на крышу не выйдешь!»

На улице мальчишки пускали по лужам свои классические кораблики из газетной бумаги и бежали за ними вниз с горы.

А воздух! Боже, что это был за воздух! Хрустальный, льдистый, утоляющий жажду, заливающий душу радостью! Прохожие слегка пьянели от него и, как все подвыпившие, делались добрее и мягче, чаще улыбались, реже хмурились.

Большеглазые украинские дивчата совали в руки букетики синих и белых подснежников и фиалок, и прохожие покупали их так, как будто это было неизбежно и естественно и только этого они и ждали всю зиму.

Утром в этот день кухарка Наталья приносила с базара теплые, только что испеченные «жаворонки» со сложенными крылышками и с черными изюминками вместо глаз и говорила:

— Ну, панычу, поздравляю вас!

Потом из маленькой комнатки-конурки, отгороженной от парадной передней, вылезала глухая тетя Соня — третья и самая старшая из маминых сестер. Она говорила только по-украински:

— Ось тобй, шйбздык, конхвéкти, тйльки не ишь усй зрáзу! — и дарила мне круглую коробочку монпансье. Они были очень вкусные. И это было все. Дальше я не помню, чтобы мне кто-нибудь делал подарки. Впрочем, однажды мне подарили голубой мячик. Но он был с дыркой.

По субботам кузина Наташа, которая иногда подолгу жила у нас, водила меня за ручку во Владимирский собор. Как прекрасно, величественно и торжественно было там! Васнецовская гневная живопись заставляла трепетать мое сердце. Один «Страшный суд» чего стоил. Откуда-то из недр растрескавшейся земли в день Страшного суда выходили давно умершие грешники с изможденными, неживыми лицами и тянули свои иссохшие руки к престолу Всевышнего. Из каких-то каменных подземелий среди развороченных могильных плит и гробов восставали цари в ржавых коронах, с поломанными скипетрами. А худые и строгие праведники, высохшие, как скелеты, возводили очи к небу, благочестиво прикрывая наготу свою длинными седыми бородами. Давно умершие люди, бледные и прекрасные царицы, «в бозе почившие» цари — все это толпилось у подножия трона в день последнего Божьего суда.

А рядом, около алтаря и наверху в притворах, была живопись Нестерова. Как утешала она! Как радовала глаз, сколько любви к человеку было в его иконах! Вот Борис и Глеб, похожие на царевичей из русских сказок. Вот «Рождество Христово» — созвездие, приведшее волхвов к яслям. Вот великомученица Варвара... И все это на фоне русских задушевных пейзажей со стройными елочками и юными подростками-березками. А какая вера светилась в глазах этих мучеников!

Если Васнецов покорял и даже пугал мощью своей живописи, если его святые были борцами за веру, крепкими и мужественными, то святые Нестерова выглядели просвет-

ленными и благостными, тихими и примиренными с жизнью, которую они принимали как она есть, но в самой глубине ее — находили источники душевной чистоты русского народа.

Образ Богоматери был наверху, в левом притворе. Нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо Богоматери! В огромных украинских очах с длинными темными ресницами, опущенными долу, была вся красота дочерей моей родины, вся любовная тоска ее своевольных и гордых красавиц. Я окаменел, когда увидел впервые эту икону. И долго смотрел испуганно и беспомощно на эту красоту, не в силах оторвать от нее глаз. Много лет потом, уже гимназистом, я носил время от времени ей цветы. А внизу, в храме, по субботам, во время торжественного богослужения, пел хор Калишевского. Как пели они, эти мальчики! Как звенели их высокие стеклянные голоса! Какими чистыми горлицами отвечали им женские! Как сдержанно и тепло рокотали бархатные басы и баритоны мужчин!

Великим постом на Стра́стной неделе посреди церкви солисты из оперы пели «Разбойника Благоразумного». Моя детская душа не могла вместить всех этих переживаний. Точно чьи-то невидимые ангельские руки брали ее и, как мячик, подбрасывали вверх — к самому куполу, к небу! Как радостно и страшно было душе моей, как светло! И, наконец, самое главное. По ходу службы из алтаря появлялись в белых стихарях тонкие и стройные мальчики чуть постарше меня и несли высокие белые свечи. И все смотрели на них!

О, как завидовал я этим юным лицвдеям! Вот откуда взяло свое начало мое актерское призвание!

Потом я стал гимназистом. Мне исполнилось девять лет. Я держал экзамен в приготовительный класс Киевской первой гимназии. Экзамен я сдал блестяще — на пять. Только по закону божьему батюшка, отец Семен, задал мне каверзный вопрос:

— В какой день Бог создал мышей?

Как известно, создание мира шло по определенному расписанию. Был точно указан день, когда Бог создавал животных. И этот день был мне точно известен, но я никак не мог себе представить, чтобы Бог занимался созданием ненужных и вредных грызунов. Поэтому, подумав, я сказал:

— Бог мышей не создавал... Сами завелись!

Экзаменаторы рассмеялись. Тем не менее я получил пять.

Весь приготовительный и первый классы я учился отлично. Потом что-то случилось со мной. Что именно, не знаю. Но я стал учиться все хуже и хуже. И наконец меня выгнали из второго класса этой аристократической гимназии, которая к тому времени стала называться Императорской I-й Александровской гимназией и окончательно «задрала нос». Впрочем, на гимназическом жаргоне воспитанники ее по-прежнему назывались «карандашами», несмотря на то, что над веточками их серебряного герба появилась сверху императорская корона.

Меня перевели в гимназию попроще. Была она на «Новом Строении», на Большой Васильевской улице, и именовалась «Киевская 4-я гимназия». Мы все, мальчишки, были патриотами своих гимназий, презирали другие гимназии. Но самое большое удовлетворение заключалось в том, чтобы лупить «карандашей», «аристократов».

С трудом переходил я из класса в класс, с переэкзаменовками и двойками, и наконец был торжественно исключен из пятого класса.

В чем же было дело? Я ведь был смышленый и неглупый мальчик...

Очевидно, в неправильном воспитании. Тетка моя, Марья Степановна, молодая и, как я уже сказал, изрядно испорченная самодурством, не имела никакого понятия о воспитании детей, а тем более мальчишек. Она гневалась, кричала и заставляла меня сидеть за учебниками до полуночи. Погулять, побегать с товарищами, покататься на санках или коньках мне не разрешалось.

Собственно, тетка и внушила мне отвращение к учению.

— Ты двоечник! — строго говорила она.

А если я выучивал уроки, она внушала:

— Повторяй пройденное! Учи дальше!

Таким образом, я был прикован к учебникам, как каторжник к ядру, и выхода не видел никакого.

«Учи не учи — спасенья нет!» — думал я и стал обманывать ее и манкировать учебой. В задачник Евтушевского, например, я клал какую-нибудь интересную книгу — «Таинственный остров» Жюля Верна или «Всадника без головы» Майн Рида. Делая вид, что занимаюсь, и бубня что-то вслух, чтобы тетка думала, будто я работаю, я запоем читал эти интересные романы. А в гимназии в соответствии с моими знаниями шли единицы и двойки.

Дома за такие отметки меня ждала по субботам неизбежная порка. Тогда я стал подделывать отметки, перепра-

вляя их на четверки и пятерки. В конце концов все это раскрылось.

К этому времени Марья Степановна вышла замуж. Муж ее, Илларион Яковлевич, был в общем добрый и тихий человек, но совершенно безвольный. Он как-то сразу подпал под влияние своей энергичной и решительной супруги. Инженер по образованию, он был полон какими-то изобретательскими планами и мало замечал окружающую обстановку. Лично ко мне он относился неплохо и даже старался помочь: занимался со мной решением задач по математике. Он ничего не имел против пребывания в его доме «бедного родственника» и никогда не жалел денег ни на оплату моего учения, ни на мою одежду, хотя получал скромное жалованье, что-то около двухсот рублей в месяц. Но когда решительная супруга настойчиво требовала экзекуции, тихий Илларион Яковлевич нещадно порол меня на кухне казацкой нагайкой. Эти истязания только озлобляли меня. «Спасти» меня, по-видимому, было уже нельзя. Тем более что душа моя тянулась совсем не к математике, а к искусству.

Но кому до этого было дело? Моей двоюродной сестре Киньке почему-то позволяли посещать драматическую школу Лисенко, а меня, битком набитого всякими талантами, не пускали и жестоко наказывали за мое стремление к театру. Из Киньки так никогда и не вышло актрисы, и все эти деньги на ее обучение были выброшены зря. Правда, это были деньги, оставшиеся ей после смерти отца, и, таким образом, она могла тратить их по своему усмотрению. Но все же...

А я, лежа ночами на сундуке в передней, на грубом солдатском ковре, весь в синяках, избитый и оскорбленный, горько плакал и яростно мечтал о том, как я однажды оболью бензином теткину кровать, и как она будет корчиться, в пламени, и как сгорит весь этот проклятый дом. Теперь я, конечно, смотрю на все это другими глазами. В конце концов, воспитывать чужих детей никто не обязан, и я стоил им, вероятно, в этом мире немало денег. Спасибо, что не умер от голода, что существую сегодня.

Я вырастал волчонком. Начал красть. Крал деньги из комода, открывая его ключами, забытыми где-нибудь, крал мелкие вещи и продавал их на толкучке. И почему-то был всегда голоден. То ли мне мало давали есть, то ли аппетит был у меня большой при моем довольно высоком росте. За кражи меня били еще сильнее и упорнее. Но я продолжал красть, и как из меня не вышел преступник, до сих пор понять не

могу. По всем законам логики, я должен был стать преступником.

Как сквозь сон, вижу я через дымовую завесу времени своих гимназических преподавателей. Вот инспектор Моисей Николаевич Пантелеев, с деревянной рукой, полный, стриженный под машинку. Он преподавал математику, был сух и строг, ибо такую точную науку ангелы не преподают. Он немилосердно «резал» меня на перезкзаменовках и явно презирал. Нежных воспоминаний о нем у меня, конечно, не могло остаться. Вот Александрович, по прозвищу Рыжий, преподаватель истории и литературы, грузный, ленивый, сонный, читавший свой предмет без всякого увлечения... Вот русский «француз» Станчулов, маленький и подвижный, сын которого, Федька, бандит и жулик, держался в гимназии только благодаря отцу. Он приносил нам все новости из «высшего света», которые узнавал у отца... Вот немец Ланге, вот учитель географии, прозванный Сапожником за его длинную черную бороду. Вот батюшка Троицкий, добрый и снисходительный человек, которого мы ни в грош не ставили. Вот учитель рисования Кушнер, злой и раздражительный до предела, который с подзатыльниками выгонял нас из класса за малейшую провинность и, по-видимому, совершенно не выносил нас. Мы были ему явно «противопоказаны».

— Пенерджи́! Пенерджи́! — кричал он каким-то сдавленным голосом, точно подавившись ватой.— Кого ты там рисуешь?

— Своего дядю из Нахичевани!

В самом же деле караим Пенерджи рисовал в зто время осла с длинными ушами, странно похожего на Кушнера.

Латынь преподавал некий Волкович, худой, веснушчатый чиновник с рыжими бакенбардами котлеткой. Он был визглив и истеричен, как женщина, и во время уроков доводил себя до припадков, а нас до ужаса.

Таков был состав наших преподавателей. Все зто были чиновники, бездушные служаки, педанты и сухари, совершенно не интересовавшиеся ни нами, ни нашим внутренним миром. Если мальчишка учился плохо, вызывали родителей и после двух предупреждений выгоняли из гимназии.

На зти вызовы приходили обычно мамаши. Отцы были заняты службой. Мамаши долго и горько плакали в коридорах, выйдя из инспекторской комнаты, и утирали глаза платками. Что они могли поделать с нами?

А мы росли, как трава, сами по себе. Зубрилы тянулись и старались, выслуживаясь перед учителями, ябедничая

и угождая им. Середняки, те, у которых отцы были покруче, кое-как вытягивали на тройки, переходя из класса в класс, а двоечники или изгонялись, или сидели по два года в одном классе.

Конечно, самыми лучшими товарищами, самыми веселыми и затейливыми парнями были эти второгодники. Они всегда выручали товарища, оказавшегося у доски, подсказывая ловко и с особым молодечеством. Они острили и паясничали, прикидываясь дурачками, на потеху классу. Они скандалили, выводя из терпения преподавателей. Они уже курили и в уборных, и в классе, и даже на улице. Лихо пили водку где-то на квартирах товарищей и не без успеха ухаживали за горничными. Все они были неглупые и задористые мальчишки — драчуны и заводилы, которыми мы восхищались и которым тайно подражали. Что же стало с ними потом? Вышли ли они «в люди»? Думаю, что да. Во всяком случае, из всех тех зубрил, которых мне довелось повстречать в жизни, ничего интересного или заметного так и не вышло.

Гордостью и сенсацией нашей гимназии был некий Бузя Гуревич, сын киевского раввина. Это был подлинный вундеркинд. Во всяком случае, такого экземпляра мне никогда больше не приходилось встречать. Еще будучи в младших классах, он уже писал сочинения для учеников старших классов. Учась в четвертом классе, выступал на литературных диспутах, поражая всех своей эрудицией. Он участвовал в прениях после лекций академиков, писал стихи, занимался в философских кружках и гремел на «литературных судах» того времени, приводя в восторг теософских дам, мог говорить без умолку в любое время и на любую тему, даже не зная заранее, о чем будет говорить. Им гордились все киевские евреи и вся наша гимназия. Ему пророчили блестящее будущее. Спорить с ним никто не решался, а он был хоть и самодовольный, но все же неплохой парень. К нему в дом всегда можно было заскочить, просто чтобы поесть досыта. Правда, делать это нужно было в отсутствие родителей Бузи, которые не переваривали меня, полагая, что я, вольнодумец и двоечник, оказываю дурное влияние на их сына. Но Бузя храбро таскал из буфета в столовой остатки завтраков и обедов и всегда старался накормить меня. Он даже снабжал меня своими сорочками. А это не шутка. Он был непререкаемым авторитетом среди нашей молодежи. Не знаю, какую роль он сыграл бы в моей судьбе, если бы я не потерял Бузю из виду в самом разгаре его киевских успехов. За него я был спокоен. Каково же было мое удивление, когда через много

лет я встретил его в Париже на кинофабрике «Гомон» в роли скромного сотрудника сценарного отдела!

Так и исчез из моей жизни Бузя, не оставив в ней заметного следа. Двоечники же и второгодники сильно повлияли на мою пылкую натуру.

Как только приходила весна, мы устраивали чудесные «пасовки» (от карточного слова «пас») то на Батыевы горы, то в Голосеевскую пустынь, то в Дарницу. Обычно утром мы встречались в заранее условленном месте и, оставив ранцы и связки с книгами в какой-нибудь лавочке, шли гулять. Весна еще только высовывала нос на улицу, а мы уже в распахнутых пальто шли ей навстречу. На Батыевых горах снег едва начинал таять, и большие куски его белели в овражках, остекленевшие и грязные, как куски разбитой тарелки, но сквозь весеннее марево уже пробивались синие и белые головки подснежников, лиловели фиалки, высовывался сиреневый «сон» с серыми пушистыми цветами. Чуть начинала зеленеть рыжеватая прошлогодняя травка...

Мы разводили костер, жарили на палочках старое украинское сало, курили до тошноты и бегали взапуски, собирая хворост, и пили, пили воздух. Украинский воздух! Воистину это были самые счастливые дни моего детства.

Зимой мы устраивали «пасовки» в Киево-Печерскую лавру. Лавра стояла на отлете от города, на высоком берегу Днепра. Она занимала большое пространство со своими церквами, службами, кельями, монастырем, помещениями и конторами. С утра до ночи в ней толпился народ. Тысячи богомольцев со всех концов страны заполняли ее. Крестьяне из далеких губерний с детьми, узлами и котомками, старики и старухи, нищие калеки, бездомные странники. На специально отведенном для них выгоне за стенами лавры, на высоком обрыве над Днепром, на кучах выгребного мусора, как многострадальные Иовы, сидели эти люди.

Слепые украинские кобзари с сивыми чубами и усами крутили рукоятки своих стонущих жалобно кобз — примитивных инструментов — и голосили, истошными надрывными голосами рассказывая доверчивым бабам невероятные истории из жизни святых и мучеников. Пылкая украинская фантазия плюс необходимость потрясти воображение слушателей (иначе ничего не соберешь) уводили этих «поэтов» и «религиозных комментаторов» в такие сюжетные дебри, откуда они сами порой не могли уже выбраться. И вдруг неожиданно обрывали свои «арии», что называется, на самом высоком «фермато».

Впрочем, в тексты этих «арий» никто особенно не вслушивался.

Ой, жив собі Лазарь...
А я його знав,
Була в його сира свитка,
А я и ту украв!..

— бесцеремонно бубнили они себе под нос. Сердобольные украинские «молодицы», с головой укутанные в теплые платки, заливались слезами и кидали трудовые копейки в деревянные чашки, выставленные для сбора пожертвований. Половина этих слепцов была, конечно, симулянтами.

Страшные, распухшие от волчанки и экземы калеки с вывороченными руками и ногами, нищие, покрытые язвами, безносые гнусящие сифилитики, алкоголики, бродяги, карманники — все копошилось на этом гноище, вопило, пело, стонало, молилось, стараясь обратить на себя внимание. У них были свои законы, своя этика и свои порядки. Лучшие места, поближе к воротам, занимали «премьеры», «первачи». Некоторые из них были далеко не бедны, имели даже собственные дома где-нибудь на Шулявке или Соломенке. Сидя тут по десять — двадцать лет, они накапливали себе небольшие состояния и обзаводились семьями, а на все это смотрели как на службу. Начинали они обычно с мольбы о помощи:

«Господа милосердные! Господа благодетели Божии! Трудовники Божии! Народы Христовы! Та подайте за упокой ваших родителей на поминание! Дайте, не минайте! Не минет вас Бог, киевский острог, арестантские роты, каторжны работы»,— неожиданно скороговоркой издевались они. И добрые люди давали, не вслушиваясь в слова. Не все ли равно, что говорит человек, который просит кусок хлеба? Надо дать — все и без слов понятно! Дуды, кобзы, гусли, цимбалы, свирели, гармоники и свистульки аккомпанировали этому хору «поющих, вопиющих, взывающих и глаголящих», жуткому и зловонному скопищу каких-то ошметков человечества.

Страшное это было место, и мы обходили его. Нас интересовали пещеры. Глубоко под землей, пересекая даже русло Днепра, шли бесконечные пещеры-катакомбы, вырытые когда-то первыми христианами, которые спасались от языческих гонений. Вырывшие их там жили, там же и умирали, там и погребались. Постепенно православная церковь причислила некоторых из них к лику святых. В узких темных коридорах, вырубленных в граните, по правой стороне, одна за другой шли гробницы с дощечками и именами святых. Их мощи

были, по-видимому, набальзамированы в свое время, обтянуты сверху красным кумачом и находились в маленьких нишах, тускло озаренных лампадками. Верующие богомольцы прикладывались к ним, целуя кумач, и клали сверху медяки на свечи угоднику.

Вот эти-то медяки и были предметом наших вожделений. Но как украсть их? Обычно процессию паломников сопровождал какой-нибудь монах со свечой (в пещерах было темно). Люди крестились, молились, а потом нагибались и целовали мощи. Вот тут-то мы и придумали трюк. Нагнувшись к мощам и делая вид, что мы их целуем, мы набирали в рот столько медяков, сколько он мог вместить. Отойдя в сторонку, мы выплевывали деньги в руку и прятали в карман.

Брр! До сих пор не могу вспомнить без отвращения! И на что только не способны мальчишки! Из пещер мы выходили с карманами, набитыми деньгами, и сразу накупали пирожных, конфет, папирос и очень весело проводили время.

Вот каким босячьем мы были! Несколько позже монахи, наконец, сообразили, в чем дело. Нас, гимназистов, они вообще перестали пускать в пещеры, а уж если пускали, то следили в оба.

В монастырской трапезной бесплатно выдавали постный борщ из капусты и черный хлеб. Этот вид человеколюбия и милосердия богатая лавра могла себе позволить. А за три копейки можно было купить пирог. Большой пирог! Настоящий «брандер», как мы его называли. Что за дивный вкус был у пирогов! Одни были с горохом, с кислой капустой, другие — с грибами, с кашей, душистые, теплые, на родном подсолнечном масле. Они доставляли огромное наслаждение. Одного такого пирога было достаточно, чтобы утолить любой голод.

Впрочем... есть тогда очень хотелось!

По субботам и церковным праздникам в нашей маленькой гимназической церкви пел хор, составленный из учеников. Я почему-то не попал в него, хотя у меня был неплохой дискант и хороший слух. Вероятно, меня не взяли за поведение. А я так мечтал об этом. Каждую субботу и воскресенье мы, гимназисты, выстроенные попарно по классам, стояли навытяжку посреди церкви. На правом клиросе — наше начальство и прихожане, а на левом — хор. Спина и плечи немилосердно болели, мы переминались с ноги на ногу и часто бегали в уборную покурить и отдохнуть. Отстоять всю церковную службу было нелегко, а сесть нельзя было, да и негде.

Великим постом хор пел особенно хорошо — как-то по-весеннему звонко и радостно, точно стая молодых жаворонков. Мы стояли, зачарованные этим пением, и смотрели не отрываясь на правый клирос. Там находились «приходящие». Это были родители и сестры наших товарищей. Главное — сестры.

Что это были за красавицы, все эти Нины и Тоси, Сони и Верочки, Любы и Нади! Какими неземными небесными созданиями казались они нам! Как мерцали их очи, озаренные снизу восковыми свечами! Как взлетали их длинные, загнутые кверху ресницы! Какие они были стройные, светлые и лучезарные в своих белых передничках! Как мы были влюблены в них! И сами себе боялись в этом признаться. Это было стыдно до слез... страшнее чего угодно! Это была первая, как луч солнца во тьме, ослепительная, сияющая, неосознанная еще, но уже сжигающая, непостижимая, недостижимая, безответная и бескорыстная, чистая как хрусталь любовь! Ее даже нельзя было назвать любовью! Это был какой-то огонь, зажженный в сердце, яркий и теплый, который мы несли бережно, как свечу из церкви, чтобы ее не задул ветер!

Я даже не помню точно в кого именно был влюблен... Во всех. В них. В этих тоненьких, как березки, девочек. Мы тщательно скрывали друг от друга свои чувства и при встречах с девочками на улице в вербную субботу, например, даже били их слегка вербой, приговаривая: «Верба бьет! Не я бью!..» Таков уж был обычай и способ ухаживанья. А гимназистов чужих гимназий, увлекавшихся нашими девочками, лупили нещадно.

Иногда удавалось познакомиться с девочкой или даже проводить ее до дому. Это уже было огромное счастье! Все парты в моем классе были изрезаны перочинными ножами, и почти на каждой парте виднелись буквы «М. П.». Это были инициалы девочки, в которую была влюблена чуть ли не вся гимназия. Дочь железнодорожника, машиниста, она была на редкость хороша. А как вы думаете, какая у нее была фамилия? Плачькобыла. Маня Плачькобыла! С ума сойти! И дал же бог такую фамилию такой красавице! Мы по безмолвному уговору никогда фамилию эту не произносили вслух, чтобы не давать повода для ненужных острот. Мы говорили просто: «Маня».

Но вернемся к гимназической церкви.

Непреходящей мечтой моей было стать церковным служкой. Еще в раннем детстве, ужаленный красотой богослужения, я мечтал попасть в их число. Но судьба долго не улыба-

лась мне. И вдруг однажды на уроке закона Божьего отец Троицкий спросил:

— Кто из вас может выучить наизусть шестипсалмие, чтобы прочесть его завтра в церкви?

Я поднял руку. Я мог выучить что угодно в несколько минут. Читал я довольно хорошо, ибо уже тогда во мне были все задатки актера.

— Ну, попробуй!..

Я взял в руки книгу псалмов и с чувством, толком и расстановкой прочел ее единым духом от доски до доски, не жалея красок и интонаций. Батюшке понравилось мое чтение.

— Молодец,— похвалил он.— Приходи завтра пораньше в алтарь, выберешь себе стихарь.

Итак, моя мечта сбывалась! Стоит ли говорить, что я не спал всю ночь. К утру я знал шестипсалмие назубок. Придя вечером в церковь за два часа до начала службы, я прежде всего бросился примерять стихари. Увы! Ни один из них мне не годился. Я был долговяз и худ, а стихари были сшиты на обычный рост и едва доходили мне до колен.

— Читай без стихаря,— сказал батюшка.

Но какой же интерес это представляло для меня? Я со злостью швырнул стихари куда-то в угол и сказал:

— Пусть вам монахи читают!

И ушел.

В мои гимназические годы по Киеву ходил человек с осанкой профессора, в весьма живописных и даже несколько «театральных» лохмотьях, с большой суковатой палкой, и сиплым, пропитым голосом предлагал прохожим тоненький сборничек стихов. Прохожие покупали из жалости. Это был скрытый вид попрошайничества. Сборничек назывался весьма жалобно: «Увядший букетик». А автор его — известный всему Киеву пьяница, некий Пучков, бывший студент и окончательно опустившийся алкоголик. Стишки были весьма мизерабельные:

...Увял букетик мой. А сколько жизни было
В его зелененьких листках и разноцветных лепестках!
И все увяло, все отжило!

К сборнику этому больше подходило другое название — «Телячьи нежности», например,— но нас удовлетворял и «Букетик». Отпечатан он был в типографии и кормил автора или, вернее, поил, довольно долго, года три. Продав штук

пять экземпляров, он шел на базар в «обжорку» и напивался. Мы, гимназисты, покупали у него эту книжонку «принципиально», чтобы показать мещанам, до чего они довели «поэта»! У каждого из нас было по нескольку штук этого «Букетика».

Свою вступительную речь «поэт» начинал так: «Пардон, мсье! Волею судеб очутился вне бортов общественного положения. Скитаюсь в океане бурь и невзгод. Нуждаюсь в сентиментальной поддержке, ибо нет ни сантима. Донэ муа кельк шоз пурбуар!» И мы давали последние пятаки, сбереженные от завтраков. Надо же было поддерживать искусство!

Из всех квартир, где мы жили в годы моего детства, я хорошо запомнил только три. Первую, о которой уже писал,— на Фундуклеевской улице, где прошли самые ранние дни моего детства. Там был сад, выходящий к обрыву в Афанасьевский яр, где мы в ямке песка «варили» кисель из бузины, где мальчишки нашей стороны целыми днями перешвыривались камнями из рогаток и «закидачек» (вроде пращи) с мальчишками той стороны. В доме этом жила чудесная Лида Дымко, дочь хозяина, а потом не менее чудесная — тоже Лида и тоже дочь хозяина — Лучинская. Там, на Фундуклеевской, у меня было два товарища поляка — мальчики Тацек и Вацек, или, как мы их называли, Тазик и Вазик, восьми и девяти лет. Неподалеку, на Бибиковском бульваре, находилась аптека их отца, провизора Коценовского. Она и до сих пор существует. В витринах аптеки стояли два огромных сосуда для рекламы, наполненные один красной, а другой зеленой жидкостью, освещенные сзади. И я был уверен, что в одном из них клюквенная вода, а в другом грушевая. Однажды Тазик и Вазик украли из открытого окна у какого-то квартиранта три рубля, лежавшие на столе, и накупили халвы, тянучек и конфет на все деньги, угощая ими весь двор. Их обоих немилосердно высекли, разумеется...

На Фундуклеевской в маленьких грязных лавчонках торговали французскими булками, халвой, керосином и, главное, конфетами. Но какими конфетами! Только одну копейку стоил «столбик» — довольно большой, кисленький, приятный, твердый и стойкий, долго не таявший во рту и длящий наслаждение до бесконечности. Четверть фунта халвы продавали за пятачок. Вот только денег не было, чтобы покупать все эти райские сласти. А французские булки в лавочке пахли керосином, и тетка строго-настрого запрещала их покупать. Нужно было покупать в настоящей булочной на Большой Подваль-

ной у Септера. Но Септер был далеко, идти туда не хотелось, и я, пренебрегая запретом, упорно покупал булки в соседней лавчонке. К запаху керосина примешивался еще запах лампадного масла, ибо хозяин был верующий старик старообрядец и в лаеке горело много лампад, которые ежеминутно гасли и которые он сам лично заправлял новыми фитильками, а потом, отерев руки о фартук, отпускал покупателям товар.

Помню еще большой гастрономический магазин Мирзоева. Но это уже было на другой квартире — в Обсерваторном переулке, куда мы переехали позже. Жили мы там на втором этаже. В глубине двора находился сад, и изумительная сирень росла там. Сирень была густого темно-бордового цвета. И еще — белая, пышная, душистая, и еще — персидская синевато-лиловая. Я безжалостно обламывал ее, нарывая ночью букет, и относил (домой нельзя было, конечно) хозяйке гастрономического магазина, толстой и приветливой даме, которая однажды, пораженная любезностью мальчишки, подарила мне большую плитку шоколада.

Почти рядом с нашим домом на этой квартире была дружина вольнопожарного общества. В огромном сарае стояли бочки с водой и насосы, и тут же в стойлах топтались приготовленные к упряжке кони. А наверху была каланча. Днем и ночью ходил вокруг нее по маленькой площадке дежурный часовой и, если замечал где-нибудь пожар, звонил в колокол; тогда моментально раскрывались двери, запрягались лошади. Первым выскакивал передовой верхом на коне, а через полторы-две минуты за ним вылетала уже вся команда. В ослепительно начищенных касках, смелая, горячая, способная на любые подвиги, она была неотразимо прекрасной. С лестницей, с топорами и баграми, с особым шиком, едва держась одной рукой за поручни, стояли пожарные. Грохоча, колесница уносилась вдаль, похожая на колесницы римских гладиаторов.

Как я завидовал им! Я мечтал, что, когда вырасту, обязательно стану пожарным. А тут еще, как назло, под носом — потрясающий пример. В числе дружинников был один наш гимназист восьмого класса. Красавец парень, высокий, стройный и сильный. Он казался мне настоящим героем. В детстве сам с собой я играл только в пожарных. Учтя мои восторги, один сообразительный пожарник продал мне поломанную медную каску, собственно говоря, полкаски — за рубль, который я в тот же день украл из комода тетушки! Это была большая по тем временам сумма денег — выпороли меня

здорово. Только теперь я понимаю смысл моих поступков. Все это были симптомы и признаки моего неодолимого желания и призвания быть актером

Наша последняя киевская квартира находилась в Железнодорожной колонии, за вокзалом. Надо было перейти железнодорожные пути, и вы оказывались в маленьком городке с одноэтажными домиками, окруженными цветущими палисадниками. В колонии этой находились вагонные и паровозные мастерские юго-западных железных дорог. Дядя мой, Илларион Яковлевич, муж тетки, заведовал вагонным цехом. Ему по должности полагалась казенная квартирка из пяти комнат, с ванной и кухней, с верандой, выходящей в небольшой садик. В саду были несколько старых деревьев, выкрашенная в зеленый цвет беседка, а вдоль невысокого забора стояли серебристые украинские тополя, клейкие и душистые весной, а летом засыпавшие улички, или «линии», как они назывались, своим белым легким пухом. Я любил этот садик. В нем были кусты малины, смородины, несколько грядок клубники, можно было потихоньку рвать эти чуть начинающие поспевать ягоды и наедаться зеленой кислятиной до боли языка. Зимой можно было сбивать палками еще уцелевшие с лета где-то на верхушках деревьев крупные волошские орехи, лепить бабу из снега или просто бегать с собакой Баяном, воображая себя то пожарным, то путешественником, попавшим на плавучую льдину, то Робинзоном.

Особенно запоминались праздники. На Рождество, в сочельник, после тщательной уборки в квартире натирали полы. Здоровенный веселый мужик Никита танцевал на одной ноге по комнатам с утра до вечера, возя щетками по полу и заполняя всю квартиру скипидарным запахом мастики и собственного пота. Потом тот же Никита приносил с базара высокую пышную елку. Елку укрепляли в спальной, и она, оттаивая, наполняла квартиру уже другим запахом — запахом хвои, запахом Рождества. Этот запах заглушал мастику. Старый кот Кануська подозрительно глядел на елку, долго и тщательно обнюхивал ее, немилосердно чихая при этом. На кухне одна из Наталий варила обед, или, вернее, ужин, потому что в этот день ничего нельзя было есть до вечерней звезды. Это не мешало мне, конечно, воровски наедаться всяких вкусных вещей, которые пеклись и жарились к ужину и которые я виртуозно таскал из буфета под самым носом тетки и кухарки. А в шесть-семь часов вечера, когда сгущались сумерки, высоко в темно-синем украинском небе — прямо над большим тополем во дворе — зажигалась звезда. Круп-

ная, нежно-зеленоватая, единственная на фоне быстро темнеющего неба.

— Это моя звезда! — сказал я себе однажды и с тех пор часто смотрел на нее вечерами, отыскивая ее первую на вечернем небе. Я разговаривал с ней, поверяя ей все свои детские планы и желания, а она тихо мерцала своими золотыми ресницами, точно во всем соглашалась со мной. Потом я уехал из Киева и потерял ее. И теперь, как-то попав в Киев, я пошел на эту квартиру и уже не нашел ни садика, ни тополя, ни звезды...

Итак, в семь часов подавали ужин. На первое был украинский, или, как его называли, «гетманский», борщ. Подавали его в холодном виде. Был он, конечно, постный, без мяса. Приготовленный на чистом подсолнечном масле. В нем плавали «балабушки» — маленькие шарики из молотого щучьего мяса, поджаренные на сковородке, потом маленькие пельмени, начиненные рублеными сухими грибами, потом маслины и оливы, потом жаренные опять же в подсолнечном масле небольшие карасики, вывалянные в муке. Еще к борщу подавались жареные постные пирожки с кислой капустой, или с кашей, или с грибами. На второе была огромная холодная рыба — судак, или карп, или щука. Потом шла кутья. Рисовая кутья с миндальным и маковым сладким молоком в высоких хрустальных кувшинах и взвар, или «узвар», из сухих фруктов, и еще компот из яблок, чернослива и апельсинов. Что это был за ужин! Нельзя было оторваться от него! В столовой потрескивал камин, за белыми оледенелыми стеклами окон, разрисованными китайскими причудливыми узорами мороза, смутно качались деревья в саду, седые и мохнатые от инея и снега. И я, маленький, глупый и нежный, но уже поэт — писал:

И в снегах голубых за окном,
Мне поет Божество!

Да, воистину, это пело Божество. Это был зимний рождественский гимн!

Потом зажигали елку. Убирали ее заранее. Сначала вешали на нее крымские румяные яблочки, потом апельсины и мандарины на красных гарусных нитках, потом золотые и серебряные орехи, потом хлопушки, потом конфеты и пряники — все по порядку, потом игрушки, а под самый конец — свечи. Елка стояла нарядная, огромная, до потолка, и была похожа на какую-то древнюю царицу, разубранную в жемчуга и парчу, гордую и прекрасную. Я долго смотрел на нее, пока не догорали свечи и комнаты не наполнялись особым угар-

ным дымком от чуть подожженных веток и запахом парафина. Потом елку тушили, и все шли спать. А я еще долго ворочался на своем деревянном сундуке в передней, где я спал на твердом солдатском ковре, и мечтал... О чем? Уже не помню.

Ночью, когда все засыпали, я тихонько вставал и таскал апельсины, конфеты и пряники, которые и съедал тут же, вынимая из-под подушки...

Напротив нас жила семья Держинских. Старшая из их дочерей, Танечка, хрупкая и нежная, была больна ревматизмом в очень тяжелой форме и еле передвигалась с помощью палки, а младшая, Ксеша, наоборот, была крупной и здоровой девушкой. Таня ничего не делала, занималась только, кажется, музыкой, а Ксеша училась петь у преподавательницы пения Флоры Паш. Впоследствии Ксеша стала, как, вероятно, вы знаете, прекрасной певицей Большого театра — Ксенией Держинской. Она умерла недавно[1]. Я встречался вначале с ними по-соседски, в палисаднике, и даже был принят у них в доме. Но по мере своего «падения» стал видеть их все реже и реже. В дом к ним меня уже не пускали как опасного, дурно влияющего на девушек молодого человека. Потом я вообще исчез с их горизонта и встретил Ксешу только в 1948 году, вернувшись на родину из-за границы, уже известной певицей, незадолго до ее смерти. Тани я так и не видел с тех пор. А когда-то я был в нее немножко влюблен. Впрочем, не я один. Были там в колонии благовоспитанные мальчики Саша и Ваня Ватагины, учившиеся на золотые медали, которых мне постоянно ставили в пример и которых я за это ненавидел. Они тоже были неравнодушны к Тане.

Вот и все почти о нашей колонии. Собственно, ничего интересного в ней не происходило.

Впрочем, одну забавную историю я все же хочу рассказать.

У нас в доме жила четвертая, или, вернее, первая, самая старшая из сестер моей матери — тетя Соня. Была она уже очень пожилой и, кроме того что отличалась совершенно невыносимым характером, была еще почти совсем глухой от рождения. Жила она в темной конурке, отгороженной перегородкой от передней, где умещались только ее кровать и сундук. Вот этот сундук с раннего детства был предметом моего любопытства. Но тетя Соня не любила открывать его, а тем более показывать кому-нибудь его содержимое. Был он изну-

[1] К. Г. Держинская умерла в 1951 году. *(Здесь и далее прим. ред.)*

три весь оклеен картинками, которые и привлекали мое любопытство.

Эти лубочные картинки обычно продавали шарманщики, бродившие по дворам, и стоили они пятачок штука, причем вдобавок еще давалось напечатанное «предсказание судьбы». Их обычно покупали кухарки, желавшие узнать, чем же кончится их роман с пожарником или городовым, горничные и модистки, влюбленные в приказчиков галантерейных магазинов или военных писарей, знаменитых сердцеедов того времени. А картинки были яркие и ядовитые: «Вот мчится тройка почтовая», «Лихач-кудрявич», «Маруся отравилась», «Бой русских с кабардинцами» и т. д.

Заметив, что тетя Соня полезла в сундук, я вертелся возле нее до тех пор, пока она меня не выгоняла из своей каморки.

Кроме этого волшебного сундука, я еще очень любил ее маленький, почти игрушечный самоварчик, который она ставила всякий раз, когда была не в духе или в ссоре с тетушкой, чтобы не иметь ничего общего с «проклятой машкурягой», как называла Марью Степановну в минуты гнева. Самоварчик этот был предметом моего восторга с самых детских лет. Он кипел по-настоящему и уютно урчал, пуская струи пара. Чай и сахар у тети Сони всегда были, и, отрезав краюху хлеба на кухне, она аппетитно пила свой собственный чай, проклиная всех и все на свете. Иногда и мне перепадала чашка из этого самоварчика. Она ненавидела почему-то баранину и считала, что ее готовят иногда к обеду специально ей назло. Причем это было всякий раз, когда к обеду подавали телятину. Она плевалась и ругалась и отказывалась от обеда. Зато когда действительно подавали баранину, она ее ела с большим аппетитом и говорила:

— О цé добра телятина!

Каждый год на Крещенье она ходила к Днепру на водосвятье и приносила оттуда большую винную бутылку свяченой воды. Мы все, конечно, выпивали по глотку, но много ведь воды не выпьешь, а выливать нельзя — грех! И она ее прятала куда-то. Я имел счастье быть с ней в приличных отношениях. Мне она жаловалась на свои невзгоды и «притеснения» Марьи Степановны, и, главное, я разговаривал с ней, тогда как другие не любили кричать ей на ухо, и поэтому она ничего не знала и жила бы в вечной тишине, если бы не я. Меня же она еще жалела как сироту и даже плакала, когда меня лупили. Однако к сундуку меня не допускала.

— Умру — все тебе останется! — говорила она.

Умерла она не скоро. Я уже давно уехал и жил за границей, когда до меня дошло известие о ее смерти. Ей было около восьмидесяти лет. В сундуке ее, который она, согласно обещанию, завещала мне, нашли сорок бутылок свяченой воды. Все же раз в жизни я получил наследство!

Кроме родных теток, сестер матери, имелись у меня еще и двоюродные. Их было довольно много. Я запомнил хорошо только двух — тетя Маню и тетю Саню. Обе были помещицы. Одна побогаче, другая победнее. Та, что победнее, тетя Маня, была худая и нервная старая дева. Жила она на хуторе «Озерище» в небольшом именьице, где был деревянный, довольно старый дом, в котором скрипели половицы, и небольшой флигелек. Вокруг росли яблони и вишни, тоже старые, был широкий двор с амбарами — «клунями», как их называют на Украине, огороженный тыном, со скрипучими воротами, и дальше влево — скотный двор, всегда грязный от навоза, где находилась большая изба для работников. Там же была и конюшня. На конюшне стояло пять-шесть лошадей. Одна, которая звалась Мужик, была настолько доброй, спокойной и благодушной, что на ней позволяли кататься детям чуть ли не с пяти лет. Ее седлали, и я мог целыми днями кататься по двору или по лесу. Правда, при всей своей терпеливости, она иногда возмущалась столь неопытным и требовательным седоком и вдруг отказывалась идти дальше. Тогда она останавливалась посреди двора, и никаким кнутом уже нельзя было ее сдвинуть с места. Оставалось только одно — слезть, что я и делал. Тогда она весело убегала в конюшню.

Семью тети Мани составляли отец ее, Михаил Петрович, отставной армейский полковник, больной, старый и раздражительный, с резким, крикливым голосом. Он был ревматик. У него тряслись руки и ноги так, что его надо было водить и кормить с ложки, потому что попасть ложкой в рот он не мог. Он был довольно добродушный человек, хотя и орал целый день на девок, красивых, глазастых, языкастых и лукавых, с чудесными певучими, переливчатыми украинскими голосами. Девчата его нисколько не боялись. но красота и молодость их, по-видимому, его раздражали. Бабушка — обыкновенная кругленькая старушка, которая, как все украинские хозяйки, была большой искусницей в приготовлении всякого рода наливок, вишневок, черносмородиновок, малиновок и настоек — то на зверобое, то на почках березы или

смородины, то на шалфее или мяте. Настойки предназначались для лечения всех болезней, вплоть до коликов и прострелов в пояснице. Докторов тогда было очень мало, и жили они далеко, в уездных городах, а до любого города скачи — не доскачешь. Поэтому вся медицина и фармакопея были домашними.

Гордостью ее продукции были два напитка: варенуха и спотыкач. Варенуха готовилась так. Сначала варились травы. Какие? Это знала только одна она. Потом добавлялся мед, потом взвар из сухих фруктов. Все это смешивалось, в смесь добавлялась водка или спирт, потом процеживалось через кисею и разливалось по бутылкам. Вкус у этого напитка был небесный! Такая бутылка иногда вынималась вечером из чуланчика, к ней подавались печеные яблоки, и... Остальное вам ясно. А другим шедевром был спотыкач. Делался он просто. Когда из большой «сулеи» сливали наливку и разливали ее по бутылкам, то оставшиеся в ней ягоды заливались тепленькой водой. Ягоды «отходили» в воде и выпускали из себя весь спирт, который они в себя впитали. Спотыкач был крепче всех настоек на водке и буквально валил с ног.

Бабушка еще отлично варила, пекла и жарила всякие вкусные вещи: паляницы, кныши, оладьи, пироги — постные и скоромные, блины, кулебяки и пр., коптила гусей, мариновала грибы, делала летом изумительную окрошку из раков. А вареники с вишнями и сметаной? А цыплята, фаршированные пшеном? А зимой, к Рождеству, когда кололи кабана, бабушка готовила украинскую колбасу крупной резки, которую держали слегка обжаренную предварительно на сковородке в растопленном сале, и она сохранялась долго, всю зиму, и по мере надобности от ее колец отрезали кусок и жарили с луком и салом. Из крови делали кровяную колбасу. Кишки, начиненные гречневой крупой или пшеном, подавались к борщу горячими, прямо со сковороды, потом шли всякого рода заливные и студни. А в кладовках зимой целыми огромными пластами висело сало, розовое с коричневыми прожилками, мягкое и вкусное, в особенности с черным хлебом и чесноком или луком. Иногда братья уезжали в ночное, чтобы развлечься, и всегда брали с собой это сало. Как вы понимаете, я увязывался за ними. А какую ветчину запекала в ржаном тесте бабушка, кладя под него лед! А медвежьи окорока, а седло дикой козы!

Да разве перечислить все, что умела готовить эта чудесная старушка! Большая была хозяйка! Теперь уже нет таких. Время не то! Некому этим заниматься, да и не у кого учиться.

Вспоминая, только расстраиваешься и еще, не дай Бог, накличешь такой аппетит, что и насытить нечем. То ли дело теперь. Купишь двести граммов ветчины, простояв за ней часа два и наслушавшись всяких ядовитых словечек от баб:

— Куды лезешь? Моя очередь!

— Позвольте, гражданка, я уже час тут стою. Все видели.

— А я, может, тут и ночевала. У меня, может, инвалидность первой степени. А он лезет! Тоже хам какой-то!

— Позвольте, но зачем же оскорбления? Ведь я же вас ничем не оскорблял...

Но она не слушает.

— Надел желтые ботинки и думает, что он у себя в Лондоне! Тоже — барон... и т. д.

Затолканный, оскорбленный, измученный, зважмешь наконец эту ветчину, принесешь домой, а онв уже в рот не лезет. И думаешь: «Нет, лучше чаю попить с хлебом». Бог с ними, этими гастрономическими изысками! Век такой. Все торопятся, все спешат, наступают на ноги. Бабы злые, как оводы.

А раньше жили не спеша. Выходили замуж, рожали детей в более или менее спокойной обстановке, болели обстоятельно — лежа в постели по целым месяцам, не спеша выздоравливали и почти ничем, кроме хозяйства, не занимались. Без докторов, беэ нудных анализов, без анкет.

Наша нянька, заболев, на вопрос «Что с тобой?» отвечала всегда одно: «Шось мене у грудях пече». А болезни-то были разные.

Умирали тоже спокойно. Бывало, дед какой-нибудь лет в девяносто пять решал вдруг, что умирает. А и пора уже давно. Дети вэрослые, внуки уже большие, пора землю делить, а он живет. Вот съедутся родственники кто откуда. Стоят. Вздыхают. Ждут. Дед лежит на лавке под образами в чистой рубахе день, два, три... не умирает. Позовут батюшку, причастят его, соборуют... не умирает. На четвертый день напекут блинов, оладий, холодцв наварят, чтобы справлять поминки по нем, горилки привезут ведра два... не умирает. На шестой день воткнут ему в руки страстную свечу. Все уже с ног валятся. Томятся. Не умирает. На седьмой день зажгут свечу. Дед долго и строго смотрит на них, потом, задув свечу, астает со смертного одра и говорит: «Ни! Не буде дила!» И идет на двор колоть дрова.

А теперь?

Не успеешь с человеком познакомиться, смотришь — уже надо идти на его панихиду! Люди «кокаются», как тухлые яйца. У всех склерозы, давления, инфаркты. И неудиви-

тельно. Век такой сумасшедший. От одного радио можно с ума сойти. А телефоны? А телевизор? А всякие магнитофоны? Ужас! Кошмар! И все это орет как зарезанное, требует, приказывает, уговаривает, поучает, вставляет вам в уши клинья! И везде: в собственном доме, на улице, в магазинах, в учреждениях, у соседей. Где хотите. И заметьте, что это просто садизм какой-то. Люди иногда даже не слушают, например, радио, а выключить не позволяют: «Пусть говорит».— «Зачем?» — «Так...» Они точно боятся, что если оно замолчит, то будет хуже. Не дай Бог, еще что-нибудь случится. Сплошное засорение мозгов какое-то! Ни почитать, ни подумать, ни сосредоточиться невозможно.

А вечером дети садятся за телевизор, выгнав главу семьи из кабинета, и сладкие, приветливые, «очень миленько» причесанные телетети начинают рассиропливать какую-нибудь копеечную историю с «музычкой» и танцами или показывать захудалый фильм двадцатипятилетней давности, где играют молодые актрисы, которые уже, слава Богу, старухи, которых уже побросали четвертые мужья и которые никак не могут бросить сцену. И вы думаете: «До чего же эта корова Закатайская была когда-то худенькой и хорошенькой!» И прямо диву даетесь.

Я ненавижу телевизор. Из-за него приходится выкидываться из кабинета уже в семь часов вечера: приходят подружки дочерей. Я собираю свои несчастные листки и черновики и иду покорно в столовую — работать. Если там не гладят и не кроят. Пристроившись где-нибудь на уголке, я с трудом выковыриваю из головы какие-то «воспоминания», крепко закрыв три пары дверей, чтобы не слышать, как уважаемые товарищи по искусству орут благим матом, изображая волевых людей и героев!

За что мне сие?.. Даже разложить свой материал на столе нельзя как следует. Стол завален учебниками. Трогать их нельзя. Дочки вернутся после телевизора доделывать уроки и т. д.

А меня сейчас уговаривают купить магнитофон. Нет! Дудки! Через мой труп!

Так вот, раньше ничего этого не было и в помине. Помню, был у тети Мани на хуторе музыкальный ящичек, который играл две-три песенки, да и тот был сломан...

Вторая моя тетка, тетя Саня, жила побогаче. У нее было именьице — хутор «Моцоковка», около Золотоноши. Фрукто-

вый сад занимал пятьдесят десятин и был ее гордостью. Там росли яблони всех сортов — ранеты, антоновка, золотой пармен, кальвиль и другие сорта; груши бэра, дюшес, принцмадам, лимонные, бергамоты; была клубника «виктория», ананасная, лесная и пр.; смородина, крыжовник, малина белая и красная; розовая и белая черешня; шпанка — бледно-красная вишня с косточкой, которая была видна насквозь; вишня черная, крупная, сладкая и кислая; абрикосы, морели, персики. Перед домом были разбиты клумбы. Каких цветов только там не было: и резеда, и флоксы, и маргаритки, и астры, и бегонии, и гладиолусы, и низко стелющиеся по земле разноцветным ковром декоративные растения, и герань, и сирень, и хризантемы, и георгины, и мальвы, и жасмин, и крученые панычи, лиловые, как колокольчики, которые вились вокруг окон и беседок и закрывали весь фасад дома, и гиацинты, и розы. Всех сортов розы — огромные, величиной с чашку, и мелкие, вьющиеся, чайные, бледно-желтые, разливающие к вечеру свой аромат, и белые, почти голубые, без запаха, чистые и прекрасные, как католические девственницы-монахини, гордые и холодные в недоступной красоте своей.

На конюшне стояли кони, их было штук десять: одни для верховой езды, другие — для упряжки. Были фаэтон, коляска на рессорах, шарабан и линейка. Все это прельщало и восхищало мой детский ум, и я мог целыми днями торчать на конюшне, наблюдая, как чистят, кормят и прогуливают лошадей.

А обеды... У тетки был повар Леонтий. Нв первое, например, он подавал украинский борщ из свежей капусты, затолченный салом и чесноком, с молодыми голубями, фаршированными пшеном с укропом. Голубей вынимали из борща и подавали на блюде. Потом были караси в сметане из собственного «ставочка», потом какая-нибудь тетерка или дрофа, которых подстрелили кузены, потом мечта всей моей жизни — вафельный пирог с малиновым вареньем и сбитыми сливками. Я отъедался вовсю: ведь в городе у тетки я вечно был голоден. Часто едва вставал из-за стола. А через дватри часа снова хотелось есть!

Тетка Саня была добрейшая и милейшая тетушка. Полная, рыхлая и добродушная, она уютно сидела на том месте, на которое посадила ее судьба.

В июле в «Моцоковку» к концу полевых работ, когда весь урожай уже бывал снят и тетка ждала покупателей, приезжал старый еврей Шевель, худой, длинный, с кнутовищем в руке

и в долгополом пыльнике. Он подолгу сидел с теткой в гостиной, торгуясь с ней мягким, теплым и ласково-убедительным голосом, бил «на чувство», разжалобливая ее описанием своих бед и несчастий, и покупал весь урожай за полцены — за какую-нибудь тысячу-две рублей. Тетка, давно не видевшая денег, была весьма им довольна и отказывала из-за него другим покупателям. Шевель был тонкий сердцевед, и тетка к нему благоволила. Кроме того, у него всегда можно было одолжить пару сот рублей в счет будущего урожая.

Много милых сердцу воспоминаний связано у меня с «Моцоковкой». Помню, однажды я приехал туда перед Пасхой. Была звонкая, голубая, стеклянная весна. Пасха была в апреле. Уже прилетели журавли, и на крыше старой «коморы» появился первый одинокий аист, озабоченно заготовлявший гнездо для своей семьи. Целыми днями он таскал в клюае сухие ветки и прошлогодние листья, как заботливый муж, которому жена поручила заранее приготовить квартиру к переезду. Уже степенно ходили за плугом по борозде в поле солидные и серьезные грачи и поедали червей, уже в солнечные дни где-то очень высоко в небе кувыркался невидимый жаворонок. Набухали почки сирени в саду, распускалась верба над прудом.

Старые, общипанные галки и вороны, намерзшиеся за зиму, чистили свои мокрые перья, сидя на плетнях, и хрипло кашляли, как ночные сторожа, греясь на солнце и оживленно болтая на своем птичьем языке. А в небе тоже шла предпраздничная уборка. Там передвигали, выбивали и выколачивали огромные белые перины облаков, на которых, вероятно, всю зиму спали ангелы.

К заутрене ездили в Песчаное, за двадцать верст, в маленькую деревянную церковь — к отцу Ионе. Служба была длинная и торжественная. Сочно гудел чудесный украинский хор, состоявший из дивчат и парубков. В двенадцать часов ночи пели «Христос воскресе» и обходили крестным ходом вокруг церкви. Потом отстаивали раннюю обедню и ехали большой компанией со священником к нам, в «Моцоковку», разговляться. В гостиной уже ждал огромный стол, накрытый скатертью и украшенный гирляндами зелени. Чего-чего на нем только не было! И поросята, и индейки, и гуси, и куры, и медвежий копченый окорок, и ветчина, запеченная в тесте, и вазы с яйцами всех цветов — от красных и синих до цвета майского жука, серебряных и золотых, и целый холодный осетр на блюде с куском салата во рту, и сырные пасхи —

шоколадная, сливочная, лимонная, запеченная ванильная, и кренделя, и торты, и вазы с фруктами, и конфеты, и пирожные. Между всеми этими яствами трогательно поднимали свои головки нежные ранние гиацинты — синие, голубые, розовые, желтые. Было шумно и весело. Было много молодежи. Барышни — дочери окрестных помещиков и земской интеллигенции, разодетые в кисейные белые платья,— долго вертелись перед зеркалами, охорашиваясь и поправляя прически и бантики, наконец рассаживались по порядку. По соображениям, ей одной известным, тетя рассаживала будущих женихов и невест рядом, на одном конце стола, а стариков отдельно — на другом. Кузены выбирали себе, конечно, самых интересных девиц.

Насколько мила и добра была тетя Саня, настолько сыновья ее (мои кузены) были типичными помещичьими сынками.

Старший, Володя, учился в Киеве в аристократическом закрытом заведении — коллегии имени Павла Галагана. Принимали туда только юношей дворянского происхождения, и жили они на полном пансионе в прекрасном особняке с садом на Фундуклеевской улице.

Это учебное заведение было предметом моих детских мечтаний. Почему? Во-первых, потому, что кормили там чудесно, а во-аторых, потому, что формой был штатский черный костюм с белой рубашкой и галстучком и штатское черное платье, и только на черной же мягкой фуражке был золотом вышит герб заведения «К. П. Г.». Нас, гимназистов, не пускали ни в оперетту, ни в шантан, ни в ресторан, а они ходили куда им угодно в своем штатском платье и только фуражку прятали в карман пальто. Без фуражек это были вполне штатские молодые люди. Денег у них было много, и они кутили по ночам, шляясь по всем кабакам Киева, и, хотя в двенадцать ночи им полагалось находиться в постели, они входили в стачку со сторожами и педелями и возвращались в свой дортуар под утро через окно. В этом даже были своего рода пикантность и молодечество, и они об этом рассказывали не без гордости. Учились там, конечно, плохо. Отношение к этим жеребчикам было сверхгуманное, и они свободно переходили из класса в класс. В нашей гимназической демократической среде они были предметом зависти и восхищения. Володю и Сережу тетя Саня, конечно, определила туда, ибо ни в одну гимназию они не смогли бы попасть при своих скудных знаниях.

Сережу скоро из коллегии выгнали — это был настоящий недоросль, ненавидевший ученье вроде меня, а Володя закончил коллегию и поступил в университет, продвигаясь неуклонно вперед при помощи товарищей, бедных студентов, которые за деньги держали за него экзамены. В конце концов Володя стал прокурором, а Сережа женился на дочери псаломщика и остался в имении «разводить овечек». Через год-даа женился и Володя на дочери жандармского генерала Захарияшевича.

Расставшись с ними задолго до революции, я уже больше никогда их не видел.

Рано или поздно лето кончалось, и надо было возвращаться в Киев. В городе жилось мне, в общем, плохо. Из гимназии меня то и дело выгоняли. Ботинки мои, да и гимназическая форма изнашивались довольно быстро. Я носил фуражку с гербом гимназии, где цифра 4 (четвертая) была уже выломана и оставались одни дубовые листики. Обыватели смотрели на меня с презрением. В Киеве на Подоле, на Александровской улице, был целый ряд магазинов готового и подержанного платья и обуви. Приказчики были стопроцентные жулики и «жучки». Они стояли перед дверьми своих магазинов, прямо на улице, и ловили покупателей.

— Панич! Купите диагоналевые бруки! — кричали они и хватали за фалды прохожих, таща их в свои магазины. Сопротивляться было невозможно.

— Мне не нужны брюки! — пробовали вы защищаться.

— Тогда купите дров!

— Ну зачем мне дрова?

— Тогда купите гроб! — издевались они.

— Смотри на него! Что он хочет? — удивленно пожимая плечами, спрашивали они друг друга.— Псих какой-то! Не знает, что ему надо!!

А мне ничего не было надо, вот и все. У меня не было денег ни на брюки, ни на дрова. А если уж удавалось скопить рубля полтора и я шел к ним, чтобы купить подержанные ботинки, ибо мои совсем уже расползались, то, будьте уверены, они всучивали мне абсолютную дрянь, кое-как подклеенную картоном и замазанную чернилами. Ботинки эти распадались через полчаса. Ох, жулики, жулики! Царство вам небесное! Прощаю вас ото всей души. Спасибо вам за детство, за то, что мне есть что вспомнить! Киев, Киев, дорогой мой и любимый Киев!

Раз в году, в феврале, была так называемая «контрактовая ярмарка», на которую съезжались купцы и фабриканты для заключения сделок и договоров на поставки товаров. Территория под эту ярмарку отводилась на том же Подоле. Чего-чего туда только не навозили! Ковры, сукна, материи, шелка, посуду, меха, полотно, белье, кисею, бархат, обувь, золото, серебряно-ювелирные изделия, драгоценные камни, духи... и мыло — яичное, сосновое, земляничное, дегтярное, туалетное, издававшее резкие, бьющие в нос запахи на всю площадь. Продавали его казанские татары в тюбетейках.

Продавцы ковров из Армении, любезные и ласковые, бойко зазывали женщин, играя красивыми черными глазами с длинными, почти женскими ресницами. Какие-то восточного вида торговцы — пальцы сплошь унизаны кольцами — ловко раскладывали шелка перед восхищенными дамами, щедро разбрасывая свой товар на прилавке.

Старые сивые украинцы с чубами времен Запорожской Сечи торговали глиняной посудой — «макитрами», кувшинами, мисками, горшками, расписными «кóниками».

Приезжие персы продавали халву всех сортов, рахат-лукум, заливные орехи, миндаль и фрукты в сахаре.

Духи, одеколоны, пудру, помады всех цветов, восхваляя их качества, продавали какие-то одесситы.

— Оренбургские пуховые платки, косынки, ситец, кумач, полотно! — исступленно кричали приказчики.

В балаганах зазывалы показывали «женщину с бородой» и «сросшихся близнецов».

Все это гудело, орало, свистело, требовало, звало, уговаривало:

— Тульские пряники!

— Казанское мыло!

— Астраханские сельди!

— Саратовские сарпинки!

А надо всем этим стоном, ором и звоном отчаянными воплями захлебывались «умирающие черти».

И высоко в голубое небо улетали неожиданно оторвавшиеся разноцветные воздушные шары. Мы бродили по ярмарке целыми днями и вместо того, чтобы идти в гимназию, весело проводили время, радостно впитывая в себя весь этот весенний шум и гам и разглядывая яркую, залитую солнцем толпу.

Там же, на Подоле, несколько в стороне, стоял каменный двухэтажный дом. Это был знаменитый «контрактовый зал». Днем в нем кипела торговая жизнь, заключались и оформлялись разного рода сделки, а вечерами зал этот сдавали под любительские спектакли за десять рублей в вечер. Контрактовый зал стал моей «актерской колыбелью», если так можно выразиться.

Среди киевской молодежи было много молодых людей и девиц, которым безумно хотелось играть, то есть главным образом показывать себя на сцене. Мы шли на все ради этого. Складывались по грошам, снимали зал, брали напрокат костюмы (в долг), сами выклеивали на всех заборах худосочные, маленькие, жидкие афишки... и играли, играли, играли. Чего мы только не играли! За что не брались! И «Казань» Григория Ге, и «Волки и овцы» Островского, и фарсы вроде «В чужой постели», и даже «Горе от ума»!

Билеты распространяли сами, распределяя их среди родственников и знакомых, ибо кто же из так называемой «широкой» публики решился бы посещать наши представления, прельстившись этими афишками? Кого могли заинтересовать звонкие псевдонимы неопытных и отчаянных юнцов, очертя голову бросающихся в этот таинственный и манящий омут.

Мы «докладывали» до каждого спектакля. То есть что значит «мы»? Нам «докладывать» было не из чего. И выручали нас, конечно, все те же многотерпеливые родители и родственники некоторых из «актеров» и «актрис», со вздохами вынимавшие последний засаленный рубль, который у них долго и упорно выклянчивали и который безжалостно слизывала языком ненасытная корова искусства. Многие из широко известных ныне актеров обязаны этому дому своей карьерой. В нем начинали, например, Светловидов, Владиславский — из Малого театра. Были, конечно, в нашем кружке и молодые люди, вовсе не одаренные, но тем не менее они играли. Я помню, например, двух братьев Шиманских, которые играли часто, ибо у них были богатые родители. Они снимали театр и ставили спектакли, играли главные роли, приглашая нас на подмогу. Это тоже было нам на руку. Главное было — играть! А что и какие роли — это не имело значения. Братья смело кидались на «Разбойников» Шиллера, на ибсеновского «Бранда», на «Ревизора». Доходили чуть ли не до «Гамлета». Причем говорили Шиманские с ужасающим польским акцентом. Были талантливый актер Персион, бездарный Сашка Муратов и еще многие другие, имена которых я позабыл. Женщин я что-то не помню. По-видимому,

особых талантов среди них не было. А может, и были, но не пошли потом дальше по этой дороге — повыходили замуж и не попали на сцену.

Было и еще одно место, где мы могли разворачиваться. Это все на том же Подоле. «Клуб фармацевтов».

Статистикой уже доказано, вероятно, что наибольшее количество любителей всякого рода искусств — от поэзии до театра, живописи и музыки — в прежнее время всегда выходило из среды людей, принадлежавших к почтенной профессии фармацевтов. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что профессия очень уж скучная и выписывать латинские рецепты микстур и порошков, конечно, менее интересно, чем декламировать стихи Бальмонта или сонеты Петрарки. А дальше? Потом? Торчать дни и ночи за прилавком аптеки и отпускать клиентам слабительные, клизмы и различные резиновые изделия. Не такое уж это завидное дело! Да еще надо принять во внимание то тяжелое время! Проблема правожительства для евреев, в особенности для молодежи, была очень важной — от ее решения зависела возможность получить образование. Но куда мог пойти учиться еврейский мальчик в царское время? В гимназиях был установлен для еврейских детей строго ограниченный процент, в университетах и технических училищах — тоже, в больших городах и столицах евреи без высшего образования или высокого имущественного ценза могли жить только в определенных районах. Учившимся же в зубоврачебных школах и на курсах фармакологии жить в Киеве разрешалось. Вот почему почти все еврейские юноши были фармацевтами, а все эти красивые девушки, в которых мы влюблялись и за которыми ухаживали, были ученицами зубоврачебных школ.

Все эти молодые люди смотрели на свою учебу как на вынужденный компромисс. Возможность посвятить себя искусству давала надежду избавиться от перспективы стать дантистом или фармацевтом. Вот почему они носили широкополые «испанские» шляпы и черные прорезиненные плащи-накидки с золотыми львами в виде застежек, в коих имели весьма поэтичный и артистический вид. Впечатление усугубляли еще художественные бархатные куртки с пышными, небрежно повязанными бантами. Они поступали в драматические и оперные школы, параллельно учась, так сказать, «на артистов». Иным из них мешал, правда, акцент

и чрезмерный темперамент. Но в конце концов все это было поправимо. Важно было как-то причаститься к искусству!

Мы, киевляне, над ними, по правде сказать, немножко посмеивались, но в общем жили с ними дружно. Киевская еврейская публика была очень отзывчивой на всякие виды искусства. Это, собственно, была главная театральная публика, потому что мои дорогие сородичи-хохлы были ленивы и не очень-то посещали театры.

Так вот, на Подоле был «Клуб фармацевтов», где по субботам устраивались семейные Журфиксы. Тут выступали все киевские молодые таланты. Сцена была открыта для любых выступлений.

Это было нечто вроде теперешней нашей самодеятельности, с той только разницей, что нас никто не субсидировал и никто нами не руководил. Но зато каждый мог продемонстрировать на эстраде клуба свои способности и, если окончательно не проваливался у публики, мог выступать там время от времени. Помню, как я, благополучно распевавший дома цыганские романсы под гитару, вылез в первый раз в жизни на сцену в этом клубе. Должен был я петь романс «Жалобно стонет». За пианино села весьма популярная в нашем кругу акушерка Полина Яковлевна, прекрасно аккомпанировавшая по слуху.

Я вышел. Поклонился. Открыл рот, и спазма волнения перехватила мне дыханье. Я заэкал, замэкал... и ушел при деликатном, но гробовом молчании зала. Так неудачно закончилось мое первое сольное выступление.

Вы думаете, это остановило меня? Ничуть!

В следующую же субботу я появился на той же эстраде в качестве рассказчика еврейских анекдотов и сценок, мною самим сочиненных в итоге пристальных уличных наблюдений на Подоле, возле магазинов готового платья.

На этот раз я имел большой успех.

Такого рода выступления, однако, не удовлетворяли меня. Я мечтал о театре — настоящем драматическом театре, в котором предполагаемый мой талант мог бы развернуться во всю мощь.

Но у меня, к сожалению, был один большой недостаток: я не выговаривал буквы «р», и это обстоятельство дважды чуть не погубило всю мою театральную карьеру. А началась она с того, что на моем горизонте возник вдруг гимназист восьмого класса нашей гимназии Жорж Зенченко. Убежденный второгодник, просидевший в гимназии немало лет.

На вид ему можно было дать лет двадцать: высокий, статный и смазливый парень. Над верхней губой Зенченко пробивались пикантные черные усики. И все горничные и модистки Лукьяновки, на которой он жил тогда, были к нему неравнодушны. Предприимчивый и ловкий, большой комбинатор, он всегда был при деньгах. В гимназии мы, мальчишки, долго являлись жертвами его коммерции. Он продавал нам все что угодно — от финских ножей, которые, конечно же, должен был иметь в кармане каждый уважающий себя гимназист, до конспектов, папирос. На переменках в клозете он широко играл в «орлянку», причем почему-то всегда выигрывал. И вообще ему везло невероятно. Его боялись даже учителя. Так вот этот Жорж, каким-то образом попавший в Соловцовский театр, оказался там старостой статистов. Ему же принадлежало и право набора статистов. Условия, которые он предлагал, были коротки и предельно ясны:

— Я тебя возьму в статисты, но деньги за тебя буду получать сам.

Так говорил он каждому, желавшвму поступить в театр.

А статисту в то время платили пятьдесят копеек за спектакль! И нас было человек пятьдесят—шестьдесят. А иногда и больше, если нужна была большая толпа. Все эти деньги шли в карман Зенченко, ибо мы готовы были на любые жертвы, чтобы только находиться в этом храме, возле волшебных лицедеев, которые потрясали нас своей игрой, дышать этим непередаваемым воздухом кулис, греться хоть издали у великого костра святого искусства!

Так что Зенченко мог жить припеваючи.

Но и этого ему было мало.

Когда он замечал, что у кого-нибудь из статистов появлялись какие-нибудь деньги, Зенченко вдруг подзывал его и снисходительно говорил:

— На будущей неделе я, может быть, дам тебе одну рольку. Там целых два или даже, кажется, три слова. А пока сбегай в лавочку и принеси мне полбутылки водки, франзолю, четверть фунта ветчины и десяток папирос.

Денег на эти закупки он, конечно, не давал.

А труппа Соловцовского театра, которую держал тогда Дуван-Торцов, была очень сильной. Каких только актеров в ней не было! И Дмитрий Смирнов, и Булатов, и великолепный Неделин, и хрупкий, утонченный любовник-неврастеник Горелов, сын Владимира Николаевича Давыдова, потрясавший нас в роли Освальда в «Привидениях» Ибсена, и красавец Орлов-Чужбинин с музыкальным, певучим голосом,

и Двинский, и Вася Бопховской, прекрасно игравший старого студента в модной тогда пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни», и Саша Крамов, и Багров, и Степан Кузнецов, блестящий и разнообразный актер и довольно трудный человек.

Среди актрис были в этой замечательной труппе и вдохновенная Вера Юренева, неповторимая Психея в пьесе Жулавского «Эрот и Психея», или ибсеновская Нора, или Бронка в пьесе Пшибышевского «Снег». И «старуха» Токарева, и синеглазая красавица Елизавета Чарусская. И Пасхалова! Карелина-Рич! А обаятельные молодые актрисы, такие, как Ольга Волконская, Алексеева-Месхиева, Лидия Лесная, которая к тому же была и поэтессой! Да разве упомнишь все имена? Одно могу сказать — это была блестящая плеяда актеров.

С двух часов дня, когда заканчивались уроки в гимназии, мы уже дежурили на Николаевской улице аозле театра. Это было время, когда актеры возвращались с репетиций домой. Мы простаивали часами, чтобы только взглянуть на них. Для нас это были полубоги. Мы не видели и не знали их в быту, в домашней обстановке, в личной жизни, мы видели и знали их только в спектаклях, в тех ролях, где они подымались порой до вершин своего мастерства. А как счастливы и горды были мы, если актер, которому мы подобострастно кланялись на улице, любезно и вежливо кивал нам головой, узнавая знакомых статистов.

А ведь, кроме Соловцовского, были еще и другие театры с другими актерами. В театре «Бергонье», например, играла великолепная комедийная труппа. Там нередко гастролировали такие актрисы и актеры, как Грановская, Баскакова, Астрова, Мурский, Поль, Вронский, Вовка Блюменталь, у которого был какой-то необыкновенный талант играть все что угодно — и все играл чудесно. Он был невыносим порой в частной жизни. Уверенный в своей неотразимости и обаянии, в силе своего имени, он позволял себе черт знает что. Но покоренные киевляне все прощали ему за его редчайшее свойство «самовоспламенения» на сцене — в любой момент и в любой роли!

Был в Киеве и театр оперетты, который играл зимой в том же театре «Бергонье», а летом в саду «Шато-де-Флер». Звездами оперетты были красавица Легар-Лейнгардт, Згрожек-Пашковская и Виктория Кавецкая. В мужском составе славились Греков, Августов, старик Блюменталь-Тамарин, комик, которому не было равных в стране. Помню, когда он выходил в оперетте «Вольф Пфефферкорн» на сцену в халате, весь

обложенный газетами, которые торчали из всех его карманов, и только успевал дойти до авансцены — весь зрительный зал уже задыхался от хохота...

Великим постом на гастроли приезжали Вавич, Монахов, Невяровская, Щавинский и многие другие прославленные в Киеве артисты.

Всеми правдами и неправдами мы, молодежь, пробирались на их спектакли, подкупая «недорогих» капельдинеров, на галерку и умирали от восторга. Актеры «премьеры» пели, танцевали и одевались «сногсшибательно» — «шикарно»! И уходя с этих спектаклей, мы, молодые любители сцены, острее чувствовали свое ничтожество, понимая, что нам никогда не дотянуться до этих вершин.

А так и надо! Сравнение — великая движущая сила, которая побуждает нас к соревнованию и самосовершенствованию.

Летом в Купеческом саду, который существует и до сих пор, внизу, в маленьком деревянном театрике, играла украинская труппа. Саксаганский, Садовский, Карпенко-Карый, Заньковецкая (украинская Комиссаржевская, как ее называли), Манько, Сагайдачный и многие другие чудесные, самобытные актеры составляли ядро этой труппы. Как играла «Наймичку» Заньковецкая! Четыре акта театр заливался слезами! Как смешил Саксаганский в роли парикмахера, авантюриста и жулика Голохвастого в пьесе «Крути, да не перекручивай»! Из-за одной его фразы: «Папаша! Это свинство»,— произносимой с совершенно непередаваемым юмором, стоило смотреть эту комедию.

И даже в кафешантанах Киева, которых было три: «Олимп», «Шато-де-Флер» и «Аполло»,— были такие таланты, что приходилось только удивляться и восхищаться. Кто из старых киевлян не помнит Ю. Убейко, Сергея Сокольского, Бернардова, Н. Плинера, Г. Молдавцева — этих смешных и остроумных куплетистов?

Выступая то в традиционных отрепьях босяков, то во фраках, они приводили публику в восторг своим виртуозным мастерством, своим беспощадным юмором, своей тонкой наблюдательностью. Они вышучивали все. Неудачные пьесы, плохие книги, бытовые несуразности — издевались зло и умно над тогдашними модами, над увлечением цыганскими романсами, над декадентщиной... Только одного из них я терпеть не мог — вульгарного и сального Сарматова.

А женщины? До сих пор в памяти звучат их громкие имена:

— Любовь Мирова!

— Регина де Бергони!

— Каринская!

— Кольчевская!

— Раисова!

— Тамара!

Не говорю уже о Вяльцевой, которая была выше всех.

Как пели они! С какой душой, с каким чувством! Чувствительные киевские купцы плакали под утро пьяными слезами над их песнями, пропивая тысячи за одну ночь. И обожали их, поднося им веера из сторублевок, бриллианты и жемчуга, заставляя всю сцену корзинами цветов!

Да, Киев был театральным городом!

Боюсь все-таки, что вы, дорогой читатель, заподозрите меня в излишнем пристрастии к ушедшим временам. Люди моего возраста обычно брюзжат, все порицая, и живут воспоминаниями, повернувшись спиной к сегодняшнему дню. Но я не из их числа. Я не живу, уткнувшись в прошлое носом и мыслями.

«За прошлое в ломбарде ничего не дают» — гласит старая немецкая пословица. Алексей Максимович Горький, как вам известно, выразился еще точнее: «В карете прошлого — далеко не уедешь!» Альфред де Мюссе писал: «Прошлое — это старуха, которая наряжается в розовые платья». Какое же резюме из всего этого? Какой вывод? А вот какой: проводить эту огорченную неудачей старуху из ломбарда до кареты, посадить ее туда осторожно, стараясь не измять ее розового платья,— и пусть катится куда хочет! Таково мое личное мнение. Ибо сегодняшний день и особенно завтрашний для меня гораздо важнее, интереснее и дороже. Искусство всегда в движении. В общем, я считаю, что в нашей бурной, торопливой и занятой жизни самое главное — это «добежать до кладбища вприпрыжку». Вот почему меня ужасно раздражают люди, живущие прошлым. Во-первых, они немилосердно скучны в своей неподвижности. Во-вторых, они безбожно врут и путают даты. Все уже перемешалось у них в голове. Знакомясь со мной за кулисами во время концерта или где-нибудь в вагоне поезда, они начинают разговор приблизительно так:

— Вы знаете, дорогой, я ведь вас еще в девятьсот... затертом году слушал в... Крыжополе! (Отродясь там не бывал!)

Я не даю ему кончить:

— Ну еще бы! — говорю я.— Я ведь начинал еще при Екатерине!

Или представьте себе даму лет шестидесяти пяти, которая, познакомившись со мной, с места в карьер начинает щебетать:

— Вы не представляете себе, маэстро, какая я страстная ваша поклонница. Ведь я была ребенком, когда вы уже были знаменитостью. Я помню, мама била меня за то, что я бегала на ваши концерты.

Тогда, собрав все остатки хорошего воспитания, дрожащим от ярости голосом я отвечаю:

— Мне очень трудно, конечно, мадам, представить себе вас ребенком. Боюсь все же, что мама била вас за другие провинности.

Так что имейте в виду — я не люблю людей своего возраста. А мемуаров я просто терпеть не могу и никогда ничьих не читаю. Они старят нас, актеров. И еще я заметил, что когда человек напишет их — так обязательно в скором времени «кокнется», то есть отдаст концы. И если я решился написать эти воспоминания, то только под настойчивым давлением молодежи, которая уже четырнадцать лет, как я вернулся, уговаривает меня написать книгу. А молодых я люблю. Мне приятно и весело с ними. Во всех своих поездках я окружаю себя молодыми людьми. И они, как галчата, разевают рты, слушая мои нескончаемые рассказы о моей долгой и, по правде сказать, небезынтересной жизни.

Впрочем, это лишь небольшое шутливое отступление. Так или иначе, но сейчас я должен снова вместе с вами, читатель, вернуться в прошлое.

Как-то великим постом, когда Соловцовский театр закрывался и актеры разъезжались на гастроли, в «Народном доме» на Большой Васильковской улице были объявлены выступления Бориса Путяты. Ставили «Мадам Сан-Жен». Путята играл Наполеона. Нужны были статисты. Зенченко, между прочим, взял и меня. Когда начались репетиции, потребовались два мамелюка для личной охраны императора, которые должны были неподвижно стоять, скрестив руки, у дверей его кабинета. Перед появлением Наполеона они возглашают по очереди только одно слово: «Император». Одним из этих мамелюков твердо решил стать я. Ведь это уже

была роль! В ней можно было выдвинуться, думал я. Важно ведь только начать. Сказать наконец живое слово со сцены. А то статистом так и промолчишь всю жизнь. Я обратился к Зенченко. За три рубля эту «роль» он дал мне. Деньги были немедленно украдены мной из комода тетушки. Три дня и три ночи я не ел, не пил и на асе лады повторял:

— Император!

И вот первая репетиция. Путята приехал на нее, красивый, крепкий, стройный, в какой-то голубой венгерке и рейтузах, но с опозданием и не в духе.

Четвертый акт. Кабинет Наполеона. Мамелюки стоят, скрестив руки, у дверей. Наполеон приближается. Сейчас он войдет.

— Император! — возглашает первый мамелюк.

— Импеятой! — повторяю я вслед за ним.

— Что? что? — скривив лицо, переспросил Путята.— Это еще что за косноязычный? — накинулся он на помрежа.— Кого вы тут наставили? Убрать немедленно!

И меня убрали.

Так сломалась моя театральная карьера.

Потом, много лет спустя, когда я уже был известен, а Путята был на склоне своей театральной жизни, мы с ним встретились в Харькове и очень подружились. Но я все же не мог простить ему этот инцидент.

А дома у тетушки дела мои стали совсем плохи. К тому времени меня уже окончательно выгнали из гимназии. Наступил 1905 год. Надвигалась первая революция. Молодежь была начинена динамитом. Мы собирались в кружки на квартирах товарищей, читали нелегальную литературу, разносили по рабочим районам листовки и прокламации, слушали зажигательные речи ораторов. В Киеве взбунтовались саперы. Мы ходили с кружками по городу, собирая для них деньги. Возле Еврейского базара в толпу стреляли войска. Было много раненых и убитых.

Время было такое, что если гимназист пятого класса умирал, например, от скарлатины, то вся гимназия шла за его гробом и пела: «Вы жертвою пали в борьбе роковой!» Взрослые покачивали головами и растерянно уговаривали нас «подумать», «не спешить», «беречь себя» и пр. Но, в общем, что с нами делать. Тетка моя приходила в ярость.

— Мало того, что ты босяк, выгнанный изо всех гимназий,— говорила она,— так ты еще хочешь, чтобы нас всех арестовали из-за тебя?

А ко всему я еще и возвращался домой поздно. Спектакль кончался в 12 часов, и я стучал в дверь кухни уже во втором часу ночи. Пока дойдешь с Николаевской на вокзал!

Добросердечные кухарки сперва открывали мне по ночам, и я, полузамерзший и голодный, входил в теплую кухню, доедал остатки ужина и пробирался на деревянный сундук в передней, укрывался старым гимназическим пальто и сладко засыпал непробудным сном молодости.

Но тетка сказала однажды:

— Где ты шляешься, там и ночуй!

И строго-настрого запретила кухаркам впускать меня в дом по ночам. Тщетно я стучался в окно кухни. Что было делать? Куда пойти? Где ночевать? Бросить театр я не мог. Это было выше моих сил. А друзей, у которых я мог бы переночевать, у меня не было. В саду стояла беседка. На зиму она запиралась на замок. В ней лежали грубые солдатские ковры. Выломав две штакетины в беседке, я влезал в нее и, закутавшись в эти ковры, засыпал на морозе. И мне было тепло. А утром я приходил на кухню и пил чай, умывался и приводил себя в порядок, как ни в чем не бывало.

В конце концов тетка все же выгнала меня из дому, и я стал ночевать в чужих подъездах, просиживая ночи на ступенях холодных лестниц. А потом... потом у меня завелись другие знакомые и друзья — молодые поэты, художники, литераторы. Я попал в среду богемы. Тут мне стало немного легче. Потому что почти всем нам было одинаково плохо, мы делились друг с другом всем, что у нас было, и жили как-то сообща.

Юность в Киеве

В 1912 году в журнале «Киевская неделя» был напечатан мой первый рассказ — «Моя невеста». Рассказ был написан в модной тогда декадентской манере и оказался довольно заметным на фоне киевской беллетристики. Потом появился второй — «Папиросы «Весна» — в том же стиле. Потом одна из киевских газет, «Отклики», взяла у меня рассказ «Лялька». Обо мне уже стали поговаривать как о подающем надежды молодом литераторе.

Тут я попал в один хороший литературный дом, о котором на всю жизнь сохранил самые теплые воспоминания. Это был дом Софьи Николаевны Зелинской, преподавательницы женской гимназии, очень образованной и умной женщины. У нее собирался весь цвет интеллигенции Киева. Мужем ее был Н. В. Луначарский, брат Анатолия Васильевича Луначарского. Софья Николаевна приняла во мне дружеское участие. Меня подкармливали в этом доме, а впоследствии на даче оставляли даже жить. Многому я научился там. Зелинская была женщина с большим литературным вкусом. Ее влияние удержало меня от чрезмерного упоения собственными дешевыми успехами. Во мне развивалось настоящее, серьезное отношение к литературе, вырабатывался вкус к настоящей поэзии. Вырабатывалось чувство меры в частности — очень важное чувство!

Неизвестно, что бы вышло из меня, если бы не этот уютный милый дом, где всегда было тепло, где вечерами на столе уютно кипел самовар и подавались к чаю бутерброды с холодными котлетами и колбасой. В ее доме бывало много интересных людей. Поэты Кузьмин, Владимир Эльснер и Бенедикт Лифшиц, художники Александр Осмеркин, Казимир Малевич, Марк Шагал, Натан Альтман, Золотаревский и другие, имена которых я уже забыл, и главное — много талантливой молодежи.

В доме у Софьи Николаевны я встретил молодого киевского доцента Александра Брониславовича Селихановича — добрейшего и благороднейшего человека, прекрасно образованного, умного и начитанного, который, сразу оценив мои способности и видя безвыходность моего положения, взял меня к себе в свою, правда, холодную, нетопленую комнату — на Печерске, где он жил с братом. У него я и ночевал. Это все же было теплей, чем в беседке. У него была большая библиотека, из которой, должен сознаться, я потаскал немало книг. Книги эти я продавал на толкучке. Есть-то ведь надо было! Возможно, что он догадывался о хищениях, но со свойственной ему деликатностью душевной и виду не подавал.

Через много лет, вернувшись на родину, я встретился с ним в Пятигорске; он профессор и преподает в одном из институтов, а мне до сих пор стыдно смотреть ему в глаза!

Я все время был в кругу поэтов, художников, актеров, журналистов. Может быть, у меня глаза разбегались? Но все никак не мог решить, кем хочу стать: то ли поэтом, то ли актером, то ли писателем.

Купив на Подоле на толкучке подержанный фрак, я с утра до ночи ходил в нем, к изумлению окружающих. Вел себя я вообще довольно странно. Выработав какую-то наигранную манеру скептика и циника, я иногда довольно удачно отбивался и отшучивался от серьезных вопросов, которые задавали мне друзья и ставила передо мной жизнь. Не имея перед собой никакой определенной цели, я прикрывал свою беспомощность афоризмами, прибавлял еще и свои собственные, которые долго и тщательно придумывал, и в скором времени прослыл оригиналом. Но пока я играл роль «молодого гения» и «непонятой натуры», ум мой неустанно и машинально искал выхода.

Мы, богема, собирались в подвале, в маленьком кабачке под Городской думой, где торговали дешевым вином и сыром, и горячо спорили по целым дням, ничего фактически не делая и ничем не занимаясь. Я просиживал там дни и ночи — долговязый, презрительный и надменный, во фраке, всегда с живым цветком в петлице, снобирующий все и вся. Я эпатировал буржуа!

Киев был полон молодых красивых девушек. И я влюблялся то в одну, то в другую. Познакомившись со мной, эти девушки до какой-то степени подпадали под мое «дурное влияние». Тогда перепуганные родители, до которых доходили тревожные слухи, приезжали за ними в Киев и, вырвав своих дочерей из-под моего «демонического» воздействия, увозили домой в какой-нибудь Могилев или Бердичев...

Когда у тетушки Марьи Степановны родились дети — Сережа, потом Алеша,— она стала мягче и добрее. Дети, а главное — собственные, как-то переменили ее характер. И ко мне она стала относиться лучше. Я уже не жил у нее, как прежде. Но иногда все-таки, когда было трудно, поселялся у нее в доме на время. Мое место заняла Кинька — дочь Лидии Степановны, которая умерла к тому времени. Кинька училась в Киевском институте благородных девиц, закрытом дворянском учреждении, где воспитывали в полном неведении жизни стопроцентных дур, которых готовили в жены каким-нибудь лоботрясам и недорослям — сыновьям богатых родителей. Их учили языкам, музыке и хорошим манерам, и, выйдя из института, они ни к чему не были приспособлены. Киньке отец оставил немного денег и кой-какие вещи, и она была, конечно, в доме Марьи Степановны на лучшем положении, чем я. Кроме того, она была благонравна,

скромна и своим поведением не настраивала против себя весь дом. Я таскал из ее комода всякие безделушки, продавал их на толкучке. С ней, беднягой, я совсем не церемонился. И когда мне хотелось сделать подврок какой-нибудь очередной своей пассии, я выцыганивал у Киньки какие-нибудь сережки или браслетик, причем резоны приводил такие:

— Ты же рожа! Ну зачем тебе эти серьги? Посмотри на себя в зеркало! А Роза (или какая-нибудь Сонечка, в зависимости от того, как ее звали) — красавица!

Бедная Кинька, потрясенная убедительностью этих аргументов, кротко отдавала мне свои скромные драгоценности.

Действительно, я был бандит!

Мы влюблялись, писали девушкам стихи, ломались перед ними, играя то в Дорианов Греев, то в лейтенантов Гланов, по Кнуту Гамсуну, острили, снобировали, гениальничали и кружили их юные провинциальные головки.

Помню, был я влюблен в одну девушку-медичку. Звали ее Кэт. Она была стройная, зеленоглазая, и брови у нее были похожи на крылья ласточки. Помню, что жила она на Ирининской улице, где-то на шестом этаже большого дома. Долго продолжался наш поэтически-платонический роман, потом как-то оборвался сам собой. Через тридцать лет, когда я, объехав весь свет, вернулся на родину, однажды в одном городке ко мне за кулисы перед концертом зашла крупная суровая черная женщина с усами.

— Вы не помните меня? — спросила она.

— Нет! — чистосердечно признался я.

— Меня зовут Кэт. Помните? Я — Кэт!

— Какая Кэт? — спросил я.

Вместо продолжения разговора эта дама вынула из сумочки мою маленькую уличную моментальную фотографию тех времен, в широкополой испанской шляпе, где было написано: «Черной ласточке, зеленоглазой Кэт от ее вечного раба» и т. д. Я вспомнил... и мне стало бесконечно грустно.

— Я старший хирург местного госпиталя! — с достоинством сказала она.

И я представил себе, как безжалостно она кромсает человеческое тело.

— Зачем вы пришли сюда? — спросил я.— Вы бы навеки оставались у меня в сердце «черной ласточкой». А теперь вы убили «черную ласточку» моей юности навсегда.

Да... у женщин не всегда хватает ума и такта в таких вещах!

На модных тогда литературных «судах» и диспутах мы оттачивали свои мысли и свои языки. Эти общения дали мне новых друзей. Все это были более или менее благополучные юноши. Жили они безбедно, за счет родителей. Они не нуждались, как мы, богема, и охотно делились с нами своими достатками.

А были и другие. Например, некий Сашка Войтиченко. Отец его жил в Нежине и солил огурцы. У него были две сестры, в одну из которых, Манечку, я даже кратковременно влюбился, пока не узнал, что она вышла замуж за околоточного надзирателя. Сашка был красивый украинец с огромными черными глазами и пышными кудрями. Больше всего ему хотелось, как и мне, славы, успеха, признания. Играл он на своих цимбалах по слуху неплохо, довольно задушевно. Но, конечно, не имел музыкального образования и заменял его большой самоуверенностью и наскоком. Он уезжал на курорты в Крым и на Кавказ, где-то выступал. О нем что-то писали. Все это он подклеивал в альбом, вырезал из газетных статей только то, что ему нравилось, остальное выкидывал. Мы дико завидовали его мнимым успехам. Цимбалы, купленные на толкучке, он выдавал за редчайший инструмент XVII века — «запорожский кимвал». Для большей достоверности он сделал этому «кимвалу» шикарную подставку-резонатор и обклеил его старинными медальонами, тоже купленными на толкучке.

В конце концов и он сам, и даже мы, скептики, поверили в эту явную аферу.

Я вскоре потерял его из виду и встретил много лет спустя в Ницце. Он разбогател благодаря женитьбе на состоятельной итальянке. На цимбалах уже не играл.

Был еще Эдя Бурковский — неудачный баритон с вечным катаром горла, с какими-то полипами на связках, мешавшими ему сделать «мировую карьеру». Он только лечился, но не пел.

Иногда мы голодали все вместе, иногда жили получше (когда кто-нибудь получал деньги), бродили по Киеву, спорили до одури, писали, читали, пели, говорили, декламировали, но ничего не могли сделать, чтобы пробиться в люди.

Был еще чудесный маленький человечек Александр Поляцкий, затевавший время от времени какие-то журналы, которые за отсутствием денег не шли дальше третьего номера. В этих журналах мы печатались всей коммуной.

Потом появился другой нищий издатель и редактор,

некий Аполлон Карпов, выпускавший театральную газетку-программку в три страницы с репертуаром всех киевских театров. В ней я начал писать маленькие рецензии о спектаклях. Но газетка эта шла плохо и вскоре зачахла. С большой нежностью вспоминаю я этого Карпова, его тихую, бедную, больную жену и то время, когда мы все спали в единственной крошечной комнатке редакции — он с женой на диване, а я — на полу, на газетах, которыми и укрывался. Каждый вечер они с женой покупали на наши скудные прибыли четверть фунта копченого сала и несколько булок и делились со мной по-братски.

Потом я был корректором в типографии Борщаговского на Крещатике.

Потом в поисках работы я нанимался в помощники бухгалтера в Европейскую гостиницу, откуда меня скоро выгнали за неспособность, продавал открытки с «тещиными языками» у фотографа Маркова, грузил арбузы на барках на Днепре, и много еще профессий перепробовал я в то время. С гимназическими товарищами я все же не терял связи. Иные из них снабжали меня то бельем, то деньгами, конечно, тайком от родителей.

В эту пору я жестоко влюбился в тонкую, стройную и красивую двадцатилетнюю «разводку» Марусю Емельянову. И даже специально подружился с ее братом Павликом, и даже снимал с ним пополам комнату за пять рублей в надежде, что Маруся иногда будет заходить к брату и я ее смогу видеть. Но она, увы, так и не зашла ни разу за все время. Она сошлась с противным, толстым, похожим на борова жандармским полковником Ивановым и жила в маленькой гостинице у Золотых ворот. Я ходил влюбленный, замученный и несчастный вокруг этой гостиницы в надежде ее встретить и, увы, не встречал! А когда я справлялся о ней у швейцара, он всегда отвечал: «Нет дома!» Очевидно, такой был ему дан приказ.

Однажды утром я прорвался через эту блокаду. Швейцара не было, я постучался в дверь номера и вошел. Дверь была не заперта. Маруся лежала в кровати с жандармским полковником, который так рассвирепел при виде меня, что погнался за мной в коридор в одних подштанниках. После этого моя любовь тут же скончалась в страшных мучениях.

Все это как будто обыденно просто и даже, может быть, неинтересно, но каких мук мне это стоило! Каких страданий! Каких слез! Каких бессонных ночей!

Да... Если и есть на свете любовь, в чем я очень сомневаюсь, то она бывает только в юности. А теперь, перебирая

в памяти все свои многочисленные «любви», которые заполняли когда-то мою жизнь, когда я вспоминаю, из-за каких женщин я страдал, и переживал, и мучился, я изумленно думаю: «Какой же я был дурак! Как я мог так страдать из-за таких обыкновенных, злых, расчетливых и ограниченных женщин? Наваждение какое-то! Да повторись все это еще раз теперь — я бы и глазом не моргнув отвернулся бы от таких чувств». А вот поди ж ты, сколько все это мне стоило здоровья и нервов. И что же? Только вот об этих влюбленностях и бедной юности моей я и вспоминаю нежно и светло...

А жизнь шла своим чередом. Приезжали в Киев, в оперу, итальянские знаменитости Джузеппе Ансельми, Титто Руффо, Баттистини. Кое-кого мне удавалось порой послушать, проскочив мимо всевидящего капельдинера. Но в конце концов меня обычно ловили и выгоняли из зала. «Зайцем» трудно было проникнуть в театр, тем более что капельдинеры нас знали в лицо. Но иногда удавалось попасть в статисты на тот или иной спектакль, и тогда я уже слушал всю оперу с начала до конца. Оперу держали антрепренеры Бородай и Брыкин. У них пели лучшие артисты России: Давыдов, изумительный Германн в «Пиковой даме», Тартаков, выступавший в «Демоне», Бакланов — в «Риголетто», Собинов — в «Онегине» и даже сам Шаляпин! Что тогда делалось с киевлянами! Они дежурили дни и ночи у касс, платили барышникам бешеные деньги за билеты.

Впрочем, увлекались в Киеве не только оперой. Было, например, множество любителей французской борьбы. В цирк П. С. Крутикова на Николаевской улице, немного ниже Соловцовского театра, ходили все — и стар и млад. Борцы были первоклассные: Поддубный, Иван Заикин, Вахтуров, красавец Лурих, негр Бамбула, матрос Сокол, японец Катцукума Саракики, маленький, увертливый, как обезьянка, который имел железные пальцы и, поймав противника за кисти рук, сдавливал их, как железными клещами, с такой силой, что заставлял от невыносимой боли ложиться в партер на обе лопатки. Впрочем, может быть, это был трюк для публики? Роли вообще были распределены между борцами, как в театре между актерами. Один изображал из себя зверя — рычал и кидался, как тигр, на своего противника, другой хамил, пользовался запрещенными методами, третий вел себя, как джентльмен — Лурих, например, четвертого якобы затирали и не давали ходу, и он жаловался публике. И каждый борец

знал свое амплуа и строго придерживался его. Поэтому одних любили, других ненавидели.

Перед началом представления выходил на арену известный всему Киеву «дядя Ваня» Лебедев, арбитр и тренер, и хорошо поставленным голосом объявлял публике фамилии выступавших борцов. Он же следил за борьбой и время от времени бросал в публику колючие реплики, чтоб не скучали. Иногда борцы кидались на него, изображая ярость по поводу его лаконичных приказаний и категорических суждений. Но, конечно, все это был розыгрыш, заранее подготовленный и прорепетированный. А мы шли на эту борьбу, как в церковь. И не было большего огорчения, чем пропустить ту или иную встречу. Слава Богу, билеты были дешевые.

Помню, как в бытность мою статистом у «Соловцова» группа наших «маленьких» актеров пришла в цирк просить контрамарки. Администратор, необычайно важный и зазнавшийся тип, холодно пожал плечами и отказал.

— Почему я должен давать вам контрамарки? — спросил он.— Ведь наши лошади к вам в театр не ходят.

Мы ушли с носом.

Через несколько дней группа циркачей пришла к нам в театр за тем же.

Наш администратор Бунин, которому стал известен этот инцидент, так же холодно пожал плечами и сказал:

— Ведь ваш администратор обещал, что его лошади не будут ходить к нам в театр...

В Купеческом саду летом играл оркестр оперного театра, которым дирижировали известные в то время дирижеры Сафонов, Шнеефогт, Палицын, Эмиль Купер, Коутс и другие, приезжавшие из-за границы. Гастролировали и знаменитые скрипачи — Ян Крейза, Антон Берглер, Ян Кубелик...

Вход в сад стоил всего двадцать копеек. Но и этих денег у нас не было. И мы, для того чтобы попасть на концерт, пробирались со стороны Царского сада через забор или со стороны Александровской улицы, где нужно было взобраться на глазах у полицейских на огромный вал, обсаженный зеленым дерном, и потом пролезть через ряды колючей проволоки, разрывая одежду, и только тогда мы попадали в нижнюю часть сада, где стоял деревянный театрик Саксаганского.

И мы лезли. И пролезали. И попадали в сад. И наслаждались музыкой.

Да-с! Искусство требовало жертв. И мы их приносили, эти жертвы. Одних штанов сколько порвали...

Однажды Жорж Зенченко повел меня на Ямскую улицу, где были расположены дома терпимости. Не знаю, чем я заслужил такую высокую честь с его стороны, вероятнее всего, ему было просто скучно идти одному, поэтому он решил прихватить и меня. Открыла нам дверь хозяйка, старая, жирная и рыхлая, с огромным животом, с глубокими бороздами на лице, наштукатуренная до того, что с лица ее сыпалась пудра, накрашенная, с подведенными синим карандашом глазами, вся в рыжих с проседью буклях, с цыганскими серьгами в ушах и дутыми, толстыми браслетами. Все пороки и грехи мира отражались на ее лице. Было часов семь вечера. В маленьком вонючем зальце было полутемно. Горела только керосиновая лампа с розовым стеклянным абажуром. У стены стоял широкий грязный диван с засаленными подушками, у окон — скучные чахлые фикусы с мертвыми картонными листьями, давно уже не знавшие воды, засиженные мухами. Тусклое трюмо, кисейные занавески на окнах, изнутри закрытых ставнями, и старое фортепьянишко с оторванной крышкой. За фортепьяно сидел тапер, слепой старик с исступленным лицом и мертвыми костяшками пальцев, скрюченных подагрой, играл какой-то «макабр». А на диване вокруг него сидели девицы. У них были неподвижные лица-маски, точно все на свете уже перестало их интересовать. Они распространяли вокруг едкий запах земляничного мыла и дешевой пудры «Лебяжий пух». Хозяйка, по-видимому, благоволила к Жоржу, потому что начала суетиться, сюсюкать и кокетничать, напоминая старую няньку, прыгающую козлом для развлечения капризного ребенка, который не хочет есть. Меня передернуло от отвращения. Тапер между тем заиграл блатную песню «Клавиши» и завопил диким голосом:

Ну так пойте же, клавиши, пойте!
А вы, звуки, летите быстрвй!
И вы Богу страничку откройте
Этой жизни проклятой моей!

Мне все это совсем не понравилось. Я весь дрожал от омерзения и жалости к этим людям. Я стал умолять Жоржа:

— Уйдем отсюда! Ради Бога! Мне дурно!

Хозяйка гневно нахмурила брови. По-видимому, она боялась, что я уведу гостя.

— Эх, господин гимназист,— укоризненно сказала она,— как вам не стыдно! Вы же не мужчина! Вы какая-то... сопля на заборе!

Жорж расхохотался. А я растерянно вышел на улицу и поплелся домой. И вдогонку мне неслась уже другая, совершенно безграмотная, но тоже «задушевная» песня. Я запомнил ее навсегда:

Потом я, бедняжка, в больницу пошла,
Мине́ доктора осмотрели...
Но все-таки с голоду я померла,
Скончалась на прошлой неделе!

...Заканчивалась моя жизнь в Киеве. Делать мне в этом городе было нечего. Слишком хорошо здесь знали меня и всю мою подноготную, а как вам известно — нет пророков в своем отечестве. Мне надо было куда-нибудь уехать, чтобы сделать карьеру. Но куда же?

В Москву, конечно! В столицу! В центр!

Я решил ехать. Накопив двадцать пять рублей, я подыскал себе компаньона — маленького актерика Сашку Муратова. Этот Сашка был категорической бездарностью. Но у него был «гардеробчик», то есть несколько костюмов для сцены. В то время нанимали маленьких актеров только по одному признаку — по наличию гардероба. Великим постом антрепренеры приезжали в Москву, и там, в театральном бюро Рассохиной, если не ошибаюсь, в Газетном переулке, где, кстати, была знаменитая Рассохинская театральная библиотека, заключали сделки с актерами и, набрав «главных», брали потом «мелочь» на выхода́ по двадцать пять рублей в месяц, со своим гардеробом. Сашка этот был маленького роста, нагловатый и сообразительный «жучок». Он загодя завел роман с толстой колбасницей Гейнце, которая и справила ему необходимые костюмчики. Мы сговорились ехать в Москву вместе. Купили билеты третьего класса. Объявив тетушке, что уезжаю в Москву за славой, я, очевидно, как-то тронул ее сердце. Во всяком случае, она наварила и напекла мне на дорогу всего, чего только можно.

Поезд уходил утром.

Я пошел на вокзал пораньше, а корзинку должна была принести к поезду девчонка Дунька, новая теткина горничная. Какие-то котлеты еще не были готовы, недожарились, поэтому я не взял корзинку с провизией.

Первый звонок, я уже сижу в вагоне и мучительно вглядываюсь туда, откуда должна появиться Дунька. Но Дуньки нет.

Второй звонок.

Нет!

Третий звонок.

Ее нет!

Поезд двигается... Он набирает скорость... Мелькают стрелки, фонари... семафоры...

Вот она! Вот! Наконец эта проклятая Дунька! Она бежит, размахивая корзинкой, и силится догнать поезд. Куда там... Конец всему!

Я остался без еды. А сколько вкусных вещей было в этой корзинке! Боже мой! За что ты так жестоко наказываешь меня! Все, все пропало! Через два часа актерик Муратов вынул из свертка бутерброды с колбасой, ветчиной и сыром и скромно сказал:

— Простите, что не предлагаю вам! У меня так немного...

Я проглотил слюну и отвернулся к окошку.

Юность в Москве

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось...

А для моего — особенно. Я ведь столько мечтал о ней. Это был город моих надежд. Здесь и только здесь я мечтал прославиться на всю планету, покорить весь мир. Заставить умолкнуть все разговоры, кроме разговора обо мне, повернуть все взоры людей в мою сторону, чтобы вся Вселенная восхищалась только мной одним и ни на кого больше не обращала ни малейшего внимания! А я... Я буду стоять — высокий, гордый и прекрасный в совершенно новом фраке (не с толкучки, конечно, а от лучшего портного) и надменно улыбаться, скрестив руки...

Почему — «скрестив руки»? Не знаю. Так полагалось вождям индейцев у Фенимора Купера.

Увы, этим «скромным» мечтам было еще очень далеко до осуществления.

А пока... Собрав свои вещички и погрузившись на извозчика, мы не спеша тронулись в путь с вокзала, наказав кучеру ехать на Тверскую — единственную улицу, название которой было нам известно. Протрусив неторопливой рысцой через весь город, мы остановились в Газетном или Долгоруковском переулке в грязных номерах какой-то гостиницы, где внизу

был постоялый двор для извозчиков, с трактиром и неизбежной «машиной», гудевшей с утра до ночи. Из окон нашего номеришка был виден двор, заставленный извозчичьими пролетками, а посреди двора стоял железный рельс, на котором укреплена огромная вывеска: «Просят господ извозчиков матерными словами не выражаться!» Это была уже явная забота администрации о постояльцах гостиницы.

В номере стояли одна кровать, стол, стул, комод, умывальник да еще зеркало, засиженное мухами. Актерик немедленно узурпировал кровать, а мне предоставил ложе на полу, к чему я, собственно говоря, привык и чему особенного значения не придавал.

Прямо напротив входа в гостиницу была водогрейная Карамышева, где чайник кипятку стоил одну копейку, а ситный хлеб — три копейки. Правда, на керосинке в эмалированном корытце с утра до ночи кипела в сале чудесная беловская колбаса, которой давали на пятачок довольно много, да еще с горчицей и хлебом. Но эта роскошь была уже не по моим средствам.

Актерик не вынимал своих денег, предпочитая, очевидно, тратить их на себя лично. Дело в том, что еще в начале поездки я совершил одну непростительную ошибку. Я имел глупость отдать свои двадцать пять рублей на хранение. Этими деньгами он уплатил за номер за месяц вперед, как полагалось, и преспокойно жил, тратя собственные деньги где-то на стороне, а мне предоставляя подыхать с голоду. Вероятно, киевская колбасница снабдила его какими-то средствами, потому что он всегда был в весьма хорошем настроении. Я подозреваю, что он даже обедал каждый день. Эдакая свинья! Мое же питание состояло только из кипятка — без заварки и без сахара — и ломтя ситного два раза в день, утром и вечером.

Каждое утро актерик надевал один из своих «костюмчиков» — то абрикосового цвета, то вишневого, то серого — с тщательно отглаженными брючками, которые он клал под матрац на всю ночь,, и уходил в театральное бюро — «кидаться в глаза» антрепренерам в надежде получить ангажемент.

Прожив спокойно месяц в оплаченном мною номере, он скоро устроился куда-то в Елабугу на летний сезон эа двадцать пять рублей в месяц, откуда, впрочем, его быстро выгнали, как я узнал позже. Он уехал, даже не попрощавшись со мной, и я остался один. Правда, я получил возможность спать на кровати, но... месяц кончался, а других двадцвти

пяти рублей у меня не было. Пришлось расстаться с гостиницей.

Продав на Трубной площади свой киевский фрак, я снял у какой-то дворничихи за три рубля угол, оклеил стены открытками и начал новую жизнь.

Надвигалось трудное время. Профессии у меня — никакой, а найти работу в Москве было почти невозможно. Вот теперь, когда я вспоминаю то время, я сам не могу понять, как же и на что я жил тогда? Денег у меня не было. Друзей тоже. А вот жил же как-то! Очевидно, на одном энтузиазме. В дальнейшем все же постепенно появлялись знакомые. И хотя никто из них и не думал принимать какое-либо участие в моей судьбе, тем не менее я все-таки как-то существовал в куче московских квартирантов из Киева. Они существовали, и я существовал, они дышали, и я дышал. Они обедали. И я... не обедал. А все-таки жил всем назло.

А Москва была чудесная! Румяная, вальяжная, сытая до отвала, дородная — настоящая русская красавица! Поскрипывала на морозе полозьями, покрикивала на зазевавшихся прохожих, притопывала каблучками. По горбатой Тверской весело летели тройки, пары, лихачи-кудрявчики.

— Пади!.. Берегись!..

В узеньких легких саночках, тесно прижавшись друг к другу, по вечерам мчались парочки, накрытые медвежьей полостью. В Охотном ряду брезгливые и холеные баре иногда лично выбирали дичь к обеду. Там торговали клюквой, капустой, моченой морошкой, грибами. Огромные осетры щерили зубы, тускло глядя на покупателей бельмами глаз. Груды дикой и битой птицы заполняли рундуки. Длинными белыми палками висела на крючках вязига для пирогов. И рано утром какой-нибудь загулявший молодец (в голове шумел вчерашний перепой) подходил к продавцу, стоявшему у больших бочек с квашеной капустой, низко кланялся ему в ноги и говорил:

— Яви божескую милость! Христа ради!

И продавец, понимая его душевное и физическое состояние, наливал целый ковшик огуречного рассола, чтобы молодец опохмелился. И ничего за это не брал!

По ярко-белому снегу на площади возле Китайгородской стены важно ходили лоточники, неся на голове целые корыта с оранжевыми апельсинами.

В сорокаградусные морозы горели на перекрестках костры, собирая вокруг бродяг, пьяниц, непотребных девок, извозчиков и городовых. Все это хрипло ругалось отборней-

шим российским матом, притопывало валенками, хлопало рукавицами по бедрам и выпускало облака пара. А вокруг по сторонам, куда ни кинь взор,— трактиры с синими вывесками. В трактирах бойко подавали разбитные ярославцы-половые, расчесанные на пробор, «посередке», с большими «портмонетами» из черной клеенки, заткнутыми за красные кушаки. Они низко кланялись гостю и говорили «ваше степенство» всем и каждому (даже мне, например) и летали, как пули, из зала на кухню и обратно.

— Счас дают-с! — только и можно было от них услышать на любой вопрос.— Счас дают-с! — А это «счас» продолжалось с час, не меньше.

Были трактиры и попроще, где можно было подойти к стойке — выпить шкалик водки и бесплатно закусить кислой капустой, или огурцами, или мелко нарезанной воблой. Были другие, чуть почище, с «дворянской» половиной, с зеркалами в золоченых рамах и тяжелыми грязными портьерами; там всегда играла машина:

Вдали тебя я обездолен,
Москва, Москва — родимая земля!

У входа, с улицы, стоял огромного роста швейцар в треуголке — как у Егорова, например, в Охотном ряду.

Были чайные, где любители чаепитий могли получить по вкусу десятки сортов разных чаев: китайских, индийских, цейлонских, цветочных, зеленых, черных и пр. Целый печатный прейскурант подавался вам при заказе.

А были особые чайные на Трубе, с хозяевами, любителями певчих птиц. Туда ходила особая публика. Эти чайные были увешаны клетками с соловьями, дроздами, щеглами, малиновками, канарейками. Щебет оглушал вас, как только вы входили. И степенные, окладистые, бородатые купцы задумчиво слушали курских, воронежских, сибирских и таежных, украинских и подмосковных соловьев и спорили о красоте и чистоте голоса, о виртуозности их трелей и пр., восхваляя или порицая качества тех или иных певцов и доходя в этом до особой тонкости оценок, как истые знатоки и «искусствоведы».

Были трактиры, где собирались книжники-букинисты, где с рук можно было купить редчайшую, чуть ли не первопечатную книгу или такую искусную подделку, что сам черт не мог бы отличить ее от подлинной.

Москва была пестрая, цветастая, шумная, не похожая ни на один город в мире. Не любить ее было невозможно. У нее

было свое, неповторимо-прекрасное, необычайно душевное бытовое лицо. Теперь этого лица у нее уже нет. Быт ушел. Вместе с веком.

Религиозным центром Москвы была Иверская. В маленькой часовне у Красной площади стояла ее икона, озаряемая сотнями свечей, которые ставили верующие. Икона сверкала бриллиантами, изумрудами и рубинами, которые жертвовали исцеленные от тех или иных недугов и горестей, невзгод и страданий. С нее начиналось все. Ни один приезжий купец не начинал дела, не поклонившись Иверской. Там всегда было жарко и душно. Мы тоже иногда несли свои скромные дары иконе. Я помню, как перед большими событиями, экзаменами, например, или в ожидании денег от родителей я и мои друзья шли к Иверской и ставили свечи или покупали белые розы на длинных стеблях и вставляли их в подсвечники.

Кого-кого только у нее не перебывало! И старые генералы, недовольные пенсией, и толстые москворецкие купчихи, не любившие своих мужей, влюбленные в молодцов-приказчиков, и модистки, отравленные романами Вербицкой, и пожилые актеры, не получившие ангажемента на сезон, и дельцы, и комбинаторы, и жулики. Все несли Иверской свои горести и мечтания. Все верили, что она поможет. Услышит их мольбу. Такова была сила веры!

Посреди Тверской, где сейчас Моссовет, против красного дома генерал-губернатора, дома, который чуть не продал какому-то иностранцу знаменитый авантюрист корнет Савин, примерно там, где теперь ресторан «Арагви», был магазин цветов «Ноев и Крутов». В витринах его в самые жестокие морозы беззаботно цвели ландыши в длинных ящиках, гиацинты, сирень в горшках и фиалки. Пармские бледно-лиловые фиалки, которые привозили экспрессом прямо из Ниццы.

Я простаивал часами у этих витрин, любуясь праздником цветов среди московской суровой зимы. Подъезжали роскошные экипажи, заказывались великолепные корзины актрисам, именинницам-любовницам. А на простой тарелке в воде плавали опавшие бутоны камелий. Вот эти опавшие бутоны я и покупал иногда, когда заводился двугривенный в кармане, по три копейки за штуку, втыкал или прикалывал их к своей бархатной блузе и щеголял по городу «утонченный», «изысканный» и... голодный. Ибо лучше было купить такую камелию за три копейки, чем съесть тарелку борща в студенческой столовой, который стоил тоже три копейки. Но зато можно было появиться в этой столовой и произвести неотразимое впечатление на курсисток своим артистическим видом.

Весной, на масленице и великим постом, был в Замоскворечье вербный базар. Это было непередаваемое зрелище.

— Полная колода гадательных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеону! — орал продавец, суя всем в нос обыкновенные карты.— Вместо рубля — пять копеек!

А карты эти никогда больше пятака и не стоили.

— Сочинения графа Льва Николаевича Толстого. Вместо рубля — пять копеек! — хриплым голосом скрипел другой торгаш.

— А вот!.. Зять тещу
Повел в Марьину рощу!..

— А вот!.. На Воробьевых горах
Два монаха сидять и горох едять!..

Дальше под одобрительный гогот публики шли совершенно нецензурные подробности похождения тещи и монахов.

Иногда из-за угла откуда-то выскакивала подозрительная личность, делала необычайно конспиративное лицо, оглядываясь по сторонам, быстро совала вам в руки пачку открыток и говорила:

— Десять копеек! Платите скорей, а то околоточный увидит.

И, схватив гривенник, быстро исчезала. Вы несли открытки за угол, разворачивали пакет. Там оказывались самые невинные картинки, вроде «Дедки и репки» или «Вани и Маши».

А надо всей этой толкотней и сутолокой, так же как в Киеве, летали воздушные шары, орали «умирающие черти». Но...

Но реял над нами
Какой-то таинственный свет...
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет!

(Георгий Иванов)

Москва влекла к себе всю провинциальную молодежь. Постепенно и некоторые из моих киевских друзей стали появляться.

Первым приехал мой гимназический товарищ Коля Бернер. Он был сыном богатых родителей, и ему не составило особого труда уговорить папашу на лишние расходы. Первым делом Коля влюбился в молоденькую красивую вдовушку, которая от скуки занималась искусством. Вдова жила где-то на Разгуляе, и Коля дни и ночи проводил в ее обществе. Он был мягкий, лирически настроенный юноша, совершенно неприспособленный к жизни. Особых талантов у него не замечалось. Стихи, которые он писал, были расплывчаты, бессо-

держательны и часто даже внешне бесформенны — строки неслись по бумаге, как клочья облаков, гонимые ветром. Тем не менее он все же был настоящим поэтом — в этом никто не сомневался — и производил приятное впечатление своей мягкостью и приличными манерами.

Коля поступил в Московский университет и одновременно на драматические курсы, хотя никаких особых способностей в этой области он прежде не обнаруживал.

Потом в Москве объявился Саша Осмеркин, как говорится, мой «корешок». Мы дружили с ним в Киеве с юных лет, и всю мою художественную (в смысле познания живописи) зарядку я получил главным образом от него. В противовес Коле Бернеру он был очень талантлив, но совершенно не от мира сего. Он носил буйную шевелюру и свободные блузы (в очередь со мной). Денег ему отец высылал немного, и жили мы с ним, как птицы небесные. Бывало, раздобудешь где-нибудь полтинник и придешь домой. А дома уже народ собрался разный, и все, разумеется, голодные. Я торжественно вынимаю полтинник из кармана и говорю:

— Сашка, пойди купи чего-нибудь поесть.

— Хорошо,— соглашается он.

Он уходит. На полтинник можно много чего купить. И колбасы, и сыру, и хлеба...

Через полчаса он является сияющий и довольный.

— Купил?

— Купил.

— Ну, давай.

Он разворачивает сверток, и... в нем оказывается огромная репа, несколько кроваво-красных помидоров, зеленые кабачки, букет желтых листьев и пустой жестяной бидон из-под керосина.

— Сашка, что это? — в ужасе спрашивают товарищи.

— Это... Это для натюрморта! Смотри, как здорово будет.— И он торжествующе ставит на стол бидон и окружает его помидорами... и репой.— Вот! Помнишь, у Сезанна в натюрморте салфетка стоит крахмальная? А ведь как стоит! Никуда от нее не уйдешь. Я этот бидон так раздраконю! Вот увидишь.

И он уже начинает ставить натюрморт.

— Осел! Кретин! Дегенерат! — в бешенстве кричу я.— А жрать мы что будем?

Смешно? Нет, совсем не смешно. Потому что все остались голодными. Ничего ему нельзя было поручить. Но зато писал он хорошо!

Затем приехал еще киевлянин, Исаак Рабинович, смуглый, черноглазый, курчавый, с лицом библейского отрока, молчаливый, застенчивый и сосредоточенный, часами замиравший перед картинами больших мастеров то в Третьяковке, то у Щукина и писавший оригинально и талантливо, своим почерком.

Много прибивало к нашему берегу художников, которых никто не знал, молодых людей, мечтавших стать актерами, непризнанных поэтов с удручающими стихами, мелких репортеров из газет, студентов, курсисток, учеников и учениц все тех же знаменитых зубоврачебных школ, где все были главным образом артистами и лучше разбирались в душевной боли, чем в зубной.

Жить стало уже легче. Жили, как говорится, компанией. Ходили в дешевые студенческие столовки, проникали «зайцами» на вечера всяких землячеств, ухаживали за курсистками, декламировали, пели, читали, спорили, гуляли...

Когда же из поездки в Москву вернулась моя сестра, актриса Надя, мне стало совсем хорошо. Поселились мы с ней в Козицком переулке, в доме Бахрушина. Как ни странно, но через столько лет, вернувшись на родину, я получил квартиру в том же доме, только в другом подъезде.

С сестрой мы зажили дружно. Она очень любила меня и верила в то, что я «еще буду человеком». Мы снимали очень скромную квартирку и даже держали кухарку — «за одну прислугу», как тогда говорили, то есть она и комнаты убирала, и обед готовила. Это были лучшие дни моей московской жизни. Тем не менее я все еще ничего не делал, не зная, куда себя приткнуть со всеми своими способностями. Ходил по театрам, бегал на лекции, бродил по Третьяковке и Щукинской галерее, торчал то в кафе у Филиппова, то в других кафе.

У меня завелись два новых друга — студенты Володя Лазаревич и Женя Хазин. Они были хорошо воспитаны, живо интересовались всем, что было нового в науке, литературе и искусстве, и, как ни странно, тоже верили в меня. Мы вместе посещали Московский университет, где я был вольнослушателем, ходили на лекции, совершали экскурсии по Москве, знакомясь с ее стариной, бегали на лыжах по Москве-реке, по воскресеньям ходили на Воробьевы горы — кататься на бобслеях — и, если были деньги, даже завтракали иногда там же в ресторане у Крынкина.

Кроме этого, мы выступали в разных кружках — то литературных, то драматических. Я, помню, даже ставил какую-то блоковскую пьесу. Появились в нашей компании две краси-

вые девушки — Лиза и Машенька, дочери доктора Воронова. Володя ухаживал за старшей, Лизой, на которой впоследствии и женился, а я крутил голову младшей, Машеньке.

К сожалению, сестра моя Надя не могла подолгу жить в Москве — ей приходилось уезжать с труппой в длительные поездки; тогда я переселялся к Жене и Володе. Они снимали вдвоем довольно большую комнату, и я спал у них на диване. Их общество во многом оказало на меня благотворное влияние. Я меньше стал воображать о себе, больше учиться, проводил целые дни в университете или в Румянцевской библиотеке. От моей надменности и непонятности вскоре не осталось и следа.

Все же пробиться — обратить на себя внимание общества — мне никак не удавалось. Все мои достижения ограничивались успехами у курсисток, молодых студенток да еще у купеческих девиц, которые томились в своих замоскворецких «теремах» и жаждали «просвещения».

На масленицу, на пасху и по большим праздникам нас, молодежь, обязательно приглашали в такие купеческие дома, где закармливали блинами и кулебяками. Одной такой девице — совершенной психопатке, над которой дрожали любящие родители, — я даже давал «уроки сценического искусства» за десять рублей в месяц. Продолжалось это довольно долго — около года, и девица стала было уже делать кой-какие успехи, но, к сожалению, окончательно свихнулась, и ее пришлось отвезти в лечебницу...

Знакомства у нас были самые разнообразные. Каким-то непонятным образом мы познакомились с Борисом Филипповым — сыном известного всей Москве булочника. Это был неисправимый кутила, стоивший своему отцу немало денег, но весьма неглупый, веселый и приятный человек. Учился он за границей и говорил на трех языках. Языки эти ему сильно пригодились впоследствии. После революции он попал в эмиграцию. Я встретил его в Нью-Йорке. Он служил портье в отеле «Ансония», где мы, русские артисты-гастролеры, любили останавливаться «из патриотизма» — портье был наш, русский.

Как-то на масленой Борис пригласил нас к себе на блины. Жил он на Тверском бульваре в особнячке с балконом на улицу. К часу дня мы собрались у него в гостиной. Он рассказывал нам про маленького медвежонка, которого ему недавно подарили и который вертелся тут же, под ногами. А рядом в столовой был накрыт великолепный стол, уставленный балыками, винами, водками, хрустальными вазами

с икрой и пр. Один вид этого стола вызывал аппетит необычайный. Разговор шел о том, что медвежонок иногда выходит на балкон и начинает там делать всякие выкрутасы, собирая огромную толпу зрителей, причем Борис заметил, что у медвежонка все недостатки актера: он любит успех и тщеславен до предела. Поэтому он целый день на балконе. Пока мы смеялись над этой характеристикой, тщеславный медвежонок, соскучившись, ушел в столовую, взял за конец скатерть, которой был накрыт стол, и пошел с ней на балкон показывать свое искусство зрителям.

Можете себе представить эту картину? С ней можно сравнить только «Гибель Помпеи» Брюллова.

Все погибло! Все!

Но Филиппов отвез нас всех к Тестову, где и накормил «по-московски»...

Среди знакомцев наших были два журналиста — Коля Вержбицкий и Женя Хохлов. Много дней и главным образом ночей провел я в их обществе, но где они работали и на что они жили, так до сих пор и не знаю. Парни они были задушевные и, главное, большие мастера по части раздобывания денег.

Коля, толстый, бритый наголо, носил какую-то тюбетейку и был похож на татарина, а Женя был худой, длинный, как жердь, носил рыжую бороду, которую все время задумчиво навивал на палец.

Кроме них было еще много других людей, выскользнувших уже из моей памяти, которые вертелись вместе с нами на карусели тогдашней московской жизни. Это были 1910—1912 годы...

В нашем мире богемы (а я пишу только о нем) каждый что-то таил в себе, какие-то надежды, честолюбивые замыслы, невыполнимые желания, каждый был резок в своих суждениях, щеголял надуманной оригинальностью взглядов и непримиримостью критических оценок. Все мечтали обратить на себя внимание любой ценой — дулись и пыжились, как лягушки из крыловской басни. А надо всем этим гулял хмельной ветер поэзии Блока, отравившей не одно сердце мечтами о Прекрасной Даме, о Незнакомке...

И Горький, будто нам угрожая, писал:

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут!
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!

Стихи эти читались на всех концертах и действовали сокрушающе. Все вдруг испугались этой перспективы. Как будто о каждом обязательно надо было писать песню или рассказывать сказку! Помощники присяжных поверенных в безукоризненных визитках от Делоса стали писать стихи и почитывать их томным голосом на именинах за кулебяками; зубные врачи вешали у себя в приемной портреты артистов с цитатами из ибсеновских пьес; доктора рассеянно выслушивали больных, но могли часами спорить о постановке андреевской «Жизни человека». Московские купцы скупали всякую живописную дрянь, выставленную у Данциро или Аванцо, на Кузнецком. В «Кружке» на Дмитровке ежедневно устраивались лекции, литературные «суды» над героями романов, вечера поэзии и пр.

Белотелые купеческие дочки, налитые жиром, надев скромные черные юбки с белыми блузками, тихо сидели на всех лекциях с тетрадками в руках и что-то записывали... Курсистки, приглашавшие к себе товарищей и подруг на чашку чая, укутывали электрические лампочки красной кисеей, создавая интим, и читали стихи, до одури надушившись пронзительным «лориганом Коти» или ландышем «Иллюзион-Дралле». Принимали гостей, полулежа на кушетках, курили папиросы из длинных мундштуков, стриглись под мужчин и кутались в пестрые шали (стиль этот назывался «Сафо»). Молодые актрисы пускали себе в глаза атропин, чтобы шире были зрачки, говорили «унывными» голосами, звенящими и далекими, точно из другой комнаты:

Я люблю лесные травы ароматные,
Поцелуи и забавы невозвратные...
Все, что манит и обманет нас загадкою
И навеки сердце ранит тайной сладкою!

Читая стихи, концы строчек они проглатывали для большего впечатления...

Молодые актеры из глубокой провинции держали экзамен на статистов при Московском Художественном театре и по страшнейшему отбору из пятисот человек допускались в количестве приблизительно пяти к конкурсу. Из них брали двух-трех. В театре они годами изображали толпу. И это считалось за счастье и называлось: «Попасть в Художественный театр». Пакгаузы этого театра были битком набиты «талантами»... Запас был лет на десять!

В «Трех сестрах» какой-нибудь счастливец выносил в 3-м акте шарманку. Он благоговейно «играл» на ней, крутя

рукоятку и «переживая», потом уходил, взвалив шарманку на спину. Утром на репетиции Станиславский говорил ему:

— Вот что. Вчера, уходя, вы неискренне встряхнули шарманку...

И все. Роль эта уже отдавалась другому...

В какой-то пьесе, не помню, должно было быть море. Для этого на сцене было разложено огромное размалеванное полотно, по краям которого сидели статисты. Сидели они на корточках и, задыхаясь, изображали «волнение» этого моря. Утром на репетиции «большие» актеры, явно издеваясь, говорили им:

— Вы вчера очень талантливо сыграли. Это море — то!

На приемных экзаменах темпераментные молодые люди, приехавшие из глуши, поставив стул перед собой, буйно декламировали:

Без отдыха пирует
С дружиной удалой
Иван (тьфу!) Васильич (тьфу!) Грозный (тьфу)
Под матушкой-Москвой...

— А зачем вы плюетесь? — спрашивали его.

— Это лучшее средство для смазки горла,— отвечал молодой лицедей.

Нежные, худосочные девицы после отрывка из Достоевского или пяти строк прочитанного стихотворения уже бились в «настоящей» истерике — к удовольствию экзаменаторов, требовавших «подлинности чувств».

Так же было и в других театрах. Молодые актеры и актрисы томились годами на выходах и увядали. Одни, разочаровавшись, бросали сцену и выходили замуж, иные кончали жизнь самоубийством. Надо было иметь меценатов-покровителей, или богатых любовников, или влиятельных мужей и родителей, а иначе... В поэзии и литературе господствовали декадентские влияния. В стихах воспевались неестественные красоты:

«О закрой свои бледные ноги...» — восклицал Брюсов, и сатирик Саша Чёрный добавлял:

«Бледно-русые ноги свои!»

Появился журнал «Перевал», в котором на дорогой ватмановской бумаге печатались «парфюмерно-изысканные» опусы Ауслендера из жизни маркиз и принцесс.

Продраться сквозь этот лес благополучно устроившихся бездарностей было невозможно.

Все это рождало протест. Мы, богема того времени,— были напичканы до краев «динамитом искусства», мы могли

сказать новое. Но нас никуда не пускали и не давали высказаться.

Вот тут-то и появился кокаин.

Кто первый начал его употреблять? Откуда занесли его в нашу среду? Не знаю. Но зла он наделал много.

Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках, по одному грамму. Самый лучший, немецкой фирмы «Марк», стоил полтинник грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее. Его уже продавали «с рук» — нечистый, пополам с зубным порошком, и стоил он в десять раз дороже. На гусиное перышко зубочистки набирали щепотку его и засовывали глубоко в ноздрю, втягивая весь порошок, как нюхательный табак. После первой понюшки на короткое время ваши мозги как бы прояснялись, вы чувствовали необычайный подъем, ясность мысли, бодрость, смелость, дерзание. Вы говорили остроумно и ярко, тысячи оригинальных мыслей роились у вас в голове. Перед вами как бы открывался какой-то новый мир — высоких и прекрасных чувств. Точно огромные крылья вырастали у вашей души. Все было светло, ясно, глубоко, понятно. Жизнь со своей прозой, мелочами, неудачами как бы отодвигалась куда-то, исчезала и уже больше не интересовала вас. Вы улыбались самому себе, своим мыслям, новым и неожиданным, глубочайшим по содержанию.

Продолжалось это десять минут. Через четверть часа кокаин ослабевал, переставал действовать. Вы бросались к бумаге, пробовали записать эти мысли...

Утром, прочитав написанное, вы убеждались, что все это бред. Передать свои ощущения вам не удалось. Вы брали вторую понюшку. Она опять подбадривала вас. На несколько минут, но уже меньше. Стиснув зубы, вы сидели, точно завинченный котел с паром, из которого его уже невозможно выпустить, так крепко завинчены гайки. Дальше, все учащая понюшки, вы доходили до степени полного отупения. Тогда вы умолкали. И так и сидели, белый как смерть, с кроваво-красными губами, кусая их до боли. Острое желание причинить себе самому физическую боль едва не доводило до сумасшествия. Но зато вы чувствовали себя гением. Все это был, конечно, жестокий обман наркоза. Говорили вы чепуху, и нормальные люди буквально шарахались от вас.

Постепенно яд все меньше и меньше возбуждал вас и под конец совсем переставал действовать, превращая вас в какого-то кретина.

Вы ничего не могли есть, и организм истощался до предела. Пить кое-что вы могли: коньяк, водку. Только очень крепкие напитки. Они как бы отрезвляли вас, останавливали действие кокаина на некоторое время, то есть действовали как противоядие. Тут нужно было ловить момент, чтобы бросить нюхать и лечь спать. Не всегда это удавалось. Потом, приблизительно через год, появлялись тяжелые последствия в виде мании преследования, боязни пространства и пр.

Короче говоря, кокаин был проклятием нашей молодости. Им увлекались многие. Актеры носили в жилетном кармане пузырьки и «заряжались» перед каждым выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах. Поэты, художники перебивались случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой кокаин чаще всего не было денег...

Не помню уже, кто дал мне первый раз понюхать кокаин, но пристрастился я к нему довольно быстро. Сперва нюхал понемножку, потом все больше и чаще.

— Одолжайтесь!..— по-старинному говорили обычно угощавшие. И я угощался. Сперва чужим, а потом своим. Надо было где-то добывать...

Обегав всю Москву в поисках работы и ничего не найдя, я как-то сидел в маленьком садике при Театре миниатюр, который держала Марья Александровна Арцыбушева с мужем Юрием Константиновичем, в Мамоновском переулке по Тверской (где сейчас помещается Театр юного зрителя).

Марья Александровна была женщина энергичная и волевая, довольно резкая и не лишенная остроумия. Собрав койкакую труппу, она держала театр, хотя сборы были плохие; актеров приличных не было, костюмов тоже, а о декорациях и думать нечего. В оркестре сидел меланхолический пианист Попов и аккомпанировал кому угодно, по слуху. Он не выпускал трубки изо рта и ничему не удивлялся. Кроме того, Марья Александровна еще давала уроки балетного искусства. Ученицами ее были молодые, довольно талантливые балерины, не попавшие в Большой театр,— Маруся Дарто, Лидия Бони, Катя Лорен, Мария Юрьева, Татьяна Бах и другие. Группа эта называлась «Частный балет».

Занимаясь у Марьи Александровны, молодые балерины выступали также и в ее театре — для практики.

Марья Александровна была грозная женщина, за словом в карман не лезла, и я лично боялся ее как огня. В театр я ходил к знакомым актерам и часто сидел с ними днем в садике после репетиции. Многие из них жили там же, при

театре, наверху, в уборных. Мврья Александровна не любила людей, слоняющихся без дела, вроде меня. И потому, когда она замечала такого человека, то всегда думала, как его использовать, приспособив к своему театру.

Завидев меня среди своих актеров, она как-то вскользь заметила:

— Что вы шляетесь без дела, молодой человек? Шли бы лучше в актеры, ко мне в театр.

— Да, но я же не актер,— возразил я.— Я ничего, собственно, не умею.

— Не умеете, так научитесь.

Я призадумался.

— А сколько я буду получать за это? — деловито спросил я.

Она расхохоталась.

— Получать? Вы что, в своем уме? Спросите лучше, сколько я с вас буду брать за то, что сделаю вас человеком!

Я моментально скис.

Заметив зто, Марья Александровна чуть подобрела.

— Ни о каком жалованье не может быть и речи, но... в три часа дня мы садимся обедать. Борщ и котлеты у нас всегда найдутся. Вы можете обедать с нами.

Сказав зто, она повернулась и пошла на репетицию. Что же мне оставалось делать? Я согласился.

Таким образом, моим первым жалованьем в театре были борщ и котлеты.

Делать мне в ее театре было нечего. Шли маленькие одноактные пьески и старинные водевили вроде «Льва Гурыча Синичкина». Или вдруг Марья Александровна ставила одноактную оперку Пергамента «Княжна Азвяковна» и знергично решала, что главного героя — какого-то Доброго молодца — должен петь я.

— Но я же не умею петь! Я никогда не учился этому,— пробовал я возражать.

— Неважно. Научитесь. Разучиаайте роль!

И я пел. Как? Не будем говорить об зтом.

В зто время на танцевальном горизонте появилась новинка. Последний крик моды. Танго.

Марья Александроана, учтя интерес публики к зтому танцу, немедленно вызвала из Большого театра балетмейстера Домашева и сговорилась, что эа какую-то сумму он поставит танго для ее «девочек».

Домашев выбрал хорошо сложенную и довольно красивую Эльзу Крюгер, а в партнеры к ней взял молодого студента, ее поклонникв Валентина (фамилию я позабыл), тоже очень интересного и стройного юношу. Эльзе сшили апельси-

ново-оранжевое платье, а Валли (так значился он по афише) взяли напрокат фрак из костюмерной Талдыкина.

Домашев поставил танец интересно и, главное, по-новому, с большой дозой секса. Публика пришла в восторг. Дела в театре стали поправляться, а к этой экзотической паре Марья Александровна еще добавила красавицу Валентину Кашубу, хорошенькую Дарто, талантливую Юрьеву — довольно сильную балерину — и иногда даже брала потихоньку балерин из Большого театра — Лидию Маклецову и других. Театр ожил. Появились собственные балетоманы — молодые безусые лицеисты и правоведы, покупавшие первый ряд и приезжавшие к балетному отделению. Сборы поднялись.

Мне совершенно нечего было делать в этой программе, и я серьезно задумался над своим положением в театре.

Вспомнив о своих поэтических способностях, я решил написать острые пародии на злобу дня. Главной заботой дня было, конечно, танго. Я написал первую пародию «Танго — танец для богов». Потом еще пародию «Фурлана» (это было название нового танца, появившегося вслед за танго). Потом третью, в которой вышучивалась любовная история светской дамы, изменившей мужу с богатым поклонником из-за каракулевого сака, который ей очень хотелось иметь и который был очень моден в этом сезоне в Москве. Прошли годы, и из этого каракуля она теперь шьет зимние шапки своим детям... Пародия называлась «Теплый грех».

Потребовав себе фрак напрокат, я выходил немедленно после танго Крюгер и Валли и довольно бесцеремонно вышучивал их. Публика снова была в восторге...

Однажды в театр пришел журналист, кажется, Сергей Яблоновский из «Русского слова» — самой большой газеты того времени — и написал рецензию о нашем театре. Нельзя сказать, чтобы она была хвалебной — критик всех поругивал, только обо мне выразился так: «остроумный и жеманный Александр Вертинский».

Этого было достаточно, чтоб я задрал нос и чтоб все наши актеры меня возненавидели моментально.

Но уже было поздно. Успех мой шагал сам по себе. Меня приглашали на вечера. А иногда даже писали обо мне. Однако кокаин я не бросил.

Марье Александровне пришлось дать мне наконец жалованье двадцать пять рублей в месяц, что при борще и котлетах уже являлось каким-то базисом, на котором можно было разворачиваться. Но увы... деньги эти шли главным образом на покупку кокаина.

Вернулась из поездки моя сестра. Мы поселились вместе, сняв большую комнату где-то на Кисловке. К моему великому огорчению, она тоже не избежала ужасного поветрия и тоже «кокаинилась». Часто целыми ночами напролет мы сидели с ней на диване и нюхали этот проклятый белый порошок. И плакали, вспоминая свое горькое детство. Нас подобралась небольшая компания. Мы вместе ходили по ресторанам, вместе нюхали до утра.

Куда только мы не попадали! В три-четыре часа ночи, когда кабаки закрывались, мы шли в «Комаровку» — извозчичью ночную чайную у Петровских ворот, где в сыром подвале пили водку с проститутками, извозчиками и всякими подозрительными личностями и нюхали, нюхали это дьявольское зелье.

Конечно, ни к чему хорошему это привести не могло. Во-первых, кокаин разъедал слизистую оболочку носа, и у многих таких, как мы, носы уже обмякли, и выглядели мы ужасно, а во-вторых, нвркоз уже почти не действовал и не давал ничего, кроме удручающего, безнадежного отчаяния.

Я где-то таскался по целым дням и ночам и даже сестру Надю стал видеть редко. А ведь мы очень любили друг друга. Надя была единственным близким мне человеком в этом огромном шумном городе. И я не сберег ее! Что это — кокаин? Анестезия. Полное омертвение всех чувств. Равнодушие ко всему окружающему. Психическое заболевание...

Помню, однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили (окно выходило на крышу), и увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под марковского кокаина. Сколько их было? Я начал в ужасе считать. Сколько же я вынюхал за этот год!

И в первый раз в жизни я испугался. Мне стало страшно! Что же будет дальше? Сумасшедший дом? Смерть? Паралич сердца? А тут еще галлюцинации... Я уже жил в мире призраков!

В одну минуту я понял все. Я встал. Я вспомнил, что среди моих знакомых есть знаменитый психиатр — профессор Баженов. Я вышел на Тверскую и решил ехать к нему. Баженов жил на Арбате. Подходя к остановке, я увидел совершенно ясно, как Пушкин сошел со своего пьедестала и, тяжело шагая «по потрясенной мостовой» (крутилось у меня в голове), тоже направился к остановке трамвая. А на пьедестале остался след его ног, как в грязи остается след от калош человека.

«Опять галлюцинация! — спокойно подумал я.— Ведь этого же быть не может».

Тем не менее Пушкин стал на заднюю площадку трамвая, и воздух вокруг него наполнился запахом резины, исходившим от его плаща.

Я ждал, улыбаясь, зная, что этого быть не может. А между тем это было!

Пушкин вынул большой медный старинный пятак, которого уже не было в обращении.

— Александр Сергеевич! — тихо сказал я.— Кондуктор не возьмет у вас этих денег. Они старинные!

Пушкин улыбнулся.

— Ничего. У меня возьмет!

Тогда я понял, что просто сошел с ума.

Я сошел с трамвая на Арбате.

Пушкин поехал дальше.

Профессор Баженов тотчас принял меня.

— Ну? В чем дело, юноша? — спросил он.

— Я сошел с ума, профессор,— твердо выговорил я.

— Вы думаете? — как-то равнодушно и спокойно спросил он.

— Да. Я уверен в этом.

— Ну тогда посидите пока. Я занят, и мне сейчас некогда.

И он начал что-то писать. Через полчаса он так же спокойно вернулся к нашему разговору.

— Из чего же вы, собственно, заключаете это? — спросил он просто, как будто даже не интересуясь моим ответом.

Я объяснил ему все, рассказав также и о том, как ехал с Пушкиным в трамвае.

— Обычные зрительные галлюцинации,— устало заметил он. Минуту он помолчал, потом взглянул на меня и строго сказал: — Вот что, молодой человек, или я вас посажу сейчас же в психиатрическую больницу, где вас через год-два вылечат, или вы немедленно бросите кокаин! Сейчас же!

Он засунул руку в карман моего пиджака и, найдя баночку, швырнул ее в окно.

— До свидания! — сказал он, протягивая мне руку.— Больше ко мне не приходите!

Я вышел. Все было ясно.

Был сентябрь 1913 года. В театрах начинался зимний сезон. В Московском Художественном были объявлены конкурсные испытания — прием статистов, или сотрудников, как

это называлось. Я пошел на конкурс. Народу было видимо-невидимо. Из самых дальних медвежьих углов России понаехали в Москву алчущие и жаждущие юные лицедеи. Многие были настолько бедны, что не имели даже средств, чтобы снять комнату, и спали на вокзалах и на скамейках парков. Все волновались, заглядывали в какие-то тетрадки и книжечки стихов, что-то повторяли, что-то заучивали наизусть, разговаривали сами с собой вслух и, никого не замечая, бродили по коридорам и фойе театра, бормоча и жестикулируя. Мужчины, подражая провинциальным актерам, носили буйные шевелюры и бархатные блузы с небрежно повязанными бантами. Женщины — гладко зализанные, с локонами-сосисками, свисавшими с боков, одеты в черные пышные платья из тафты или бархата, затянутые в талии и широкие книзу. Шуршащие и мягкие, стилизованные под героинь тургеневских пьес, с белыми строгими камеями в виде брошек, они сжимали в мокрых руках маленькие бархатные книжечки стихов, изданные в виде католических молитвенников.

Почти никто не читал классиков на этом конкурсе. Читали новых поэтов — Блока, Брюсова, Ахматову... Экзаменаторы дивились.

Никто из экзаменаторов не знал ни Цветаевой, ни даже сильно нашумевшего, скандально объявившего себя гением Игоря Северянина с его «Громокипящим кубком» и «Ананасами в шампанском». А молодежь читала именно этих новых.

Отбирали нас артисты Художественного театра, сидевшие в разных комнатах, и по очереди «допрашивали». Я попал к Мчеделову. Он очень подробно и внимательно гонял меня по установленному курсу и держал довольно долго. В конце концов я был допущен к конкурсу. Это была уже большая победа. Из пятисот — шестисот человек к конкурсу было допущено всего пять. Я помню из них Церетелли, Смышляева, Веру Орлову.

Экзамен начался в торжественной обстановке. За длинным столом, накрытым сукном, сидел весь цвет театра: Москвин, Качалов, Лужский, Артем, Книппер, Леонидов и, конечно, Станиславский с Немировичем-Данченко.

Первые три актера прошли благополучно. Церетелли изысканно манерничал, Смышляев закатил истерику из Достоевского, Верочка Орлова плакала настоящими, «вот такими» крупными слезами, видными издалека. Я был последним.

Читал я много. Чем больше я читал, тем больше удивлялись экзаменаторы.

— Чьи это стихи? — спрашивали меня. Я называл никому не известные имена молодых поэтов моего круга. Артисты Художественного театра пожимали плечами и переглядывались.

— А Пушкина вы читаете?

— Нет.

— Почему? Не любите его, что ли?

— Люблю, конечно. Как можно не любить Пушкина!

— Так как же так, любите и не читаете?

Тут я осмелился выразиться весьма необдуманно, что, по-видимому, и погубило меня.

— Оскар Уайльд говорит,— заявил я,— что классики — это писатели, которых надо внимательно проштудировать и... немедленно забыть.

Это была неслыханная дерзость. Тем не менее меня еще долго гоняли по программе и улыбались как будто весьма дружелюбно и сочувственно. В конце допроса Станиславский, переглянувшись с Немировичем, повертев в руках карандаш, неожиданно спросил меня:

— Вот вы плохо произносите букву «р», что вы думаете делать с этим дефектом?

— Я буду учиться и исправлю его! — отвечал я дрожащим голосом.

— Довольно. Спасибо.

На мне экзамен закончился. Товарищи поздравляли меня. Все были уверены, что я принят. На другой день я, придя в театр, бросился к доске, где были вывешены имена принятых сотрудников. Моего имени не было.

Началась война. Госпитали Москвы были забиты ранеными. Госпитали эти были не только казенные. Многие богатые люди широко откликались на патриотические призывы земства и открывали на свои средства больницы для раненых.

Однажды вечером я шел по Арбату. Около особняка купеческой дочери Марии Саввишны Морозовой стояла толпа. Привезли с вокзала раненых. В этом особняке был госпиталь ее имени. Раненых вынимали из кареты и на носилках вносили в дом. Я стал помогать. Когда последний раненый был внесен, я вместе с другими тоже вошел в дом. В перевязочной доктора спешно делали перевязки, разматывая грязные бинты и промывая раны. Я стал помогать. За этой горячей работой незаметно прошла ночь, потом другая, потом третья. Постепенно я втягивался в эту новую для меня лихорадочную и интересную работу. Мне нравилось стоять до упаду в перевязочной, не спать ночи напролет.

В этом была, конечно, какая-то доза позерства, необходимого мне в то время. Я уже всю свою энергию отдавал госпиталю. Я читал раненым, писал им письма домой, присутствовал на операциях, которые делал знаменитый московский хирург Холин, и уже был вовлечен с головой в это дело. Появились сестры — барышни из «общества»: Верочка Дюкомен, Надя Лопатина, Наташа Третьякова и другие. Все работали на совесть — горячо и самозабвенно, и о кокаине я как-то стал забывать. Мне некогда было о нем думать. Дома я почти не бывал, ночевал в госпитале.

Потом Морозова решила организовать свой собственный санитарный поезд. Подчинялся он «Союзу городов» и имел номер 68-й. Начальником его был назначен граф Никита Толстой. Двадцать пять серых вагонов третьего класса плюс вагон для перевязок, плюс вагоны для персонала, кухня, аптека, склады — таков был состав поезда. Все это было грязно и запущено до предела. Мы все горячо взялись за уборку. Мыли вагоны, красили их, раскладывали тюфяки и подушки по лавкам, устраивали перевязочную, возили из города медикаменты и инструменты. Через две недели поезд был готов. На каждом вагоне стояла надпись: 68-й санитарный поезд Всероссийского союза городов имени Марии Саввишны Морозовой. Я был уже в его составе и записался почему-то под именем «Брата Пьеро». И тут не обошлось без актерства!

Поезд ходил от фронта до Москвы и обратно. Мы набирали раненых и сдавали их в Москве, а потом ехали порожняком за новыми. Работали самоотверженно. Не спали ночей. Обходили вагоны, прислушивались к каждому желанию, к каждому стону раненого. У каждого был свой вагон. Мой — один из самых чистых и образцовых. Мне была придана сестра — Наташа Третьякова, очень красивая и довольно капризная девушка, в которую я, для начала, немедленно влюбился. Очень скоро с черной работы меня перевели на перевязки. Я быстро набил руку, освоил перевязочную технику и поражал даже врачей ловкостью и чистотой работы. Назывался я по-прежнему Брат Пьеро, или попросту Пьероша, а фамилии моей почти никто и не знал. Выносливость у меня была огромная. Я мог ночами стоять в перевязочной. Этим я, конечно, бравировал. В свободные часы, когда не было раненых и поезд шел пустым, мы собирались в вагоне-столовой, и я развлекал товарищей шуточными стихами, написанными на злобу дня, и даже иногда пел их на какой-нибудь знакомый всем мотив под гитару такого же брата милосердия, Златоустовского или Кости Денисова. Несколько

первых рейсов с нами ездила в качестве старшей сестры графиня Толстая, Татьяна Константиновна, родственница графа Никиты. Это была очаровательнейшая, седая уже, добрая и благородная барыня. Она очень любила цыган и цыганские песни и пляски — крестила у них детей, женила их и вообще была «цыганской матерью». Ее скромная квартирка в Настасьинском переулке всегда была полна цыган. Кроме того, она сама писала неплохие по тому времени романсы. А ее знаменитую «Спи, моя печальная» на слова Бальмонта пела вся Москва. Меня она заметила сразу, и вскоре я сделался ее любимцем.

— Пьероша, спой что-нибудь,— просила она в часы досуга. И я пел — или цыганский романс, или какую-нибудь довольно беззастенчивую, нагловатую пародию на наше житье-бытье, никого не щадя и все подмечая. Это имело успех (можно похвастаться?). Тем все и ограничивалось. Я писал, правда, и лирические стихи, но никому их не показывал.

Работы было много. Мы часто не имели даже времени поесть. Людей тогда не щадили на войне. Целые полки гибли где-то в Мазурских болотах; от блестящих гвардейских, гусарских и драгунских полков иногда оставались одни ошметки. Бездарное командование бросало целые дивизии в безнадежно гиблые места; скоро почти весь цвет русской императорской гвардии был истреблен.

У нас в поезде солдаты молчали, покорно подставляли обрубки ног и рук для перевязок и только тяжело вздыхали, не смея роптать и жаловаться. Я делал все, что в моих силах, чтобы облегчить их страдания, но все это, конечно, была капля в море!

Помню, где-то в Польше, в местечке, я перевязывал раненых в оранжерее какого-то польского пана. Шли тяжелые бои, и раненые поступали непрерывным потоком. Двое суток я не смыкал глаз. Немцы стреляли разрывными пулями, и ранения почти все были тяжелыми. А на перевязках тяжелораненых я был один. Я делал самую главную работу — обмывал раны и вынимал пули и осколки шрапнели. Мои руки были, так сказать, «священны» — я не имел права дотрагиваться ими до каких-либо посторонних вещей и предметов. Каждые пять часов менялись сестры и помощники, а я оставался. Наконец приток раненых иссяк. Простояв на ногах почти двое суток, я был без сил. Когда мыл руки, вспомнил, что давно ничего не ел, и отправился внутрь оранжереи, где было помещение для персонала. Раненые лежали как попало — на носилках и без, стонали, плакали, бредили. В глазах у меня

бешено вертелись какие-то сине-красные круги, я шатался как пьяный, мало что соображая. Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу.

— Спойте мне что-нибудь,— попросил голос.

Я наклонился, присел на корточки. Петь? Почему? Бредит он, что ли?

— Спойте... Я скоро умру,— попросил раненый. Словно во сне, я опустился на край носилок и стал петь. По-моему, это была «Колыбельная» на слова Бальмонта:

В жизни, кто оглянется,
Тот во всем обманется.
Лучше безрассудною
Жить мечтою чудною,
Жизнь проспать свою...
Баюшки-баю!

Закончил ли я песню — не помню. Утром мои товарищи с трудом разыскали меня в груде человеческих тел. Я спал, положив голову на грудь мертвого солдата.

Да, мы отдавали раненым все — и силы свои, и сердца. Расставаясь с нами, они со слезами на глазах благодарили нас за уход, за ласку, за внимание к их несчастной судьбе. За то, что спасли им жизнь. И в самом деле — случалось, что делали невозможное.

Однажды ко мне в купе (вагоны были уже забиты до отказа) положили раненого полковника. Старший военный врач, командовавший погрузкой, сказал мне:

— Возьмите его. Я не хочу, чтобы он умер у меня на пункте. А вам все равно. Дальше Пскова он не дотянет. Сбросьте его по дороге.

— А что у него?

— Пуля около сердца. Не смогли вынуть — инструментов нет. Ясно? Он так или иначе умрет. Возьмите. А там — сбросите...

Не понравилось мне все это: как так — сбросить? Почему умрет? Как же так? Это же человеческая жизнь. И вот, едва поезд тронулся, я положил полковника на перевязочный стол. Наш единственный поездной врач Зайдис покрутил головой: ранение было замысловатое. Пуля, по-видимому, была на излете, вошла в верхнюю часть живота и, проделав ход к сердцу и не дойдя до него, остановилась. Входное отверстие — не больше замочной скважины, крови почти нет. Зайдис пощупал пульс, послушал дыхание, смазал запекшуюся ранку йодом и, еще раз покачав головой, велел наложить бинты.

— Как это? — вскинулся я.

— А так. Вынуть пулю мы не сумеем. Операции в поезде запрещены. И потом — я не хирург. Спасти полковника можно только в госпитале. Но до ближайшего мы доедем только завтра к вечеру. А до завтра он не доживет.

Зайдис вымыл руки и ушел из купе. А я смотрел на полковника и мучительно думал: что делать? И тут я вспомнил, что однажды меня посылали в Москву за инструментами. В магазине хирургических инструментов «Швабе» я взял все, что мне поручили купить, и вдобавок приобрел длинные тонкие щипцы, корнцанги. В списке их не было, но они мне понравились своим «декадентским» видом. Они были не только длинными, но и кривыми и заканчивались двумя поперечными иголочками.

Помню, когда я выложил купленный инструмент перед начальником поезда Никитой Толстым, увидев корнцанги, он спросил:

— А это зачем? Вот запишу на твой личный счет — будешь платить. Чтобы не своевольничал.

И вот теперь я вспомнил об этих «декадентских» щипцах. Была не была! Разбудив санитара Гасова (он до войны был мороженщиком), велел ему зажечь автоклав. Нашел корнцанги, прокипятил, положил в спирт, вернулся в купе. Гасов помогал мне. Было часа три ночи. Полковник был без сознания. Я разрезвл повязку и стал осторожно вводить щипцы в ранку. Через какое-то время почувствовал, что концы щипцов наткнулись на какое-то препятствие. Пуля? Вагон трясло, меня шатало, но я уже научился работать одними кистями рук, ни на что не опираясь. Сердце колотилось, как бешеное. Захватив «препятствие», я стал медленно вытягивать щипцы из тела полковника. Наконец вынул: пуля!

Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. За моей спиной стоял Зайдис. Он был белый как мел.

— За такие штучки отдают под военно-полевой суд,— сказал он дрожащим голосом.

Промыв рану, заложив в нее марлевую «турунду» и перебинтовав, я впрыснул полковнику камфару. К утру он пришел в себя. В Пскове мы его не сдали. Довезли до Москвы. Я был счастлив, как никогда в жизни!

В поезде была книга, в которую записывалась каждая перевязка. Я работал только на тяжелых. Легкие делали сестры. Когда я закончил свою службу на поезде, на моем счету было тридцать пять тысяч перевязок!..

— Кто этот Брат Пьеро? — спросил Господь Бог, когда ему докладывали о делах человеческих.

— Да так... актер какой-то,— ответил дежурный ангел.— Бывший кокаинист.

Господь задумался.

— А настоящая как фамилия?

— Вертинский.

— Ну, раз он актер и тридцать пять тысяч перевязок сделал, помножьте все это на миллион и верните ему в аплодисментах.

С тех пор мне стали много аплодировать. И с тех пор я все боюсь, что уже исчерпал эти запасы аплодисментов или что они уже на исходе.

Шутки шутками, но работал я в самом деле как зверь...

Попав в санитарный поезд, я совсем потерял связь с сестрой Надей и вспомнил о ней тогда, когда однажды одна из девушек-медсестер, которая немножко ближе знала меня, сказала:

— Ты знаешь, Пьероша, говорят, твоя сестра умерла!

— Умерла? Где?

— В Москве. В гостинице. Легла в кровать, закрыла двери и приняла сразу несколько граммов кокаина...

И все. Больше я ничего не узнал. Сколько я ни искал потом эту гостиницу, сколько ни наводил справок, так ничего до сих пор не знаю — ни где она умерла, ни где ее похоронили...

А события развивались своим чередом. Назревала революция. Бездарное командование проигрывало войну, солдаты роптали, не верили начальству, некоторых особенно зарвавшихся командиров, издевавшихся над ними, иногда пристреливали в спину во время боя. У престола сидел хитрый мужик Распутин и вертел как угодно слабовольным государем. Всюду открыто говорили об измене и предательстве.

Весь 1914-й и 1915-й я провел в поезде. Лишь в начале 1916 года он был расформирован. Мы разошлись кто куда. Я вернулся в Москву и опять завертелся в богеме...

Еще до войны в России началось новое течение в искусстве, известное под названием футуризма. В переводе это означает «искусство будущего». Прикрываясь столь растяжимым понятием, можно было в конце концов делать все что угодно. Для нас — молодых и непризнанных — футуризм был превосходным средством обратить на себя внимание.

Мы, объявившие себя футуристами, носили желтые кофты с черными широкими полосками, на голове цилиндр, а в петлице деревянные ложки. Мы размалевывали себе лица, как индейцы, и гуляли по Кузнецкому, собирая вокруг себя толпы. Мы появлялись в ресторанах, кафе и кабаре и читали там свои заумные стихи, сокрушая и ломая все веками сложившиеся вкусы и понятия.

«Футурист жизни», как он себя называл тогда, атлет и красавец, некий Владимир Гольдшмит, ходивший полуголым лето и зиму, поставил сам себе памятник в скверике напротив Большого театра.

Правда, этот памятник через полчаса разбили уличные мальчишки, но скандал был на всю Москву. А мы этого только и желали.

Помню, как-то в кружке на Дмитровке была лекция академика Овсянико-Куликовского. После лекции были объявлены прения. Мы все во главе с Маяковским пришли, когда прения уже начались. Маяковский взял слово:

— Наш уважаемый лектор,— начал он,— господин Лаппо-Данилевский...

Председатель отчаянно зазвонил в колокольчик:

— Не Лаппо-Данилевский, а Овсянико-Куликовский! — строго поправил он.

— Простите,— извинился Маяковский,— но я не могу согласиться с мнением академика Семенова-Тяньшанского. Он сказал, что поэзия...

Снова яростно зазвонил колокольчик. Часть публики негодовала, многие смеялись.

Маяковский перекрыл негодущие крики и смех:

— А поэзия, многоуважаемый господин Новиков-Прибой, это...

Зал буквально взорвался:

— Балаган! Долой! Вон их отсюда!

Но Маяковский не успокоился. Академик был переиначен еще в Муравьева-Апостола, Сухово-Кобылина и наконец в Кулика-Овсяновского... Это было последней каплей: трясущегося от возмущения Овсянико-Куликовского унесли в кресле за кулисы.

Диспут был сорван. Что и требовалось доказать!

Конечно, Маяковский был самой яркой и крупной фигурой среди футуристов.

Еще не сняв военную форму, я однажды попал на какой-то поэтический вечер. Там был Маяковский. Он поразил меня

силой своих последних стихов. Они были беспощадны. Они яростно хлестали по лицу, били по голове, оглушали:

Я лучше в баре... буду
Подавать ананасную воду.

Мизерабельные, тщедушные поэтишки всей сворой злобно вцеплялись в его широкие бархатные штаны. Малокровные, нервические девицы, визжа, затыкали уши...

Я отыскал его в углу гостиной, где он сидел с Бурлюком, и, пожав ему руку, сказал:

— Вы здорово выросли, Володя!

— Правда? — радостно улыбнулся он. И глаза его заблестели.

А Давид Бурлюк, наставив монокль, через который разглядывал мое боевое обмундирование, сказал:

— Вот вы благородное дело делали. А мы тут варимся, как пельмени в бульоне...

В жизни Маяковский, мне кажется, был нелегкий человек: замкнут, суров, надменен до предела, и выражение его лица с брезгливо выпяченной нижней губой было всегда презрительным. При этом он читал свои стихи каким-то особенным, нарочито фатовским голосом, подчеркнуто растягивая слова и снисходительно их бросая. Не знаю, как он читал впоследствии, когда я уже уехал за границу, но в мое время он читал их так. Во всей его манере держаться, в фигуре, осанке и жестах чувстаовались непередаваемое презрение к окружающим и явный вызов обществу. Он был непримирим и беспощаден в своих суждениях и оценках. Прирожденный революционер, после Октябрьской революции он сразу же стал на сторону большевиков.

За словом в карман Маяковский, как говорится, не лез. Помню, как-то довольно серенький, но очень самолюбивый поэт Мешков, у которого уже был напечатан тощий сборничек «Снежные будни», осмелился критиковать какое-то стихотворение Маяковского в его присутствии. Маяковский, презрительно усмехнувшись, скривил рот и процедил сквозь зубы:

— Ну, конечно, вам оно не нравится! Да ведь вы небось привыкли:

Сучка божия не знает
Ни заботы, ни труда!

Взрыв хохота присутствующих окончательно сразил Мешкова. Он встал и вышел.

Первые успехи

Вечерами летом мы часто собирались на Тверском бульваре, где было кафе Грека. Стакан чаю с куском кулебяки стоил пятнадцать копеек. Но и эти деньги были не у каждого из нас. Поэтому одно время было решено, что каждый вечер за все эти чаи и кулебяки будет платить кто-нибудь один из присутствующих. Зато потом целую неделю ему уже не надо ничего платить, ибо это сделают другие товарищи — по очереди. Очередь дошла и до меня. В моем кармане в этот вечер было копеек тридцать. А счет был рубля на полтора. Где достать еще рубль? Я уже, конечно, не ел и не пил ничего, а побежал в конец бульвара к Страстному, чтобы подкараулить там кого-нибудь, у кого можно бы перехватить рубль. Как назло никто из знакомых не проходил. Я начал нервничать. Шутка сказать — в залоге у Грека сидела вся наша братва и не могла двинуться! Грек не понимал шуток и в долг не давал. Я уже стал приходить в отчаяние. Как вдруг — о небо!— в глубине бульвара замаячила грузная фигура одного знакомого и солидного журналиста, с которым меня когда-то познакомила за кулисами театра сестра Надя. Это был один из редакторов весьма распространенной бульварной газеты «Раннее утро» Александр Осипович Волк. Я бросился к нему:

— Здравствуйте, Александр Осипович,— радостно вскричал я, чуть не кидаясь ему на шею. Волк шел, по-видимому, после сытного ужина и перекладывал зубочистку из одного угла рта в другой.

— А... здравствуйте, милейший! — равнодушно сказал он, не особенно, по-видимому, обрадовавшись встрече. И тут же начал меня журить:— Послушайте, дорогой... Ну как вам не совестно? На кого вы похожи? Ходите размалеванный, как клоун какой-то. Занюханный, несчастный, смешной... Ведь вы же молодой человек! Подаете кой-какие надежды, так сказать. Я вот слушал вас в театре у Арцыбушевой. Даже написать хотел. Ведь из вас может еще выйти прекрасный куплетист, например, и прочее. Одумайтесь!

Я дал ему высказаться. Потом, набрав воздуху и сделав покорное лицо, сразу выпалил:

— Александр Осипович, одолжите мне рубль!

Волк поморщился. Пауза.

— Я, конечно, дам вам этот рубль, но... Это ведь вас не исправит, голубчик,— задумчиво сказал он.— Нате, возь-

мите.— И он полез в жилетный карман и вытащил оттуда серебряный рубль!

Урра!

Больше он мне был не нужен. Запрятав рубль в карман, я моментально обнаглел.

— А чего, вы, собственно, хотите от меня? — спросил я, глядя ему в глаза.— У меня ведь жизнь еще только начинается. А так как вы к тому же не мой папаша, меня не содержите и обо мне не заботитесь. Не правда ли? Я пока еще...— тут я на минутку задумался,— я волк, только не такой жирный, как вы! Я голодный волк-одиночка! Меня не кормят кроликами в зоологическом саду, как вас. Я сам добываю себе пищу!.. А вот если я захочу...— это уже было совсем по-мальчишески,— если захочу, я через три года буду знаменитостью! Хотите пари на три рубля?

Волк улыбнулся.

— Ну что ж, я только порадуюсь за вас!...— снисходительно сказал он, принимая пари.

Зажав рубль в кулаке, я помчался в кафе, где уже складывали скатерти перед закрытием, и заплатил по счету, выкупив всю нашу уже потерявшую надежду компанию.

Знаменитостью же я стал не через три года, а через год. Однажды, проснувшись утром, я выяснил, что я уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты в Петровском театре на мои выступления были раскуплены на всю неделю вперед, получал я уже сто рублей в месяц. Нотные магазины на Петровке были завалены моими нотами: «Креольчик», «Жамэ», «Минуточка».

В витринах Аванцо на Кузнецком и в кафе у «Сиу» стояли мои портреты в костюме Пьеро. На сцену ежевечерне мне подавали корзины цветов, а у входа в театр меня ждала толпа поклонниц и поклонников. Газеты меня изощренно крыли. А публика частью аплодировала, частью свистала. Но шла на мои гастроли лавой. Студенты и курсистки переписывали мои стихи, раскупали ноты и развозили их по всей Руси великой.

Куда же дальше? Я выиграл. Это было ясно. А Волка этого самого, увы, нигде не встречал. И вот еще через год или два, когда я уже уехал за границу и, прибыв в Константинополь, поставил свои чемоданы в холле гостиницы «Пера-Палас», навстречу мне с одного из огромных кресел поднялась грузная фигура.

— Вы не узнаете меня? — спросил он меня.

— Нет.

— Я — Волк. Александр Осипович Волк. Помните? Я проиграл вам три рубля. Вот уже три года, как я ношу их в бумажнике, чтобы вручить вам.— И он подал мне новенькую зеленую трешку.

«Санта мадонна...— подумал я.— И это он отдает долг мне теперь, когда, во-первых, деньги эти мне не нужны, а во-вторых, уже целая тысяча русских рублей ничего не стоит на турецкие деньги». Я только покачал головой.

О, если бы он дал мне «зелененькую» тогда, на бульваре!

Вернемся, впрочем, в Москву военных лет.

С фронта везли и везли новые эшелоны калек — безногих, безруких, слепых, изуродованных шрапнелью и немецкими разрывными пулями. Все школы, частные дома, где были большие залы, институты, гимназии, пустующие магазины — все было приспособлено под госпитали.

Трон шатался... Поддерживать его было некому. По стране ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене генералов, занимавших командные должности, о гибели безоружных, полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интендантов.

Страна дрожала как от озноба, сжигаемая внутренним огнем. Россию лихорадило. Но богемы это пока не касалось. Все продолжали жить своими интересами: издавали сборники стихов, грызлись между собой, эпатировали буржуа, писали заумные стихи, выставляли на выставках явно издевательские полотна и притворялись гениями. И сквозь весь этот вороний грай, крик, писк и вой, покрывая его своей мощью, грозно гремел голос Маяковского:

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Ему свистели. В кабаре и кафе в него летели бутылки. Помню, как я ловил их и швырял обратно в публику, когда мы выступали как-то в Петрограде в «Бродячей собаке», и как Борис Пронин — директор кабаре — вывел нас через черный ход на улицу, спасая от разъяренной толпы гостей.

О войне никто не хотел думать. В зале Политехнического музея в Москве самозабвенно пел свои «поэзы» изысканно-галантерейный Игорь Северянин. Вспотевшие от волнения курсистки яростно аплодировали ему, единогласно избрав его «королем поэзии»...

Тиана, как больно! Как больно, Тиана!
Вложить вам билеты в лиловый конверт
И звать на помпезный поэзоконцерт!
Тиана, мне грустно! Мне больно, Тиана!

— Браво! — задыхаясь кричали курсистки.— Браво!..

А он стоял, гордый и надменный, в черном глухом сюртуке, с длинным лицом немецкого пастора, и милостиво кивал головой, даже не улыбаясь.

Каретка куртизанки в коричневую лошадь
По хвойному откосу спускается на пляж...—

распевал он, раскачиваясь в стихотворном ритме.

Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить;
Блюстителем здоровья назначен юный паж.
Цилиндры солнцевеют, причесанные лосско,
И дамьи туалеты — пригодны для витрин...

— А вы были когда-нибудь на пляже, Игорь? — спрашивал я его.

— А что?..

— Да так! Кто же ходит на пляж в цилиндрах и «туалетах»? Туда приходят в купальных костюмах. А куртизанок в калошах вы когда-нибудь видели?

Он даже не удостоил меня ответом.

К концу вечера, отдавая дань тяжелому положению на фронте, он читал какие-то беспомощно-патриотические стихи. Не помню их содержание, а голове засели лишь две заключительные строки:

Тогда, ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

И тем не менее успех у него был потрясающий.

Северянин был человек бедный, но тянулся он изо всех сил, изображая пресыщенного эстета и аристократа. Это очень вредило ему. Несомненно, он был талантлив: в его стихах много подлинного чувства, выдумки, темперамента, молодого напора и искренности. Но ему не хватало хорошего вкуса и чувства меры. А кроме того, его неудержимо влекло в тот замкнутый и пустой мир, который назывался «высшим светом».

Сидя же на чердаке, где-то на Васильевском острове, на шестом этаже (ход у него, как и у меня, через хозяйку), в дешевой комнате, было довольно трудно казаться утонченным денди...

В Москве на Тверской — насупротив гостиницы «Люкс»[1] — клоун М. А. Станевский-Бом открыл кафе. Глубокой осенью, когда кафе «Грек» уже закрыли на зиму, мы перекочевали в «Бом» — кафе очень уютное, теплое и нарядное. Подавали там хорошенькие официантки в белых чистых передничках и накрахмаленных головных наколках. Под стеклом столиков и на стенах — рисунки художников, посещавших кафе, стихи поэтов и автографы литераторов. Кроме того — еще книга, в которую мы писали хозяину на память рифмованные комплименты.

Там можно было встретить кого угодно. Иногда в «Боме» сидел Алексей Толстой, бывали Эренбург, Сургучев, Анатолий Каменский, Лев Никулин, Владимир Лидин, Дон-Аминадо... Из художников — скульптор Меркулов, Сарьян, Кончаловский, Ларионов, Гончаров, футуристская молодежь. С неугасающей трубкой с утра до вечера сидел в углу художник Александр Койранский, наезжали из Петрограда Судейкин, Бенуа...

Часто можно было увидеть там Динку сумасшедшую — графиню Роттермунд — в больших желтых бриллиантах, которые оттягивали ей уши, еще очень красивую, но уже увядающую от курения опиума и употребления кокаина. Бывали знаменитая Настя-натурщица, Шурка-зверек — Монахова, хорошо известные Москве звезды кафешантанов, и много еще молодых и красивых женщин. Словом, кафе процветало, и мы привыкли к нему.

Как-то мы с Маяковским шли по Тверскому бульвару от Никитских ворот к Страстному. Мы направлялись в это кафе. Была пронзительная злющая осень. Мелкий колючий дождик залезал нам в нос, в уши, за воротник. Было очень холодно. Мы ежились и мерзли. Маяковский читал стихи Ахматовой о Пушкине:

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов...

Стихи ему, по-видимому, очень нравились: читал он их задушевно, вполголоса.

Придя к «Бому», мы сели за столик в углу, на бархатный розовый диванчик. В кафе было полно народу. Через минуту к нам подошла чистенькая накрахмаленная подавальщица и спросила:

---

[1] Теперь гостиница «Центральная».

— Вам что?..

Маяковский задумался. Потом, глядя ей в глаза, спокойно сказал:

— Стакан очень горячего чаю и... драповое пальто!..

Февральская революция многих обрадовала, многих огорчила, но поразила всех, а иных как-то выбила из колеи. Спешно прикрепляя к груди красные банты, перепуганные буржуа, крупные и мелкие чиновники встретили ее с растерянной улыбкой на дрожащих губах, уверяя друг друга, что она и «великая» и «бескровная»!.. Везде, где только можно было, произносились успокоительные речи... Все будет хорошо, вот увидите! Только не надо волноваться! А главное, надо продолжать «войну до победного конца!» — иначе «что же подумают о нас наши союзники?».

На именинах, за кулебяками, на блинах, на банкетах, в кружках и собраниях все те же энергичные помощники присяжных поверенных в форме всевозможных санитарных учреждений, «земгусары», как их называли, стучали ножами по тарелкам, требуя внимания, и, раскупорив застоявшиеся фонтаны еще не использованного красноречия, рвали и метали в припадках «революционного» патриотизма. Они были всюду. Куда бы вы ни ткнулись, вы везде натыкались на них. Они ездили на фронт уговаривать солдат продолжать войну, соловьями заливались на митингах, грозно бряцали оружием, которого никогда и в руках не держали, и срывали голоса.

На вакантном после отречения Николая престоле сидел «Александр четвертый» — рыжий присяжный поверенный в защитном френче и крагах с прической бобриком, как у фельдфебеля. Это был актер. И плохой актер!

К нему скоро приклеилась этикетка «Печальный Пьеро Российской революции».

Собственно говоря, это был мой титул, ибо на нотах и афишах всегда писали: «Песенки печального Пьеро». И вообще на «Пьеро» у меня была, так сказать, монополия! Но... я не возражал!

По улицам водили «разоруженных» городовых, прятавшихся кто у кумы, а кто в подвалах «раскамуфлированных» приставов и околоточных с перекошенными от страха лицами. А в милиции, в уголовном розыске, сидела в качестве главного комиссара тоненькая, тщедушная и анемичная, юридического факультета девица Сонечка Вайль и испуганно косилась на блестящий наган, прикрытый сумочкой. Наган лежал на столе перед ней — он полагался ей по чину, а она его

смертельно боялась. Я был знаком с Сонечкой. Это была приличная, хорошенькая и несколько рахитичная девственница-барышня, тщательно охраняемая своими родителями. Мы, по их просьбе, по очереди провожали ее обычно домой после разных диспутов и лекций, ибо она очень боялась возвращаться одна по темным улицам.

На площадях, у памятника Скобелеву, на Страстном, у Манежа с утра до вечера шли митинги. Но все оставалось пока на своих местах: магазины торговали, кафе тоже, театры работали, спешно перестраивая репертуар. В маленьком Петровском театре, где я выступал, режиссер Давид Гутман, большой шутник и выдумщик, ставил наспех сколоченную пьеску «Чашка чая у Вырубовой»; предприимчивые кинодельцы — Дранков, Перский и другие — уже анонсировали фильмы с сенсационными названиями вроде «Тайна Германского посольства» и пр. Появились новые деньги, сразу же названные «керенками» в честь их создателя. Они были маленькие, имели жалкий вид и походили на этикетки от лекарств. Спекулянты стали сразу «зарабатывать» их целыми простынями.

Все чего-то ждали. Не может быть, чтобы все так спокойно кончилось! Ведь это же революция!.. И — не страшная? Это было подозрительно.

— Ничего! Еще увидите! Подождите! — говорили скептики.— Это ведь только цветочки! А ягодки-то впереди!

Но на нас, богему, эта революция не повлияла никак. Как будто ее и не было. Пооткрывались новые кафе, «Питерск» на Кузнецком и «Кафе поэтов» в Настасьинском. Желтых кофт мы уже не носили, но чудили, как всегда. Впрочем, это уже не производило особого впечатления. К нам уже привыкли и слушали нас спокойно, со снисходительными улыбочками. Скандал не может длиться бесконечно! Футуризм сделал свое дело, обратив на нас внимание общества, и больше он уже не был нужен ни нам, ни публике. Приезжал из Италии «отец футуризма» Маринетти, но большого успеха уже не имел. Постепенно мы стали отходить от футуризма. Каждый уже шел своим путем. В итоге футуризм ничего и никого не создал. Маяковский? Но Маяковский был велик сам по себе, независимо ни от чего. Его цели и устремления были иными и совсем других масштабов.

А я в это время (как уже вам докладывал) стал «знаменитостью» на московском горизонте и жалобно мурлыкал свои «ариетки» в костюме и гриме Пьеро. От страха перед публикой, боясь своего лица, я делал сильно условный грим:

свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать свое смущение и робость, я пел в таинственном «лунном» полумраке, но дальше пятого ряда меня, увы, не было слышно. И заметьте, это в театрике, где всего было триста мест! Впечатлительный и падкий на романтику женский пол принимал меня чрезмерно восторженно, забрасывая цветами. Мне уже приходилось уходить из театра через черный ход. Мужчины хмурились и презрительно ворчали:

— Кокаинист!

— Сумасшедший какой-то!

— И что вы в нем нашли? — недоуменно спрашивали они женщин.

Я и сам не знал. Петь я не умел! Поэт я был довольно скромный, композитор тем более наивный! Даже нот не знал, и мне всегда кто-нибудь должен был записывать мои мелодии. Вместо лица у меня была маска. Что их так трогало во мне?

Прежде всего наличие в каждой песенке того или иного сюжета. Помню, я сидел на концерте Собинова и думал: «Вот поет соловей русской оперной сцены... А о чем он поет? Розы-грезы. Опять розы. Соловей — аллей. До каких пор? Ведь это уже стертые слова! Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу».

И я стал писать песенки-новеллы, где был прежде всего сюжет. Содержание. Действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. Я рассказывал какую-нибудь историю вроде «Безноженьки» — девочки-калеки, которая спит на кладбище «между лохматых могил» и видит, как «добрый и ласковый боженька» приклеил ей во сне «ноги — большие и новые»... Я пел о «Кокаинетке» — одинокой, заброшенной девочке с «мокрых бульваров Москвы», о женщине в «пыльном маленьком городе», где «балов не бывало», которая всю жизнь мечтала о Версале, о «мертвом принце», «о балах, о пажах, вереницах карет». И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть и которое ей наконец надели, когда она умерла! И так далее...

У меня были «Жамэ», «Минуточка», «Бал господен», «Креольчик», «Лиловый негр», «Оловянное сердце»... Одну за другой постепенно создавал я свои песни. А публика, не подозревавшая, что обо всем этом можно петь, слушала их с вниманием, интересом и сочувствием. Очевидно, я попал в точку. Как и все новое в искусстве, мои выступления вызывали не только восторги, но и целую бурю негодования. В чем

только не упрекали меня! Как только меня не поносили и не ругали! Страшно вспомнить. Уже позже, в Киеве, на концерте какой-то педагог вскочил на барьер ложи и закричал:

— Молодежь! Не слушайте его! Он зовет вас к самоубийству!

Молодежь с хохотом стащила его с барьера ложи.

А все потому, что в своей песенке «Кокаинетка» я осмелился сказать:

Так не плачьте! Не стоит, моя одинокая деточка,
Кокаином распятая в мокрых бульваpах Москвы!
Лучше синюю шейку свою затяните потуже горжеточкой
И ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы!

Конечно, это было жестоко и не весьма педагогично. Но, увы, это было единственное, что можно было ей посоветовать. Сергей Городецкий в Тифлисе как-то написал рецензию на мое выступление. Там были слова:

«Я еще не знаю, что лучше — некрасовское «позовем-ка ее да расспросим» или его «И ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы!».

Во время выступлений в Киеве я заметил мужчину и женщину, которые не пропускали ни одного моего концерта. Сидели они всегда в первом ряду. Она бешено аплодировала мне, а он, как безумный, наотмашь лупил ее по щекам. И так каждый раз. Я уходил за кулисы в слезах отчаяния, догадываясь, что эта женщина — из тех самых, «распятых» кокаиновой смертью. Да, несладок был этот мой успех.

В одно лето мы с нашим театриком, который держала добрейшая Марья Николаевна Нинина-Петипа — бывшая актриса, происходившая из славной театральной династии Петипа,— отправились на гастроли в Тифлис, в сад Общественного собрания. В ее труппе было много разных актеров — Поль, Женя Скован, молодой Покрасс (Аркадий, кажется) и другие.

Гастролером был я.

Однажды в театр пришел пианист Игумнов и сказал Марье Николаевне, что хочет послушать меня. Я перетрусил и отказался выступать. На другой день, к ужасу своему, я снова увидел его фигуру в театре. Я хотел было опять уклониться от выступления, но Марья Николаевна сказала:

— Этак вы сорвете мне весь сезон.

Пришлось петь. После спектакля Игумнов пришел ко мне за кулисы. Мы познакомились. Потом ужинали в саду. Я был очень недоволен его посещением и сказал ему:

— Зачем вы пришли? Ведь вы же только смутили меня своим визитом.

— Почему? — удивленно спросил он.

— Потому что я не понимаю, как вы, музыкант высокого класса, воспитанный на Бахе, Генделе и Шумане, можете слушать такую дилетантщину! Это же просто издевательство надо мной!

Он улыбнулся.

— Я должен вам заметить,— сказал он,— что искусство двигают вперед почти всегда дилетанты, люди, не связанные никакими канонами!..

Грузины принимали меня очень хорошо. Театр был всегда переполнен, а в день моего бенефиса на сцену вкатили автомобиль, сделанный из цветов, и подарили большой, оправленный серебром рог. Вечером на Куре был дан в честь меня банкет. Произносились тосты и речи, от которых таяло мое сердце. Все было хорошо до тех пор, пока не стали пить из моего бенефисного рога. Когда очередь дошла до меня, тамада (надо отдать ему справедливость) разрешил не пить его до конца, поскольку у меня нет соответствующей практики. Однако из самолюбия и молодечества я осушил содержимое рога до последней капельки. В результате «полег костьми» и обнаружил себя лишь утром в кустах над пенящейся Курой.

По приезде из Грузии, о которой у меня остались самые нежные воспоминания, я снова окунулся с головой в московскую жизнь. Я выступал в различных театрах миниатюр и наконец снова водворился в своем милом театрике в Петровских линиях у Марьи Николаевны под крылышком. Появился «мсье Алли» (Алексей Зарубаев), который в свое время жил в Париже, где и научился петь французские песенки. Ему еще дописали несколько бойких и забавных песенок на русском языке, с которыми он выступал с большим успехом, а его песенку «Я не такая, я иная!..» напевали все. Это был до некоторой степени мой соперник, но меня это не волновало. Появилась Анна Степовая с цыганскими романсами. Гастролировал Хенкин, был неплохой балет — Бони, Кирсанова, Мария Юрьева... Дирижировал Владимир Бакалейников.

Театр прочно завоевал московскую публику, и попасть на спектакли (хотя они шли двумя сеансами ежедневно) было трудно. Назывался он теперь «Театр сольных выступлений».

Я выезжал время от времени на гастроли. Был в Одессе, пел в Петрограде в театре «Павильон де Пари», но в общей программе пел по три-четыре песенки, не больше. Потом возвращался в Москву и пел сезон на своем обычном месте.

У меня был издатель, очень ловкий и предприимчивый, некий Андржеевский, в свое время купивший мою первую песню «Минуточка» за двадцать пять рублей. Он скупал у меня все мои песни на корню, по дешевке, и издавал их большими тиражами, украшая ими витрины всех нотных магазинов и в Москве, и в провинции. Все это вместе взятое плюс яростная травля прессы делали мне большую рекламу. Все же меня эти выступления в «миниатюрах», в общей программе, не удовлетворяли, хотя я и был главным гастролером. Мне хотелось чего-то большего.

Однажды ко мне за кулисы пришел антрепренер Леонидов. Это была довольно крупная фигура в театральном мире. Он возил по провинции больших гастролеров: Художественный театр, Собинова, Гельцер, Нежданову и даже, кажется, Шаляпина. Приходил он в театр несколько раз, очевидно, приглядываясь ко мне, и однажды спросил меня:

— Ну и что же? Вас удовлетворяет ваше теперешнее положение?

— Нет! — откровенно сознался я.

Он задумался, но ничего больше не сказал.

Я продолжал петь. В сущности, это был мой первый серьезный театральный сезон. Был октябрь 17-го года. Дирекция решила дать мне бенефис. Я написал несколько новых песен, заказал себе новый костюм Пьеро — черный вместо белого, и Москва разукрасилась огромными афишами: «Бенефис Вертинского».

Билеты были распроданы за один час, и, хотя в этот день было три сеанса вместо двух, все же публика могла бы наполнить еще пять таких театров. Начался вечер. Москва буквально задарила меня! Все фойе было уставлено цветами и подарками. Большие настольные лампы с фарфоровыми фигурами Пьеро, бронзовые письменные приборы, серебряные лавровые венки, духи, кольца-перстни с опалами и сапфирами, вышитые диванные подушки, гравюры, картины, шелковые пижамы, кашне, серебряные портсигары и пр. и пр. Подарки сдавались в контору театра, а цветы ставили в фойе прямо на пол, так что уже публике даже стоять было негде.

По старому календарю это было 25 октября. День, как вам известно, начала Великой Октябрьской революции.

После бенефиса, в первом часу ночи, захватив с собой только те цветы, которые были посажены в ящиках: ландыши, гиацинты, розы, сирень в горшках,— я на трех извозчиках поехал домой, в Грузины. Подарки я оставил в театре, в конторе.

Доехав до Страстного, я вдруг отчетливо услыхал звуки выстрелов. Начиналась революция. На этот раз настоящая. Ее ждали. В «Метрополе» сидели юнкера, охраняя спекулянтские чемоданы. У Никитских ворот засели белогвардейцы.

Извозчики остановились, потом переглянулись, пошептались и сказали:

— Слезай, барин. Дальше не поедем. Стреляют.

Что было делать? Куда девать цветы? Я подумвл, велел извозчикам снести ящики и вазоны к памятнику Пушкина и пешком пошел в Грузины.

Если хотите проверить мои слова, пойдите в Ленинскую библиотеку и просмотрите газеты за этот день — 25 октября 1917 года. И вы увидите, что во всех газетах в этот день были большие объявления: «Бенефис Вертинского».

Увы. Тогда я не понял, с каким великим событием совпал мой первый бенефис... Я бы сказал заведомую неправду, если бы стал уверять вас, мой дорогой читатель, что сразу уверовал в революцию. Нет, прошлое еще цепко держало меня под своим влиянием, я не был ни достаточно мудр, ни достаточно политически образован, ни достаточно проницателен, чтобы ее принять и понять.

На всех постах революции стояли новые, никому не известные люди, какие-то «большевики», которых раньше никто не видел,— прямые и напористые, грубоватые и совсем простые, пришедшие с фабрик, заводов, шахт, крепко севшие на свои места и, по-видимому, не собиравшиеся их уступать никому.

Сразу переменилось лицо Москвы. Куда девались корректные, элегантные разговорщики — помощники присяжных поверенных, бодрые, любезные, как приказчики из знаменитых молочных магазинов Чичкина? Куда исчезли снисходительно-либеральные московские баре, земцы, общественные деятели? Они исчезли. Притаились и выжидали, переодетые во все «старенькое». Москва примолкла.

Я же пел в своем Петровском театрике у Марьи Николаевны, писал новые вещи.

Однажды Леонидов сказал:

— Я хочу вас попробовать. По-моему, вы и ваше искусство шире и больше тех рамок, в которых вы находитесь. Театр миниатюр мал для него. Насколько я понимаю, вас надо вывести на широкую дорогу. Хотите рискнуть?

— Что это значит? — спросил я.

— Это значит, что я сниму несколько городов, выпущу ваши афиши и попробую сделать из вас концертанта. Солиста. Настоящую артистическую величину. Я верю в вас и думаю, что не ошибусь. Хотите?

Я согласился. Уж очень это было заманчиво. Взяв отпуск в театре, я уехал с ним.

Первый город был Екатеринослав (теперь Днепропетровск). Приехав в город, я прежде всего пошел посмотреть театр. В нем было тысяча двести мест! Мне стало ясно, что я не одолею этого театра. В моем Петровском театрике триста мест, и то дальше пятого ряда меня уже не слышно. А тут тысяча двести. Я испугался и стал умолять Леонидова отпустить меня домой. В отчаянии я предлагал ему даже уплатить неустойку.

— Я провалюсь! Я не смогу! — убеждал я его.— Марья Николаевна вам все заплатит!

Леонидов был неумолим.

— Падать, так с большого коня! — сказал он... и повел меня в кассу.

Старенькая горбатая кассирша, двадцать пять лет прослужившая в этом театре, сказала мне:

— Сбор полный, но мало того, у меня в театре есть за колоннами десять таких мест, с которых ничего не видно. За двадцать пять лет, что я здесь, в этом театре, они ни разу еще не продавались. На ваш концерт впервые даже эти десять мест проданы!

Ну что было делать? Чтобы еще больше подбодрить меня, Леонидов показал мне две телеграммы. В одной было написано: «Провал полный. Леонидов». В другой: «Огромный успех! Наша лошадка пришла!»

— Вот,— сказал он,— я заготовил эти две телеграммы моему компаньону Варягину. От вас зависит, какую из них я пошлю сегодня ночью.

И ушел.

Я остался в театре. Разложив свой чемоданчик в уборной, я поставил икону Александра Невского, которую всегда возил с собой, зажег лампадку, вызвал пианиста и сел за рояль — репетировать. Начало было в восемь часов вечера.

Кое-как я распелся. Но сердце... нервы... мучительный страх перед публикой... Я чувствовал, что не могу владеть собой.

Без четверти восемь я велел принести мне стопку коньяку. Перед открытием занавеса я выпил ее до дна.

И сразу все стало просто. По телу разлился блаженный покой.

«Будь что будет. Все равно,— подумал я.— Падать так падать!»

Концерт я начал тихо, как всегда. Публика насторожилась. Тишина была особенная. Выжидающая, но пока еще недоверчивая. Да... я забыл еще сказать, что моему концерту был придан антураж. Сначала профессор Иодко играл на цитре, потом выходил чтец-рассказчик — маленький пожилой Володя Сладкопевцев, неподражаемый исполнитель рассказов Горбунова и Щедрина, скромный и талантливый.

Эти выступления до меня все же как-то расположили публику. Атмосфера была хорошая. Первое отделение прошло благополучно. Леонидов не показывался. Во втором отделении, подкрепившись еще глотком коньяку, я уже пел увереннее. «Бал господен» тронул наконец все сердца. Мне аплодировали довольно много.

Последней была песня «То, что я должен сказать». Я уже был в ударе, что называется. В полной боевой готовности. Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни, в публику — яростно, сильно и гневно! Уже ничего нельзя было удержать и остановить во мне... Зал задохнулся, потрясенный и испуганный.

Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!..

Я кончил.

Я думал, что меня разорвут! Зал дрожал от исступленных аплодисментов. Крики, вой, свистки, слезы и истерики женщин — все смешалось в один сплошной гул.

Толпа ринулась за кулисы. Меня обнимали, целовали, жали мне руки, благодарили, что-то говорили...

Я ничего не слышал и ничего не понимал. Я упал в кресло. Меня трясла нервная дрожь. Так вот он, этот страшный экзамен на звание артиста! Я выдержал его на этот раз. И вдруг сквозь всю эту толпу я увидел лицо Леонидова. Он шел ко мне. В глазах у него были слезы.

— Молодец, мальчик! — сказал он, обнимая меня.— Умница! Вот... я рву обе телеграммы и посылаю эту...

Он прочел мне ее: «Успех небывалый. Вертинский победил. Нас можно поздравить! Мы угадали будущего гения. Леонидов».

С тех пор я стал концертантом.

С этого дня я уже не пел в «миниатюрах». Я пел концерты со своим хорошо подобранным антуражем. Билеты раскупались задолго до моего выступления. Я делал аншлаги, получал большие гонорары...

А в Москве жить становилось все труднее. В магазинах все припрятали. Исчезли сахар, белый хлеб. Пить приходилось чуть ли не денатурат. Ничего нельзя было достать за все мои деньги. А тут я еще, как назло, влюбился в одну балерину. Балерина была талантлива, но злая, капризная и жадная невероятно. С большими усилиями, благодаря своему имени и гонорарам, я доставал ей все, что было возможно,— духи, одеколон, мыло, пудру, шоколад, конфеты, пирожные. «По знакомству» мне давали все. Я покупал ей золотые вещи, материалы для платьев — шелк и шифон, бархат и кисею... Все это она принимала как должное, но всего этого ей было мало.

Танцует она, например, в «Эрмитаже». Я захожу к ней за кулисы. Смотрю, она «вытрющивается» перед каким-то невзрачного вида посетителем.

— Что это за тип? — спрашиваю я.— И чего вы так перед ним выворачиваетесь?

— Он мне обещал принести одеколон,— говорит она.

— Ничтожество! — в бешенстве кричу я.— Я ведь только сегодня утром прислал вам ящик от «Ралле», где этого одеколона пять флаконов, и духи, и пудра, и мыло!

Она пожимает плечами. Ей мало этого!

Гуляем как-то мы с ней по Мясницкой (теперь улица Кирова). Правую сторону занимают магазины земледельческих орудий, в окнах выставлены шарикоподшипники. Подходим к витрине.

— Муся,— говорю я,— вот... шарикоподшипники! Купить вам?

— Купите.

— А зачем?

— Да так. Пусть лежат!

Есть же такие балерины, прости господи!..

Театральный сезон кончился. Театр закрылся. Марья Николаевна «уступила» меня одесскому театру «Гротеск» на ряд гастролей. Я сильно побаивался за свой успех в этом своеобразном городе. Одесситы — большие патриоты, у них свои особые вкусы, они имеют своих актеров, которых очень любят, и признают «привозных» очень осторожно и неохотно. Тем более что у них была своя собственная «звезда» в песенном жанре — Иза Кремер, довольно талантливая исполнительница французских и немецких песенок, переведенных на русский язык, а также еврейских. Разница между нами была та, что она пела чужие песни, а я — свои собственные, ну и в различии жанров, конечно. Муж ее был главным редак-

тором самой крупной газеты — «Одесские новости», и я боялся, что эта газета мне «не даст ходу». Однако этого не случилось. Иза, с которой я был знаком в Москве, пришла на мой концерт, много аплодировала мне, демонстрируя свою лояльность. Она привела с собой даже мужа — всесильного редактора Хейфеца. Публика приняла меня тепло, и отзывы в газетах на другой день были прекрасные. У меня до сих пор сохранилась рецензия Эдуарда Багрицкого, тогда скромного одесского репортера.

...Рассказывая о своих театральных и концертных дебютах, я вовсе упустил из виду и позабыл еще одну сферу искусства, в которой тоже подвизался. Речь идет о кино. А забыл я об этом скорее всего потому, что кинематограф тогда искусством не считали. Это было, по общему мнению, низкое развлечение, что-то вроде балагана, оснащенного новейшей (по тем временам!) техникой. Но заработать, снимаясь в кино, можно было неплохо. И еще до того, как я начал выступать со своими песенками, мне довелось подрабатывать на первой русской кинофабрике Ханжонкова. Поначалу там работали наощупь и наугад, никто еще не имел опыта в этом деле, но фабрика постепенно крепла и завоевывала положение на кинорынке, который до этого питался только привозными иностранными картинами. Первыми режиссерами, насколько я помню, были Чардынин и Старевич, потом Евгений Бауэр, потом некоторое время был Иванов-Гай, потом уже появились Протазанов и другие. Была небольшая труппа. Из нее я помню Тамару Гедиванову, Нельскую и Триденскую. Из мужского персонала помню Ивана Мозжухина. Совсем юный актер Народного дома, он был необычайно фотогеничен (хотя тогда этого слова еще и не знали, оно появилось позже).

Пробегая мысленно взором свою актерскую жизнь, я вспоминаю то один, то другой эпизод, который сам по себе настолько забавен, что его очень жалко не рассказать, пропустить. Но хронологически его место не здесь. Его нужно было рассказать раньше. Но в свое время он выпал из памяти. Что делать? Волей-неволей приходится нарушать последовательность повествования. И вот эта сумбурность, что ли, моего письма очень огорчает моих милых редакторов. Вы уж простите! Тем более что я заранее предупредил, сознался со всей откровенностью, что хронология — мое самое слабое место... Итак, я хочу рассказать об одном замечательном случае из времен моей кинодеятельности, рассказ о котором в нужном месте я поведать забыл. Я тогда не пел еще своих песен, а только начал работать на фабрике у Ханжонкова.

Если не ошибаюсь, в 1914 году на фабрике появился Илья Львович Толстой, сын Льва Толстого, как две капли воды похожий на отца. Он искал актера на одну из ролей сценария, который написал по рассказу отца «Чем люди живы». Он сам и ставил этот фильм. Согласно сюжету фильма один из ангелов захотел узнать, как и чем живут люди на земле, и, спустившись с неба на землю, попал в семью сапожника. Все актеры у Толстого были уже подобраны, и ему нужен был только ангел.

Вначале он предложил эту роль Мозжухину. Иван со смехом отказался.

— Ну какой же я ангел? — сказал он.— Вот если б черта... Я бы сыграл!

Трудность заключалась еще в том, что этот ангел падает с неба зимой прямо в снег, совершенно голый, с одними только крыльями за спиной. Никто не соглашался на такое неприятное дело. Толстой обратился ко мне. Из молодечества и озорства я согласился.

— Ты с ума сошел! Голым прыгать в снег! Ты же схватишь воспаление легких! — изумлялись товарищи.

— Ничего. Не схвачу! Я спортсмен! — презрительно возражал я.

— Сколько вы хотите за эту роль? — спросил Толстой.

— Сто рублей! — прошептал я.

Все затаили дыхание. Это была огромная по тем временам сумма. К всеобщему изумлению, Толстой немедленно согласился. Очевидно, «ангелы» были дефицитным товаром. Был подписан договор и выдан аванс — пятнадцать рублей. Я повел всех в кабак и был, разумеется, героем дня.

Через несколько дней Толстой приехал за мной. Снимать натуру надо было в Ясной Поляне. С вечера мы сели в поезд и утром сошли на маленькой станции. Во дворе за вокзалом нас ждали сани-розвальни с медвежьей полостью. В доме нас встретила Софья Андреевна, напоила чаем с баранками, и мы уехали в поле на съемку. Ехали мы в закрытом возке вроде кареты. Для бодрости Илья Львович дал мне флягу с коньяком. Поставили аппарат. Я разделся в каретке догола, прицепил на спину крылья, глотнул коньяку и полез на крышу. Оттуда я должен был спрыгнуть в снег, оглядеться и пойти по снегу вдаль не оглядываясь (спиной к аппарату).

Все это я проделал точно и аккуратно, как требовалось. Противнее всего было идти вдаль... Хорошо еще, что сцена

снималась только один раз. Я остекленел и окоченел. После съемки меня схватили, укутали в тулупы, усадили в карету и вскачь повезли в деревню. В крестьянской избе меня стали быстро растирать снегом, дали еще коньяку, и вскоре я блаженно заснул на печке под горой тулупов и шуб, которые на меня навалили. Все это произошло довольно быстро. Кроме того, я был пьян и почти ничего не замечал. Помню только, что какая-то древняя старуха, узревшая меня в таком виде, очевидно, решила, что меня ограбили, и заголосила навзрыд:

— Что ж они с тобой, родименьким, сделали? Ироды проклятые! Голубочек ты мой чистенький! Ограбили дите и в снег бросили!

Ей, конечно, нельзя было объяснить, что зто кино, и на нее никто не обратил внимания. Так она и осталась при своем мнении.

Я проспал на печи до вечера. Потом меня посадили в поезд, и я уехал в Москву. В Москве, к моему удивлению, меня уже на вокзале встречали журналисты. Мне зто очень польстило. Оказывается, все уже было известно. Для них это, конечно, была сенсация. Меня расспрашивали о доме Толстого, о Софье Андреевне, о моей «работе». Я врал изо всех сил, описывая свой геройский подвиг.

— Сколько же вы получили за зту роль? — спросил меня один из газетчиков.

— Сто рублей,— честно ответил я. И добавил: — Дурак был! Мало взял!

На другой день в газетах было напечатано интервью со мной. Кончалось оно так:

«— Сколько же вы получили за эту роль? — спросили мы Вертинского.

— Сто рублей. Мало взял! Дурак был! — отвечал он.

Мы не стали возражать талантливому артисту и откланялись».

Позор был на всю Москву. Иван Мозжухин полгода издевался надо мной после этого.

С Мозжухиным мы были друзьями. Он был у Ханжонкова на положении первого актера и сразу завоевал симпатии публики. Своим серым глазам красавец Мозжухин умел придавать любое выражение. Он хорошо чувствовал свет и аппарат и был необычайно «статуарен». Иван служил на договоре и получал семьдесят пять рублей в месяц, продолжая играть в театре. А я не пошел на договор. Я снимался на «разовых» — три рубля за съемочный день. Но так как я снимался почти ежедневно, то мне выходило около девяноста

рублей в месяц. На пятнадцать рублей больше, чем Ивану. Этого он не мог допустить и требовал, чтобы я пропивал с ним ту разницу в пятнадцать рублей. Что мы охотно и делали.

Среди моих тогдашних знакомых была очень красивая молодая женщина, жена прапорщика Холодного — Вера Холодная. Как-то, повстречав ее на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привез ее на кинофабрику и показал дирекции. Холодная понравилась. Постепенно ее стали втягивать в работу. Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как она уже играла картину за картиной, и успех ее у публики возрастал с каждой новой ролью.

В это время большие актеры неохотно шли в кино.

— Это не искусство,— говорили они.

Конечно, это было не то искусство, которому они служили. Немое кино у актера отнимало самое главное — слово! А что можно сыграть без слов? — думали актеры. Это было действительно трудно. В конце концов аппарат — это судебный следователь, внимательный и безжалостный. Следя и поглядывая пристально и зорко за актером, он все до малейших деталей видит, замечает и фиксирует. Его обмануть нельзя. Поэтому даже лучшие актеры часто терялись перед этим «всевидящим оком». К тому же нужно было играть молча, но приходилось все же что-то говорить. А текста не было, и только перед самой съемкой репетировали мизансцены, и каждый говорил, что хотел, и все это было, конечно, в ущерб картине, потому что говорили иногда черт знает какую чушь, которая смешила и выбивала из настроения.

Вообще настоящий ключ к этому новому искусству был подобран не скоро, и много картин покалечили актеры, прежде чем научились играть для кино. Постепенно все же большие актеры сменили гнев на милость. Стали сниматься Владимир Максимов из Малого театра, Петр Старковский, Петр Бакшеев и другие. На женском киногоризонте восходили новые звезды — Вера Коралли, Наталья Кованько, Наталья Лисенко.

Появились халтурные кинодельцы — Талдыкин, Перский, Дранков, которые быстро снимали какой-нибудь сенсационный или просто бойкий сценарий со случайным режиссером и актерами и пускали в прокат, зарабатывая большие деньги. Все же ханжонковское дело оставалось первым и наиболее серьезным.

У Ханжонкова была своя кинофабрика с павильоном и лабораторией, свой кинотеатр на нынешней площади имени Маяковского. Да и актеры были уже опытнее, и имена были покрупнее. Самыми яркими из них были Вера Холодная и Иван Мозжухин.

Много всяческой ерунды играли мы в то время. Я уже не могу вспомнить названия этих картин: «Вот мчится тройка почтовая», «У камина», «Позабудь про камин» и так далее. Одно время вообще сценарии писались на сюжет романсов: «Отцвели уж давно хризантемы в саду» и прочее, и даже на мой «Бал господен» был написан сценарий и сыгран фильм с Наташей Кованько. Но из всего этого мусора мне запомнилась только одна серьезно поставленная тургеневская «Песнь торжествующей любви» с Полонским и Верой Холодной. Эта картина была вершиной ее успеха.

Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал и написал на нотах: «Королеве экрана». Титул утвердился за ней. С тех пор ее так называла вся Россия и так писали в афишах.

Я часто бывал у нее и был в хороших отношениях и с ней, и с ее сестрой, и с ее мужем. А с ее маленькой дочерью Женечкой я играл в детской, дарил ей куклы и был, в общем, свой человек у них. Вера всегда помнила, что я впервые подсказал ей путь в кино. Из никому не известной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Многие свои песни я посвящал ей. Как-то, помню, я принес ей показать свою последнюю вещь «Ваши пальцы пахнут ладаном». Я уже отдавал ее издателю в печать и снова посвящал Холодной. Когда я прочел ей текст песни, она замахала на меня руками:

— Что вы сделали! Не надо! Не хочу! Чтобы я лежала в гробу! Ни за что! Снимите сейчас же посвящение!

Помню, я немного даже обиделся. Вещь была довольно удачная, на мой взгляд (что и подтвердилось впоследствии). Все же я снял посвящение.

Потом, через несколько лет, когда я пел в Ростове-на-Дону, в номер гостиницы мне подали телеграмму из Одессы: «Умерла Вера Холодная».

Оказалось, она выступала на балу журналистов, много танцевала и, разгоряченная, вышла на приморскую террасу, где ее прохватило резким морским ветром. У нее началась

«испанка» (как тогда называли грипп), и она сгорела как свеча в два-три дня.

Рукописи моих романсов лежали передо мной на столе. Издатель сидел напротив меня. Я вынул «Ваши пальцы» из этой пачки, перечел текст и написал: «Королеве экрана — Вере Холодной».

Сам я много еще снимался. Сыграл кадета в гончаровском «Обрыве», сыграл в комедии «Суфражистки» с польским актером, комиком Антоном Фертнером, его секретаря. Играл блаженненького в какой-то картине, переделанной из «купеческого» романа, не помню какого, играл Параго в фильме Вильяма Локка «Любимый бродяга», где наклеил себе почему-то такие брови треугольником, что вспомнить страшно, и... погубил картину. Играл в фильме «Король без венца» и во многих еще разных картинах, даже названий не помню теперь.

Играл с Бегичевой, Кованько, Софьей Лирской, с Верой Леонидовной Юреневой. Но после первых больших концертных успехов отказался от кинематографа очень надолго.

А Мозжухин рос с каждой картиной. После «Пиковой дамы», где он играл Германна, и «Отца Сергия» он был уже признанным «королем экрана» и любимцем публики. В театре же он был малозаметным вторым актером.

Затем появилась фирма «Ермольев». Это было тоже весьма серьезное дело, с лучшими актерами, с хорошим выбором постановок, с хорошими режиссерами. Туда Мозжухин вскоре и перешел, уйдя от Ханжонкова. Снимать стали интереснее, появились хорошие операторы, из которых я помню только одного — француза Форестье. Появился режиссер Волков, художник Лошаков, уже снимались Колин из Художественного театра, Н. Римский, Анна Ли и другие. Картины стали осмысленней, серьезней.

Кино становилось на ноги, крепло и росло с каждым днем, завоевывая прочное положение и свое место в искусстве. Впоследствии Ермольев, человек очень практичный и неглупый, хороший организатор и знаток своего дела, увез из Ялты всю свою труппу вместе с Мозжухиным и Лисéнко, Туржанским и молодым, очень красивым актером Радченко-Стрижевским в Париж, где установил связи с фирмой «Гомон» и образовал новую труппу «Альбатрос». Таким образом, Иван Мозжухин стал кинозвездой Европы и завоевал мировое признание.

Прощание с Родиной

Из Одессы я попал в Ростов, потом в Екатеринослав и Харьков. Меня возили то Леонидов и Варягин, то Галантер и Гросбаум, то сама Марья Николаевна.

Иногда я шел в какой-нибудь театр миниатюр на гастроли и пел в его программе отдельным номером, иногда давал сольные концерты в костюме Пьеро, а впоследствии — во фраке. Да и публике любопытно было посмотреть, как же я выгляжу без грима. Весь 17-й и почти весь 18-й год я ездил по России. Ноты, рассыпанные Андржеевским по всей стране, делали мне большую предварительную рекламу. Я побывал и на Кавказе, и в Крыму, и во многих городах. Отношение ко мне публики было самое лучшее.

Между тем контрреволюция поднимала голову. Формировалась белая армия. Офицерство бежало на Дон к Каледину, в Ростов к Деникину и так далее. В Киеве сидел гетман Скоропадский. В Москве все труднее становилось жить.

Марья Николаевна стала подумывать о том, чтобы закрыть театр и куда-нибудь уехать... Ее выбор остановился на Киеве. Везти туда весь театр, то есть всю труппу, было рискованно. Там и без нее много разных театральных дел. Кроме всего, в Киеве были немцы, и туда из Германии наезжали всякие гастролеры. Гораздо проще взять одного меня и со мной работать, что она и сделала.

Советская власть никого не удерживала, и мы решили направиться в Киев. Уложив свои личные вещи, подарки, серебряные венки, ленты с золотыми надписями и прочее в легкий парусиновый сундук, я, по совету Марьи Николаевны, оставил его на хранение какой-то даме, ее приятельнице, и покинул Москву. Думал ли я, что покидаю Москву на двадцать пять лет?..

Киев был уже не тот, каким я его оставил в юности. Он до отказа был забит всякого рода публикой. Спекулянты, беженцы, дельцы и предприниматели всякого рода, аристократия, вывезшая с собой все, что можно было провезти, офицерство, опять нацепившее погоны, студенты и гимназисты, синежупанники гетманских полков, с кривыми саблями на боку, отрастившие себе висячие усы и «оселедцы», немцы в приподнятых спереди и сзади фуражках, с моноклями в левом глазу, дамы сомнительной репутации, актеры, бывшие шансонетки, жены, потерявшие мужей,— все это заполняло улицы, театры, магазины. Белый хлеб продавался запросто.

Всего было полно, и после голодной Москвы люди пьянели от счастья, строя всевозможные планы.

Мои гастроли начались в Интимном театре — на Крещатике, против Фундуклеевской. Было сразу объявлено десять концертов, и билеты моментально распроданы. Принимали хорошо, но Киев не узнал меня. Возможно, потому, что публика была новая, совсем чужая.

Я побродил по знакомым с детства улочкам и переулкам. Мой дом был тот же, садик и террасы те же. Внешне все было как будто по-прежнему. Но все ли? Я навестил родных. Тетушка Марья Степановна была больна и уже лежала в кровати. Дядя, Илларион Яковлевич, постарел, а кузены, Сережа и Алеша, выросли, возмужали и уже ходили в студентах. Большинства друзей и товарищей моей юности уже не было в городе, и лишь двое или трое давних знакомых, узнав о моем приезде, пришли меня навестить. В перерывах между концертами я скучал, не знал, куда себя деть. Душа жаждала встряски. И, как часто бывает, встряхнуться пришлось совсем не так, как хотелось.

Одновременно со мной в Киеве гастролировал Павел Троицкий, талантливый комик и куплетист, который обычно имел у публики большой успех. Мы с ним были приятелями. Узнав, что он в городе, я отправился к нему в гостиницу. Он мне очень обрадовался, ибо бутылка водки, с которой до моего прихода он делил свой досуг, плохой собеседник. На мне были чудесные желтые заграничные ботинки, только что купленные, и Павел привязался:

— Давай пропьем твои ботинки!

Я пробовал возражать. У меня, да и у него денег было сколько угодно — платили тогда десятками тысяч. Зачем же пропивать ботинки? Но он был неумолим:

— Какой интерес пить на деньги, когда их полно? Я хочу пропить твои ботинки. Будь другом, дай я их свезу на толкучку...

Чокнувшись с ним раз, другой, третий, я почувствовал, что идея Павла начинает захватывать и меня. Смелая идея, оригинальная! И вот Павел, только накануне купивший мотоцикл и еще не научившийся на нем ездить, берет ботинки и катит на Подол. Продает первому встречному. Через час возвращается: рожа разбита в кровь — налетел на столб, но смотрит героем. Разжимает кулак — и на стол вываливаются грязные, мокрые рубли... Через три часа без своих замечательных заграничных ботинок я ехал на извозчике в свою гостиницу. Распахнувший передо мной дверь швейцар изу-

мленно взирал на мою «обувку»: носки не самое лучшее средство, предупреждающее простуду.

Что же касается Павла, то, прощаясь со мной, обняв и расцеловав, он сказал:

— Ты — настоящий друг!

И заплакал.

И я тоже еле себя сдержал. Нет, ботинок было не жалко. Жалко было, что еще одно мгновение жизни кануло в прошлое...

Из Киева я попал в Харьков. Жизнь в этом городе била ключом. В особенности театральная. В городе был прекрасный драматический театр Н. Н. Синельникова — большого и умного режиссера, воспитавшего целое поколение блестящих актеров. В его труппе в это время были Виктор Петипа, Тарханов, Ходотов, Глаголин, Багров, Путята, из женщин помню Тиме, Маршеву, Леонтович, Валерскую...

Актеры были один другого краше.

На Сумской улице, в доме номер 6, в подвале помещался Дом артиста. Это было веселое и шумное место.

После спектаклей туда собирались актеры из всех театров. Зал был хорошо оборудован. Впереди — довольно приличная и большая сцена, все остальное место занимали столы и ложи со столами. Постоянной программы не было. Кроме нескольких уже твердо установившихся номеров, остальные — экспромтного характера, и составлялись и придумывались тут же, на месте. Актеры выдавливались из публики и приглашались на сцену. Никто не смел отказаться. Там, на сцене, спешно придумывались номера. Кто пел, кто читал, кто танцевал, кто разыгрывал уморительные сцены. Помню, как почтенная актриса Блюменталь-Тамарина в костюме укротительницы львов выводила на сцену дрессированного осла. Осла же изображал Данильский — блестящий опереточный комик. Публика буквально помирала со смеху.

Конферансье было три: опереточные артисты Греков и Данильский и молодой актер Гриша Ратов. Они то менялись быстрее молнии, то вдруг вылетали все трое сразу. Их реплики были отточены, как шпаги, и разили публику, не щадя никого. Хохот стоял такой, что люди не успевали ни есть, ни пить. В конце концов буфетчик заявил нам претензии:

— Буфет плохо торгует. Все смеются, а ничего не заказывают. Не успевают.

Пришлось подсократить программу и сделать антракты подлиннее — для торговли.

В это кабаре я попал прямо с поезда, только что приехав из Киева.

Маленький, знакомый мне по Киеву суфлер Волынский повел меня в бар. Было еще рано, часов девять вечера. На высоком табурете у стойки сидела молодая красивая женщина.

— Познакомьтесь,— сказал он,— Валентина Санина.

На меня медленно глянули безмятежно спокойные, огромные голубые глаза с длинными ресницами, и узкая, редкой красоты рука с длинными пальцами протянулась ко мне. Она была очень эффектна, эта женщина. Ее голова была точно в тяжелой золотой короне. У нее были чуть раскосые скулы, красиво изогнутый, немножко иронический рот.

Кроме того, она еще была очень похожа на пушистую ангорскую кошку. Санина лениво тянула через соломинку какой-то гренадин и спокойно разглядывала меня, как змея кролика, перед тем как проглотить.

Я понял, что погиб, но сдаваться без боя не собирался. Так же спокойно я разглядывал ее. На ней было черное, глухое до горла закрытое платье, а на шее висел на ленточке белый хрустальный крест. К сожалению, меня узнала публика, и через несколько минут уже окружили актеры, актрисы и разные люди. Меня тормошили, целовали, обнимали и расспрашивали. Это была обычная тогда картина моего появления в каком-нибудь публичном месте.

Когда ажиотаж вокруг меня несколько поутих, Санина, иронически улыбаясь, сказала:

— И вам не надоело все это?

— Что именно?

— Ну... это... идолопоклонство?

— Разумеется, надоело,— ответил я.— Я вот мечтаю подыскать себе дублера!

Она рассмеялась.

— Бедненький! — сказала она.— Мне вас жаль. И давно это с вами?

— О да!.. Уже года три.

Она покачала головой:

— Лечиться надо.

— Чем?

— Не знаю. Чем-нибудь... В монастырь идите. Может, это поможет.

— Еще чего! — удивился я.— Пойдемте лучше в зал. Уже начинается программа.

Мы вышли из бара и сели за столик. Так началась «история моей болезни».

Придя домой, я записал:

Надо жить потише, повнимательней,
Перечитывая книгу вновь и вновь,
И поплакать тоже обязательно
Над страницей, где написано: «Любовь»...

...Садясь за книгу, я было решил опускать те страницы воспоминаний, которые связаны с моими так называемыми увлечениями. Но потом подумал: а не будет ли она в результате подобных изъятий скучна, суховата? И не подумает ли читатель, что я, несчастный, был лишен некоторых — вполне симпатичных — человеческих слабостей? Нет, я бы не хотел, чтобы читатель так плохо обо мне думал. Поэтому признаюсь: много пудов соли скормили мне по чайной ложечке столь нежно вспоминаемые мной женщины. Много мук, крови и слез стоили мне они. Но... без женщин жизнь моя была бы пресна и безвкусна, как гороховый кисель!..

Я пел концерты и ухаживал за Валентиной. В свободные от концертов вечера ходил в ее театр смотреть, как она играет, хотя роли у нее были маленькие.

— Еще молоды... Пусть поучатся,— говорил Николай Николаевич Синельников о молодых актерах и актрисах. И Валентина училась, работала, пробуя свои силы главным образом на мне. Я был для нее чем-то вроде подопытного кролика.

Она была то резка со мной, то очень ласкова и после дикой ссоры вдруг сама приходила ко мне в «Астраханку» просить прощения.

— С чего это вы,— подозрительно осведомлялся я,— такую кротость на себя напустили?

Она делала мученическое лицо, низко, по-монашески кланялась в пояс и говорила:

— Сегодня прощенное воскресенье. Надо просить у всех прощенья. Простите, Христа ради, если чем обидела.

И хохотала, как сумасшедшая.

— Бог простит, матушка,— говорил я.

Это она играла — «для практики».

Иногда «для практики» она начинала что-нибудь мне рассказывать. Притом говорила взволнованным, можно даже сказать, испуганным голосом:

— Вы знаете, Вертиша, со мной сегодня был такой ужас!

Такой ужас!.. Я сижу на бульваре на скамейке и смотрю на клумбу роз — помните ее? Против нашего театра? Ну вот. Сижу, учу роль, и вдруг...— Тут зрачки ее глаз расширяются, руки вжимаются в грудь, она дрожит, будто до сих пор не может успокоиться.— Вдруг чувствую, что на меня опускается какая-то огромная черная тень... Вы понимаете? Страшная, зловещая тень! И я ощущаю, что это что-то неизбежное и роковое... Понимаете? Я хочу вскочить, убежать и вся холодею, не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой, меня словно приковало к скамейке... Я дико вскрикиваю, в ужасе закрываю лицо руками и...

— И что же это было? — насмерть перепуганный, спрашиваю я.

— Это был... это был... каштановый лист!

— Фу!.. Слава Богу! — я вытираю со лба холодный пот.— Хорошо, что не балкон...

Валентина окидывает меня сожалеющим взглядом:

— Вы удивительно нечутки,— говорит она, холодно отворачиваясь.— И черт знает, почему вас считают поэтом и певцом женской души. Чурбан какой-то!

Жили мы под гетманом. По-моему, так, потому что Петлюра пришел позже. А может, это уже было его время. Помню только, что верховодил в Харькове какой-то полковник Балбачан, от которого все зависело и к которому бегали на поклон все местные спекулянты. По-видимому, он был сговорчивый человек, потому что дела они делали хорошие. Нас, актеров, он не трогал, и за то спасибо. Потом он куда-то исчез вместе со своими подручными, а однажды вечером в Доме артистов появился заросший бородой Юрка Саблин — левый эсер. Оказалось, что он «взял» Харьков! Именно «взял» — как берут со стола серебряную ложку и прячут в карман. Ибо Харькова, по-моему, никто не защищал. Боев никаких не было. Во всяком случае, выстрелов никто не слышал, а балбачанцы тихонько удрали еще с утра.

Юрка Саблин — наш приятель по Москве. Он был внуком старика Федора Адамовича Корша и вырос в нашей актерской среде. Многие из актеров помнили его еще ребенком. Поэтому встретили мы его как своего. Он был преисполнен важности и делал загадочное лицо. Нам, во всяком случае, он был не страшен. Его отряд вскоре ушел куда-то дальше. В городе утвердилась советская власть.

Я же двигался по своей артистической, увы, совершенно независимой от политики и вообще неосознанной орбите и скоро опять оказался в Одессе.

По улицам этого прекрасного приморского города мирно расхаживали какие-то экзотические африканские войска:

негры, алжирцы, марокканцы, привезенные французами-оккупантами из жарких и далеких стран,— равнодушные, беззаботные, плохо понимающие, в чем дело. Воевать они не умели и не хотели. Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам и гоготали, переговариваясь на гортанном языке. Зачем их привезли сюда, они и сами точно не знали.

Испуганные обыватели, устрашенные их маскарадным видом, сначала прятались, потом вылезли на свет и, убедившись, что они «совсем не страшные» и не кусаются, успокоились.

В Одессе было сравнительно спокойно. Город развлекался по мере возможности. Красные были где-то далеко. В кафе, у Робина́, у Фанкони сидели благополучные спекулянты и продавали жмыхи, кокосовое масло, сахар. Всего было вдоволь. Не хватало только вагонов... По улицам ходил городской сумасшедший Марьешец и за стакан кофе «разоблачал» местных богачей, каких-то разбухших от денег греков и евреев.

Ловкие и пронырливые нищие вскакивали на подножку вашего экипажа и услужливо сообщали очередные новости.

На бульварах, в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крюшон из белого вина с земляникой.

Все были полны уверенности в будущем, чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орел, то без всякого повода. Потом стреляли из наганов в люстры.

Из комендантского управления за ними приезжали нарядные и корректные офицеры и, деликатно уговаривая, увозили куда-то, вероятно, на гауптвахту.

Вот в это самое время у меня были гастроли в Доме артистов. Внизу — фешенебельное кабаре с Изой Кремер и Плевицкой, а вверху — маленький игорный зал. Кабаре — для привлечения публики. А центр тяжести находился в игорном зале.

Я пел — в очередь с Изой Кремер и Надеждой Плевицкой — ежевечерне. Там же, при Доме артистов, мне отвели комнату, так как гостиницы были переполнены.

Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лег спать. Часа в три ночи меня разбудил стук. Я встал, зажег свет и открыл дверь. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку.

— Простите за беспокойство, его превосходительство генерал Слащов просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина.

— Господа,— взмолился я,— три часа ночи! Я устал! Я хочу отдохнуть!

Возражения были напрасны. Адъютанты оказались любезны, но непреклонны.

— Его превосходительство изъявил желание видеть вас,— настойчиво повторяли они.

Сопротивление было бесполезно. Я встал, оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина.

Через десять минут мы были на вокзале.

В огромном пульмановском вагоне, ярко освещенном, за столом сидело десять — двенадцать человек.

Грязные тарелки, бутылки и цветы...

Все уже было скомкано, смято, залито вином и разбросано по столу. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная, статная фигура Слащова. Огромная рука протянулась ко мне.

— Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поете о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?

— Нет, благодарю вас.

— Лида, налей Вертинскому! Ты же в него влюблена!

Справа от него встал молодой офицер в черкеске.

— Познакомьтесь,— хрипло бросил Слащов.

— Юнкер Ничволодов.

Это и была знаменитая Лида, его любовница, делившая с ним походную жизнь, участница всех сражвний, дважды спасшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глвзами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой.

Я поздоровался. Только теперь, оглядевшись вокруг, я увидел, что посредине стола стояла большая круглая табакерка с кокаином и что в руках у сидящих были маленькие гусиные перышки-зубочистки. Время от времени гости набирали в них белый порошок и нюхали, загоняя его то в одну, то в другую ноздрю. Привезшие меня адъютанты почтительно стояли в дверях.

Я внимательно взглянул на Слащова. Меня поразило его лицо.

Длинная, белая, смертельно-белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы.

Он был напудрен. Пот стекал по его лбу мутными молочными струйками.

Я выпил вина.

— Спойте мне, милый, эту...— Он задумался.— О мальчиках... «Я не знаю зачем...»

Его лицо стало на миг живым и грустным.

— Вы угадали, Вертинский. Действительно, кому это было нужно? Правда, Лида?

На меня глянули серые глаза.

— Мы все помешаны на этой песне,— тихо сказала она.

Я попытался отговориться.

— У меня нет пианиста,— робко возражал я.

— Глупости. Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть его песни. И притуши свет. Но сначала понюхаем.

Он взял большую щепотку кокаина.

Я запел.

И никто не додумался
Просто стать на колени
И сказать этим мальчикам,
Что в бездарной стране
Даже светлые подвиги —
Это только ступени
В бесконечные пропасти
К недоступной Весне!

Высокие свечи в бутылках озарили лицо Слащова — страшную гипсовую маску с мутными глазами. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался.

Я кончил.

— Вам не страшно? — неожиданно спросил он.

— Чего?

— Да вот... что все эти молодые жизни... псу под хвост! Для какой-то сволочи, которая на чемоданах сидит!

Я молчал.

Он устало повел плечами, потом налил стакан коньяку.

— Выпьем, милый Вертинский, за родину! Хотите? Спасибо за песню!

Я выпил. Он встал. Встали и гости.

— Господа! — сказал он, глядя куда-то в окно.— Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет! — Он положил руку на мое плечо.— А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать! И еще неизвестно, нужно ли это было... Он прав.

Гости молчали.

— Вы устали? — тихо спросил Слащов.

— Да... немного.

Он сделал знак адъютантам.

— Проводите Александра Николаевича!

Адъютанты подали мне пальто.

— Не сердитесь,— улыбаясь, сказал он.— У меня так редко бывают минуты отдыха... Вы отсюда куда едете?

— В Севастополь.

— Ну, увидимся. Прощайте.

Слащов подал мне руку.

Я вышел.

Светало. На путях надрывно и жалостно, точно оплакивая кого-то, пронзительно свистел паровоз...

Белые армии откатывались назад. Уже отдали Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Шикарные штабные офицеры постепенно исчезли с горизонта. Оставались простые, серые фронтовые офицеры, плохо одетые, усталые и растрепанные. Вместе с армией «отступал» и я со своими концертами. Последнее, что помню, была Ялта. Пустая, продуваемая сквозным осенним ветром, брошенная временно населявшими ее спекулянтами. Концерты в Ялте я уже не давал. Некому было их слушать.

Несколько дней городом владел какой-то Орлов, не подчинявшийся приказам белого командования. Потом его убрали. Все затихло. Ждали прихода красных. Я уехал в Севастополь.

Под неудержимым натиском Красной Армии белые докатились до Перекопа. Крым был последним клочком русской земли, еще судорожно удерживаемым горстью усталых, измученных, упрямых людей, уже не веривших ни в своих вождей, ни в свою авантюру. Белая армия фактически перестала существовать. Были только разрозненные и кое-как собранные остатки. Генералы перессорились, не поделив воображаемой власти, часть из них уже удрала за границу, кто-то застрелился, кто-то перешел к красным, кто-то исчез в неизвестном направлении.

Но армия разлагалась и таяла на глазах у всех. Дезертиры с фронта, оборванные, грязные и исхудавшие, наивно переодетые в случайное штатское платье, бродили по Севастополю, заполняя улицы, рестораны, где уже нечем было кормить, пустые магазины, грязные кафе и кондитерские. Они ждали чего угодно, но только не такого отчаянного поражения. Они не могли осознать случившегося и только жалобно скулили, когда кто-нибудь пытался с ними заговорить.

Спали всюду: в вестибюлях гостиниц, на бульварных скамейках и прямо на тротуарах, блвго ночи в Крыму были теплые. А те, кто еще носил форму, отпускные, командированные в тыл, по целым дням толклись в комендатуре, где с утра до ночи бегали с бумагами под мышкой военные чиновники,

охрипшие и ошалевшие, которые сами ничего не знали и никому и ничему помочь уже не могли. Они рвали взятки с живого и мертвого и этим ограничивались.

Высокие, худые, как жерди, великосветские дамы и девицы, бывшие фрейлины двора, графини, княжны и баронессы с длинными, породистыми, лошадиными лицами, некрасивые и надменные, продавали на черном рынке по утрам свои фрейлинские бриллиантовые шифры и фамильные драгоценности, обиженно шевеля дрожащими губами. Слезы не высыхали у них на глазах. Спекулянты платили им «колокольчиками» — крупными корниловскими тысячерублевками, которые уже никто не хотел брать.

Днем они толклись в посольствах и консульствах иностранных держав, в коридорах в какой-то тайной надежде на что-то, в учреждениях, бюро и комитетах, где вовсю торговали пропусками, где за приличные деньги можно было купить паспорт любой иностранной державы. Их было видно отовсюду. Котиковый сак. Тюрбан на голове. Заплаканные глаза и мольба: «Визу на Варну!», «в Чехию, в Сербию, в Турцию!» Куда угодно! Только бежать!.. Они не мылись неделями, спали не раздеваясь. От них шел одуряющий запах пронзительного «лоригана Коти», перемешанный с запахом едкого пота. Никто из них ничего не понимал. Точно их контузило, оглушило каким-то внезапным обвалом.

В небольшом театрике «Ренессанс», где еще играла чья-то халтурная труппа, по ручкам бархатных кресел ползали вши. Ведро холодной воды для умывания стоило сто тысяч. Все исчислялось в миллионах, или «лимонах», как их называли.

Поэт Николай Агнивцев, худой и долговязый, с длинными немытыми волосами, шагал по городу с крымским двурогим посохом, усеянным серебряными монограммами — сувенирами друзей, и читал свои последние душераздирающие стихи о России:

Церкви — на стойла, иконы — на щепки!
Пробил последний, двенадцатый час!
Святый Боже, святый крепкий,
Святый бессмертный, помилуй нас!

Аркадий Аверченко точил свои «Ножи в спину революции». «Ножи» точились плохо. Было не смешно и даже как-то неумно. Он читал их нам, но особого восторга они ни у кого не вызывали.

По ночам в ресторанах и кабаре, где подавали особы женского пола весьма сомнительного вида, пьяное белое

офицерье, пропивая награбленное, стреляло из револьверов в потолок, в хрустальные люстры и пело «Боже, царя храни», заставляя публику вставать под дулами револьверов.

В гостинице Киста, единственной приличной в городе, собралась вся наша братия. Там жили актеры, кое-кто из писателей и бесконечное количество дам.

По улицам ходил маленький князь Мурузи и, встречая знакомых, сладко и заливисто разговаривал, сильно картавя.

— Тут нет жизни,— восклицал он, всплескивая ручками.— Надо ехать на фгонт! Это безобгазие!

Однако сам он ни на какой «фгонт» не ехал. Уговаривать нас он начал еще в Одессе. И теперь докатился до Севастополя. Исчерпав источник патриотического возбуждения, он озабоченно спрашивал у меня:

— Скажите, догогой, а где тут хагошо когмят?

— Тут. У Киста,— отвечал я.— Тут же и хорошо, тут же и плохо. Потому что другого места все равно нет...

Перекоп — узкая полоска земли, отделявшая нас всех от оставленной родины,— еще держался. Его отчаянно и обреченно защищал Слащов. Город кишел контрразведками и консульствами всех национальностей. Какие-то люди на улицах вслух предлагали вам принять любое подданство.

Знакомый восточный князь Меламед купил шхуну и гостеприимно предлагал актерам ехать на ней в Турцию. Предлагал мне, Собинову, Барановской и Плевицкой. Молодые актеры нанимались кочегарами на «Рион», большой пароход, стоявший в порту. Спекулянты волновались и покупали все, что возможно, чтобы только отделаться от корниловских «колокольчиков». В такие дни на стенах города вдруг появлялись расклеенные приказы генерала Слащова: «Тыловая сволочь! Распаковывайте ваши чемоданы! На этот раз я опять отстоял для вас Перекоп!»

Иногда в осенние ночи, когда море шумело и билось за окнами нашей гостиницы, часа в три приезжал с фронта Слащов со своей свитой. Испуганные лакеи спешно накрывали стол внизу в ресторане. Сверху стаскивали меня и пианино. Я одевался, стуча зубами. Сходил вниз, пил с ними водку, разговаривал, потом пел по его просьбе. Но водка не шла. Голова болела, было грустно, страшно и пусто. Слащов дергался, как марионетка на нитках,— хрипел, давил руками бокалы и, кривя страшный рот, говорил, сплевывая на пол:

— Пока у меня хватит семечек, Перекопа не сдам!

— Почему семечек? — спрашивал я.

— А я, видишь ли, иду в атаку с семечками в руке! Это развлекает и успокаивает моих мальчиков!

Мы уже были на «ты».

Черноморский матрос Федор Баткин, краснобай, демагог и пустомеля, «выдвиженец» Керенского, кого-то в чем-то безуспешно убеждал. Люди пожимали плечами и, не дослушав, уходили, потому что им была нужна только виза.

— Визу, визу, визу! Куда угодно! Хоть на край света!

Остальное никого не интересовало. А Слащов уже безумствовал. В Джанкое он приказал повесить на фонарях железнодорожных рабочих за отказ исполнить его приказы. С Перекопа бежали. Офицеры переодевались в штатское. Однажды утром я получил от него телеграмму:

«Приезжай ко мне, мне скучно без твоих песен. Слащов».

На рейде стоял пароход «Великий князь Александр Михайлович». Капитан его, грек, был моим знакомым. Пароход отходил в Константинополь. На нем уезжал Врангель со своей свитой. Ночью, встретив капитана в гостинице, я попросил его взять меня с собой. Он согласился.

Утром, захватив с собой своего единственного друга, актера Путяту, и пианиста, я уехал из Севастополя.

Эмиграция началась

До сих пор не понимаю: откуда у меня набралось столько смелости, чтобы, не зная толком ни одного языка, будучи капризным, избалованным русским актером, неврастеником, совершенно не приспособленным к жизни, без всякого жизненного опыта, без денег и даже без веры в себя, так необдуманно покинуть родину. Сесть на пароход и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это?

Задавая себе этот вопрос сейчас, через столько лет, я все еще не могу найти у себя в душе искреннего и честного ответа.

Я ненавидел советскую власть? О, нет! Советская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-нибудь иного строя? Тоже нет. Ибо убеждений у меня никаких в то время не было.

Но тогда что же случилось? Что заставило меня уехать?

Почему я оторвался от той земли, за которую сегодня легко и радостно отдам свою жизнь, если это будет нужно?

Очевидно, это была просто глупость.

Может быть, страсть к приключениям, к путешествиям, к новому, еще не изведанному? Не знаю. Так или иначе, я приехал в Турцию.

Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил длинную и не очень веселую жизнь эмигранта, человека без родины. Я много видел, многому научился. Может быть, у себя дома, поставленный в благоприятные условия существования — искусство у нас очень поощряется и очень бережно культивируется,— может быть, я бы не дошел до такой остроты чувств, до такого понимания чужого горя, которые мне дали эти годы скитания.

Говорят, душа художника должна, как Богородица, пройти по всем мукам. Сколько унижений, сколько обид, сколько ударов по самолюбию, сколько грубости, хамства перенес я за эти годы! Сколько неотвеченных фраз застряло у меня в горле, сколько проглоченных обид.

Это была расплата. Расплата за то, что в один прекрасный день я посмел забыть о родине. За то, что в тяжелые для родины дни, в годы ее борьбы и испытаний, я ушел от нее.

Оторвался от ее берегов.

И вот они уходили, эти берега...

И вот уже новые очертания чужой земли выплывали в утреннем тумане.

Рано утром мы вошли в Босфор.

Сказочный город, весь залитый солнцем, сверкнул перед моими глазами. Тонкие иглы минаретов. Белосахарные дворцы. Какая-то башня, с которой будто бы сбрасывали в Босфор неверных жен. Маленькие лодочки-канки. Красные фески, море красных фесок. Люди в белом. Солнце. Гортанный говор. И флаги, флаги, флаги. Без конца. Как на параде. Как в праздник!

Большие военные корабли стоят на рейде. Ярко начищенные медные части маленьких катеров сверкают, играют под яркими лучами солнца тысячами бликов.

Я сошел с парохода. В Константинополь. В эмиграцию. В двадцатипятилетнее добровольное изгнвние. В долгую и горькую тоску.

Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, все, чем восхищался,— я отдаю за один самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный

день у себя на родине!.. А к этому я согласен прибавить еще весь мой успех, все восторги толпы, все аплодисменты, все цветы, все деньги, которые я там зарабатывал. Все, все, все, ибо все это мне было не нужно. Лучше быть бедняком на родине, чем богачом на чужбине.

Поселились мы с Борисом Путятой не более и не менее как в самом фешенебельном отеле Константинополя «Пера Палас». Разутюжили наши российские «кустюмчики» — знаменитый актерский «гардеробчик», по которому великим постом в бюро антрепренеры оценивали молодых актеров, и... вышли на улицу. На Гранд-рю-де-Пера, по которой уже взад и вперед прогуливалось немало наших соотечественников, приехавших раньше нас. Путята даже гвоздичку в петлицу воткнул. Совсем как дома — где-нибудь в Харькове, на Сумской — гуляли.

— Ба! Откуда вы? Когда приехали? На чем?

Приподымались шляпы. Пожимались руки.

— Вы уже обедали? Нет? Ну, зайдем куда-нибудь. Хотите в «уголок»? Тут русские держат!

Заходили. Выпивали. Закусывали. Разговаривали по душам.

Борщ подавали отменный. Мы от такого борща давно уже отвыкли. Все было первоклассного качества. А главное, подавали дамы. Молодые, нарядные, слегка кокетничавшие своим неумением подавать.

«Ну, откуда же мне знать это?..— говорили ее глаза.

— Я же не привыкла!»

— Горчички? Ах да!.. Забыла... Еще чего хотите?

Смелый, немного беспомощный взгляд и... улыбки, улыбки без конца...

Это заменяло недостаток сервиса. Обалдевшие с непривычки, подвыпившие гости уходили, оставляя «на чай» больше, чем стоил весь обед. Неудобно. Она такая милая!..

Мы с другом тоже оставляли с непривычки много. Но потом спохватились и стали ходить в турецкие кофейни. Это было гораздо дешевле.

Была весна. Город шумел, орал и сверкал, как огромный базар. Тысячи гортанных голосов. Щелканье бичей «арабаджи», гордо восседавших на козлах своих фаэтонов, окрики полицейских, гудки машин, вой нищих, вопли уличных продавцов, лай собак. Все сливалось в общий гул. На улицах был настоящий карнавал. Сотни офицеров и солдат в самых экзотических формах и нарядах заполняли город. Шотландцы в юбочках с волынками в руках маршировали под какую-то

детскую музыку. Негры в фесках и шароварах, итальянцы с петушиными перышками на шляпах, французы в голубых с золотом кепи, американцы в белых шапочках, англичане со стеками в руках, греки, чехи, сербы, румыны... Кого только там не было! Все это двигалось, маршировало, играло, пело.

На углу, около кафе Токатлиана, старый турок жарил каштаны на маленькой жаровне и плакал. Один из «победителей» толкнул его жаровню — она мешала ему пройти,— и каштаны рассыпались по мостовой. По вечерам в узких улочках, прямо на тротуарах пристраивался «кафеджи» — продавец кофе, чудесного, ароматного турецкого кофе — в маленьких чашечках с наперсток величиной. За пять пиастров он подавался тут же на улице. Вы могли сесть на маленькую табуретку, покурить, послушать заунывную восточную мелодию, сыгранную бродячим турецким музыкантом, и погрустить о родине.

В Галате можно было посмотреть пляски дервишей, которые кружились в длинных одеждах с босыми ногами в священном танце. Кружились до тех пор, пока в судорогах не падали на землю.

Раз в году, в большой праздник байрам, мы ходили в Галату смотреть дешевую иллюминацию и бродили по базарам без цели, покупая всякую дрянь.

А посреди базара, широко раскинув руки, лежал без памяти пьяный великан и атлет — наш русский борец матрос Сокол. И никто не смел к нему подойти. Турецкая полиция, маленькая и щуплая, боялась его как огня.

Один раз у Сокола уже было столкновение с полицией. И двадцать полицейских летели от него в стороны, как собаки от дикого кабана. Больше его не трогали.

В Галате, в публичных домах, на подоконниках сидели, как звери за решетками, страшные, уродливые женщины и, заманивая посетителей, кричали, похлопывая себя по голому животу: «Рус! Рус! Карашо!»

А в темных прохладных магазинах сидели мудрые седобородые турки, поджав под себя ноги, и терпеливо торговали чудесными коврами, угощая посетителей крошечной чашкой кофе с рахат-лукумом.

Турецкие женщины, в национальной одежде, с вуалями, закрывавшими пол-лица, обжигали прохожих быстрыми и любопытными взглядами диких зверьков.

В больших грязных кафе ели плов из барашка, крошечные шашлыки, «долму» и запивали все это «дузикой» — анисовой водкой, разбавленной холодной водой. Какие-то допотопные орга́ны, вроде наших московских «машин», что когда-то были

в извозчичьих трактирах, ревели, гудели, цокали, внезапно останавливаясь, когда кончался завод.

По узеньким, кривым, немощеным уличкам и переулкам бегали страшные опаршивевшие собаки и рылись в мусоре, который тут же выбрасывали на тротуар добрые обыватели. Трогать собак было нельзя. По мусульманским законам собаки считались священными животными. Англичане долго думали, что с ними делать. Наконец полковник Максвельд додумался. Переловив всех собак, он свез их на какой-то пустынный остров, где они издохли сами по себе — перегрызли друг друга.

Яркий, красочный быт Турции еще существовал, но уже исчезал понемногу под напором цивилизации, нахлынувшей вместе с оккупационной армией. Победители давили собой. Один из талантливейших журналистов эмиграции, остроумный и злой поэт Дон Аминадо писал:

Лаванда, амбра,
запах пудры...
Чадра и феска
и чалма...
Страна, где
подданные мудры,
Где сводят женщины с ума,
Где от зари и до
полночи
Перед душистым
наргиле,
На ткань ковра
уставя очи,
Сидят «народы» —
на земле
И славят мудрого
аллаха
Иль, совершив
святой намаз,
О бранной славе
падишаха
Ведут медлительный
рассказ.
Где любят нежно
и жестоко
И непременно
в нишах бань.
Пока не будит глас
Пророка:
«Селим! Довольно!
Перестань!»
О бред проезжих
беллетристов!
Которым сам
Токатлиан,

И метрдотель,
                и друг артистов,
Давал и деньги
                и кальян!
Он фимиам курил
                Фарреру,
Сулил бессмертие
                Лоти,
И Клод Фаррер,
                теряя меру,
Сбивал читателей
                с пути!

Конечно, той Турции, о которой писал Клод Фаррер, в которую был когда-то влюблен Пьер Лоти, уже не было. Она угасала, задушенная Версальским договором, разбитая, придавленная непомерными контрибуциями, истоптанная сапогами победителей. Турция молчала, стиснув зубы и «зажав свое сердце в руке». Мне было нестерпимо жаль этот мудрый и благородный народ. Он был истощен войной и, казалось, уже агонизировал. Где-то во дворе сидел султан — великолепный восточный повелитель, давным-давно купленный европейцами и оставленный ими только для декорации, без власти, без силы и без всякого значения. Народ даже не говорил о нем, как будто его и не было. Правда, в его великолепном дворце «Ильдиз-Киоске» по пятницам еще бывали приемы. На них присутствовал весь дипломатический корпус. Но и туристы тоже. Приглашение на эти приемы можно было получить по знакомству за деньги.

Вскоре в Константинополе объявился и Слащов. Он поселился где-то в Галате с маленькой кучкой людей, оставшихся с ним до конца. В их числе была и знаменитая Лида. Мы встретились. Вернее, я сам разыскал его. Он жил в маленьком грязноватом домике где-то у черта на куличках. Он еще больше побелел и осунулся. Лицо у него было усталое. Темперамент куда-то исчез.

Кокаин стоил дорого, и, лишенный его, Слащов утих, постарел сразу на десять лет.

Разговор вертелся вокруг одной темы — о Врангеле. Слащов его смертельно ненавидел. Он говорил долго, детально и яростно о каких-то приказах своих и его, ссылался на окружающих, клялся, кричал, грозил, издевался над германским происхождением Врангеля.

Трудно было понять что-нибудь в этом потоке бешенства. Помню только, что мне было его почему-то мучительно жаль.

Всем своим новым, штатским видом он напоминал мне больную птицу, попавшую в клетку. Адъютанты молчали, потихоньку перестригаясь из «львов» в «пуделей» и подумывая о новом хозяине. Как ни странно, но о красных Слащов ничего дурного не говорил. По-видимому, он уже что-то понял.

Лида, надевшая женское платье, сразу же потеряла всю свою оригинальность. Выглядела она, как учительница или сестра милосердия.

В это время, встретив в городе одного турка, которого я знал по России, некоего Нуридин-бея (он был дипломатом в Петрограде и говорил по-русски), я уговорил его открыть кабаре. Надо же было что-то делать. Кабаре называлось «Черная роза» и сразу привилось с большим успехом. Как-то случайно я рассказал Нуридину о Слащове и о том, что он нуждается. Добрый турок сразу предложил посылать ему хлеб на всю братию (у него была своя булочная) и обеды из нашего ресторана.

Так продолжалось с полгода. Потом я потерял Слащова из виду. Еще через год я ушел из «Черной розы» и пел уже в загородном саду «Стелла». Хозяин его был знаменитый русский негр Федор Федорович Томас, бывший хозяин московского «Максима». Однажды вечером в «Стеллу» приехал Слащов. Он был с компанией неизвестных мне лиц, много пил и молчал. Я подошел к нему. Он обрадованно, но грустно улыбнулся. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Это уже не был «герой Перекопа», как его величали, это был грустный, усталый и старый человек.

Я, конечно, не претендую на точность или значительность своих выводов, но мне кажется, что чувствовал я его все-таки верно. Слащов любил родину. И страдал за нее. По-своему, конечно.

Он предложил мне вина. Мы помолчали.

— А ты ведь действительно что-то знаешь,— вдруг раздумчиво сказал он.— Но и ты ошибся. Как я. Мы все ошиблись, ужасно, непоправимо, непростительно ошиблись. Мы проглядели самое главное! Мы не имеем права жить!

Он взял в руку деревянную палочку-мешалку, которую подают к шампанскому, и сломал ее. Его лицо скривилось в мучительной гримасе.

— Хочешь послушать моего совета? — спросил он.— Возвращайся в Россию!

Я молча кивнул головой. Увы, я это понял, едва ступив на берег Турции. Но поправить мою ошибку я уже не мог.

Евгения Степановна Сколацкая,
мать А. Вертинского.

А. Вертинский
с сестрой Надей.

Отец А. Вертинского —
Николай Петрович Вертинский
(стоит) с братом —
Феофаном Петровичем.

А. Вертинский.
1914—1918-е годы.

Печальныя
Пѣсенки А. Н. ВЕР
„ЛИЛОВЫЙ НЕГРЪ
СОБСТВЕННОСТЬ ИЗДАТЕЛЯ
„ПРОГРЕССИВНЫЯ НОВОСТИ"
ПЕЧАЛЬНЫЯ ПѢСНИ
Александра ВЕРТИНСКАГО
ПОСЛѢДНІЙ РЕПЕРТУАРЪ
НАШИ ПАЛЬЦЫ ПАХНУТЪ ЛАДАНОМЪ.
ПОПУЛЯРНЫЯ ПѢСЕНКИ ВЪ ИСПОЛНЕНІИ
Вертинскаго
Лиловый негръ.

Обложки нот «песенок»
А. Вертинского.
1914—1919-е годы.

◄ Фотоэтюды.
1913—1917-е годы.
«Хулиган».
«Слепой на паперти».
«Безумный».
«Старушка».

А. Вертинский.
Москва. 1915—1917-е годы.
Кадр из немого фильма
«На грани трёх проклятий»,
выпуск 1917 года.
Гизелла — Е. Хованская.
Юноша — А. Вертинский.
Отец — П. Леонтьев.

◀ А. Вертинский.
1930-е годы.
Париж.

Германия.
— на пляже в шезлонге.
— на кинофабрике «УФА».

А. Вертинский в Париже.

А. Вертинский.
Шанхай. 1938 год.

Приезд в Сан-Франциско.
1935 год.

А. Вертинский.
Берлин. 1933 год.
Шанхай. 1939 год.

А. Вертинский.
Шанхай. 1938 год.

Приезд в Сан-Франциско.
1935 год.

А. Вертинский.
Берлин. 1933 год.
Шанхай. 1939 год.

Александр Николаевич
с невестой Лидией Владимировной.
Шанхай. 1941 год.

Вскоре я узнал, что Слащов уехал в Советский Союз, а еще через несколько лет из газет мне стало известно, что его убил рабочий, брат одного из тех, кого он повесил в Джанкое. Просто, встретя на улице, вынул револьвер и убил. Советское правительство присудило его к десяти годам тюрьмы.

Так окончилась жизнь этого странного и страшного человека...

В Константинополе сначала все эмигранты были полны надежд.

— Это ненадолго! — говорили спокойные, уверенные спекулянты, которым удалось кое-что вывезти и кое-что заработать. Многие заходили в своем оптимизме еще дальше.

— Англичане дают деньги, экипировку и вооружение,— говорили они.

— Но они уже давали,— робко возражал я.

— Будет сформирована новая армия, которая будет на английских кораблях отправлена и высажена.

— Но они уже высаживали! — деликатно напоминал я.

— Ничего. На этот раз это вполне серьезно!

Возражать было бы напрасно.

Какой-то купец из старых московских фамилий — не то Зотов, не то Филиппов или Морозов — даже принимал пари на любую сумму, что к Новому году будем в Москве.

Некоторых подозрительных персонажей спешно вызывали в разведки и штабы, вели с ними какие-то переговоры.

Много обещали, много предлагали. Немолодые особы сомнительной репутации, работавшие в «Осваге» и в белых разведках, делая хорошую мину при плохой игре, загадочно улыбались и иногда по большой доверенности интимно говорили:

— Ждите больших событий! Скоро поедем домой!

А в Галиполи на острове тихо умирала бессильная разоруженная армия. А на другом острове, Принкипо, в настоящем земном раю, среди роз, глициний и магнолий, в лучшем отеле мира сидели, как в концлагере, русские беженцы на английском пайке и играли в карты на коробки «корн биф» — консервов, проигрывая друг другу свои полуголодные пайки. С горя они отвинчивали дверные медные ручки и продавали их за гроши на барахолке, чтобы курить и пить турецкую водку.

Старые желтозубые петербургские дамы в мужских макинтошах, с тюрбанами на голове, вынимали из сумок последние

портсигары — царские подарки с бриллиантовыми орлами — и закладывали или продавали их одесскому ювелиру Пурицу. Они ходили все одинаковые — прямые, с плоскими ступнями больших ног в мужской обуви, с крымскими двурогими палочками-посохами в руках и делали «бедное, но гордое» лицо.

Молодые офицеры, сопровождавшие этих дам, какие-то Вовочки и Николя — бывшие корнеты лихих гусарских и драгунских полков — «красиво» проживали деньги своих спутниц.

В фешенебельном игорном доме, открытом предприимчивым одесситом Сергеем Альдбрандтом, выступал Жан Гулеско, знаменитый скрипач-румын, игравший в свое время у Донона и у Кюба, любимец петербургской кутящей публики. Было одно желание — забыться. Забыться во что бы то ни стало. Сперва играли в баккара, потом ужинали, потом пили «шампитр». Собирались мужскими компаниями по нескольку человек и кутили, вспоминая старый Петербург.

— Жан, нашу Конногвардейскую!

Гулеско знал наизусть все «чарочки» всех полков. Раздувая свои цыганские, страстные ноздри, он подходил к столу.

— Гулеско, наш Егерский! Ну-ка!..

— Встать! Господа офицеры!

Вставали. Пили. Требовали «Боже, царя храни».

Гулеско играл, сверкая белками цыганских глаз, и как-то особенно ловко подхватывал на лету и перекладывал в карман брошенные десятки.

А сидевшие рядом английские офицеры пожимали плечами и презрительно улыбались.

Русские легко осваиваются повсюду. У нас есть какое-то исключительное умение обживать чужие страны. Ибо куда бы мы ни приехали,

К Мысу ль Радости,
К Скалам Печали ли,
К Островам ли Сиреневых птиц,
Все равно, где бы мы
ни причалили

— как писала Н. А. Тэффи,— всюду мы приносили много своего, русского, только нам одним свойственного, так разукрашивали своим бытом быт чужой, что часто казалось, будто не мы приехали к ним, а они — к нам.

— Ну как вам нравится Константинополь? — спросил я одну знакомую даму.

— Ничего, довольно интересный город. Только турок слишком много,— отвечала она.

Конечно, в больших городах, таких, как Париж, Лондон или Берлин, русские растворялись в многомиллионных массах коренного населения, но зато в городах поменьше...

С нашим приездом Константинополь стал очень быстро русифицироваться. На одной только рю-де-Пера замелькали десятки вывесок: ресторанов, кабаре (дансингов тогда еще не было), магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булочных... Все это звало, кричало, расхваливая свой товар, напоминало о счастливых днях прошлого: «Зернистая икра», «Филипповские пирожки», «Смирновская водка», «Украинский борщ». Все это дразнило аппетит, взывало к желудку. И деньги тратились легко. Турецкие деньги. Ибо наши «колокольчики» уже ничего не стоили. Кто успел выменять их раньше — тот был спасен. Остальные с горечью говорили:

— Вот чемодан «лимонов», а жрать нечего.

Положение женщин было лучше, чем мужчин. Они «привились». Их охотно брали на всякие должности, мужчинам же найти работу было очень трудно. Мужчины устраивались главным образом при тех же ресторанах: чистили картошку или ножи, мыли посуду. Почтенные генералы и полковники охотно шли на любую работу чуть ли не за тарелку борща. Все это было очень грустно. Но помочь этому было трудно. Какие-то организации вроде Земского союза пытались что-то делать, устраивая бесплатные столовки и ночлежки, но за недостатком средств учреждения эти дышали на ладан...

И все-таки все как-то жили. Около тех, кто ел пироги, как всегда, питались крохами голодные. Голодных, конечно, было больше, чем сытых, но и сытых было немало. Предприимчивые купцы возили что-то в Батум, нагружали пароходы, возвращались и снова куда-то что-то везли. Потом, когда возить уже было нельзя, «загоняли» свои пароходы, часто не им принадлежавшие, и долго еще жили на эти деньги. Всякого рода сделки, барыши, деловые знакомства — все это «вспрыскивалось» по-старинному шампанским, отмечалось кутежами, швырянием денег.

Главный заработок был от иностранцев. Им очень нравилось все русское. Начиная от русских женщин, капризных и избалованных, которые требовали к себе большого внимания и больших затрат, и кончая русской музыкой и русской кухней. Простодушные грубоватые американцы, суховатые снобирующие англичане, пылкие и ревнивые итальянцы, веселые и самоуверенные французы — все совершенно менялись под «благотворным» влиянием русских женщин, ибо переде-

лывали они их изумительно. А русские женщины любят переделывать мужчин! Для иностранцев условия были довольно тяжелые. Но чего не претерпишь ради любимой!

Помню, был у меня один приятель француз. Человек довольно неглупый, молодой, богатый и веселый. Подружились мы с ним потому, что он обожал все русское.

— Гастон,— спросил я его однажды.— Вот вы так любите все русское. Почему бы вам не жениться на русской?

Он серьезно посмотрел мне в глаза. Потом улыбнулся.

— Вот видите ли, мой дорогой друг,— раздумчиво начал он,— для того чтобы жениться на русской эмигрантке, надо сперва... выкупить все ее ломбардные квитанции. А если у нее их нет, то ее подруги. Раз! Потом выписать всю ее семью из Советской России. Два! Потом купить ее мужу такси или дать отступного тысяч двадцать. Три! Потом заплатить за право учения ее сына в Белграде, потому что за него уже три года не плачено. Четыре! Потом... положить на ее имя деньги в банк. Пять! Потом... купить ей апартамент. Шесть! Машину. Семь! Меха. Восемь! Драгоценности. Девять! и т. д. А шофером надо взять обязательно русского, потому что он бывший князь. И такой милый. И у него отняли все-все, кроме чести, конечно. После этого...— Он задумался.— После этого она вам скажет: «Я вас пока еще не люблю. Но с годами я к вам привыкну!» И вот,— вдохновенно продолжал он,— когда она к вам наконец почти уже привыкла, вы ловите ее... со своим шофером! Оказывается, что они давно уже любят друг друга и, понятно, вы для нее нуль. Вы — иностранец. «Чужой». И к тому же хам, как она говорит. А он все-таки бывший князь. И танцует лучше вас. И выше вас ростом. Ну, остальное вам ясно. Скандал. Развод. На суде она обязательно вам скажет: «Ты имел мое тело, но души моей ты не имел!» Зато ваш шофер имел и то и другое. Согласитесь, что это сложно, мой друг!

Шарж был ядовитый, но в общем довольно верный. И тем не менее женщины все-таки побеждали. Они выходили замуж за кого угодно, начиная от самых больших особ первого класса и кончая самыми маленькими. А турки вообще от них потеряли головы. Разводы сыпались как из рога изобилия. Мужья получали отступного и уезжали искать счастья кто в Варну, кто в Прагу, кто куда, а жены делались «магометанскими леди» и одевались иногда в восточные одежды, которые носили не без шика.

Константинополь был буквально переполнен молодыми и хорошенькими женщинами. Вся эта военная молодежь из

белых армий где-то в Крыму, в Ростове и Екатеринодаре «с перепугу» переженилась на молодых девчонках и привезла их с собой, надеясь на знаменитый русский «авось». Девчонки сразу освоились и как-то внезапно, точно по уговору, все оказались дочерьми генералов, полковников, губернаторов и миллионеров. Иностранцам они рассказали о себе чудеса. Те слушали их разинув рты. Мужья сердились, но терпели. Главой в доме была жена. Сменив военную форму на штатское, мужчины чувствовали себя как-то неуверенно. Имея много свободного времени, они ревновали своих жен, тяготились создавшимся положением или, наоборот, спокойно мирились с ним и от скуки целые дни торчали в бильярдных.

Я пел в «Черной розе».

Конечно, не свои вещи, которых иностранцы не понимали, а преимущественно цыганские. Веселые — с припевами, в такт которых они пристукивали, прищелкивали и раскачивались. Это нравилось. Почти ежевечерне по телефону заказывался стол верховному комиссару всех оккупационных войск адмиралу Бристолю. Он приезжал с женой и со всей своей свитой, пил шампанское и очень любил незатейливую «Гусарскую песенку» («Оружьем на солнце сверкая»), которую я пел, искусно заправляя ее всякими имитациями барабанов и военных труб. Тратил он очень много, и мой патрон был в восторге. А за адмиралом тянулась и остальная денежная публика. Постепенно меня стали приглашать на официальные банкеты и приемы в посольстве — я танцевал с пожилой адмиральшей и разговаривал с ними по-французски, ибо английского я не знал. Однажды адмирал пригласил меня даже обедать на свой флагманский корабль. В это время Кемаль-паша, будущий создатель новой Турции, сидел в Анатолии, ощетинившись всеми верными ему штыками, и не обращал внимания на все угрозы союзников. Американские и английские корабли блокировали анатолийское побережье. Воевать победителям не хотелось.

Где-то шли какие-то переговоры, а пока остальная Турция с султаном во главе была изолирована от мира.

Однажды я был приглашен в «Ильдиз-Киоск» к султану, на «селямлик». Я приехал со своим оркестром и в ожидании его выхода стоял в приемном зале дворца и разговаривал со знакомыми дипломатами. Тогдашний греческий атташе Псилари объяснял мне, как надо заводить роман с турчанками, чтобы не повредить их репутации. Я слушал и смотрел в окно. До приема султан по ритуалу должен был посетить мечеть.

Мечеть находилась тут же, в ограде дворца, и скоро показалось его ландо, запряженное шестеркой белых лошадей. Султан в блестящем, расшитом золотом мундире, с лентой и орденами сидел один, а с боков его коляски в полных парадных одеяниях и также при всех орденах и регалиях пешком бежали его министры, положив одну руку на крыло экипажа. Полюбовавшись парадом, я отошел от окна. Вечером после приема, вдоволь напевшись, я получил от султана в подарок ящик его личных сигарет из чудесного турецкого табака, с длинными картонными мундштуками, украшенными его эмблемой.

Галиполи в переводе с греческого значит «Город красоты». Трудно себе представить, почему так назвали пустынное, выжженное солнцем место. Наши солдатики называли его «Голо-поле» — это название больше подходило. Солнце. Синие горы вокруг. Жара. Раскаленный камень. Ящерицы. Очень мало зелени. Так выглядел Галиполи, когда из черных закоптелых транспортов там высадилась тридцатитысячная армия усталых, разочарованных, отвоевавших людей — без родины, без будущего и даже без настоящего.

Когда-то здесь стояли шатры крестоносцев. Белые перья рыцарских шлемов развевались по ветру. Здесь был рынок, где продавали рабынь. Когда-то разъяренный Ксеркс приказал здесь высечь цепями Геллеспонт. Потом все смывающий ветер истории начисто выдул отсюда все признаки прошлого. Только забытые турецкие могилы — серые камни в белых тюрбанах — скучно молчат на серо-желтом фоне. А вокруг море и море... Для русского лагеря отвели место на земле какого-то турецкого полковника. Называлось оно Долина Роз и Смерти, потому что хотя над речкой, в расселинах гор, рос дикий шиповник, но москиты, скорпионы и змеи подстерегали на каждом шагу.

Вот на этом-то голом месте в очень короткое время вырос белый полотняный город. Почти год прожила там армия, зализывая боевые раны. Отмылась, избавилась от вшей, от тифа, от дизентерии. Кутепов завел строгую дисциплину. За малейший проступок сажал на гауптвахту. Он хотел спасти армию во что бы то ни стало, спасти самое сердце «белой идеи». Но идеи уже не было. Идея угасла еще там, в России, оторвалась вместе с территорией родины. И правда, кому были нужны или дороги интересы белой армии, кроме нее самой? Никто даже не вспоминал о ней. Спекулянты нажива-

лись, интеллигенция стремилась к европейским центрам — в Париж, Берлин, Лондон.

Молодежь просилась в Америку, Бразилию, Аргентину — куда угодно, лишь бы вырваться отсюда и начать новую жизнь.

Союзники помогали слабо. Судьба белой армии перестала их интересовать. Кроме консервов да кое-какой одежды, от них ждать было нечего. Жили впроголодь. Вначале солдаты даже просили милостыню. От селитры, которая была в консервах, у многих на теле стали появляться язвы. Только американцы помогали немного. Давали детям молоко, шерстяные одеяла, теплые фуфайки. Земсоюз подкармливал женщин и детей. Были полотняные церкви, библиотека, художественный кружок, театрик-балаганчик. Днем проходили ученья, маршировали, занимались, как полагается. В юнкерском училище юнкерам читали лекции. Россия жива. Россия будет. И надо ей служить. Все равно где, здесь или в Африке. Сторожили знамена. Тосковали по родине. Мечтали о походе на Константинополь... Так легко! Взять можно сразу. Захватить суда — потом в Россию. Восемь офицеров застрелились от тоски по родине. Два генерала сидели в приморском кафе — пили. Увидели на рейде маленький истребитель, захватили наганы и, как обезумевшие, бросились в воду. Доплыть, захватить истребитель и в Россию! В воде, однако, протрезвились...

Когда по всему миру русские эмигранты впали в истерику, когда их «политики» стали делать ставку на «эволюцию большевизма», на «крестьянские восстания», «голод», когда «Общее дело» заявляло, что через две недели начнется поголовное бегство комиссаров из Кремля, сухопарые, очкастые галиполийские лекторы, загибая тощие пальцы, говорили: «Не верьте! Все это истерика или выдумка. Не сегодня и не завтра придет спасение. Не верьте политиканам. Они ослепли в политической мгле. Это самообман, а правда проста. Мы одни. Мы полузабыты, и мы должны крепить свой дух».

Конечно, это был «белый монастырь». Конечно, это были подвижники. Конечно, все эти белые мальчики, все эти Алеши Карамазовы искренне и свято верили в свой белый подвиг. Отделенные от остального мира в своем полотняном городе, как в белом скиту, они уже очистились «от всякия скверны» — от всей грязи и несправедливости, которую рождает гражданская война. И ждали. Ждали Россию. Верили в свою миссию, в свое предназначение. Это они, последние

оставшиеся в живых, считали себя призванными сохранить честь и мощь армии, чистоту ее оружия и силу.

Я понимаю, как трудно будет читать эти строки сегодняшнему патриотически настроенному читателю, для которого через вереницу лет уже все понятно и все ясно. Конечно, они ошиблись. Конечно, они проиграли. Они — то есть вся эмиграция, оторвавшаяся от родины, посмевшая поднять меч свой против НЕЕ!

Но ведь они верили! Они думали, что приносят свои жизни для родины, для ее счастья, ее спасения. Белые воевали за старое, за прошлое. Красные воевали за новое, за будущее. Кто из них был нужен России, тогда еще никто не знал. Тогда можно было только верить. История решила вопрос.

В книге Ивана Лукаша «Голое Поле» — поручик Миша говорит: «Я пошел потому, что верил в наше дело. И в армии вся молодежь так же как я верующие. Мы пошли потому, что вера наша была как ОБРЕЧЕНИЕ, и, может быть, все мы были обречены смерти за Россию...

Вы думаете, в душе мы не знали, что нас трагически мало? Что большевикам помогает историческая удача, а мы обречены умереть? Пусть история безжалостна. Но она справедлива. И дело не в нас, а в исторической справедливости. Дело в нашей вере, что Россия тихая, а не бешеная! Что Россия будет построена миром, а не войной. Мы верили ОБРЕЧЕННЫЕ. Вы понимаете? Да. Ну вот. Мы воевали, и нам казалось, что за нас думают. Нам бы только победить, а за нас уже постоят! Только теперь мы видим, что кругом нас пустота! Мы одни. А за Галиполи, за нашей монастырской стеной — пустота. И опустошенные души. Не генералов и не царей мы хотели. Мы не пушечное мясо генеральских авантюр, мы живое мясо самой России, нас вырвали с кровью — мы не могли устоять. И вот мы здесь»[1].

А на рейде время от времени появлялся старый закоптелый пароход «Решид-паша», который ходил в Одессу и мог увезти на родину. И долго смотрели на него люди в белых рубашках, и тысячи мыслей о том, как бежать, как вырваться, как вернуться, рождались в их головах. И бессильно умирали. Возврата не было.

В зеленой гуще деревьев и пальм в Бебеке, где стояли турецкие виллы, увитые снизу доверху огромными чайными

---

1 *Иван Лукаш*— «Голое Поле». София, 1922.

розами, пели соловьи. В «Пти Шане» пели шансонетки. Балетмейстер Виктор Зимин ставил «Шехерезаду». В «Стелле», в саду у нашего московского негра Томаса, играли русские музыканты, танцевали русские балерины, русские дамы пленяли сердца американцев, англичан и французов... Все шло как по маслу... Но деньги кончались.

Те, кто «устроился», так или иначе еще существовали, остальные, истратив все и продав все фамильные драгоценности, невольно вынуждены были как-то обдумывать свою дальнейшую судьбу. Опять началась беготня за визами. Кое-куда их еще давали. Интеллигенцию принимали чехи. Туда двинулись профессора, писатели, журналисты. Желающих «сесть на землю» звали в Аргентину. Туда устремилось казачество. Люди со средствами уезжали во Францию, в Париж. Эмиграция рассасывалась.

Турецкое правительство, слегка опомнившись от собственных переживаний, подбодренное независимым положением неукротимого Кемаль-паши, потихоньку приходило в себя. На эмиграции это отразилось довольно чувствительно. Появился ряд декретов и законов, сильно ограничивших свободу эмигрантов в Турции.

Нужно было куда-то бежать. Об этом стал думать и я. Тут передо мной возникли два основных вопроса. Первый: куда ехать? А второй — с какими документами? (Кроме ветхозаветного метрического свидетельства, у меня не было никаких документов.) Да еще был и третий вопрос: с какими средствами?

Того, что я зарабатывал пением, хватало на жизнь, но и только. А пароходные билеты до любой страны стоили сотни лир. Но, очевидно, судьба думала обо мне. Вскоре возле меня стал вертеться маленький юркий театральный человечек — русский грек, некий Кирьяков. У него родилась идея повезти меня в Румынию, главным образом в Бессарабию, где было коренное русское население и где можно было на мне заработать. Выбирать было не из чего. Я искренне обрадовался его предложению и стал готовиться к отъезду. Вскоре у меня появился греческий паспорт, купленный Кирьяковым за сто лир, на имя греческого подданного, рожденного в городе Киеве,— Александра Вертидиса (так переделал мою фамилию предприимчивый Кирьяков для большего сходства с Грецией). О родителях было сказано, что отец из Афин, а мать с Украины. В общем, выходил недурной коктейль.

С благодарностью вспоминаю об этом человеке. Что бы я делал, если б не он? И не только в тот момент, но и в даль-

нейшем. Как-никак, но с этим паспортом я объехал чуть не полсвета, минуя все эмигрантские затруднения.

На прощанье симпатичный чиновник, продавший мне паспорт, сказал:

— Можете ездить по всему свету, только старайтесь никогда не попадать в Грецию, а то у вас его моментально отберут!

Этот завет я помнил всю жизнь. Вероятно, поэтому я так и не видел Греции.

Постепенно закрывались рестораны, прижатые новыми правилами, прикрывались игорные дома и лото-клубы, сворачивались магазины, лопались дутые предприятия, отбирались пароходы... Пленительные русские женщины увозились за границу счастливыми мужьями.

Правительство его величества султана висело на волоске, а Кемаль рычал, как разъяренный тигр, на мирно отдыхавших «победителей» и не давал им покоя.

Все это портило им настроение и вредило пищеварению. Приходилось «сматывать удочки» и собирать свои палки для гольфа.

Я не дождался переворота.

Я взял билет в Констанцу и, закурив последнюю ароматную сигарету, подаренную мне его величеством, отплыл в неизвестность, навсегда попрощавшись с этой солнечной страной — родиной талантливой Шехерезады, Босфором, Золотым Рогом, минаретами, муэдзинами, осликами, страной добрых и благородных людей, все несчастье которых было в том, что они были «слышком» благородны и благодушны и не спешили жить.

В Румынии

Один из моих приятелей, итальянский дипломат герцог Д'А-а, однажды на одном банкете в Бухаресте в «Атеней-Паласе», на котором мне пришлось выступать, говорил:

— Румыния, мой друг, это страна смычка и отмычки. Тем или иным путем, но они уж сумеют добраться до ваших денег!.. «Берут» буквально все. Но «берут» не за то, чтобы помочь вашему делу, а за то, чтобы вам не «сделать гадости»!

И он был прав.

Вот, бывало, приходит какой-нибудь тип к моему менеджеру и знакомится:

— Я такой-то.

— Очень приятно! Чем могу служить?

— А вот, видите ли,— заявляет тип,— я могу сделать так, что ваш концерт не состоится...

— Зачем и почему?

— А я вот в цензуре служу и заявлю, что ваш Вертинский привез сюда пропаганду в песнях. Вот и крышка вашим концертам.

— Сколько? — кратко спрашивает менеджер.

— Двести.

Вздыхали и платили.

Через день приходит другой.

— Концерт не состоится! — заявлял он.

— Почему?

— Я из пожарной комиссии. Театр деревянный. У вас аншлаг, много народу. Опасно...

— Сколько?

— Триста.

Вынимали триста.

Вечером, уже после концерта, когда мы выходили из театра, из темноты ночи откуда-то появлялись две-три подозрительные личности в потертых пальто. Личности зябко жались к машине и, кротко улыбаясь, выразительно покашливали.

— За что? — просто спрашивал менеджер.

— А мы из сигуранцы, сыщики!

— Ну?

— Мы за вами следить приставлены! Может, какие встречи у вас или что говорить будете...— Извинительным тоном они добавляли: — Служба собачья.

Кирьяков давал им по десятке. Они услужливо открывали дверцу машины и любезно справлялись:

— Вы в собрание? Ужинать? Мы придем. Не беспокойтесь, мешать не будем. Счастливого пути.

В собрании они усаживались за столик неподалеку от нас и скромно заказывали себе по «шприцу» (белое вино с водой). Счет посылали нам.

В этой стране не было «дела», которое нельзя было бы провести. Весь вопрос был только в сумме. Такого количества воров, как в Румынии, я нигде не видел. Впрочем, это и неудивительно. Румыния еще в далекие времена цезарей была итальянской колонией, куда ссылали на каторжные работы, что-то вроде французской Гвианы или старого Сахалина.

От цыган, которые пришли с Карпат из Венгрии и Трансильвании и которые населяли Молдавию, румыны научились музыке. Той музыке, которая известна под неопределенным названием «цыганской». Их «дойны» — это заунывные и жалобные мелодии, частью венгерские, частью турецкие песни, рожденные еще во времена турецкого владычества, когда та часть Румынии, где Аккерман, Измаил и Килия, принадлежала туркам. Играют они их в свое удовольствие и подолгу, бесконечно варьируя одну и ту же незатейливую тему. Если их не остановить вовремя, то они вас «заиграют» насмерть.

В антрактах от оркестра в публику сходит музыкант и делает «кету». Собирает деньги. В одной руке у него поднос, на который гости кладут сколько кто может, а в кулаке другой руки зажата живая муха. Это для того, чтобы он не воровал денег. Вернувшись на эстраду, он должен на глазах у музыкантов раскрыть кулак и выпустить муху. И муха должна быть живой. Иначе ему не поверят товарищи.

Когда попадется богатый гость, который кутит, то он ставит оркестр на колени около своего стола, вынимает пачку ассигнаций и, поплевав на бумажку, приклеивает ее музыканту на лоб. И музыкант играет до тех пор, пока бумажка не высохнвт и, отклеившись, не упадет на пол. Тогда он прячет ее в карман, а гость, поплевав, наклеивает ему на лоб новую.

Когда я впервые увидел эту картину, я чуть не сгорел со стыда за музыкантов. Мне стало стыдно, что я тоже артист. Я стал умолять угощавшего меня поклонника не делать этого. Но музыканты были так недовольны моей защитой, считая, что я срываю их заработок, что мне ничего не оставалось, как покориться обстоятельствам.

Если румыну что-нибудь понравилось у вас: ваш галстук, или ваши часы, или ваша дама,— отдайте ему! Иначе он будет вам до тех пор делать гадости, пока не получит желаемого. Как иллюстрацию к сказанному я приведу один случай, который во время моего пребывания в Бессарабии мне шепотом передавали тамошние жители.

Однажды, рассказали мне, в Кишиневе появилась русская женщина, отличавшаяся необыкновенной красотой. Она тайком перешла границу по льду Днестра у Тирасполя, а оттуда пробралась в Кишинев, где ее приютил богатый одесский грек Пападаки, владелец кино «Орфеум». Эта женщина должна была ежедневно являться в комендатуру, ее подвергали допросам, стараясь выяснить, не является ли она шпионкой «оттуда». Добиться от нее ничего не могли, потому что это была обыкновенная буржуазная дама, убежавшая из Совет-

ской России, как убегали сотни спекулянтов, буржуев, растратчиков.

Она имела несчастье обратить на себя внимание всесильного диктатора Бессарабии генерала Поповича. Изматывая ее допросами и запугивая, генерал в конце концов предложил ей сойтись с ним, обещая за это свободу. Дама отказалась. Генерал настаивал. Видя, что сломить ее упорство невозможно, разъяренный генерал приказал погнать женщину по льду Днестра обратно в Советскую Россию. В пять часов утра ее вывели на берег реки. Когда она отошла на некоторое расстояние, ей послали вдогонку несколько пуль.

Узнав об этом, Пападаки бросился в Бухарест, взял самого лучшего адвоката; не жалея денег, кидался по всем инстанциям, требуя расследования. Подавал жалобы министрам и даже дошел до короля. Но все было напрасно. Генерал был недосягаем и неуязвим. Тогда Пападаки поднял на ноги прессу. За деньги, конечно. Оппозиционные газеты затеяли настоящую травлю генерала. Коллегия адвокатов заявила формальный протест в суде. Скандал разросся до небывалых размеров. И тем не менее дело замяли, грека куда-то запрятали и потом ликвидировали.

Вот к этому самому генералу Поповичу я и попал со своими концертами.

Приехал я из Констанцы через Бухарест прямо в Бессарабию, в Кишинев, где рассчитывал исключительно на русское население.

Сначала все было хорошо. Концерты мои давали полные сборы, публика меня баловала, друзья окружили максимальной заботой, вниманием и лаской. Кирьяков набивал свои карманы леями, которые, правда, в переводе на настоящую валюту стоили мало, но все же были деньгами. Но потом вдруг все неожиданно и странно изменилось. Началось это с того, что как-то после концерта я ужинал со своими друзьями в саду местного собрания. В саду был ресторан, в котором мы сидели, а дальше, в глубине сада, был кафешантан со столиками. В середине ужина мне стало жарко, я решил встать из-за стола и пройтись по саду. Неожиданно из темноты сада ко мне подошла уже немолодая дама.

— Вы мсье Вертинский? — спросила она.

Я молча поклонился.

— У меня к вам просьба... Я певица...— Она назвала какое-то имя, вроде Мира или Мара.— Я пою здесь... В суб-

боту у меня бенефис. Я бы хотела, чтобы вы выступили у меня в этот вечер.

Я был удивлен.

— Вам, вероятно, известно, мадам,— отвечал я ей,— что я приехал сюда на ряд концертов, у меня есть импресарио, с которым я имею известный договор. Кроме того, у меня в субботу собственный концерт, который я не могу отменить, и, помимо всего, я никогда не выступал в кафешантане!

Дама нахмурилась.

— Значит, вы мне отказываете? — спросила она.

— Я не вижу возможности исполнить вашу просьбу, мадам.

— Вы пожалеете об этом! — глядя мне прямо в глаза, вызывающе сказала она.

Я пожал плечами и отошел. Вернувшись к своему столу, я, к сожалению, забыл об этом эпизоде и, не рассказав о нем никому из друзей, продолжал ужин. Вот это-то и было моей роковой ошибкой.

На другое утро я уехал из Кишинева в турне по Бессарабии.

Трудно передать те чувства, которые охватили меня при виде нашей русской земли, такой знакомой, такой близкой и дорогой сердцу и в то же время уже чужой, не «нашей». Русские вывески «Аптека», «Трактир», «Кондитерская», «Ренсковый погреб», «Бакалейная торговля» вызывали во мне чувство нежности. Точно я повстречался с милыми, давно забытыми людьми моей юности. Точно я через много лет вернулся в родной город, и меня встречают уже иные, незнакомые мне лица. Носильщики на вокзалах, извозчики, продавцы в магазинах, нищие — все говорили по-русски. Человеку, оторвавшемуся от родной почвы и жившему долго «у чужих», это было ново, радостно и до слез приятно. В простом провинциальном фаэтоне, запряженном парой худых кляч, на козлах которого гордо восседал извозчик Янкель — тоже худой и длинный, как жердь, с рыжевато-седой библейской бородой,— мы покатили в ясный солнечный день по нашей — почти нашей — русской земле в молдаванские степи. Те же милые сердцу белые хаты, те же колодцы с жестяными Христами, как у нас на Украине, те же подсолнухи, кивающие из-за тына, тот же воздух, то же солнце... и птицы.

Что за ветер в степи молдаванской...
Как поет под ногами земля...—

танцевали у меня в голове первые строки будущей песни.

Коляска подпрыгивала. Янкель что-то напевал о строгой учительнице, которая обманывает своего ребе, и хотя пел он по-еврейски, но выходило как-то по-русски. Так, вероятно, пел еврей-ямщик где-нибудь на Украине. Встречные возы с сеном, запряженные такими же украинскими волами, давали нам дорогу, сворачивая со шляха. Крестьяне кланялись, снимая шляпы.

Все эти Бендеры, Сороки, Оргеевы выглядели как типичные русские «местечки» с неизбежным почтамтом, белой церквушкой, бакалейными лавочками, где пахнет хомутами и дегтем, где продают гвозди и мыло, кнутовища и квас, колбасу и веревки.

В синем небе высоко кружил ястреб. Ласточки сидели на телеграфной проволоке, и кругом, куда ни кинешь взгляд, степь и степь. Так похоже на родину! Иногда под вечер в степи мы встречали цыганский табор. Настоящий табор, о котором всю жизнь слышишь во всех романсах, кстати сказать, написанных людьми, никогда его не видевшими. Горели костры. Стояли полукругом кибитки с поднятыми оглоблями. Кричали дети. В таких случаях мы останавливались. Шли к цыганам. Садились к костру, ужинали, пили вино, слушали песни. Под гитарные переборы грустили о родине. А степь была уже серебряной от лунного света, звенели цикады, кричали перепела... Было много общего между жизнью этих людей без родины и — моей...

Однажды в степи мы встретили кочующий табор. Как всегда, мы остановились и начали разговаривать с цыганами. Молодая цыганка скалила ослепительные зубы и, объясняя нам, как ближе проехать к городу, кормила грудью маленького ребенка. Ее муж, смуглый стройный цыган, мазал дегтем колесо кибитки. Мы уже собирались ехать дальше, когда наше внимание привлекло облако пыли на дороге — какие-то всадники, мчась во весь опор, приближались к нам. Янкель, привстав на козлах, всматривался вдаль, прикрыв глаза рукой.

— Жандармы,— тихо сказал он.

Цыгане встрепенулись.

Мужчины бросились к лошадям.

Но было уже поздно. Через несколько минут взвод жандармов окружил табор. Невообразимый вой поднялся вокруг. Женщины голосили. Дети ревели. Мужчины кричали, ударяя себя кулаками в грудь и крестясь. Собаки лаяли.

— Что случилось? — спросил я ротмистра.

Оказалось, что несколько часов тому назад эти цыгане ограбили почту.

Жандармы взяли их, закручивая руки назад.

Я взглянул на молодую цыганку.

Она кричала исступленно и яростно. Изо рта у нее катилась пена.

Ее мужа уже волокли к лошадям, связанного и избитого.

Она рвалась к нему, голося и дико сверкая глазами. Жандарм оттолкнул ее. Тогда, не помня себя от бешенства, она вдруг, к моему ужасу, схватила ребенка и швырнула его в жандарма. Жандарм, изогнувшись в седле, подхватил ребенка за ноги.

Цыган окружили и погнали в город...

В Бендерах мы остановились в маленькой гостинице. Принесли самовар. Хозяин пришел поговорить с нами. У окон собралось все местечко помотреть на меня. Все это было так «по-русски» приятно.

До концерта оставалось полтора дня.

Времени было много, и я решил пойти на берег Днестра посмотреть на родину.

Было часов восемь вечера. На той стороне нежно синели маковки церквей. Тихий звон едва уловимо долетел до моих ушей. Без бинокля было видно, как ходит по берегу часовой. Мирные стада пили воду у самого берега.

Все это было невероятно, безжалостно, обидно близко. Вот совсем рядом. Казалось, всего несколько десятков саженей отделяли меня от родины. Броситься в воду! Доплыть! Никого нет... Не поймают...— мелькало в голове. А там? Там что?.. Часовой спокойно выстрелит в упор — и все... Кому мы нужны? Беглецы! Трусы! «Сбежавшие ночью»... Кто нас встретит там? И зачем мы им?.. Остатки прошлого! Разбежавшиеся слуги барского дома! Нас засмеет любой деревенский мальчишка!.. А что мы умеем? Ничего! Что мы знаем? Чем мы можем быть полезны? Полы мыть и то не умеем!

Я сел на камень и заплакал.

Кирьяков увел меня домой, в гостиницу.

— Не расстраивайтесь. Завтра концерт,— сказал он.

Придя в комнату, я закончил песню.

А когда засыпают
березы
И поляны отходят
ко сну,
О, как сладко,
как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть
на родную страну.

Много переживаний и волнующих моментов было у меня в Бессарабии. Прежде всего милые люди — не беженцы, сорвавшиеся со своих мест, суматошные, растерянные, двигающиеся по закону инерции, еще не осознавшие своей огромной потери, ищущие, сами не зная, чего им надо, а коренные, исконные русские жители этих мест, люди нашей, русской земли, никуда с нее не убегавшие. Волею судеб они попали под чужую власть — под иго невоевавших победителей, жадно набросившихся на свалившийся им с неба богатый край.

Эти люди не забыли своей родины, они думали о ней, терпеливо ждали своего освобождения и верили в него, считая, что власть завоевателей временна, случайна и скоропреходяща.

Они посещали мои концерты, приходили ко мне, говорили со мной. В моем лице они видели не только артиста, но и часть своей родины, человека, который привез им искорку родного искусства.

Они старались объяснить не понимавшим меня румынам, кто я и что я, о чем я пою. Они искренне гордились мной.

А во всех этих городах и местечках по приказу из Кишинева уже следили за мной. На концертах сидели сыщики, начальники сигуранц, чиновники. Они внимательно наблюдали за мной и публикой, стараясь вникнуть в тайный смысл моих слов. Наблюдали, как реагирует взволнованная аудитория, и нервничали, видя слишком горячий прием.

Как-то в Аккермане мой концерт посетил сам комендант города. Он сидел в первом ряду в полной парадной форме и не понимал, за что мне так аплодируют. В конце концов он не выдержал. Вскочив со своего места, он повернулся лицом к публике и, стуча по полу своим палашом, в бешенстве закричал по-румынски:

— Что он поет? Я требую, чтобы мне объяснили, что он поет? Отчего здесь все с ума сходят? Голоса у него нет. В чем дело?

К нему подошли какие-то люди, пытались ему объяснить. Полковник был в ярости.

— Это неправда! — кричал комендант.— Он большевик! Он вам делает митинг! Артистам не делают демонстративных оваций.

Вот тут он был прав. Овации были действительно демонстративными. И не потому, что я уж так изумительно пел, а потому, что я был русский и, следовательно, свой, «запрещенный».

Шаг за шагом, город за городом, не минуя даже маленьких местечек, я катил по Бессарабии, напоминая людям об их языке, об искусстве их великой родины, о том, что она есть и будет. А вместе со мной, как снежная лавина, катился все увеличивающийся ком доносов, рапортов со всех мест, где ступала моя нога, где звучал мой голос.

Публика была возбуждена, ко мне тянулись сердца. Меня благодарили чуть не со слезами на глазах за то, что приехал, за то, что привез русское слово, что утешил, успокоил. Воистину зто окрылило меня. У меня открылись глаза. Это было и радостью, и наградой.

Дороги в Бессарабии ужасны. Шоссе есть только в некоторых местах, и то небольшими кусками, а в основном старые русские почтовые тракты, мощенные булыжниками и полуразвалившиеся. Ездить по зтим дорогам невозможно — езда вытряхивает душу, и мы старались, избегая их, пробираться проселочными дорогами. Три или четыре правительства получали ассигнования на постройку шоссе в Бессарабии. Но каждый раз деньги зти исчезали, растаяв по карманам начальствующих лиц, а «шоссе» мирно дремали, зарастая клевером, крапивой и бурьяном.

В Румынии такой порядок. Вот к власти приходит какая-нибудь партия. Приходит она в полном составе, т.е. от премьер-министра до ночного сторожа. Все места по всей стране занимают люди только данной партии и их родственники и протеже. Поправив страной два-три года и насосавшись денег, партия сама отваливается, как пиявка, или ее сваливает следующая, идущая ей на смену. Следующая опять приходит в своем собственном полном составе, от премьер-министра до ночного сторожа, «со сродниками и со чадами». Поэтому в Румынии нет ни одного чиновника, который прослужил бы больше двух-трех лет. И, вероятно, поэтому, зная свой краткий век мотылька, румынские чиновники берут с кого можно и сколько можно, стараясь сколотить побольше денег за время своего царствования.

Кое-как, раздавая взятки направо и налево, мы закончили наше турне и через две недели вернулись в Кишинев, где намеревались дать еще несколько концертов, а затем ехать в Польшу.

В Кишинев приехали к вечеру. Наскоро поужинав в отеле, я лег и уснул как убитый. В пять утра в номер постучали. Кирьяков открыл дверь. На пороге стояли жандармы.

— Пожалуйте в управление!

Я быстро оделся. Кирьяков, сообразив, что дело дрянь, бросился в город предупредить моих друзей. Самыми влиятельными из них были директор банка Черкес и Николай Николаевич Кодрян — директор бессарабских железных дорог, милейший русский инженер, бессарабец по рождению, умница и большой дипломат. Через полчаса оба они были уже в управлении, обеспокоенные случившимся.

Меня ввели в кабинет к ротмистру. Он указал на стул.

— Подайте мне дело Вертинского! — коротко распорядился он.

Я с изумлением и тревогой смотрел на толстую солидную папку, до отказа набитую бумагами.

Потом я узнал, что все это были донесения из провинции обо мне и моих концертах, наскоро состряпанные местными агентами.

Я тупо смотрел на папку. Разговор велся по-французски.

— Вы большевик? — в упор глядя на меня, спрашивал ротмистр.

— К сожалению, нет!

— Почему «к сожалению»?

— Потому что, если бы это было так, я пел бы у себя на родине, а не ездил бы в такие дыры, как Кишинев.

Ответ не удовлетворил ротмистра.

— Вы занимаетесь пропагандой! — крикнул он, стуча кулаком по столу.

— Укажите мне, в чем она заключается?

— Вы поете, что Бессарабия должна принадлежать русским!

— Неправда, я этого не говорил!

Он ткнул мне в лицо перевод песни.

— Я не читаю по-румынски,— отвечал я,— и не знаю, что здесь написано. Я знаю только то, что я написал.

Ротмистр злился. Он грозно потрясал в воздухе текстом моей песенки «В степи молдаванской».

— Да-да, конечно. Вы маскируете смысл, но все понимают, что вы хотите сказать!

— Было бы странно, господин ротмистр, если бы я пел так, чтобы меня не понимали!

— Вы советский агент! — раздражаясь все больше, кричал он.— Вот здесь мне доносят, что вас засыпают цветами. Вы разжигаете патриотические чувства у русских! Вы обращаетесь с речами!

— Никаких речей я не говорю!

— Я запрещаю ваши концерты. Как вы попали сюда? Кто дал вам визу?

Допрос длился час.

Резолюция была коротка: выслать из пределов Бессарабии в Старое королевство.

Я мог выбирать любой город в Румынии. Я выбрал Бухарест. Напрасно хлопотали мои друзья, нажимая на связи и знакомства. Ничего сделать нельзя было. Самое удивительное, что деньги, всесильные в Румынии деньги, на этот раз не помогали. Тут был какой-то секрет. Совершенно ясно, что дело о моем большевизме было мне «пришито». Настоящая же причина крылась в чем-то другом. После нескольких дней напрасных хлопот друзей, во время которых меня ежедневно в пять утра таскали на допрос в различные учреждения, я наконец догадался рассказать друзьям историю с шансонеткой.

После этого все стало окончательно ясно для них и для меня: я осмелился отказать любовнице самого кишиневского диктатора — всесильного в Бессарабии генерала Поповича! В ту же ночь в вагоне третьего класса я был отправлен в Бухарест, в главную сигуранцу в сопровождении тех же знакомых личностей в потертых пальто, которым мы давали по десятке.

От нечего делать я разглядывал их. Личики у них были прелестные. Я говорю «личики» — ибо они были именно небольшие и необычайно скромные. Скромные прически «бабочкой», желтые усики, красные некрупные носы, пухлые, чуть обиженные губки, и вот только глазки наводили на некоторые сомнения... а так все было бы хорошо, и таких людей можно было бы принять за самых обычных. Поезд постукивал, вагоны покряхтывали, паровоз свистел. Мимо нас проплывали кукурузные поля, леса, небольшие станции. Мы вытащили из корзинки курицу и яйца, данные нам на дорогу добрейшей мадам Кодрян, сыщиков послали за бутылкой вина и устроили завтрак. Завтраком накормили и их — товарищей по несчастью. От крепкого бессарабского вина сыщики скоро осоловели и через час заснули, блаженно захрапев в углах вагона. Мы с Кирьяковым пошли в вагон-ресторан пить кофе.

Там нас и отыскали часа через два проснувшиеся сыщики. Радость их была неописуема. Они, вероятно, думали, что мы сбежали. Но бежать было некуда и незачем, и мы продолжали

свой путь мирно до самого Бухареста, честно делясь папиросами и пищей со своими спутниками.

Ровно в восемь утра наш поезд остановился на бухарестском вокзале.

К девяти часам утра сыщики привели нас в сыскное. Собственно говоря, одного меня, ибо Кирьяков был свободен. Меня принял толстый, упитанный румын — начальник сигуранцы. Прочитав сопроводительные бумаги, он кивком головы отпустил сыщиков (Кирьяков остался в коридоре), ухмыльнулся и задал мне только один-единственный вопрос:

— Деньги есть?

— Есть,— ответил я.

— Сколько?

В кармане у меня лежало пятьдесят тысяч лей. Это было все, что я заработал от концертов.

Он взял деньги, внимательно сосчитал их, взял мои часы, портсигар, еще какие-то мелочи из карманов. Потом велел снять воротничок и галстук, как с настоящего бандита, спрятал все это в шкафчик и дал мне номер — 63.

— Вы арестованы пока здесь, при сигуранце, впредь до особого распоряжения,— сказал он.

На все мои попытки выяснить, за что я арестован, он отвечал:

— Это не наше дело.

Меня отвели в подвал, где уже сидело несколько воров, задержанных тоже «впредь до выяснения». Это была большая комната, уставленная до половины партами, как в школе. Здесь читались лекции сыщикам, здесь их учили всей премудрости ремесла.

Проходили дни... Утром давали кипяток, обед мне приносил Кирьяков, вечером опять кипяток и хлеб.

Воры были пресимпатичные. Несколько поляков, бессарабы. Все они говорили по-русски да к тому еще были моими поклонниками. По вечерам они просили меня петь. Петь свои песни мне не хотелось, и я обычно начинал какую-нибудь русскую народную песню вроде «То не ветер ветку клонит», или «Ермака», или, чтобы попасть им прямо в сердце, «Александровский централ». Я знаю и люблю русские песни — звонкие и печальные, протяжные и заливистые, пронизывающие все ваше существо сладчайшей болью и нежностью, острой, пронзительной тоской, наполняющие до краев ваше сердце любовью к родной земле и тоской по ней.

Славно пели воры. Не спеша, пропевая и протягивая каждое слово песни. Так могут петь люди только в неволе, когда все равно уйти нельзя и некуда, когда времени много и оно гибнет. Люди на свободе не могут так петь. Они все торопятся куда-то. А тут пели любовно и бережно. Осторожно подходили к ноте, к фразе, точно у них в сердце она давно уже была обдумана, пережита, перепета и обласкана.

Страшная, великая сила — русская песня! Все мужество, всю терпимость, всю гордость народа, всю его глубочайшую мудрость отражает она. С ней и работа легче, и горе тише, и смерть не страшна!

Однажды утром дверь нашей камеры-школы открылась, и к нам вошел новый пассажир — элегантный, сравнительно молодой еще человек, который при ближайшем знакомстве оказался знаменитым международным вором Вацеком. Наш новый товарищ был приятнейшим и милейшим парнем, веселым и добрым. Помимо того что он был с полицией и сигуранцей, что называется, на «ты», он оказался еще и очень богатым. И хотя денег у него, как у всякого арестованного, не могло быть, тем не менее ему сторожа приносили все, что он заказывал. У него, как у всякого «большого вора», имелся собственный адвокат, и, вероятно, он и оплачивал все его счета. У нас сразу появились вино и еда в неограниченном количестве и даже сигареты. Как настоящий джентльмен, Вацек широко угощал своих младших коллег, честно деля между ними все, что присылалось ему. Перепадало и мне с его барской руки. Ко мне он сразу почувствовал симпатию, и мы начали подолгу разговаривать на разные темы. Воры буквально благоговели перед ним. Это был настоящий «премьер» — красивый, воспитанный, умный, а главное, удачливый в своей профессии. Мелочами он не занимался. Он «работал» только с банками. Его способ был следующий. Приехав в город, где его никто не знал, он приходил с помощником в самый большой банк в деловое время. В руках его всегда был большой портфель. Быстро оглядев зал и учтя положение, он спокойно и решительно подходил к тому окошку, где кто-нибудь получал крупную сумму денег — артельщик или владелец фабрики для расплаты с рабочими. Став рядом с ним, он раскрывал свой портфель, ища в нем какие-то бумаги. Артельщик пересчитывал деньги. В это время помощник Вацека, проходя мимо, незаметно ронял на пол около артельщика пачку денег. Потом вежливо трогал его за плечо и любезно говорил:

— Простите, вы, кажется, уронили деньги?

Артельщик оглядывался и, нагнувшись, подымал пачку, благодаря за любезность. Этого момента Вацеку было достаточно, чтобы перебросить в свой уже открытый портфель несколько крупных пачек денег. После этого он в тот же день исчезал из города. Комбинация была чистая и смелая. На этот раз он тоже не попался, но во время обыска агенты сигуранцы нашли у него 200 тысяч лей.

Теперь их интересовало, откуда у него эти деньги.

— Я могу хоть сегодня уйти отсюда,— со смехом говорил Вацек.— Они не могут доказать ничего. Потому что я «достал» их даже не в Румынии! Мой адвокат докажет им, что в течение этого месяца в Румынии не было ни одного ограбления банка! Они просят пятьдесят тысяч, чтобы отпустить меня. А я копейки не дам этой сволочи.

И он заразительно хохотал.

— Подержат еще пару дней и выпустят. Ничего со мной они сделать не могут!

По ночам я пел ему блатные песни — «Клавиши», «Централ» и другие. Он слушал меня часами и вздыхал. Я люблю блатные песни и вообще — песни простые, «душевные под гармошку»...

На этой почве мы сдружились.

— Если я тебе смогу быть полезным,— сказал Вацек,— когда выйду отсюда, ты скажи, что тебе надо,— я помогу с удовольствием.

Я поблагодарил его. Мне ничего не было нужно.

Через две недели однажды утром меня вызвали наверх.

— Вы свободны,— сказал мне толстый начальник.— Можете ехать или оставаться в Бухаресте. Всюду, кроме Бессарабии.

Я кивнул головой.

— Вот ваши вещи!

Передо мной лежали галстук, портсигар, гребешок, мелочи... но денег не было.

— А деньги? — спросил я.

Лицо начальника выразило максимум изумления.

— Деньги? Какие деньги?

— Пятьдесят тысяч лей! — ответил я.

Начальник строго глянул на меня.

— Итак, вы утверждаете,— откашлявшись, медленно проговорил он,— что у вас было пятьдесят тысяч лей? Так я вас понял?

Я опять кивнул.

— Стало быть, эти деньги у вас пропали?

— Да.

— А-а...— задумчиво протянул он.— В таком случае мне придется задержать вас еще на некоторое время, пока мы произведем расследование.

Я понял.

— Извиняюсь, господин начальник, я совсем забыл. Я оставил их дома на комоде.

— Так будет лучше,— сказал он.

— До свидания.

Я улыбнулся и вышел.

Выйдя из сигуранцы, я стал соображать, что же делать дальше. Деньги у меня отобрали. Петь было негде. В Бессарабию нельзя, а в Бухаресте очень мало русских. На целый концерт не хватит, да и позволят ли мне этот концерт? Пошарив в кармане, я наскреб двадцать лей. На эти деньги я сбрил отросшую бороду и усы и смог снять номер в маленьком отеле, где остановился вместе с Кирьяковым. Отмывшись и отоспавшись, стали думать, что делать.

Через несколько дней Кирьяков нашел мне место. Он «продал» меня в шантан одному греку. Шантан был третьесортный и довольно грязный. В главном зале, правда, публика сидела на стульях и смотрела программу, а рядом был ресторан с ложами. Программа состояла из бесконечного числа румынских девиц, танцевавших все один и тот же танец — вроде «казачка», но в разных костюмах и под разную музыку. Был еще куплетист с лицом мозольного оператора, дрессированные собаки и я. Оттанцевав свой номер, девицы входили в ресторан и садились гостям на колени. Там было открыто всю ночь. Я пел какую-то ерунду с веселыми припевами, старые цыганские романсы вроде «Нет, не хочу», «Ямщик, гони-ка к Яру» и т. д. Пел под оркестр. Румынам нравилось. Они подпеаали и раскачивались в такт песне. Я «имел успех». Хозяин был доволен и положил мне пятьсот лей в месяц. Суммы зтой было достаточно, чтобы не голодать и оплатить отель. А дальше? Что делать дальше? Надо было пробраться в Польшу. Мы с Кирьяковым не сомневались, что мое имя там сделает сборы. Но как доехать? Где вэять денег? Одни визы и билеты туда, даже третьим классом, стоили около двадцати тысяч лей. Горизонтов у нас не было никаких. Оставалось ждать чуда.

В Бухаресте был русский консул, собственно говоря, бывший консул. Румыны позволили ему жить в здании посольства и даже приглашали его на некоторые полуофициальные приемы. Фамилия его была Поклевский-Козелл. Вокруг него группировалась как раз та часть русской публики, кото-

рую я не любил. Эту группу составляли бывшие гвардейские офицеры, попавшие в Румынию, бессарабские помещики черносотенного толка, великосветские дамы из бывших фрейлин и жены генералов. Искать там какого-нибудь сочувствия или поддержки мне было не к лицу. Да к тому же я был не эмигрант, а греческий подданный Александр Вертидис, которому надлежало искать защиты у своего консула. Но, на мою беду, греческого консульства в Бухаресте не было. Да и не очень-то я стремился попадать на глаза «своим» консулам. Говорить по-гречески я не умею. Еще отберут, того и гляди, паспорт. Я молчал, как таракан, забившись в грязную щель второклассного отеля. От скуки мы с Кирьяковым бродили по городу, рассматривая его и изучая.

Дни текли скучно. Уже третий месяц я пел в шантанах. Из маленького грязноватого театрика, в который меня «устроил» Кирьяков, я перешел в лучший, самый фешенебельный в городе ночной кабак «Альказар», где выступали только заграничные артисты и где пить шампанское было почти обязательно. Я уже получал полторы тысячи в месяц, но все равно уехать на эти деньги было невозможно. На многое я насмотрелся и многому научился в этом шантане.

Прежде всего этот кабак, а затем и последующие были для меня хорошей школой. До этого я был неврастеник, избалованный актер, «любимец публики», который у себя на родине мог капризничать сколько угодно, мог петь или не петь по своему желанию, мог повернуться и уйти со сцены, если публика слушала недостаточно внимательно, мог менять антрепренеров, театры и города как угодно, мог заламывать любые гонорары и т. д. Все это сносилось очень терпеливо окружающими, которые, затаив дыхание, следили за робкими шагами моего творчества. Все наши актерские капризы и фокусы на родине терпелись с ласковой улыбкой. Актер считался высшим существом, которому многое прощалось и многое позволялось, и все это объяснялось «странностями таланта», «широтой натуры» и т. д. Я-то еще тогда был молод и относительно скромен, хотя тоже позволял себе немало, а что творили другие? Их антрепренеры были настоящими мучениками. А сколько терпели от их характеров окружающие их люди — музыканты, актеры помельче, публика!

От всего этого пришлось отвыкать на чужбине. А кабаки были страшны именно тем, что независимо от того, слушают тебя или не слушают, ты должен петь. Публика может вести себя как ей угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь или даже кричать — артист обязан исполнять свою роль,

в которой он здесь выступает. Ибо гость — святыня. Гость всегда прав. Он платит деньги. Он может икать, рыгать и даже блевать, если хочет. Пред ним склоняется все!

Но возьмем лучшее. Представим себе, что публика ведет себя скромно, не кричит, не разговаривает, не мешает артисту выступать. Все же иметь успех в кабаке гораздо труднее, чем в театре. Ибо в театр приходят, «чтобы слушать», а в кабак — «чтобы кушать», и пить, и танцевать, и любой посетитель может вам ответить, если вы будете на него в претензии за невнимание:

— Я пришел сюда из-за бифштекса или солянки, а не из-за вас, мой милый. И я не виноват, что вы тут поете и мешаете мне переваривать пищу. Я в кабаке, а не в театре. И не в церкви.

И он прав. По-своему, но прав.

И я пел. Сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращение, сквозь хамство публики и хозяев, сквозь стук ножей и вилок, хлопанье пробок, звон тарелок, крики, шум, аизг, хохот, ругань и даже драки. Я пел точно и твердо, не ища настроений, не дрожа и не расстраиваясь. Как человек на посту. Я не искал успеха и не думал о нем. Я пел для мастерства, для практики. Обтачивая и утончая детали, обдумывая каждую мелочь, спокойно, холодно и расчетливо.

Я имел успех или не имел успеха. Это заависело не от меня, а просто от подбора публики и ее настроений.

В кафе «Капша» на Кала-Виктория, лучшем кафе города, собрались сливки эмиграции. Там «хагашо когмят», сказал мне еще раз бессмертный князь Мурузи, попавший из Константинополя в Бухарест отчасти по закону инерции, а отчасти из-эа своей неутолимой любви к еде. Русская аристократия любила покушать. Румынско-французское меню «Капша» уже было переполнено русскими блюдами, которым научили дирекцию русские посетители. Бессмертными фамилиями Строгановых, Гурьевых и других гастрономических русских светил пестрели все карточки ресторана. Так бескровно, но неуклонно свершался величайший «геологический сдвиг» в желудках старой Европы — одно из крупнейших достижений того гордого и непримиримого класса эмиграции, который, как говорит пословица, «сдается, но не умирает».

Сидя в уютном кабинете ресторана, преисполненные любви к покинутой родине, тоскующие по ней и взыскующие ее, эмигранты начинали свои «гастрономические скитания» терпеливо, ласково и любовно. И тщательно. Для начала к столу подавали замороженные бутылки «тройки» — русской

заграничной водки. Усевшись в эти тройки, наши путешественники уже мчались по необъятной Руси! Первой воображаемой остановкой была Астрахань. Какую икру подавали там... А дальше вдруг, капризно меняя маршрут, поворачивали в Москву. Какая селянка или уха ждали их, какие расстегаи! Потом посещали Украину или Кавказ, ели котлеты в Киеве, рябчика в Сибири, шашлык в Грузии, запивали все это милым сердцу кисловодским нарзаном, которого было много в городе, или настоящим напареули и цинандали, которое тоже импортировалось из Советской страны. На сладкое ели петербургскую сладкую кашицу (Гурьев!). После кофе подавали крымский виноград и персики, а иногда бывала возможность раздавить бутылочку «абрашки», как интимно звалось в этом кругу знаменитое шампанское, наше абрау-дюрсо.

Да... Эту эмиграцию нельзя было обвинить в недостатке патриотизма!

И не один французский, английский, итальянский или румынский желудок глухо содрогался по ночам после бурной атаки наших русских исконных блюд, рецепты коих любовно создавались и завещались потомству старыми дворянскими родами.

А наши окрошки? А ботвиньи со льдом? А борщ со свининой? А поросята с кашей?

— Ты понимаешь...— с дрожью в голосе говорил мне «кирасир ее величества» Жорж Сухомлинов,— вот, клянусь тебе, веришь или нет... без колебанья, шутя отдал бы свою жизнь за нашу знаменитую гатчинскую форель.

Большое утешение и силу черпали люди этого круга в патриотизме своего желудка. И если бы не еда, жизнь на чужбине была бы для них тяжким и непосильным крестом...

Однажды вечером, только что закончив свой «номер», я сошел в зрительный зал. Был один из тех пустых вечеров, когда публика, точно заранее сговорившись где-то, блестяще отсутствовала. Меня всегда удивляло это. Где, на какой площади собираются эти люди, чтобы сговориться? «Господа, сегодня мы не пойдем в такое-то место!» И не идут. Ни один не заглянет. Или наоборот. Вдруг, точно после какого-то митинга, как из рога изобилия начинает сыпаться публика. Как и где условились они прийти именно в этот вечер? Загадка природы...

Итак, было пусто. Несколько шансонеток лениво бродили между пустых столиков. Танцор Фарабони — худенький италь-

янский сутенер — ссорился с дежурной «женой» из-за плохо выглаженных шелковых сорочек. Музыканты делили вчерашнюю выручку, громко поминая худыми словами какого-то гостя, который много вещей заказывал оркестру, а дал мало.

В вестибюле скрипнула дверь. На пороге показался метрдотель, быстрым движением подвижного лица сразу давший понять всем, что идет гость. Музыканты бросились к инструментам. Девицы начали пудриться, красить губы. Лакеи оправляли скатерти.

Вошедший был высокий, очень элегантный мужчина в прекрасно сшитом темно-синем костюме, с хорошим платком и галстуком.

Пройдя по вестибюлю, он не спеша выбрал столик и сел недалеко от меня. Вынув золотой портсигар, он закурил, что-то объясняя лакею. Мне бросились в глаза его руки. Бледные и узкие, с блестящими ногтями. И почему-то знакомые мне.

«Где я видел эти руки?» — мелькнуло у меня. Его лицо было в тени, и мне оставалось только рассматривать его хорошо выстриженный затылок и блестящие черные волосы, приглаженные ровной волной до затылка, как у аргентинских «жиголо». Он заказал мадеру и... неожиданно обернулся.

— Вацек! — радостно вскрикнул я.

Это был он, мой приятель по неволе, международный вор — великолепный Вацек, удачливый, умный и веселый!

— Хелло! — Он уже шел мне навстречу, протянув руки.— Что ты здесь делаешь в этой трущобе? Поешь? Зачем? И кому? Этой сволочи? — закидал он меня вопросами.— Но они же тебя не понимают!..

Он смеялся и говорил, перебивая меня, как всегда напористый, насмешливый и уверенный в себе. Лакеи извивались перед ним, как ужи перед укротителем. Это был «настоящий» гость. Через полчаса музыканты окружили его столик, наигрывая ему одесские блатные мелодии. Знаменитый Григораш — первый скрипач Румынии — играл ему прямо «под кожу», в карман, в бумажник, туда, где лежали толстой новенькой пачкой банковские, прессованные, не распечатанные еще тысячи в кокетливой зеленой ленточке-бандероли. И он швырял им деньги.

Вацек был после удачного «дела». Это я сразу понял. Через десять минут внизу у оркестра был накрыт стол человек на сорок. Вина, водки, закуски — от края до края. За стол сели все артисты, музыканты и девицы, которые были в кабаре.

— Накорми и напои их! — коротко приказал он метрдотелю.

Мы остались ужинать вдвоем за его столиком. Подали шампанское.

— Как же ты отвязался от них? — спрашивал я, вспоминая сигуранцу.

— Через два дня после твоего ухода. Они выпустили меня за десять косых. И то я дал им из жалости. Мог ничего не давать.

Он смеялся.

— А ты? Что же ты намерен дальше делать? — спросил он.

Я объяснил ему ситуацию.

— Денег нет. Билеты стоят дорого. Вот пою пока здесь, а что будет дальше, не знаю.

Он дружески похлопал меня по плечу.

— Ничего, уладим! Сколько тебе нужно, чтобы уехать в Польшу? Я не хочу, чтобы ты служил в этом воровском притоне. Такой артист, как ты, не должен петь зтим паразитам. Уезжай немедленно.

Он вынул пачку ассигнаций.

— Здесь тридцать тысяч. Хватит?..

Этих денег хватало с избытком.

Я поблагодарил его горячо и искренне. Воистину это был благородный жест.

— Вацек,— сказал я,— мы еще встретимся в этом мире. Дай Бог, чтобы тебе везло так всю твою жизнь. Но если когда-нибудь в какой-нибудь стране ты попадешься и тебе будет плохо, разыщи меня, если я там буду, дай мне знать об этом. Я отдам все свои деньги, заложу все свои костюмы, одолжу у всех своих приятелей, достану, украду, но выручу тебя, чего бы мне это ни стоило!

Он улыбнулся и махнул рукой.

— Ерунда! Мелочи! Что такое для меня деньги? Я не люблю их в кармане. Они мешают работать. С ними только гуляешь, вместо того чтобы заниматься делом серьезно,— пошутил он.

В пять утра я расстался с Вацеком, а на другой день мы с Кирьяковым уже сидели в поезде, который уносил нас в Польшу.

Я думал, что больше никогда не увижу румынскую землю, и все же еще одно более позднее румынское происшествие стоит здесь рассказать.

Это было в 1930 году. Мы сидели в большом кафе в Черновицах (тогда еще принадлежавших Румынии). Этим городом заканчивалось мое гастрольное турне по Европе. В Румынии я оказался проездом, в последний раз, и утром должен был улететь в Париж.

Мой старый приятель Петя Барац, с которым я проводил свой последний вечер, хорошо знал и любил мир кулис. Актера из него не вышло, но театральным администратором он стал, чтобы хоть таким образом удовлетворить свою любовь к театру. Смытый волной революции, он работал теперь бухгалтером в какой-то маленькой конторе.

В кафе зажгли электричество. Музыканты шумно настраивали инструменты и спорили, с чего начать.

— Вдарим по «Травиате»! — предлагал один.

— Лучше рванем «Сильву»! — возражал другой.

За отдельным маленьким столиком невдалеке от меня сидела уже немолодая красивая женщина, устало опустившая руки на колени. В ее позе было что-то обреченное. Она напряженно смотрела на входную даерь и вздрагивала от ее скрипов.

— Смотри — Владеско! — неожиданно прервав наше молчание, сказал Петя.

Я обернулся. В кафе входил толстый сияющий румын в светло-сером летнем костюме, с гвоздикой в петлице. На мизинце его правой руки сверкал большой желтый бриллиант, какие обыкновенно носят карточные шулера.

Он слащаво-любезно раскланивался с публикой, закатывая глаза и скаля свои цыганские зубы с золотыми пломбами. К своему уже заметному животу он нежно прижимал футляр со скрипкой. Он продвигался к эстраде.

— Какой это Владеско? — спросил я.— Тот, что играл в Вене?

— Да.

Я вспомнил его. Это был один из пяти ресторанных знаменитостей — королей цыганского жанра. У его скрипки был необычайно густой и страстный звук, нежный и жалобный, точно плачущий. Это был какой-то широкий переливчатый стон, исходящий слезами. Что-то одновременно напоминавшее и зурну, и «Плач на реках вавилонских».

Для начала оркестр сыграл марш. Владеско не участвовал в этом. Как солист, он стоял впереди оркестра, самодовольный и презрительный и, манерничая, небрежно вертел в руках скрипку, точно разглядывая ее и не доверяя ей.

Наконец после всех этих ужимочек, подходцев и примерок он снисходительно дотронулся смычком до струн.

Страстная, словно изнемогающая от муки, полилась мелодия «дойны». Звуки были смуглые, горячие, до краев наполненные печалью. Казалось, из-под смычка лилась струя тяжелого, красного, как кровь, старого и густого вина.

Его скрипка то пела, то выла, как тяжко раненный зверь, то голосила пронзительно и звонко, тоскливо умирая на высоких нотах. И еще порою казалось, что какой-то плененный раб, сидя в неволе, мучительно и сладко поет, словно истязая самого себя воспоминаниями, песню своей несчастной родины.

— Изумительно! — не выдержал я.

— М-да, играть он, конечно, умеет,— задумчиво протянул Петя.— Эти «дойны» остались у них со времен турецкого владычества. Подлинный стон народа.

Владеско принимали горячо и дружно. С разных концов зала публика выкрикивала названия своих любимых пьес, прося сыграть их. Официант уже нес музыканту на серебряном подносе посланную кем-то бутылку шампанского.

— А вот как человек он настоящая скотина! — неожиданно сказал Петя.

— Расскажи мне о нем,— попросил я.

Петя неохотно заговорил.

— Видишь вон ту женщину, у эстрады? — спросил он, указывая на столик, где сидела замеченная мной красивая дама.— Это его жена.

— Ну?

— Когда-то она была знаменитой актрисой... Сильвия Тоска. Ты слышал это имя? Весь мир знал ее. Это была звезда. И какая звезда! Ему до нее было как до неба!

— А теперь?

— Теперь она бросила сцену. Из-за него, конечно. Он ревновал...

— И что же дальше?

— Дальше? Он бьет ее! Да еще при всех! По лицу! Когда пьян или не в духе.

— И никто не заступится?

— Нет. Кому охота вмешиваться в отношения мужа с женой?

— Ну знаешь, ты как хочешь, а я набью ему морду, если он это попробует сделать при мне,— возмутился я.

— И ничему это не поможет. Ведь она же его любит. Понимаешь, любит! Она для него всю жизнь свою поломала.

Отказалась от сцены, имени, богатого мужа, успеха. Он забрал ее бриллианты, деньги, славу, покой душевный. И вот видишь, таскается за ним по всем кабакам мира. Сидит по ночам... ждет его!

Я молчал, взволнованный этим рассказом. Постепенно зал затих.

Владеско играл одну из моих любимейших вещей — «Концерт Сарасате». Это было какое-то колдовство. Временами из-под его пальцев вылетали не присущие скрипке, почти человеческие интонации. Живые и умоляющие, они проникали в самое сердце слушателей. Как лунная голубая дорога, его мелодия властно влекла за собой в какой-то иной мир, мир высоких, невыразимо прекрасных чувств, светлых и чистых, как слезы во сне.

Я не мог отвести глаз от него. Он играл, весь собранный, вытянутый, как струна, до предела напряженный и словно оторвавшийся от земли. Пот градом катился с его лба. Огневые блики гнева, печали, боли и нежности сменялись на суровом лице. Обожженное творческим огнем, оно было вдохновенно и прекрасно.

Он кончил. Буря аплодисментов была ответом. Опустив скрипку, с налитыми кровью глазами, ничего не видя, полуслепой, Владеско уходил с эстрады, даже не кланяясь. Равнодушно и нехотя он возвращался на землю.

Я оглянулся. Сильвия ждала его стоя. В ее огромных зрачках испуганной птицы отразился весь тот заколдованный мир, о котором пела скрипка. Серебряными ручейками по щекам катились слезы.

Владеско подошел к своему столу. Она протянула к нему руки, ничего не видя и не слыша. Сноп красных роз, присланный ей кем-то из поклонников, лежал на столе. Он сбросил его на пол и упал в кресло.

Большим шелковым платком Сильвия отирала пот с его лица. Постепенно оно принимало обычное выражение...

— Да...— мечтательно сказал Петя, улыбаясь куда-то в пространство.— Но когда он играет концерт Сарасате...

В голове у меня бешено крутились строчки.

Так родилась песня...

Прошло года три. За это время я успел побывать во многих странах. Пел в Александрии, Бейруте, в Палестине. Был в Африке, где снимался в кинофильме.

В этот сезон я начал свое концертное турне с Германии. Первые гастроли были назначены в Берлине. В прекрасном и большом «Блютнер-зале», отделанном палисандровым деревом и звучащем, как резонатор виолончели, петь было приятно и интересно.

В моей программе было много новых вещей. Был в ней и «Концерт Сарасате», как я назвал песню, рожденную в Черновицах. Песня имела успех. Ее уже знали.

В день концерта у меня в отеле появился Петя Барац. Он был в Берлине проездом, направляясь в Дрезден. Мы разговорились.

— Знаешь, кто тут играет в Эден-Отеле? — неожиданно вспомнив, спросил он.

— Кто?

— Владеско. Помнишь, тот? Я слушал его вчера и сказал ему, между прочим, что ты написал о нем песню.

— Напрасно,— сухо заметил я.— Он не стоит песни.

— Он был страшно заинтригован,— продолжал Петя, словно не слыша моих слов,— и сказал, что сегодня обязательно будет на твоем концерте.

На этом разговор кончился. Мы распрощались до вечера.

Огромный «Блютнер-зал» был переполнен. В этот вечер я был в приподнятом настроении. Перед началом концерта заглянул в дырочку занавеса. Владеско сидел в первом ряду. Рядом с ним в простом и строгом платье сидела Сильвия Тоска.

Владеско раскланивался. Его жирное круглое лицо сияло, как начищенный медный таз на солнце. Он пришел слушать «свою» песню.

«Подожди же! — злорадно и весело подумал я.— Ты у меня еще потанцуешь!»

Ждать ему пришлось долго. «Концерт Сарасате» стоял последним в программе. Владеско слушал внимательно и слегка удивленно. Как артист, редко свободный от кабацкой работы, он, по-видимому, не бывал на концертах других артистов и, кроме самого себя, вероятно, редко кого-нибудь слушал. Всем своим видом и горячими аплодисментами он старался дать мне понять свое удовлетворение от моего искусства.

Но я был сух. Ни улыбкой, ни поклоном не выражал ему никаких своих симпатий или благодарности. «Подожди, подожди!»

Весь концерт я пел, стоя точно посреди эстрады, но, когда дошел до последней песни, я назвал ее, демонстративно резко перешел на правый конец эстрады и остановился прямо против его места в первом ряду. Аккомпаниатор сыграл вступление, я начал:

Ваш любовник скрипач. Он седой
и горбатый,
Он вас дико ревнует, не любит
и бьет.

Но когда он играет «Концерт
Сарасате»,
Ваше сердце, как птица, летит
и поет...

Я пел, глядя в упор то в его глаза, то в глаза Сильвии. Владеско слушал в смертельном испуге. Глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит. Он весь как-то съежился, почти вдавившись в глубь кресла.

Он вас скомкал, сломал, обокрал,
обезличил...

Слова били, как пощечины. Он прятал лицо, отворачивался от них, пытался закрыться программкой, но они настигали его — жесткие, точные и неумолимые, предназначенные только ему, усиленные моим гневом, темпераментом и силой интонаций...

И когда вы, страдая от ласк
хамоватых,
Тихо плачете где-то в углу,
не дыша,—
Он играет для вас свой «Концерт
Сарасате»,
От которого кровью зальется
душа!

— А-а-а-а! — сквозь песню донеслось до меня.— А-а-а-а! — Он стонал от ярости и боли, уже не владея собой, закрыв лицо руками.

Я допевал песню:

Безобразной, ненужной, больной
и брюхатой,
Ненавидя его, презирая себя,
Вы прощаете все за «Концерт
Сарасате»,
Исступленно, безумно и больно
любя!

Мои руки, повторявшие движения пальцев скрипача, упали. В каком-то внезапном озарении я бросил наземь воображаемую скрипку и в бешенстве наступил на нее ногой.

Зал грохнул, точно почувствовав, что сейчас уже не концерт, а суд, публичная казнь, возмездие, от которого некуда деться, как на лобном месте.

Толпа неистовствовала. Стучали ногами, кричали, свистели и ломились стеной к эстраде.

У него даже не было сил подняться.

За кулисами уборная моя была полна людей. Друзья, знакомые и незнакомые, актеры и актрисы, музыканты и журналисты и просто люди из публики заполняли ее.

Я едва успел опуститься в кресло, как в дверях показалась фигура Владеско. Он шел на меня вслепую, ничего не видя вокруг, разъяренным медведем, наступая на ноги окружающим и расталкивая публику. Все замерли. «Сейчас будет что-то ужасное!» — мелькнуло у меня. Я встал.

Одну минуту мы стояли друг против друга, как два зверя, приготовившихся к смертельной схватке. Он смотрел мне в лицо широко открытыми глазами, белыми от ярости, и тяжко дышал. Это длилось всего несколько секунд. Потом... Что-то дрогнуло в нем. Гримаса боли сверху донизу прорезала его лицо.

— Вы убили меня! Убили...— бормотал он, задыхаясь. Руки его тряслись, губы дрожали. Его бешено колотила нервная дрожь.— Я знал... Я понял... Я... Но я не буду! Слышите? Не буду! — внезапно и отчаянно крикнул он.

Слезы ручьем текли из его глаз. Дико озираясь вокруг, он точно искал, чем бы поклясться.

— Плюньте мне в глаза! А? Слышите? Плюньте! Сейчас же! Мне будет легче!

И вдруг, точно сломившись, он упал в кресло и зарыдал.

Польша

К этой стране у меня всегда была какая-то нежность. Может быть, потому, что в моих жилах, несомненно, течет некоторая доза польской крови. Людей с моей фамилией я в России не встречал. Зато в Польше она попадалась мне более или менее часто. Правда, там она произносится иначе. Поляки говорят: «Пан Вертыньский» или «Пан Верцинский». Но это уже вопрос произношения. Какой-нибудь прадед у меня, наверное, был поляком. Кроме того, Россия и Польша издавна связаны острым взаимным интересом. Адам Мицкевич, Шопен, Венявский, Генрих Сенкевич, Пшибышевский оказали большое влияние на русскую литературу и музыку. Польские артисты Дыгас, Орда, Кавецкая, Невяровская, Щавинский были у нас в большом фаворе. В русских гвардейских полках служило много поляков, многие

польские блюда крепко вошли в обиход нашей российской кухни, а польские женщины считались у нас самыми интересными женщинами, и поэт Константин Бальмонт писал о них:

Нежнее, чем
польская панна —
И значит — нежнее всего...

Вот со всей этой подготовкой я приехал в Польшу. Сразу тепло принятый и публикой, и прессой, я пришел в себя, вздохнул полной грудью в родственной нам славянской стране.

Конечно, писать о своих успехах неудобно, и звучит это всегда как-то по-актерски провинциально, но все же я должен сказать, что принимали меня поляки, что называется, по-царски.

Я приезжал в Польшу несколько лет подряд. Я объехал с концертами почти всю страну. Варшаву, Лодзь, Краков, Познань, Львов, Белосток, Пинск и десятки больших и маленьких городов я объезжал по два-три раза и везде встречал восторженное отношение к своему искусству.

Помню, как один из моих новых польских знакомых с горечью говорил мне:

— Вот видите, пан Вертинский, на концерты наших польских артистов они (то есть публика) так не ходят. А почему?..

Чтобы утешить его, я говорил ему, что когда польские артисты приезжали в Питер или Москву, то билеты также невозможно было достать, и конная полиция разгоняла народ. После того как я написал свою «Пани Ирену», меня окончательно признали.

Влияние России, как старшей славянской сестры, всегда было в Польше огромным. Какие бы счеты у поляков ни были с царской властью, все равно в глубине души почти все они любили Россию.

Я помню, как одна польская дама сказала мне:

— Вот видите — у меня на пальце кольцо. Это медальон с портретом Костюшко. Я ношу его всю жизнь. И я польская патриотка, понимаете? И все-таки, когда я слышу русскую речь, русскую поэзию, русскую музыку, русское пение, я готова плакать от восторга.

Лучшие польские актеры — Стемповский, Антон Фертнер, Цвиклинская, Вальтер, Майдрович, Смосарская, Щавинский — приходили ко мне за кулисы с дружеским, товарищеским приветом. Молодые польские литераторы — Лехонь, Слонимский, Тувим и другие — приняли меня в свое общество и часто

в Старой Земянской кавярне, где собирались они ежедневно, у них наворачивались слезы на глаза, когда я читал им Ахматову, Блока, Анненского.

Единственная оппозиция, которую я встретил в Польше, шла от русских эмигрантов.

В савинковской газете «За свободу» Дмитрий Философов, даже не посетив ни одного моего концерта, «покрыл» меня худым словом. Но русская и польская молодежь, работавшая в этой же газете, горячо заступилась за меня. Началась полемика. Молодежь напирала. Через месяц Философов, вынужденный сдаться, недоуменно спрашивал:

— В чем же дело, господа? Когда большевики посадили в тюрьму патриарха Тихона, все молчали. А когда я осмелился тронуть Вертинского — так подняли такой шум, как будто я оскорбил их в самых лучших чувствах!..

Так оно и было.

Потому что я был с «ними». С теми, кому больно, кому тяжело, кто любит родину и тоскует по ней. Я был с массой. С толпой. Один из умнейших и культурнейших критиков моих, известный писатель-философ Всеволод Иванов, писал обо мне в Шанхае: «Толпа всегда умна, а Вертинский всегда с толпой — поэтому вместе с ней умен и Вертинский».

Да, мое искусство было отражением моей эпохи. Я был микрофоном ее. Я каким-то чутьем отгадывал самое главное, то, что у всех на уме,— ее затаенные мысли, ее желания, верованья. Часто задолго вперед. И когда меня ругали за упаднические настроения, то *вина была не во мне, а в эпохе.* С этих настроений и началось мое творчество. Меня корили ими очень долго разные мелкие и крупные журналисты еще тогда, в предреволюционной Москве, и ругали меня до тех пор, пока не пришел однажды «большой человек» Влас Дорошевич и не написал черным по белому в большой газете того времени — «Русском слове»: «Те упреки, которые бросают Вертинскому, относятся не к нему, а к его слушателям. Вертинский — только зеркало своей эпохи. И нечего пенять на зеркало, коли рожа крива».

Итак, моя «оппозиция» в Польше проиграла.

А поляки вообще недоумевали. За что меня ругает русская газета, если я такой единственный в своем роде русский артист и к тому же их соотечественник? Приходилось долго объяснять, что такое эсэры савинковского лагеря, их отношение к СССР вообще и ко мне, подчеркивающему свои чувства к Союзу, в частности.

Но эта капля яду не отравила моего прекрасного душевного состояния. Польша и ее русское население, истосковавшись по русскому языку и русской музыке, готовы были плакать от любой песни, от любого русского слова, и думаю, что если бы я даже пел в десять раз хуже, чем пел тогда, то все равно имел бы огромный успех. За несколько лет у меня образовался довольно большой круг друзей и почитателей. Радзивиллы, Потоцкие, Чарторийские, Замойские, Белосельские, Плятеры — а вся польская аристократия, когда-то служившая при дворе, обожавшая тогдашний Петербург, не могла еще вытравить из своего сердца воспоминаний о нем и о России. Единая славянская кровь была крепкой спайкой между двумя братскими народами — Польши и России, и как ни ворчали старые польские паны, припоминая давние обиды, как ни хмурились их лбы при первом знакомстве со мной,— стоило мне где-нибудь за столом, за стаканом вина, запеть самую обыкновенную русскую народную песню — и разглаживались морщины, расправлялись усы, зажигались улыбки, зажигались глаза, и часто подпевали мне старые польские паны, мечтательно запрокинув седые головы и вспоминая прошлое.

За эти приезды в Польшу через мою уборную прошли тысячи людей всяких профессий и всех слоев общества. Бывали у меня адвокаты и народные учителя, профессора и рабочие, офицеры и ксендзы, приходили меня послушать чиновники, купцы, помещики.

Евреи, которыми были густо населены Крессы, были моей главной аудиторией. Они раскупали билеты еще задолго до концерта. Все эти люди не довольствовались только моим пребыванием на эстраде, а шли за кулисы — посмотреть, пожать руку русскому артисту, вспомнить о России, как будто через это рукопожатие они соприкасались с ней. И у всех, у каждого было что вспомнить хорошего и светлого о моей родине.

Здесь мне хочется сделать маленькое отступление.

Уже в самом начале своего артистического зарубежного пути я заметил, что в сложившейся ситуации артист, тем более артист с именем, представляющий собой такую большую и такую интересную для всех страну, как Россия, должен быть не только узким профессионалом, а чем-то бо́льшим. Невозможно передать все разнообразие вопросов, на которые приходилось отвечать мне разным людям во время моих скитаний по миру.

О чем только меня не спрашивали! Каких только вопросов мне не задавали! И на все я должен был отвечать. Терпеливо выслушивать абсурднейшие мнения, глупейшие убеждения. Грязная ложь об СССР, которой кормили заграницу эмигрантские газеты, конечно, делала свое дело, и приходилось часто чуть ли не надрывать свой голос, чтобы доказать какому-нибудь иностранцу, что в СССР, к примеру, не едят детей.

Не знаю, поверят ли мне читатели, но в Филадельфии на банкете мне пришлось объяснять одному уважаемому и сильно подвыпившему сенатору, укусившему артистку Комиссаржевскую за грудь, что у нас в СССР кусаться не принято. Он был искренне поражен и огорчен. «Я слышал, что это ваш русский обычай»,— извиняясь, говорил он.

Иностранцы не понимали многого. Англичане, например, не могли себе представить, как можно жаловаться на свою родину. Для них это было невероятным шокингом.

— Мы не жалуемся на родину. Мы жалуемся на большевиков,— доказывали эмигранты.

— А что такое большевики? — спрашивали англичане.

— Большевики — это правительство, насильно взявшее власть в свои руки,— отвечали эмигранты, с соответствующими подробностями описывая ужасы большевистского правления.

— У нас в Англии тоже есть оппозиция правительству,— задумчиво говорили англичане,— однако мы никому не жалуемся. Ни на свою родину, ни на свое правительство.

Как-то, потеряв терпение, я в одной из своих песен сказал:

И еще понять беззлобно,
Что свою, пусть злую, мать
Все же как-то неудобно
Вечно в обществе ругать.

Какую бурю возмущения вызвала эта песня! Какой грязью обливали меня газеты!

В польских театрах шли русские пьесы, в журналах, еженедельниках и газетах сплошь и рядом печатались переводы русских авторов, в книжных магазинах было сколько угодно русских поэтов и писателей на польском языке, а когда в варшавской филармонии был объявлен конкурс Шопена, первый приз, да и второй, кажется, взяли русские пианисты, приехавшие из Советской России.

Помню, скрипач и композитор Млынарский говорил мне в фойе во время концерта:

— Мне делается страшно, когда я думаю, какие возможности таятся в русских. Ведь вот я столько раз слышал Шопена, но такого Шопена я еще никогда не слыхал...

А победители — скромные худые юноши — застенчиво кланялись и словно спешили скорей отвязаться от оваций, которыми их награждала публика, и, считая, что так и надо, что ничего тут особенного нет, торопились стушеваться.

В то время Варшава кипела. Магазины были завалены французскими, английскими и немецкими товарами. Великолепные «кавярни» и «цукерни», где подавались пончики и пирожные, были с утра до вечера переполнены нарядными щебечущими польками. В ресторанах подавали все изыски польской кухни, так похожей на русскую, и чего там только не было, вплоть до диких кабанов и медвежьих окороков из Беловежской пущи.

В Варшаве было много военных. Их разнообразная блестящая форма — шпоры, палаши, эполеты — напоминала времена старого Петербурга, Петербурга блестящих гвардейских полков, балов и кутежей, и вообще Польша того времени еще жила по-старинному: мужчины стрелялись на дуэлях из-за женщин, в театрах балеринам и премьершам еще подавали на сцену корзины цветов в рост человека или коробки конфет величиной с ломберный стол, богатые помещики жили за границей три четверти года и проигрывали в Монте-Карло целые состояния. Все это было странно мне, уже отвыкшему от этой ушедшей жизни, на которую и в России, правда, я глазел только издали.

Газеты издавали на самый парижский лад, и было их множество. Депутаты в сейме горячились, кричали и стрелялись порой из-за разницы во взглядах. Польские женщины, томные и нежные, влюбчивые и коварные, кружили головы и молодым, и старым, и нередко можно было слышать, а то и читать в газетах о том, как какой-нибудь родовитый польский магнат женился в шестьдесят лет на восемнадцатилетней балерине или хористке из ревю.

Эмиграция наша в Варшаве была не особенно заметна. Вероятно, потому, что все стремились в Париж и в Польше не задерживались, а может быть, еще и потому, что получить право на проживание в этой стране было необычайно трудно. Во всяком случае, никаких видных фигур не было. Я помню председателя комитета Семенова — добрейшего и безвредного старика, который любил покушать и поиграть в бридж, и еще две-три малозначительные фигуры, фамилий которых я не запомнил.

Газета «За свободу», которую, как я уже говорил, издавал Дмитрий Философов, влачила жалкое существование и, если бы не субсидия правительства, давно бы скончалась. В кафе у «Люрса» внизу, в бильярдной, писатель Арцыбашев ежедневно играл с желающими по нескольку партий и давал большие форы, так как играл он превосходно, но партнера себе найти не мог. По этой причине играл с маркерами. Был он уже стар и почти глух. Приходилось кричать ему в самое ухо.

Встретив меня по приезде, он сказал:

— Читал, что ты теперь замечательно поешь. Приду, приду тебя посмотреть.

Слова «послушать» он так и не сказал. Ибо слышать меня он уже не мог.

На главной площади города разбирали русский православный собор. Собор этот, большой и громоздкий, был воздвигнут при Николае II и занимал самый центр Варшавы. Полякам он мешал, ибо был как бельмо на глазу. Потом на месте собора поставили памятник Понятовскому.

Как-то после концерта мне пришлось познакомиться с одним видным в Польше человеком. Это был Андрей Вержбицкий — депутат сейма и председатель союза промышленников Польши. Этот человек очень много помог мне. Все те трудности, которые чинили власти иностранным артистам в смысле визы на въезд и права работы, были мне значительно облегчены благодаря его вмешательству. Он был искренним любителем русского искусства и отличался широким гостеприимством, как настоящие поляки. На Россию он смотрел, как на старшую сестру Польши, и считал, что у русских надо учиться многому. Он первый поднял вопрос об отправке торгово-промышленной делегации в СССР и сам стал во главе ее. Вернувшись из поездки, он горячо ратовал за сближение двух этих стран. Каждый свой последующий приезд в Польшу я встречался с ним, вел переписку, и наша дружба крепла все более. Однажды у него в доме за ужином я познакомился с нашим послом в Польше П. Л. Войковым. Было очень немного приглашенных, и после ужина Вержбицкий попросил меня спеть. Я с удовольствием согласился. Тут же вызвали пианиста и устроили небольшой концерт. Мне было приятно петь своему, русскому человеку — оттуда, с родины, как будто я пел дома — для своих, русских, на своей земле.

Когда я кончил петь, Войков подошел ко мне.

— Почему, Вертинский, вы не возвращаетесь на родину? — спросил он.

Кое-как, довольно жалко, пустыми, беспомощными словами, страшно волнуясь, я начал что-то сбивчиво и лутано объяснять ему. Объяснять, собственно говоря, было нвчего. И без слов все было ясно.

И Войков понял меня.

— Приходите в консульство — поговорим обо всем и сделаем все, что можно,— сказал он.

У меня сразу стало легко на душе. Это был 1922 год. Я впервые, заполнив соответствующие анкеты, обратился с просьбой разрешить мне вернуться на родину. К моему прошению была приложена еще и личная резолюция посла, составленная вполне благожелательно для меня. Советское правительство в просьбе моей отказало.

Пишу я это для того, чтобы объяснить, как давно осознал я свою ошибку и как давно уже стрвмился ее исправить...

Путешествуя из города в город, я встречался с самыми разнообразными кругами польского общества. От самых левых до самых правых, монархических. Нейтральная маска актера позволяла мне входить в любые двери. Меня не спрашивали о моих убеждениях и не таились от меня. Благодаря этому я многого наслушался и ко всему привык.

Монархисты все же меня удивляли и забавляли отчасти. Все растерявшие, ничего не сохранившие, кроме чванства, снобизма и пустых традиций, никогда не боровшиеся за свое положение, не умевшие его защищать, они были похожи на людей, которыв появились в обществе в полных парадных мундирах, со всеми регалиями, но... без штанов.

Так, по крайней мере, мне казалось.

Сначала польское правительство очень гостеприимно принимало заграничных актеров. Приезжал Баттистини, хор Сикстинской капеллы, Морис Шевалье, приезжала даже негритянская оперетта, приезжали скрипачи, пианисты, пввцы — одно имя чврдовалось с другим, и поляки наполняли театры всех зтих гастролеров. Я лично приезжал в Польшу раза три-четыре за несколько лет, более или менее легко получал визу и «право работы» на два-три месяца. Но постеленно доставать разрешение становилось все труднее. Официальным мотивом отказа было то, что иностранные артисты «вывозят деньги» за границу. Но настоящие причины были иные. Главная — зто Союз артистов польских, который был против: он не хотел конкуренции ни моральной, ни материальной.

— У нас много своих безработных актеров,— говорили

заправилы союза,— которым есть нечего, а мы пускаем иностранцев!

Меня всегда удивляло это, как будто оттого, что польская публика будет лишена возможности послушать Гофмана или Кубёлика, она бросится на помощь безработным артистам и отдаст им деньги, которые собиралась истратить на знаменитостей! Это, конечно, был слабый довод. Но и другая причина играла немалую роль.

— Мы полонизируем наше русское население, а вы его русифицируете,— сказал мне откровенно один большой польский сановник.

Со своей точки зрения он был прав, конечно. Я только напомнил ему о том, что, когда польские актеры приезжали к нам в Россию, мы не боялись, что они «полонизируют» наше население.

Он только рассмеялся.

— Вы сравниваете Россию с Польшей! России вообще нечего и некого бояться!

И с чисто польской любезностью рассыпался в комплиментах мне и моему искусству. Однако визы не дал.

В конце моего пребывания в Польше меня вызвали в министерство иностранных дел, где приходилось брать разрешения. Министр, с которым я был знаком еще по Москве, мой поклонник, в очень деликатной форме дал мне понять, что «по не зависящим от него обстоятельствам» он вынужден просить меня на две недели уехать из Польши.

— Вы можете прожить эти две недели где-нибудь поблизости, в Данциге, например, а потом приезжайте и пойте, сколько вашей душе угодно.

Я был поражен этой странной просьбой и попросил объяснить мне причину.

— Я не могу дать вам никаких объяснений,— уклончиво сказал он.

И никто в городе не мог мне этого объяснить.

Ничего больше не оставалось, как собрать чемоданы и уехать в Данциг, что я и сделал.

Потом все разъяснилось. В Варшаве ждали визита румынского короля. До его приезда из Бухареста прибыл целый штат тайной полиции, чтобы подготовить охрану. Приехавшие сыщики затребовали у полиции списки всех иностранцев, пребывающих в данное время в Польше. Прочтя мое имя, они, очевидно, указали на меня как на «неблагонадежный элемент». И, вероятно, попросили меня на время убрать. Таким образом, рука сигуранцы еще раз дотянулась до меня.

В последний раз я уже не мог добиться визы с правом выступлений и поэтому, подписав в Германии контракт с польским граммофонным обществом «Сирена» на напев моих песен для пластинок, я взял визу в Вену — через Польшу. Моя транзитная польская виза была действительна только на три дня. За эти дни я успел напеть свои песни, повидаться с друзьями, посмотреть Варшаву и ровно через семьдесят два часа уехал в Вену. Но там я пробыл недолго...

Германия

Я приехал в Германию из Польши в 1923 году. Задавленная Версальским договором, загнанная в щель, разбитая, она имела весьма скромный и, я бы сказал, даже томный вид. Немцы, что называется, ходили на цыпочках, стараясь не шуметь, как в доме, где только что умер кто-то. Они были грустны и любезны. И растерянны.

Со свойственной им медлительностью мышления они все еще не могли целиком осознать своего поражения. Все это было для них слишком неожиданным. Разгром армий, бегство кайзера. А главное, с них сняли форму!

Тот, кто не жил в Германии, не знает, что такое для немца военная форма. Это воздух, которым он дышит. Это смысл его существования. И Гитлер, придя к власти, раньше всех захваченных территорий вернул немцам форму! Этим одним, простым, но точно рассчитанным жестом он завоевал сразу все сердца.

В те же времена, о которых я говорю, немцы ходили в штатском. Форма была уничтожена. Бравые прусские юнкера, генералы, полковники и майоры, переодетые в штатское, выглядели как простые лавочники. От всего блестящего прежнего вида у них остался один надменный монокль в левом глазу. Воистину это было тяжкое испытание! А тут еще кайзер. Тот кайзер, которому они молились, как Богу, в духе подчинения и обожания которого они были воспитаны с детства! Демократические правительства вроде штреземановского, созданные в силу необходимости, конечно, никого не устраивали, немцы проливали горькие слезы над портретами Вильгельма, запрятанными подальше от посторонних взглядов. Каждый год в день его рождения миллионы открыток с поздравлениями отсылались в Голлан-

дию, в Дорн, и оттуда неизменно присылались обратно открытки с благодарностью за поздравления, напечатанные с одинаковым для всех текстом за его подписью.

Немцы были на распутье. Привыкшие повиноваться, тянуться и подчиняться, они, предоставленные самим себе, потерявшие «палку» над собой, в которую они слепо верили, растерялись до такой степени, что вызывали жалость у некоторых сердобольных людей. Они выглядели как стадо овец, выпущенных из темного хлева прямо на солнце.

Этот период оцепенения длился довольно долго. Немцы зализывали раны. За время войны они отвыкли от многого и еще долго продолжали жить по указанному когда-то ранжиру. Они обеднели, обнищали и привыкли к полуголодному существованию. Поэтому обыкновенная, скромная жизнь иностранцев казалась им безумной роскошью и расточительностью. Волна наших русских эмигрантов, нахлынувшая в Берлин, была первым вестником пробуждения для них.

«Ферфлюхтер ауслендер!» — проклятый иностранец! — слышалось на каждом шагу в трамваях, автобусах и магазинах, злобные взгляды обшаривали вас с головы до ног: немцы считали иностранцев виновниками своего падения и бессильно шипели от злобы и ненависти к ним. Я помню, как моя квартирная хозяйка написала на меня донос в «Полицай-Президиум» за то, что я ежедневно покупал к ужину четверть фунта ветчины...

Но постепенно, одичавшие за время войны, они стали приходить в себя и брать пример с тех же иностранцев, особенно с нас, русских. Огромные немецкие фрау, все эти легендарные Кунигунды и Брунгильды, точно сошедшие со стопудовых чугунных памятников, с достоинством носили зеленые юбки, перешитые из старых охотничьих штанов своих повелителей. Их церемонные, долговязые и белобрысые дочери стыдливо кутались в хилые горжеточки из «катценпельце» — кошачьего меха, который в то время считался большим люксом. Немецкие портные, привыкшие за время войны шить только кавалерийские и армейские шинели, одевали своих граждан в костюмы и пальто какого-то невообразимого маршировочного типа.

Мой первый берлинский портной Штехбарт на Таунценштрассе, у которого я заказал синее пальто из самого лучшего материала, сшил мне такую долгополую прусскую шинель, что я долго разглядывал себя в зеркало и никак не мог понять, почему ни одна шляпа не подходит этому пальто.

Сомнения мои разъяснились только тогда, когда однажды, во время сотой переделки, я взял с камина лежавшую на нем стальную немецкую каску и надел на голову. Тут все стало ясно. В зеркале на меня глядел великолепный прусский жандарм! Этот же портной с гордостью показывал мне теплый жилет на собачьем меху, заказанный любящей женой берлинского бургомистра в качестве рождественского подарка своему высокопоставленному мужу.

Наши неунывающие русские эмигрантские дамы сразу стали учить немок, как одеваться. Понавезя из России чернобурых лисиц, соболей, шеншилей, норок, белок и других мехов, они частью пооткрывали салоны мод, учтя ситуацию, частью просто задавали тон, проживая остатки вывезенных средств. Немки потянулись за ними, а за женщинами потянулись и мужчины.

Открылись пути сообщения с Францией, Англией. Появились туристы... Немцы из грозных львов перестригались в мирных домашних пуделей. Шаг за шагом внешний казарменно-военный облик жителей вильгельмовской Германии исчезал, уступая место обычному штатскому облику людей средней Европы.

Я жил тогда в Берлине. Только что закончив длительное турне по Польше, я готовил свое следующее турне по Германии. Русских везде было много: и в Дрездене, и в Данциге, и в Мюнхене, и в Кенигсберге. Пел я, конечно, только в расчете на русскую публику и недостатка в ней не имел. На чужбине, соскучившись по всему родному, она была ко мне исключительно внимательна и радушна.

Приблизительно в этом же 23-м или 24-м году началась инфляция. Это была жуткая картина послевоенной экономической катастрофы. Немецкая марка катилась вниз с молниеносной быстротой. Настоящий «блиц-крах» Германии! Удержать ее не могли никакие силы, ни земные, ни небесные.

Немцы окончательно растерялись. Началась паника. Массовые самоубийства охватили Германию. Ловкие спекулянты скупали дома целыми кварталами, и немцы, как слепые, продавали их за ничего не стоящие миллионы, которые через несколько дней оказывались простыми бумажками. Огромные универсальные магазины, такие, как «Ка-Де-Ве», например, оказывались очищенными от товаров в одно утро. А к вечеру марка падала вниз на сто пунктов, и то, что было продано магазином за сто марок, нельзя было уже купить за тысячу.

Пока немецкое сознание переваривало все это, тысячи людей, главным образом иностранцев, конечно, заработали безумные деньги. Один только мой знакомый, одесский коммерсант Илья Гепнер, имевший в кармане всего-навсего одну тысячу американских долларов, умудрился купить шесть домов и огромный «Луна-Парк» в Берлине.

Когда немцы наконец поняли, в чем дело, было уже поздно. Три четверти из них были разорены.

Так начались первые годы их послевоенного существования.

Берлин был весь покрыт сетью маленьких киосков, напоминавших лимонадные будочки. Из крошечных окошечек видны были только руки. Иногда это были большие, волосатые, иногда сухие, жилистые, часто смуглые. Над будочками красовалась надпись: «Вексельштубе». Это были менялки. Лавочки, где торговали деньгами. Потные, запыхавшиеся люди подлетали к окошечку, хрипло бросали несколько слов, из маленьких и больших чемоданчиков выбрасывали на прилавок целые кучи денег, перевязанных в пачки, и получали в обмен зеленые американские доллары. Или наоборот, разменяв одну десятидолларовую бумажку, получали из окошечка целый чемодан марок. Знаменитый петербургский спекулянт, «банкир» Дмитрий Рубинштейн говорил мне с отеческой нежностью в голосе:

— Хотите посмотреть моего ребенка?

Особого желания у меня не было. Но, чтобы не огорчать отца, я согласился. Мы стояли около сквера.

— Ваш ребенок здесь? — спросил я, указывая на толпу игравших детей.

Рубинштейн снисходительно улыбнулся.

— О, нет. Он у меня уже большой. Ему уже семнадцать лет. Это будущий гений. Да. Чтобы вы знали! Сегодня день его рождения. Я подарил ему это...— Он указал рукой на деревянный киоск с надписью «Вексельштубе».— Пусть ребенок приучается. У него такие способности! Скоро отца за пояс заткнет!..

Мы подошли к менялке. Оттуда выглядывало жирное молочно-розовое лицо, напоминавшее свежераспаренный человеческий зад. Пухлые руки с обкусанными ногтями лежали на прилавке. Плотоядный чувственный рот снисходительно улыбался.

— Уходи, уходи, папаша. Ты мне мешаешь работать! — строго прикрикнул на отца «ребенок». Мы отошли на цыпочках в благоговейном молчании.

Еда в Германии необыкновенно тяжелая. Немецкие меню не блещут разнообразием. Главным блюдом в них является свинина. В любых сочетаниях, под разными соусами, будь то сосиски, колбасы, окорока, котлеты или просто зажаренная нога — но всегда свинина. Есть еще гусь, но зто уже считается роскошью и подается только на Рождество. Рыбы немцы не любят, зато картофель их национальная еда. Его подают ко всякому блюду и в неограниченном количестве.

Приезжая в Германию, после французской разнообразной и интересной кухни я положительно ничего не мог есть, кроме сосисок, которые, конечно, немцы делают непревзойденно. Запивается все зто неизмеримым количеством пива, которое тоже превосходного качества.

У немцев есть Рейн, который дает первые в мире по качеству, знаменитые рейнские белые вина, с которыми не могут соперничать даже лучшие вина Франции.

Но немцы не любят вина. Они пьют пиво. А вино идет на зкспорт. Огромные пивные дворцы в четыре-пять зтажей, выстроенные во всех концах города, вмещают тысячи посетителей, но не могут вместить всего количества посещающих их. В каждом этаже играет отдельный оркестр. Вся эта публика пьет только пиво. Интересны и мужские уборные при них. Это целые дворцы из кафеля и мрамора с высокими потолками. Все — для удобства пивных клиентов. Директор такой уборной, полный достоинства толстый немец в наглухо застегнутом черном сюртуке и крахмальном воротнике с черным галстуком, встречает вас у двери, величественный, как губернатор на дворянском балу. Во рту его неизбежная сигара, на устах играет снисходительная улыбка.

Едят немцы много и жирно. Напиваются тяжело и мрачно. Одно блюдо из их меню, помню, приводило меня прямо в ужас. Это так называемый «айсбайн» — огромная воловья нога, отваренная в супе, которая подается целиком, как она есть. Я, помню, задрожал, впервые увидев, как ее едят. Сперва с ней справляются ножом и вилкой, срезая с нее мясо и жир. Потом зту огромную мосалыгу берут в обе руки и начинают обгрызать. Настоящий обед каннибалов!..

Была, правда, еще одна причина, по которой нас с Мозжухиным тошнило от зтого блюда. В то время в Германии только что закончился процесс знаменитого Гартмана — преступника, который совершил целый ряд убийств, оставаясь неуловимым. Его жертв не могли даже сыскать. Они исчезали бесследно. Вся полиция Германии была поставлена на ноги.

Если не ошибаюсь, он был известен под кличкой «Дюссельдорфский убийца». В конце концов его, конечно, нашли. Очень нескоро, правда. За ним был счет в несколько десятков человек. Оказалось, что он заманивал жертву, убивал ее, потом варил, солил и ел. В его доме, в подвале, нашли бочонки с человеческим мясом, засоленным хозяйственно впрок на всю зиму.

Русская эмиграция не особенно задерживалась в Германии, во-первых, потому что рядом был Париж, к которому издавна влекло русские сердца, а во-вторых, потому, что германская валюта была после инфляции стабилизована довольно высоко. За один американский доллар давали только 4 1/2 рентенмарки. Жизнь была дорога. Поэтому все стремились во Францию, где жизнь была и дешевле, и легче. Немцы неохотно принимали к себе на работу русских. Они были шовинистически настроены и по отношению к нам не проявляли никакого гостеприимства или симпатии.

Эмигранты, имевшие деньги, пооткрывали кафе, салоны мод и мехов, рестораны. И потихоньку отучали немцев, засидевшихся на военной диете, от маргарина, от эрзацев, от дурного вкуса.

Кое-кто из молодежи поступил в германские университеты. Единственным печатным органом эмиграции была кадетская газетка «Руль», редактируемая и издаваемая бывшим членом Государственной думы Набоковым, в которой, конечно, утешали эмиграцию, ругали большевиков, предсказывая их скорый конец. В газетке печатал свои ядовитые материалы Сергей Яблоновский, брызжущий слюной по всякому поводу и без него, и помещал стихи сын Набокова — небезызвестный ныне беллетрист Сирин. Кроме русских объявлений о борщах, пирожках и пельменях, ничего примечательного в ней не было. Газетка эта вскоре скончалась за отсутствием читателей и писателей.

Иногда Берлин баловали своими гастролями Шаляпин, Карсавина или Асаф Месерер, проездом из СССР дававший несколько незабываемых вечеров своих балетных выступлений.

В берлинских кафе играли румынские скрипачи нашей питерской выучки — все эти знаменитые в свое время Ильеско, Гулеско, Ницца Кодолбан, Жорж Буланже и другие. Этим все и ограничивалось. Колония наша была не очень многочисленна.

Когда из тумана воспоминаний встает какая-нибудь страна, то она в перспективе лет приобретает всегда какие-то формы и очертания. Так, Франция представляется чем-то легким, ажурным, каким-то кружевом, сотканным причудливым узором из славных имен, которые творили французскую литературу, искусство, науку,— имен людей, поднявших высоко над миром факел идей, в свете которых свыше столетия жило все прогрессивное человечество.

Когда я думаю о Германии, я вижу огромную серую необтесанную глыбу угловатых форм. На этой глыбе — меч, острием устремленный на восток, а под ним роковые слова: «Немецкий меч добудет землю для немецкого плуга». А под этой глыбой лежат распластанные имена немецких мыслителей.

И все же было бы несправедливостью сказать, что все население этой страны разделяло эти захватнические планы относительно России. Некоторая часть населения с большим интересом и даже с симпатией следила за стройкой в СССР. Немецкий народ в массе не только не хотел войны с нами, памятуя заветы Бисмарка и прежние уроки, но некоторые, более культурные немцы даже хотели учиться на русском опыте. Они охотно вступали в беседы с нами. Вопросы сыпались как из рога изобилия.

Причина этому была ясна. Немецкие и австрийские инженеры и технические работники, возвращавшиеся из Советской России по окончании своих контрактов, рассказывая о том, какие колоссальные стройки происходят там, невольно сеяли большие симпатии к нашей родине.

— Русские,— говорили они,— хоть, может быть, и большие фантазеры и мечтатели, но не в меньшей мере и энтузиасты. И оптимисты, влюбленные в свою страну, в свои пятилетки. СССР стремится догнать и перегнать Америку!

И они беспомощно разводили руками: что, мол, с этим поделаешь!

Коммунистическая партия была довольно значительно представлена в Германии. Я сам помню разрешенную правительством демонстрацию коммунистов, которая шла по Унтер-ден-Линден в течение двух часов шеренгами по четыре человека в ряд.

Но постепенно немцы приходили в себя. На дверях магазинов уже появились объявления, что товар продается по курсу американского доллара в немецкой валюте. Но и здесь

немцы не успевали, потому что курс менялся каждые полчаса, и пока вы, нарочно задерживая расплату, топтались у кассы, вычисленные магазином марки падали, и товар обходился вам почти даром. Вы посылали разменять 10 долларов, и менялка платила вам за них такую сумму марок, которая делала вашу покупку в десять раз дешевле того, что высчитывал магазин.

Немецкие хозяйки рыдали в жилеты своих квартирантов, умоляя о прибавках. Их слезы трогали сердобольные сердца наших русских эмигрантов. Каюсь. Мне их было тоже жаль.

Постепенно инфляция замирала. Немцы придумали рейхсмарку. Чем была гарантирована новая валюта, я, откровенно говоря, не знаю. Во всяком случае, легче жить не стало. Немцам в особенности. Квартирные хозяйки еще долгое время жили впроголодь, питаясь своими знаменитыми «штулле» — сухими бутербродами из хлеба, помазанного маргарином. Женщина в немецкой семье вообще играла очень небольшую и строго ограниченную роль. Женщина Германии должна знать три «К»:

— Киндер!

— Кюхе!

— Кирхе!

То есь детей, кухню и церковь. Диапазон, как видите, небольшой.

По воскресеньям по дороге к Тиргартену можно было наблюдать много немецких семейств, направляющихся на прогулку в Ванзее или куда-нибудь в другое место. Картина всегда была одна и та же. Шел муж — глава семьи с огромной и вонючей сигарой во рту, заложив руки в карманы. Впереди него бежали ребятишки, а сзади плелась навьюченная, как верблюд, жена. На ее плечах был тяжелый рюкзак с провизией, а в руках она несла еще что-нибудь вроде летней палатки. Все это было в порядке вещей.

Дома, в свободное от работы время, немки вязали. Вязали до отупения. Я уже не говорю о различных «набрюшниках», «напульсниках», «митенках», перчатках, носках, шарфах и прочем. Они вязали неисчислимое количество всяких салфеточек, подставочек, колпачков на чайники, кофейники, подстаканники. Вся мебель в любой немецкой квартире была завалена этими вязаными тряпочками. Куда бы вы ни сели, куда бы вы ни положили руку, везде вы натыкались на квадратики, кружочки, полосочки, вывязанные тщательно, с затейливыми узорами и разводами.

В этом было невероятное мещанство. Вас точно предупреждали: «Осторожнее! Не просидите! Не капните! Не насорите!..» Даже на зубочистки они вязали гарусные чехольчики. Все это разводило в комнате страшную пыль, как и всякое тряпье, наваленное без меры. Они вязали подставочки буквально подо все: под бутылки, под рюмки, под подсвечники, под ночные горшки, под пепельницы и под... Можно было сойти с ума от количества этих вязаных кружочков.

Любая из этих вязальщиц-хозяек была хуже сыщика. Они шпионили за своими жильцами, как тюремные надзиратели за арестантами. Если у вас в комнате был, например, диван и вы имели привычку сидеть в его правом углу, то вы находили записку хозяйки, где она просила вас переменить угол и сидеть в левом, чтобы просиживать диван равномерно.

Помню, в Данциге у одной хозяйки, у которой я снимал комнату, было такое множество всех этих мелких рукоделий, что в доме не имелось буквально ни одного необвязанного предмета. А самое центральное место занимал огромный красный петух для согревания кофейника, связанный из гаруса. Больше обвязывать было категорически нечего.

Однажды, вернувшись домой, я несказанно удивился, заметив, что моя хозяйка вяжет новый колпак на кофейник, но только еще больших размеров.

— Фрау Штрумфе,— вежливо спросил я,— зачем же вы вяжете новый колпак, ведь старый еще очень хорошо выглядит?..

Хозяйка удивленно взглянула на меня через очки.

— Это не колпак,— строго сказала она.— Это бюстгальтер...

Я чуть не упал в обморок.

У одного малоизвестного французского писателя времен послереволюционных, который писал никому не нужные трагедии, была корзина, в которую он складывал все, что записывал за день. Так как он вращался в самых разнообразных кругах французского общества, то его записи оказались необыкновенно интересными. Во всяком случае, много интереснее его трагедий. Имя его Шанфор.

Так вот, среди этих записей есть такая:

«Мсье Х. по возвращении из Германии сказал: «Я не знаю, на что я был бы менее способен, чем быть немцем...»

Стать немцем нельзя, им нужно родиться. Есть, например, люди, которые очень легко ассимилируются в любой стране. Разве вам не приходилось встречать, скажем, русского, который долго жил во Франции, и, наблюдая его в непосредственной близости, иногда думать о нем: «Он стал совершенным французом». Или — какого-нибудь обрусевшего англичанинв, который совершенно ничем не выдавал своего английского происхождения, и вы невольно думали о нем: «А он совсем уже стал русским...»

Так вот немцем никогда нельзя стать! Этв нация имеет такие, свойственные только ей одной, черты характера, которые не могут быть благоприобретены. С ними рождаются. Прежде всего у них в крови дух безропотного подчинения начальству, букве звкона. Каков бы этот закон ни был.

Я помню, один европейский дипломат рассказывал мне, что во время немецкой революции, которая вспыхнула после проигранной войны, он жил в Берлине, в отеле «Адлон». Отель этот выходил окнами в Тиргартен — большой парк-лес в центре города, вроде парижского Булонского леса. Он наблюдал из окон своих апартаментов, как войска, выстроенные в каре посреди аллеи, дали первый залп по толпе бунтовщиков... Немцы дрогнули и побежали. Перед ними расстилались большие пространства газонов, за которыми был лес, где легко можно укрыться от огня. Но немцы побежали в другую сторону по... дорожкам, потому что на газонах стояли надписи: «Verboten!» — Запрещено!

Помню, как-то я снимался в Берлине для одного фильма. У меня был годовой контракт с фирмой. Ежедневно в течение года, аккуратно в 8 часов утра, я приезжал на съемку в ателье. Ежедневно я показывал свой пропуск в контрольной будке одному и тому же сторожу, который, естественно, знал меня как облупленного. Однажды я забыл свой пропуск в кармане другого пиджака и приехал без него. Сторож не пустил меня, потому что в конторе висело объявление: «Без пропусков вход запрещен».

Опять «Verboten!». А меня ждали в ателье режиссер, актеры и пятитысячная толпа статистов, которые получали по пять марок в час. Напрасно я пытался объяснить сторожу, что звдержка принесет убыток в несколько тысяч марок. Он был непреклонен. Прошел целый час, пока послали за режиссером, отыскали кого нужно в этом фильмовом городке и, оформив все, принесли новый пропуск. Фирма заплатила за эту звдержку 25 тысяч марок.

Такова сила преклонения немцев перед параграфом устава.

Берлин — тяжелый город. Как и все немецкие города, впрочем. В его архитектуре есть какая-то страшная мертвая одинаковость. Дома — как фибровые чемоданы. Вывески магазинов написаны одними и теми же шрифтами, витрины похожи одна на другую, как пара ботинок.

Возьмите любую улицу в Берлине, на которой вы живете, допустим, пять-шесть лет. И вот однажды пьяным вас привозят в такси и оставляют совсем на другой улице и в другом конце города... Вам обязательно покажется, что это ваша улица.

Если не считать Курфюрстендам, в Берлине все улицы как одна. И памятники тоже. В немецком искусстве мало полета. Все представления немца о красоте тесно связаны с удобствами и земными благами. Я убежден, что если ему снится рай, то обязательно в виде деревьев, увешанных гроздьями сосисок, и фонтанов, бьющих пивом, спрятанных в прохладной тени дерев. Исконный германский милитаризм прежде всего отразился на памятниках. Целые аллеи в Тиргартене заставлены памятниками кайзеров и генералов в самых пышных военных позах.

В Берлине я не видал ни одного памятника штатскому человеку. Если они и есть, то их не видно. Они растворяются в общем количестве фельдфебельских монументов.

Берлин переполнен безвкусными вещами. По чьей-то инициативе был даже создан особый «Музей безвкусия». В этом музее собрана масса всякого рода скульптуры, живописи и вещей домашнего обихода, которыми немцы украшают свой быт. Я видел этот музей. Это — потрясающее зрелище мещанской роскоши, обывательского понятия о красоте и эстетике. Невозможно описать всех этих голых красавиц в виде статуэток, раскрашенных в лилово-желтые тона, всех этих адово-красных мефистофелей и картинок из «красивой римской жизни». В каждой обывательской семье вы видели все, что было на выставке. Немецкий вкус тяжел и ужасен. Он во всем: в манере одеваться, обставлять свои дома, в еде, в развлечениях, в юморе. Надо долго жить в Германии, чтобы привыкнуть к этой стране.

В конце 1932 года я вновь приехал в Берлин — напевать граммофонные пластинки. У меня был контракт с концерном «Карл Линдштрем» для «Одеона» и «Парлофона», который закончился в этом году, и мне предложили его возобновить.

Это был момент прихода Гитлера к власти. Весь город увесили огромными полотнищами флагов со свастикой. По

улицам непрерывным потоком маршировали процессии молодых людей в новенькой коричневой форме с повязками на руке. Вид у них был самый решительный и заправски военный. Они лихо козыряли друг другу и, подымая руку, салютовали: «Хайль Гитлер!». Обыватели испуганно смотрели на их револьверы и опасливо покачивали головой.

— Оружие-то зачем же давать такой молодежи? — недоуменно говорили они полушепотом.

Но рассуждать уже было поздно. Молодые люди ходили по улицам, наклеивая плакаты на еврейские магазины и устанавливая патрули около них с призывами не покупать ничего у «юде». Они заходили в рестораны и кафе, выбрасывая на улицу мирно сидящих людей.

Начиналась паника. Все, кто мог, бросились бежать из Берлина. Билеты на заграничные поезда были моментально раскуплены. Магазины спешно ликвидировались и закрывались.

Я приехал с намерением дать несколько обычных своих осенних концертов, но это уже не имело никакого смысла.

Приехав на граммофонную фабрику, я застал там нациста с револьвером в кабинете дирекции. Все двенадцать директоров этого огромного концерна уже бежали. Нацист, покачивая ногой в новом лаковом сапоге, презрительно щурясь, заявил мне, что никаких иностранных артистов им не надо, что у них есть достаточно своих, и подозрительно спросил, не еврей ли я случайно. Получив заверение в моем русском происхождении, он успокоился и немного сбавил тон.

— Вы можете подать в суд, если у вас есть контракт,— посоветовал он.— Мы заставим этих «юде» заплатить вам все, что следует!

Я поблагодарил его за совет и откланялся.

Делать, очевидно, было нечего.

Приблизительно дня через три после моего приезда ко мне в пансион-отель пришла несколько странная делегация. Состояла она из трех-четырех дам и такого же количества мужчин.

Меня ждали в холле. Фамилии, которые мне назвали при представлении, были явно балтийско-немецкого происхождения. Трое из них оказались баронами, остальные — графини и баронессы. К сожалению, фамилии я позабыл, моя память, на которую я не могу особенно жаловаться, на этот раз мне изменила.

Предложив им сесть, я осведомился о причине посещения.

Дамы начали с комплиментов моему искусству и популярности, сделав, так сказать, «артиллерийскую подготовку». Затем началась атака. Слово было дано представителям сильного пола. Один из баронов, протерев очки и тщательно рассматривая свои холеные руки в родовых дворянских кольцах с гербами, осторожно подыскивая слова, стал излагать мне цель визита.

Дело, оказывается, было в том, что по примеру национал-социалистской партии они решили объединить здесь, в Германии, всех «национально мыслящих» русских людей, создать что-то вроде союза или «русского отдела» этой партии.

Правительство сочувственно отнеслось к этой идее и уже отвело им целый дом на какой-то «штрассе», обещая в дальнейшем субсидировать организацию.

— Дом шестиэтажный, с чудными квартирками! — не выдержав вставила одна из баронесс.

— Уже утвержден даже проект формы! — добавила другая.

— Мы будем иметь казачьи фуражки, но только общего коричневого цвета, и такие же, как у всех наци, рубашки. И повязку со знаком свастики на левой руке!

Я ничего не понимал.

— Но, простите, чем я могу быть вам полезен? — спросил я.

— Немного терпения! Сейчас вам все станет ясно.

Высокий худой барон закурил сигарету и, пододвинув к себе пепельницу, чуть-чуть улыбаясь, медленно и терпеливо стал объяснять мне:

— У нас, понимаете ли, есть некоторые препятствия... то есть... вернее... затруднения... в этом направлении. Нам нужно имя... То есть, я хочу сказать, нам нужен человек с именем, который был бы известен всей нашей русской публике и в то же время репутация которого была бы, так сказать, не запятнана. Ну... нейтральный, что ли,— пояснил он.

Я начал понимать.

— И что же, у вас в Берлине не нашлось ни одного человека с «незапятнанной» репутацией? — не выдержав, спросил я.

Барон неопределенно развел руками.

— Очень трудно найти подходящее лицо,— уклончиво ответил он.— Различие взглядов... Политическое прошлое.. Возникают возражения!

— Ваше имя нас устраивает... Вы, так сказать, достаточно лояльны и из другого мира! — поддержал другой барон.

— Чего же вы от меня хотите конкретно? — спросил я.

Бароны переглянулись.

— Мы предлагаем вам возглавить наш союз,— твердо сказал один из них.

Тут наперебой заговорили дамы.

— У вас будет чудная квартирка. Мы отведем вам бельэтаж!

— Весь этот дом наш!

— Работы особенно никакой не будет!

— Просто подписывать несколько бумаг в день, и все!..

— Ну, и официальное представительство, так сказать! — добавил один из баронов.

Я уже все понял.

Они искали дурака — это было ясно.

Вот эту честь они и решили предложить мне.

Едва сдерживаясь, чтоб не рассмеяться, я поблагодарил их и встал.

Бароны тоже поднялись.

— Я советую вам подумать над этим. Это будет для вас и полезно, и приятно в одно и то же время! — сказал один из них.

Нотка угрозы едва уловимо прозвучала в этих словах.

— И это нисколько не помешает вашей артистической деятельности,— добавил другой.

— Разрешите мне дать вам ответ в пятницу! — попросил я.

Бароны молча поклонились. После их ухода я упал в кресло и стал хохотать, обдумывая, какой анекдот я сделаю из этого разговора и как я буду его рассказывать моим приятелям в Париже.

Потом взял телефонную книгу, позвонил в бюро и заказал себе билет на парижский экспресс.

В ту же ночь я покинул Берлин.

Франция

Собственно говоря, моя Франция — это один Париж, но зато один Париж — это вся Франция! Так могу сказать я, прожив в этой прекрасной стране почти десять лет. Я любил Францию искренне, как почти всякий, кто долго жил в ней. Париж покорял всех, покорил и меня. Его нельзя было не

любить, так же как нельзя забыть его или предпочесть ему другой город. Объездив многие города Европы, побывав в Америке и других частях света, я до сих пор не знаю равного ему места на земле. Нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно, как именно в Париже. Тут нетрудно было освоиться, найти работу. В этом многомиллионном городе никому не было ровно никакого дела до вашей личной жизни. Когда вам везло — это было замечательно. Это был город, где человеческая личность и ее свобода чтится и уважается.

В смысле средств к жизни, к существованию тоже было неплохо. Обессиленная продолжительной войной Франция нуждалась в мужском труде, ибо война унесла многих ее сынов в могилу. Мужские руки ценились. Десятки тысяч русских эмигрантов работали на заводах Рено, Ситроена, Пежо и других. Много людей «сели на землю» и занимались сельским хозяйством — и собственным, если были средства, и чужим, если приходилось наниматься.

Всего во Франции русских было, вероятно, тысяч двести-триста. В Париже нас было тысяч восемьдесят. Но мы как-то не мозолили глаза. В этом колоссальном городе мы растворялись как капля в море. Через какой-нибудь год мы уже считали себя настоящими парижанами. Мы говорили по-французски, знали все, что творится вокруг нас, всюду работали с французами бок о бок и старались подражать им во многом. Правда, у нас был и свой быт: свои церкви, клубы, библиотеки, театры. Были свои рестораны, магазины, дела, делишки. Но это для общения, для взаимной поддержки, чтобы не потеряться в этой стране. В душе же каждый считал себя европейцем и парижанином. Снимали «гарсоньеры» и мансарды, устраивались по-мелко- и крупнобуржуазному, ссорились с консьержками, приглашали друг друга — не к себе в дом (как на родине), а обязательно в ресторан к Прюнье или в кабачки на Сене, ежедневно совершали прогулки в Булонском лесу (с собачками и без собак), пили до двенадцати дня различные аперитивы.

Весь Монмартр кишел русскими. Вся эта публика группировалась около ресторанов и ночных дансингов. Одни служили гарсонами, другие метрдотелями, третьи на кухне мыли посуду и т.д., потом шли танцоры — «дансэр де ля мэзон», или «жиголо» по-французски, молодые люди, красивые, элегантно одетые, для танцев и развлечения старых американок, потом артисты, певцы, музыканты, балетные танцоры, исполнители лезгинки, молодые красавцы грузины в черкесках,

затянутые в рюмочку, потом цыгане, цыганки, цветочницы, зазывалы, швейцары, шоферы. Все это была русская эмиграция, которая жила главным образом за счет иностранцев.

Разменяв свои фунты и доллары, иностранцы получали за них кучи франков, и поэтому все им казалось дешево. Отвыкшие у себя на родине от алкоголя, американцы напивались быстро, счета оплачивали не глядя, а иногда и по два раза один и тот же счет, на чай давали щедро, и за ними охотились, как за настоящей дичью. Их передавали из рук в руки. Использовав гостя в своем ресторане, метрдотель посылал его со своим шофером в другой, предварительно условившись по телефону, сколько он будет за это иметь процентов со счета. Их заманивали, переманивали при помощи женщин, перепродавали, просто грабили...

На пляс Пигаль, в «Каво коказьен», смуглый и стройный Руфат Халилов танцевал лезгинку с кинжалами во рту и, эффектно бросая, втыкал их в пол. Летели ассигнации. Каждую крупную бумажку он прикалывал кинжалом к полу. Легко плывя в танце, чуть раскачиваясь, то бешено вскрикивая, то замирая на месте, он, стоя на пуантах, вдруг прыгал, как тигр, и, подлетев к столу, где сидели женщины пошикарнее и побогаче, втыкал неожиданно свой кинжал в стол между бокалами и бутылками вина. Француженки и англичанки взвизгивали от ужаса перед этим «бэт соваж» и сразу влюблялись. Уходя, они совали ему в руку тысячу франков и назначали свидание. В каждом кабачке был свой танцор лезгинки. Но, конечно, не такой, как Халилов. Он действительно танцевал изумительно. Какая-то американка даже возила его в Америку, откуда он, впрочем, скоро вернулся, не сделав карьеры.

Вдоль стен по уголкам и диванам сидели так называемые «консоматорши» — женщины, с которыми можно потанцевать, если гость пришел без дамы, и пригласить к столу. (Тут был другой подход к гостю: надо «делать счет» побольше.) Большинство из них разыгрывали из себя «дам общества», «ограбленных революцией», аристократок, княгинь, графинь, баронесс, все потерявших в России,— женщин, которые были так богаты, что их уже ничем удивить нельзя. Они принимали деньги и чеки от добросердечных американцев небрежно и полупрезрительно, безжалостно вытряхивая их карманы. Заставляли «делать счета» хозяину, давать музыкантам, лакеям, танцорам — до тех пор, пока у гостя не кончались деньги и в чековой книжке не оставался хоть один листок. Мифические кавказские князья, служившие танцорами, рас-

сказывали старухам из Нью-Йорка о своих сказочных владениях на Кавказе и, увлекая их темпераментом и внешностью, как по нотам разыгрывали их. Жили они очень неплохо. Одевались у лучших портных, имели «гарсоньеры» и шикарные машины и брали крупно — большими чеками сразу. В свободное от работы время кутили очень широко с молодыми мидинетками и сорили деньгами. Потом женились на богатых американках, разводились, ссорились, дрались друг с другом...

Манташевские лошади брали «Гран-при» на скачках. Туалеты наших буржуазных дам описывались в газетах так же, как и их приемы. Лучшие и самые дорогие кабаки были русские так же, как и всевозможные салоны мод и антикварные магазины. Наши артистические силы блистали на парижском горизонте, как звезды первой величины.

В театре «Шанз-Елизе» пел «сам» Шаляпин, в «Гранд Опера» танцевал изумительный Сергей Лифарь, в зале «Плейель» играл божественный Рахманинов. А балет «Монте-Карло» с Леонидом Мясиным, Рябушинской, Бароновой и Тумановой буквально заворожил Париж. «Летучая мышь» Балиева каждый сезон пленяла парижан своими блестящими постановками.

Наши дамы стриглись под скобку «а ля мужик», носили самые фантастические шляпки на макушке. Те, у кого были средства, покупали себе машины и лихо правили сами своими «ситроенами» и «бюгатти», заводя в Булонском лесу «автомобильный флирт» с преследованиями и знакомствами. Бегали по распродажам, накупали ворохи всякой дешевой и элегантной дряни, делали карьеры, выходили замуж, добирались до самого Голливуда. Вот в это самое время апогея эмиграции, в 1925 году, после непродолжительного пребывания в Германии я и приехал в Париж.

После утомительной и долгой войны, потребовавшей сильного и длительного напряжения всех сил страны, люди устали. Войну забыли моментально, как дурной сон. Как будто никогда и не было сражений на Марне, у Вердена, Лувена, разрушенных городов, миллионов убитых.

Правда, любопытные американские туристы ездили иногда осматривать поля битв, где сотни тысяч рабочих выкапывали медь, свинец и железо из земли, вспаханной германскими снарядами. Да еще раз в год, в день перемирия, по Елисейским Полям проходила страшная и зловещая процессия уродов и калек, людей, отдавших Франции свои силы, здоровье и даже свой человеческий облик. Вереницы безногих,

безруких, слепых, в детских колясочках или гуськом, держась друг за друга, волоклись по улицам поклониться праху Неизвестного солдата, спавшего вечным сном под Триумфальной аркой. Страшно кривились трагические маски их изуродованных лиц, точно вопия к небу. А впереди всех шла организация «Ля гель кассе» (в грубом переводе «Разбитые морды»). Никакая фантазия Гойи не могла бы создать более страшные маски. И огромные толпы народа, стоявшие по обеим сторонам широких парижских авеню, в ужасе отворачивались от этих призраков войны.

Раз в год в пользу этих несчастных устраивали бал в «Гранд Опера». Бал считался одним из самых шикарных. Парижские дамы появлялись в умопомрачительных туалетах. Это были настоящие дуэли женщин, состязания в роскоши, красоте, богатстве, элегантности, и не только между носительницами этих платьев, мехов и бриллиантов, доводящих ум до восторга, но и между их ювелирами, меховщиками, салонами мод — всеми этими Вортами, Пакенами, Пату, Молине, проявлявшими чудеса вкуса и выдумки в линиях и фасонах платьев, между Ван Клифами, Фаберже и другими, придумывавшими для них фасоны браслетов, серег и клипсов, между куаферами, парфюмерами, сапожниками, целой армией художников, закройщиков, мастеров, работавших дни и ночи на многочисленных фабриках женской красоты. Миллионы, сотни миллионов стоили платья, драгоценности и автомобили, в которых дамы появлялись на балу, чтобы «помочь этим несчастным».

Сумма сбора со всей этой выставки богатства была меньше, чем любой камень на любой из ее посетительниц. Но... приличия были соблюдены, и тени прошлого ужаса снова отодвигались в небытие, предавались забвению.

Париж веселился, кипел, бурлил, жил полной жизнью мировой столицы.

Из-за океана огромные белые пароходы привозили во Францию сотни тысяч щедрых американцев, до отказа набитых деньгами, которые они заработали на войне. За их доллар давали двадцать пять франков. Они платили весело, не торгуясь, тратили деньги широко и непринужденно, покупали все, что привлекало их внимание. Доходили до того, что, заметив какой-нибудь замок в провинции, какое-нибудь старинное «шато» XVII или XVIII века, покупали его и целиком, до последнего камня и дерева, перевозили на пароходах к себе в Америку.

Элегантные лимузины один за другим летели, как пчелы, сплошными роями по асфальту парижских улиц, гигантские вывески сверкали миллионами огней, огромные кафе, переполненные публикой, разлеглись на широких тротуарах...

В этом огромном городе находилось место всем. Кто открывал русские лавочки, кто библиотеки, кто магазины редкостей или русских вышивок. Князь Феликс Юсупов, высокий, худой и стройный, с иконописным лицом византийского письма, красивый и бледный, открыл свой салон мод. Салон назывался «Ирфе» — по начальным буквам «Ир» — Ирина (жена) и «Фе» — Феликс. Салон имел успех. Богатые американки, падкие на титулы и сенсации, платили сумасшедшие деньги за его фасоны и модели — не столько потому, что они были так уж хороши, сколько за право познакомиться с ним, о котором они столько читали в сотнях книг, газет и журналов,— с человеком, убившим Распутина!

Его жена Ирина, бледная, очень молчаливая и замкнутая, с необыкновенно красивым и строгим лицом, принимала покупательниц. Она никогда не улыбалась. У нее были светло-серые печальные глаза и светлые волосы. Она редко показывалась где-нибудь. Сам же Юсупов очень любил общество и особенно людей искусства. В его доме я встречал и Куприна, и Бунина, и Алданова, и Тэффи, и весь балет, и всех художников, и многих артистов. Наше знакомство началось с моих концертов и моих песен, которые он очень приятно пел, аккомпанируя сам себе на рояле или гитаре. Когда в Париже появились мои пластинки, он покупал их целыми комплектами, даря их своим друзьям и знакомым. Вернувшись из Румынии, я показал ему «В степи молдаванской». Песня произвела на него большое впечатление.

Мы сидели в его кабачке «Мэзонетт-Рюсс», который он открыл для своих друзей, чтобы поддержать их материально, и пили вино.

— И вы видели Россию своими глазами, так близко? — спрашивал он.

И я рассказал ему о Днестре, о церковном звоне, о людях на том берегу.

— Мы потеряли родину,— разволновался он,— а она живет без нас, как жила и до нас, шумят реки, зеленеют леса, цветут поля, и страшно, что для нас она уже непостижима, что мы для нее уже мертвецы — тени прошлого! Какие-то забытые имена, полустертые буквы на могильных памятниках. А ведь мы еще живы! Мы любим ее, мы тоскуем по ней — и не смеем даже взглянуть ей в лицо!

— Вам страшно было смотреть на нее? — неожиданно спросил он.

Я объяснил ему все, что чувствовал тогда. Он задумался.

— Я часто вижу во сне Россию,— сказал он.— И вы знаете, милый, если бы можно было совсем тихо и незаметно, в простом крестьянском платье, пробраться туда и жить где-нибудь в деревне, никому не изввстным обыкновенным жителем... Какое бы это было счастье! Какая радость!..

Оркестр заиграл что-то очень громкое, и мы переменили разговор.

Когда в Париже появилась картина «Путевка в жизнь», русские ходили в кино по нескольку раз и, возвращаясь, пели:

Там вдали за рекою
Сладко пел соловей.
А вот я на чужбине
И далек от людей.

Пели тихо, усевшись в кружок, и на глазах у них часто можно было видеть слезы. Почти у каждого на родине оставались близкие, которые жили там, работали и выдвигались иногда на очень большие посты, и бедняги с гордостью рассказывали о своих братьях и сородичах...

Долгое время на парижском «светском» горизонте блестела звезда великого князя Дмитрия Павловича. Высокий, стройный, сохранивший фигуру спортсмена, он был очень красив. Его роман со знаменитой парижской портнихой Шанель был предметом разговоров во многих светских салонах. Он был очень популярен среди русской колонии, но еще более был популярен в международном обществе.

Между прочим, очень характерно, что многие лица из самого высшего аристократического общества были искренними патриотами. Родину они ставили превыше всего. Дмитрий Павлович рассказал однажды случай, происшедший с ним в Англии. Это было на обеде у Юсупова.

— В период гражданской войны я не был ни белым, ни красным,— говорил он.— Когда не стало возможности сражаться против немцев в рядах русской армии, я перевелся в армию английскую для отправки на германский фронт. Но мне не повезло. В один прекрасный день бригада, в которой я находился, получила приказ отправиться в Россию. Это нвчалась интервенция. Для меня это был неожиданный и большой удар.

Я, русский, в иностранном мундире должен сражаться против кого? Против своего же народа! Этого моя совесть не

могла принять. Ясно, что я предпочел бы умереть, чем дойти до этого. Как офицер, я знал, конечно, что значит в военное время не исполнить приказа, но я твердо решил поступить так, как подсказывали мне долг и честь. Я надел форму и поехал к своему начальнику бригады. Английский генерал выслушал мои доводы и понял мои чувства. Через некоторое время меня откомандировали в другую часть...

На этом же обеде зашел разговор о революции. Я был поражен суждениями Дмитрия Павловича.

— Русская революция — не бунт черни, как пытаются презрительно и пошло окрестить ее некоторые пустые и недалекие люди. Русская революция имеет глубокие корни в нашем прошлом и свое оправдание в настоящем. Революция произошла, и она есть действительность! Из этой действительности и следует всегда исходить, когда думаешь о родине. Остальное химера и панихида! Нужно стремиться к тому, чтобы жизнь наша шла национальным путем, свойственным нашему духу, нашей культуре. А прежде и прежде всего надо крепить и создавать армию, чтобы не быть «спасенными» нашим соседом-врагом. Немцы предлагают нам спасение? Очевидно, они имеют в виду «спасти» нас от Украины и Кавказа! Мы должны твердо знать, что никакие иностранцы, а тем более немцы, нас не спасут, а утопят!

Я помню, что его слова настолько тронули и поразили меня, что, придя домой, я записал их...

В этот вечер много говорили о родине. Среди гостей был и другой представитель родовых фамилий, князь Сергей Оболенский.

— Россия там! — говорил он.— Сто восемьдесят миллионов трудолюбивых людей порой в тяжелых условиях, камень за камнем строят новую жизнь, познавая постепенно всю прелесть творческого труда, и через этот труд они больше любят свое — ими самими содеянное. Они любят свою страну, которая дала им жизнь. Поэтому там должна расти и крепнуть осознанная и жертвенная любовь к своей стране. Мы все русские! И здесь тоже. Зарубежную Русь выдумали политические скопцы и провинциалы! Но настоящая Россия — там.

Вспоминая теперь эти слова, припоминая этот парижско-русский «свет», невольно поражаешься, откуда у таких людей, действительно все потерявших из-за революции, бралась такая справедливая и мудрая оценка событий, такая поистине всепоглощающая любовь к родине, к своему народу.

В среде русской молодежи, принадлежащей к аристократическим кругам, приблизительно в 30-м году возникло так называемое «младоросское» движение. Много личных и семейных драм пришлось пережить его участникам, всем этим бывшим кадетам, лицеистам, пажам, правоведам, юнкерам гвардейских школ, когда они не только осознали свою приверженность родной стране при всех обстоятельствах, но и громко, на всю русскую Францию, заговорили об этом, на удивление и негодование своим родителям. Князья Оболенские, граф Красинский (сын Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича), граф Карузо, Воронцовы-Вельяминовы — весь аристократический молодняк, все те сотни сильных и здоровых молодых людей, которые жили в Париже, группировались во главе с великим князем Дмитрием Павловичем вокруг младоросской газеты «Бодрость». По содержанию своему газета эта оправдывала свое наименование. Она звала молодых людей к труду, внушая им, что надо накапливать силы и знания, чтобы в тот момент, когда они понадобятся родине, быть готовыми послужить ей на пользу. Она учила их познанию своей страны и ее Великой Истории.

В дымке белых мечтаний причитая о потерянном, поругивая большевиков, бывшие командиры бывших дивизий звали эмиграцию на панихиды и ждали своего «черта».

— Хоть с чертом, но против большевиков! — говорили они.

Но «черт» не спешил. «Зубры» старели, сердились, умирали, недовольно ворча на медлительность вышеупомянутого служителя ада.

Какого «черта» ждали они? Иностранной интервенции? Немцев?

«Изменники» — бодро пестрели заголовки младоросской газеты. Глубокой ненавистью были полны строки ее статей. Настоящим искренним патриотизмом и гневом дышали статьи ее сотрудников, направленные против гитлеровской книги «Моя борьба».

С большой убедительностью и довольно зло отчитывали они гитлеровского подголоска, воспитанника русского университета Альфреда Розенберга за его нападки на славянство вообще и русский народ особенно. Получался бум, «скандал в благородном семействе». «Яйца» стали учить «курицу». Молодняк и те, кто был еще молод душой, круто повернули в сторону родной страны.

— Петр прорубил окно в Европу не для немцев! — говорили они.

— Комсомольцы! — презрительно шипели старики.

А великий князь Дмитрий Павлович на страницах «Бодрости» от имени русского национализма приветствовал франко-советский союз.

Совершенно в стороне от этих политических страстей проживал в Париже другой представитель романовского дома, великий князь Борис Владимирович.

В Бельвю, за городом, у него была небольшая вилла, в которой жила его семья: жена и теща с мужем. Борис Владимирович был женат на сестре одного из моих петербургских приятелей, Владимира Рашевского. Особого интереса великий князь собой не представлял. Будучи по натуре человеком ограниченным и серым, он был военным в самом специфическом смысле этого слова. Дмитрий Павлович называл его «пехотным штабс-капитаном», и это определение очень подходило к нему. Он жил в мире воспоминаний о своей питерской офицерской жизни, любил говорить о полках, формах, лошадях, парадах, орденах, кантиках, выпушках, петличках и наизусть знал имена всех командиров полков и даты всех полковых праздников. Кроме того, он любил еще выпить. Вероятно, от этого пристрастия голос у него был хриплый и лающий. Когда он говорил со мной, я никогда не мог разобрать ни одного слова и всегда просил его жену или Рашевского объяснить мне, что он сказал. Таким голосом разговаривают командиры эскадронов, собравшиеся на плацу во время зимних маневров или парадов.

Жил Борис Владимирович довольно тихо, если можно так выразиться — «намазывая на горький хлеб изгнания зернистую икру воспоминаний». Единственным его удовольствием были многочисленные приглашения от самых разнообразных людей — на обеды, банкеты и завтраки. Париж был наводнен тогда разными дельцами, авантюристами, нуворишами и просто богатыми иностранцами. Каждому из них было, конечно, очень лестно заполучить к себе на прием настоящего русского «гранд дюка».

Борис Владимирович принимал эти приглашения довольно легко и был неразборчив в них. Обыкновенно его усаживали в центре, так сказать «под образа», как почетное лицо, и ставили перед ним бутылку хорошего виски «Блек лейбел», которое он любил. Потягивая напиток, он добродушно разглядывал публику и говорил очень мало. Сам он не интересовался ничем и как-то был равнодушен ко всему, но вокруг кипели страсти его семьи, которая всеми силами стремилась использовать его имя и титул для извлечения макси-

мальной пользы из этого. Когда в Дании умерла бывшая вдовствующая императрица Мария Федоровна, Борису Владимировичу досталась часть ее наследства в несколько миллионов франков. Ее знаменитые изумруды Рашевский продавал потом парижскому ювелиру Ван Клифу.

Владимир Рашевский — довольно красивый и стройный мужчина, очень веселый и жизнерадостный, бывший офицер одного из гвардейских петербургских полков, большой «шармер» и покоритель сердец — был охотно принимаем в самом высшем парижском свете. Главной целью его семьи было женить его на миллионерше. Вот тут и использовали имя Бориса Владимировича. Падкие на титулы американцы не могли устоять против такого «шика». Познакомившись с дочерью американского миллионера Штрауса, Рашевский сделал ей предложение в Париже. Его пригласили в Америку вместе с «гранд дюком». Семейство отбыло очень торжественно на океанском пароходе.

В Америке он был встречен целой армией журналистов и фотографов. «Гранд дюка» снимали во всех видах, интервью с ним заполняли страницы газет — шумиху создали огромную. Папаша Штраус не устоял против такого великолепия и согласился на брак.

Борис Владимирович вернулся в Европу и зажил прежней жизнью. Через два-три года в Америке был знаменитый крах на бирже, из-за которого папаша Штраус в один день потерял все свое сказочное состояние и умер от волнения. Рашевский остался ни с чем. Все планы его семьи были разрушены.

— Женился по расчету, а вышло по любви! — печально острил он в кругу приятелей. Приятели только сочувственно вздыхали.

Эволюция в эмиграции началась почти одновременно с началом младоросского движения. Патриотизм, исконно свойственный каждому русскому человеку, как цветок, прибитый ветром и бурей к земле, постепенно стал подниматься и распрямляться в душе каждого, по мере того как эта буря проходила стороной и, наконец, отошла уже в область воспоминаний. Горела не только молодежь. Почти каждый русский эмигрант испытывал в душе острую потребность как-то привести в порядок свои чувства к родине, уяснить себе, наконец, что же ему делать дальше, как жить вне России и, главное, как относиться к ней. Кое-какие вести о родине стали просачиваться через прессу, появились книги об СССР, написанные

лицами, посетившими ее. Заговорили о том, что Россия строится. Страсти закипели. Одни упрямо стояли на позиции непримиримой ненависти к большевизму и Советскому правительству, другие находили какие-то доводы «за» и искали компромиссных точек зрения. Разбитая и до этого, эмиграция разбилась еще на несколько лагерей.

Однажды в Париже была объявлена лекция генерала Деникина на тему о настоящих и грядущих путях России. Интерес она вызвала огромный, и большой зал Гаво почти на две с половиной тысячи человек был переполнен. Тут были политические деятели эмиграции буквально всех оттенков, начиная от монархистов и кончая анархистами. Лекция, конечно, никого не удовлетворила. Столп белого движения генерал Деникин не уяснил себе всего происходящего в России, но бескомпромиссно и безоговорочно отрицал какое бы то ни было иностранное вмешательство в русские дела.

— Интервенция — это самоубийство,— патетически восклицал он.

— Ему-то лучше знать,— угрюмо заметил стоявший рядом со мной человек.— Он на интервенции, как на свечке, себе бороду спалил.

После лекции, во время дискуссии, из рядов лиц, считавших Россию сплошным концлагерем и могилой русской чести и силы, был задан вопрос:

— Кто же не позволит интервентам захватить нашу родину? Кто остановит их?

И вот тут глава белого движения, его идейный вождь и вдохновитель бросил фразу, которая не только облетела весь русский Париж, но и, подхваченная мировой прессой, произвела огромное впечатление повсюду.

Яростно стуча кулаком по столу, сверкая глазами, старый генерал крикнул в толпу:

— Клим! Клим не позволит!!

Это было имя маршала Советского Союза Клементия Ворошилова.

Русские кабаки были разного типа. Начиная от обычных ресторанов, где просто кормили хорошо, которые создавались и велись профессионалами, до всякого рода экзотических «буате де нюи», которые открывали просто предприимчивые люди. На улице Комартен «Большой Московский Эрмитаж» был разрисован боярами и тройками, и кухня изобиловала исключительно русскими блюдами. В программе выступал

«квартет бояр», пели Плевицкая, Морфесси, я, иногда цыгане.

На Монмартре был знаменитый «Казбек» — небольшой уютный погребок, владелец которого, Трахтенберг, скупив в свое время массу серебра у эмигрантов, расставил его на полках вдоль стен, укрытых коврами. Все эти кубки, стаканы и чаши с русскими орлами выдавались иностранцам за царское серебро, спасенное эмигрантами, хотя половина этого серебра делалась тут же, на Пигале. Иностранцам очень нравилось пить шампанское из «царских кубков». Иногда в виде большого одолжения хозяин продавал гостю такой «царский» стакан или чашу за баснословную сумму.

В «Казбеке» часто бывал великий князь Борис Владимирович с женой и целой свитой богатых иностранцев, искавших титулованных знакомств. Когда он входил в кабак, все, соблюдая этикет, вставали и ждали, пока он сядет. Предприимчивый хозяин делал на этом бизнес, привлекая публику, желавшую посмотреть на настоящего «гранд дюка». Для него даже было сделано что-то вроде царской ложи — с балдахином и золотыми кистями.

Однажды в «Казбеке», где я выступал после часу ночи, отворилась дверь. Было часа три. Мне до ужаса хотелось спать, и я с нетерпением смотрел на стрелку часов. В четыре я имел право ехать домой. Неожиданно в дверях показался белокурый молодой англичанин, немного подвыпивший, веселый и улыбающийся. За ним следом вошли еще двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публики в это время уже не было, и англичане оказались единственными гостями. Однако по кабацкому закону каждый гость дарован Богом, всю артистическую программу нужно было с начала и до конца показывать этому единственному столику. Меня взяла досада. «Пропал мой сон!» — подумал я. Тем не менее по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом и одет совершенно дико, очевидно, из озорства: на нем был серый свитер и поверх него... смокинг.

Музыканты старались: гость, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского.

— Что вам сыграть, сэр? — спросил его скрипач-румын.

Гость задумался.

— Я хочу одну русскую вещь...— нерешительно сказал он.— Только я забыл ее название... Там-там-там-там!..

Он стал напевать мелодию. Я прислушался. Это была мелодия моего танго «Магнолия».

Угадав ее, музыканты стали играть.

Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь и еще несколько других.

Англичанин заставлял меня бисировать. После выступления, когда я сел на свое место, англичанин окончательно перешел за мой стол, и, выражая мне свои восторги, между прочим сказал:

— Знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Детердинг. Вы не знаете ее? Так вот, эта дама имеет много пластинок одного русского артиста...— И он с ужасающим акцентом произнес мою фамилию, исковеркав ее до неузнаваемости.— Так вот, она подарила мне эти пластинки,— продолжал он,— почему я и просил вас спеть эту вещь.

Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку, на которой стояло: «Alexandre Vertinsky».

Изумлению его не было границ.

— Я думал, что вы поете в России! — воскликнул он.— Я никогда не думал встретить вас в таком месте.

Я терпеливо объяснил ему, почему я пою не в России, а в таком месте.

Мы разговорились. Прощаясь со мной, англичанин пригласил меня на следующий день обедать в «Сирос».

В самом фешенебельном ресторане Парижа «Сирос» к обеду надо было быть во фраке. Ровно в 9 часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Метрдотель Альберт, улыбаясь, шел ко мне навстречу.

— Вы один, мсье Вертинский? — спросил он.

— Нет! Я приглашен...

— Чей стол? — заглядывая в блокнот, поинтересовался он.

Я замялся. Дело в том, что накануне мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию.

— Мой стол будет у камина! — вспомнил я его последние слова.

— У камина не может быть! — сказал он.

— Почему?

— Этот стол резервирован на всю неделю и не дается гостям.

В это время мы уже входили в зал. От камина, из-за большого стола с цветами, где сидело человек десять каких-

то старомодных мужчин и старух в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро шел мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке.

Еще издали он улыбался и протягивал мне обе руки.

— Ну вот, это же он и есть! — сказал я, обернувшись к Альберту.

Лицо метрдотеля изобразило священный ужас.

— А вы знаете, кто это? — сдавленным шепотом произнес он.

— Нет! — откровенно сознался я.

— Несчастный! Да ведь это же принц Уэльский!..

В «Казанове» — маленьком, но очень дорогом «буате», приютившемся у подножия монмартрского кладбища, был венецианский стиль. Стены были уставлены хрупким венецианским стеклом, светящимися аквариумами, столы тоже светились. Тут подавали бывшие гвардейские офицеры, красивые, стройные и высокие, прекрасно говорившие по-французски и по-английски, затянутые в голубые казакины с золотыми галунами. Зарабатывали они бешено. Меньше пятисот — тысячи франков им не оставляли на чай. Это были люди из «общества», и дать меньше считалось неприлично. Почти все они приезжали на работу в собственных машинах, имели красивых женщин и вне работы одевались, как лорды. «Казанову», где я пел, тоже посещали сливки Парижа, и не только Парижа, но и всего мира. Случались вечера, когда за столами сидели Густав Шведский, Альфонс Испанский с целой свитой, принц Уэльский, Кароль Румынский, Вандербильты, Ротшильды, Морганы. Приезжали и короли экрана — Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, Грета Гарбо — в синих очках, чтобы ее не узнавали... Место было самое дорогое и самое шикарное. Лучшие оркестры мира играли там. Лучшие артисты выступали. Была еще «Шехерезада» — голубая коробочка в восточном стиле, где бывала та же публика и подавали такие же красавцы.

Я пел в этих местах, и мне пришлось познакомиться с королями, магараджами, великими князьями, банкирами, миллионерами, ведеттами. Все они знакомились со мной потому, что их интересовала русская песня, русская музыка...

В машинах, скользивших по Елисейским Полям, сидели нежные, избалованные женщины, пахнущие острыми и томными духами. Из окон выглядывали холеные благополучные

собаки каких-то особенных, экзотических пород и презрительно щурились на собак, идущих пешком.

Над Булонским лесом вставали и потухали зори, и был он весной нежный, светло-серый, с бледно-розовыми оттенками — точно нарисованный пастелью. До двенадцати дня в ресторанах на Порт Дофин в саду нарядные дамы пили разноцветные аперитивы, флиртовали, сплетничали, обсуждали новые фасоны платьев, встречались со своими «жиголо». По широким утрамбованным аллеям скакали длинные кавалькады женщин и мужчин в самых экстравагантных спортивных костюмах. По дорожкам гуляли те, у кого не было машин, и любовались этой выставкой роскоши и богатства.

Но особенно углубляться в лес не рекомендовалось, в особенности женщинам. Из-за кустов вдруг неожиданно выскакивал какой-нибудь маньяк, помешанный на эротичвской почве. В Париже таких было множество. С горящими, возбужденными глазами он творил такие непристойности, что женщины бежали прочь, крича от отвращения и ужаса.

Раз в неделю на улице Акаций в определенном месте собирались частные машины. Каждый, у кого был собственный «кар», мог стать в очередь за головной машиной. Когда набиралось двадцать машин, головной «кар» трогался, остальные ехали за ним. Машины мчались, минуя городские окраины. Отъехав кипометров сто или двести, часа через полтора вервница останавливалась где-нибудь в лесу и, выбрав полянку в самой гуще, начинала оргию. Женщины выбирали себе мужчин и уходили с ними в глубь леса. И все это были люди незнакомые между собой, искавшие острых, грубых наслаждений, на миг сближавшиеся в холодном, рассудочном разврате и потом расходившиеся навсегда. Если бы на другой день такой участник «партуза», встретив ту даму, с которой он познакомился в лесу, осмелился ей поклониться, она, разумеется, никогда не ответила бы на его поклон. Все это были люди богатого, насквозь прогнившего класса, мужья, давно остывшие к женам, любовники, надоевшие друг другу. Просто пресыщенные люди.

В больших кафе на верандах, прямо на улице, с утра до ночи сидели одинокие женщины и ждали клиентов. У «Вербера» на Мадлен, у «Фуркеца» и в «Куполе» на Монпарнасе, в бистро на Клиши, на Пигале — всюду сидели тысячи женщин, предлагавших свои услуги мужчинам.

Целые кварталы, как Бульвар Себастополь, знаменитая улица Шебане и другие, были заполнены домами свиданий, где за разные цены — от десяти до тысячи франков — пока-

зывались всевозможные извращенности и уродства, от которых волосы шевелились на голове. Их посещали любопытные туристы, которым хотелось узнать Париж до самых глубин.

Удушливый, сладковатый запах тления — какая-то странная смесь духов, бензина и падали — носился над Парижем. На «Кот Д'Азюр» в Ницце, в Антибе, в Ментоне, где в течение столетий выращивались изумительные по красоте и запаху розы, гвоздики, фиалки, производство упало до минимума. Духи не делали больше из цветов. Старые парфюмеры сидели без работы. Их заменили химики. Большие «дома платьев» выпускали свои духи, составленные химическим способом. Цветы им были не нужны. В духи шли странные и неожиданные составы, и в самые дорогие из них шел, например, помет кашалота.

Витрины огромных магазинов, таких, как «О Прентан» или «Галери Лафайет», были уставлены новой мебелью стиля модерн, комфортабельной, простой, но странно голой. Знаменитая французская актриса Режанс, квартира которой, с мебелью Луи XV, фарфором, старыми гравюрами и кроватью, на которой спала Мария-Антуанетта, оценивалась в миллионы франков, вдруг назначила у себя аукцион.

— Мне надоело прошлое, меня душит эта пыль веков! — заявила она недоумевающим журналистам.— Вся эта обстановка старит меня. Я хочу жить! Я продам всю эту рухлядь и возьму себе светлую квартиру.

Жить, жить, жить! — кричали газеты, журналы, магазины, выставки. Жить во что бы то ни стало. Ни в чем себе не отказывая.

На улице Муфтар в подвале на задворках, среди мусорных ям и развалин, помещался кабак, особенно посещаемый туристами, желающими узнать «дно» Парижа. Их приводили туда «кукины дети»[1]— гиды — часто после спектаклей «Гранд Опера», во фраках и вечерних туалетах. Там собирались апаши, воры, проститутки. Хозяйкой была старая, седая бывшая светская львица, опустившаяся до самого «дна», с манерами хозяйки публичного дома и хриплым голосом. Там танцевали под гармошку «жава», пили, хохотали, пели. Полуголые, растрепанные женщины извивались в непристойных телодвижениях, танцуя с сутенерами и ворами. Тусклые керосиновые лампы освещали грязные потолки, столы и грубые скамьи. Внезапно в разгар веселья начинался скандал:

---

[1] От слова «кук» — агентство для туристов.

бутылки, стаканы, столы — все летело в воздух; в руках у апашей сверкали ножи. Кто-то разбивал бутылкой лампу. Наступала темнота, неслись стоны и крики:

— Убили! Убили женщину!.. Полиция! Полиция!

Резкий свисток оглашал воздух. Испуганных англичан и американцев выводили тайком через задние дворы. Они были в восторге и ужасе. Они видели настоящее «дно». Когда они уходили, зажигался свет, и все эти «апаши», «воры» и «убийцы» спокойно разгримировывались и шли к «львице», тоже разгримировавшейся, получать свой разовый гонорар. Это были актеры из маленьких театров, а сама «львица» была актрисой из «Одеона». Вся эта комедия разыгрывалась для переживаний доверчивых иностранцев.

Так жил и веселился Париж. Правда, где-то на заводах, шахтах и фабриках рабочие поднимали голос, требуя защиты труда и социальных реформ. Газета «Юманите» — орган коммунистов — увеличивала свой тираж. Время от времени разражался блестящей речью на выборах Марсель Кашен, громил буржуазию Торез. На демонстрациях пели «Марсельезу». Но все это тонуло в общем благодушии.

А на окраинах жили люди. Собственно, не жили, а существовали каким-то непонятным образом. По дороге в Нейи или Венсен тянулись целые кварталы жалких лачуг, сколоченных из каких-то ящиков, кусков ржавой жести, соломы, с дырками окон, заткнутыми тряпками, обклеенными старыми афишами и газетами. На веревках сушилось грязное тряпье, полуголые черные дети копались в мусорных кучах.

Дорогие лимузины равнодушно проносились мимо. Сидевшие в них брезгливо морщились и недоумевали: как это можно было допустить в Париже, в самом центре страны, «деревни нищих»?..

В киосках на бульварах можно было купить советские газеты — «Правду» или «Известия». Шрифт был мелкий, убористый — деловой. Какие-то резолюции, отчеты, указы... Читать было скучно. Сенсаций никаких, люди строят, хлопочут, работа кипит — пишут только самое важное, деловое, необходимое. А парижскую газету развернешь — сенсация за сенсацией.

«Президент вылетел из окна вагона!»

И насмешливый Аминадо уже пишет:

Где еще в подлунном мире
Из вагонного окошка
Вылетают президенты
В полосатых пижамá?

«Виолетт Нозьер отравила отца, чтобы получить страховую премию».

«Семнадцатилетняя убийца содержала своего любовника!..»

«Миллионер — спичечный король Ивар Крегер бросился с аэроплана».

«Какой-то русский — Иван Горгулов — пустил пулю в президента республики Поля Думера!..»

Дальше идут описания убийства, допросы свидетелей...

— Почему вы это сделали?

— Месть большевикам. Чтобы обратить внимание!..

— На что? На кого? Бред какой-то!

«Разложение», «Гнилой Запад» — писали советские газеты. Мы хохотали. Мы от души смеялись над этими «отсталыми» советскими взглядами. «Сами жрут воблу, а еще нас учат!» — «Ха-ха-ха! Это мы-то гнилые?.. Как вам нравится?»

Мы — европейцы, парижане, соль мира!

«Берегите складку на брюках русской эмиграции!» — издеваясь, вещал Аминадо. И мы берегли. Тянулись из последнего. Покупали на распродажах расшикарные платья женам, обзаводились смокингами, засовывали гвоздички в петлички. О родине тосковали, но как-то «платонически». Вспоминали березки... Белые ночи... Былой блеск, богатство... Кто что.

Говорили нескончаемо, но... точно о покойнике. Было, мол, и умерло!

Правда, писалось о России много. «Последние новости» и «Возрождение» ежедневно закатывали всякие сенсации о расстрелах, голоде, бунтах в армии и пр.

Неутомимый Милюков, умный, сухой и властный, крепко держал в руках бразды правления либеральной эмиграции. Он неутомимо читал лекции о каких-то «сдвигах», «термидоре» и «неизбежном поправении» большевиков, обещая скорое возвращение домой...

Тонко и нудно жужжала «песья муха» Кускова, рассказывая из «писем очевидцев» и рижских сообщений о недовольстве советской молодежи, о падении роста комсомола. Делала подсчеты, выводы — заклинала.

Но... лекции пустовали. От Кусковой отмахивались. Керенскому не верили — не могли простить ему костюм сестры милосердия. Милюкова называли «сумасшедшим шарманщи-

ком» из моей песни. И серьезно уговаривали меня, что эту песню я написал о нем. Ходили только на «вечеринки землячества» и на панихиды. И тот же Аминадо писал:

Живем, бредем и медленно седеем.
Плетемся переулками Пасси.
И скоро совершенно обалдеем
От способов спасения Руси!..

Шли годы изгнания... Хотя, собственно говоря, нас ведь никто не изгонял, а «изгнались» мы сами. Шум великого вечного города на время как бы оглушил нас. Но чем дольше жили мы в эмиграции, тем яснее становилось каждому, что никакой жизни вне родины построить нельзя и быть ее не может. Особенно остро чувствовали свою оторванность поэты и писатели.

Дмитрий Мережковский, маленький, легкий, весь высохший, как мумия,— один дух,— целиком ушел в мистику.

Бедность, Чужбина, Немощь и Старость —
Четверо, четверо — все вы со мной,—

писал он незадолго до смерти, уже приготовившийся к ней.

Скоро скажу я с улыбкой сыновней:
Здравствуй, родимая Смерть!

Зинаида Гиппиус писала злые статьи. Криво улыбаясь, она язвительно «разоблачала» современное искусство. Молодежи не понимала и не любила.

Иван Бунин почти ничего не писал. Нобелевская премия, присужденная ему в последние годы, поддержала на некоторое время его дух. Он съездил в турне по Европе, побывал на Балканах, в Прибалтике, на всех путях русского рассеяния, и потом замолк. Эта премия вызвала большие толки. Некоторые считали, что ее надо было дать Мережковскому, другие — Куприну и т. д.

Куприн вначале пробовал было писать рассказы, черпая материалы и сюжеты из окружающей среды, но кого мог интересовать французский быт? Французы его не читали, а русским это было неинтересно. Жить ему становилось все труднее. Заработки в газетах были невелики, пришлось открыть переплетную мастерскую. Работала она слабо, да к тому же он стал видеть хуже и хуже и в конце концов почти ослеп. Его дочь Киса, красивая и даровитая девушка, снималась немного во французском кино, помогая родным, и меч-

тала о возвращении на родину. Когда Куприн уехал в СССР, поднялась целая буря. Одни ругали его, бесцеремонно называя предателем «белого дела». Другие, более сдержанные, лицемерно жалели Куприна, ссылаясь на его болезнь и преклонный возраст.

Такой же бурей еще раньше был отмечен отъезд Алексея Толстого — с той только разницей, что ему тогда не находили никаких оправданий. Это понятно. Из увядающего букета цветов русского зарубежного искусства был вырван самый яркий, самый живой цветок. Толстой поступил умно и благородно, вернувшись на родину полным сил, в самом расцвете своего огромного таланта. И его голос, ясный и убедительный, загремел издалека, из той страны, в которую многим уже не было возврата, окрепшим, молодым, сильным.

Милая, талантливая Тэффи выпустила две или три книги рассказов. Ее свежее и незаурядное дарование долго боролось с надвигавшимися сумерками. Она еще умела «смеяться сквозь слезы», но постепенно смех почти исчез из ее творчества, и уже только одни холодные слезы застилали глаза...

Упрямо боролся с одолевавшим всех оцепенением Борис Зайцев. Время от времени появлялись его романы, написанные на наши «местные темы». В них он описывал надоевшее нам самим наше эмигрантское житье-бытье...

Где-то в Германии начал писать В. Сирин (Набоков), уже совершенно не связанный с Россией и почти чужой. Его романы были увлекательны, как фильмовые сценарии, и абсолютно вненациональны.

Еще хуже обстояло дело с поэзией. Поэты острей и больней чувствовали свою оторванность, бесполезность и ненужность в этом огромном чужом городе.

Самый яркий из них, Георгий Иванов,— современник Блока, Брюсова, Белого, Анны Ахматовой — писал стихи совершенно безнадежные, проникнутые таким глубоким отчаянием, такой безысходной тоской, что читать их было и больно и грустно:

Хорошо, что нет царя,
Хорошо, что нет России,
Хорошо, что Бога нет,
Только мертвая заря...
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо, что *ничего*,
Хорошо, что *никого*,
Так черно и так мертво,

Что чернее быть не может
И мертвее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать!..

Такой же болью и отчаянием звучали стихи Владислава Ходасевича, тосковавшего по родине и умершего на чужбине:

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Виргилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла!

Величественный образ далекой, покинутой и уже недоступной родины неустанно преследовал зарубежных русских поэтов.

Георгий Адамович с тоской и мукой вопрошал:

Когда мы в Россию вернемся,
О Гамлет восточный[1], когда?
Пешком, по размытым дорогам,
В стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов,
Без всяких там кликов...— пешком!
Но только наверное знать бы,
Что вовремя мы добредем!

Талантливый Давид Кнут писал

О том, что дни
мои глухонемые,
О том, что ночью я —
порой в аду.
О том, что ночью
снится мне Россия,
К которой днем
дороги не найду.

В сумасшедшем доме умирал знаменитый когда-то Константин Бальмонт, в бреду призывавший родину.

Владимир Смоленский, молодой и очень интересный поэт, писал трагически безнадежные стихи.

В самом расцвете своего оригинального дарования умер подававший большие надежды Поплавский...

Потухали, гибли на чужой земле яркие дарования писателей и поэтов, оторвавшихся от родной почвы.

Иногда в Париж приезжали писатели из Советского Союза. Я помню в начале эмиграции приезд Владимира Маяков-

---

1 Гамлетом он называл Сталина.

ского. Я мельком видел его несколько раз в «Ротонде» на Монпарнасе. Приезжали Всеволод Иванов, только что выпустивший в свет свои «Голубые пески», Лев Никулин, Борис Лавренев, рассказ которого «Сорок первый» в то время наделал много шуму в эмиграции и особенно в ее литературных кругах. Проезжали мимо Ильф и Петров.

Но все они сторонились нас, эмигрантов, и войти в общение с ними так и не пришлось. Все же иные иэ них, люди «моего выпуска богемы», если так можно выразиться, с которыми я начинал свою карьеру когда-то в Москве, разыскали меня, навестили и немного рассказали о той жизни и стройке, которая шла на родине.

Эти редкие встречи только подчеркивали нашу отчужденность. Мы уже потеряли общий язык и плохо понимали друг друга, точно это были люди с другой планеты. От них веяло какой-то новой силой, новой энергией, которой у нас не было и не могло быть. Они посмеивались над нашим «гнилым Западом», и это раздражало нас, «парижан», порождая неприязнь и отчужденность. В свою очередь, нам они казались провинциалами — «деревенскими», «отсталыми» людьми.

«Эрмитаж» на Комартеле был таким рестораном, где рано или поздно встречались все. Очень дорогой и шикарный, созданный исключительно для иностранцев, которых интересовало все русское, он, конечно, был русским постольку поскольку — вернее, таким русским, как себе представляли русское иностранцы. Вроде тех «русских» фильмов, которые фабрикуются в Голливуде, с великими князьями в главных ролях, с роковыми женщинами, какими-нибудь «принцесс Сония» или «Тания», с «кавьяр рюсс» и прочей развесистой клюквой. «Князья» у нас были собственного завода: их насчитывалось человек восемь. Они служили танцорами — «жиголо» и на меньший титул не соглашались. Только один, самый маленький и захудалый, поступивший в «Эрмитаж» по протекции «хорошего гостя», согласился стать «бароном». «Принцессы» сидели на красных бархатных диванах в ожидании клиентов. Балалайки заливались в оркестре в руках у веселых парней, разодетых в малиновые, зеленые и желтые рубашки с золотыми позументами, а «кавьяр» стояла на белом столе прямо при входе в зал. Кроме балалаечников, было еще два оркестра — «джаз» и «танго». «Джазом» дирижировал знаменитый Тзд Люис, а «танго» управляли не менее

знаменитый Эммануэль Пизарро или Бьянко Бачиша — их оркестры менялись. Гостям подавались кулебяки, расстегаи, зернистая икра, рябчики, котлеты де воляй, лилось шампанское, оркестру и танцорам швырялись тысячи. Американцы, как добрые Санта Клаусы, покровительствовали потерпевшим от революции «принцессам». Старые американки, до горла увешанные бриллиантами, «усыновляли» подозрительных молодых людей с дурными наклонностями и водили их за собой, как болонок на цепочке. Во время «ти дансов»[1] эти юноши крутили своих старушек по паркету, жалобно заглядывая в глаза молодым французским девочкам, которые приходили потанцевать со своими «жиголо». Вечером водили своих старух в театры, ночью пили с ними шампанское и опять танцевали. Вид у них был замученный, как у католических девственниц.

Кто только не бывал в этом «Эрмитаже»! Банкиры, министры, крупные дельцы, знаменитости...

Программа состояла из лучших артистов, русских или иностранных.

Туда однажды я привез из кабачка «Джокей» на Монпарнасе маленькую красивую француженку, которая пела там за двадцать пять франков в день. Мне понравился ее голосок и манера пения, и я уговорил хозяина «Эрмитажа» Рыжикова взять ее к нам. К сожалению, она не понравилась ему, и он скоро ей отказал. А через три года он сам платил ей двадцать тысяч за один вечер. Это была знаменитая впоследствии Люсьен Буайе.

Пел Юрий Морфесси — все еще жизнерадостный, хотя и поседевший. Пела одно время Тамара Грузинская, приезжавшая из Советского Союза, пела Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине тоже маленький генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел забитым мужем у такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. И тем более странной показалась нам его загадочная роль в таинственном исчезновении генералов Кутепова и Миллера. Это было особенно загадочно потому, что и с семьей Кутепова, и с семьей Миллера Плевицкая и Скоблин очень дружили еще со времен Галиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала.

В течение трех-четырех лет ежегодно после концертных турне по Европе я приезжал к сезону в Париж и пел в «Эрми-

---

[1] «Ти данс» — пятичасовой чай с танцами.

таже». За это время мимо меня прошло много людей, ярко заметных на европейском горизонте. Со многими из них я был знаком, других наблюдал издали.

Кабак — большая и страшная школа. Кабак многому меня научил и, я бы сказал, даже закалил. Актеру нелегко фиксировать на себе одном все внимание в кабаке, где люди пьют, едят, стучат ножами и вилками, разговаривают и часто не слушают вас. Какую энергию, какую внутреннюю силу тратит актер на то, чтобы подчинить себе эту дезорганизованную аудиторию! Кабацкую школу могут выдержать очень немногие, и для того, кто может владеть толпой в кабаке, сцена уже отдых, удовольствие. После многих лет такой работы я пел свои концерты уже шутя, не волнуясь, даже не уставая от них.

Среди танцоров «Эрмитажа», среди всех наших князей «на честное слово», был один настоящий князь: Николай Карагеоргиевич — двоюродный или троюродный брат сербского короля Александра, очень красивый и неглупый молодой человек, уже скатившийся вниз с верхних ступеней жизненной лестницы. Он получил образование в России, сербов своих не знал и не любил и родиной считал Россию. Это был беспутный, но очень добрый и благородный юноша, которого страсть к наркотикам довела до положения «жиголо». Он колол себе морфий и не мог жить без него. Иногда его «спасала» на время какая-нибудь женщина. Он бросал морфий. Но через полгода-год он срывался снова, и все продолжалось по-старому.

С ним бывали невероятные случаи. Два или три раза он был женат на миллионершах. В Сербии несколько раз подготовляли заговоры для того, чтобы посадить его на престол, назначались дни его отъезда туда, все было готово, чтобы начать переворот. Но он неизменно просыпал эти моменты где-нибудь в кабаке — его не могли отыскать, и мятеж откладывался до отрезвления «короля», которое приходило иногда очень нескоро. Однажды его подняли зимой на улице и отвезли в морг. Из вечерних газет мы узнали о его смерти. Служащие «Эрмитажа» собрали деньги на венок и утром прочли в газете о часе и месте первой панихиды.

Вечером во время моего выступления открылась дверь, и «покойник» как ни в чем не бывало вошел в зал. Я подавился словом песни и чуть не упал от испуга. Оркестранты побросали инструменты. Оказалось, что его положили в морг холодным и без признаков жизни, с остановившимся от чрезмерной дозы морфия сердцем. Ночью он пришел в себя.

— Просыпаюсь,— рассказывал он,— в каком-то месте и не могу понять, где я. На мне белая простыня, вокруг меня лежат какие-то люди и тоже спят. Я сел. Захотелось закурить. Папиросы нашел в кармане, а спичек нет! Я слез со своего ложа, подошел к соседу, дернул за простыню. «Дайте,— говорю,— спичку, пожалуйста, закурить». Молчит. Я — к другому. Молчание. Я сел на цинковый стол и вдруг понял, что я в морге. Значит, меня приняли за мертвого, а я ночью от холода проснулся. Я бросился к окну. Смотрю — открыто. Я прыгнул в сад — и бегом. А навстречу журналисты, фотографы: «Не знаете, где тут князь Карагеоргиевич лежит?» — «А вот,— говорю,— в том флигеле направо!» И убежал.

Мы чуть с ума не сошли от его рассказа.

Умер он года через два в Ницце — от того же морфия...

Артистическая богема была представлена в Париже очень ярко. Но делилась она на две категории — профессионалов и любителей. В число профессионалов входили артисты оперы, балета и концертной эстрады, кроме того, была целая драматическая труппа, составленная из артистов МХТ, попавших с эвакуацией за границу, известная под названием «Пражской труппы». Эта труппа одно время работала в Чехословакии, Болгарии и Сербии. Затем часть артистов вернулась в Советский Союз, часть разъехалась по другим странам. Кое-кто попал в Ригу, где был настоящий сезонный русский драматический театр в течение целого ряда лет. В Париже остатки этой труппы давали время от времени спектакли, которые очень охотно посещались публикой. Благодаря этим спектаклям мы смогли познакомиться с пьесами советских драматургов, о которых мы даже не имели представления. Мы видели «Чужого ребенка» Шкваркина и от души хохотали, видели «Дни Турбиных» Булгакова — пьесу, которая заставила задуматься над своим положением многих отвоевавших и уже никому не нужных людей. Видели «Квадратуру круга» Валентина Катаева, «Врагов» Лавренева, «Заговор императрицы» Толстого и Щеголева и много других пьес.

Оперная деятельность была представлена целым рядом больших спектаклей, то в театре «Шанз-Елизе» с участием Федора Ивановича Шаляпина, то в других театрах. Несколько лет подряд большая оперная труппа под руководством Церетелли гастролировала по всей Европе, потрясая сердца испанцев, французов и англичан красотой музыки Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского.

Огромное место в артистической жизни Парижа занимал балет. Вначале он был раздроблен и существовало несколько

балетных группировок. Потом ярко определилась лидирующая труппа, известная под названием «Балета Монте-Карло». Эта труппа субсидировалась муниципальными властями Монте-Карло в течение ряда лет. В составе ее были Леонид Мясин, Жорж Баланчин, Войцеховский, Немчинова, Маргарита Фроман (сперва долго выступавшая в Королевском театре в Белграде) и целый ряд очень сильных молодых танцовщиков и балерин, подготовленных уже в эмиграции такими педагогами, как Кшесинская, Николаева, Легат и другие. Кшесинская создала изумительную Татьяну Рябушинскую, легкую, эфемерную,— «танцующий дух», как ее называла публика. У Легата училась обаятельная Баронова, необыкновенно женственная и нежная Туманова. Появился очень яркий характерный танцовщик Давид Лишин — гибкий и стройный, с лицом и прыжками юного фавна, талантливый Борис Князев и другие.

Кроме того, совершенно отдельно гастролировали, часто со своими собственными труппами, такие звезды, как Анна Павлова, Тамара Карсавина, Михаил Фокин, Вера Каралли, Александр и Клотильда Сахаровы и другие. Эти спектакли покоряли Париж. Я посещал их все. Со многими из артистов встречался. Я помню, например, премьеру «Балета Монте-Карло» в Париже, где мое место случайно оказалось рядом с Кшесинской и князем Андреем Владимировичем, ее мужем. Спектакль был большой художественной радостью. Начиная от декораций и костюмов, написанных гениальным Пикассо, до музыки Равеля, Стравинского и Прокофьева — все было необычайно. Когда на сцене появилась юная Рябушинская в светло-серой длинной классической пачке, с розовым венчиком на голове, легкая, бестелесная, неземная, воистину какой-то «дух божий», а не балерина, у меня захватило дыхание. Она танцевала «Голубой Дунай». Когда она кончила и зал задрожал от аплодисментов, я обернулся. Кшесинская плакала, закрыв рот платком. Ее плечи содрогались. Я взял ее за руку.

— Что с вами? — спросил я.

— Ах, милый Вертинский... Ведь это же моя юность танцует! Моя жизнь... Мои ушедшие годы... Все, что я умела и чего не смогла, я вложила в эту девочку. Всю себя. Понимаете? У меня больше ничего не осталось.

В антракте за кулисами она сидела в кресле и гладила свою ученицу по голове. А Таня Рябушинская, присев на полу, целовала ей руки.

— Вы правы, милый! — как-то сказала она на одном из моих концертов.— «Надо жить, не надо вспоминать!»

С Анной Павловой я встретился в «Эрмитаже». После ее спектакля в том же театре «Шанз-Елизе» она приехала со своим импресарио ужинать ко мне.

— Я приеду к вам в «Эрмитаж», дорогой,— сказала она за кулисами,— чтобы удовлетворить мой духовный голод — послушать вас, и мой физический тоже, потому что я голодна и ничего не ем в день спектакля!

Спектакль произвел на меня грустное впечатление. Правда, народу было множество, и принимали ее восторженно, но аплодировали уже явно за прошлое. Павлова была не та. Как ни больно, как ни грустно, но все мы, актеры,— смертные люди и имеем свои сроки. Наши таланты с годами гаснут, увядают, отцветают.

В этом большая трагедия актера. Правда, одно всегда остается с актером до конца его карьеры — это его мастерство. Но разве может мастерство, то есть рассудочность, техника, школа, заменить ушедший темперамент, вдохновение, взлет, восторг, интуицию?!

Актер — это вообще счастливое сочетание тех или иных данных и способностей. Актер — это аккорд. И если хоть одна нота в этом аккорде не звучит — аккорда нет и не может быть. Стало быть, нет и актера. Если бы у Шаляпина, например, был толстый живот и короткие ноги, он никогда не достиг бы той вершины славы, которая у него была. А ведь кажется, при чем тут рост или живот? Однако это очень важно. Актер должен быть по возможности совершенен. Во всяком случае, он должен обладать максимумом сценических данных. Когда актер стареет, у него стареет большей частью тело. Душа же часто остается такой же юной и горячей, как в дни его расцвета.

Дым стелется... след остается,
И полною грудью поется,
Когда уже не о чем петь! —

говорил Георгий Адамович в одном из своих стихотворений.

И это, к сожалению, так. Из божественного аккорда сценических сочетаний великой Анны Павловы выпало несколько очень заметных нот. Прежде всего — внешность. Она постарела, как бы усохла вся, ее фигура потеряла свою воздушность, свою «надземность». Это была, скорее, аскетическая фигура монахини, истязующей свою плоть, чем танцовщицы. Ее усталое, переработавшееся тело актрисы утратило эластичность и только привычно отзывалось на все посылы его обладательницы. Она как бы показывала, как нужно танцевать, но не танцевала.

После спектакля у меня в «Эрмитаже» мы ужинали втроем и сначала говорили о модных танцах.

— Это увлечение собственной походкой,— сказала Павлова.— Я совершенно не понимаю их. И не умею их танцевать,— улыбаясь, добавила она.— А вы умеете? — неожиданно задала она вопрос.

Я умел.

Я предложил ей потанцевать со мной. Мы выбрали танго и сошли на паркет. Она держалась прямо, по-балетному, и старательно повторяла мои движения. Я рассмеялся.

— Чему вы смеетесь? — спросила она.

— Мне странно, что я учу Анну Павлову танцевать,— отвечал я.

Она улыбнулась. Мы сели за стол и продолжали разговор. Говорили об Англии. Она рассказывала о своем доме в Лондоне, о своем парке, о пруде с лебедями, о газоне, который стригут два раза в неделю... И вдруг замолчала.

— Вы тоскуете по России? — тихо спросил я.

— Ужасно, мой друг, ужасно! До бессонницы, до слез, до головной боли, до отчаяния — тоскую! Я мерзну в этой холодной и чужой стране,— тихо сказала она.— Все, не задумываясь, я отдала бы за маленькую дачку с нашей русской травой и березками где-нибудь под Москвой или Петроградом.

На другой день она уехала в Англию. Вскоре после этого пришло известие о ее смерти.

С Тамарой Карсавиной мы повстречались в Варшаве. Однажды во время моих гастролей там почти одновременно появились на афишных столбах и ее анонсы. До этого я видел ее афиши в Берлине и в Вене, но она уехала до моего приезда, и повидать ее я не успел. Немцы называли ее «Ди Карсавина». Так пишут имена, ставшие уже нарицательными.

В Варшаве на гастроли Карсавиной моментально были раскуплены все билеты. Приехала она с Петром Владимировым, знаменитым в свое время танцовщиком — партнером многих петербургских балетных звезд.

Она была еще красива по-прежнему, но годы скитаний уже положили следы на ее прекрасное лицо. Усталость чувствовалась в ее танцах. Я заметил это на первом же спектакле.

За кулисами, в уборной, только что переодевшись в костюм Умирающего Лебедя, она встретила меня бурно и радостно:

— Ну, наконец, хоть одно родное лицо. Я так рада, милый, что вы здесь. Надоели мне чужие лица. Ни одного человека с родины!..

Она взяла меня за руки и, заглядывая в глаза, быстро заговорила:

— После спектакля вместе будем ужинать? Вы не уйдете? Пожалуйста! Вспомним Питер? А? Как жили! А теперь — ничего! Все потеряли. Пароходы... вагоны... Рыла какие-то свиные!.. Я только что из Германии!.. Пожалуйста! Ну, идите, уже звонок!..

В маленьком «Европейском» ресторане, устланном красными пушистыми коврами, мы сидели втроем в углу за пальмами — я, она и Владимиров — и говорили без умолку. Если кончал говорить один, начинал другой. О родных театрах, об актерах, о спектаклях, о живых и мертвых друзьях...

Иногда она брала мою руку и держала ее, рассказывая о чем-нибудь нежном и дорогом для нас обоих, точно боясь, что я уйду, не дослушав ее рассказа.

Тихо потрескивали зажженные канделябры. Я нарочно выбрал такой старомодный и нешумный ресторан, чтобы никто не мешал нам разговаривать.

Где-то далеко, в конце зала, тихо звенели гавайские гитары.

Я тихонько напел ей песню на стихи Георгия Иванова:

Над розовым морем вставала луна...

Карсавина молчала. Слезы струились по ее лицу.

— Как вы думаете, Саша, вернемся мы когда-нибудь на родину?

Получив уже два раза отказ на мои просьбы о возвращении, я уже не верил. Но мне не хотелось ее огорчать.

— Если заслужим,— сказал я.

Мы помолчали.

— Мне бы только в театр! — сказала она.— В наш театр!.. Хоть костюмершей. Хоть кассиршей.

— А мне бы хоть капельдинером,— попробовал пошутить Владимиров.

Никто не улыбнулся.

Гасли свечи. Оркестр прятал инструменты. Рояль накрывали, как покойника, чем-то черным.

Было невыразимо грустно. Я поцеловал ей руку, и мы расстались.

На парижском балетном горизонте самой интересной фигурой был, конечно, Сергей Лифарь. Его постановки в «Гранд Опера», где он был балетмейстером,— привлекали самую лучшую публику. На этих спектаклях можно было видеть весь цвет французской культуры. Лифарю удалось сгруппировать вокруг себя всю самую способную молодежь. Он занимался с молодыми по шесть — восемь часов в день и в результате создал французский балет.

Работа Лифаря была высоко оценена правительством: он получил французское подданство и считался на государственной службе. Если не ошибаюсь. У него был даже орден Почетного легиона, как у Шаляпина. Его триумфальные гастроли по Европе часто субсидировались государством.

Лифарь был стройный и смуглый, с большой примесью цыганской крови — «Цыганенок», как мы его называли. Меня познакомил с ним Иван Мозжухин, и мы встречались довольно часто. Он был начитан, образован. Зарабатывая огромные деньги, он тратил их на покупку материалов о Пушкине, еще не опубликованных в печати, его писем, стихотворений, рисунков. Эти реликвии он скупал у русской артистократии, иногда за очень большие деньги. Его коллекция представляла, видимо, большую ценность.

— Все это потом подарю родине! — говорил он, показывая нам драгоценные рукописи.

Своим триумфом в других странах русский балет во многом обязан Дягилеву. Лифарь написал книгу «20 лет с Дягилевым», в которой шаг за шагом показал творческий путь этого интересного и смелого новатора. Книга была иллюстрирована рисунками лучших художников.

Лифарь любил искусство и бережно относился ко всему, что с ним связано. На хорошие и редкие книги не жалел никаких денег. Он был, пожалуй, ярче Фокина, даже ярче Нижинского.

В частной жизни он был интересным собеседником, веселым партнером в компании, прекрасно играл на гитаре, знал очень старые, уже забытые цыганские песни и мастерски пел их, еще держа в памяти те самые, особые староцыганские аккорды, которыми аккомпанировали когда-то Варе Паниной ее братья. Твердо помнил все цыганские династии и точно разбирался в них. Имена всех этих Поляковых, Садовских, Масальских, Давыдовых он знал наизусть.

Однажды на парадном спектакле в парижской «Гранд Опера» он отказался танцевать, потому что не поставили

декорации, которые ему были нужны. На спектакле присутствовал президент республики, весь интерес был сосредоточен на выступлении Лифаря. Директор театра, торопясь начать спектакль, предложил танцевать в сукнах. Лифарь категорически отказался. Тогда директор объявил об этом со сцены. Получился скандал. Лифарю грозила отставка. На другой день его вызвали к президенту.

— Почему вы отказались выступать? — спросил президент.

— Я слишком люблю и ценю свое искусство, чтобы унижать его такими халтурными выступлениями, на которые меня толкали.

— Но ваше выступление стояло в программе. На спектакле присутствовал весь дипломатический корпус. В какое положение вы поставили дирекцию?!

— Я готов понести за это любое наказание,— упрямо отвечал Лифарь и протянул президенту прошение об отставке.

— Что же вы намерены делать, если я приму ваше прошение? — спросил президент.

— Я буду работать шофером такси!

Президент улыбнулся. Прошение не было принято, а директору «Гранд Опера» объявлен выговор.

Незабываемые вечера проводили мы с Иваном Мозжухиным в обществе Лифаря. Иногда с нами объединялся Федор Иванович Шаляпин, и тогда наши дружеские беседы тянулись до утра — не было сил расстаться. Как пел и плясал по-цыгански Лифарь! Как рассказывал Шаляпин! Как смешил Иван Мозжухин, показывая немое кино и вспоминая всякие уморительные эпизоды!

Мозжухин приехал в Париж с труппой Ермольева из Ялты, где снимался во время гражданской войны, и сразу занял видное положение в фильмовом мире. В то время у французов кинематография была развита очень слабо, крупных артистических величин не было. Ермольев же работал с братьями Пате, и его знали в Париже. Поэтому всю свою труппу, вывезенную из России, Ермольев влил в производство Пате. Русские актеры понравились. Французы сразу полюбили Мозжухина. За несколько лет он достиг необычайного успеха. Картины с участием Мозжухина делали полные сборы.

Наша встреча с ним в Париже была очень дружеской. Мы искренне обрадовались друг другу и уже почти не расставались на протяжении целого ряда лет.

Благодаря Мозжухину я невольно втянулся в фильмовые круги Парижа. Все свободное от концертов время я сни-

мался для кино вместе с ним то в Париже, то в Ницце, то в Берлине...

Однажды в Ницце ко мне подошел во время работы невысокого роста человек, одетый в турецкий костюм и чалму (снималась картина «1001 ночь»).

— Узнаете меня? — спросил он.

Если бы это был даже мой родной брат, то, конечно, в таком наряде и гриме я бы все равно его не узнал.

— Нет, простите.

— Я Шкуро. Генерал Шкуро. Помните?

В одну секунду в памяти вспыхнул вечер.

Екатеринодар. Белые армии отступают к Крыму. Концерт. Один из последних концертов на родине. Он уже окончен. Я разгримировываюсь, сидя перед зеркалом. В дверях уборной появляются два офицера в белых черкесках.

— Его превосходительство генерал Шкуро просит вас пожаловать к нему откушать после концерта!

Отказываться нельзя.

Я прошу обождать. Ночь. У подъезда штабная машина. Через пять минут я вхожу в освещенный зал.

За большими накрытыми столами — офицеры его сотни. Трубачи играют встречу. Из-за стола подымается невысокий человек с красным лицом и серыми глазами.

— Господа офицеры! Внимание! Александр Вертинский!

Аплодисменты встречают меня. Меня сажают за его стол. Начинается разговор... О песнях, о красных, о белых...

Какая даль! Какое прошлое! Я вспомнил, как «гуляла» его конница в «золотом степу».

Много крови зря пролил этот маленький человек. И какой крови! Понял ли он это хоть теперь?

Экзотический грим восточного вельможи скрывал выражение моего лица.

— Надо уметь проигрывать тоже!..— точно оправдываясь, протянул он, глядя куда-то в пространство.

Свисток режиссера прервал наш разговор. Я резко повернулся и пошел на «плато». Белым мертвым светом вспыхнули осветительные лампы, почти невидные при свете солнца... Смуглые рабы уже несли меня на носилках.

«Из премьеров — в статисты! — подумал я.— Из грозных генералов — в бутафорские солдатики кино!.. Воистину — судьба играет человеком».

Его тоже позвали. Он быстро шел к своей лошади, на ходу затягивая кушак. Всадники строились в ряды...

Я до сих пор не знаю, любил ли Мозжухин свое искусство.

Во всяком случае, он тяготился съемками, и даже на премьеру собственного фильма его нельзя было уговорить пойти. Зато во всем остальном он был живой и любознательный человек. От философских теорий до крестословиц — его интересовало все. Необычайно общительный, большой «шармер», веселый и остроумный, он покорял всех. Мозжухин был широк, щедр, очень гостеприимен, радушен и даже расточителен. Он как бы не замечал денег. Целые банды приятелей и посторонних людей жили и кутили за его счет. В частых кутежах он платил за всех. Деньги уходили, но приходили новые. Жил он большей частью в отелях, и, когда у него собирались приятели и из магазинов присылали закуски и вина, ножа или вилки, например, у него никогда не было. Сардины вытаскивали иэ коробки крючком для застегивания ботинок, а салат накладывали рожком от тех же ботинок. Вино и коньяк пили из стакана для полоскания зубов. Ели прямо с бумаги, а купить хоть одну тарелку, нож и вилку ему не приходило в голову. Он был настоящей и неисправимой богемой, и никакие мои советы и уговоры на него не действовали.

Иван буквально сжигал свою жизнь, точно предчувствуя ев кратковременность. Вино, женщины и друзья — это главное, что его интересовало. Потом книги. Он никого не любил. Может быть, только меня немного, и то очень по-своему. У нас было много общего в характере, и в то же время мы были совершенно различны.

— Ты мой самый дорогой, самый любимый враг! — полушутя-полусерьезно говорил он.

Из Парижа Мозжухин попал в Америку. В Голливуде, где скупали знаменитостей Европы, как товар, им занимались мало. Американцам важно было снять с фильмового рынка звезду, чтобы пустить свои картины. Так они забрали всех лучших актеров Европы и сознательно портили их, проваливая у публики. Попав в Голливуд, актеры незаметно сходили на нет. Рынок заполняли только американские звезды.

Когда Иван приехал в Голливуд, его выпустили в двух-трех неудачных картинах. Американская публика невэлюбила его. Он вернулся в Европу. Здесь он еще играл несколько лет то во Франции, то в Германии. Но карьера его уже шла к закату.

Звуковое кино окончательно убило Мозжухина. Он не знал ни одного языка. Несколько попыток сыграть в звуковых фильмах не увенчались успехом, да кроме того от слишком широкой жизни на лице его появились следы, скрыть которые не мог уже никакой грим. Он старел. К говорящему кино он

пылал ненавистью. Я расстался с ним в 1934 году, уехав в концертное турне по Америке. Расстались мы холодно, поссорившись из-за пустяка. Больше я его не видел.

Я был в Шанхае, когда пришло сильно запоздалое известие о том, что у Мозжухина скоротечная чахотка, что он лежит в бесплатной больнице — без сил, без средств, без друзей... я собрал всех своих товарищей — шанхайских актеров, и мы устроили в «Аркадии» вечер, чтобы собрать Мозжухину деньги на лечение и переслать их в Париж. Шанхайская публика тепло отозвалась на мой призыв. Зал «Аркадии» был переполнен. В разгар бала, в час ночи, из редакции газеты нам сообщили, что Мозжухин скончался.

Продолжать программу я уже не мог. Меня душили слезы...

Умирал Иван в Нейи, в Париже. Ни одного из его бесчисленных друзей и поклонников не было возле него. Пришли на похороны только цыгане, бродячие русские цыгане, певшие на Монпарнасе.

С Федором Ивановичем Шаляпиным я не был лично знаком в России. Это понятно. Во времена его блистательного расцвета я был еще юношей, а когда стал актером, то встретиться не пришлось. Да кроме того, все мое пребывание на российской сцене продолжалось меньше трех лет.

В 1920 году я был уже за границей, где и проходила моя дальнейшая театральная карьера. В 1927 году я приехал в Париж. Была весна. На бульварах цвели каштаны, на Пляс-де-ля-Конкорд серебряными струями били фонтаны. Бойкие и веселые цветочницы предлагали буквтики пармских фиалок. Огромные толпы фланирующих парижан заполняли тротуры и террасы кафе. Гирлянды уличных фонарей только что вспыхнули бледновато-голубым светом. Сиреневатое облако газолинового угара и острый запах духов стояли в воздухе.

Каждая страна имеет свой особый запах, который вы ощущаете сразу при въезде в нее. Англия, например, пахнет дымом, каменным углем и лавандой, Америка — газолином и жженой резиной, Германия — сигарами и пивом, Испания — чесноком и розами, Япония — копченой рыбой. Запах этот запоминается навсегда, и, когда хочешь вспомнить страну, вспоминаешь ее запах. И только наша родина, необъятная и далекая, оставила на всю жизнь тысячи ароматов своих лугов, полей, лесов и степей...

Итак, Париж пах духами.

Я сидел на террасе парижского кафе Фукье и любовался городом. Он был необыкновенно красив в эти предвечерние часы, когда электричество еще не победило свет уходящего дня.

Толпа шумела за столиками. Неожиданно все головы повернулись вправо. Из большой американской машины выходил высокий человвк в светло-сером костюме. Он шел по тротуару, направляясь к кафе. Толпа сразу узнала его.

— Шаляпин! Шаляпин! — пронеслось по столикам.

Я оглянулся. Он стоял на фоне заката — огромный, великолепный, ни на кого не похожий, на две головы выше толпы, и, улыбаясь, разговаривал с кем-то. Его обступили — всем хотелось пожать ему руку. Меня охватило чувство гордости за него. «Только Россия может создавать таких колоссов,— подумал я.— Сразу видно, что вошел наш, русский артист! У французов — таких нет. Он — точно памятник самому себе...»

Мне тоже захотелось подойти к Шаляпину и заговорить с ним. Я выждал время, подошел, представился, и с того дня, почти до самой его смерти, мы с Федором Ивановичем были друзьями.

Выступления Шаляпина в Париже обставлялись оперной дирекцией Церетелли с небывалой роскошью.

Первым шел «Борис Годунов».

Как пел Шаляпин! Как страшен и жалок был он в сцене с призраком убитого царевича! Какой глубокой тоской и мукой звучали его слова: «Скорбит душа!..» И когда в последнем акте он умирал, заживо отпеваемый церковным хором под звон колоколов, волнение и слезы душили зрителей. Люди привставали со своих мест, чтобы лучше видеть, слышать. Он умирал, мятежный, все еще страшный, все еще великолепный, как смертельно раненный зверь. И публика рыдала, ловя его последние слова...

Для меня лично опера немыслима без Шаляпина.

На авеню д'Эйла у Федора Ивановича был собственный дом. Три этажа квартир сдавались, а на четвертом жил он сам.

Шаляпин очень гордился своим домом, хотя дохода он никакого не давал. Прямо при входе в гостиную висел его большой портрет в шубе нараспашку, в меховой шапке — работы Кустодиева. В комнатах было много ковров и фотографий. В большой светлой столовой обычно после спектакля уже ждал накрытый стол, множество холодных блюд, вина, коньяки. Неизменно Федор Иванович угощал нас салатом с диковинным названием «рататуй». Что значило это слово,

никто не знал. Он любил волжско-камские словечки. Кроме вина и коньяка, он ничего не пил. Поэтому и то и другое у него было в большом количестве и самых редких сортов. Он любил угощать знатоков. Особыми знатоками мы с Иваном Мозжухиным, конечно, не были, но притворялись знатоками довольно удачно.

Его сыновья Борис и Федор редко сидели с нами. Борис был художником и работал много и упорно в своей мастерской, а Федор увлекался кино и мечтал о Голливуде, куда впоследствии и направился. Дочери уже повыходили замуж и жили отдельно, и только Дася, самая младшая, жила с отцом и матерью. Она была любимицей отца.

Шаляпин любил семью и ничего не жалел для нее. А семья была немалая — десять человек детей. Он работал для семьи. Три раза он зарабатывал себе состояние. Первый раз в царской России — это все осталось там после его отъезда. Второй раз за границей. Объездив весь мир, получая большие гонорары, он был уже почти у цели.

— Еще год-два попою и брошу! — говорил он мне.

Во имя этой идеи он работал, не щадя своих сил. Гонорары его в то время были очень велики. Как-то, возвратившись из Америки, он со смехом рассказывал нам один забавный эпизод, происшедший с ним, кажется, в Чикаго.

Один из местных миллионеров давал большой прием у себя в саду. Желая доставить своим гостям удовольствие, миллионер решил пригласить Шаляпина. Заехав к нему в отель, он, познакомившись, осведомился о цене.

Шаляпин спросил с него десять тысяч долларов за выступление. Миллионера возмутила эта цифра. Десять тысяч за два-три романса!

Это было поистине сказочно много! И вот, чтобы сохранить лицо и чтобы задеть Шаляпина, он сказал:

— Хорошо, я заплачу вам эту сумму, но в таком случае я не могу пригласить вас к себе в дом наравне с остальными гостями. Вы не будете моим гостем и не сможете сидеть за нашим столом. Вы будете петь в саду, в кустах!

Шаляпин рассмеялся и согласился.

В назначенный вечер он нарочно приехал в самом скромном и старом своем костюме («Все равно меня никто не увидит») и пел как ни в чем не бывало. Гости, бросив накрытый стол, кинулись в сад и, окружив в кустах Шаляпина, выражали ему свой восторг. Миллионер был посрамлен. А деньги Федор Иванович получил вперед.

Иногда он начинал мечтать вслух:

— Вот землицу я купил в Тироле. Хорошо... Климат чудесный. Лес, горы, снег, на Россию похоже. Построю дом с колоннами и баню... обязательно баню. Распарюсь — и в снег... А снегу там много... Ты с Иваном ко мне приедешь отдыхать, ладно? И бар у меня будет... А ты знаешь, как я назову его — «Барбар-бар»... по-русски выходит «варварский бар». Пить с утра будем! Как скифы!

У него была вилла в Сен-Жан-де-Люс, на юге Франции. Но он не любил ее. Шаляпина тянуло к родным берегам Волги, и он искал в Европе место, которое по своему виду и климату напоминало бы ему Россию.

Все почти свои деньги, сделанные им за границей, он держал в американских бумагах. Состояние его было огромно. Но в один прекрасный день, очень памятный для многих, случился крах. Это была знаменитая «черная пятница» на нью-йоркской бирже. В этот день многие из миллионеров стали нищими. Почти все потерял и Шаляпин. Пришлось сызнова составлять состояние, чтобы обеспечить семью.

В третий раз начал Федор Иванович упорно работать. Но годы брали свое. Он устал. Сборы были уже не те. Гонорары сократились. Он уже пел подряд, город за городом. И не выбирал места своих гастролей.

Только этим и объяснялся его приезд в Шанхай и Харбин. Это третье состояние едва ли было большим, и начал он его делать поздно.

Однажды мы сидели с ним в Праге, в кабачке у Куманова, после его концерта. С нами было несколько журналистов и друзей. После ужина Шаляпин взял карандаш и начал рисовать на скатерти. Рисовал он довольно хорошо. Когда ужин кончился и мы расплатились, хозяйка догнала нас уже на улице. Не зная, что это Шаляпин, она набросилась на Федора Ивановича, крича:

— Вы испортили мне скатерть! Заплатите за нее десять крон!

Шаляпин подумал.

— Хорошо,— сказал он,— я заплачу десять крон, но скатерть возьму с собой!

Хозяйка принесла скатерть и получила деньги, но, пока мы ждали машину, ей уже объяснили, в чем дело.

— Дура,— сказал ей один из ее приятелей,— ты бы вставила эту скатерть в раму под стекло и повесила в зале как доказательство того, что у тебя был Шаляпин. И все бы ходили к тебе и смотрели.

Хозяйка вернулась к нам и протянула с извинением десять крон, прося вернуть скатерть обратно.

Шаляпин покачал головой.

— Простите, мадам,— сказал он,— скатерть моя. Я купил ее у вас. А теперь, если вам угодно ее получить обратно... пятьдесят крон!

Хозяйка безмолвно заплатила деньги.

Без преувеличения можно сказать — ни один артист в мире не имел такого абсолютного признания, как Шаляпин. Все склонялись перед ним. Его имя горело яркой звездой. Тех почестей, тех восторгов, которые выпали на его долю, не имел никто. И только один раз за всю свою жизнь, уже в самом конце ее, за год или два до смерти, в Шанхае, он смог убедиться в том, чего раньше ему не приходилось знать,— в человеческой неблагодарности, злобе, зависти и бессердечности толпы, той толпы, которая, как зверь, лежала у его ног столько лет, покоренная им...

В Шанхай Шаляпин приехал из Америки в 1935 году. На пристани его встречала толпа. Местная богема, представители прессы, фотографы. В руках у публики были огромные плакаты: «Привет Шаляпину».

Журналисты окружили его целым роем. Аппараты щелкали безостановочно. Какие-то люди снимались у его ног, прижимая лица чуть ли не к его ботинкам. Местные колбасники слали ему жирные окорока, владельцы водочных заводов — целые ведра водки. Длиннейшие интервью с ним заполняли страницы местных газет...

Он приехал с женой, с дочерью, с менеджером, пианистом и секретарем. Интервьюировали не только его, но и всех его окружающих. Даже, кажется, его бульдога. Просили на память автографы, карточки...

Приехал Федор Иванович больным и сильно переутомленным, как и всякий артист в конце своей карьеры. Естественно, что это был не тот Шаляпин, которого знали те, кто слышал его в России. Но это был Шаляпин!

Обыватели ждали, что он будет своим басом тушить свечи, они принесли с собой в театр вату — затыкать уши, чтобы предохранить барабанные перепонки от силы его голоса. И вдруг — разочарование!

— Поет самым спокойным голосом, даже иногда тихо...

— И за что только такие деньги берут?!

— А сборы какие!

Роптали, но повышать голос боялись. Неудобно. Еще за дураков посчитают.

У местных благотворителей разыгрывался аппетит. Однажды к нему явилась делегация с просьбой спеть бесплатно концерт, а весь сбор отдать им. Шаляпин отказал...

Артист, подписавший договор с антрепренером, не мог петь бесплатно. А расходы антрепренера? А пароходные билеты из Америки на шесть человек? А отели, а реклама театра, а все остальное? Но это никого не интересовало. Нужно было «рвануть сумму», а такой случай не часто бывает.

Вот тут-то и началось.

Верноподданные газеты, расстилавшие свои простыни перед его ногами, подняли невообразимую ругань. Целые ушаты помоев выливались ежедневно на его седеющую голову.

Около театра, на улице, прохожим раздавали летучки с заголовками:

«Русские люди!
Шаляпин — враг эмиграции!
Ни одного человека на его концерт!
Бойкотируйте Шаляпина!
Ни одного цента Шаляпину!»

Не знаю, читал ли эту летучку Федор Иванович, но на другой день он уехал.

Так вымазал дегтем его подножие «русский» Шанхай...

За день до отъезда Федора Ивановича я сидел у него в «Катей-отеле». Была ранняя весна. В открытые окна с Вампу тянуло теплым, ласковым ветерком. Было часов семь вечера. Кое-где на Банде уже зажигались огни. Шаляпин был болен. Он хрипло кашлял и кутал горло в теплый шерстяной шарф.

Своим обликом, позой он был похож на умирающего льва.

Острая жалость к нему и боль пронзили мое сердце. Слезы неожиданно брызнули из моих глаз. Будто чувствуя, что больше никогда его не увижу, я опустился около его кресла и поцеловал ему руку...

Париж — город заветных желаний очень многих, как Голливуд — мечта будущих актрис и актеров. Поэтому сюда со всех концов мира съезжались художники и артисты в надежде сделать карьеру или учиться. Но только очень немногие обращали на себя внимание публики. Париж трудно удивить чем-нибудь.

Русских художников в Париже было не так много. Были Константин Коровин, Борис Григорьев, Василий Шухаев, Алек-

Венчание в соборе
26 мая 1942 года.
Шанхай.

Семейные фото.
Москва. 1944 год.

А. Вертинский
с дочерьми
Марианной
и Анастасией
на первомайском
параде.

А. Вертинский.
Москва. 1940-е годы.

Центральный Дом работников искусств. Конец 1940-х годов.

А. Вертинский (справа), В. Марецкая, В. Качалов.

И. Юрьева (справа), И. Козловский с женой Т. Сергеевой, Р. Зеленая, М. Брохес, А. Вертинский, А. Зуева.

А. Вертинский.
Всероссийское театральное общество.
Конец 1940-х годов.
— ■ женой Лидией Владимировной,
— на концерте,
— ■ антракте.

А. Вертинский.
Москва. 1949 год.

А. Вертинский.
Москва. 1950 год.
После концерта.

Кадры из фильма «Заговор обреченных». 1951—1952 годы. В роли кардинала А. Вертинский.

Дома в кабинете.

Дочери А. Вертинского — Марианна и Анастасия — у рояля. Москва. 1951 год.

Анастасия с отцом на концерте.

Дом ученых. Москва. 1949 год.
А. Вертинский с женой Лидией Владимировной и писателем Львом Никулиным.

◀ Александр Николаевич сопровождает Анастасию в школу. 1951 год.

Кинофильм
«Анна на шее».
В роли князя
А. Вертинский.

На набережной Ялты.
1954 год.

Кинофильм
«Пламя гнева».
А. Вертинский в роли
монаха-иезуита.

Дома у рояля.
1954 год.

А. Вертинский
в ролях из кинофильмов
«Олеко Дундич» и «Пламя гнева».

Станция «Отдых». 1956 год.
На даче со старшей дочерью
Марианной.

Александр Николаевич и Лидия Владимировна на даче. 1956 год.

Сестры — Марианна и Анастасия Вертинские.

сандр Яковлев, приезжали Бенуа, Судейкин и Сомов. Очень большое внимание обращал на себя молодой художник-декоратор Борис Билинский. Григорьев выпустил книгу гравюр под названием «Расея». Эта монография имела большой успех. В ней он мастерски изобразил иконописные древние лица русских стариков и старух, богомольцев, нищих и странников.

Александр Яковлев был приглашен дирекцией знаменитой автомобильной фирмы «Ситроен», организовавшей экспедицию-пробег в Африку. Его путевые альбомы и зарисовки показывали потом на выставке экспедиции, устроенной фирмой в Париже. Александр Бенуа оформил несколько балетных и оперных постановок. Константин Коровин — тоже.

И на Монмартре и на Монпарнасе во многих русских кабачках пели цыгане. Пела знаменитая в свое время в России Настя Полякова, обладательница чудесного густого контральто, настоящий «цыганский соловей», похожая по манере пения на покойную Варю Панину, пели Нюра Масальская, Давыдова и другие. На Монпарнасе пели цыгане — тоже русские — Димитриевичи. Пели они слабо, но зато плясали необыкновенно. Их хор одно время восхищал парижан, самые большие парижские газеты посвящали им целые статьи.

Табор Димитриевичей попал во Францию из Испании. Приехали они в огромном фургоне, оборудованном по последнему слову техники, с автомобильной тягой. Фургон они получили от директора какого-то бродячего цирка в счет уплаты долга, так как цирк прогорел и директор чуть ли не целый год не платил им жалованья.

Их было человек тридцать. Отец, глава семьи, человек лет шестидесяти, старый лудильщик самоваров, был, так сказать, монархом. Все деньги, зарабатываемые семьей, забирал он. Семья состояла из четырех его сыновей с женами и детьми и четырех молодых дочек. Попали они вначале в «Эрмитаж», где я работал. Сразу почувствовав во мне «цыганофила», Димитриевичи очень подружились со мной. Из «Эрмитажа» они попали на Монпарнас, где и утвердились окончательно в кабачке «Золотая рыбка».

Иван Мозжухин любил цыган не меньше меня и очень скоро также сделался другом этой семьи.

Однажды цыгане попросили Ивана быть крестным отцом. Иван согласился. Был приглашен и я.

На другой день часов в пять вечера мы приехали в церковь на Рю Дарю. Была зима. Церковь стояла нетопленой

и пустой. Десяток восковых свечей освещал темные лики угодников. Дьячок хрипло кашлял в алтаре, прочищая голос. Цыгане пошли торговаться со священником, а мы с Иваном переминались с ноги на ногу, озябшие, плохо выспавшиеся.

Иван злился. Он не любил семейных праздников. Отказаться ему было неловко, но настроение у него было сильно испорчено. К тому же, пока разыскивали магазин, где можно было купить крестильную рубашечку и крест, мы окончательно замерзли.

Около нас крутился мальчишка-подросток лет четырнадцати.

— А где же ребенок? Кого крестить? — мрачно спросил Иван.

Подросток взглянул исподлобья и нехотя процедил:

— Я ребенок! Меня и крестить!

Иван сразу развеселился.

— Водку пьешь? — неожиданно спросил он.

— Пью!..

Мы взяли «ребенка» за руку и пошли напротив, в ресторанчик «Петроград». Там нам налили три большие рюмки и дали пирожков. Подкрепившись, мы вернулись в церковь. Все было готово к обряду. Посреди церкви стояла купель, окруженная горящими свечами.

— Раздевайся! — приказал отец.

«Ребенок» нахмурился.

— Не полезу я в нее! — твердо заявил он.— Холодно!

Никакие доводы, увещевания и подзатыльники не помогли. Пришлось ограничиться окроплением головы и помазанием.

— А как же рубашечка? — ехидно спросил я Ивана.

— Останется для моих будущих детей! — серьезно ответил он и спрятал ее в карман.

Крестник, получив крест, долго его рассматриввл, будто не веря, что он золотой. Для большей достоверности он даже попробовал его на зуб.

После крестин мы сели в машины и поехали к цыганам. Они жили за городом, снимая старый особняк где-то в лесу. На втором зтаже в большой столовой был накрыт огромный стол, ломившийся от яств и напитков. Приглашенных было множество. Цыгане по широте души позвали всех знакомых. Тут были и музыканты, и художники, и журналисты.

Старый папаша, как патриарх, с седой бородой, сидел во главе стола в еще довоенном русском армяке, увешанном какими-то зкзотическими медалями, скупленными по случаю...

Приблизительно в то же время в Париже произошло событие, сильно взволновавшее всю русскую колонию, особенно украинцев. Тремя выстрелами из револьвера был убит на улице небезызвестный в свое время украинский атаман Симон Петлюра. Бежавший от народной расправы, он поселился в Париже, где и доживал свои дни, меняя золотые «карбованцы», награбленные во время своего лихого атаманства.

За неимением «вождей» немногочисленная украинская колония поддерживала его. Изредка в газетах мелькали небольшие заметки о том, что «атаман Петлюра прочтет доклад о несчастном украинском народе, страдающем от ига большевиков» и столь пышно процветавшем под его владычеством.

На эти доклады собиралась кучка «щирых самостийников» — человек тридцать, в вышитых крестиком сорочках, с усами а ля Тарас Бульба. Прослушав «батькин доклад», они усаживались тут же пить горилку, которую им, впрочем, с успехом заменял в изгнании французский кальвадос.

«Батько» садился с ними вместе и напивался до бесчувствия, закусывая «басурманскую» горилку соленым огурцом и сладкими воспоминаниями...

Выстрелы прозвучали неожиданно. Чувствуя себя в полной безопасности во Франции, «батько» свободно гулял по Парижу.

Убил его маленький тщедушный портной или часовщик не то из Винницы, не то из Бердичева — некий Шварцбард. Встретил на улице, узнал и убил. Судили его с присяжными. Надежд на оправдание, конечно, не было никаких, потому что французский суд оправдывает только за убийство по любви или из ревности. Однако на суде появилось много добровольных свидетелей этого маленького человека, которые развернули перед судьями такую картину зверств атамана на Украине, что французские судьи заколебались. Кто только не прошел перед глазами судей! Тут были люди, у которых Петлюра расстрелял отцов, матерей, изнасиловал дочерей, бросал в огонь младенцев...

Последней свидетельницей была женщина.

— Вы спрашиваете меня, что сделал мне этот человек? — заливаясь слезами, сказала она.— Вот!..— Она разорвала на себе блузку, и французские судьи увидели — обе ее груди были отрезаны.

Шварцбард был оправдан.

Мои цыгане тоже были свидетелями. Они кричали на суде и били себя в грудь, рассказывая о замученных двух братьях,

об отнятых конях, о сожженных родственниках. Их гнев был страшен. Девчонки рыдали, вспоминая то, что они видели еще детьми. Братья показывали красные рубцы — следы пыток. Их еле увели из зала суда.

Последним годом моего пребывания во Франции был 1933-й. Это был год больших крахов. Кабинеты министров летели один за другим. Целый ряд видных лиц, начиная от общественных деятелей и финансистов и кончая министрами, попали в скандальные истории.

Беспримерные по изощренности и садизму убийства совершались чуть не ежедневно. В знаменитом Булонском лесу находили изуродованные трупы людей, то изрезанных на куски, то облитых бензином и сожженных. Не успевало утихнуть возбуждение публики от одного убийства, как другие, еще более ужасные и извращенные, заменяли его на страницах газет. Париж волновался и негодовал.

Только что затих шум от убийства директора Мулен Ружа Вольтера, совершенного на сексуальной почве. Убийцу «не нашли». Но имя его было известно всем. Дело было замазано. На смену этому убийству пришло новое: в Булонском лесу был найден новый труп. Банкир Местерино убил артельщика банка, пришедшего получать с него по векселям 500 тысяч. Векселя исчезли, труп, разрезанный на куски, находили по частям то в Булонском лесу, то в Фонтенбло. Ювелир Лансель убил любовника своей жены. Семнадцатилетняя Виолет Нозьер, отравившая отца, получила в тюрьме несколько тысяч писем с предложениями руки и сердца. Русский официант застрелил содержателя своей жены адвоката Домбровского...

На женщин тратились безумные деньги. Целые состояния швырялись к их ногам. Конкуренция между ними достигла небывалых размеров. Если одна делала для своего «Роллс Ройса» серебряный капот, то другая делала его из платины. Только одна левая рука моей приятельницы, фильмовой актрисы Р., была застрахована на несколько миллионов франков, потому что от плеча до кисти была покрыта бриллиантовыми браслетами огромной цены. Женщины красили волосы в рыжие, красные, зеленые цвета, ногти окрашивали золотом, серебром или в черные, белые, розовые тона. Парижские портнихи Шанель, Лянвен, Молине ездили в Африку, в Тимбукту, на Гонолулу, в Индию набираться красок и впечатле-

ний и, вернувшись, доводили моду до абсурда. Платья были то полуголыми, яркими и кричащими, то закрытыми, мистическими и строгими, в зависимости от того, каких впечатлений набралась его создательница.

Морис Декобра писал экзотические романы из жизни маньяков, миллионеров и принцев. За романы платили сотни тысяч. Где-то в Париже у него был дом, построенный по его вкусу. Одна комната представляла из себя спальный вагон, другая — кабину океанского парохода. Иначе он не мог «творить», вдохновение не приходило к нему.

Знаменитый парикмахер Антуан — король дамских причесок, создатель всех «бубикопфов» и прочих волосяных мод — спал в хрустальном гробу, как Белоснежка, чтобы «острее чувствовать». На прогулках в Булонском лесу он показывался с двумя борзыми собаками, волнистую шерсть которых он окрашивал каждую неделю то в розовый, то в жемчужный, то в бледно-голубой цвет.

Русский миллионер Леон Манташев, бывший нефтяной король, договорился с английским королем нефти сэром Генри Детердингом о «компенсации» ему, как бывшему собственнику нефтяных участков на Кавказе, за нефть, купленную Детердингом у Советского правительства. Только пять процентов общей суммы, выданные ему авансом, составляли несколько десятков миллионов. Манташев жил широко, славился своими кутежами на весь Париж. Его конюшни были одними из лучших во Франции, и его лошади брали первые места на дерби.

Кроме Манташева, был еще целый ряд «королей» помельче, которые тоже получали от Детердинга миллионные субсидии за «свою нефть» на Кавказе. Знаменитый Тапа Чермоев проживал около десяти миллионов в год и содержал целую свору племянников, которые очень «шумели» в Париже своими похождениями.

Как-то в доме у Браиловских я познакомился с французским сенатором Клоцем. Очень светский, чопорный старичок произвел на меня самое отрадное впечатление. В течение всего обеда я беседовал с ним о Советской России, доказывая ему преимущества и силу новой, советской морали перед старой, догнивающей моралью Запада.

Старичок иронически улыбался и отвечал мне так, как отвечают детям, задающим наивные вопросы, очень занятые люди. Через несколько месяцев очаровательный старичок сел в тюрьму за подделку векселей. Его погубила любовница — молодая девчонка, к которой он воспылал поздней страстью.

Скандал был на всю страну. Его жена и взрослые дети вынуждены были уехать из Франции. Сам он вскоре не то застрелился, не то повесился.

Последним кабинетом министров в это время был кабинет Шотана. Вокруг всесильных «львиц» группировались финансисты, политики, темные дельцы, авантюристы. Знаменитая Марта Анно, директриса банка мелких вкладчиков, только что ограбила целый класс населения, объявив себя банкротом. Ее клиентами были мелкие служащие, «ля пти буржуа», рабочие. Сев в тюрьму, она оттуда еще грозила правительству разоблачениями и вскоре была выпущена по просьбе некоторых своих клиентов, слепо веривших в ее «гениальность», и под нажимом тех влиятельных лиц, у которых рыльце было в пуху.

Коммунистические газеты и листовки клеймили целый ряд министров и депутатов, доказывая, что они продажны, что они держат половину своих капиталов в Германии и т. д. Огромные толпы собирались у заборов, читая их. Народ кипел от негодования. В густой массе беженцев из Германии, изгнанных Гитлером, незаметно уже была «импортирована» знаменитая «пятая колонна». И работала вовсю. То в палате депутатов, то в сенате ежедневно вспыхивали скандалы. Атмосфера была накалена до крайности.

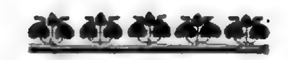
Как-то в «Казанове» мне пришлось познакомиться с элегантным седеющим джентльменом, приехавшим выпить бутылку вина со своей дамой. Дама была знаменитой опереточной актрисой Ритой Георг, с которой я был знаком по Вене. Джентльмен оказался также весьма известным дельцом Александром Стависским. Говорили о его сказочном состоянии, о его крупной игре в Монте-Карло, о том, что он «работает» с самыми большими людьми в правительстве. Среднего роста, немолодой, он имел те подчеркнуто прекрасные манеры, которыми отличаются очень опытные светские шулера и авантюристы. Его красавица жена совсем недввно взяла первый приз за самый красивый экипаж на карнавале в Ницце.

Рита Георг познакомила меня с ним. Он немного говорил по-русски, потому что, очевидно, был выходцем из Польши. Наша беседа касалась исключительно театра. Ставиский «субсидировал» гастроли Риты Георг в парижской оперетте. Он выказал себя большим знатоком театрального искусства и говорил, что, как только освободится от «дел», обязательно выстроит в Париже театр для иностранных артистов.

Через месяц нарыв лопнул. Раскрылась величайшая афера с ломбардами. Войдя в контакт с дирекцией нескольких из них, он закладывал простые стекла под видом изумрудов и бриллиантов. За эти стекляшки ему выдавали миллионные ссуды. В этом деле был замешан ряд таких высокопоставленных лиц, что доводить это дело до суда было невозможно. Стависский бежал. Агенты Сюрте-Женераль поймали его где-то на границе и предложили ему покончить с собой. Он застрелился.

Газеты подняли шум. Наэлектризованная толпа высыпала на улицы. Стали раздаваться речи с призывом к низвержению власти, по Пляс-де-ля-Конкорд толпа двинулась к Палате депутатов, стали опрокидывать автобусы и трамваи. Начиналась революция. На некоторых бульварах уже строили баррикады. Весь Париж вышел на улицу.

Не надеясь больше на декоративных «гард мобиль» — жандармов в медных касках с конскими хвостами, Палата потребовала броневики. Это было беспримерно! Народные депутаты под защитой броневиков! Префекту Кьяппу было поручено подавить восстание. Он подавил его весьма круто и безжалостно: было много убитых и раненых. Париж долго не мог успокоиться.



Палестина

Огромный французский пароход «Теофиль Готье» увозил меня из Марселя. У меня имелся ангажемент на ряд концертов в Палестине.

Был самый жаркий месяц лета — июль, и Средиземное море было тихим и ровным, как озеро. Мы миновали уже Корсику и Сардинию и подходили к Александрии. На пристани наш пароход облепили арабы в белых костюмах и красных фесках, они шумели и кричали на своем гортанном языке как-то особенно яростно и исступленно, как будто случилось какое-то несчастье или все они перессорились между собой.

Солнце жгло нестерпимо. Надо было купить пробковый шлем, иначе можно получить солнечный удар. Я взял проводника и поехал в город.

Александрия, со своими ослепительно белыми домами, сотнями минаретов и массой зелени, очень красива. Я люблю Восток — он ярче и красочнее Запада и больше радует глаз. Оттуда медленнее исчезает быт, и еще можно помечтать о сказках детства, глядя на его сахарные города. Зеленые верхушки пальм, красные фески, много белого — все это так напоминало мне Турцию, к которой я был неравнодушен. Такие же шумные пестрые базары, такие же примитивные кафе прямо на тротуарах, лавки ковров, ярких, много цветных и нежно-пастельных, бледно-розовых с серым, бледно-голубых. Такие же мудрые бородатые старики в зеленых тюрбанах, с сухими строгими лицами. Только цвет кожи другой, чем у турок.

По базарам бегали голые по пояс толстые евнухи, предлагая всякий мелкий товар, вроде ножей, подтяжек, металлических портсигаров или янтарных мундштуков и бус. Иногда, впрочем, это были лотерейные билеты. О евнухах я читал только в сказках и был потрясен видом этих толстых женщин-мужчин.

В магазинах сидели необычайно спокойные и ленивые арабы и совсем не спешили торговать.

В одном из магазинов мне понравились четки. Они висели довольно высоко, на третьей полке.

— Покажи мне эту нитку! — сказал я хозяину через проводника.

Хозяин поднял глаза вверх и, пробормотав что-то, продолжал курить кальян.

— Что он сказал? — спросил я проводника.

— Он сказал: «Если тебе нравится эта вещь, полезай сам на лестницу и достань ее».

Это было совсем не похоже на Европу. Там приказчик сам закидывает вас товаром, предлагая купить.

Пришлось лезть самому. Четки стоили очень дорого. Поторговавшись с ним, я решил их не покупать, твердо остановившись на предложенной ему цене. Но араб стоял на своем.

«Ну что ж, не надо!» — подумал я и, положив нитку на прилавок, повернулся, чтобы уйти.

Несколько фраз, брошенных мне вслед, заставили меня обернуться.

— Что он сказал? — спросил я проводника.

— Он сказал, чтобы ты полез на лестницу и повесил вещь туда, откуда ты ее взял!

Я рассмеялся и кротко исполнил приказание.

«Какая восхитительная лень! — думал я.— Вот уж они никуда не торопятся. Не то что у нас в сумасшедшей Европе, где, если на секунду зазеваешься, переходя улицу, тебя переедет автомобиль или автобус. Здесь совсем другие темпы».

Потом я был в музее, где в великолепных саркофагах спят тысячи лет блистательные фараоны Египта. Забинтованные в какие-то особые ткани, они разрисованы поверх этих бинтов и забальзамированы таинственными способами, секрет которых никому не известен. И все же от времени их мумии ссохлись и уменьшились до размеров людей маленького роста. Иногда их хоронили по двое в одном гробу. Через тысячи лет трогательно читать, что вот эти мужчина и женщина любили друг друга и ни один из них не хотел пережить другого. Тысячи лет они проспали вместе. Беспокойные, любознательные люди нарушили их священный покой.

Огромные залы музея были заставлены витринами под стеклом, в которых были выставлены золотые и серебряные вещи, найденные в этих могилах. Какое благородство рисунка! Какая тонкость работы, какая ажурность!

Художники французских и английских ювелиров приезжают в Александрию копировать эти вещи для мирового рынка.

Египет, конечно, колыбель искусств. После него позднейшее искусство Рима кажется лубочным и, хотя оно вышло целиком из египетского, гораздо грубее, пестрее и проще его.

В музее были устроены целые жилища древних египтян, восстановленные целиком в подлинном своем виде, в каком их нашли.

Если долго бродить по этим залам и рассматривать все это, делается грустно. Думаешь об ушедших веках, о бренности всего земного, о том, что вещи переживают людей — своих хозяев. И когда выходишь на свет ослепительного летнего солнца, кажется, что ты проспал много лет в другом мире и теперь, к сожалению, проснулся.

Пароход стоял до утра. Под конец меня поразил мой проводник. Вечером, когда мы сидели в маленьком кафе и ели чудесный плов из молодого барашка, он, пристально посмотрев на меня, вдруг неожиданно сказал:

— А я тебя знаю, господин! Ты меня не помнишь?

— Нет!

— Мустафа помнишь? Сторожем служил в театре в Одессе. Ты один раз приехал... Пел в такой черный бурнус (костюм Пьеро). Большой публика был, а? Не помнишь?

Как я ни напрягал свою память, припомнить его не мог. Столько лет, столько концертов, столько разных людей!..

— Ты мне тогда свои штаны подарил. Не помнишь? Хорошие были штаны. Крепкие! Мустафа их долго носил. Потом одна грека у меня украл,— вздыхая, закончил он.

Какие-то обрывки воспоминаний туманно мелькали у меня в голове, но ясно я не мог ничего вспомнить. Чтобы не огорчать его, я сделал вид, что все помню. Очевидно, это было так, потому что, помолчав немного, он вдруг спросил:

— А Вера Холодный помнишь? Большой красавица был, в наш театр к тебе приходил. Он потом умирал! Я его ходил провожай в могила!

Несомненно, он служил при одесском театре.

Мы долго бродили с ним по городу, вспоминая Россию. Меня трогало то, что говорил он о моей родине с глубокой нежностью и грустью. Он любил Россию. «Да... это уж так,— думал я.— Тот, кто когда-нибудь жил в России, ее никогда не забудет!» О своей жизни здесь он говорил неохотно. Ему не нравилось его отечество.

— Тут люди другой,— вздыхая, говорил он.— Русский люди — честный люди, а здесь...— Он махнул рукой.— Жулики много! — неожиданно закончил он.

Расставаясь, я дал ему египетский фунт. Но он не взял его.

— Ты русский человек,— сказал он,— ты мне тогда штаны подарил... я бедный был... Не хочу. Не надо.— Он задумался.— В Россию вернешься — поклон передай ей, скажи: от Мустафа!.. Низкий поклон! — Он поклонился до пояса.

Все уговоры мои были напрасны.

В Бейруте, как и почти всюду, где я проезжал, меня встречали местные директора «Колумбии». Пароход стоял тут 24 чвса, и я, конечно, не преминул посмотреть город.

Мы сели в машину и поехали. Особенно интересного в нем ничего не было. Как и все восточные города, он шумен и грязен. Александрия, в которой хозяйничали англичане, была гораздо чище. Покрутившись по извилистым и крутым улицам, мы поднялись на гору. Бейрут стоит на горе, и на самом верху его большое арабское кафе, откуда мы могли видеть далеко вокруг Средиземное море.

Был необыкновенный вечер, закат солнца большой и торжественный, как какой-то божественный праздник. Таких красок, такого великолепия я никогда не видел. Может быть,

только первые люди — Адамы, Каины и Авели — видели такие закаты в дни первоздания. Я не мог оторваться от этой красоты, подавленный размахом этой кисти и смелостью этих красок.

На другое утро пароход уже подходил к Яффе.

В самую Яффу пароход не входит: в ней нет порта. В этой местности море изобилует скалами, подводными рифами и камнями. Конечно, все это можно расчистить и взорвать, но устройство порта стоило бы миллионы фунтов, а денег на это нет. Поэтому мы остановились в море и на больших лодках-баржах поплыли в Яффу вместе с багажом.

Город резделен на две части: европейскую — Тель-Авив и арабскую — Яффв.

Тель-Авив — маленький, скромный, довольно чистенький провинциальный городок, построенный руками пионеров, наехавших сюда со всех концов света.

Палестина очень мала и не может вместить многих. Арабы считают ее своей землей и ни за что не хотят отказаться от нее. Кроме этого, развитию Палестины мешают разного рода причины, которых немало. Прежде всего, Палестину губит благотворительность, которая делает из живой и самодеятельной страны что-то вроде инвалида, живущего на общественном попечении. Затем — отдаленность ее от других стран и отсутствие портов. Это мешает ее нормальному общению с остальным миром. А вечный антагонизм между еврейским и арабским населением, искусно разжигаемый и поддерживаемый заинтересованными иностранными кругвми, тормозит ее торговлю и естественный рост.

Существует еще целый ряд обстоятельств. Палестину строила молодежь. В большинстве это люди интеллигентных профессий — врачи, адвокаты, архитекторы, студенты. Увлеченные идеей иметь свое собственное отечество, они, приехав в страну, горячо взялись за работу. Не покладая рук, строили дороги, дома, возделывали землю, все создавали сами, не брезгуя никакой черной работой. Так был построен Тель-Авив, так были созданы и другие города и колонии.

Старики же смотрели на Палестину иначе. Они видели в ней только Святую Землю, землю предков, на которую они приезжали умирать. У знаменитой «Стены Плача», накрывшись покрывалами и раздирая на себе одежду, дряхлые миллионеры перед смертью замаливали свои грехи. Палестина была как бы кладбищем или преддверием тьмы.

Поэтому между стариками и молодежью шла глухая борьба. Это борьба Дня и Ночи, Света и Мрака. Эта борьба также мешала развитию страны.

В Палестине запрещено говорить на жаргоне. Говорят там или на древнееврейском, или на русском языке.

Древнееврейский язык очень красив и звучен. Когда слышишь его, чувствуешь всю пламенность, всю горячность этой тысячелетней расы.

Иногда из пустыни в Тель-Авив приезжают на верблюдах евреи какого-то особого племени — смуглые, как арабы, с жгучими глазами и гордыми линиями профиля. Из маленьких шатров на горбах верблюдов мелькают лица библейских женщин, прикрытые до глаз чем-то вроде чадры. Так, вероятно, выглядели Рахиль или Лия, которую любил Иаков. Им запрещено даже разговаривать с посторонними людьми. Приезжают они в город за покупками с утра, а к закату солнца, плавно покачиваясь, караван уходит обратно в пустыню.

Это племя каким-то чудом осталось в пустыне и живет, не смешиваясь с остальными евреями.

Местные жители принимали меня очень тепло, так как подавляющее большинство эмигрировало в Палестину из России и у всех сохранилась нежность и любовь ко всему русскому.

Однажды вечером директор «Колумбии» предложил мне посмотреть Яффу — арабскую часть города. Она мало отличалась от Бейрута. Те же дома с плоскими крышами, те же грязные улицы, тот же вечный базар. На маленьких осликах, волоча ноги по земле, проезжают трусцой задумчивые люди в красных фесках. О чем мечтают они?

Когда-то эта земля принадлежала им. Но они продали ее за хорошие деньги. Получив их, они купили себе европейские одежды и стали пить свою знаменитую «мастику» — анисовую водку — в маленьких экзотических кафе и слушать заунывную музыку бродячих оркестров. Пили до тех пор, пока не пропили все. Оставшись без земли и без денег, они стали понимать, что сделали глупость.

Раньше такой араб лежал целый день на горячей земле под сенью оливы, которую он даже не сажал, она росла сама по себе. С оливкового дерева на землю падали зрелые плоды. Он брал мягкую, как блин, хлебную лепешку, испеченную женой, заворачивал в нее оливу и отправлял в рот. Ел прямо

с косточкой. Больше ему ничего не надо было, ибо это была его природная и любимая пища. А продав землю, он остался без пищи и без крова. Отсюда и пошел антагонизм, недовольство евреями.

Земля в Палестине на вес золота. Вероятно, нигде в мире она не стоит так дорого, как там. Купивши землю, усаживают ее апельсиновыми деревьями, которые через несколько лет дают огромный урожай знаменитых яффских апельсинов, самых крупных и самых вкусных в мире. Весь этот урожай экспортируется в Англию. Он скуплен на корню и даже не поступает в продажу или местное пользование. Проживая там два месяца, я даже не видел этих изумительных фруктов.

Итак, вечером мы с моим директором сидели в большом, довольно грязном арабском кафе. Он решил показать мне знаменитый танец живота, который так популярен в восточных странах.

Разукрашенный цветными фонариками зал шумел и кричал. Арабы говорят очень темпераментно, когда выпьют немного. Любые их разговоры кажутся постороннему наблюдателю скандалом. Мы заказали себе «мастику» и «долма» — что-то вроде маленьких голубцов из риса, завернутого в виноградные листья. Потом маслины и сыр. Струнный оркестр из затейливых восточных инструментов звучно и протяжно играл какую-то бесконечную мелодию с мерным постукиванием и звоном литавр и барабанов.

На сцену вышла очень толстая женщина, напоминавшая собой забинтованную бочку, и затянула песню на одной ноте. Живот ее был голый. Она покачивала бедрами и очень лениво раскачивала свой непомерно большой таз, точно большой маятник, который сразу не раскачаешь. Потоптавшись минут пятнадцать, она ушла. Ей аплодировали.

После нее вышла другая, еще более толстая, похожая на цирковую лошадь, которой специально массируют зад для того, чтобы на ней эквилибристы-наездники могли свободней делать свои упражнения на ходу. Эта выла минут двадцать. Танцевала она еще медленнее и ушла при более громких аплодисментах.

Наконец вышла третья, самая главная. У меня закружилась голова. Она была похожа на слона. Живот ее напоминал вывалившееся тесто, а зад ее был необозрим. Она еле двигалась от жира. Арабы аплодировали как сумасшедшие, вскакивая со своих мест.

— Это местная звезда! — сказал мне директор.— Кстати, я могу вас с ней познакомить. То, что она поет, записано у нас на пластинках. Она ваш коллега. Тоже «стар» Колумбии. Их специально откармливают и выращивают для этого танца, как индюшек к празднику. Их массируют особыми способами, чтобы округлить их формы.

Директор почтительно аплодировал ей по окончании танца. Я испуганно отказался от знакомства.

В Хайфу я попал на концерт вечером и вечером же уехал, не успев осмотреть ее как следует. Зато в Иерусалиме я задержался на несколько дней. Концерт мой был в саду, и семь тысяч иерусалимцев радушно принимали мои песни. После концерта я остался осмотреть город.

Когда-то он был местом паломничества христиан со всего мира. Теперь там никого не было. Дороговизна билетов, трудности с получением визы — о поездке туда нечего и думать.

Раньше большинство паломников ехало из России, поэтому здесь даже арабы говорят по-русски. Многие из них были гидами и работали с богомольцами.

На месте страданий Христа построен огромный храм, который куполом как бы накрывает места, где его распяли, где он был похоронен и где воскрес. Тут и Голгофа, и Пещера Воскресения, и Крестный Путь. Двадцать религий имеют здесь свои храмы. Католики, русские, греки, армяне... Все увешано лампадами, но зажженных немного. Притока верующих почти нет, и храмы пустуют.

После концерта со мной познакомился человек, который имел там свою автомобильную контору. Он был русским и православным, и именно он взялся показать мне все святыни храмов Гроба Господня, а потом пригласил меня обедать к себе домой.

Каково же было мое изумление, когда, войдя, я увидел на стене его кабинета... огромный портрет Сталина! После всего того настроения, которое создает блуждание по пещерам и алтарям, после мистической полутьмы, запаха ладана, треска свечей и мерцания лампад — вдруг портрет Сталина...

«Так вот куда проникло влияние этого человека! — думал я.— В цитадель христианства! В колыбель старого мира!» Я был настолько поражен этим, что долго стоял с разинутым ртом, глядя на портрет.

Америка

Пароход, на котором я осенью 1934 года уезжал в Америку, назывался «Лафайет». Со мной ехали несколько французских артистов, приглашенных в Голливуд, и множество туристов, возвращавшихся домой. Да еще трое чикагских гангстеров со своими подругами. Подруги меняли туалеты по десять раз в день и появлялись к обеду в умопомрачительных вечерних платьях — моделях лучших парижских домов, с бутоньерками из живых орхидей, каждый раз в цвет платья.

Огромные залы этого гигантского парохода были заполнены праздной и шумной толпой людей, которые положительно не знали, что им с собой делать, и думали только о том, как повеселее убить время.

Все виды развлечений были предоставлены в их распоряжение. Тут и залы для гимнастики, и теннисные площадки, и бассейны для плавания, и тиры для стрельбы в цель, и бары, и оркестр, и дансинги, и десятки салонов разных стилей. Были парикмахерские, комнаты для массажа, цветочные магазины и магазины с мужскими и женскими вещами, с предметами роскоши, ювелирными изделиями, парфюмерией.

Бесконечное количество прислуги, мужской и женской, целые дни бегало взад и вперед по этому огромному отелю-пароходу, стараясь угадать малейшие желания и прихоти каждого пассажира.

В каюту по утрам вам подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, тост и яичницу. К обеду метрдотель, ласково встречая вас у порога огромного дайнинг-рума, торжественно вел вас к вашему столу, где перед каждым прибором стояли запечатанные бутылки белого и красного вина. Если вы пили даже по одной рюмке того и другого, вино это после обеда все равно убиралось прочь, и его уже не подавали больше никогда. К вечеру стояли новые запечатанные бутылки.

Обеды и ужины были чудом обжорства и чревоугодия. Чего-чего только не подавалось! Омары, лангусты, крабы, устрицы, зернистая икра в глыбе льда, освещенная изнутри электрическими лампочками, красовалась посредине столов, как какой-то ледяной замок из сказок Андерсена.

Блюда сменялись одно другим. Все это было в таком большом количестве, что уносилось почти нетронутым, с тем чтобы уже никогда не появляться больше. Кто съедал эти блюда? Вероятно, прислуга. От этого изобилия пищи у меня

окончательно пропал аппетит, а может быть, еще и оттого, что за моим столом сидела полная дама, которая ела необычайно много и громко, и еще какой-то сухой миссионер-англичанин, который ничего не ел и все время шевелил губами, по привычке шепча молитвы.

Кроме меню, в котором было по меньшей мере пятьдесят блюд, вы могли заказывать на следующий день метрдотелю все, что вам вздумается. Вся эта вакханалия еды была рассчитана, очевидно, на аппетит, который появляется почти всегда в море, и на то, чтобы занять праздное время.

Помимо всех пассажиров, за столом всегда находился один необыкновенно общительный джентльмен, говорящий чуть ли не на всех языках мира. У джентльмена был чудесный аппетит. Я помню, он ел какое-то блюдо с массой гарнира из различных сортов зелени и так великолепно орудовал дюжиной вилок, что я не мог есть от изумления. Он был настоящий виртуоз, артист своего дела. Вилки мелькали в его руках, как металлические предметы в руках у жонглера.

Оказалось потом, что он был на службе у пароходной компании и приглашен специально для возбуждения аппетита у пассажиров.

После обеда на стол ставились огромные вазы и блюда с дынями, персиками, арбузами, сливами, грушами, апельсинами, яблоками, виноградом величиной с грецкий орех и прочими фруктами. Это была настоящая выставка всего, чем изобилует прекрасная Франция, как бы последний прощальный пир, который она устраивала покидающим ее пределы. И перед тем, как попасть в «консервную», «рефрижераторную», «искусственную» Америку, вы могли в последний раз насладиться великолепием всех плодов земных.

На третий или четвертый день путешествия начался шторм. Огромное туловище парохода медленно и плавно то вползало на вершину водяной горы, то опускалось в бездну. Казалось, что летишь на каких-то гигантских качелях, очень широко и ровно раскачиваемых.

Пассажиры сразу исчезли. Огромный пароход опустел. Все лежали в своих каютах, и к обеду и ужину выходило не больше десятка человек, мужественно облаченных в вечерние туалеты и смокинги, как полагалось по этикету. В большинстве это были англичане.

...После обеда я сидел в салоне и перечитывал парижские журналы. Кроме меня, в пустом зале никого не было. Большой радиоприемник стоял на электрическом камине,

где тлели искусственные угли. Я повернул кнопку и включил аппарат. Поискав Францию, нашел Париж.

Политические новости... Люсьен Буайе в новой песенке... Еще что-то. И вдруг:

К Мысу ль Радости,
к Скалам Печали ли,
К Островам ли Сиреневых птиц —
Все равно, где бы мы
ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц...

Это пел я.

Ревела, палила и щелкала буря. Огромный пароход трещал и вздрагивал от ударов волн, упрямо пробираясь вперед, а я сидел и слушал самого себя, где-то за тысячи верст затерянный ночью в океане.

Мимо стеклышка иллюминатора
Проплывут золотые сады,
Пальмы тропиков, солнце экватора,
Голубые полярные льды...
Все равно... где бы мы
ни причалили,
Не поднять нам
усталых ресниц...

Эти слова Тэффи, из которых я в свое время сделал песню, впервые так остро пронзили меня. Я мысленно оглянулся. Столько лет без дома, без родины! И впереди ничего, кроме скитаний.

Вот тут и родилась у меня песня «О нас и о Родине», которая наделала столько шума за границей и за которую даже в Шанхае мне упорно свистели какие-то личности, пытаясь сорвать концерт.

Позволю себе привести полностью ее содержание.

Проплываем океаны,
Бороздим материки
И несем в чужие страны
Чувство русское тоски.
И никак понять не можем,
Что в сочувствии чужом
Только раны мы тревожим,
А покоя не найдем.
И пора уже сознаться,
Что напрасен дальний путь,
Что довольно улыбаться,
Извиняться как-нибудь...
Что пора остановиться,

Как-то, где-то отдохнуть
И спокойно согласиться,
Что былого не вернуть.
И еще понять беззлобно,
Что свою — пусть злую — мать
Все же как-то неудобно
Вечно в обществе ругать!
А она цветет и зреет,
Возрожденная в огне,
И простит, и пожалеет
И о вас, и обо мне!

Это было написано давно. Многих простила за это время наша великая мать-родина. В том числе и меня. Там же, в Шанхае, после многочисленных просьб мне, наконец, дали советское гражданство.

А на пароходе в те дни, когда эта песня родилась, помню, развлекали нас всеми силами. То устраивался вечер бокса, на котором молодые матросы разбивали друг другу носы до крови, то по субботам танцульки, где гангстерские подруги могли блистать своими сверхтуалетами и драгоценностями от Фаберже и Ван Клифа, от которых слепило глаза. Их повелители в новеньких, только что построенных в Лондоне фраках с квадратными плечами, неуклюже переминались с ноги на ногу в модных танцах, сильно напоминая дрессированных орангутангов. В антрактах меду танцами они пили шампанское, курили огромные сигареты и рассеянно барабанили толстыми пальцами по столу, обдумывая, вероятно, новые комбинации.

Элегантный молодой француз из «очень хорошей фамилии» или развлекал разговорами одиноких пожилых американок, или составлял для них партии бриджа, или танцевал с теми, которые не играли в бридж. Он был на службе у пароходной компании уже несколько лет. Его перебрасывали с одной линии на другую. Перед этим он ездил в Индокитай. Как только на какой-нибудь линии пассажиры начинали жаловаться на скуку, его тотчас же посылали туда. Воистину это была нетрудная служба. Есть, пить, спать и разговаривать, путешествуя по белому свету, и заводить знакомства, да еще получать за это жалованье!

По понедельникам были сеансы кино, и один раз в пути устраивался традиционный концерт в пользу семейств моряков, погибших в море. В концерте принимали участие все артисты, едущие на пароходе. В этой поездке играла очень хорошая виолончелистка, пела знаменитая Лили Понс, направлявшаяся в Голливуд, играл возвращавшийся домой скрипач Яша Хейфец и еще кое-кто.

Пришлось выступать и мне. Я спел несколько веселых русских песен с припевами, заставляя публику подпевать мне. Это очень понравилось пассажирам, хотя ни одного слова, разумеется, они не поняли.

После концерта всех участвующих пригласил капитан парохода на «парти» к себе в «апартмент». Ужин был с шампанским и отличался ультраизысканным меню. Конечно, такой ужин стоил гораздо больше, чем вся та сумма, которую собрали с публики за этот концерт.

Американцы — большие патриоты. Они обожают свою Америку и уже задолго до приближения к ней стали волноваться.

Когда, наконец, на горизонте чуть обозначились берега Америки, они уже не отрывались от биноклей, а когда, наконец, бледно замаячила знаменитая Статуя Свободы, они подняли невообразимый рев и крик и сразу все напились пьяными.

Перед самым приездом, после выноса багажа, в коридорах выстроилась в две шеренги такая вереница прислуги, что у меня захватило дух. Разменяв по сто франков несколько тысяч, я шел сквозь этот строй довольно равнодушных и даже не благодарящих вас людей с пачкой ассигнаций в руке и раздавел их направо и налево. Метрдотелю надо было дать тысячу. Так полагалось.

Велико же было мое удивление, когда он, любезно улыбаясь, преподнес мне какую-то коробку, завернутую в бумагу.

— Что это, мсье Шарль? — недоуменно спросил я.

— Это «кавьяр рюсс»,— отвечал он.— Я заметил, что мсье любит ее... А я... очень люблю русские песни, которые мсье поет прекрасно. Вот я осмелился сделать этот скромный презент на дорогу...

Я был потрясен до глубины души.

«Еще одна победа русского искусства!» — со смехом подумал я и пожал ему руку.

Тысячи он с меня так и не взял.

Были уже сумерки, когда мы входили в порт. Нью-Йорк сверкал миллионами огней. Первое впечатление было такое, как будто в городе иллюминация по случаю какого-то праздника. Звдолго до пристани вместе с чиновниками, осматривающими паспорта, прибыл и катер с журналистами и фотографами. Эти жующие, орущие и бегущие куда-то люди обращались с нами довольно небрежно.

— Эй, вы!.. Садитесь! Да не сюда!.. В это кресло! Вы Лили Понс? Нет? А что вы делаете? Играете? На чем? Ну, все равно! Возьмите ваш журнал в руки! Так! Смотрите на меня! Выше голову!

Он хватает вас за лицо и поворачивает в сторону.

— Снимаю!

Щелк аппарата...

— Вы кто? Вертинский? Рашен крунер? Как наш Бинг Кросби?.. Да?.. Мы знаем уже о вас! Станьте здесь! Обопритесь о перила! Так! Улыбайтесь! Да снимите вы эту шляпу, черт возьми!.. Так! Ваше первое впечатление об Америке?..

Я сразу разозлился.

— Первое впечатление, что здесь слишком развязные журналисты! — ответил я.

— Послушайте,— сказал я встречавшему меня менеджеру,— неужели они у вас все такие?

— Все! — вздохнув, ответил он.— Это их стиль такой. Они показывают, что их никем и ничем не удивишь. И что им некогда.

— Ну, тогда снимайтесь сами, а я не желаю, чтобы меня дергали, как манекен,— заявил я и удрал в каюту...

Остановиться мне предложили в отеле «Ансония». Это был артистический отель. Там останавливался Шаляпин, жили постоянно пианист Зилотти, Никита Балиев со своей «Летучей мышью», Рахманинов, скрипач Иегуди Менухин, останавливался Тосканини и другие. Особой чистотой и роскошью отель не отличался, но был в удобном районе, и, главное, там жило много русских.

В тот же вечер, не дав опомниться, мои менеджеры решили показать мне Нью-Йорк.

— У вас будет сразу полное впечатление от ночного города,— сказали они.

По-видимому, эти люди рассчитывали сразу же подавить меня величием города. Покатав по широким улицам и показав знаменитое 5-е авеню, они отвезли меня в кино, только что открытое в нововыстроенном билдинге в сто два этажа.

Зал был рассчитан на пять или семь тысяч человек. Шло «Воскресение» Толстого с Анной Стэн в роли Катюши Масловой. Картину ставили тщательно. Ассистентами режиссера были приглашены такие авторитеты, как художник Судейкин и Илья Толстой, сын Льва Николаевича. Анна Стэн, русская по происхождению, которой очень «занимались» в Голливуде, готовя из нее звезду первой величины, чудесно играла Катюшу. Картина стоила миллионы, реклама — тоже мил-

лионы. Перед началом картины из-под земли поднялся оркестр в сто двадцать человек, составленный из лучших музыкантов города.

И что же они играли? «Очи черные»... Это у них считалось «русской музыкой»! Искусно аранжированная незатейливая мелодия не переставая звучала все время по ходу картины.

Как это типично для американцев!

Голливуд потрафляет вкусам среднего обывателя, а кто же из этих обывателей не знает «Очи черные» и не считает их шедевром русской музыки!..

После Парижа трудно восхищаться каким-нибудь другим городом.

Я не пришел в восторг от Нью-Йорка. Огромный и величественный в центре, дальше он — двух-, трех- и четырехэтажный, обычный, простой, как все города, довольно грязный, в особенности в негритянских кварталах. Тут у каждого дома — кучи мусора, в которые вываливается все — от дохлых кошек до разбитых пианино.

День и ночь по улицам Нью-Йорка катится лавина спешащих людей, летят бумажки, подгоняемые ветром, орут газетчики, продавцы, мчатся машины; люди спешат как на пожар, громко разговаривая и яростно жестикулируя. Можно подумать, что это испанцы или какие-нибудь южане, отличающиеся особенным темпераментом. Но темперамент этот исключительно деловой и, кроме бизнеса, ни в чем, мне кажется, не проявляется.

Все мчатся, все летят куда-то. Всем некогда. Правда, расстояния в таком городе, как Нью-Йорк, конечно, огромны. И если у вас есть три дела в разных концах, то вы должны истратить на это почти весь день. Несмотря на метро, автобусы и такси, вы все же не сможете всюду поспеть вовремя.

Из-за больших расстояний на обед, то есть между двенадцатью и двумя часами дня, никто домой не приходит. Обедают в кафе, аптеках и ресторанах. Обычно такой обед состоит из кофе и сандвичей, выбор которых безграничен. Встречается семья только за ужином, то есть после семи вечера.

Но ужин ведь необходимо приготовить. На это нужно потратить несколько часов. И вот, чтобы избежать этой траты времени и сил, ибо сперва надо пойти в «маркет», все купить, потом почистить овощи, рыбу, мясо и т. д., американцы все держат дома и все в консервах. Все блюда — супы, компоты

и прочее — изготовляются фабриками в уже готовом виде. Надо только раскрыть коробку и подогреть содержимое в кастрюльке. Таким образом, приготовление обеда занимает пятнадцать — двадцать минут.

Правда, время от времени против этого подымают голос люди науки, заявляя, что окись от жестяных коробок способствует появлению раковых и иных заболеваний, но фирмы из боязни падения сбыта покупают статьи каких-нибудь авторитетов в этой области, которые со страниц газет точно и ясно доказывают совершенно противоположное. Взволнованное было население успокаивается, и все идет по-старому.

Прислуги в Америке почти нет. Все нужно делать самому. Это отнимает много времени. Чтобы избежать этого, все упрощено и механизировано до последней степени. Вы нажимаете кнопку, поворачиваете рычажок — и все уже делается за вас или появляется в готовом виде. Всевозможные машины проделывают всякую работу быстро и аккуратно.

Таким образом, ваш личный труд сведен до минимума. Это сильно облегчает жизнь, в особенности холостых людей. Недорогие апартаменты сдаются со всем необходимым, до постельного белья и посуды включительно. Убирать комнату приходится самому, но это нетрудно, ибо все предусмотрено. Вы нажимаете кнопку — и постель ваша уходит в стену. Пройдя пылесосом по ковру, вы приводите его в порядок. В кухне у вас электрическая плита, вы быстро готовите себе завтрак, который можете купить хоть на целый год вперед уже приготовленный, потому что есть рефрижератор, и все в консервах. Только мытье посуды занимает некоторое время. Но и для этого есть машины, которые моют и тут же сушат ее. Правда, они не всюду есть. Поэтому, когда гости приглашены на «парти» в дом, то после ужина все они идут на кухню и моют посуду. Раз в неделю приходит прислуга и делает главную работу: моет пол, меняет постельное белье, уносит мусор из кухонного ящика.

Американцы очень радушны и гостеприимны. Но если вы делаете у себя дома «парти», вы никогда не можете учесть, сколько человек придет, потому что приглашенный вами приятель, у которого в этот день, предположим, собрались друзья за обедом, приезжает к вам в дом вместе со всеми своими гостями. Помню, в Голливуде я сделал такое «парти» для моих друзей — фильмовых актеров, музыкантов и журналистов. Пригласил я человек сорок. Всякого рода продуктов заготовил на шестьдесят—семьдесят человек, а приехало человек сто... У меня было снято маленькое «бунгало» — особня-

чок с мебелью и всеми удобствами. Гости сидели у меня до утра, веселились, пели, играли. На другой день хозяйка, придя в дом, ужаснулась. Они испортили ее радио, залили вином диваны, прожгли сигаретами ковры и скатерть, разбили много посуды и пр. Короче говоря, хозяйка немедленно выгнала меня из этого дома, заставив предварительно заплатить за испорченное имущество несколько сот долларов. После этого я переехал в отель, закаявшись раз навсегда устраивать у себя «парти».

Почти вся пища в Америке безвкусна, но зато на вид она изумительна. Такой величины фруктов, таких овощей, кажется, нигде не найдешь. Но все привозится откуда-то в замороженном виде и теряет свой первоначальный вкус.

Мне рассказывали, что в Нью-Йорке на городских бойнях убивают несколько миллионов голов скота ежегодно. И кладут в городские рефрижераторы. В продажу же поступает то мясо, которое было заложено семь-восемь лет тому назад. Его и едят. Таким образом, город всегда имеет запас мяса, но вкус оно теряет абсолютно.

В больших кафетериях, куда ходят покушать, во всю длину помещения идет освещенная изнутри стойка-рефрижератор. Каких только блюд там нет! Великолепные ростбифы, аппетитные жаркие, окорока, дичь, сыры, фрукты, компоты, пироги, кремы, пирожные. Все это вызывает аппетит, и вам хочется чуть ли не всего сразу. Но когда вы начинаете есть, вам кажется, что вы жуете резину или вату, до того все безвкусно. А так как все эти блюда надо подавать себе самому, стоять в очереди, таскать ножи, вилки и тарелки, то в конце концов от обеда остается впечатление тяжести и усталости.

Америка вообще очень утомляет. Если вы не привыкнете к этому шуму и грохоту, к этой суете, беготне и крикам, как привыкают на войне к канонаде, свисту пуль и снарядов и разрывам бомб,— вы будете больны.

Две вещи особенно надоедают вам.

Радио и реклама.

Радио там повсюду. Вплоть до уборных. Вы просыпаетесь под его болтовню, потому что во всех отелях оно вделано в стену и черт знает, где находится выключатель. Оно преследует вас во всех магазинах, офисах, кафе, и даже когда вы садитесь в такси, оно бубнит вам свою нудную, очень точно отщелкиваемую мелодию, всегда одну и ту же, идущую сквозь ваши уши и не остающуюся в вашей памяти.

А реклама положительно сводит с ума. Если то же радио

дает, например, концерт Яши Хейфеца, то каждые пять минут концерт прерывается, и вам напоминают, что этим концертом вас «угощает» фирма сигарет «Честерфильд» или какая-нибудь другая. Реклама лезет вам в глаза и в уши везде и всюду: из газет, журналов, радио, с огромных светящихся вывесок, которые дают целые картины из электрических комбинаций; она бежит впереди вас на тротуарах, по барьерам крыши, в виде букв, догоняющих друг друга, гонится за вами в метро, автобусах, такси, преграждает вам путь огромными транспарантами, величиной с пятиэтажный дом, настигает вас всюду, куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни повернули глаза. Миллионы лампочек с вечера и до утра выплясывают какие-то затейливые световые картинки, рассчитанные на самое примитивное детское воображение и любопытство. Спастись от них никуда нельзя.

«Пей кока-кола!» — приказывает вам реклама на каждом шагу.

И вы подчиняетесь. В Европе вы не могли взять его в рот, но здесь... Вам лень думать, что бы такое выпить? Ну, черт с ним! Давай кока-кола!

Кстати, при своем появлении на свет кока-кола не имела успеха. Ее продавали в аптеках в виде коричневого сиропа, который смешивали с содовой водой, наливая одну чайную ложку на стакан. Владельцы этой фирмы бились над вопросом, что делать, чтобы она «пошла».

После многих бесплодных попыток, истратив миллионы, наконец, додумались объявить конкурс на самый лучший совет по этому вопросу. На конкурс ежедневно являлись сотни людей, которые давали самые дикие советы и только занимали время.

Тогда дирекция выгнала всех. Но вот однажды в кабинет пробился маленький, невзрачного вида человечек.

— Что вам здесь нужно? — спросил директор.

— Я пришел дать вам совет.

— Нам не нужно советов. Убирайтесь вон! — закричал директор и затопал ногами.

— Мой совет спасет положение,— настаивал вошедший.

Директор задумался.

— В двух словах вы можете изложить его? — спросил он.— Предупреждаю, что, если слов будет больше, я вас выкину, как собаку!

— Разлейте в бутылки! — отчетливо произнес посетитель.

Совет был принят. Кока-кола покорила мир. Теперь этот человек — главный директор фирмы.

Самое трудное в Америке — это обратить на себя внимание. В больших густо населенных городах, где люди бегут беспрерывным потоком, все сливается в один сплошной гул. Трудно выделиться своим голосом в этом вечном монотонном шуме, трудно заинтересовать собой, своей личностью, своими идеями. Поэтому все помешаны на «персоналитэ» — каждому хочется выделиться во что бы то ни стало, любым способом. Таких «чудаков», как в Америке, я думаю, нет ни в одной стране, начиная от всем известных причуд миллионеров, оставляющих самые дикие завещания после своей смерти, до чистильщиков сапог на улице и мальчишек, продающих газеты. Невозможно даже передать, на какие трюки и ухищрения пускаются там люди только для того, чтобы привлечь хотя бы на секунду к своей личности внимание равнодушного и занятого обывателя. И, получив его, это внимание, он уже никогда его не потеряет.

Я знал одного человека, которому долго не везло. Он был менеджером и организатором так называемой «американской борьбы», которая долго не имела успеха у публики и с которой он неизменно прогорал. Однажды он решил одеться Наполеоном перед выходом к публике и этим странным костюмом привлек внимание к своей особе. Он стал популярен, его запомнили.

— Ах, это тот, что играет Наполеона? — говорили люди.

Цель была достигнута: его заметили. Дела пошли лучше, в газетах стали больше о нем писать, и в конце концов он «привил» американцам эту борьбу, которая, кстати сказать, производит совершенно дикое впечатление своей первобытностью. Теперь он уже богатый человек, и ему не нужен больше этот маскарад. Но все его костюмы сшиты под наполеоновский сюртук и даже шляпы имеют форму, напоминающую знаменитую треуголку императора.

В Нью-Йорке есть сотни всевозможных салонов, где скучающим богатым женщинам подыскивают «персоналитэ» в манере одеваться. Одна моя русская приятельница, бывшая актриса, держала такой салон, где с успехом «пудрила мозги» сумасбродным богатым американкам, драпируя их в какие-то лилово-серые тряпки, имеющие форму хитонов, и тюрбаны цвета пеленок двухмесячного ребенка. Смотреть без слез на них, конечно, нельзя, но деньги она берет за них немалые.

Америка залита электричеством. Вы видите сотни закрытых магазинов, освещенных в течение ночи тысячами ламп, которые ослепляют вас. Странное впечатление производят

большие и малые города, когда вы, например, путешествуете на автомобиле. Проехав несколько сот километров по прекрасным шоссейным дорогам в темноте, прорезаемой только фарами вашей машины, вы, наконец, видите перед собой ярко освещенный город. Он красив, как в сказке. Вам он кажется миражем в пустыне.

Въезжая в город, вы попадаете в волшебный мир огней: синих, красных, зеленых, желтых. Это целая неоновая симфония красок.

Как весело, как шумно и празднично должно быть в таком городе! Вам хочется остановиться, войти в какой-нибудь ресторан — отдохнуть, потанцевать, выпить вина!..

Вам кажется, что вы в Париже, на Монмартре.

Но войти некуда. Все закрыто. Город спит. Ни одной души на улицах. Это только реклама.

Меня бросало в дрожь от американских театральных вкусов. Конечно, в Америке любят и ценят больших, настоящих артистов. Там выступали и Рахманинов, и Крейслер, и Шаляпин, и Тосканини. Есть прекрасные оркестры, широко известны имена Кусевицкого и Леопольда Стоковского, Хейфеца, Лоренса Тибет, Иегуди Менухина, Владимира Горовица и других. Но все это для избранных. Обыкновенный же, рядовой обыватель, воспитанный на кино, серьезного искусства не любит и им не интересуется. Его вкус, так называемый «вкус Бродвея», весьма ограничен.

Я помню, один из наших соотечественников, Дэйв Аполлон, выступал в лучшем театре Бродвея со своей труппой, получая чуть ли не десять тысяч долларов в неделю. Его имя светилось над театром огромными буквами и делало большие сборы.

Как-то, познакомившись со мной, он пригласил меня в свой театр с просьбой после представления обязательно зайти к нему за кулисы — сказать свое мнение о спектакле. В ложе было пять мест. Я пригласил Балиева, Судейкина и знаменитого режиссера Гордона Крэга, который когда-то у нас в России ставил «Гамлета» в Художественном театре. Мы едва досидели до конца. Это было что-то невыразимое. Такой халтуры я никогда не видел. Я был настолько убит зрелищем, что не пошел за кулисы после спектакля, рискуя остаться в глазах Аполлона невежливым и невоспитанным человеком.

Публика, однако, была в восторге и аплодировала без конца...

Для моего первого концерта в Нью-Йорке был снят «Таун-Холл». Это один иэ двух самых больших и самых популярных концертных эалов города. Вместимость его две с половиной тысячи человек. Больше него только «Карнеги-Холл», который рассчитан тысячи на четыре человек. Я не захотел петь в таком огромном помещении, боясь, что от этого концерт потеряет свою интимность и выйдет слишком уж помпеэным.

За несколько дней до концерта мои менеджеры, таскавшие меня по всем редакциям газет, ибо в Америке полагается, чтобы артист сам приеэжал в редакцию знакомиться, привезли меня в газету «Форвертс». Эта газета издавалась на еврейском языке, была очень популярна и имела около ста тысяч подписчиков.

Редактор ее, обаятельный, пожилой уже человек Александр Кан, русский по происхождению, принял меня исключительно любезно.

— Мы и знаем и не энаем вас,— сказал он.— Конечно, ваше имя знает всякий, но мы, американцы, вас никогда не слышали, вы впервые побаловали нас приеэдом, а пластинок ваших у нас нет. Так что предварительно писать о вас нам очень трудно. Я лично буду на вашем концерте,— пообещал он.— У вашего искусстаа много друзей, но и врагов немало...— Он, видимо, стеснялся дать мне понять, что боится писать «в кредит»...

Я пошел ему навстречу:

— Не беспокойтесь об этом,— весело скаэал я.— Писать ничего не нужно. В конце концов пресса, как доктор, требуется только тогда, когда пациент болен. Я привык говорить с публикой лично, так сказать.

В Америке любят напор.

Редактор улыбнулся.

— Если вы окажетесь хотя бы только наполовину тем, что говорят о вас ваши менеджеры и ваши поклонники,— моя газета всегда будет открыта для вас! — скаэал он, пожимая мне руку.

В день концерта я, естественно, волновался больше, чем обычно. Мне предстоял последний и самый трудный экэамен!

Кому нужны в этом огромном, чужом, деловом, вечно спешащем городе мои песни? Такие русские, такие личные и такие печальные. Что им до меня? — думал я.

В голове у меня вертелись грустные строчки из Георгия Иванова:

Даже больше... Кому это надо...
Просиять сквозь осеннюю тьму...
И деревья заглохшего сада
Широко шелестят: никому!

«Конечно, никому»,— с отчаянием думал я.

Вечером в кассе был аншлаг. На концерте был весь цвет русского артистического мира — от милого Федора Ивановича, который ободряюще подмигнул мне из крайней ложи, до ничего не понимающего Бинга Кросби, которому сказали, что я «рашен крунер» и что ему нужно меня послушать. Тут были и знаменитые музыканты, и художники, и фильмовые режиссеры, и актрисы кино, и наши русские артисты, застрявшие в Америке. Были Рахманинов, Зилотти, Балиев, Болеславский, Рубен Мамулян, Марлен Дитрих, с которой я познакомился еще в Париже. Много балетных — Мясин, Баланчин, Фокин, Немчинова.

Оставалось только хорошо петь. Что я и старался делать по мере моих сил.

Окончательно мы подружились с публикой на «Чужих городах».

Я тогда еще не был особенно тверд в этой песне, так как написал ее перед самым отъездом из Европы и еще не имел случая ее попробовать на публике.

Очевидно, она задела самую больную струну в их сердцах, потому что реакция на нее была подобна урагану.

За кулисами в антракте у меня толпился народ.

Первым вошел редактор «Форвертса».

— Моя газета к вашим услугам! — искренне и горячо сказал он, сжимая мне руки.— Мы ведь не виноваты в том, что провинциалы,— шутя, оправдывался он.— Европа забрала все к себе. Зато теперь мы вас знаем!

Я был вполне удовлетворен.

Меня окружили друзья.

Шаляпин звал ужинать и шутил, что «много не пропьем — только то, что сегодня у тебя в кассе!»

Болеславский знакомил меня с Бингом Кросби.

Марлен Дитрих расспрашивала о «Казанове» и парижских друзьях.

Десятки дружеских рук тянулись ко мне. Приветствия, приглашения, улыбки...

Закончил концерт я песней «О нас и о Родине». Когда я спел:

А она цветет и зреет,
Возрожденная в огне,
И простит, и пожалеет
И о вас, и обо мне! —

я думал, что разнесут театр. Аплодисменты относились, конечно, не ко мне, а к моей родине.

Если от Австрии остается на всю жизнь в памяти музыка вальсов, от Венгрии — чардаши и страстные, волнующие мелодии скрипок, от Польши — мазурки и краковяки, от Франции — легкие напевы уличных песенок, то от Америки остается только ритм, вечный счет какого-то одного и того же музыкального шума, мелодию которого вы никак не можете запомнить и который вам в то же время надоел до ужаса. Происходит это потому, что джазовая музыка необычайно монотонна, несмотря на все разнообразие и богатство аранжировок, и, в конце концов, от нее у слушателя ничего не остается ни в голове, ни в сердце. Звучать она начинает с утра по радио и преследует вас целый день, где бы вы ни находились, до самой ночи. Под нее взрослые делают свои дела в офисах, конторах и магазинах, под нее дети готовят уроки и засыпают под нее же. Создали эту музыку негры и заразили ею весь мир. Америка целиком находится в ее власти. Конечно, нигде в мире нет такого количества джазовых оркестров, как там. И почти все они очень хороши.

Не говорю уже об оркестрах таких звезд, как Поль Уайтманн, Тэд Люис, Дюк Эллингтон, и других. Даже малоизвестные, случайно собранные оркестры играют обычно превосходно.

А самые лучшие джазовые музыканты,— конечно, негры. У них врожденное исключительное чувство ритма и абсолютная музыкальность. Поют они просто восхитительно. В особенности в дуэтах, трио и квартетах, где их гармонизация поражает своей оригинальностью.

Каждый год устраиваются большие конкурсы для джазовых симфоний, где из множества произведений выбирают самую интересную вещь, наиболее ярко отражающую темы современности... Одну такую «Симфонию Бродвея» мне привелось услышать в Нью-Йорке в исполнении нескольких соединенных оркестров. Впечатление на меня она произвела потрясающее. Шум великого многоголосого города, его ритм и движение были переданы с исключительным мастерством, от гудков фабричных сирен и автомобилей до шума уличной толпы включительно. Успех она имела огромный.

Но хотя композиторов в Америке много, вы почему-то на всех нотах читаете обычно одни и те же фамилии авторов. В Нью-Йорке, например, почти все шлягеры принадлежат «творчеству» некоего Эрвина Берлина. Не думайте, что он написал все эти вещи сам. Нет. Но он купил их у неизвестных авторов за гроши, переделал и выпустил под своей фамилией и со своим портретом. Если вещи «пошли» — он заработал,

если нет — немного потерял, ровно столько, сколько стоит бумага и печатание. Но зато если из ста купленных вещей «пойдут» только две или даже одна, то и это уже такой огромный доход, который покрывает все и дает большую прибыль. У этого же Эрвина Берлина или Руди Валле на Бродвее целые офисы, в которых сидят десятки машинисток и других служащих и работают целые дни,— контора по покупке и продаже музыки.

Купить и продать можно, а воровать музыку нельзя. Для этого есть музыкальные детективы, которые следят за новыми произведениями и, если дело доходит до суда, уличают автора в плагиате, так сказать, официально. Но эти правила касаются только американской и европейской музыки, зарегистрированной в союзах композиторов. Что же касается музыки русской, например, то воровать ее можно сколько угодно. Очевидно, за дальностью расстояния.

Американские джазовые композиторы сплошь и рядом черпают свое «вдохновение» из цыганских и других романсов и довольно беззастенчиво пекут из них свои шлягеры.

Очень часто, прислушиваясь к какой-нибудь песенке, узнаешь в ней знакомые куски или даже целиком заимствованные мелодии. Возьмем, например, хотя бы модный напев «Йес, май дарлинг дотер». Разве это не наше украинское «Ой, не ходи, Грицю, тай на вечорницю»? Но это еще пустяки: джаз не стесняется ни с какой музыкой вообще, ни с какими музыкальными величинами. В Америке переделывают на фокстроты все: Шопена и Бетховена, Чайковского и Рахманинова — кого угодно, если только он не записан у них в союзе.

Некоторые наши балетные артисты — Фокин, например, Баланчин и другие — долго пытались создать в Америке постоянный балет, наподобие того, который был в свое время создан во Франции под названием «Балет де Монте-Карло». Очень долго затея эта осуществиться не могла. Аплодируя монте-карловскому ансамблю во время его гастрольных приездов в Америку, заполняя до отказа театры, американцы тем не менее своего постоянного балетного театра заводить не хотели. Все попытки в этом направлении проваливались много лет подряд. Идея создания американского национального балета, увы, не находила отклика.

Тогда у меня сложилось даже впечатление, что ревю с участием «бьюти герлс» вполне заменяет американцам балет.

Работали эти несчастные «герлс», как машины. Обычно выступления их проводились в кино между сеансами. Кино начиналось в двенадцать часов дня и кончалось в двенадцать часов ночи. Все это время девушки находились в театре, в костюмах и гриме, там же ели и дремали на кушетках в ожидании своего номера.

При театрах есть буфеты и артистические уборные. Но в театр «герлс» должны являться в восемь утра, потому что до двенадцати дня они репетируют, готовя программу на следующую неделю. Таким образом, рабочий день каждой такой девушки составляет шестнадцать часов. Получает девушка примерно сто долларов в месяц. Она не видит ни солнца, ни свежего воздуха. Проработав так лет пять, она выходит обычно из этих театров уже сильно подурневшей и часто больной. Карьера ее кончена. На смену ей идут другие девушки, свежее и моложе...

Большим событием для Нью-Йорка было исполнение русскими артистами, приглашенными дирекцией «Метрополитен-Опера», нашумевшей оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мне, к сожалению, не пришлось быть на этом спектакле, но отзывы о нем были восторженные.

В Нью-Йорке довольно много русских артистов, которые остались в свое время там, отстав от своих трупп, с которыми когда-то гастролировали в Америке. Кто приехал с балетом, кто с «Летучьей мышью» Балиева, кто с пражской труппой художественников. Некоторые приехали из Европы сами. Были среди них оперные певцы — Черкасский, Петипа, Мария Куренко; были драматические — Хмара, Павлова, Кедрова. Много балетных. Некоторые получили уже американское гражданство и остались там на постоянное жительство, другие вынуждены были уехать в Европу и спустя некоторое время, выждав необходимые сроки для натурализации, возвращались снова. Время от времени там устраивались оперные спектакли, шли пьесы новых советских авторов, ставились балеты. В «Метрополитен-Опера» есть русские певцы и певицы, в больших мюзик-холлах много балетных артистов, иногда целые русские труппы. В кабаре и ресторанах с программой много русских номеров. Когда-то в Америке гремел и получал огромные гонорары знаменитый русский плясун Семен Караваев. Я знал его еще до эмиграции. Действительно, плясал он бесподобно, делая такие «вертуны» и «волчки», что дух захватывало, а его чечетка по ходу танца была вне всякой конкуренции. Потом он сошел со сцены. Его «убили» негры, которые пляшут «стэп-танцы» так, что за ними

не угнаться. Многие балетные пооткрывали там свои студии и давали уроки американцам. В Нью-Йорке, например, имели студию московская балерина Мария Юрьева и бывший московский премьер Вячеслав Свобода.

Большим успёхом пользовались там наши русские художники. Много работал по декоративной части московский художник Судейкин, молодой и талантливый Роман Шатов, знаменитый Борис Григорьев. Незадолго до моего отъезда устраивал выставку своих полотен сын Шаляпина, Борис Шаляпин. Американские миллионеры охотно заказывали свои портреты русским художникам и платили за них большие деньги. Впрочем, далеко не всем художникам жилось хорошо. Наш московский художник Александр Койранский, например, говорил, что две недели в месяц он моет посуду в ресторанах (потому что в Америке спрос на черный труд довольно велик), а две недели работает у себя в студии.

В Нью-Йорке мне довелось встретить старого своего приятеля, художника Давида Бурлюка. В то время он, к сожалению, почти отошел от живописи и работал в советской газете как журналист. У меня еще хранится его рецензия о моих концертах под заголовком «Цветок из чужого сада», в которой он сожалеет о том, что я не пою на родине и отдаю свои силы «чужим».

Есть в Нью-Йорке еврейский театр с довольно крупными силами, среди которых и старые мои знакомцы по Одессе, Харькову, Киеву: Клара Юнг, Павел Баратов и др.

Кино занимает умы многих людей, особенно тех, кто надеется сделать себе карьеру. Да и вообще в Америке ничем так сильно не интересуются, как кино.

Женщины, хотя бы раз в жизни попробовавшие себя в фильме, пусть даже в самой крошечной роли, уже ни о чем другом говорить не могут и думают только о том, как обратить внимание на себя и свою внешность. Не удивляйтесь, если вы встретите совершенно незнакомую вам женщину, которая вдруг укоризненно говорит вам, грозя пальцем:

— Ай-ай-ай! Нехорошо не узнавать знакомых!

— Простите!..— удивленно бормочете вы.— Я не могу вас припомнить!

— Ах вот как? Не можете припомнить?.. А еще ухаживали. Цветы посылали! — издеваясь, продолжает она.

Истязание это заканчивается тем, что дама, наконец, называет фамилию женщины, которая действительно когда-то нравилась вам и с которой вы были хорошо знакомы. Но... но ведь это же не она! Вы вглядываетесь в ее лицо и с трудом

начинаете отыскивать в нем когда-то знакомые черты. Постепенно вы соображаете, в чем дело. Дело в том, что она сделала себе пластическую операцию для кино, чтобы быть «еще красивее». Она спилила горбинку носа и укоротила его, подрезала мочки ушей, вырвала ряд совершенно здоровых, но чуть-чуть неправильных зубов и вставила вместо них новые, большие и блестящие, вшила себе в веки длинные и черные ресницы, не говоря уже о том, что подрезала грудь, чтобы округлить ее форму. Конечно, вы можете смотреть на нее целый год и все равно никогда не догадаетесь, что эта молодая особа, напоминающая восковую куклу из парикмахерской витрины, и есть ваша знакомая, какая-нибудь Людочка или Олечка, которую вы знали чудесной и хорошенькой всего два-три года тому назад где-нибудь в Берлине или Париже. Но, увы, это она. Каких только жертв не приносится на алтарь искусства! А самое обидное то, что это проклятое искусство даже не ценит этих жертв. До операции Олечку эту приглашали иногда знакомые режиссеры на небольшие рольки и даже обещали выдвинуть, а теперь, как назло, никто не приглашает!

Я никогда не забуду одной маленькой пятилетней девочки, которая, увидев пришедшую в гости только что сделавшую себе операцию носа мамину подругу, бросилась к матери со слезами и закричала:

— Мама, у тети Кати нос умер!

Мать ее сначала успокоила, а потом строго сказала, что о покойниках нельзя напоминать родственникам, потому что это бестактно!

Во время моего пребывания в Нью-Йорке состоялся знаменитый матч бокса между немецким боксером Шмелингом и американским чемпионом Максом Беером. Вся Америка, затаив дыхание, следила за этим состязанием. Ставки на одного и другого доходили до десятков миллионов. На время этот матч затмил все остальные события, и газеты ни о чем больше не писали. Немцы волновались невероятно, на пропаганду своего фаворита они тратили большие деньги. Страсти разгорались с каждым днем и часом. В день матча, собравшего несметную толпу и миллионы в кассе, на улицах были поставлены громкоговорители, оповещавшие толпу о каждом движении состязавшихся. Шмелинг долго готовился к этому матчу, и готовился по-немецки серьезно и тщательно, изучая своего противника в течение долгого времени. Говорят, что

он скупил все фильмы, снятые во время мвтчей Беера с другими боксерами, и по этим фильмам изучал его манеру, его стиль, его преимущества и слабости, высчитывая и взвешивая силу его ударов. Мне довелось попасть на этот матч, заплатив за билет пятьдесят долларов. Я не любитель бокса, меня интересовал не столько сам матч, сколько то, как реагировала на него толпа. Такого бешеного азарта, такой ярости, такого рева я никогда в своей жизни не слышал. Было страшно сидеть на этом огромном, залитом светом стадионе.

Победил Шмелинг. Немцы торжествовали. Американцы уходили, скрежеща зубами от ярости. Женщины плакали. Я взглянул в лицо Шмелинга: оно было синее и опухшее, как лицо утопленника. Газеты писали о народном торжестве в Германии, о том, что немцы не отходили от радио всю ночь. Помещали интервью с его женой — киноактрисой Ани Ондра. Гитлер прислал ему поздравительную телеграмму. Триумф был полный.

Приблизительно месяца через два произошло второе событие, взволновавшее всю Америку и снова поставившее в центр общественного внимания немцев.

Это был процесс Кауфмана — убийцы ребенка Линдберга. Убийца долгое время был неуловим, и, наконец, в 1935 году его поймали и судили.

Преступник защищался с невероятным упорством, лучшие адвокаты Америки стояли за его спиной, щедро оплачиваемые кем-то. Огромные деньги были брошены на то, чтобы добиться его оправдания или хотя бы как-нибудь преуменьшить впечатление от этого процесса. Но улики были неопровержимы, в радиоприемнике Кауфмана нашли все деньги, полученные им в виде выкупа за ребенка от несчастного отца: номера их были заранее записаны. Правосудие восторжествовало. Кауфмана казнили. Поздравительной телеграммы фюрера на этот раз не последовало.

Из Нью-Йорка я уехал в Сан-Франциско. У меня был ангажемент на ряд концертов в Калифорнии. По приезде на вокзал прямо с поезда мы сели в «ферри-бот» — нечто вроде большого парома, который и перевез нас на ту сторону залива, в город. На пароме приехали журналисты и фотографы. Опять я должен был сообщать свои впечатления об Америке, без которых не обходится ни одно интервью. На этот раз фотографы не так спешили и не хватали меня за лицо, поворачивая в сторону, нужную для снимка... Среди

журналистов были сотрудники русских газет. В огромном отеле «Сан-Франсис» я беседовал с ними в холле, отвечая на ряд вопросов, ничего общего с искусством не имеющих, но тем не менее интересующих любознательных американцев.

Например, какой город лучше — Нью-Йорк или Париж?

Какую киноактрису я люблю больше всего на свете?

Волнуюсь ли я перед выходом на сцену?

Сколько любовных писем я получаю в день?

Все эти вопросы мне быстро надоели, и я сбежал от корреспондентов в свой номер, оставив им на растерзание своего менеджера.

Через несколько дней был мой первый концерт. У меня было свободное время, и я решил, по совету друзей, осмотреть город.

Сам по себе Сан-Франциско ничего интересного не представляет — все города Америки похожи один на другой. Расположен город так, что открыт всем четырем ветрам океана, поэтому он обдувается со всех сторон. Даже летом там бывает холодно. Как и во всех городах Америки, кроме магазинов и кино, в нем ничего нет. Поэтому жить там довольно скучно. Зато окрестности тонут в зелени. Много деревьев и цветов, и все это окружено белыми и желтыми виллами типа испанских домиков средневекового стиля, сплошь увитых желтыми, белыми, красными розами и причудливыми фонариками из разноцветных стекол.

Русская колония там очень большая, почти такая же, как в Нью-Йорке, если не больше. Все служат, все работают на фабриках, в магазинах, в офисах. Работа скучная. Состоятельных людей почти нет.

Одна моя знакомая, которая служит на фабрике женских платьев, восемь лет уже делает один и тот же шов на левом рукаве. И никогда не видела целого платья. Другой приятель работает на консервной фабрике и тоже лет пять уже делает одно и то же движение: он прижимает ключ для открывания коробки узенькой жестяной пластинкой. Палец на правой руке у него как деревянный. А третий знакомый работает на колбасной фабрике, где из поступающей в машину живой свиньи через час или полчаса выходит уже готовая колбаса. Его обязанность — чистить свиной пятачок особой щеточкой.

В Сан-Франциско есть небольшой клуб, в котором русские собираются по субботам. Раз в год устраивается большой бал в пользу русских инвалидов — жертв мировой войны. Русские дамы очень стараются и собирают обычно большие суммы денег, которые отсылают потом в Париж, в Союз инвалидов.

Собравшая больше всех денег получает титул «Королевы русской колонии», что немало способствует соревнованию между дамами. Люди, с которыми мне приходилось там встречаться, произвели на меня самое лучшее впечатление. Все они очень гостеприимны, все тоскуют по родине.

Концерты мои прошли удачно и на время всколыхнули обычно монотонную жизнь колонии.

Из Сан-Франциско я отправился в Голливуд.

Кто только не встречал меня на вокзале! Бывший адмирал, бывший журналист, бывший прокурор, бывший миллионер, бывший министр, бывший писатель!

И все бывшие, бывшие, бывшие...

Бывшие потому, что генерал держит теперь ресторан, адмирал — фотографию, прокурор — комиссионный магазин, журналист служит поваром, а миллионер отпустил черную бороду и в кавказской черкеске с кинжалом стоит у дверей ресторана и открывает двери гостям.

Зачем приехали в Голливуд эти люди? Чего искали они здесь? Каким ветром занесло их в такую даль, на край света? И какой путь проделали все эти московские, ростовские, новороссийские жители, прежде чем попали туда? Трудно ответить на этот вопрос. Русский человек, потерявший родину, уже не чувствует расстояний. Кроме того, ему нигде не нравится и все кажется, что где-то лучше живется. Поэтому за годы эмиграции мы стали настоящими бродягами. Раз жить не у себя дома, так не все ли равно где? Мне вспоминаются слова Марины Цветаевой:

Мне совершенно все равно,
Где совершенно одинокой
Быть...

Все эти русские в Голливуде группируются вокруг киномира. Большинство работает статистами. Другие же... Кто работает в костюмерных, кто в фотографиях, кто служит гримером, кто по части лошадиного спорта. Голливуду нужны тысячи специалистов в самых разнообразных областях для различных постановок. Нужны инженеры, механики, архитекторы, парикмахеры, наездники, музыканты, фотографы, осветители, дрессировщики зверей, атлеты, акробаты, имитаторы, звукоподражатели, великаны, лилипуты, уроды, калеки...

Сотни фильмов самых разнообразных сюжетов проходят ежегодно через студии Голливуда. При мне ставился фильм с таким сюжетом: какой-то содержатель труппы ярмарочных

балаганных «аттракционов» — всяких «женщин с бородой», сросшихся близнецов, карликов и прочих — зафрахтовал корабль, чтобы везти свою труппу по свету. Корабль терпит крушение, и вся эта масса уродов и калек выброшена на необитаемый остров. Что было дальше, я не помню, но для этого фильма со всего мира собирали всяких монстров и уродов. Навезли их в Голливуд сотни. Многие из них по окончании фильма остались в Голливуде в надежде, что когда-нибудь их услуги еще понадобятся.

В большинстве голливудцы живут от картины до картины. Главный и, собственно, единственный источник существования — это фильм. Почти в каждом фильме нужна толпа, иногда очень многочисленная. Поэтому статисты всегда требуются. Целый день вся эта публика сидит дома в ожидании телефонного звонка. Если на завтра нужна толпа, заведующий отделом, у которого записаны телефоны всех статистов, телефонирует и предупреждает:

— Завтра к шести утра.

Это означает заработок от десяти до двадцати пяти долларов, в зависимости от того, что нужно. Если светскую толпу — значит, нужны фраки и вечерние платья,— тогда платят дороже, если уличную — значит, в чем попало,— это дешевле.

Позвонить вам могут в любой момент до пяти часов вечера. Все сидят дома, боясь пропустить звонок и потерять заработок. Поэтому днем улицы Голливуда совершенно пусты. Все или заняты в ателье, или сидят дома и ждут...

В общем же Голливуд глубоко провинциален. Все интересы там вертятся вокруг фильмов. Жить там скучно.

Однажды мой менеджер влетел ко мне очень взволнованный и сообщил, что я удостоился редкой чести — получил приглашение в знаменитый «Голливуд Морнинг Брэкфаст клаб». В руках он вертел толстый конверт, который торжественно протягивал мне. Я вскрыл его. На великолепном куске александрийской бумаги были нарисованы примитивные козлики с лошадками и курочки с петушками. Дальше было написано, что правление ГМБК просит меня почтить их своим посещением и выступить у них такого-то числа во время утреннего завтрака. Я равнодушно повертел конверт в руках и осведомился:

— На кой шут мне такое приглашение?

Менеджер был возмущен.

— Безумец! — патетически восклицал он.— Он еще спрашивает зачем... Да знаете ли вы, что в этом клубе состоят членами все нью-йоркские и чикагские миллионеры?

— Ну, а дальше что? — не сдавался я.— Миллионов своих они же нам не оставят?

— Как? А реклама? А честь какая! Ни один русский не переступал порога этого клуба,— возмущался он.— Они приглвшают только мировых знаменитостей! Понимаете? Вы — форменный самоубийца.

И он потрясал письмом в воздухе и кипятился.

Я понял, что сопротивленив бесполезно.

— Реклама — прежде всаго! — кричал он.

Надо было ехать. Самое противное было то, что явиться следоввло... в семь часов утра.

Это меня приводило в отчаяние.

«Что за дурвцкая идея приглашать артиста в семь утра! — думал я.— Никогда в жизни я еще не пел на рассвете!»

Но выхода не было.

На другой день а шесть с полоаиной утра за мной завхала машина клуба, и ровно в семь я уже сидел за длинным столом, за которым было человек двести, и беседовал с какими-то упитанными личностями, которые старались меня развлечь. Напротиа сидела французская кинозвезда Даниель Дарье, моя парижская приятельница, и делала мне «страшные глаза», вся искрясь смехом. Подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, яичницу.

Время от времени поднимался какой-нибудь толстяк и рассказывал невероятную ерунду из области своих семейных или любовных переживаний, пересыпая ее грубыми шуточками и словечками бродвейского арго. Почему эту ерунду надо было говорить именно утром?

Потом обо мне был зачитан небольшой докладец, разъяснявший публике мой жанр и творчество, после чего мне пришлось выступать.

Не будем говорить о том, как я пел. Меня легко поташнивало от зтих рвзговоров, от вида яичницы, которой я терпеть не могу, от папирос натощак и всего этого добродушного кретинизма. Аплодировали они тем не менее щедро. В вечерних газетах были приведены фамилии всех финансовых тузов, бывших на завтраке, и среди зтих мешков с золотом робко серела моя скромная фамилия, как бедная родственница за богатым столом...

Вторым событием, произведшим на меня неизгладимое впечатление, были голливудские похороны.

Как-то на одном из «парти», устроенном моими друзьями по случаю моего приезда, мне пришлось познакомиться с молодой, красивой американкой М. Жена одного из магна-

тоа кинопромышленности, богатая, избалованная и по-американски независимая, она положительно не знала, что с собой делать. Актрисой она не была — муж не позволял ей сниматься, и ее время не было заполнено ничем, кроме портных, парикмахеров и покупок в магазинах. Обычно она устраивала у себя «парти» или ее приглашали на них почти ежедневно. Как большинство таких свободных американок, она пила с утра до вечера джин и носилась по Голливуду на своей машине, которой правила сама. Ездила она очень смело, чтобы не сказать больше.

Однажды сев с ней в машину, я дал себе слово никогда больше этого не делать. Она мчалась, как гонщик на состязаниях.

— Вы когда-нибудь убьетесь, дорогая! — сказал я ей.

М. только рассмеялась.

— Это будет самым лучшим выходом из моего положения.

Она была разочарована.

Пустая, бессмысленная и бесцельная жизнь богатой и ничем не занятой женщины, по-видимому, тяготила ее. Иногда я рассказывал ей о Советской России, о том, как трудятся там женщины. Она слушала, полуоткрыв рот, мечтательно вздыхая.

Однажды ночью, после одного из таких «парти», она, находясь под сильным влиянием алкоголя, села в машину и разбилась.

На другой день ее хоронили. Я послал ожерелье из гардении и поехал в «Фенераль бюро», где были назначены похороны.

В большом, похожем на католический собор сводчатом зале собрался весь Голливуд. Артисты, писатели, художники, директора — все, кто был так или иначе связан с деятельностью ее мужа, пришли отдать М. последний долг. Люди разместились на дубовых скамьях и тихо разговаривали, обсуждая происшедшее. Перед нами было что-то вроде сцены или эстрады, задернутой толстой бархатной занавесью. Минут через десять раздался удар гонга. Занавес раздвинулся, и перед моими глазами предстала... живая покойница!

Она сидела, положив ногу на ногу, на табурете за стойкой бара и держала в руке бокал. Сзади стоял живой бармен и наливал что-то в коктейльницу. Она была причесана, нарумянена, напудрена, в длинном вечернем платье, с широко открытыми глазами и улыбалась страшной неживой улыбкой. На шее ее было мое ожерелье. Я окаменел от ужаса.

Потом, много позже, мои друзья объяснили мне, что в Америке, когда похоронное бюро берется за похороны, оно спрашивает родственников:

— В каком виде вы хотели бы видеть покойницу в последний раз?

Если женщина была хозяйкой, ее показывают в домашней обстановке, если она была хорошей матерью и любила детей — в детской и т. д. В данном случае киномагнат, привыкший видеть свою жену всегда за стойкой бара, хотел, чтобы именно в таком виде предстала она перед ним в последний раз.

Была мертвая тишина. И вдруг с хоров полились звуки музыки. Оркестр, приглашенный из ее любимого ресторана, играл любимые вещи покойницы. Сперва «Очи черные», потом «Две гитары» и, наконец, фокстроты.

Через несколько минут появились лакеи, которые разносили гостям на подносах ее любимый коктейль и сандвичи.

— Танцуйте, танцуйте! — истерически выкрикивал ее муж.— Она так любила танцы!..

Между прочим, кладбище в Голливуде, наверное, самое красивое в мире. Оно представляет собой огромный парк с газонами, весь в цветах и редчайших деревьях, без единого креста или памятника. Каждая могила имеет только небольшую бронзовую доску, чуть наклонно вкопанную в землю, с именем покойника, и больше ничего. Вокруг цветы. Плакучие ивы. Пальмы. Если не присматриваться к газонам, то кажется, что это просто парк для публики. Там похоронены все экранные звезды, в свое время ушедшие из жизни. Я видел могилы Барбары Ламар, Рудольфо Валентино, Дугласа Фербенкса и других.

Звезды живут в самой дорогой части Голливуда — Беверли-Хил. Там у них собственные или снятые внаем роскошные виллы. Так полагается для рекламы. Положение обязывает, и жить поскромнее звезда не имеет права. У нее должна быть роскошная машина, собственные секретари, горничные, заведующий ее рекламой и пр.

Но фильмовый век такой звезды довольно короток. Пять-шесть лет, и она уже сходит со сцены. За небольшим исключением, никто из них не превышает этого срока. Правда, за это время она получает бешеные гонорары, но на представительство уходят тоже бешеные деньги. Поэтому очень немногим удается накопить денег и обеспечить свое будущее. Я видел немало потухших звезд, которые нуждались.

В Голливуде очень много красивых женщин, но и красивых мужчин не меньше. Все эти люди наехали сюда из разных стран в надежде на счастье. Но...

Счастье? К счастью надо красться,
Зубы сжав и притушив огни,
Потому что знает, знает счастье,
Что всегда гоняются за ним! —

квк говорит шанхайская поэтесса Лариса Андерсен. Счастье улыбается очень редко и очень немногим. В Голливуде трудно поймать шанс. Все крупные роли игрвют звезды. Почти все они жены или подруги продюсеров — директоров, фильмовых магнатов или режиссеров. Держатся зв свое положение они довольно цепко и никого к ролям и близко не подпускают. Все разговоры о том, что такой-то режиссер открыл такую-то звезду,— это сказки для доверчивой публики или рекламы. Никаких звезд никто не открыввет. Все они давно уже открыты и сияют довольно продолжительное еремя. Я не говорю о таких, как Норма Ширер, Марлен Дитрих, Грета Гарбо,— это звезды первой величины. Их век продолжается довольно долго. Они прочно завоевали публику, и время как будто не касается их. Во всяком случае, на экране. Правда, искуснейшие гримеры делают чудеса, замазывая на их лицах следы времени, опытнейшие осветители, комбинируя контрасты света и тени, скрадывают нежелательные дефекты. И только с годами, когда все эти способы уже перестают помогать, они переходят на другие роли, более солидных и зрелых женщин. Тогда на их место продвигаются новые, молодые звезды — жены и подруги директоров или продюсеров. Правда, Голливуд приглашвет из Европы время от времени ту или иную звезду, но это гастролерши. Контракт с ними делают временный и настоящего положения не дают. Это нужно для того, чтобы завоевать американским картинам тот или иной иностранный рынок. Для этого покупают любимицу или любимца данной страны и, сняв с ним ряд фильмов, пускают их на экраны его родины.

При ближайшем рассмотрении звезды оквзываются далеко не такими красавицами, какими мы привыкли видеть их на экране. Красота в кино второстепенна. Глввное — фотогеничность. Важно, чтобы самый каркас, так сказвть, лицв был фотогеничен, а красоту уже вам добавят гримом и освещением. Часто очень красивые лица теряют из-за этого на экране. Вообще в Голливуде происходит обратное явление. Там звезды почти все некрасивые, а статистки — крвсавицы.

Этими куклами Голливуд наполнен до отказа. Иногда, идя по улице, буквально рвзеваешь рот, встречая девушек такой необыкновенной красоты, что дух захватывает. Но это какие-нибудь продавщицы из магазинов, или кельнерши из кабаре, или маникюрши. Они приехали сюда из далеких стран, уже ухлопали два-три года на борьбу за карьеру в фильме и разочаровались.

Положение мужчин почти такое же, с той только разницей, что одни из них, имея средства, уезжают обратно на родину, ничего не добившись, а другие, так сказать, более слабые духом, устраиваются на содержание к богатым старухам, которыми кишит Голливуд. В его окрестностях есть местность «Пассадина», вся застроенная особняками и роскошными виллами. Там живут вдовы миллионеров, старухи-рантье, обладательницы огромных капиталов, оставленных им мужьями. Делать им абсолютно нечего, и поэтому они «усыновляют» интересных молодых людей, которых и водят за собой всюду, как мопсов на цепочке. Молодые люди эти всегда великолепно одеты, имеют роскошные машины и грустно глядят на голливудских девчонок. Многие из них приехали из Аргентины или Мексики, где были пастухами, гоняли по степям и прериям диких лошадей, накидывая на них лассо,— словом, были простыми ковбоями. Теперь они выхолены, выстрижены, с черными узкими усиками и пальцами в кольцах, играя глазами, грустно пьют виски и бренди и вздыхают о далекой родине... Почти все они снимаются фигурантами в фильмах и все еще не теряют надежды выдвинуться. Некоторые из них женились на потухших звездах, у которых еще остались деньги.

Русские были одно время в очень большой моде в Голливуде, особенно во времена немого кино. Тогда в студии попало много русских музыкантов и артистов. Я встречал Михаила Бакалейникова, Макса Рабиновича, которые работали аранжировщиками, Темкина, Владимира Друкера — прекрасного трубача. Одно время работал наш харьковский виолончелист Яков Бунчук. Многие уже умерли и похоронены на голливудском кладбище. Умер когда-то знаменитый московский опереточный артист Михаил Вавич, умер Оскар Потокер...

В Голливуде есть маленькая русская церковь, где все иконы написаны или пожертвованы нашими соотечественниками. Есть небольшой клуб. Большим успехом пользовалась наша русская певица Нина Павловна Кошиц, которую, вероятно, еще помнят москвичи,— обладательница чудесного

голоса, настоящий русский соловей. У нее была собственная студия. Она давала уроки пения голливудским звездам, иногда выступала сама на больших концертах. Я слышал ее с большим симфоническим оркестром в «Голливуд-боул», в горах за Голливудом, где выстроена огромная ротонда на двадцать тысяч человек. Играл Хейфец. Нина Кошиц пела из «Евгения Онегина». Ее голос звучал, как жемчуг, который сыплется на серебряное блюдо. Успех она имела огромный.

Из русских артисток видное положение занимала Анна Стэн. Она играла Катюшу Маслову в «Воскресении» Толстого и Нана в одноименном фильме по роману Золя. Но впоследствии отношения ее с дирекцией испортились, и она сошла с экрана. На ее «фильмовое воспитание» были истрачены большие деньги. Три года ее учили английскому языку и пению. На рекламу тратили сотни тысяч. Она не оправдала каких-то возлагавшихся на нее надежд, и о ней замолчали. Имел успех Аким Тамиров, бывший актер Художественного театра. Снимался иногда Иван Лебедев.

Русские приблизительно все находятся в равном положении, поэтому живут довольно мирно, не ссорясь и не завидуя друг другу. Но зато, если кому-нибудь удается хоть немного выдвинуться и занять хоть маленькое, но положение — он уже спешит отгородиться от своих соотечественников и ищет исключительно американского и иностранного общества, боясь потоков просьб и одолжений...

Редким исключением была наша русская Таня Татль — жена режиссера Франка Татля, дочь артистки Евдокии Смирновой. Она была на редкость отзывчива и добра и очень много делала для русской колонии. Она немного занималась фильмовой режиссурой и мечтала поехать в Советскую Россию работать. Голливудские фильмы ее не удовлетворяли. Она считала, что настоящая интересная и культурная фильмовая работа делается только в СССР и нигде больше.

Был конец октября, когда я решил уехать в Китай.

Огромный японский пароход «Чичибу Мару» увозил меня из Сан-Франциско. Публика состояла исключительно из японцев, возвращавшихся на родину, и, кроме меня, европейцев не было. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать многое. Я радовался одиночеству.

На Гавайях, в Гонолулу, я любовался бирюзовой прозрачной чистотой океана, смотрел, как ныряют в воду смуглые, великолепно сложенные туземцы, когда им бросают монету.

Смотрел на красивых гавайских девушек, увешанных ожерельями из роз, гвоздик и магнолий, смотрел их чувственные и в то же время стыдливые танцы, слушал прелестную, тоскующую музыку гавайских гитар, рассматривал диковинных рыб в морском музее и вспоминал слова Георгия Иванова из моей песни:

Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина,
И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары...

Через день мы уже плыли дальше, в таинственный далекий Китай, известный мне только по сказкам Андерсена.

Китай

В Китае я застрял надолго... Близость советской границы рождала в сердце смутные и неясные надежды. Когда началась вторая мировая война и чувство любви к родине особенно обострилось в сердцах всех честных русских людей, надежды эти еще возросли. Победы советских войск вызвали в душе моей гордость, смешанную со все усиливавшейся тоской по отечеству...

Правда, такие чувства испытывали не все. Помнится один знаменательный вечер в Шанхае. По примеру Парижа, где ежегодно устраивались выборы самой красивой девушки страны — «Мисс Франции», потом «мисс Европы»,— было решено, чтобы не ударить лицом в грязь и не отстать от века, тряхнуть своими эмигрантскими ресурсами и выбрать из представительниц русской колонии «Мисс Шанхай».

Организовала этот конкурс инициативная группа местного журнала «Уединение».

В лучшем саду города, в ресторане «Аркадия», на открытой эстраде стоял длинный стол, покрытый коврами, на нем бутылки с квасом и огромная ваза цветов.

«Уединенцев» было всего-навсего пятеро.

— Война? — возмущенно говорили они со страниц своего журнала.— А нам какое дело? Пусть воюют военные! А мы эстеты...

В составе жюри был весь цвет шанхайской интеллигенции, «титаны зарубежной мысли», «вожди» и «пророки», соловьи и разбойники.

Мир раскалывался пополам. Полыхали пожарища. Тонны бомб сыпались с неба. Горели города и села. Родина обливалась кровью... А «уединенцы» восседали за судейским столом, полные сознания своего гражданского долга, придав своим лицам соответствующее выражение, крайне озабоченное и строгое.

На этот конкурс они пришли солидно, по-семейному — с «мамами». Со своими «преподобными женулечками». Побоявшись их отпустить при наличии такого соблазна, «женулечки» расфуфырились в дым и гордо выступали, торжественно ведомые своими мужьями, и садились за судейский стол с тем же каменно-величественным видом.

Все были «свои». Некий Эдуард Иванович, старый театральный жук, на пуантах перепархивал как птичка от столика к столику и, лукаво грозя дамам мизинчиком, говорил:

— Я не знаю!.. Ей-богу, не знаю! Ведь все же зависит от вас. Кого изберете вы!

— Ладно, знаем мы вашу лавочку! — подмигивали гости.

Вместе с входными билетами публике выдавались розовые талоны для избрания королевы, но все прекрасно знали, что изберут ту, за которую кто-то больше заплатит, то есть купит ей на какую-то сумму талонов отдельно. В кассе их можно было покупать свободно.

Пока переваривались бифштексы и поджарки, народ безмолвствовал. Ждали.

Сразу же за эстрадой начинались курятники. Чтобы не переплачивать на базаре, хозяин ресторана разводил тут кур, гусей и индюшек. В этом курятнике и томились будущие королевы в ожидании своего выхода. Курятник был предоставлен им в качестве артистической уборной.

Цыплята пищали. Гуси гоготали. Куры кудахтали. Это нервировало будущих королев. Они брезгливо сидели рядышком на высоких табуретках из бара, как куры на насесте, ибо на стульях сидела публика. Высоко задрав свои вечерние платья и отбиваясь сумками и зонтиками от гусей, они были близки к истерике.

Девиц было много. Все они не могли оторвать глаз от созерцания собственной красоты, глядя в единственное зеркало на стене курятника, заботливо повешенное любезным хозяином.

Выбор предлагался большой. Крашенные перекисью блондинки, по-испански раздраконенные брюнетки в кольцах и загогулинах на висках, пышные шатенки с немытыми распущенными волосами русалок — все они поднимали невообразимый шум.

— Коля, Колечка! — кричала одна.— Прогоните этого лебедя, он мне чулки рвет!

— Боже мой! — вопила другая.— Я во что-то вступила ногой! Тряпку! Ради бога, тряпку!

— Сеня, дайте ей валерьянки! — умолял кого-то мужской голос.

Ровно в десять вечера грянул марш. Заседание объявили открытым. Жуликоватый парень с манерами «неглиже с отвагой» размашисто и небрежно выталкивал, как котят из мешка, оробевших девиц на залитую светом площадку и тоном зазывалы ярмарочного балагана оповещал:

— Намбер уан! Мисс Аспазия!

— Намбер ту! Мисс Амфибия!

— У-у-у! — стонала публика.— Где достал такую страшнюгу?

— Намбер три! Мисс Потенция!

— Коняга какая-то! — удивлялись в публике.

Девицы были засекречены псевдонимами.

— Намбер фор! Мисс Гарантия!

На площадке, освещенной прожекторами, стояла девица в платье из черного крепа, отделанном серебряными аппликациями. Она была немилосердно худа и всем своим видом напоминала черный купеческий гроб, отделанный глазетом.

— Почему она в трауре? — допытывалась публика.

— Это вдова Неизвестного солдата! — пояснял кто-то.

— Намбер сикс! Мисс Гипотенуза!

Щуплая девица, завитая мелким барашком, едва держалась на своих макароньих ножках. От волненья, света прожекторов и долгого сиденья в курятнике она была близка к обмороку.

— Мошенники! Жулики! Арапы! — неслось из публики.

— За что деньги берут? Это же мымры какие-то!

Девицы цепочкой пробегали по кругу, уже ни на что не надеясь. Напрасно «вершители судеб» уговаривали в микрофон голосовать за своих кандидаток. Публика бушевала. Талонов своих зрители не отдавали никому, ибо все более или менее интересные девушки сидели в публике как гости и на конкурс не шли.

Атмосфера сгущалась. Пахло грозой. И вдруг свершилось чудо!

К судейскому столу не спеша подошел толстый китаец, один из очень известных спекулянтов, владелец нескольких меняльных контор на Банде.

— Фазан! Фазан пришел! — зашептали в публике. Он действительно был похож на жирного фазана.

— Наша мадама вончи мисси! (Моя дама хочет быть мисс!) — спокойно улыбаясь, заявил он, с трудом изъясняясь на ходячем русско-английском жаргоне.— Хав мач? (Сколько стоит?) — Достав из кармана своего засаленного халата толстый бумажник, он начал отслюнивать деньги.

Откуда-то из-за его круглой, широкой спины неожиданно вывернулся сияющий Эдуард Иванович.

— Плиз! Ради бога, плиз! Прошу вас! — извиваясь и пресмыкаясь, кланялся он, истекая нежностью к своему спасителю.

Спекулянта подхватили под руки и, как архимандрита в алтарь, повели в кассу. Через десять минут «большинством голосов» была выбрана его дама. Русская по национальности, она, увы, оказалась проституткой по профессии.

«Суд» заканчивался. «Боги», кряхтя, слезали с Олимпа и усаживались за бесплатное угощение. Эдуард Иванович отирал трудовой пот с высокого лба.

Всходила луна. Подавали поджарку.

Мир раскалывался пополам.

Все это и, увы, многое другое в том же роде мне пришлось повидать в годы эмигрантских скитаний...

Эпилог

Больше десяти лет прошло с того дня, когда я вновь вступил на землю своей родины — впервые после двадцатипятилетнего пребывания в эмиграции. Много воды утекло за это время, многое изменилось. Для меня лично главная перемена заключается в том, что из «эмигранта, вернувшегося на родину», я превратился в настоящего советского гражданина, известного советского актера. А это большая честь, которую надо заслужить. И я заслужил ее упорным трудом.

Я хожу по родной земле как равноправный член большой и единой семьи советских людей и одинаково со всеми считаю себя хозяином своей страны. Вместе со всеми я радуюсь открытию Волго-Донского канала и вместе со всеми волнуюсь: приживутся ли липы, высаженные осенью на улице Горького.

...Я прожил за границей двадцать пять лет. Я жил лучше многих и прилично зарабатывал. В моих гастрольных поездках по белому свету я останавливался в первоклассных отелях, спал на мягких постелях, окружвнный максимальным комфортом. И двадцать пять лет мне снился один и тот же сон. Мне снилось, что я, наконец, возвращаюсь домой и укладываюсь спать на... старый мамин сундук, покрытый грубым деревенским ковром. Неизъяснимое блаженство охватывало меня. Наконец я дома! Вот что всегда значила для меня родина. Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине.

Вероятно, я буду долго жить.

Так утверждают по крайней мере мои знакомые.

Почему?

Потому что меня очень часто хоронят. Занимаются этим главным образом зарубежные газеты и журналы.

Зачем?

Вероятно, от скуки или от недостатка сенсаций. Я вернулся на родину в 1943 году, и в первый же год моего возвращения зарубежная пресса писала, что меня «расстреляли на первой же пограничной станции».

Года черв два я был «замучен в застенках ГПУ».

Еще через год оказалось, что я жив, но голодаю и «торгую газетами около Моссовета». Вскоре я все-таки умер. Не то от голода, не то от плохой торговли. Что, собственно, легко могло бы случиться, ибо частной торговли у нас нет и газетами торгуют киоски «Союзпечать».

Наконец, однажды утром мне позвонил американский корреспондент Эдди Гильмор, очень приятный и талантливый человек, с которым я был хорошо знаком, и, от души смеясь, сказал:

— Я только что получил из Америки телеграмму. Просят дать подробности ваших похорон в Москве. Последние дни я был в отъезде и поэтому не в курсе дела. Вот я и решил обратиться непосредственно к вам за этим делом.

Я ответил, как Марк Твен:

— Слухи о моей смерти несколько преувеличены.

Мы посмвялись вместе, и на этом разговор закончился.

С твх пор меня не хоронят.

Вероятно, забыли.

А я не забыл Америку. У меня когда-то было много друзей и в Нью-Йорке, и в Голливуде. Где они теперь? Как живут? Я был бы рад что-нибудь узнать о них. Хорошие друзья не забываются.

А я — живу. И живу неплохо. Пою в год сто — сто пятьдесят концертов. За четырнадцать лет я спел на родине около

двух тысяч концертов. Страна наша огромна, и все же я успел побывать везде. И в Сибири, и на Урале, и в Средней Азии, и в Заполярье, и даже на Сахалине. Не говоря уже о среднеевропейской ее части. Во многих городах я бывал по четыре-пять раз. Я пою в театрах, в концертных залах, во дворцвх культуры, а иногда на заводах, на стройках, в шахтах. Недавно в Донбассе я пел под землей для шахтеров во время обеденного пврерыва. Они подарили мне шахтерскую лампочку с выгравированной на серебряной дощечке теплой и дружеской надписью. Я ею очень горжусь.

Кроме концертов, я много играю в кино. В последние годы я сыграл в картине «Скандербег» — роль Великого дожа Венеции. В «Анне на шее», по Чехову,— роль губернатора. В картине «Пламя гнева» — роль польского посла при дворе гетмана Украины. На днях выходит фильм «Кровавый рассвет» по повести украинского писателя Коцюбинского «Фата-Моргана» с моим участием. Сейчас буду сниматься в фильме «Олеко Дундич» в роли французского генерала Жобера.

Живу в Москве, на улице Горького, в самом центре. У меня большая, хорошая квартира. Когда я приехал в Москву в 1943 году, у меня была только одна дочь, рожденная в Шанхае. Ей было четыре месяца. А вторая родилась уже здвсь, на родине. Теперь они выросли.

Так я живу у себя на родине и работаю. Народ мвня принимает тепло и пока не дает мне уйти со сцены. Концерты мои переполнены до отказа. На днях буду напевать новые пластинки. Даже постареть некогда!

А на это ведь тоже нужно время!

1942—1957 гг.

[illegible] сердца [illegible]
Пушкин

[illegible]
И теперь [illegible] дни
[illegible]
Восстан[illegible]

И в [illegible]
[illegible]
[illegible] царской [illegible]
[illegible] сердца [illegible]

Но [illegible]
[illegible]
И [illegible] песни [illegible]
Как [illegible] на [illegible]

Россия [illegible] страна родная
[illegible]
В твоих степях [illegible]
Враг [illegible] в снег [illegible]

[illegible] Отчизна
[illegible] раскрыл[illegible] дружно [illegible]
Я знаю, что [illegible] коммунизма
Все [illegible] в твоих святых огнях

[illegible]

[illegible]
[illegible]декабр[illegible]
[illegible]

Стихи и песни

Стихи и песни
собраны и обработаны
А. Вертинской

МИНУТОЧКА

Ах, солнечным, солнечным маем,
На пляже встречаясь тайком,
С Люлю мы, как дети, играем,
Мы солнцем пьяны, как вином.

У моря за старенькой будкой
Люлю с обезьянкой шалит,
Меня называет «Минуткой»
И мне постоянно твердит:

«Ну погоди, ну погоди, Минуточка,
Ну погоди, мой мальчик-пай,
Ведь любовь — это только шуточка,
Это выдумал глупый май».

Мы в августе горе скрываем
И, в парке прощаясь тайком,
С Люлю, точно дети, рыдаем
Осенним и пасмурным днем.

Я плачу, как глупый ребенок,
И, голосом милым звеня,
Ласкаясь ко мне, как котенок,
Люлю утешает меня:

«Ну погоди, ну не плачь, Минуточка,
Ну не плачь, мой мальчик-пай,
Ведь любовь наша — только шуточка,
Ее выдумал глупый май».

1914—1915

Я СЕГОДНЯ СМЕЮСЬ НАД СОБОЙ

Я сегодня смеюсь над собой...
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки наивной, смешной.

Я устал от белил и румян
И от вечной трагической маски,
Я хочу хоть немножечко ласки,
Чтоб забыть этот дикий обман.

Я сегодня смеюсь над собой:
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки про сон золотой...

1915

СЕРОГЛАЗОЧКА

Я люблю Вас, моя сероглазочка,
Золотая ошибка моя!
Вы — вечерняя жуткая сказочка,
Вы — цветок из картины Гойя.

Я люблю Ваши пальцы старинные
Католических строгих мадонн,
Ваши волосы сказочно-длинные
И надменно-ленивый поклон.

Я люблю Ваши руки усталые,
Как у только что снятых с креста,
Ваши детские губы коралловые
И углы оскорбленного рта.

Я люблю этот блеск интонации,
Этот голос — звенящий хрусталь,
И головку цветущей акации,
И в словах голубую вуаль.

Так естественно, просто и ласково
Вы, какую-то месть затая,
Мою душу опутали сказкою,
Сумасшедшею сказкой Гойя...

Под напев Ваших слов летаргических
Умереть так легко и тепло.
В этой сказке смешной и трагической
И конец, и начало светло...

1915

БЕЗНОЖЕНЬКА

Ночью на кладбище строгов,
Чуть только месяц взойдет,
Крошка-малютка безногая
Пыльной дорогой ползет.

Днем по канавам валяется,
Что-то тихонько скулит,
Ночью в траву забирается,
Между могилками спит.

Старой, забытой дороженькой
Между лохматых могил
Добрый и ласковый Боженька
Нынче во сне приходил.

Ноги большие и новые
Ей подарить обещал,
А колокольцы лиловые
Тихо звенели хорал...

«Боженька, ласковый Боженька,
Что тебе стоит к весне
Глупой и малой безноженьке
Ноги приклеить во сне?»

1916

JÁMAIS

Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка.
Из Ваших синих подведенных глаз
В бокал вина скатился вдруг алмаз...
И много, много раз
Я вспоминал давным-давно ушедшую минутку...

На креслах в комнате белеют Ваши блузки.
Вот Вы ушли, и день так пуст и сер.
Грустит в углу Ваш попугай Флобер,
Он говорит «jámaïs» и плачет по-французски.

1916
Москва

МАЛЕНЬКИЙ КРЕОЛЬЧИК

Вере Холодной

Ах, где же Вы, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Капризный, как дитя, как песенка без слов?

Такой беспомощный, как дикий одуванчик,
Такой изысканный, изящный и простой,
Как пуст без Вас мой старый балаганчик,
Как бледен Ваш Пьеро, как плачет он порой!

Куда же Вы ушли, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Капризный, как дитя, как песенка без слов?..

1916
Москва

ЛИЛОВЫЙ НЕГР

В. Холодной

Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?
Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..
Вы, кажется, потом любили португальца,
А может быть, с малайцем Вы ушли.

В последний раз я видел Вас так близко.
В пролеты улиц Вас умчал авто.
И снится мне — в притонах Сан-Франциско
Лиловый негр Вам подает манто.

1916

ВАШИ ПАЛЬЦЫ

В. Холодной

Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.

И когда Весенней Вестницей
Вы пойдете в синий край,
Сам Господь по белой лестнице
Поведет Вас в светлый рай.

Тихо шепчет дьякон седенький,
За поклоном бьет поклон
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон.

Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль.
Ничего теперь не надо нам,
Никого теперь не жаль.

1916

ЗА КУЛИСАМИ

Вы стояли в театре, в углу, за кулисами,
А за Вами, словами звеня,
Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами
Потихоньку ругали меня.

Кто-то злобно шипел: «Молодой, да удаленький.
Вот кто за нос умеет водить».
И тогда Вы сказали: «Послушайте, маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?»

Вот окончен концерт... Помню степь белоснежную...
На вокзале Ваш мягкий поклон.
В этот вечер Вы были особенно нежною,
Как лампадка у старых икон...

А потом — города, степь, дороги, проталинки...
Я забыл то, чего не хотел бы забыть.
И осталась лишь фраза: «Послушайте, маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?»

1916
Крым

ПАНИХИДА ХРУСТАЛЬНАЯ

Вспоминайте, мой друг, это кладбище дальнее,
Где душе Вашей бально-больной
Вы найдете когда-нибудь место нейтральное
И последний астральный покой.

Там поют соловьи панихиды хрустальные,
Там в пасхальную ночь у берез
Под церковного звона аккорды финальные
Тихо сходит к усопшим Христос.

Там в любовь расцвела наша встреча печальная
Обручальной молитвой сердец,
Там звучала торжественно клятва прощальная
И нелепый печальный конец.

И когда догорят Ваши свечи венчальные,
Погребальные свечи мои,
Отпоют надо мной панихиды хрустальные
Беспечальной весной соловьи.

1916

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

Вот зима. На деревьях цветут снеговые улыбки.
Я не верю, что в эту страну забредет Рождество.
По утрам мой комичный маэстро так печально играет на скрипке
И в снегах голубых за окном мне поет Божество!

Мне когда-то хотелось иметь золотого ребенка,
А теперь я мечтаю уйти в монастырь, постареть
И молиться у старых притворов печально и тонко
Или, может, совсем не молиться, а эти же песенки петь!

Все бывает не так, как мечтаешь под лунные звуки.
Всем понятно, что я никуда не уйду, что сейчас у меня
Есть обиды, долги, есть собака, любовница, муки
И что все это — так... пустяки... просто дым без огня!

1916
Крым, Ялта

АЛЛИЛУЙЯ

М. Юрьевой

Ах, вчера умерла моя девочка бедная,
Моя кукла балетная в рваном трико.
В керосиновом солнце закружилась, победная,
Точно бабочка бледная,— так смешно и легко!

Девятнадцать шутов с куплетистами
Отпевали невесту мою.
В куполах солнца луч расцветал аметистами.
Я не плачу! Ты видишь? Я тоже пою!

Я крещу твою ножку упрямую,
Я крещу твой атласный башмак.
И тебя, и не ту и ту самую,
Я целую — вот так!

И за гипсовой маской, спокойной и строгою,
Буду прятать тоску о твоих фуэте,
О полете шифонном... и многое, многое,
Что не знает никто. Даже братья Патэ!

Упокой меня, Господи, скомороха смешного,
Хоть в вду упокой, только дай мне забыть, что болит!
Высоко в куполах трепетало последнее слово
«Аллилуйя» — лиловая птица смертельных молитв.

1916—1917
Москва

ТО, ЧТО Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам — под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне!

Октябрь 1917
Москва

О ШЕСТИ ЗЕРКАЛАХ

М. Ю.

У меня есть мышонок. Приятель негаданный,
В моей комнате, очень похожей на склеп,
Он шатается, пьяный от шипра и ладана,
И от скуки грызет мои ленты и креп.

Он живет под диваном и следит, очароввнный,
Как уж многие дни у него на глазах
Неизбежно и верно, как принц заколдованный,
Я тоскую в шести зеркалах.

Каждый вечер из-за шифоньерки березовой
Мой единственный маленький друг
Деликатно просунет свою мордочку розовую
И, тактично вздохнув, отойдет за сундук.

Я кормлю его кексом и старыми сплетнями
О любовниках Мэри, о «Танго-Гашиш»
Или просто делюсь впечатлениями летними
От моей неудачной поездки в Париж.

А когда я усну — он уж на подоконнике
И читает по стенам всю ту милую ложь,
Весь тот вздор, что мне пишут на лентах поклонники
О Пьеро и о том, как вообще я хорош.

И не видит никто, как, с тоскою повенчанный,
Одинокий, как ветер в осенних полях,
Из-за маленькой, злой, ограниченной женщины
Умираю в шести зеркалах.

1917
Москва

БАЛ ГОСПОДЕН

В пыльный маленький город, где Вы жили ребенком,
Из Парижа весной к Вам пришел туалет.
В этом платье печальном Вы казались Орленком,
Бледным маленьким герцогом сказочных лет.

В этом городе сонном Вы вечно мечтали
О балах, о пажах, вереницах карет
И о том, как ночами в горящем Версале
С мертвым принцем танцуете Вы менуэт...

В этом городе сонном балов не бывало,
Даже не было просто приличных карет.
Шли года. Вы поблекли, и платье увяло,
Ваше дивное платье «Maison Lavalette».

Но однажды сбылися мечты сумасшедшие,
Платье было надето, фиалки цвели,
И какие-то люди, за Вами пришедшие,
В катафалке по городу Вас повезли.

На слепых лошадях колыхались плюмажики,
Старый попик любезно кадилом махал...
Так весной в бутафорском смешном экипажике
Вы поехали к Богу на бал.

1917
Кисловодск

ПЕЙ, МОЯ ДЕВОЧКА

Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые,
Счастия нам не дано.

Нас обманули, нас ложью опутали,
Нас заставляли любить...
Хитро и тонко, так тонко запутали,
Даже не дали забыть!

Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые,
Счастия нам не дано.

Выпили нас, как бокалы хрустальные
С светлым душистым вином.
Вот отчего мои песни печальные,
Вот отчего мы вдвоем.

Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые,
Счастия нам не дано.

Наши сердца, как перчатки, изношены,
Нам нужно много молчать!
Чьей-то жестокой рукою мы брошены
В эту большую кровать.

Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые,
Счастия нам не дано.

1917
Одесса

ПЕС ДУГЛАС

В нашу комнату Вы часто приходили,
Где нас двое: я и пес Дуглас,
И кого-то из двоих любили,
Только я не знал, кого из нас.

Псу однажды Вы давали соль в облатке,
Помните, когда он заболел?
Он любил духи и грыз перчатки
И всегда Вас рассмешить умел.

Умирая, Вы о нас забыли,
Даже попрощаться не могли...
Господи, хотя бы позвонили!..
Просто к телефону подошли!..

Мы придем на Вашу панихиду,
Ваш супруг нам сухо скажет: «Жаль»...
И, покорно проглотив обиду,
Мы с собакой затаим печаль.

Вы не бойтесь. Пес не будет плакать,
А, тихонечко ошейником звеня,
Он пойдет за Вашим гробом в слякоть
Не за мной, а впереди меня!..

1917

ДЕВОЧКА С КАПРИЗАМИ

Мы читаем Шницлера. Бредим мы маркизами.
Осень мы проводим с мамой в Туапсе.
Девочка с привычками, девочка с капризами,
Девочка не «как-нибудь», а не так, как все.

Мы никем не поняты и разочарованы.
Нас считают маленькой и теснят во всем.
И хотя мы мамою не очень избалованы,
Все же мы умеем поставить на своем.

Из-за нас страдают здесь очень-очень многие.
Летом в Евпатории был такой момент,
Что Володя Кустиков принял грамм цикория.
Правда, он в гимназии, но почти студент.

Платьица короткие вызывают страстные
Споры до истерики с бонной и мамá.
Эти бонны кроткие — сволочи ужасные.
Нет от них спасения. Хуже, чем чума!

Вечно неприятности. Не дают возможности,
Заставляют волосы распускать, как хвост.
Что это, от глупости иль от осторожности?
А кузен Сереженька все острит, прохвост!

Он и бонна рыжая целый день сопутствуют.
Ходишь, как по ниточке,— воробей в плену!..
Девочка с капризами, я Вам так сочувствую.
Вашу жизнь тяжелую я один пойму!

1917
Ялта

ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ

Это все, что от Вас осталось,—
Пачка писем и прядь волос.
Только сердце немного сжалось,
В нем уже не осталось слез.

Вот в субботу куплю собаку,
Буду петь по ночам псалом,
Закажу себе туфли к фраку...
Ничего. Как-нибудь проживем.

Все окончилось так нормально,
Так логичен и прост конец:
Вы сказали, что нынче в спальню
Не приносят с собой сердец.

1918
Харьков

ТРЕФОВЫЙ КОРОЛЬ

Так недолго Вы были моей Коломбиною.
Вы ушли с представителем фирмы Одоль.
Далеко-далеко в свое царство ослиное
Вас увозит навеки трефовый король.

Ну конечно, Пьеро — не присяжный поверенный,
Он влюбленный бродяга из лунных зевак,
И из песни его даже самый умеренный
Все равно не сошьешь горностаевый сак.

А трефовый король — человек с положением.
Он богат, и воспитан, и даже красив.
Недалекий немножко. Зато, без сомнения,
Человек своих слов и почти не ревнив.

Говорят, у него под Тифлисом имение.
Впрочем, это неважно, а главное то,
Что, желая всю жизнь из-за лунного пения
Не иметь бриллиантов, эспри и манто.

Надо быть «Коломбиной». Прощайте, последняя.
Поцелуй — Вашим мыслям. Да здравствует Боль!
Буду петь, как всегда, свои лунные бредни я,
Ну а Вас успокоит... Трефовый король.

1918 /?/

ПАНИ ИРЕНА

Ирине Н-й

Я безумно боюсь золотистого плена
Ваших медно-змеиных волос,
Я влюблен в Ваше тонкое имя «Ирена»
И в следы Ваших слез.

Я влюблен в Ваши гордые польские руки,
В эту кровь голубых королей,
В эту бледность лица, до восторга, до муки
Обожженного песней моей.

Разве можно забыть эти детские плечи,
Этот горький, заплаканный рот,
И акцент Вашей польской изысканной речи,
И ресниц утомленных полет?

А крылатые брови? А лоб Беатриче?
А весна в повороте лица?..
О, как трудно любить в этом мире приличий,
О, как больно любить без конца!

И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться,
И, зажав свое сердце в руке,
Осторожно уйти, навсегда отказаться
И еще улыбаться в тоске.

Не могу, не хочу, наконец — не желаю!
И, приветствуя радостный плен,
Я со сцены Вам сердце, как мячик, бросаю.
Ну, ловите, принцесса Ирен!

ПРИНЦЕССА МАЛЕН

Мне так стыдно за Вас. Мне и больно и жутко.
Мне не хочется верить такому концу.
Из «Принцессы Мален», вдохновенной и чуткой,
Превратиться в такую слепую овцу!

Он Вас так искалечил! Тупой и упорный,
Как «прилично» подстриг он цветы Ваших грез!
Что осталось от Вас, Ваших шуток задорных,
Ваших милых ошибок, улыбок и слез!

Он Вас так обезличил! Он все Ваши мысли
Перекрасил в какой-то безрадостный цвет.
Как увяли слова! Как бессильно повисли
Ваши робкие «Да», Ваши гордые «Нет»!

Это грустно до слез. И смешно, к сожаленью,
Что из «Розы поэта» — и это не лесть —
Этот добрый кретин просто сварит варенье,
Спрячет в шкаф и зимой будет медленно есть.

Одного он не знает: чем сон непробудней,
Тем светлей пробужденье, тем ярче гроза.
Я спокойно крещу Ваши серые будни,
Ваше тихое имя целую в глаза.

1920
Константинополь

ДЖИОКОНДА

Я люблю Вас тепло и внимательно,
Так, как любят ушедших невест.
Для меня это так обязательно,
То, что Вы мне надели свой крест.

Почему Вас зовут Джиокондою?
Это как-то не тонко о Вас.
Я в Вас чувствую строгость иконную
От широко расставленных глаз.

Я в Вас вижу «Царицу Небесную»,
Богородицу волжских скитов,
«Несказанную радость» чудесную
Наших русских дремучих лесов.

И любовь мою тихо и бережно
Я несу, как из церкви свечу.
Разве счастья словами измеришь дно?
Сам себе улыбнусь. И молчу.

Так не хочется скомкать поспешностью
Наш стыдливый и робкий роман.
Да хранит Вас Господь с Вашей внешностью
От меня, от любви и от ран.

1920—1921
Константинополь

ВЕНОК

Вот и все. Панихида кончена.
Над собором пробило час.
Этой пытке остро-утонченной
Предаюсь я в последний раз.

Синеватые нити ладана,
Недоплаканных слез комок —
Все понятно и все разгадано.
Эти строки — любви венок.

Что ж тебе пожелать? Любовника?
Или счастья на двух персон?
Не забудь позабыть виновника,
Что нарушил твой сладкий сон.

Он обманут мечтой-гадалкою,
Умирает один в глуши.
Не сердись за попытку жалкую
Докричать до твоей души.

Я любовь твою, я, как веточку,
Засушу между старых книг.
Время быстро сотрет отметочку,
Все сотрет его грозный лик.

Ну, прощай, моя птица бедная,
Королева моих вершин.
Ты теперь навсегда безвредная,
Он долюбит тебя один.

1921
Бессарабия

БАЛЛАДА О СЕДОЙ ГОСПОЖЕ

I

Ах, как печальна луна.
Ах, как томит тишина.
И, людьми забыт,
Старый замок спит.
Уж двенадцать лет,
Как погас в нем свет.
Осень в смертельном бреду
Листья хоронит в саду.
И в огнях зарниц
Стаи черных птиц,
Как монахи тьмы,
Голосят псалмы.

А в замке бродит, чуть дрожа,
Его Седая Госпожа.
Еще не хочет умирать,
Еще не может отогнать
Милых призраков давних лет,
Тех, кого уж нет.

Чей след
Тихо стерли года,
Уходят навсегда.
Чей задумчивый вид
Этот замок хранит.
Кто был убит,
Кто был зарыт,
Но не забыт!

Шелестят, вспоминая объятья,
В гардеробах усопшие платья.
А в камине поет зола,
Что любовь, как и жизнь, ушла...

II

Чей это голос: «Встречай...»
Спит Ваш седой попугай.
Кто же Вас позвал
Из глуби зеркал?
Кто же Вам сказал:
«Я приду... на бал»?

Вот два прибора на столе,
И розы в белом хрустале,
И канделябры зажжены,
И Вы особенно нежны
В этом платье «Antoinette»,
А его все нет
И нет... и нет!

И старик мажордом,
Пожимая плечом,
Наливая вино,
Уже плачет давно...

Сумев понять,
Не смев сказать,
Уходит спать...
. . . .

Это смерть, погасившая свечи,
Вас так нежно целует в плечи,
Это смерть подает манто.
Это смерть Вас зовет в ничто...

1922
Польша

* * *

Инне Л.

Я Вами восхищен. Я к Вам душой тянусь.
Вы — старых мастеров божественная форма,
А Ваше имя — горькое на вкус,
А поцелуи — слаще хлороформа.

Как не хватает слов, как не хватает ласк!
Какой поэт построил Ваши ноги?!
Две бесконечно длинные дороги
В далекий заколдованный Дамаск...

А Ваш жестокий рот, который смутно жаль?..
Кто дал Вам взгляда странную небрежность,
Кто погасил навеки Вашу нежность
И кто зажег у Вас в глазах печаль?

Вы точно факел, брошенный во тьму.
Сквозь миллионы лет я смутно помню лица...
Толпу... костер... Я Вас убил, Царица.
Я Вас убил... но не отдал ему!

1923
Берлин

ЗЛЫЕ ДУХИ́

Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы
И, открыв Ваши злые духи, я вдыхаю их сладостный хмель.
И тогда мне так ясно видны эти черные тонкие птицы,
Что летят из флакона — на юг, из флакона «Nuit de Noël».

Скоро будет весна. И Венеции юные скрипки
Распоют Вашу грусть, растанцуют тоску и печаль,
И тогда станут легче грехи и светлей голубые ошибки.
Не жалейте весной поцелуев, когда зацветает миндаль.

Обо мне не грустите, мой друг. Я озябшая хмурая птица.
Мой хозяин — жестокий шарманщик — меня заставляет плясать.
Вынимая билетики счастья, я смотрю в несчастливые лица,
И под вечные стоны шарманки мне мучительно хочется спать.

Скоро будет весна. Солнце высушит мерзкую слякоть,
И в полях расцветут первоцветы, фиалки и сны...
Только нам до весны не допеть, только нам до весны не доплакать:
Мы с шарманкой измокли, устали и уже безнадежно больны.

Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы.
Не сердитесь за грустный конец и за слов моих горестных хмель.
Это все Ваши злые духи. Это черные мысли как птицы,
Что летят из флакона — на юг, из флакона «Nuit de Noël».

1925
Берлин

В СТЕПИ МОЛДАВАНСКОЙ

Тихо тянутся сонные дроги
И, вздыхая, ползут под откос.
И печально глядит на дороги
У колодцев распятый Христос.
Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!

Как все эти картины мне близки,
Сколько вижу знакомых я черт!
И две ласточки, как гимназистки,
Провожают меня на концерт.

Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!

Звону дальнему тихо я внемлю
У Днестра на зеленом лугу.
И Российскую милую землю
Узнаю я на том берегу.

А когда засыпают березы
И поля затихают ко сну,
О, как сладко, как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на родную страну...

1925
Бессарабия

В СИНЕМ И ДАЛЕКОМ ОКЕАНЕ

Вы сегодня нежны,
Вы сегодня бледны,
Вы сегодня бледнее луны...
Вы читали стихи,
Вы считали грехи,
Вы совсем как ребенок тихи.

Ваш лиловый аббат
Будет искренно рад
И отпустит грехи наугад...
Бросьте ж думу свою,
Места хватит в раю.
Вы усните, а я вам спою.

В синем и далеком океане,
Где-то возле Огненной Земли,
Плавают в сиреневом тумане
Мертвые седые корабли.

Их ведут слепые капитаны,
Где-то затонувшие давно.
Утром их немые караваны
Тихо опускаются на дно.

Ждет их океан в свои объятья,
Волны их приветствуют, звеня.
Страшны их бессильные проклятья
Солнцу наступающего дня...

1927
Польша, Краков

КОНЦЕРТ САРАСАТЕ

Ваш любовник скрипач, он седой и горбатый.
Он Вас дико ревнует, не любит и бьет.
Но когда он играет «Концерт Сарасате»,
Ваше сердце, как птица, летит и поет.

Он альфонс по призванью. Он знает секреты
И умеет из женщины сделать «зеро»...
Но когда затоскуют его флажолеты,
Он божественный принц, он влюбленный Пьеро!

Он Вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил.
Femme de luxe он сумел превратить в femme de chambre.
И давно уж не моден, давно неприличен
Ваш кротовый жакет с легким запахом амбр.

И в усталом лице, и в манере держаться
Появилась у Вас и небрежность, и лень.
Разве можно так горько, так зло насмехаться?
Разве можно топтать каблуками сирень?..

И когда Вы, страдая от ласк хамоватых,
Тихо плачете где-то в углу, не дыша,—
Он играет для Вас свой «Концерт Сарасате»,
От которого кровью зальется душа!

Безобразной, ненужной, больной и брюхатой,
Ненавидя его, презирая себя,
Вы прощаете все за «Концерт Сарасате»,
Исступленно, безумно и больно любя!..

1927
Черновцы

ИСПАНО-СЮИЗА

Ах, сегодня весна Боттичелли.
Вы во власти весеннего бриза.
Вас баюкает в мягкой качели
Голубая «Испано-Сюиза».

Вы царица экрана и моды,
Вы пушисты, светлы и нахальны,
Ваши платья надменно-печальны,
Ваши жесты смелы от природы.

Вам противны красивые морды,
От которых тошнит на экране...
И для Вас все лакеи и лорды
Перепутались в кино-тумане.

Идеал Ваших грез — Квазимодо.
А пока его нет, Вы — весталка.
Как обидно, как больно и жалко —
Полюбить неживого урода.

Измельчал современный мужчина,
Стал таким заурядным и пресным,
А герой фабрикуется в кино,
И рецепты Вам точно известны!..

Лучше всех был раджа из Кашмира,
Что прислал золотых парадизов.
Только он в санаторьях Каира
Умирает от Ваших капризов.

И мне жаль, что на тысячи метров
И любви, и восторгов, и страсти
Не найдется у Вас сантиметра
Настоящего личного счастья.

Но сегодня весна беспечальна,
Как и все Ваши кино-капризы,
И летит напряженно и дально
Голубая «Испано-Сюиза».

1928

РАКЕЛЬ МЕЛЛЕР

Из глухих притонов Барселоны
На асфальт парижских площадей
Принесли Вы эти песни-звоны
Изумрудной родины своей.

И из скромной девочки-певуньи,
Тихой и простой, как василек,
Расцвели в таинственный и лунный,
Никому не ведомый цветок.

И теперь от принца до апаша,
От cartier Latin до Sacre Coeur —
Все в Париже знают имя Ваше,
Весь Париж влюблен в Ракель Меллер.

Вами бредят в Лондоне и Вене,
Вами пьян Мадрид и Сан-Суси.
Это Ваши светлые колени
Вдохновили гений Дебюсси.

И, забыв свой строгий стиль латинский,
Перепутав грозные слова,
Из-за Вас епископ лотарингский
Уронил в причастье кружева.

Но, безгрешней мертвой туберозы,
Вы строги, печальны и нежны.
Ваших песен светлые наркозы
Укачали сердце до весны.

И сквозь строй мужчин, как сквозь горилл,
Вы прошли с улыбкой антиквара,
И мужской любви упрямый пыл
В Вашем сердце не зажег пожара!

На асфальт парижских площадей
Вы, смеясь, швырнули сердца стоны —
Золотые песни Барселоны,
Изумрудной родины своей.

1928
Мадрид

ТЫ УСПОКОЙ МЕНЯ...

Л.Т.

Ты успокой меня,
Скажи, что это шутка,
Что ты по-прежнему,
По-старому моя!

Не покидай меня!
Мне бесконечно жутко,
Мне так мучительно,
Так страшно без тебя!..

Но ты уйдешь, холодной и далекой,
Укутав сердце в шелк и шиншилла.
Не презирай меня! Не будь такой жестокой!
Пусть мне покажется,
Что ты еще моя!..

1930
Дрездвн

СУМАСШЕДШИЙ ШАРМАНЩИК

Каждый день под окном он заводит шарманку.
Монотонно и сонно он поет об одном.
Плачет старое небо, мочит дождь обезьянку,
Пожилую актрису с утомленным лицом.

Ты усталый паяц, ты смешной балаганщик
С обнаженной душой, ты не знаешь стыда!
Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик,
Мои песни мне надо забыть навсегда, навсегда!

Мчится бешеный шар и летит в бесконечность,
И смешные букашки облепили его,
Бьются, вьются, жужжат и с расчетом на вечность
Исчезают как дым, не узнав ничего.

А высоко вверху Время, старый обманщик,
Как пылинки с цветов, с них сдувает года...
Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик,
Этой песни нам лучше не знать никогда, никогда!

Мы — осенние листья, нас бурей сорвало.
Нас все гонят и гонят ветров табуны.
Кто же нас успокоит, бесконечно усталых,
Кто укажет нам путь в это царство Весны?

Будет это пророк или просто обманщик,
И в какой только рай нас погонят тогда?..
Замолчи, замолчи, сумасшедший шарманщик,
Эту песнь мы не можем забыть никогда, никогда!

1930
Румыния

ПЕСЕНКА О МОЕЙ ЖЕНЕ

Надоело в песнях душу разбазаривать,
И, с концертов возвратясь к себе домой,
Так приятно вечерами разговаривать
С своей умненькой, веселенькой женой.

И сказать с улыбкой нежной, незаученной:
«Ах ты, чижик мой, бесхвостый и смешной.
Ничего, что я усталый и замученный,
И немножко сумасшедший, и больной.

Ты не плачь, не плачь, моя красавица,
Ты не плачь, женулечка-жена.
В нашей жизни многое не нравится,
Но зато в ней столько раз весна!»

Чтоб терпеть мои актерские наклонности,
Нужно ангельским терпеньем обладать,
А прощать мои дежурные влюбленности —
В этом тоже надо что-то понимать!..

И, целуя ей затылочек подстриженный,
Чтоб вину свою загладить и замять,
Моментально притворяешься обиженным,
Начиная потихоньку напевать:

«Ну не плачь, не плачь, моя красавица,
Ну не злись, женулечка-жена.
В нашей жизни все еще поправится!
В нашей жизни столько раз весна!»

А потом пройдут года, и, Вами брошенный,
Постаревший, жалкий и смешной,
Никому уже не нужный и изношенный,
Я, как прежде, возвращусь к себе домой

И скажу с улыбкой жалкой и заученной:
«Здравствуй, чиженька, единственный и мой!
Ничего, что я усталый и замученный,
Одинокий, позабытый и больной.

Ты не плачь, не плачь, моя красавица,
Ты не плачь, женулечка-жена!
Наша жизнь уж больше не поправится,
Но зато ведь в ней была весна!..»

1930

МАДАМ, УЖЕ ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ...

На солнечном пляже в июне
В своих голубых пижамá
Девчонка — звезда и шалунья —
Она меня сводит с ума.

Под синий berceuse океана
На желто-лимонном песке
Настойчиво, нежно и рьяно
Я ей напеваю в тоске:

«Мадам, уже песни пропеты!
Мне нечего больше сказать!
В такое волшебное лето
Не надо так долго терзать!

Я жду Вас, как сна голубого!
Я гибну в любовном огне!
Когда же Вы скажете слово,
Когда Вы придете ко мне?»

И, взглядом играя лукаво,
Роняет она на ходу:
«Вас слишком испортила слава.
А впрочем... Вы ждите... приду!..»

Потом опустели террасы,
И с пляжа кабинки свезли.
И даже рыбачьи баркасы
В далекое море ушли.

А птицы так грустно и нежно
Прощались со мной на заре.
И вот уж совсем безнадежно
Я ей говорил в октябре:

«Мадам, уже падают листья,
И осень в смертельном бреду!
Уже виноградные кисти
Желтеют в забытом саду!

Я жду Вас, как сна голубого!
Я гибну в осеннем огне!
Когда же Вы скажете слово?
Когда Вы придете ко мне?!»

И, взгляд опуская устало,
Шепнула она, как в бреду:
«Я Вас слишком долго желала.
Я к Вам... никогда не приду».

1930
Цоппот, Данциг

ПОЛУКРОВКА

Мне не нужна женщина. Мне нужна лишь тема,
Чтобы в сердце вспыхнувшем зазвучал напев.
Я могу из падали создавать поэмы,
Я люблю из горничных — делать королев.

И в вечернем дансинге, как-то ночью мая,
Где тела сплетенные колыхал джаз-банд,
Я так нежно выдумал Вас, моя простая,
Вас, моя волшебница недалеких стран.

Как поет в хрусталях электричество!
Я влюблен в Вашу тонкую бровь!
Вы танцуете, Ваше Величество
Королева Любовь!

Так в вечернем дансинге, как-то ночью мая,
Где тела сплетенные колыхал джаз-банд,
Я так глупо выдумал Вас, моя простая,
Вас, моя волшебница недалеких стран.

И души Вашей нищей убожество
Было так тяжело разгадать.
Вы уходите... Ваше Ничтожество
Полукровка... Ошибка опять...

1930
Варшава

ТАНГО «МАГНОЛИЯ»

В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,
Когда поет и плачет океан
И гонит в ослепительной лазури
Птиц дальний караван,

В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,
Когда у Вас на сердце тишина,
Вы, брови темно-синие нахмурив,
Тоскуете одна...

И, нежно вспоминая
Иное небо мая,
Слова мои, и ласки, и меня,
Вы плачете, Иветта,
Что наша песня спета,
А сердце не согрето бвз любви огня.

И, сладко замирая от криков попугая,
Как дикая магнолия в цвету,
Вы плачете, Иветта,
Что песня недопета,
Что зто
Лето
Где-то
Унеслось в мечту!

В банановом и лунном Сингапуре, в бури,
Когда под ветром ломится банан,
Вы грезите всю ночь на желтой шкуре
Под вопли обезьян.

В бананово-лимонном Сингапуре, в бури,
Запястьями и кольцами звеня,
Магнолия тропической лазури,
Вы любите меня.

1931
Бессарабия

ДНИ БЕГУТ

Сколько вычурных поз,
Сколько сломанных роз,
Сколько мук, и проклятий, и слез!

Как сияют венцы!
Как банальны концы!
Как мы все в наших чувствах глупцы!

А любовь — это яд.
А любовь — это ад,
Где сердца наши вечно горят.

Но дни бегут,
Как уходит весной вода,
Дни бегут,
Унося за собой года.

Время лечит людей,
И от всех этих дней
Остается тоска одна,
И со мною всегда она.

Но зато, разлюбя,
Столько чувств загубя,
Как потом мы жалеем себя!

Как нам стыдно за ложь,
За сердечную дрожь,
И какой носим в сердце мы нож!

Никому не понять,
Никому не сказать,
Остается застыть и молчать.

А... дни бегут,
Как уходит весной вода,
Дни бегут,
Унося за собой года.

Время лечит людей,
И от всех этих дней
Остается тоска одна,
И со мною всегда она...

1932
Вена

PICCOLO BAMBINO

I

Вечерело. Пели вьюги.
Хоронили Магдалину,
Цирковую балерину.
Провожали две подруги,
Две подруги — акробатки.
Шел и клоун. Плакал клоун,
Закрывал лицо перчаткой.

Он был другом Магдалины,
Только другом, не мужчиной,
Чистил ей трико бензином.
И смеялась Магдалина:
«Ну какой же ты мужчина?
Ты чудак, ты пахнешь псиной!»
Бедный Piccolo Bambino...

II

На кладбище
Снег был чище,
Голубее городского.
Вот зарыли Магдалину,
Цирковую балерину,
И ушли от смерти снова...

Вечерело. Город сник
В темной сумеречной тени.
Поднял клоун воротник
И, упавши на колени,
Вдруг завыл в тоске звериной.

Он любил... Он был мужчиной,
Он не знал, что даже розы
От мороза пахнут псиной.
Бедный Piccolo Bambino!

1933
Париж

ТАНЦОВЩИЦА

В бродячем цирке, где тоскует львица,
Где людям весело, а зверям тяжело,
Вы в танце огненном священной Белой Птицы
Взвиваете свободное крыло.

Гремит оркестр, и ярый звон струится,
И где-то воют звери под замком.
И каждый вечер тот же сон Вам снится —
О чем-то давнишнем, небывшем и былом.

Вам снится храм, и жертвенник, и пламя,
И чей-то взгляд, застывший в высоте,
И юный раб дрожащими руками
Вас подает на бронзовом щите.

И Вы танцуете, колдунья и царица.
И вдруг в толпе, повергнутой в экстаз,
Вы узнаете обезьяньи лица
Вечерней публики, глазеющей на Вас.

И, вздрогнув, как подстреленная птица,
Вы падаете камнем в пустоту.
Гремит оркестр, и ярый звон струится...
А Вас уже уносят в темноту.

Потом конец. И вот в другую смену
Выводят клоуна с раскрашенным лицом.
Еще момент... и желтую арену,
Как мертвеца, затягивают холстом.

Огни погасли. Спит больная львица,
Дрожит в асфальте мокрое стекло,
И Вы на улице — на пять минут царица —
Волочите разбитое крыло.

1933
Данциг

FEMME RAFFINEE

Разве можно от женщины требовать многого?
Вы так мило танцуете, в Вас есть шик.
А от Вас и не ждут поведения строгого,
Никому не мешает Ваш муж-старик.

Только не надо играть в загадочность
И делать из жизни «Le vin triste».
Это все чепуха, да и Ваша порядочность —
Это тоже кокетливый фиговый лист.

Вы, несомненно, с большими данными
Три-четыре банкротства — приличный стаж.
Вас воспитали чуть-чуть по-странному,
Я б сказал, европейски — фокстрот и пляж!

Я Вас так понимаю, я так Вам сочувствую,
Я готов разорваться на сто частей.
Восемнадцатый раз я спокойно присутствую
При одной из обычных для Вас «смертей».

Я давно уже выучил все завещание
И могу повторить Вам в любой момент:
Фокстерьера Люлю отослать в Испанию,
Где живет Ваш любовник... один... студент.

Ваши шляпки и платья раздать учащимся,
А «dessous» сдать в музей прикладных искусств.
А потом я и муж, мы вдвоем потащимся
Покупать Вам на гроб сирени куст.

Разве можно от женщины требовать многого?
Там, где глупость божественна, ум — ничто!

1933
Париж

О МОЕЙ СОБАКЕ

Это неважно, что Вы — собака.
Важно то, что Вы человек.
Вы не любите сцены, не носите фрака,
Мы как будто различны, а друзья навек.

Вы женщин не любите — а я обожаю.
Вы любите запахи — а я нет.
Я ненужные песни упрямо слагаю,
А Вы уверены, что я настоящий поэт.

И когда я домой прихожу на рассвете,
Иногда пьяный, или грустный, иль злой.
Вы меня встречаете нежно-приветливо,
А хвост Ваш как сердце — дает перебой.

Улыбаетесь Вы — как сама Джиоконда,
И если бы было собачье кино,
Вы были б «ведеттой», «звездой синемонда»
И Вы б Грету Гарбо забили давно.

Только в эту мечту мы утратили веру,
Нужны деньги и деньги, кроме побед,
И я не могу Вам сделать карьеру.
Не могу. Понимаете? Средств нет.

Вот так и живем мы. Бедно, но гордо.
А главное — держим высоко всегда
Я свою голову, а Вы свою морду,—
Вы, конечно, безгрешны, ну а я без стыда.

И хотя Вам порой приходилось кусаться,
Побеждая врагов и «врагинь» гоня,
Все же я, к сожалению, должен сознаться —
Вы намного честней и благородней меня.

И когда мы устанем бежать за веком
И уйдем от жизни в другие края,
Все поймут: это ты была человеком,
А собакой был я.

1934
Париж—Нью-Йорк

КИНО-КУМИР

Она долго понять не умела,
Кто он — апостол, артист или клоун?
А потом решила: «Какое мне дело?»
И пришла к нему ночью.
Он был очарован.
Отдавался он страсти
С искусством актера.
Хотя под конец и проснулся в нем клоун,
Апостолом стал после рюмки ликера...
А потом... заснул! Он был избалован.
И тогда стало скучно. Она разгадала,
Что он не апостол, не артист и не клоун,
Что просто кривлялся душой как попало
И был неживой —
Нарисован!

1934

РОЖДЕСТВО

Рождество в стране моей родной,
Синий праздник с дальнею звездой,
Где на паперти церквей в метели
Вихри стелют ангелам постели.

С белых клиросов взлетает волчий вой...
Добрый праздник, старый и седой.
Мертвый месяц щерит рот кривой,
И в снегах глубоких стынут ели.

Рождество в стране моей родной.
Добрый дед с пушистой бородой,
Пахнет мандаринами и елкой
С пушками, хлопушками в кошелке.

Детский праздник, а когда-то мой.
Кто-то близкий, теплый и родной
Тихо гладит ласковой рукой.
. . . .

. . . .
Время унесло тебя с собой,
Рождество страны моей родной.

1934
Париж

ДЖИММИ

Я знаю, Джимми, Вы б хотели быть пиратом,
Но в наше время это невозможно.
Вам хочется командовать фрегатом,
Носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом,
Вам жизни хочется отважной и тревожной.

Вам хочется бродить по океанам
И грабить шхуны, бриги и фелуки,
Подставить грудь ветрам и ураганам,
Стать знаменитым черным капитаном
И на борту стоять, скрестивши гордо руки...

Но, к сожалению... Вы мальчик при буфете
На мирном пароходе «Гватемале».
На триста лет мы с Вами опоздали,
И сказок больше нет на этом скучном свете.

Вас обижает метр за выпитый коктейль,
Бьет повар за пропавшие бисквиты.
Что эти мелочи, когда мечты разбиты,
Когда в двенадцать лет уже в глазах печаль!

Я знаю, Джимми, если б были Вы пиратом,
Вы б их повесили однажды на рассвете
На первой мачте Вашего фрегата...
Но вот звонок, и Вас зовут куда-то...
Прощайте, Джимми,— сказок нет на свете!

1934
Средиземное море,
пар. «Теофиль Готье»

ПАЛЕСТИНСКОЕ ТАНГО

Манит, звенит, зовет, поет дорога,
Еще томит, еще пьянит весна,
А жить уже осталось так немного,
И на висках белеет седина.

Идут, бегут, летят, спешат заботы,
И в даль туманную текут года.
И так настойчиво и нежно кто-то
От жизни нас уводит навсегда.

И только сердце знает, мечтает и ждет
И вечно нас куда-то зовет,
Туда, где улетает и тает печаль,
Туда, где зацветает миндаль.

И в том краю, где нет ни бурь, ни битвы,
Где с неба льется золотая лень,
Еще поют какие-то молитвы,
Встречая ласковый и тихий Божий день.

И люди там застенчивы и мудры,
И небо там как синее стекло.
И мне, уставшему от лжи и пудры,
Мне было с ними тихо и светло.

Так пусть же сердце знает, мечтает и ждет
И вечно нас куда-то зовет,
Туда, где улетает и тает печаль,
Туда, где зацветает миндаль...

Палестина

ИРИНЕ СТРОЦЦИ

Насмешница моя, лукавый рыжий мальчик,
Мой нежный врвг, мой беспощадный друг,
Я так влюблен в Ваш узкий длинный пальчик,
И лунное кольцо, и кисти бледных рук,

И глаз пленительных лукавые рвсстрелы,
И рта порочного изысканный размер,
И прямо в сердце мне направленные стрелы,
Мой падший Ангел из «Фоли-Бержер».

А сколько хитрости, упрямства и искусства,
Чтоб только как-нибудь подальше от меня
Запрятать возникающее чувство,
Которое идет, ликуя и звеня.

Я верю в силу чувств. И не спешу с победой.
Любовь — давление в сто тысяч атмосфер,
Как там ни говори, что там ни проповедуй,
Мой падший Ангел из «Фоли-Бержер».

1934
Париж

ОЛОВЯННОЕ СЕРДЦЕ

Я увидел Вас в летнем тире,
Где звенит монтекрист, как шмель.
В этом мертво кричащем мире
Вы почти недоступная цель.

О, как часто юнец жантильный,
Энергично наметив Вас,
Опускал монтекрист бессильно
Под огнем Ваших странных глаз...

Вот запела входная дверца...
Он — в цилиндре, она — в манто.
В оловянное Ваше сердце
Еще не попал никто!

Но однажды, когда на панели
Танцевали лучи менуэт,
В Вашем сонном картонном теле
Пробудился весенний бред.

И когда, всех милей и краше,
Он прицелился, вскинув бровь,
Оловянное сердце Ваше
Пронзила его любовь!

Огонек синевато-звонкий...
И под музыку, крик и гам
Ваше сердце на нитке тонкой
Покатилось к его ногам.

ЛЮБОВЬ

Ты проходишь дальними дорогами
В стороне от моего жилья.
За морями, за долами, за порогами
Где-то бродишь ты, Любовь моя.

И тебя, Невесту неневестную,
Тщетно ждет усталая душа,
То взлетая в высоту небесную,
То влачась в пыли едва дыша.

Эту жизнь, с печалью и тревогами
Наших будней нищего былья,
Ты обходишь дальними дорогами
В стороне от нашего жилья.

1934
Париж

ЛЮБОВНИЦЕ

Замолчи, замолчи, умоляю,
Я от слов твоих горьких устал.
Никакого я счастья не знаю,
Никакой я любви не встречал.

Не ломай свои тонкие руки.
Надо жизнь до конца дотянуть.
Я пою мои песни от скуки,
Чтобы только совсем не заснуть.

Поищи себе лучше другого,
И умней и сильнее меня,

Чтоб ловил твое каждое слово,
Чтоб любил тебя «жарче огня».

В этом страшном, «веселом» Париже
Невеселых гуляк и зеввк
Ты одна всех понятней и ближе,
Мой любимый, единственный враг.

Скоро, скоро с далеким поклоном,
Мою «русскую» грусть затая,
За бродячим цыганским вагоном
Я уйду в голубые края.

А потом как-нибудь за стеною
Ты услышишь мой голос сквозь сон,
И про нашу разлуку с тобою
Равнодушно споет граммофон.

1934
Париж

ЛИЧНАЯ ПЕСЕНКА

Что же мы себя мучаем?
Мы ведь жизнью научены...
Разве мы расстаемся навек?
Разве ты не любимая,
Разве ты не единвя,
Разве ты не родной человек?

А ведь были же сладости
В каждом горе и радости,
Что когда-то делили с тобой.
Все, что сердце заполнило,
Мне сегодня напомнила
Эта песня, пропетая мной.

Я всегда был с причудинкой,
И тебе, моей худенькой,
Я достаточно горя принес.
Не одну сжег я ноченьку
И тебя, мою доченьку,
Доводил, обижая, до слез.

И, звеня погремушкою,
Был я только игрушкою
У жестокой судьбы на пути.
Расплатились наличными
И остались приличными,
А теперь, если можешь, прости.

Все пройдет, все прокатится.
Вынь же новое платьице
И надень к нему шапочку в тон.
Мы возьмем нашу сучечку
И друг друга за ручечку,
И поедем в Буа де Булонь.

Будем снова веселыми,
А за днями тяжелыми
Только песня помчится, звеня.
Разве ты не любимая?
Разве ты не единая?
Разве ты не жена у меня?

1934
Париж

ЖЕЛТЫЙ АНГЕЛ

В вечерних ресторанах,
В парижских балаганах,
В дешевом электрическом раю,
Всю ночь ломаю руки
От ярости и муки
И людям что-то жалобно пою.

Звенят, гудят джаз-банды,
И злые обезьяны
Мне скалят искалеченные рты.
А я, кривой и пьяный,
Зову их в океаны
И сыплю им в шампанское цветы.

А когда наступит утро, я бреду бульваром сонным,
Где в испуге даже дети убегают от меня.
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.

Звенят, гудят джаз-банды,
Танцуют обезьяны
И бешено встречают Рождество.
А я, кривой и пьяный,
Заснул у фортепьяно
Под этот дикий гул и торжество.

На башне бьют куранты,
Уходят музыканты,
И елка догорела до конца.
Лакеи тушат свечи,
Давно замолкли речи,
И я уж не могу поднять лица.

И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул желтый Ангел
И сказал: «Маэстро бедный, Вы устали, Вы больны.
Говорят, что Вы в притонах по ночам поете танго.
Даже в нашем добром небе были все удивлены».

И, закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи,
Утирая фраком слезы, слезы боли и стыда.
А высоко в синем небе догорвли Божьи свечи
И печальный желтый Ангел тихо таял без следа.

1934
Париж

* * *

Вы мой пленник и гость, светло-серая птица.
Вы летели на север. Я вас подобрал на снегу
С перебитым крылом и слезой на замерзшей реснице.
Я вас поднял, согрел и теперь до весны берегу.

А весной я вас выпущу в эти обманные дали,
Чтоб любовь не смогла растопить одиночества лед,
Чтобы песни мои так же радостно к небу взлетали,
Чтобы так же был горд в облаках их высокий полет.

1934
Атлантический океан,
Гавайские острова

АКТРИСЕ

Анне Стэн

Вы покинутый принц золотой андерсеновской сказки —
В голубых ледниках Дева льдов Ваше сердце хранит,
Ваше юное сердце, еще не познавшее ласки,
Превращенное в камень. В сапфир. В темно-синий гранит.
Вы влюблялись во сне? Вы видали весну на Бермуде?
Вы слыхали, как Баха играет в соборе орган?
О какой там любви говорят эти страшные люди?
И за что их любить, этих мстительных злых обезьян!

Вы не знали любви? Но любовь — это просто бессилье.
Вы сдаетесь на милость того, кто заведомый враг.
И, конечно, любовь опалила у Ангелов крылья,
И, конечно, любовь их низвергла из Света во Мрак!

Мой единственный друг, Вы на пленниц совсем не похожи.
Разве мало Вам сцены и славы бенгальских огней?
Вы не знали любви? Но ведь в этом же счастие тоже!
Улыбаться с экрана во тьму никому — никому из людей.

Октябрь 1934
Атлантический океан,
«S. S. Lafayette»

МАЛИНОВКА

Малиновка моя, не улетай!
Г. Иванов

Малиновка моя, не улетай!
Зачем тебе Алжир, зачем Китай?
Каких ты хочешь мук?
Какой ты ищешь рай?
Малиновка моя, не улетай!

Не покидай меня и не зови с собой,
Не оставляй меня наедине с судьбой,
Чтоб вечно петь и петь, кричать в сердца людей
И укрощать зверей!

Твоя судьба — звенеть и вить свое гнездо.
Я ж обречен лететь упавшею звездой,
Полнеба озарив, погаснуть без следа,
Как луч на дне пруда.

И квк сказать тебе, мой светлый Май,
Что ты последний сон, последний рай,
Что мне не пережить холодного «прощай»...
Малиновка моя, не улетай!

Август 1935
Калифорния, Голливуд

ГУД БАЙ

Марлен Дитрих

Вас не трудно полюбить,
Нужно только храбрым быть,
Все сносить, не рваться в бой
И не плакать над судьбой.

Надо розы приносить
И всегда влюбленным быть,
Не грустить, не ревновать,
Улыбаться и вздыхать.

Надо Вас боготворить,
Ваши фильмы вслух хвалить
И смотреть по двадцать раз,
Как актер целует Вас,
Прижимая невзначай...
Гуд бай!

Все журналы покупать,
Все портреты вырезать,
Все, что пишется о Вас,
Наизусть учить тотчас.

Попугая не дразнить,
С камеристкой в дружбе жить,
Чистить щеточкой «bijou»
И водить гулять Жужу.

На ночь надо Вам попеть,
С поцелуями раздеть,
Притушить кругом огни.
Завтра съемка... Ни-ни-ни.
И сказать, сваривши чай:
Гуд бай!..

Ожидая Вас — не спать,
В телефон — не проверять,
Не совать свой нос в «дела»,
Приставая: «Где была?»

И когда под утро злой
Вы являетесь домой —
Не вылазить на крыльцо,
Сделать умное лицо.
Замолчи, Жужу, не лай!..
Гуд бай!

Так проживши года три,
Потерять свое «зспри»,
Постареть на десять лет
И остаться другом?.. Нет!

Чтоб какой-нибудь прохвост,
Наступивши мне на хвост,
Начал роль мою играть
И ко мне Вас ревновать?..

Нет. Уж лучше в нужный срок
Медленно взвести курок
И сказать любви: Прощай!..
Гуд бай.

Июль 1935
Голливуд,
Калифорния

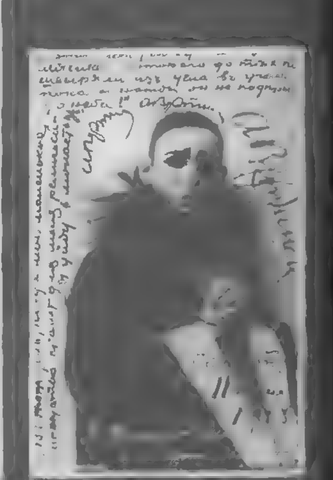
О НАС И О РОДИНЕ

Проплываем океаны,
Бороздим материки
И несем в чужие страны
Чувство русское тоски.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

PALACE
alicā
ПОПУЛЯРНЫЯ ПѢСЕНКИ ВЪ ИСПОЛНЕНИИ
Вертинскаго



NUL ALIMENTAR

ВАРШАВА

ПОПУЛЯРНЫЯ ПѢСЕНКИ ВЪ ИСПОЛНЕНІИ
ВЕРТИНСКАГО

БЕРЛИН

ПАРИЖ

ПАРИЖ
Печальныя
ПѢСЕНКИ А. Н. ВЕРТИНСКАГО.
„Лиловый негръ“.

И никак понять не можем,
Что в сочувствии чужом
Только раны мы тревожим,
А покоя не найдем.

И пора уже сознаться,
Что напрасен дальний путь,
Что довольно улыбаться,
Извиняться как-нибудь.

Что пора остановиться,
Как-то где-то отдохнуть
И спокойно согласиться,
Что былого не вернуть.

И еще понять беззлобно,
Что свою, пусть злую, мать
Все же как-то неудобно
Вечно в обществе ругать.

А она цветет и зреет,
Возрожденная в Огне,
И простит и пожалеет
И о вас и обо мне!..

Май 1935
Калифорния

ДАНСИНГ-ГЁРЛ

I

Это бред. Это сон. Это снится...
Это прошлого сладкий дурман.
Это юности Белая Птица,
Улетевшая в серый туман.

Вы в гимназии. Церковь. Суббота.
Хор так звонко весенне поет...
Вы уже влюблены, и кого-то
Ваше сердце взволнованно ждет.

И когда золотые лампады
Кто-то гасит усталой рукой,
От высокой церковной ограды
Он один провожает домой.

И весной, и любовью волнуем,
Ваши руки холодные жмет.
О как сладко отдать поцелуям
Свой застенчивый девичий рот!

А потом — у разлапистой ели,
Убежав с бокового крыльца,
С ним качаться в саду на качели
Без конца, без конца, без конца...

Это бред. Это сон. Это снится...
Это юности сладкий обман.
Это лучшая в книге страница,
Начинавшая жизни роман.

II

Дни бегут все быстрей и короче,
И уже в кабаках пятый год
С иностранцами целые ночи
Вы танцуете пьяный фокстрот.

Беспокойные жадные руки
И насмешка презрительных губ,
А оркестром раздавлены — звуки
Выползают, как змеи из труб...

В барабан свое сердце засунуть!
Пусть вго растерзает фокстрот!
О как бешено хочется плюнуть
В зтот нагло смеющийся рот!

И под дикий напев людоедов,
С деревянною маской лица,
Вы качветесь в ритме соседа
Без конца, бвз конца, без конца...

Это брвд. Это сон. Это снится...
Это чвй-то жестокий обман.
Это Вам подменили страницы
И испортили нежный роман.

1937, Китай.
Ян Тце-Кианг
Великая Голубая Река

ПРОЩАНИЕ

С большою нежностью—потому,
Что скоро уйду от всех,
Я всё раздумываю, кому
Достанется волчий мех.

Марина Цветаева.

С большою нежностью, ибо скоро уйду от всех,
Я часто думаю, кому достанется Ваш звонкий смех?
И нежная гамма тончайших чувств, и юного сердца пыл,
И Вашего тела розовый куст — который я так любил.

И диких фантазий капризный взлет,
И милых ошибок рой,
И Ваш иронический горький рот,
Смеявшийся над собой.

И все Ваши страсти, и все грехи,
Над безднами чувств скользя,
И письма мои, и мои стихи,
Которых забыть нельзя!

И кто победит?
Кто соперник мой?
Придет «фаворит» иль «фукс»?
И кто он будет,— поэт, герой иль «Жиголо де Люкс»?

И как-нибудь утром, снимая фрак,
Кладя гардению в лед,
Сумеет ли он, мой бедный враг,
Пустить себе пулю в рот?

Потому что не надо срывать цветов
И в клетках томить птиц,
Потому что нельзя удержать любовь,
Упав перед нею ниц.

1937
Шанхай

КИТАЙ

Над Желтой рекою незрячее белое небо,
Дрожат паруса, точно крылья расстрелянных птиц.
И коршун летит и, наверное, думает: «Где бы
Укрыться от этого зноя, от этой тоски без границ?»

Да, этой тоски неживого былого Китая,
Тоски императоров, мертвых династий и сил,
Уснувших богов и безмолвья от края до края,
Где дремлют века у подножий уснувших могил.

А в больших городах, закаленные в мудром талмуде,
Терпеливо торгуют евреи, снуют англичане спеша,
Итальянцы и немцы и разные белые люди —
Покорители мира, купцы и ловцы барышв.

Но в расщелинах глаз, но в покорной улыбке Китая
Дремлют тихие змеи и молнии дальних зарниц,
И когда-нибудь грянет гроза, и застонет земля,
сотрясая
Вековое безмолвье забытых ненужных гробниц.

1938
Ян Тце-Кианг
Великая Голубая Рака

ШАНХАЙ

Вознесенный над желтой рекой полусонною,
Город — улей москитов, термитов и пчел,
Я судьбу его знаю, сквозь маску бетонную
Я ее, как раскрытую книгу, прочел.

Это Колосс Родосский на глиняном цоколе,
Это в зыбком болоте увязший кабан,
И великие ламы торжественно прокляли
Чужеземных богов его горький обман.

Победителей будут судить побежденные,
И замкнется возмездия круг роковой,
И об этом давно вопиют прокаженные,
Догнивая у ног его смрадной толпой.

Вот хохочут трамваи, топочут автобусы,
Голосят амбулансы, боясь умереть...
А в ночи фонарей раскаленные глобусы
Да назойливо хнычет китайская медь.

И бегут и бегут сумасшедшие роботы,
И рабы волокут в колесницах рабов,
Воют мамонты, взвив разъяренные хоботы,
Пожирая лебедками чрева судов.

А в больших ресторанах меню — как евангелия,
Повара — как епископы, джаза алтарь
И бесплотно скользящие женщины-ангелы —
В легковейные ткани одетая тварь.

Непорочные девы, зачавшие в дьяволе,
Прижимают к мужчинам усохшую грудь,
Извиваясь, взвиваясь, свиваясь и плавая,
Истекают блаженством последних минут.

А усталые тросы надорванных мускулов
Все влекут и влекут непомерную кладь...
И как будто все это знакомое, русское,
Что забыто давно и вернулось опять.

То ли это колодников гонят конвойные,
То ли это идут бечевой бурлаки...
А над ними и солнце такое же знойное,
На чужом языке — та же песня тоски!

Знаю: будет сметен этот город неоновый
С золотых плоскогорий идущей ордой,
Ибо Божеский, праведный суд Соломоновый
Нависает, как меч, над его головой.

19/9/39
Шанхай

НЕНУЖНОЕ ПИСЬМО

Приезжайте. Не бойтесь. Мы будем друзьями,
Нам обоим пора от любви отдохнуть,
Потому что, увы, никакими словами,
Никакими слезами ее не вернуть.

Будем плавать, смеяться, ловить мандаринов,
В белой узенькой лодке уйдем за маяк.
На закате, когда будет вечер малинов,
Будем книги читать о далеких краях.

Мы в горячих камнях черепаху поймаем,
Я Вам маленьких крабов в руках принесу.
А любовь — похороним, любовь закопаем
В прошлогодние листья в зеленом лесу.

И когда тонкий месяц начнет серебриться
И лиловое море уйдет за косу,
Вам покажется белой серебряной птицей
Адмиральская яхта на желтом мысу.

Будем слушать, как плачут фаготы и трубы
В танцевальном оркестре в большом казино...
И за Ваши печальные детские губы
Будем пить по ночам золотое вино.

А любовь мы не будем тревожить словами.
Это мертвое пламя уже не раздуть,
Потому что, увы, никакими мечтами,
Никакими стихами любви не вернуть.

Лето 1938
Циндао

БАР-ДЕВОЧКА

Вы похожи на куклу в этом платьице аленьком,
Зачесанная по-детски и по-смешному.
И мне странно, что Вы, такая маленькая,
Принесли столько муки мне, такому большому.

Истерически злая, подчеркнуто пошлая,
За публичною стойкой — всегда в распродаже.
Вы мне мстите за все Ваше бедное прошлое —
Без семьи, без любви и без юности даже.

Сигарета в крови. Зубы детские, крохкие.
Эти терпкие яды глотая,
Вы сожжете назло свои слабые легкие,
Проиграете в «дайс» Вашу жизнь, дорогая.

А потом, а потом на кладбище китайское,
Наряженная в тихое белое платьице,
Вот в такое же утро весеннее, майское
Колесница с поломанной куклой покатится.

И останется... песня, но песня не новая.
Очень грустный и очень банальный сюжет:
Две подруги и я. И цветочки лиловые.
И чужая весна. Только Вас уже нет.

19 мая 1938
Шанхай

ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН

Сегодня томная луна,
Как пленная царевна,
Грустна, задумчива, бледна
И безнадежно влюблена.
Сегодня музыка больна,
Едва звучит напевно.
Она капризна, и нежна,
И холодна, и гневна.
Сегодня наш последний день
В приморском ресторане.
Упала на террасу тень,
Зажглись огни в тумане.
Отлив лениво ткет по дну
Узоры пенных кружев.
Мы пригласили тишину
На наш прощальный ужин.

Благодарю Вас, милый друг,
За тайные свиданья,
За незабвенные слова
И пылкие признанья.
Они, как яркие огни,
Горят в моем ненастье.
За эти золотые дни
Украденного счастья.
Благодарю Вас за любовь,
Похожую на муки,
За то, что Вы мне дали вновь
Изведать боль разлуки.
За упоительную власть
Пленительного тела,
За ту божественную страсть,
Что в нас обоих пела.
Я подымаю свой бокал
За неизбежность смены,
За Ваши новые пути
И новые измены.
Я не завидую тому,
Кто Вас там ждет, тоскуя...
За возвращение к нему
Бокал свой молча пью я!
Я знаю, я совсем не тот,
Кто Вам для счастья нужен.
А он — иной... Но пусть он ждет,
Пока мы кончим ужин!
Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань.
Но не таким, как мы! Не нам,
Бродягам и артистам!

1939
Циндао

УБИВШЕЙ ЛЮБОВЬ

Какое мне дело, что ты существуешь на свете,
Страдаешь, играешь, о чем-то мечтаешь и лжешь,
Какое мне дело, что ты увядаешь в расцвете,
Что ты забываешь о свете и счастья не ждешь.

Какое мне дело, что все твои пьяные ночи
Холодную душу не могут мечтою согреть,
Что ты угасаешь, что рот твой устало-порочен,
Что падшие ангелы в небо не смеют взлететь.

И кто виноват, что играют плохие актеры,
Что даже иллюзии счастья тебе ни один не дает,
Что бледное тело твое терзают, как псы, сутенеры,
Что бедное сердце твое превращается в лед.

Ты — злая принцесса, убившая добрую фею,
Горят твои очи, и слабые руки в крови.
Ты бродишь в лесу, никуда постучаться не смея,
Укрыться от этой, тобою убитой любви.

Какое мне дело, что ты заблудилась в дороге,
Что ты потеряла от нашего счастья ключи.
Убитой любви не прощают ни люди, ни боги.
Аминь. Исчезай. Умирай. Погибай и молчи.

1939
Шанхай

МУЗЫКАНТЫ ЛЕТА

Провожают умершее лето,
Служат панихиду тишины.
На могилах-клумбах астр букеты
Осенью-вдовой возлсжены.

Отзвенели в чаще золотистой
Божьих птиц высокие концерты.
И уже спешат в турне артисты —
Вечные певцы любви и смерти.

Ласточки летят на Гонолулу,
Журавли — в Египет на гастроли,
А малиновки еще в июле
Обещали выступать в Тироле.

Соловьи мечтают о Сорренто,
Чтоб развить свои фиоритуры,
Починить больные инструменты
И пройти с маэстро партитуры.

Сам Господь дает ангажементы
Беззаботным музыкантам лета,
И всегда в тяжелые моменты
Их пути Он озаряет светом.

Только я останусь на вокзале,
Чтоб махать им бледною рукою.
Почему вы раньше не сказали?
Я бы с вами... Я бы всей душою.

Мне теперь совсем не нужно тело
В этой мертвой солнечной глуши.
Никому нет никакого дела
До моей пустеющей души.

1939—1940
Циндао

* * *

Есть слова, как монеты истертые,
Как средь ярких цветов травы сорные,
Неживые, пустые и мертвые:
«Вы сгубили меня, очи черные!»

И, увы, неожиданно ясная
Мысль пронзает сознанье, упорная,
Что погиб ни за что, понапрасну я,
Что сгубили меня очи черные!

1940
Шанхай

* * *

Какой ценой Вы победили,
Какой неслыханной ценой!
Какую Вы любовь убили,
Какое солнце погасили
В своей душе полуживой!

И как Вам страшно, друг мой дальний,
Как одиноко, как темно!
Гудит оркестр. Напев банальный
Стучится в сердце, как в окно.
Что может быть любви печальней?

И Ваши очи... Ваши очи
Смертельно раненной любви,
И все мои глухие ночи,
И дни все тише, все короче...
О сердце, сердце, не зови!

Мне все равно. Вы все убили.
Я не живу. Я не живой...
Какой ценой Вы победили,
Какой неслыханной ценой!

1940

* * *

Каждый тонет — как желает,
Каждый гибнет — как умеет.
Или просто умирает,
Как мечтает, как посмеет.

Мы с тобою гибнем разно,
Несогласно, несозвучно,
Безысходно, безобразно,
Беспощадно, зло и скучно.

Как из колдовского круга
Нам уйти, великий Боже,
Если больше друг без друга
Жить на свете мы не можем?

1940
Шанхай

* * *

В этой жизни ничего не водится —
Ни дружбы, ни чистой любви.
Эту жизнь прожить приходится
По горло и в грязи, и в крови.

А поэтому нужно с каждого
Сдирать сколько можно кож.
А чтоб сердце любви не жаждало,
Засунуть под сердце нож!

И для нас на земле не осталось
Ни Мадонн, ни Прекрасных Дам.
Это только когда-то казалось
Или, может быть, снилось нам.

Это нас обманули поэты,
Утверждая, что есть Любовь,
И какие-то рыцари где-то
Умирали и лили кровь...

И только шептали имя
Высоко благородных дам
Для того, чтобы те с другими
Изменяли своим мечтам.

Шанхай
1940 г.

БЕЗ ЖЕНЩИН

Как хорошо без женщины, без фраз,
Без горьких слов и сладких поцелуев,
Без этих милых, слишком честных глаз,
Которые вам лгут и вас еще ревнуют!

Как хорошо без театральных сцен,
Без длинных «благородных» объяснений,
Без этих истерических измен,
Без этих запоздалых сожалений.

И как смешна нелепая игра,
Где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен,
Когда партнеры ваши — шулера,
А выход из игры уж невозможен.

Как хорошо с приятелем вдвоем
Сидеть и пить простой шотландский виски
И, улыбаясь, вспоминать о том,
Что с этой дамой вы когда-то были близки.

Как хорошо проснуться одному
В своем веселом холостяцком «флете»
И знать, что вам не нужно никому
«Давать отчеты» — никому на свете!

А чтобы «проигрыш» немного отыграть,
С ее подругою затеять флирт невинный
И как-нибудь уж там «застраховать»
Простое самолюбие мужчины!

1940
Шанхай

ОБЕЗЬЯНКА ЧАРЛИ

Обезьянка Чарли устает ужасно
От больших спектаклей, от больших ролей.
Все это ненужно, все это напрасно,
Вечные гастроли надоели ей.

Быть всегда на сцене! И уже с рассвета
Надевать костюмы и смешить людей.
Бедная актриса устает за лето,
Дачные успехи безразличны ей.

Чарли курит «кэмел», Чарли любит виски,
Собственно, не любит, но «для дела» пьет.
Вот она сегодня в роли одалиски
Исполняет танец, оголив живот.

И матросы смотрят. Вспоминают страны,
Где таких, как Чарли, много обезьян.
И швыряют деньги. И дают бананы.
А хозяин хмурый все кладет в карман.

Только с каждым годом все трудней работа.
Люди не смеются. Людям не смешно.
Чарли не жалеет. Их обидел кто-то,
Оттого и стало людям все равно.

Звери, те добрее. Людям что за дело?
Им нужны паяцы, им нужны шуты.
А зверям самим кривляться надоело,
В цирках да в зверинцах поджимать хвосты.

Ах, и мне не легче — этим же матросам
Петь на нашем трудном, чудном языке!
Думали ль вы, Чарли, над одним вопросом:
Почему мы с вами в этом кабаке?

Потому что бродим нищие по свету.
Потому что людям дела нет до нас.
Потому что тяжко зверю и поэту.
Потому что нету Родины у нас!

Лето 1940
Циндао

СПАСЕНИЕ

Жене Л. Вертинской

Она у меня, как иконка —
Навсегда. Навсегда.
И похожа она на орленка,
Выпавшего из гнезда.

На молодого орленка,
Сорвавшегося со скал,
А голос ее звонкий
Я где-то во сне слыхал.

И взгляд у нее — как у птицы,
Когда на вершинах гор
Зеленым огнем зарницы
Ее озаряют взор.

Ее не удержишь в клетке,
И я ей сказал: «Лети!
Твои непокорные предки
Тебя сберегут в пути».

Но в жизнь мою сонно-пустую
Она спокойно вошла,
Души моей книгу злую
Она до конца прочла.

И мне ничего не сказала,
Но взор ее был суров,
И, точно змеиное жало,
Пронзила меня любовь.

И в песнях моих напрасных
Я долго ей пел о том,
Как много цветов прекрасных
Увяло в сердце моем.

Как, в дальних блуждая странах,
Стучался в сердца людей,
Как много в пути обманных
Манило меня огней.

Она сурово молчала.
Она не прощала. Нет.
Но сердце уже кричало:
«Да будет, да будет свет!»

Я понял. За все мученья,
За то, что искал и ждал,—
Как белую птицу Спасенья
Господь мне ее послал...

1940
Шанхай

* * *

Л. В

Хорошо в этой маленькой даче
Вечерами грустить о тебе.
Так по-детски, обиженно плачет
Маячок на зеленой губе.

И уходят в закатные дали
Золотые кораблики — сны,
Те, что в детстве когда-то пускали
Мы, играя, по лужам весны.

Скоро вспыхнут опалами ядра
Фонарей в предвечерней тени
И на реях японской эскадры,
Как на елках, зажгутся огни.

А вчера в кабаке у фонтана
Человек с деревянной ногой
Утверждал, что любовные раны
Заживают от пули простой.

И, смеясь над моими стихами,
После пятой бутылки вина
Говорил, заливаясь слезами,
Что его разлюбила жена.

«Понимаешь, сбежала с матросом!
Я калека, а он молодой!..»
Я подумал: такие вопросы
Не решаются пулей простой.

Но ему ничего не ответил.
Я молчал, улыбаясь тебе.
Где-то в море, печален и светел,
Ангел ночи пропел на трубе.

Да... Любовь — это Синяя Птица,
Только птицы не любят людей...
Я усну. Мне сегодня приснится
Мягкий шелк твоих рыжих кудрей.

15 июля 1940
Циндао

ОСЕНЬ

Л. В.

Холодеют высокие звезды,
Умирают медузы в воде,
И глициний лиловые гроздья,
Как поникшие флаги везде.

И уже не спешат почтальоны,
Не приносят твой детский конверт.
Только ветер с афишной колонны
Рвет плакаты «Последний концерт».

Да... Конечно, последний, прощальный,
Из моей расставальной тоски...
Вот и листья кружатся печально,
Точно порванных писем клочки.

Это осень меняет кочевья,
Это кто-то уходит навек.
Это травы, цветы и деревья
Покидает опять человек.

. . . .

Ничего от тебя не осталось,
Только кукла с отбитой ногой.
Даже то, что мне счастьем казалось,
Было тоже придумано мной.

Август 1940
Китай, Циндао

ТВОЯ ЛЮБОВЬ

Л. В.

Знаешь, если б ты меня любила,
Ты бы так легко не отдала
Ни того, что мне сама дарила,
Ни того, что от меня брала.

Но пожара нет. А запах дыма
Очень скоро с ветром улетит,
И твое божественное имя
Для меня уже едва звучит.

Я живу. Я жить могу без веры,
Только для искусства одного.
И в моих глазах, пустых и серых,
Люди не заметят ничего.

29 января 1941
Шанхай

* * *

Л. В.

Ты сказала, что Смерть носит
Котомку с косой — косит,
Что она, беззубая, просит:
«Дай ему, Господи, срок!»

Но Она — без косы, без котомки.
Голос нежный у ней, негромкий.
Вроде той Она — Незнакомки,
О которой писал Блок.

Знаешь, много любимых было.
Горело сердце. И стыло.
И ты бы меня позабыла,
Если бы шли года.

Но скоро с Дамой Прекрасной
От жизни моей напрасной
Уйду я в путь безопасный,
Чтоб остаться с ней навсегда.

А ты и спорить не будешь!
Отдашь ей меня, забудешь
И где-нибудь раздобудешь
Себе другого «меня».

Соперницы Ты и Дама.
Слышишь, девочка,— Ты и Дама!
Но она верней, эта Дама,
Что уводит в мир без огня.

Вот придет. Постучит тревожно.
Ласково спросит: «Можно?»
Уведет меня осторожно,
Чтоб разлуку с тобой облегчить.

Ну а разве ты поручишься,
Что ты придешь, постучишься?
Ты ведь, маленькая,— ты побоишься
С этой Дамой меня разлучить!

1 марта 1941

СТАРОМОДНЫЙ РОМАНС[1]

Л. В.

Ты смотри, никому не рассказывай,
Как люблю я тебя, ангел мой,
Как тебя, в твоем платьице газовом,
По ночам провожаю домой.

Как, глядя в твои очи зеленые,
Я весь мир забываю, любя,
Как в осенние ночи бессонные
Я тоскую один, без тебя.

Никогда мы уже не расстанемся,
Нас никто не разлучит с тобой.
Только в сердце навеки останется
Эта память о злобе людской.

Только людям молчи, что ты нежная,
Что ты любишь меня одного,
Что из нашего счастья безбрежного
Не отнимут они ничего.

---

1 Старинный романс переделан и исполнялся для Л. Вертинской

Все пройдет, как проходит ненастие,
Будут радости полны года.
Мы с тобой сохраним наше счастие.
Знай: любовь побеждает всегда.

Будь спокойна, моя ясноглазая.
Об одном только помни всегда:
Никому про любовь не рассказывай.
Никому, ничего, никогда!

1941

НАШЕ ГОРЕ

Нам осталось очень, очень мало.
Мы не смеем ничего сказать.
Наше поколение сбежало,
Бросило свой дом, семью и мать!

И, пройдя весь ад судьбы превратной,
Растеряв начала и концы,
Мы стучимся к Родине обратно,
Нищие и блудные отцы!

Что мы можем? Слать врагу проклятья?
Из газет бессильно узнавать,
Как идут святые наши братья
За родную землю умирать?

Как своим живым, горячим телом
Затыкают вражий пулемет?
Как объятый пламенем Гастелло
Наказаньем с неба упадет?

Мы — ничто! О нас давно забыли.
В памяти у них исчез наш след.
С благодарностью о нас не скажут «были»,
Но с презреньем скажут детям «нет»!

Что ж нам делать? Посылать подарки?
Песни многослезные слагать?
Или, как другие, злобно каркать?
Иль какого-то прощенья ждать?

Нет, ни ждать, ни плакать нам не надо!
Надо только думать день и ночь,
Как уйти от собственного ада,
Как и чем нам Родине помочь!

6 апреля 1942
Шанхай

В СНЕГАХ РОССИИ

По синим волнам океана...
Лермонтов

По снежным дорогам России,
Как стаи голодных волков,
Бредут вереницы немые
Плененных германских полков.

Не видно средь них командиров,
Навеки замкнуты их рты.
И жалко сквозь клочья мундиров
Железные блещут кресты.

Бредут сквозь донские станицы
Под дьявольский посвист пурги
И прячут угрюмые лица
От русского взгляда враги.

И холод, и жгучие раны
Терзают усталую рать,
И кличут в бреду капитанов,
И маршала просят позвать.

Но смерть в генеральском мундире,
Как маршал пред бывшим полком,
Плывет перед ними в эфире
На белом коне боевом.

И мстительный ветер Отчизны
Заносит в серебряный прах
Останки покойных дивизий,
Усопших в российских снегах.

И сквозь погребальную мессу,
Под вьюги тоскующий вой,
Рождается новая песня
Над нашей Великой Страной.

Февраль 1943
Шанхай

ИНАЯ ПЕСНЯ

Скоро день начнется,
И конец ночам,
И душа вернется
К милым берегам
Птицей, что устала
Петь в чужом краю
И, вернувшись, вдруг узнала
Родину свою.

Много спел я песен,
Сказок и баллад,
Только не был весел
Их печальный лад.
Но не будет в мире
Песни той звончей,
Что спою теперь я милой
Родине своей.

А настанет время
И прикажет Мать
Всунуть ногу в стремя
Иль винтовку взять,
Я не затоскую,
Слезы не пролью,
Я совсем, совсем иную
Песню запою.

И моя винтовка
Или пулемет,
Верьте, так же ловко
Песню ту споет.
Перед этой песней
Враг не устоит.
Всем уже давно известно,
Как она звучит.

И за все ошибки
Расплачусь я с ней,—
Жизнь свою отдав с улыбкой
Родине своей.

15 июня 1943
Шанхай

КИТЕЖ

Проклинали. Плакали. Вопили.
Декламировали: «Наша мать...»
В кабаках за возрожденье пили,
Чтоб опять наутро проклинать.

А потом вдруг поняли. Прозрели.
За голову взялись. Неужели
«Китеж», оживающий без нас...
Так-таки Великая? Подите ж...
А она, действительно, как Китеж,
Проплывает мимо ваших глаз.

И уже сердец людских мильоны
Ждут ее на дальних берегах.
И уже пылают их знамена
Ей навстречу в поднятых руках.
А она, с улыбкой и приветом
Мир несущая народам и векам,
Вся сияет нестерпимым светом,
Все еще невидимая вам!

1943
Шанхай

САЛЮТ

Небеса расцвечены алмазами,
Возжигает Родина огни.
Все о вас, родные сероглазые
Братья драгоценные мои!

Все о том, уже бессмертном мужестве,
За которым восхищенный мир
Наблюдает со священным ужасом
Из своих разрушенных квартир.

Каждый раз за шторой затемнения
Из-за слез не отыскать окна,—
От восторга, гордости, волнения
Глубоко душа потрясена.

Этот праздник стал нас всех обязывать.
Мы должны трудиться выше сил,
Чтоб потом нам не пришлось доказывать,
Кто и как свою страну любил...

1943
Москва

ДОЧЕНЬКИ

У меня завелись ангелята,
Завелись среди белого дня.
Все, над чем я смеялся когда-то,
Все теперь восхищает меня!
    Жил я шумно и весело, каюсь,
    Но жена все к рукам прибрвла,
    Совершенно со мной не считаясь,
    Мне двух дочек она родила.
Я был против. Начнутся пеленки...
Для чего свою жизнь осложнять?
Но залезли мне в сердце девчонки,
Как котята в чужую кровать!
    И теперь с новым смыслом и целью
    Я, как птица, гнездо свое вью
    И порою над их колыбелью
    Сам себе удивленно пою:

Доченьки, доченьки,
Доченьки мои!
Где ж вы, мои ноченьки,
Где ж вы, соловьи?..
Много русского солнца и света
Будет в жизни дочурок моих.
И что самое главное — зто
То, что Родина будет у них!
Будет дом. Будет много игрушек.
Мы на елку повесим звезду.
Я каких-нибудь добрых старушек
Специально для них заведу.
Чтобы песни им русские пели,
Чтобы сказки ночами плели,
Чтобы тихо года шелестели,
Чтобы детства забыть не могли.
Правда, я постарею немного,
Но душой буду юн, как они!
И просить буду доброго Бога,
Чтоб продлил мои грешные дни.
Вырастут доченьки,
Доченьки мои...
Будут у них ноченьки,
Будут соловьи!
А закроют доченьки
Оченьки мои,
Мне споют на кладбище
Те же соловьи!

1945
Москва

МАЛЕНЬКИЕ АКТРИСЫ

Я знаю этих маленьких актрис,
Настойчивых, лукавых и упорных,
Фальшивых в жизни, ласковых в уборных,
Где каждый вечер чей-то бенефис.
Они грустят, влюбленные напрасно
В самих себя — Офелий и Джульетт.
Они давно и глубоко несчастны,
В такой взаимности, увы, успеха нет.

А рядом жизнь. Они не замечают,
Что где-то есть и солнце, и любовь,
Они в чужом успехе умирают
И, умирая, воскресают вновь.
От ревности, от этой жгучей боли
Они стареют раз и навсегда
И по ночам оплакивают роли,
Которых не играли никогда.
Я узнаю их по заметной дрожи
Горячих рук, по блеску жадных глаз,
Их разговор напоминает тоже
Каких-то пьес знакомый пересказ.
Трагически бесплодны их усилия,
Но, твердо веря, что дождутся дня,
Как бабочки, они сжигают крылья
На холоде бенгальского огня.
И, вынося привычные подносы,
Глубоко затаив тоску и гнев,
Они уже не задают вопросов
И только в горничных играют королев.

1945
Москва

ПРЕД ЛИКОМ РОДИНЫ

Мне в этой жизни очень мало надо,
И те года, что мне осталось жить,
Я бы хотел задумчивой лампадой
Пред ликом Родины торжественно светить.

Пусть огонек мой еле освещает
Ее лицо бессмертной красоты,
Но он горит, он радостно сияет
И в мировую ночь свой бледный луч роняет,
Смягчая нежно-строгие черты.

О Родина моя, в своей простой шинели,
В пудовых сапогах, сынов своих любя,
Ты поднялась сквозь бури и метели,
Спасая мир, не веривший в тебя!

И ты спасла их. На века. Навеки.
С Востока хлынул свет! Опять идут к звезде
Замученные горем человеки,
Опять в слезах поклонятся тебе!

И будет мне великою наградой
И радостно и драгоценно знать,
Что в эти дни тишайшею лампадой
Я мог пред ликом Родины сиять.

1946
Москва

ПТИЦЫ ПЕВЧИЕ

Мы — птицы певчие. Поем мы, как умеем.
Сегодня — хорошо, а завтра — кое-как.
Но все, что с песнями на Родине мы сеем,
На ней произрастает в хлебный злак!

Без песни жить нельзя. Она нужнее хлеба.
Она в сердцах людей, как птица, гнезда вьет,
И с нею легче труд, и голубее небо,
И только с песней жизнь идет вперед.

Нас, старых, мудрых птиц, осталось очень мало,
У нас нет голосов, порой нет нужных слов,
Притом война, конечно, распугала
Обидчивых и нежных соловьев.

А мы... А мы поем! Дыханье нам не сперло,
От Родины своей нам незачем лететь.
Во все бесхитростное наше птичье горло
Мы будем радостно, мы будем звонко петь!

Мы — птицы русские. Мы петь не можем в клетке,
И не о чем нам петь в чужом краю.
Зато свои родные пятилетки
Мы будем петь, как молодость свою!

1946
Москва

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

Строили дети город новый
Из морских голубых камней.
Догорал над ними закат лиловый,
Замирал в лесу соловей.

И один сказал: «Мы тут вал нароем,
Никого не допустим к нам —
Ни людей, ни зверей, и дома построим
Мы для тех, кто без пап и мам!

А другой ответил: «Нас очень много,
Этот город нам будет мал.
А давайте мы лучше попросим Бога,
Чтобы он нас к себе забрал.

Мы из солнца костер разведем над небом,
Будем шапкой луну тушить
И Большую Медведицу черным хлебом
Будем мы по ночам кормить.

Там есть ангелы. Вроде как люди, но — птицы.
Пусть они нас научат летать...»
«А ты знаешь, что там надо много молиться,
А когда же мы будем играть?»

Это третий сказал. И добавил строго:
«Этим ангелам я не рад.
Вот они мне уже оторвали ногу —
Бомбу бросили с неба в ребят...»

Они замолчали. Умолк в печали,
Захлебнувшись от слез соловей.
И, шипя как змеи, волны смывали
Недостроенный город детей...

25 февр. 1946
Москва

МЫШИ

Мыши съели Ваши письма и записки.
Как забвенны «незабвенные» слова!
Как Вы были мне когда-то близки!
Как от Вас кружилась голова!

Я Вас помню юною актрисой.
Внешность... Ноздри, полные огня...
То Вы были Норой, то Ларисой,
То печальною сестрою Беатрисой...
Но играли, в общем, для меня.

А со мной Вы гневно объяснялись,
Голос Ваш мог «потрясать миры»!
И для сцены Вы «практиковались»,
Я ж был только «жертвою игры».

Все тогда, что требовали музы,
Я тащил покорно на алтарь.
Видел в Вас Элеонору Дузе
И не замечал, что Вы — бездáрь!

Где теперь Вы вянете, старея?
Годы ловят женщин в сеть морщин.
Так в стакане вянет орхидея,
Если в воду ей не бросить аспирин.

Хорошо, что Вы не здесь, в Союзе.
Что б Вы делали у нас теперь, когда
Наши женщины не вампы, не медузы,
А разумно кончившие вузы
Воины науки и труда!

И живем мы так, чтоб не краснея
Наши дети вспоминали нас.
Впрочем, Вы бездетны. И грустнее
Что же может быть для женщины сейчас?

Скоро полночь. Звуки в доме тише,
Но знакомый шорох узнаю.
Это где-то доедают мыши
Ваши письма — молодость мою.

24 апреля 1949
Москва

ОТЧИЗНА

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Пушкин

Я прожил жизнь в скитаниях без сроку,
Но и теперь еще сквозь грохот дней
Я слышу глас, я слышу глас пророка:
«Восстань! Исполнись волею моей!»

И я встаю. Бреду, слепой от вьюги,
Дрожу в просторах Родины моей,
Еще пытаясь в творческой потуге
Уже не жечь, а греть сердца людей.

Но заметают звонкие метели
Мои следы, ведущие в мечту,
И гибнут песни, не достигнув цели,
Как птицы замерзая на лету.

Россия, Родина, страна родная!
Ужели мне навеки суждено
В твоих снегах брести изнемогая,
Бросая в снег ненужное зерно?

Ну что ж... Прими мой бедный дар, Отчизна!
Но, раскрыеая щедрую ладонь,
Я знаю, что в мартенах коммунизма
Все переплавит в сталь святой огонь.

Декабрь 1950
Сахалин

* * *

У моих дочурок много есть игрушек —
Целый деревянный коробок.
Мы читали книжку,
Мы поймали мышку,
Мы посадим мышку в башмачок.

Чтобы в шкаф не лазила,
Чтоб нв безобразила,
Чтоб не грызла бабушкин сундук,
Чтобы книг не кушала,
Чтобы старших слушала
И не приводила к нам подруг.

Дочь сказала: «Папа,
У медведя лапа,
Кажется, распухла и болит...»
Я ответил сухо,
Пришивая ухо
Зайцу, у которого бронхит:

«Твой любимец Мишка —
Пакостный воришка:
Лижет в холодильнике он мед.
И, бродя по шкапу,
Отморозил лапу,
А теперь он плачет и ревет».

1951

ДОЧЕРИ МАРИАННЕ (БИБИ)

Биби цветы полагаются.
Они не бодаются, не кусаются!
И когда вырастешь ты,
Пускай тебе носят цветы
И мужчины, и мальчики —
И целуют твои милые пальчики!

ЖЕНЕ ЛИЛЕ

в день девятилетия нашей свадьбы

Девять лет. Девять птиц-лебедей,
Навсегда улетевших куда-то...
Точно девять больших кораблей,
Исчезающих в дымке заката.

Что ж, поздравлю себя с сединой,
А тебя — с молодыми годами,
С той дорогой, большой и прямой,
Что лежит, как ковер голубой,
Пред тобой. Под твоими ногами.

Я — хозяин и муж и отец.
У меня обязательств немало.
Но сознаюсь тебе наконец:
Если б все начиналось сначала,
Я б опять с тобой стал под венец!

Чтобы ты в белом платье была,
Чтобы церковь огнями сияла,
Чтобы снова душа замерла
И испуганной птицей дрожала,
Улетая с тобой — в купола!

Уплывают и тают года...
Я уже разлюбил навсегда
То, чем так увлекался когда-то.
Пережил и Любовь, и Весну,
И меня уже клонит ко сну,
Понимаешь? Как солнце к закату!

Но не время еще умирать.
Надо Родине честно отдать
Все, что ей задолжал я за годы.
И на свадьбе детей погулять,
И внучат — писенят — покачать.
И еще послужить для народа.

Май, 1951
Краснодар

* * *

Я всегда был за тех, кому горше и хуже,
Я всегда был для тех, кому жить тяжело.
А искусство мое, как мороз, даже лужи
Превращало порой в голубое стекло.

Я любил и люблю этот бренный и тленный,
Равнодушный, уже остывающий мир,
И сады голубые кудрявой вселенной,
И в высоких надзвездиях синий эфир.

Трубочист, перепачканный черною сажей,
Землекоп, из горы добывающий мел,
Жил я странною жизнью моих персонажей,
Только собственной жизнью пожить не успел.

И, меняя легко свои роли и гримы,
Растворяясь в печали и жизни чужой,
Я свою — проиграл, но зато Серафимы
В смертный час прилетят за моею душой!

19 января 1952
Москва

ВОРЧЛИВАЯ ПЕСЕНКА

Тяжело таким, как я, «отсталым папам»:
Подрастают дочки и сынки,
И уже нас прибирают к лапам
Эти юные большевики!
Вот, допустим, выскажешь суждение.
Может, ты всю жизнь над ним потел.
Им — смешно. У них другое мнение.
«Ты, отец, ужасно устарел».
Виноват! Я — в ногу... А одышка —
Это, так сказать, уже не в счет.
Не могу ж я, черт возьми, вприпрыжку
Забегать на двести лет вперед!
Ну, конечно, спорить бесполезно.
Отвечать им тоже ни к чему...
Но упрямо, кротко и любезно
Можно научить их кой-чему.
Научить хотя б не зазнаваться
И своих отцов не презирать,
Как-то с нашим возрастом считаться,
Как-то все же «старших» уважать.
Их послушать — так они «большие»,
Могут целым миром управлять!
Впрочем, звмыслы у них такие,
Что, конечно, трудно возражать.

Ну и надо, в общем, соглашаться,
Отходить в сторонку и молчать,
Как-то с этим возрастом считаться,
Как-то этих «младших» уважать.
И боюсь я, что придется «папам»
Уступить насиженный престол,
Все отдать бесцеремонным лапам
И пойти учиться... в комсомол!

1955
Москва

КИЕВ — РОДИНА НЕЖНАЯ

Киев — родина нежная,
Звучавшая мне во сне,
Юность моя мятежная,
Наконец ты вернулась мне!

Я готов целовать твои улицы,
Прижиматься к твоим площадям.
Я уже постарел, ссутулился,
Потерял уже счет годам.

А твои каштаны дремучие,
Паникадила Весны,
Все цветут, как и прежде, могучие,
Берегут мои детские сны.

Я хожу по родному городу,
Как по кладбищу юных дней.
Каждый камень я помню смолоду,
Каждый куст вырастал при мне.

Здесь тогда торговали мороженым,
А налево была каланча...

Пожалей меня, Господи Боже мой...
Догорает моя свеча!..

1956

* * *

Хорошо в этой «собственной» даче
Бурной жизни итог подвести.
Промелькнули победы, удачи
И мечтаний восторги телячьи,
И надежды, как старые клячи,
Уж давно притомились в пути.

И сидишь целый день на террасе,
Озирая свой «рай в шалаше»...
Так немного терпенья в запасе,
Ничего не осталось в сберкассе,
Ничего не осталось в душе.

Но зато, если скинуть сорочку,
Взять лопату, залезть в огород,
Можно разбогатеть в одиночку,
Продавая клубнику в рассрочку,
И всего за какой-нибудь год!

Но, увы, мне нельзя нагибаться,
К сожаленью, мешает склероз...
И чего мне в навозе копаться?
И еообще молодым притворяться
Мне давно очертело до слез!

1956
Москва, ст. «Отдых»

* * *

По золотым степям, по голубым дорогам
Неповторимой Родины моей
Брожу я странником — веселым и убогим —
И с тихой песнею вхожу в сердца людей.

Идут года, тускнеет взор и серебрится волос,
А я бреду и радостно пою,
Пока во всех сердцах не прозвенит мой голос,
Пока не испою всю Родину мою.

О всех обиженных, усталых, позабытых
Напоминает миру песнь моя,
И много в ней людских мечтаний скрытых,
И много жалоб в книгу Бытия...

1950-е годы.

* * *

Как жаль, что с годами уходит
Чудесный мой песенный дар.
Как жаль, что в крови уж не бродит
Весенний влюбленный угар.

И вот, когда должно и надо
Весь мир своей песней будить,
Какого-то сладкого яда
Уже не хватает в груди...

И только в забытом мотиве,
Уже бесконечно чужом,
В огромной, как век, перспективе
Мне прошлое машет крылом.

1950-е годы.

* * *

Любовью болеют все на свете.
Это вроде собачьей чумы.
Ее так легко переносят дети
И совсем не выносим мы.

Она нас спасает. Она нас поддерживает.
Обещает нам счастье, маня.
Но усталое сердце уже не выдерживает
Температуры огня.

Потому что оно безнадежно замучено
От самых простых вещей.
К вечной казни и муке оно приучено,
Но не может привыкнуть к ней.

1950-е годы.

* * *

Сквозь чащу пошлости, дрожа от отвращенья,
Я продираюсь к дальнему лучу.
Я задыхаюсь. Но в изнеможеньи
Я все еще о чем-то бормочу...

* * *

И в хаосе этого страшного мира,
Под бешеный вихрь огня
Проносится огромный, истрепанный том Шекспира
И только маленький томик — меня...

Рассказы, зарисовки, размышления

Рассказы, зарисовки

В КИЕВЕ

Было это в Киеве, в дни моей юности. Был я тогда худ и светловолос необыкновенно. Прямо был до жалости блондин. А виски зачесывал не как все, а «из протеста» — наружу, к носу.

Знавал я в те годы одного симпатичного парня. Фвмилия его была, кажется, Ковальчук. Писал он ладные вывески, малярил, но в душе считал себя художником и не понятым слепой и завистливой толпой талантом. Был Ковальчук громадного роста и такой же силы, в жену имел маленькую, щупленькую, но ядовитую, как стрихнин. Самое удивительное, что эта маленькая, худенькая женщина била гладиатора Коаальчука без всякой пощады, а он кротко подчинялся выходкам фурии. Иногда только, когда вконец исчерпывалвсь его волоаья кротость, Ковальчук переходил в наступление. Тогда он усаживал свою крохотную жену на верхушку высокого шкафа и держал ее там до тех пор, пока она не просила прощения.

Случилось как-то, что я долго, несколько месяцев, не встречал Ковальчука. И вот однажды в нежный весенний день бреду я по Крещатику и слышу, что меня окликают. Поворачиваю голову и вижу перед собой здоровенного парнюгу с узелком в руке. Из узелка заманчиво выглядывают горлышки двух бутылок.

— Ковальчук! Какими судьбами?

— Саня! — говорит он упавшим голосом.— Саня, друг, пойдем.

— Куда пойдем?

— К ней...— Взор Ковальчука заволакивается слезой, рот кривится в горькую гримасу.— К ней... К Дунечке моей... Помянуть ее...

— Как помянуть?.. Да ты что? С утра, что ли, еле можахом?

Краткий разговор выясняет, однако, что Дунечка действительно уже три месяца как умерла. Заболела, слегла и умерла. Бог дал, Бог и взял.

— Жалко,— говорю я.— Очень жалко. А что это у тебя в узелке?

— Водка... И закуска... Сегодня ведь поминальный день. Пойдем помянем.

Дело было молодое, времени саободного у меня было больше всего, и мы пошли. Пришли на кладбище, пришли к указанной Ковальчуком могилке, сели. Развязали узелок, вынули две бутылки водки. Вся закуска оказалась всего-навсего из двух кусков сахару. Стали выпивать. Опрокинем стаканчик, куснем или лизнем сахару и — опять.

— Дунечка...— стонет Ковальчук,— Дуняша, цветик мой... Кохана моя... Саня, Саня, ты помнишь, как я любив, как я обожав?

— Угу...— неопределенно отвечаю я, вспоминая сцены со шкафом.— А ты что ж, сам, что ли, памятник-то поставил?

— Сам,— всхлипывает Ковальчук.— Сам... Все своими вот этими руками. Выпьем, Саня...

Тем аременем первая бутылка подходит к концу и открывается вторая.

— Я тебя прошу...— надрывно стонет Ковальчук.— Я тебя прошу, Санька, копни ты дырочку в могиле... Копни пальцем, я тебя прошу... Уважь!

— Да зачем?

— А мы ей водочки нальем... Ей... Дуняше... Коханочке... Пусть и она выпьет... Пусть...

Я выкапываю ямку, Ковальчук наливает водку. Сухая эемля быстро впитывает влагу.

— Ишь ты! — вдруг аосхищенно восклицает приятель.— Как выпила, а? Всегда горилку, стерва, любила...

Но ничто не вечно под луной, и вторая бутылка подходит к концу. Скепсис, сомнение закрадывались в мою душу.

— Не может быть...— замечаю я.— Неужели ты асе сам сделал — и памятник, и оградку?

— Все! Все! — кричит Ковальчук со страшным рыданием в голосе.— Усе сам зробыв! И могилку, и оградку. И здесь усе мое творчество! И дощечку сам своими руками напысав. Читай! Смотри!..

Я поднимаюсь, приближаю глаза к дощечке и читаю:

Здесь покоится прах
действительного статского
советника Никифора
Серапионови...

— Ковальчук?.. В чем же дело?!

Мой приятель выдержиает длинную мастерскую паузу, которой бы позавидовали даже в Московском Художественном театре. Потом чешет в затылке. Поводит мутным взглядом. И говорит:

— Господа-а!.. Так это ж нэ та могыла...

Картина.

КОНЦЕРТ В ГОРОДИШКЕ КИЛИЯ

Во время гастролей по Румынии заехал я в крохотный захолустный городишко, который найдешь разве на редкой карте,— Килия. Принадлежала эта замечательная Килия до революции России, а поэтому и сейчас господствующий язык там русский, хотя господствующее население — еврейское.

Петь мне а этом городишке пришлось в ветхом деревянном бараке, подслеповато освещаашемся керосиновыми лампами, но гордо именовавшемся «театром».

Вышел я в своем фраке на не очень прочные подмостки, и первое, что бросилось мне не только а глаза, но и в нос,— это десяток небольших керосиновых лампочек, расставленных вдоль рампы. Лампы коптят, и от едкой копоти нестерпимо саербит в носу и хочется чихать.

В зале от публики — черно. В первом ряду около дамы с на редкость обширными и выдающимися формами жмется рахитичный ребенок с плаксиаым выражением лица.

— Ма-а-ма-а-а! — нудным голосом тянет он.— Ма-ама-а! Я хочу-у-у...

Вы понимаете, какое прекрасное сразу создается у меня настроение.

Из зала кричат:

— «Песню за короля»! «Ваши пальцы пахнут ладаном»!..

Я не могу больше переносить угара от ламп, присаживаюсь на корточки, прикручиваю фитили.

— «Ваши пальцы пахнут ладаном»! — настаиаает неизвестный из темноты. А другой, обладатель гнусавого козлиного тенорка, замечает:

— Нет... Теперь они уже пахнут из керосином!

— Мамааа-а!..— Тянет нудный мальчик.— Я хочу-у-у...

Но делать нечего. Контракт подписан. Сбор сделан. Надо петь. Я пою одну, другую, третью свою песенку. Зал кричит, шумит, рукоплещет. И вдруг... И вдруг я замечаю, что зал

постепенно начинает пустеть. Ряды слушателей редеют все больше и больше. Что такое? Я ничего не понимаю. А публика все убывает. Но я пою. Контракт подписан. Контракт должен быть выполнен. Я пою и замечаю, что куда-то исчезавшая публика начинает возвращаться. Еще пять, десять минут — и опять перед мною полный зал. Опять от публики черно. Я подхожу к своей последней песенке, а публика не желает меня отпускать.

— За короля... Спойте за короля!..— ревут сотни голосов. И среди них я все так же различаю тоненький и нудный голос мальчика:

— Мама-а-а, я хочу-у...

Я очень редко гоаорю со сцены с публикой, но тут я решаюсь на рэзговор:

— Господа,— говорю я,— у меня нет «Песни за короля», у меня есть «Песня о короле». Но я ее уже пел сегодня.

Тогда происходит следующий диалог:

— Позвольте,— кричат из публики,— но мы же ее не слышали.

— Почему вы не слышали?

— Так мы же уходили.

— А почему уходили?

— Ой, он спрашивает, почему мы уходили! Так это же все знают! Так мы уходили на пожар...

— Какой пожар?

— Ой, посмотрите на него, он не знает, какой пожар! Конечно, у Мунделевича пожар. У Доди Мунделевича в аптекарском магазине, что за углом.

— Но зачем вы бегали на пожар?

Общий вопль потрясает старый барак:

— Ха!.. Зачем!.. Так вы-то еще поете, а Мунделеаич уже сгорел. Так Мунделевич же не каждый день горит. А?.. Ясно?

Уступая темпераментным килийцам, я спел им еще раз «Песню о короле». Но перед зтим не удержался и сказал:

— Хорошо. Я спою. И в последний раз... Слышишь, мальчик? А потом ты пойдешь туда, куда тебе так хочется...

МСЬЕ ДАЙБЛЕР

Перебирая в памяти «коллекцию пациентов» своего скромного искусства, припоминая бесчисленные встречи и разговоры с самыми разнообразными людьми, с которыми

сталкивала меня бродячая жизнь актера-одиночки, я, как истый «коллекционер», не без гордости останавливаюсь на особо ценных и редких зкземплярах. Некоторыми из них я горжусь не менее, чем какой-нибудь ювелир гордится черным бриллиантом или собиратель картин полотном Ван-Дейка.

Время от времени я припоминаю эти встречи во всех деталях, сдувая таким образом с них «пыль забвения», и, пережив все сначала, снова кладу их на место в тот угол памяти, где у меня хранятся особо интересные воспоминания. Об одном таком незаурядном знакомстве мне хочется рассказать.

Однажды на одном из моих концертов в Париже, в зале Гаво, за кулисами во время антракта появился среди толпы посетителей среднего роста пожилой француз. Познакомившись, он рассыпался целым каскадом комплиментов по поводу концерта. Я не обратил бы на зто особого внимания, но меня удивило и заинтриговало то обстоятельство, что мой собеседник был француз, так сказать, «иностранец», не понимавший ни одного слова по-русски, и то, что на концерт он пришел с пачкой довольно недурных переводов моих песен. Следя по ним, он слушал каждую мою песню, уже зная в точности ее содержание. Оказалось, что у него дома есть весь выпуск моих граммофонных пластинок и что это уже не первый мой концерт, на котором он бывает. Отрекомендовавшись мне мсье Дюпоном, которых во Франции столько же, сколько у нас в России Иваноаых, он долго рассказывал мне о каком-то своем старом русском друге, который и научил его любить мои песни. Очень холеный, чуть суховатый, с узкими бледными руками, с седоватыми, гладко причесанными волосами, в обыкновенном смокинге, он ничем не отличался от тысячи таких же французов, и наше знакомстао, вероятно, на зтом вечере и оборвалось бы, если бы ему не суждено было продолжиться дальше.

Несколько раз я встречал этого человека то в холле отеля, то за стойкой бара, то в фойе театра. Однажды в аоскресенье утром мы встретились с ним в Булонском лесу. Я гулял со саоим бульдогом, а он, только что закончив прогулку на лошади, шел в костюме для верховой езды со стеком в руке.

Мы сели в маленьком ресторанчике в саду «Порт Дофин» и заказали аперитивы.

— Что вы сейчас намереваетесь делать? — спросил он.

У меня не было определенных планов.

— Надо куда-нибудь поехать завтракать,— ответил я.

— Если вы ничего не имеете против,— предложил он,— мы можем позавтракать у меня. Я живу недалеко отсюда, километрах в пятидесяти. Машина моя стоит тут у входа. Идет?

Я согласился. Светло-серый «деляж» покатил нас по аллеям Булонского леса. Приблизительно через полчаса мы были у цели.

Серый французский особняк со львами у ворот. Не особенно старый, но довольно мрачный, с маленьким парком и газонами. Стеклянная галерея с десятками клеток. В клетках белые канарейки. На окнах цветы. В большой столовой накрыт стол к завтраку.

Очаровательная девушка с синими лучистыми глазами вышла к нам наастречу.

— Почему так поздно, папа? — спросила она.

Мсье Дюпон поцеловал ее в лоб и объяснил задержку встречей со мной, сообщив, что я и есть тот Вертинский, который поет у них на пластинках. Девушка приветливо улыбалась.

— О, мы так часто вас слушаем. Ваши песни я уже знаю наизусть. Я и сама уже могу петь их. Вот послушайте...

И она с очароаательным акцентом пропела несколько фраз по-русски. Я зааплодировал. Мы засмеялись. Завтрак прошел весело, и время пролетело быстро.

После завтрака мы пили кофе в гостиной и рассматривали канареек, которых, кстати, было великое множество.

— Папа обожает их,— сообщила Магги,— он сам их кормит и следит за ними.

Мы поболтали немного. Расстались друзьями, и через полчаса я уже был дома в Париже, сохранив об этом завтраке самое приятное воспоминание.

Теперь я отойду немного в сторону. Как-то в конце февраля в парижской «Гранд-Опера» был бал. Бал этот был традиционный и давался ежегодно в пользу убежища для престарелых актеров. В этот день программа обычно состояла исключительно из циркоаых номеров, которые обязательно исполнялись актерами всех театров Парижа. Все это было, конечно, очень забавно, и публика с удовольствием шла смотреть своих любимцев в таких необычных ролях.

В этой программе участвоаали и мы с Мозжухиным. Часа в три ночи мы, закончив программу, решили поехать поужинать в маленький ресторанчик на Монмартре «Клош-д'Ор», где подавали чудесный «муль мариньер» и устрицы. Усевшись в углу, мы занялись едой. Народу там собиралось много.

Главными же клиентами были артисты многочисленных монмартрских кабаре, которые заходили туда отдохнуть и покушать после работы.

Мы пили вино. Внезапно отворилась входная дверь, и на пороге появилась женщина. Это была наша общая приятельница, молодая манекенша от Пату, очень хорошенькая Клод. Увидя нас, она сразу же направилась к нашему столику и села с нами. Подали ужин. Она ни к чему не прикоснулась. Напрасно мы с Иваном развлекали ее разговорами, стараясь изо всех сил: она была в состоянии какого-то оцепенения — бледная и дрожащая, она, по-видимому, что-то переживала и пила коньяк большими рюмками, совершенно не пьянея.

Часа в четыре ночи она стала просить нас отвезти ее на одну из площадей. Ивана очень удивила эта просьба. Дело в том, что на этой площади не было жилых домов. Это был район, где помещались зааоды, конторы и городские бойни. В центре ее стояла тюрьма.

— Что же ты там будешь делать ночью? — спросил Иван.

Клод не отвечала прямо.

— Мне нужно! Понимаешь, нужно там быть! — твердила она.

Иван задумался, и вдруг глаза его сверкнули.

— *Я* знаю, зачем ей нужно,— тихо сказал он мне.

В этот день на площади была назначена казнь некоего Гоше — молодого юноши, ограбившего ювелира на авеню Мозар и убившего его, его жену и прикаэчика. Забрав несколько бриллиантовых браслетов, он скрылся и череэ три месяца был пойман полицией.

— Ты хочешь присутствовать при казни Гоше? — в упор спросил ее Иван. Клод разрыдалась. Гоше был ее любовником. Ее трясло как от озноба. Чем мы могли ей помочь?

— Ее надо напоить до бесчуаствия и отвезти домой,— по-русски сказал мне Иван.

Мы давали ей коньяк стаканами. Но увы! Возбуждение ее было так велико, что алкоголь не действоаал на нее абсолютно. Она настаивала на своей просьбе. Ее губы дрожали, глаза готовы были выскочить из орбит. Она умоляла, грозя самоубийством.

Пришлось согласиться. Иван сел за руль, и мы помчались.

На пляс X было еще темно, серый туман застилал все. Площадь была оцеплена полицией. По француэским эаконам казнь должна быть всенародной, но обычно совершается она

на рассвете, чтобы не привлекать внимание толпы. Остановив машину в дозволенном месте, мы были очень далеко от нее. Толпу не пускали. Она шумела тут же, возле нас, как морской прибой, приподымаясь на цыпочки и вытягивая шеи, в тщетной надежде что-нибудь увидеть. Клод трясла лихорадка. Она повторяла только один звук: ва-ва-ва...

Мы держали ее за руки, накинув на нее свои пальто. Прошло минут двадцать. Внезапно по толпе прошло какое-то движение. Точно шорох. Или вздох. Это где-то скатилась голова. Клод крякнула и забилась в истерике.

Я выскочил из машины, чтобы достать доктора или как-нибудь еще помочь ей. Но она уже вырвалась из рук Иаана и бежала по мостовой, крича и плача. Потом упала на камни. Засвистели свистки полицейских. Ее подняли и понесли в ам буланс.

Иван, эабыв обо мне, круто повернул машину и умчался куда-то. Я остался один.

Светало. Толпа возвращалась к своим будничным заботам. Торговки несли корзины с цветами и фруктами, огромные фургоны, груженные морковью и капустой, скрипя, проплывали мимо. Рабочие спешили на фабрики.

Я стоял во фраке, а цилиндре и вечернем пальто и являл собой дикое зрелище. Я был близок к обмороку. Все зто потрясло меня.

«Только бы добраться до постели и забыться. И уже не встать...» — мелькало у меня в голове. Я оглянулся. Направо через площадь хозяин маленького бистро, где продают уголь, дрова и вино, открывал двери.

Я вошел внутрь. Сев за грязный деревянный столик, я потребовал стакан коньяку. Огненная влага обожгла меня и притушила мои нервы.

Все как-то стало тише... Легкая дремота начала одолевать меня. В этот момент скрипнула дверь. На пороге появился мой приятель-француэ, мсье Дюпон.

— Алло! Что вы делаете здесь а этот час? — изумленно спросил он.

Я рассказал ему все. Он покачал головой.

— Вам надо беречь свои нераы, дорогой! Вы — артист. Это слишком сильные ощущения для вас. Берегите себя!

Он выпил рюмку коньяку и крепко пожал мне руку. Уходя, он почти столкнулся в дверях с другим моим приятелем, журналистом К.

— Откуда ты знаешь этого человека? — спросил меня журналист, подойдя к моему столику.

— Это мой поклонник,— нехотя отвечал я.

— А ты знаешь, кто он такой?

— Нет.

— Это Дайблер. Палач города Парижа!

Стая белых канареек, вспорхнула и вылетела из моей головы.

О Ю. МОРФЕССИ

За границей, в эмиграции, было много наших русских актеров, но я не помню ни одного, который бы в искусстве двинулся вперед, оторвался бы от того, чему он выучился когда-то.

Мой приятель — Юра Морфесси — в свое время имел большой успех в Петербурге как исполнитель цыганских романсов. Но, попав в эмиграцию, он никак не мог сдвинуться с мертвой точки прошлого.

— Гони, ямщик!

— Ямщик, не гони лошадей!

— Песня ямщика!

— Ну быстрей летите, кони!

— Гай-да тройка!

— Эй, ямщик, гони-ка к Яру! и т. д.

— Юра,— говорил я ему,— слезай ты, ради Бога, с этих троек... Ведь их уже давно и в помине нет. Кругом асфальт. Снег в Москве убирают машины...

Куда там! Он и слышать не хотел. И меня он откровенно презирал за мои песни, в которых, по его выражению, ни черта нельзя было понять. И ненавидел моих поклонников. В остальном мы с ним были как будто в неплохих отношениях. Я всегда по-товарищески устраивал и рекомендовал его в те места, где пел сам, и часто мы выступали в одном и том же учреждении. Как только во время своего выступления я открывал рот, он вставал и демонстративно выходил из зала. При нем нельзя было даже говорить о моем творчестве, а уж тем более хвалить меня. Помню, однажды в «Эрмитаж», где я пел, пришел Федор Иванович Шаляпин с инженером Махониным (который изобрел какой-то «карбурант» — нечто вроде синтетического бензина), богатым и неглупым человеком. Федор Иванович заказал себе солянку с расстегаями и ждал, пока ее приготовят. Увидев Шаляпина, я отчаянно перетрусил: петь в его присутствии у меня не хватило

бы наглости — поэтому я убежал и спрятался, извините за выражение, в туалете. Каков же был мой ужас, когда открылась дверь и Федор Иванович громовым голосом сказал:

— А! Вот вы куда от меня спрятались! Нет, дорогой, дудки! Пожалуйте петь! Я из-за вас сюда приехал!

Юра стоял тут же и видел эту сцену. Он позеленел. А Федор Иаанович бесцеремонно взял меня за руку и повел на зстраду. Что было делать? Пришлось петь.

Пераой песней моей было «Письмо Есенина», «До свиданья, друг мой, до свиданья!», написанное в том году.

Шаляпин слушал и... вытирал слезы платком (клянусь вам, что это не актерское бахвальство, а чистая правда). Инженер Махонин сказал ему (так, что я слышал):

— Федор Иванович, солянка остынет.

Шаляпин отмахнулся от него и вдруг, совсем отодвинув стул от своего стола, попросил:

— Еще, дорогой. Пой еще!

Девять песен вместо положенных трех я спел ему в зтот вечер. Солянку унесли подогревать. Потом я сидел с ним до закрытия, и с зтого началась наша дружба с Федором Ивановичем, если я смею назвать это дружбой.

Юра не мог пережить этого и совсем не пел от злости в этот вечер. Он ушел домой, сослаашись на расстройство желудка.

А однажды ко мне в «Эрмитаж» пришел знаменитый шахматист Алехин. Он любил мои песни и не скрывал этого. У него были все мои пластинки. Пригласив меня за свой столик, он позвал также Юру, предварительно спросив меня, не имею ли я чего-нибудь против. Я, конечно, ничего не имел. Разговор зашел обо мне и о моей последней песне, только что напетой в «Колумбии»,— «В степи молдаванской». Алехин говорил, что самое ценное в моем творчестве — это неугасимая любовь к родине, которой пропитаны все мои песни, ну и еще кое-что, что я опускаю. Юра долго терпел все это, потом, не выдержав, обрушился на меня таким потоком злобы, ненависти, зависти и негодования, что даже покраснел и начал задыхаться. Алехин опешил. Я молчал. Мне неудобно было говорить о самом себе. И притом никто не обязан любить мое искусство. У каждого свой вкус. Но Алехин возмутился.

— Вы позволяете себе обливать грязью моего друга,— сказал он ему и встал при этом.— Я попрошу вас немедленно покинуть мой стол!

Юре ничего не оставалось, как только встать и уйти. Что он и сделал. В дальнейшем мы продолжали служить вместе. Он вел себя так, как будто этого не было. Я тоже делал вид, что ничего не случилось. Но однажды в откровенной беседе с ним, где-то в кафе, куда мы ходили после работы, я сказал ему:

— Ты не понимаешь моих песен потому, что, во-первых, ты необразован; во-вторых, ты никогда ничего не переживал в своей жизни, ты не знаешь, ни что такое боль, ни что такое страдания, ни что такое печаль, тоска, душевные муки. Ты не знаешь, что такое родина и тоска по ней.— И постепенно обозлеваясь, вероятно, не без влияния алкоголя, я сказал ему: — Ты, Юрочка, старый «супник»! У тебя всегда можно было купить любовницу, «встретиться» с женщиной на твоей квартире. Ты всю жизнь пел по «отдельным кабинетам» и получал «в руку» — «на чай» — от богатых людей. Ты человек, воспитанный, так сказать, «при чужой рюмке водки». Откуда тебе понимать человеческие чувства? Вот когда с тобой случится беда, горе какое-нибудь, ты, может быть, тогда и поймешь что-нибудь во мне!

Он чуть не убил меня за эти жестокие слова, замахнувшись бутылкой. Но нас развела публика. На этом наши отношения как будто прекратились. Но окончились они все же иначе.

Однажды, съездив в Белград на гастроли, Юра познакомился с девицей огромного роста (выше меня на голову), которая была участницей белого движения. Звали ее по-военному — «Танька-Пулемет». Она была намного моложе Юры и была женщиной решительной и энергичной. Она сразу прибрала его к рукам. Юра влюбился в нее. Влюбился «жестоко и сразу» — он любил «большие куски», как в еде, так, очевидно, и в любви. Уже сильно постаревший к тому времени, этот бывший «лев» был весьма быстро «перестрижен» ею в смирного «пуделя». Онв командовала им и третировала его. Женившись на ней в Белграде, где он отбил ее у богатого серба, не пожелавшего жениться на ней, он привез ее в Париж. Это был ход со стороны женщины, которая сыграла на самолюбии своего богатого любовника. А Юра был козлом отпущения. Любовник взвыл. Она нанесла сильный удар! В конце концов он приехал за ней в Париж, они, по-видимому, встретились, и... эта особа, которую, кстати, мы называли «молодая лестница», в один прекрасный день, когда Юра был в поездке, бросила его и уехвла в Белград, предварительно начисто ограбив, продав все его имущество,

даже квартиру со всей мебелью. Юра затосковал... И как! Он даже похудел от горя... Это было его первое душевное потрясение.

Как-то вечером он пришел в то место, где я пел. Заказав себе вина, он волей-неволей вынужден был слушать столь ненавистное ему мое пение.

Я пел довольно безобидный вальс — «Дни бегут». Там есть такие слова:

Сколько вычурных поз,
Сколько сломанных роз,
Сколько мук, и проклятий, и слез!

Как сияют венцы!
Как банальны концы!
Как мы все в наших чувствах глупцы!

А любовь — это яд,
А любовь — это ад,
Где сердца наши вечно горят.

Но дни бегут,
Как уходит весной вода,
Дни бегут,
Унося за собой года.

Время лечит людей,
И от всех этих дней
Остается тоска одна,
И со мною всегда она...

Наконец я кончил. Юра встал и подошел ко мне. По лицу его ручьями текли слезы.

— Прости меня! — только и мог произнести он.

Я простил.

ИСТОРИЯ С СОБАКОЙ

...Три события потрясли Париж. О них, захлебываясь, писали газеты, не щадя красок, фантазии и темперамента. Первым был «Полет Икара», как его окрестили парижане. Однажды утром поезд президента республики подходил к дебаркадеру какой-то небольшой станции. Президент стоял у окна, высунувшись из него до пояса. По-видимому, машинист паровоза неудачно затормозил состав, и... президент вылетел на платформу как был — в полном «дезабилье», т. е.

в одних подштвнниках,— прямо на руки ожидавших его приезда депутатов. Три недели все куплетисты Монмартра и Монпарнаса воспевали этот изумительный полет главы правительства.

Позт Дон Аминадо, отдавая дань этой божественно легкомысленной расе, патетически восклицал:

Где еще в подлунном мире
Из вагонного окошка
Вылетают президенты
В полосатых пижама?..

Событие сие надолго оттеснило на второй план политические события того времени.

Вторым сенсационным событием было возвращение знаменитой парижской «ведетты» Мистангет, ездившей на гастроли в Америку. Уехав туда на три года, она вернулась через три месяца. По-видимому, ее там «не поняли». Кстати, в это время ей шел 75-й год, что, впрочем, не мешало ей блистать на сцене. В Париже женщина не имеет возраста и до сорока лет вообще считается «подростком». Молодых женщин парижане не любят.

Парижане — прирожденные конферансье. Стоя на углу бульвара Распай, я однажды слышал следующий разговор двух уличных продавцов, из которых один продавал подтяжки, а другой — пятновыводчик. Каждый из них расхваливал свой товар, ловко пересыпая свою речь злободневными остротами на политические и иные темы.

— Ты слышал, Жан,— кричал один из них другому,— американцы с нас требуют военные долги? А? Что ты на зто скажешь?

— Хороши союзнички! — не переставая освежать пятновыводчиком чью-то грязную фуражку, отвечал Жан.— Чего они от нас хотят в конце концов, эти янки? Мы же им послали Мистангет! — возмущался он.

— Да, но ведь они ее нам вернули! — добросовестно пояснял первый.

— Ну и что же из зтого? Мы ведь их об зтом не просили,— спокойно парировал Жан.

Толпа грохотала. Французы любят шутку. Товар распродавался легко.

А третьим событием была «История бедного Фифиса». Это уже — мировая сенсация. Дело в том, что одному профессору медицины — крупному французскому ученому, проводившему опыты над животными,— понадобилось испробовать свою вновь изобретенную сыворотку на собаке. Поймав где-то на улице приблудившегося фокстерьера, «рассеянный» профессор привел его в свою лабораторию и сделал ему прививку. До сих пор все шло благополучно, однако безутешная владелица пропавшего фокстерьера вскоре разнюхала эту историю и подала на профессора в суд. Парижане заволновались. Эдак каждой собаке может грозить подобная опасность! Сердобольные хозяйки всех этих «жужу» и «бижу» проливали горючие слезы над судьбой фокстерьера, прижимая к сердцу своих любимцев.

— «Повр Фифис» — бедный Фифис! — рыдая, восклицали они. Поймав профессора где-то на улице, они забросали его камнями. В письмах откровенно угрожали его жизни, консьержки, лавочницы, молочницы и домашние хозяйки требовали для него суда Линча.

За профессора вступилась пресса. Ведь это же на пользу человечества! Газеты раздували мировой пожар. Печатались статьи знаменитых собаковедов, собаководов и собакопромышленников. Лучшие умы Франции в течение целого месяца были заняты этим вопросом. Газеты давали интервью с самыми неожиданными лицами, вплоть до владельцев колбасных фабрик. Опрос был всенародный, как плебисцит. В кино показывались картины, воспроизводившие опыты над собаками, причем посетители делились на два лагеря — «за» и «против». Показы этих картин обычно заканчивались драками.

Парижане были возмущены до предела. Собирались огромные средства для Общества защиты животных. Какой-то старый маркиз пожертвовал собакам свое огромное поместье с особняком в 46 комнат.

Если бы половина этих слез, пролитых над судьбой Фифиса, была пролита над судьбой «ля гелль кассе», если бы четверть этих «собачьих» денег была отдана в распоряжение тех несчастных, бедные инвалиды войны, проливавшие свою кровь за отчизну, были бы до самой своей смерти обеспечены материально.

Но... таков Париж. И в день взятия Бастилии — 14-го июля,— когда народ танцует на всех площадях и по Шан Зализе утром двигается обычная в этот день демонстрация,

ее и на этот раз торжественно открывали везомые в колясочках и ведомые под руки слепые, изуродованные инвалиды «ля гелль кассе».

Эту историю с Фифисом я рассказал специально для того, чтобы дать понять моему читателю ту особую «прособачью» атмосферу, которая царила в Париже в те дни, когда со мной случилось это весьма незначительное происшествие. Впрочем, все по порядку.

Я в это время жил в Пасси. Рядом со мной, буквально за моим домом, начинался знаменитый Булонский лес — краса и гордость парижан. Бесконечные пространства хвойного и лиственного леса в самом центре города, где можно укрыться от летнего зноя в тени деревьев, гулять, кататься верхом или в собственной машине, десятки и сотни километров асфальтированных прекрасных дорог, рестораны, дансинги, старинные замки французской аристократии, обедневшей и вымирающей (почти все уже давно проданное американцам),— словом, все удовольствия мира, вплоть до «фавнов», блуждающих в чаще леса и пугающих непристойными жестами замечтавшихся гувернанток и бонн!

У меня была собака. Это была белая красавица — боксер с единственным пятном в виде коричневого «монокля» вокруг правого глаза. Звали ее Долли. У нее был, в общем, спокойный характер, и, когда мы с ней приходили в кафе и садились за столик прямо на улице, она непринужденно вскакивала на стул и сидела, окидывая публику полным достоинства взглядом. Когда к нам подходил гарсон, чтобы принять заказ, я неизменно сперва обращался к ней, как к даме:

— Что вы хотите, Долли? — спрашивал я.

— Гав! — коротко и выразительно отвечала она.

На собачьем языке это означало «бриош», то есть сдобную булочку. Я заказывал, гарсон подавал. Долли скромно съедала свой бриош и продолжала спокойно сидеть, разглядывая соседей. Ее уже хорошо знали в Пасси. У нее были кой-какие недостатки. Она не выносила кошек, крыс, мотоциклистов и верховых лошадей. Во всем остальном она была «настоящая леди». В Париже собак надо держать на «лэсс», то есть на ошейнике и ремне или цепочке, и ни в коем случае нельзя отпускать их от своей ноги. А ведь собаки как дети, им тоже хочется побегать по душистой траве, покувыркаться, погоняться за птицами или — не дай Бог! — за лебедями в прудах, где дремлют в воде жирные ручные карпы. Вот тут-то и начинаются трудности. Булонский лес кишит ажанами — строгими

полицейскими в синих кепи и пелеринах, которым совершенно нечего делать среди свободолюбивых парижан и которые всю свою служебную энергию направляют на борьбу с собаками, осмелившимися дать волю своей звериной жизнерадостности.

Каждое утро я брал Долли на лэсс и мы шли гулять в Булонский лес. Там, выбрав местечко поглуше, где совсем не видно ажанов, я спускал ее с привязи, и она устраивала такие собачьи бега со случайными подругами, что у меня захватывало дух от восхищения. Когда вдалеке показывался ажан, я свистел ей, и в одну секунду она уже сидела рядом со мной, привязанная на лэсс, и с нескрываемым презрением разглядывала приближающегося ажана. Ажан окидывал ее подозрительным взглядом и проходил дальше: придраться ему было не к чему. Тем не менее он все прекрасно понимал и собаку мою держал, так сказать, «на учете» в своей профессиональной памяти.

Однажды я сидел на скамейке в самом уединенном уголке Булонского леса и читал газету. Вокруг меня на дорожках и полянках резвились десятки собак разных пород и мастей, спущенные с лэсс своими сердобольными хозяевами, которые также читали газеты, курили или рассуждали о трагической судьбе «бедного Фифиса». Ко мне подошел ажан.

— Мсье,— корректно сказал он, приложив руку к козырьку,— я попросил бы вас взять вашу собаку на лэсс!

Я отрицательно покачал головой.

— Это невозможно, мсье! — отвечал я.

Владельцы «фифисов» заволновались и стали спешно собирать своих питомцев. Образовалась кучка людей, из нее слышались негодующие замечания:

— Какой осел придумал эти правила! Бедные животные не могут даже побегать полчаса!

Подошел еще один ажан.

— Ваш префект Кьяпп, г-н лейтенант,— старый корсиканский осел! Его самого надо посадить на цепь, чтобы он поменьше самовольничал у нас в Париже! — злобно ворчал какой-то старичок с ленточкой Почетного легиона в петлице.— Это ему не Корсика...

Лейтенант был глух и нем. Он был олицетворением закона. Во Франции можно ругать правительство сколько угодно, это никому не возбраняется, и поэтому до ушей лейтенанта подобные речи просто не доходили.

— Я еще раз прошу вас, мсье, взять вашу собаку на лэсс, иначе мне придется принять другие меры! — настойчиво и строго повторил он.

— Увы, я не могу этого сделать,— отвечал я.

Лейтенант засвистел. Подошли еще трое ажанов.

— Этот мсье не желает взять свою собаку на лэсс,— заявил он пришедшим. Ажаны строго переглянулись и потребовали, чтобы я следовал за ними в префектуру.

Мрачно скрестив руки на груди, я твердо заявил:

— Никуда не пойду! — и демонстративно уткнулся в газету.

Образовалась уже довольно большая толпа, из которой, как из грозовой тучи, временами сверкали молнии гнева и сочувствия мне.

— Я вас заставлю повиноваться французским законам! — вскипел лейтенант. Один из ажанов подошел к телеграфному столбу, открыл ключом ящичек полицейского телефона и позвонил куда-то. Через пять минут передо мной стояла каретка полиции с решетками на окнах. Дело принимало дурной оборот. Толпа уже свистела и улюлюкала.

— Мор, сюр ля ваш! — Смерть коровам! — неслись из нее бешеные возгласы.

Ажаны были неумолимы. Сомкнутым строем они двинулись ко мне, чтобы, связав меня в случае сопротивления, засунуть в каретку и, доставив в префектуру, закатить штраф в пятьсот франков, а попутно намять мне бока — для порядка.

Я понял, что сопротивление бесполезно. Тогда я встал со скамьи, подошел к старшему из них и спокойно спросил:

— Что вам от меня угодно, мсье?

— Нам угодно, чтобы вы немедленно взяли на лэсс вашу собаку, которая гоняется в данную минуту за породистыми утками на показательном пруду.

Я пристально взглянул ему в глаза и с невозмутимостью англичанина еще раз твердо произнес:

— Я не стану этого делать!

— Почему? — в бешенстве крикнул ажан.

— Потому, что это... не моя собака!

В это утро Долли со мной действительно не было.

Толпа завыла от восторга. Меня обнимали, целовали, жали мне руки и хохотали, как сумасшедшие, пытаясь даже качать меня. Они улюлюкали вслед уходящим сконфуженным ажанам. И были в восторге. Французы умеют ценить шутку.

ОБЕД С ЧАПЛИНОМ

Когда в Париж приехал Чарли Чаплин, леди Детердинг, русская по происхождению, решила устроить ему прием у себя в апартаментах отеля «Крийон», на плас Вандом. Желая показать ему русских артистов, она пригласила к обеду тех, кто был в Париже в то время. Меня и Лифаря она посадила рядом с Чаплином. За обедом мы разговорились с ним и даже успели подружиться. Американцы сходятся очень быстро за дринком.

После обеда начались наши выступления. Лифарь танцевал, я пел, Жан Гулеско играл «Две гитары», Настя Полякова пела старые цыганские песни и «чарочки» гостям. Чаплин был в восторге. Когда стали пить шампанское, метрдотель «Крийона» мсье Альбер подал свои знаменитые наполеоновские фужеры старого венецианского стекла с коронами и наполеоновским «N» — сервиз, которым гордился отель «Крийон», личный сервиз императора, оставшийся еще с тех пор, как Наполеон останавливался в этом отеле.

Цыгане запели «чарочки». Первую они поднесли Чаплину.

Чаплин выпил бокал до дна и, к моему ужасу, разбил его об пол.

Все молчали. Через несколько минут он выпил второй бокал и тоже разбил. Метрдотеля переворачивало. Альбер сделал умоляющие глаза и подошел ко мне. На глазах у него были слезы.

— Мсье Вертинский,— шепотом сказал он,— ради Бога, скажите этому «парвеню», чтобы он не бил бокалов. Мало того что мы поставили леди Детердинг в счет по 15 тысяч франков за каждый фужер. Это сервиз исторический. Заменить его нечем.

Он искренне волновался.

Я подождал, пока Чаплин нальет вина, и когда, осушив бокал, он собирался кокнуть его об пол, я удержал его руку.

— Чарли,— спросил я,— зачем вы бьете бокалы?

Он ужасно смутился.

— Мне сказали, что это русская привычка — каждый бокал разбивать,— отвечал он.

— Если она и «русская»,— сказал я,— то, во всяком случае, дурная привычка. И в обществе она не принята. Тем более что это наполеоновский сервиз и второго нет даже в музеях.

Он извинялся и горевал как ребенок, но больше посуды не бил.

ЧЕРНАЯ ЛИХОРАДКА

Они сходятся к десяти.

Быстрые, взволнованные, решительные.

Кафе ДД, маленькое и уютное, набито ими до отказу. Но столы пусты. Они ничего не заказывают. Не до этого. Тут миллионные перспективы, а вы хотите, чтобы они чай с пирожными пили. Никогда!

— Что? Вы угощаете? В таком случае я присяду на минутку.

Он садится.

— Мылом интересуетесь?

— Нет.

— А «Кэмэл»?

— Не надо.

— Есть бюстгальтеры.

— Тоже нет.

— А виски?

— Да мне ничего не надо.

— Как это ничего? Что вам, пару тысяч заработка мешают?

— Да видите ли ...я не коммерсант.

— А вы думаете, я коммерсант? Я парикмахер. Я же вас стриг в субботу.

— Ну конечно, я помню. Вас зовут Моня.

— Вот-вот. Чем же вы интересуетесь?

— Бытом.

— Быт? Что это? Можно достать. Сколько вам надо?

— Сто ящиков.

— Подождите меня здесь. Я приведу одного человека, у него есть. Мои 15%. О'кей?

— О'кей.

Нет, лучше выйти на улицу.

— Ого, как здесь кипит, как бурлит...— говорю я.

— Суп из супников,— брезгливо острит один из приятелей.

— Почему?

— Да ты посмотри на этих парней в клетчатых голубых пиджаках с розовыми галстучками. Это же все супники.

— А что такое супники? — наивно спрашиваю я.

— Ну... Альфонсы. Их бабы содержат.

Народу здесь великое множество. Они собираются группами и парами, перекликаются через улицу, забегают в под-

воротню, подъезжают на рикшах. Неожиданно выворачиваются из-за вашей спины. И так же быстро исчезают куда-то...

— Драфт? — Головы? — Джон Хэйг? — Сколько? — Липа!

— Почему липа?

— Потому что беженцы из Хонкью делают это виски.

— Да нет! Я говорю за бисквиты. Вы же только что бисквиты предлагали?

— Это не я. У меня ножи для бритья. А что вам надо?

— У меня кремни для зажигалок. Я сам продаю.

Страшные галицийские евреи, рыжие и веснушчатые, в круглых широкополых шляпах, точно сошедшие со старых гравюр, изображающих гетто. Они задумчиво крутят свои длинные библейские пейсы и, наматывая их на пальцы, тихо журчат, собираясь кучками. «Нашим» они не верят. Они держатся особняком и делают дела только между собой. Их интересует «голд». Драфты. Переводы. Валюта. Деньги. Они торгуют только деньгами.

— Идзь до дзябла...

— Не заврачай мне гловы.

Это поляки. Польские евреи. Они говорят охотно и вежливо. Кланяясь, снимают шляпу, улыбаются. Одеты они бедно, но тщательно. Из добрых лодзинских материалов в немного длинных пиджаках, по тогдашней берлинской моде, уже изношенных, но еще полных достоинства. Их глаза горят голодным блеском, но обращаются они очень мягко.

— Извиняюсь, я слыхал, что пану требуется мыло?

— Нет, благодарю вас.

— В таком разе, может быть, коньяк?

— Нет, не надо.

— А дзыгарек пан не купит?

— Что это?

— Ну, часы по-русску.

— Нет, не надо.

— Пшепрашим!

Он отходит. А волна катится, бежит неустанно. Кого только здесь нет...

Музыканты, приказчики из бакалеек, комиссионеры пароходов, бармены из Циндао, содержатели притонов, парикмахеры, «стукачи», героинисты, чуть подлеченные вынужденным сиденьем в тюрьме, хозяева пивных, скупщики краденого, просто молодые люди, попробовавшие первых «легких» денег и уже истратившие их, уже отсидевшие сроки наказания за проданную «липу».

Португальцы, китайцы... женщины...

Да, и женщины. Тоже. Что они делают здесь?

Вон та, старая, толстая тетя Фанни. Коротко, по-мужски остриженная, она со всеми «на ты». Она продает далеко не женские вещи. Название товара не упоминается вслух, но все смеются.

— Почем?

— Только по десять дюжин,— отвечает она.— Триста си ар би.

А эти кто? Девчонки из знакомых баров. Что они здесь делают?

Я подхожу к их группе.

— Халло, Тамара. Вы чего здесь? Продаете? Покупаете?

— Да нет. Мне вчера один фрайер тут назначил свиданье. Сказал, приходи на биржу, если у меня пройдет одно дело, я тебе полкосых дам.

— А вы, Люся?

— Я одному типу морду набить пришла.

— За что?

— Взял мой браслет продать, и ни его, ни браслета.

— Гуд лак!

Веселая стайка моих молодых приятелей показывается из-за угла. Они ничего не продают. Они уже продали в свое время и уже заработали и теперь приходят сюда развлекаться.

— Дед! — кричат они мне (у нас такая игра: я — «наш великий вечно юный дед», а они — «любимые внуки»). Теперь они спрашивают:

— Ты что здесь делаешь?

— Продаю разницу.

— Какую?

— Большую.

— А маленьких нет?

— Нет.

— Это две большие разницы,— говорят они.

На углу, в грязном подъезде серого высокого дома, ничком в сырой нише лежит прокаженный. Он раздирает на себе ногтями страшные лиловые струпья и с воем ест землю. Иногда он садится и начинает собирать вшей с лохмотьев своей одежды. Набрав полную горсть, он со злобными проклятьями кидает их на проходящих мимо. Его трясет. У него черная лихорадка. Люди равнодушно проходят мимо. А он корчится, воет и долго грозит им вслед. И страшные обрубки его почернелых ног еще долго торчат, словно обгоревшие ветви деревьев после пожара.

Он кричит и кричит без конца.

Это голос Китая.

ХЛАМ

Раз в неделю, по средам, в «Ренессансе» проходили вечера ХЛАМа. Слово «ХЛАМ» означало: Художники, Литераторы, Артисты и Музыканты. Конечно, ни художников, ни артистов, ни литераторов там не бывало по той простой причине, что таковых в Шанхае просто не было. Музыкантов было немного, но они по вечерам играли в дансингах и поэтому отсутствовали. Но зато бывала та публика, которая имела какое-то отношение к тому маленькому артистическому миру, который все же был в Шанхае. Ходили маникюрши, портнихи, парикмахеры, мелкие репортеры, спекулянты и жулики.

«Душой» этих вечеров был некий Гвадалквивиров — театральный паразит, приехавший еще в 30-м году с балетной труппой в Харбин администратором и оставшийся там. Он должен был на что-то жить и поэтому был неистощим на всякие театральные затеи, от которых ему перепадали немалые деньги. Артистам он обыкновенно платил мало или совсем не платил, уговаривая сделать это «для искусства» и прельщая интересной ролью. А всю выручку кассы клал в карман.

В Шанхае было много скучающих дам, которые «пели для себя» и даже учились у кого-то «для себя», но все они горели желанием показать себя на сцене и даже готовы были заплатить за это сколько угодно. Билеты обычно распространялись «по знакомым» или раздавались бесплатно. Эдуард Иванович Гвадалквивиров «делал прессу», т. е. помещал фото будущих звезд в местных двух газетках и писал «от руки» заметки о них. Костюмы брались у старого харбинского костюмера, у которого было все что угодно. Выпускались саженные афиши, где кровавыми буквами пламенело никому не известное имя какой-нибудь жены аптекаря или зубного врача. И дело было сделано. Гастролерша месяца за два до спектакля уже ни с кем не разговаривала, показывая рукой на горло, куталась в шелковые платки и горжетки и шепотом говорила знакомым: «Пою Травиату».

Некоторые вообще переставали разговврривать и объяснялись даже с мужьями письменно. Мужья жаловались. Это было совсем неудобно и сложно в семейной жизни. И, наконец, не всегда же есть чернила и перо. И не при всех обстоятельствах. И есть такие моменты, когда просто невозможно поставить между собой и женой чернильницу.

Но... терпели.

К дню спектакля дама окончательно теряла остатки голоса и объяснялась со сцены жестами. Но зато туалеты были умопомрачающие. Что и требовалось доказать.

В газетах появлялась рецензия вроде такой: «Хорошо пела госпожа Канарик, чего нельзя сказать о декорациях».

Действительно, декорации помалкивали.

Эдуард Иванович, получив солидную сумму с мужа этой дамы и забрав все, что было в кассе, скорбно вздыхал и говорил о том, как трудно внедрять в инертную шанхайскую публику святое искусство.

В ХЛАМе местные поэты читали стихи, дамы пели цыганские романсы вроде:

Замело тебя снегом, Россия,
Запуржило седою пургой!..

Причем слово «запуржило» выпевали, сложив губы бантиком, так, что получалось «запюржило». А по-французски слово «пюрж» означает «слабительное», поэтому впечатление было особо сильное.

Редкие музыканты иногда что-то играли. Но дело было не в программе. В зале всегда находились «таланты из публики», которые, подвыпив, жаждали успеха на сцене.

Кто-то садился в оркестре за барабан и нещадно терзал уши присутствовавших. Кто-то «свистел» из «Сильвы» пронзительным воровским свистом «форточника», стоящего «на стреме», кто-то соло твнцевал «танго» времен девятьсот четырнадцатого года, когда его привезли в Россию беженцы иэ Варшавы. Словом, недостатка в исполнителях не было. Шанхайцы любили ходить в кабаре «со своей программой», как ходят в театр немцы со своими бутербродами. За вход была установлена плата, которую Эдуард Иванович клал к себе в карман «за организацию», да еще получал небольшой процент с торговли от хозяина.

Раэ в год Гвадалквивиров устраивал в большом летнем саду «Аркадия» выборы «Мисс Шанхай». Это дельце уже покрупнее. В Шанхае было много девиц, имевших богатых покровителей и жаждавших славы. Подготовку к этому событию он начинал задолго. За то, чтобы только включить девицу в конкурсную группу, он уже брал деньги, и немалые. Тут уж была сплошная «лавочка». В назначенный день сад наполнялся публикой, и на паркетный круг для танцев, посреди сада, выводили «красавиц» всех стилей, оттенков и типов. Кого только тут не было! Девушки из офисов, баров, ресторанов, балеринки, приказчицы, менекенши из «домов платья»,

кельнерши, кассирши, белошвейки, проститутки, которые на вопрос «чем вы занимаетесь?» отвечали: «Живу с человеком».

Вся эта масса девиц проходила гуськом перед сидящей вокруг публикой, блистая туалетами и прическами, неся на груди соответствующий номер, и публика, получившая при входе «талоны», должна была сдавать их «жюри», написав на них свврху номер своей избранницы. На каждого из публики полагался один талон, и часто вкус публики сходился на какой-нибудь из них. Тем не менее это не значило, что она будет избрана. Потому что «талонов» можно было купить эа деньги сколько угодно в кассе. И какой-нибудь поклонник, купив сразу их на большую сумму, добивался избрания своей «дамы» вопреки всему...

— Жулики! Арапы! Мошенники! — вопила возмущенная публика.

Девицы рыдали, сидя в уборной, а Гвадалквивирова уже не было в саду. Он незаметно «смывался» с деньгами от греха подальше.

Каждый раз его собирались бить, и каждый раз он ускользал от этого.

А на следующий год вся история повторялась снова.

ШАНХАЙ, 1941-й ГОД

Русские совсем осатанели. Все заняты спекуляцией. Очень быстро создаются целые состояния. И так же быстро тают от одной неудачной комбинации или от капризов биржи. Какой-нибудь Яша — маленький агент по распространению пива «Юби» в кабаках на Банде,— который еще вчера не имел ни гроша эа душой, сегодня покупает особняк. Он «заработал» на черной бирже! Шанхай кишит жуликами. Кто служит в контрразведках, кто «работает с японцами», кто просто шарит по карманам.

У меня два «внука». Это у нас такая игра. Я — Великий, вечно юный Дед, а они мои внуки. Старший — любимый и Младший — любимый, чтоб никого не обидеть. Оба бездельники. Шалопаи. Младший хоть на гитаре играет. А старший занимается только спортом. Оба драчуны и скандалисты и, к сожалению, самые сильные из ребят. Их все боятся, и тронуть их не решается никто. Оба красавцы. Младший — грузин. Старший — русский. Вид у них необычайно приветливый. Обаяния хоть отбавляй. Младший — шатен, у него разные глаза. Один — карий, золотой, другой — голубой, небесного цвета. Иногда это встречается у породистых кошек. Стар-

ший — такой же стройный и с такой же ослепительной улыбкой, но весь седой. Глаза у него детски голубые. Оба чу́дные парни. Если не вдумываться. Они и обожают меня, своего «Великого Деда», и ходят за мной по пятам, как борзые. Боже сохрани меня тронуть! Они просто убьют такого человека. С утра они уже у меня. Мы завтракаем в «Ренессансе». Внуки выбирают самые дорогие блюда.

— Дед, выдержишь филе с шампиньонами? — из вежливости спрашивают они. Я зову кельнершу и строго говорю:

— Две порции манной каши!

Почему-то она приносит им филе. После этого они пьют вино, потом кофе с ликером. Я задумчиво говорю:

— За эти деньги, что вы мне стоите, я бы мог угощать ежедневно двух чудных девочек 18-ти и 19-ти лет! Возможно, что какая-нибудь из них мне понравилась бы и я, быть может, женился бы на ней.

— Не надо было плодить внуков! — говорят они.

— И притом молоденькая за тебя не пойдет. Тебе уже, слава Богу...

Назвать мой возраст они не решаются. Мне еще нет пятидесяти, а им за тридцать каждому. После обеда выходим на улицу. Я люблю спать после обеда. Но на улице дождь. До моего отеля два шага. Однако огромная лужа преграждает нам путь.

— Я не пойду дальше! — заявляю я.

Посовещавшись, внуки делают из своих рук кресло, сажают меня и несут по авеню Жоффр до моего отеля. Прохожие шарахаются. Знакомые хохочут. У дверей отеля разыгрывается ежедневно одна и та же сцена:

— Дед, ты будешь дрыхнуть? Дай нам на кино.

— Не дам!

— Тебе же хуже. Мы пойдем просить милостыню и опозорим твое имя.

Прижатый к стене, я говорю:

— Я дам вам два доллара, но... как нищим!

И я бросаю на тротуар две скомканных бумажки. Они бросаются поднимать и дерутся из-за них. Вечером та же картина. Пока я работаю, т. е. пою, они сидят за моим столиком и что-нибудь пьют. Боже сохрани, если кто-нибудь не желает меня слушать. Старший, любимый, кивком головы вызовет его в коридор и убьет.

— Я пришел сюда ужинать, а не слушать песни! — говорит клиент. И он прав по-своему.

— Бери свой ужин и иди с ним в сортир,— любезно предлагает ему старший.

— А пока Дед поет, я тебе заткну глотку твоим бифштексом!

Редко кто решается продолжать этот разговор. Иногда завязывается драка. Все равно из-за чего. Они никому ничего не прощают. Зацепил ли кто-нибудь их во время танцев или нечаянно толкнул их даму — скандал. Но какой! Все летит. Столы, блюда, посуда. Потерпевший, весь в крови, уже лежит на полу. Никто и ничто не может удержать их.

Я жду, пока все кончится и они снова сядут за стол.

Если скандал затеял Младший, я строго говорю:

— За это ты на неделю останешься без сладкого.

Если виноват Старший, я говорю ему:

— Выйди сейчас же из-за стола и стань в угол!

Он покорно встает и идет в гардероб, где и становится в угол лицом к стене.

Но сердце не камень. Через две минуты я его прощаю.

— Шалопаи! Бездельники! — сержусь я. А что им делать здесь, в Шанхае? Здесь нет ни высших техникумов, ни университетов, ни школ специального назначения. В конце концов они не виноваты в том, что их родители покинули родину в свое время и они родились на чужой земле.

Это тоже надо учитывать. Они ненавидят англичан и американцев, и, если кто-нибудь при них дурно отзовется о Советском Союзе, они бьют его без предупреждения, совершенно не считаясь ни с тем, кого они бьют, ни с количеством врагов.

Меня это восхищает.

— Босяки! — ворчу я.— Скандалисты!

Но они прекрасно знают, что в душе я ими горжусь. Чу́дные парни!

«НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ»

У каждого, конечно, свои странности.

У меня их четыре.

Я ненавижу:

— сидеть в кино,

— слушать радио,

— ждать поезда

— и давать интервью.

От этих вещей меня размаривает сон.

И особенно последнее.

Но, увы, интервью неизбежны. В особенности перед концертом.

Мой интервьюер оказался простым и симпатичным человеком. Он позвонил мне по телефону и сказал:

— Послушайте! Мне надо от вас интервью брать. А у меня тут, того... свояченица замуж выходит! Да вы еще, говорят, живете где-то у черта на куличках! Знаете что? Будьте «спорт»: напишите сами. А?..

Я подумал, как Розанов в «Уединенном»:

«Принимая во внимание, что он любит мои стихи и что у него свояченица — девственница...»

Напишу сам.

Я взял карандаш и бумагу, сел перед зеркалом, чтобы лучше видеть своего собеседника, и решил начать прямо с главного.

— Александр Николаевич,— сказал я,— что вас больше всего волнует? На сцене, конечно.

Вопрос был задан очень умно и тонко.

Я сразу попался на эту удочку.

— Как вам сказать?.. На сцене,— сказал я,— мне всегда было страшно! Я думал: вот сейчас кто-то вскочит, кто-то крикнет: «Господа! Да ведь это же ложь! Это обман! Этого не бывает! О чем он поет? Любовь? Какая любовь? Сказки! К черту! Долой его!..»

И все полетит в бездну. Ноты, цветы, рояль... Все завертится... Люди, звери — все сольется в одно.

Кто-то будет топтать меня ногами и кричать:

— Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!

И сердце зазвенит и лопнет, как мыльный пузырь!

А ведь, если подумать, что такое актер? Человек, который претендует на внимание и время публики.

Он как бы говорит:

— Смотрите на меня! Слушайте меня! Покоритесь мне!

Но для того, чтобы занимать своей персоной внимание деловых, занятых и серьезных людей, надо быть неисчерпаемо интересным, значительным, многогранным.

А что мы, актеры, знаем наверное?

Ничего.

Что знает укротитель, входя в клетку со львами?

Он надеется остаться в живых!

Вот и все.

Как-то в Нью-Йорке я ехал в такси с Шаляпиным на его концерт. Зал «Карнеги» — на четыре тысячи человек — был распродан задолго. В такси мы молчали.

Перед самым театром Ф. И. обернулся ко мне:

— Послушайте,— сказал он.— А вдруг они скажут: «Чего эта старая лошадь вылезла на сцену?»

Я сразу не понял.

— Кто «они»?

— Ну публика!

Я искренне возмутился:

— Ну как вы можете говорить такие вещи, Федор Иванович? Вы — Шаляпин! Вы не имеете права так говорить о себе!

Ф. И. грустно улыбнулся:

— Подожди, они тебя еще разорвут когда-нибудь...

И я понял его. Потом. Подумав.

Но как мало актеров, понимающих это! Обычно самые большие самолюбия бывают у маленьких актеров. А у парикмахеров и еще больше.

Я помню, за кулисами перед спектаклем премьер капризничал. Парикмахеру приходилось переделывать парик несколько раз.

— Не то! — злился премьер.— Не годится! К черту! — И он швырнул парик на пол.

Парикмахер обиделся.

— Что вы мне говорите «не годится»! Что я, вчера начал работать с париками? Я, слава Богу, уже двадцать лет на болванах работаю!

Ответ был потрясающий. Премьер стал добрее...

* * *

Мы покурили. Дальше беседа не клеилась.

Чтобы помочь интервьюеру, я задал вопрос Вертинскому:

— Ну а как вам нравится наш театральный Шанхай, Александр Николаевич?

Вертинский оживился.

— О, чудный город! Я нигде не видел такого количества поющих, играющих, танцующих, взывающих и глаголющих людей, как здесь. Обратите внимание: если в ресторане, например, сидят 20 человек, то четверо из них — певцы, двое — конферансье, пятеро — танцоры или танцовщицы, а остальные — театральные критики.

— А где же публика? — спросил собеседник.

— Публика? Она приходит в кабаре уже со своей программой. Публики нет. Есть актеры. Как немцы со своими бутербродами ходят в театр.

Они сами — программа!

И актеры им не нужны.

В Шанхае все — актеры. Правда, многим в эмиграции пришлось уйти от любимого дела и заняться торговлей, коммерцией и еще чем Бог послал, но все — играли, все — «занимали положение».

Когда-то Балиев, рассердившись на своих актеров, сказал:

— Пусть уходит вся труппа! Мне не нужно актеров. Если я захочу, у меня пожарные будут играть!

— Я думаю, что если Шанхай захочет...

Он перебил меня:

— Вы говорите только о мужчинах?

— Нет, о дамах тоже. Пример? Ну вот выйдите на Жоффр в хорошую погоду:

— Моничка,— услышите вы,— как тебе нравится? Соня хочет петь «Травиату». Ну? Не нахальство? У меня же эта партия выучена наизусть! Я же могу ее во сне петь! Хоть даже без дирижера...

«И без публики»,— злобно думает Моничка, но говорит другое:

— Странно. Она мне еще за лисицы не заплатила, а уже лезет в «Лайсеум»!

А иногда разговор бывает другим.

— Вы знаете, Галочка, что надо поставить на Рождество у нас в кружке? — говорит юноша ковбойского типа.

— Что?

— «Хижину дяди Тома».

Галочка, которая играет небольшие роли, презрительно поводит плечами:

— Все равно здесь некому сыграть «Хижину».

Идея умерла.

Мой друг Копочка, который все знает задолго и наверняка, иногда таинственно говорит мне:

— Вы видите эту даму с нотами?

— Вижу.

— Как вы думаете, что она сейчас делает?

— Не знаю.

— Подкапывается под Лакме!..

Через месяц — бац: афиша!

Из проклятого актерского любопытства я иду в театр. Через 10 минут я уже вылетаю обратно. На глазах у меня слезы бешенства.

— Копочка,— говорю я.— Не хочу быть актером. Не хочу! Не хочу! Почему я не академик, не герой, не мореплаватель, не плотник? За что, за что я, несчастливый, уродился акте-

ром?! Копочка, возьмите меня из этой жизни, отдайте меня в солдаты или зубные врачи! Я не могу...

Копочка пугается:

— Только не делайте мне здесь истерику! — шипит он.— Люди слушают... Дойдет до нее! А я у ее мужа зубы лечу!

Замолкаю.

— А мне она нравится!— громко говорит он — так, чтоб все слышали. И добавляет тихо:— Ей-богу!..

— Вы паршивый неврастеник! — говорит он мне на другой день.— Вам нельзя ходить в театры! Вот читайте: газеты же ее хвалят!

Я читаю: «Хорошо пела Булкина, чего нельзя сказать о декорациях».

Действительно нельзя.

Борьба бесполезна.

А с прессой тем более. Во-первых, пресса всесильна. Меня учили, что это шестая держава. А во-вторых, им и карты в руки. Они-то знают лучше нас.

Пресса у нас, конечно, добрая, очень добрая. И внимательная к актерам. Маленькие дарования она тоже не забывает отметить.

Как-то читаю:

«Очень хорош г-н Бабушкин в роли лакея. Артист, видимо, проделал большую работу над собой».

— Копочка,— говорю я,— так это же расклейщик афиш!

— А что, по-вашему, это не работа?

Молчу.

Как-то в Ревеле я встретился с моим другом — большим критиком Петром Пильским. В это время в Ригу, которая была рядом с Ревелем, приехала Карсавина.

Рижская газета «Сегодня» заказывает Пильскому статью о ней.

— Петр,— говорю я,— что же это «Сегодня» тебя просит писать о ней? Газета большая, что у них там, написать некому, что ли?

Пильский смеется.

— Дело в том,— говорит он,— что у них там, в Риге, произошла, если так можно выразиться, «растрата эпитетов».

— Что это значит?

— Ну, понимаешь, они там на своих доморощенных балерин, на разных там Олечек и Танечек истратили все восторги, и уже о Карсавиной им сказать нечего. Слов нет. Вот они и просят меня написать!

* * *

Мы замолчали. Мой собеседник в зеркале уже зевал.

— Да...— задумчиво сказал он.— Вы действительно того... Неврастеник.

Он встал и откланялся.

— Привет свояченице! — крикнул я ему вслед.

МОИМ ЗАГРАНИЧНЫМ ДРУЗЬЯМ

Сегодня меня слушают русские люди. Многих я знал. Еще больше знали меня. Я никогда не лгал. 30 лет в эмиграции я пел о том, что Родина прежде всего. Вспомните мои «Степи молдаванские», мои «Чужие города», мое «О нас и о Родине», «Молись, кунак» и др. Я пел о Родине тогда, когда кругом были одни враги, когда если вы говорили, что в Москве хорошая погода, вас считали «большевиком», т. е. своим врагом. Я пел, и ни у кого из вас не было сил «бросить в меня камень». И сегодня вы так же слушаете меня...

В июне прошлого года, обращаясь к эмиграции и перемещенным лицам по радио, я по мере своих способностей старался нарисовать картину жизни нашей страны в военные и послевоенные годы, а попутно рассказать и о своей скромной работе. Тогда я руководствовался только одним соображением — ответить на то огромное количество писем, которые я получал и продолжаю получать сейчас со всех концов мира от наших русских людей, как знакомых, так и незнакомых.

Это мое выступление было использовано реакционной зарубежной печатью, а также теми из белоэмигрантских журналистов, которые продали свое перо, честь и совесть и стали служить врагам нашей Родины, тем самым навеки заклеймили себя как изменники и предатели.

Время от времени до меня долетают отголоски той грязной, лживой и крикливой шумихи, которую поднимают за рубежом наши враги в своих попытках оплевать и оклеветать нашу великую Советскую Социалистическую Родину.

В этих попытках они не брезгуют ничем. Все средства для них хороши, если они ведут к цели.

С этой точки зрения даже мое скромное имя используется ими как материал для гнусной антисоветской пропаганды. Так, например, за эти пять лет, что я живу в Советском Союзе, меня уже трижды «хоронили». То меня «расстреляли» на первой же станции советской при возвращении из Китая, то я «умер в концлагере» от изнурительного труда, где-то в Магадане, то «покончил с собой» в Москве, как утверждали нью-йоркские газеты.

Не далее как в прошлом году корреспондент Ассошиэйтед Пресс (Эдди Гильмор) со смехом просил меня по телефону сообщить ему подробности моей «смерти» — в ответ на запросы нью-йоркских газет.

Каждый раз мне, так называемому покойнику, приходилось кряхтя вылезать из гроба и любезно отвечать иностранным журналистам словами бессмертного Марка Твена о том, что «слухи о моей смерти несколько преувеличены». Нет, друзья мои, как себе хотите, а в дальнейшем я категорически отказываюсь хорониться. Мне положительно некогда заниматься этим.

Все это говорит о необыкновенном скудоумии и отсутствии всякой фантазии у авторов этих наивных и однообразных инсинуаций.

Так, комментируя мое первое выступление по радио, газеты американской зоны из Берлина писали, что «это поет не Вертинский, а старые пластинки, что говорил слова к эмиграции кто-то другой, а сам Вертинский, мол, голодает и торгует газетами в Москве у Моссовета».

Все было бы замечательно, если бы не одна маленькая неточность. Дело в том, что у нас в Союзе нет частной торговли. Ни газетами, ни чем-либо другим. Поэтому у нас и нет миллионеров, как, например, в Америке, где каждый гангстер обязательно начинал свою карьеру с торговли газетами. У нас для этого есть государственные киоски Союзпечати, которые и занимаются этим.

Нет, я не торгую ни газетами, ни собой, как торгуют некоторые зарубежные «патриоты» в кавычках. Я творю и пою своему народу и получаю за это такую благодарность и любовь, которой за границей не купишь ни за какие деньги. Потому что там искусство существует только для развлечения, а у нас это насущная необходимость. В этом я вижу свою миссию, а этом моя великая награда за плоды моего скромного таорчества. И так живу не я один — так жиаут все. Мы трудимся, мы «помогаем» матери по хозяйству, как любящие дети.

И сегодня, находясь на чужбине, закройте руками лицо, русские люди, и плачьте и не стесняйтесь ваших слез, так же плакал я когда-то от одного случайно произнесенного кем-либо слова «Россия», от звука русской народной песни.

Что же переменилось за это время? А случилось то, что я уже дома, а вы еще нет. Я, хорошо зная вкус того сорта хлеба, который называется «чужим», пою у себя на Родине, а вы все еще в отсутствии. У чужих людей.

История шагает огромными шагами. То, что было вчера важно и нужно, сегодня смешно и непонятно. 15 лет тому назад из Европы осенью летели ласточки в теплые страны. Неожиданная перемена погоды — буран, мороз и снег — остановила их полет в пути. В Бухаресте, Будапеште и Вене они падают обессиленные на площадях и улицах городов. И тогда сердобольные люди и их правительства распорядились собирать ласточек, отогревать и потом в особых закрытых самолетах отправили их в Италию, к солнцу и теплу.

Помню, как это радовало тогда сердца людей, как гордились мы своей гуманностью. А с тех пор утекло не так уж много воды. И вот в печах-крематориях Майданека и Освенцима взбесившиеся «покорители мира» — фашисты — сожгли миллионы живых людей. Какой жалкой и глупой детской сказкой показалась бы вам эта «история с ласточками», если бы кто-либо вспомнил о ней теперь.

Я уже говорил вам, что у меня просторная светлая квартира в центре Москвы, на улице Горького (бывшая Тверская). У меня прекрасная мебель, которую я купил на свои заработанные деньги, заработанные не спекуляцией на бирже, не эксплуатацией людей, а честным трудом актера высшей квалификации, который оплачивается очень высоко, как всякий квалифицированный труд в нашей стране. Никто не мешает нам зарабатывать сколько угодно, но только одним способом — трудом.

Я живу со всем комфортом, который может себе позволить человек. У меня есть и радио, и рефрижератор, и рояль Бехштейна, который мне подарило правительство, на котором я работаю и занимаюсь. Скоро у меня будет собственная дача.

У меня растут дети. Сейчас они еще крошки — старшей 6 лет, младшей 4 года, но я спокоен за их судьбу.

Они не будут «манекеншами» парижских «домоа мод», которые показывают иностранцам дорогие модели чужих платьев, а сами ходят в рваных чулках и голодают или продаются покупателям этих платьев, они не будут «дансинг-гёрл», или, как их называют а Америке, «такси-гёрл», т. е. «девушки такси», которые ночи напролет танцуют в барах с любыми мужчинами, купившими на них книжку «тикетов», т. е. билетов на танцы, наживая чахотку и отравляясь алкоголем. Они не будут содержанками старых банкиров и спекулянтов и не будут с юных лет мечтать о том, кому бы повыгоднее «сесть на шею» и как продать себя подороже.

Они могут быть докторами, инженерами, юристами, архитекторами, артистками, учителями, даже учеными — все зави-

сит только от собственного желания. Во всем и всегда они, как и все советские дети, получат поддержку и помощь государства...

Повторяю вам, я считаю себя абсолютно счастливым человеком. У меня есть Родина, семья и благородный любимый труд. Чего же мне еще желать?

Впервые за всю свою длинную бродячую жизнь я узнал, что такое «свой собственный угол», что такое свой честно заработанный кусок хлеба, хлеба моей Родины. Это не тот хлеб, который зарабатываешь в чужой стране, все время чувствуя себя иностранцем. Нет, это мой собственный хлеб, не тот, которым давится человек со слезами на глазах. Вот вам вкратце все о моей жизни на Родине.

Советские граждане, находящиеся еще за рубежом на положении перемещенных лиц, не верьте нашим врагам, которые стараются отравить вас ядом клеветы, лжи и ненависти к Советскому Союзу.

Верьте своему чувству патриотов, помните, что вы дети своей Великой Родины, что вы должны вернуться в свой отчий дом для того, чтобы жить и помогать своей дорогой и любимой матери.

Я не могу ответить всем, кто обращается ко мне с письмами из-за рубежа, потому что тогда мне бы пришлось бросить все и заняться только этим, но я охотно отвечу любому из тех, кого я знал лично и кто знал меня. Таким образом и эта очередная ложь наших и ваших врагов будет разоблачена.

«Русский голос», 11 августа 1949 г.

«ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ»

В прошедшем году мне пришлось интересно поработать над новым фильмом, приуроченным к 500-летнему юбилею освобождения Албании от турецкого ига,— «Скандербегом». Мы ставили этот фильм совместно с молодой албанской кинематографией, и половина актеров в нем были албанцы. Надо было хорошо изучить эпоху, быт и дух этого свободолюбивого, непокорного и смелого народа и показать его историю, не сделав ни одной ошибки. Задача была трудная, и С. Юткевич подошел к ней со всем своим опытом большого мастера и талантом художника-декоратора, который так удачно сочетается в нем с талантом режиссера. Были собраны все нужные материалы, и мы, т. е. наш коллектив, с трепетом взялись за работу. В помощь нам из Албании приехал профессор исто-

рик-искусствовед Алек Буда, с которым мы консультировались во все время работы. Отснятый по частям материал просматривал сам премьер Албании во время своих приездов в СССР, а затем во время съемок в самой Албании. Все это нас очень волновало и возлагало на нас большую ответственность. Показывать чужому народу его историю — задача нелегкая, конечно. Албания — молодая страна и в основном была страной земледельческой. Только теперь, после своего освобождения, она становится на ноги, и ее кинематография в зачаточном состоянии. Мы помогаем ее становлению, как помогаем всем дружественным нам демократическим странам. К нам из Тираны приехали молодые албанские актеры: Наим Фрашери, играющий Паля, Адевне Алибали, играющая Мамицу — сестру Скандербега, Беса Имами, играющая Донику — его жену, и другие. Мы с интересом разглядывали этих скромных и застенчивых молодых актеров и, по правде говоря, боялись за них. Хватит ли у них опыта справиться с такими ролями? Но это продолжалось недолго. Вскоре мы были очарованы непосредственностью их переживаний и какой-то особенной свежестью, которую принесли с собой эти люди гор. По вечерам в Ялте, где снималась часть этой картины, после съемок мы сидели с ними часто на берегу моря, и они пели нам песни своей родины. Песни их были грустные — остатки турецкой неволи сквозили в них, но очарованье их покоряло нас. Через месяц вся студия наша уже пела по-албански.

Мои сцены ограничивались Москвой и Ялтой, и мне не нужно было ехать в Албанию. Я расстался с ними в октябре. Съемочный коллектив уехал в Албанию. Там происходили все исторические битвы Скандербега, и вся страна принимала в них участие. Албанские композиторы предоставили нам подлинные народные песни и танцы того времени, крестьяне спускались с гор, чтобы передать нам свои подлинные народные костюмы той эпохи, хранимые как святыня в дедовских сундуках... В массовых сценах не было ни одного статиста, ни одной фигурантки. Рука гримера не прикоснулась ни к одному лицу, костюмеры не сшили ни одного костюма — все дал сам народ. В этом была большая победа С. Юткевича. Таким образом он избежал «опереточности» всех костюмных постановок. Все было подлинное. Нечего и говорить о том, что отношение правительства и всего народа было самое внимательное и искреннее. Сейчас картина 3-й месяц не сходит с экранов Албании, и отзывы о ней сверхвосторженные. Скандербега играет народный артист Грузинской ССР Акакий Хорава. Это блестящий трагический актер типа Мамонта

Дальского. Он отлил Скандербега из бронзы и подарил его Албании. И теперь люди, смотрящие на памятник Скандербегу, который стоит в столице Албании — Тиране — на площади, уже не могут отделить его от образа, созданного Хоравой.

Мне пришлось играть роль Великого Дожа Венеции, и во внешнем облике я исходил из портрета «Дож Венеции» Джиовани Беллини. Вы увидите его на экране. К сожалению, при монтаже картины роль была сильно обрезана, и лично меня это не удовлетворяет. Но материала оказалось слишком много, и весь он не вмещался в те 2 часа, которые полагаются на демонстрацию всей картины. Картина, на мой взгляд, снята безукоризненно. Выбор натуры, сама композиция кадров поражают. В цветовом плане она превосходит все до сих пор виденное мною. Оператор картины Е. Андриканис воистину показал чудеса в этой работе. Недаром наши газеты называют его «чудесным». Музыку писали албанский композитор Ческ Задея и наш Юрий Свиридов.<...>

После этой картины я уже сыграл новую роль. К юбилею А. П. Чехова мы ставили ряд его произведений, инсценированных для экрана. В числе их будет сделан полнометражный цветной фильм из его рассказа «Анна на шее». В этом фильме я играю роль губернатора-князя. Картина еще не закончена, но я уже отснялся в ней.

А сейчас я вылетаю в Киев на пробу в Киевскую киностудию. Там готовится большой фильм, приуроченный к дате воссоединения Украины с Россией,— «Богдан Хмельницкий».

Мне предлагают роль Коронного Гетмана Польши — Потоцкого. Роль мне нравится, но все зависит от того, как пройдет проба. Киноработа очень увлекает меня своим разнообразием и возможностью пробовать себя в различных образах, потому что в моем концертном искусстве мне все же тесновато. Ведь любая песня длится от 3-х до 5-ти минут, и за это время много не создашь. В песне все должно быть сжато, конкретно и коротко. А в фильме есть где развернуться в любой роли.<...>

Москва, 10 февраля 1954 г.

О СПЕКТАКЛЕ «НА ДНЕ» В ЛЕНИНГРАДСКОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ ИМ. А. С. ПУШКИНА

Недавно я смотрел «На дне» — с ленинградцами. Боже, как я не согласен с ними! Какой нажим! Какая педаль! Какое фортиссимо!

Сатин — шулер, сухой и твердый в своей работе, высушенный на огне своего опасного и напряженного ремесла, каждую минуту рискующий, где-то глубоко запрятавший свой протест,— не может и не смеет так благодушно рассуждать с видом загулявшего архиерея, которому надоело бормотать молитвы и притворяться! Он выезжает на темпераменте. Но это не убеждает или убеждает тех, кому этого достаточно. У Сатина каждое слово вынуто из-под спуда. Из глубины души, в которую он сам никогда не заглядывает и не дает никому заглянуть в нее. И это только великий маг и волшебник — «священный алкоголь» — заставляет его так говорить! Говорить **«недозволенное — самому себе»**. Каждое слово, каждое **мнение** этого человека — **сокровенно** и **несвойственно** ему в жизни, об этом **надо помнить** актеру! И что же? Вместо этого — актерский темперамент и пафос!

Барон — Фрейндлих — неубедителен, рассудочен, излишне умен! Барон — это все же какая-то **«линия в нужнике»**. Он и сентиментален, и беспомощен, и добр (увы, добр, несмотря на свои грозные выкрики по адресу Насти), и вот он идет все-таки за ней: «Пойду посмотрю, что она там». Потому что он жалеет и, может быть, даже по-своему любит Настю и, погорячившись, тут же идет на попятный.

Актер вообще играет на втором плане и поэтому не доходит до зрителя. А жаль! Татарин хорош, не бездушен. Единственный, кто держится в образе с самого начала и до конца,— это Толубеев. Он безукоризнен, хорош и точен в своем типаже загулявшего человека. Этот актер никогда не ошибается. У него блестящее, я бы сказал, чувство «шкуры» того, кого он играет, и главное — великолепное чувство меры! Как важно иногда актеру **помолчать**. Дать публике за тебя **подумать**, за тебя **поиграть**. Этого актеры не любят, а между тем это нужно. Настя говорит, как будто вколачивает свои реплики, как сваи в землю. Зачем это? Ведь она же только женщина. Слабая женщина. Ее протест — это протест слез, а не гнева! А она уходит так, как будто через пять минут она сделает революцию! Не надо этого. Неверно. Не надо этого страшного **надрыва**!

Ведь она же любит все-таки этого несчастного барона и только дразнит его, вымещая на нем свои обиды и муки!

И песня спета слишком звонко, надо тише, они уже все пьяны...

Это **мука** и **боль** поют их устами. Тихо... безнадежно... И тогда на **этом** фоне, как удар грома, звучит фраза:

— Братцы... там... на косогоре Актер... удавился!

Огромная пауза. И только после этого:

— Эх, дуррак... Песню испортил...

Вот где сила Горького.

Какой потрясающий финал!

Но этого не было...

О КИНОКАРТИНЕ РЕЖИССЕРА КРИСТИАНА-ЖАКА «КАРМЕН» (Франция)

В кино, как ни в одном из видоа искусства, необходимо совершенство. Тончайшее и глубочайшее чувство меры. Потому что аппарат — это безжалостный и, увы, абсолютно объективный свидетель всего происходящего. В картине, виденной нами сегодня, очень много «нажима». Кармен не мешало бы поменьше «вихляться» и больше задумываться над своими поступками, жестами и поведением. Это чудесная актриса, играющая Кармен, но не Кармен! Она ни на секунду не задумывается над тем, что делает. А в жизни так не бывает. Даже преступник, убивающий своего врага, в какой-то момент задумывается, прежде чем его убить. Обреченность Кармен она не выявила, ее почти физическую жажду смерти, как расплаты за большие страсти, она не показала. Это, несомненно, «клиническая» Кармен. И притом весьма поверхностная. Ее охлаждение к Дон Хозе поверхностно и внутренне не оправдано. Неясно и непонятно, почему она его разлюбила. Разочарование в предмете своей любви — неубедительно. А заметно наклеенные ресницы делают ее «примадонной». Надо было играть тише, и глубже, и проще... Притом вся картина дурно пахнет мелодрамой и театром в самом обычном смысле этого слова. Человеческих чувств в ней нет. Хозе — тоже слишком красив и статуарен. Лучше всех, пожалуй, «кривой», и то относительно.

Надо было демократизировать картину — приблизить ее к простоте, к поту, к правде. Это им не удалось. Впрочем, они и не умеют этого делать. Больше загара, пыли, пота и грязи — и меньше «кабаре».

Таково мое мнение.

МОИ ДОЧЕРИ

У меня их двое. Одной семь, другой восемь лет. Одну зовут Биби, другую Настенька. Биби родилась в Шанхае, Настя — в Москве.

В это утро они сидели в пижамках на подоконниках, считая танки, проходившие по улице Горького, и, как всегда, ссорились.

— Ты китайка противная! — говорила Настя.— Ты родилась в Шанхае!

— Ну и что из этого? — спокойно возразила Биби.— Ну и родилась...

— А я — москвичка! Я родилась в Москве.

— Ну?

— Вот тебя на Красную площадь не пустят, а я могу пойти!

— Почему?

— Потому что я москвичка, а это праздник только для москвичей!

Я нахожу, что пора вмешаться.

— Это праздник для всех трудящихся,— говорю я.

— Для всех?

— Да, для всех!

Но Биби защищается по-своему.

— Никакая ты еще не москвичка,— говорит она.

— Почему?

— Потому. Если голубь родился в конюшне, значит, он лошадь? Москвичи — это те, которые живут 800 лет в Москве.

Настя потрясена. Она считает, сколько лет ей еще надо жить, чтобы считаться москвичкой.

Я снова вмешиваюсь и разъясняю вопрос. Разговор переходит на другую тему.

— Папа,— спрашивает Настя,— а детям можно ходить с демонстрацией?

— Можно.

— С мамами или одним?

— Лучше с мамами.

— Почему?

— Ну мало чего... вдруг им чего-нибудь захочется... по надобности...

— Можно взять с собой горшочек,— задумчиво говорит она.

Бибка не пропускает случая поднять на смех эту идею.

— Что же это получится? — презрительно говорит она.— Тысячу ребят — и все с горшками? Маленькие должны сидеть дома!

— А ты?

— Я другое дело. Я — пионерка! Мне даже милиционер честь отдает.

Настя вздыхает. Она только в первом классе, и в пионеры ее пока не берут.

— Когда я буду пионеркой,— говорит она,— я даже спать буду в красном галстуке! И прежде всего я... знаешь, что сделаю?

— Что?

— Отколочу тебя!

— Пионерам нельзя драться,— замечаю я.

— Тогда я отколочу ее раньше, за полчаса до этого.

Чтобы их примирить, я спрашиваю:

— Ты стишки выучила?

— Да.

— Какие?

— Посмотри в свое окно:
Все на улицах красно.
Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.
Вся страна — и млад и стар —
Празднует свободу,
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу.

— А шар ты нам купишь? — неожиданно заканчивает она.

— Куплю.

— А новые платья нам наденут?

— Да.

— И новые банты?

— Да.

Через полчаса мы выходим на улицу. Сколько радости, смеха, улыбок, знамена, флаги, цветы в руках у молодых девушек, музыка, песни...

И я вспоминаю 1 Мая в Париже: пустые улицы, дома с закрытыми ставнями, целые кварталы, оцепленные полицией. Хмурые лица рабочих, нездоровые лица детей. И серое парижское небо...

— Папа, сегодня у всех праздник? И у немцев и у французов? — спрашивает Настя.

— У всех, кто трудится и работает,— отвечаю я.

— А что делают те, которые не работают?

— Они делают все, чтобы испортить рабочим этот праздник.

Девочки на минуту задумываются.

Нас не надо хвалить и не надо ругать. Я представляю себе нашу театральную жизнь как огромную табельную доску. Если вам понравилось что-либо в нас, подойдите и молча повесьте на гвоздик жетончик. Если нет — не делайте этого. Восхищаться, благодарить и облизывать нас не надо! Это портит нас и раздражает умнейших из нас. Мы святые и преступные, страшные в своем жестоком и непонятном познании того, что не дано другим. Нас не надо трогать руками, как не надо трогать ядовитых змей и богов!

Стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках, и, кроме всего, они должны быть впору каждому, т. е. каждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него.

Жить! Жить очень трудно!

Пока ты молод, ты не замечаешь этой трудности. Твое внимание отвлекают тысячи мелочей, тебя очаровывают всевозможные земные развлечения и «недосягаемости», тебя манят к себе планы и мечты, «побвды» — такие трудные и такие ненужные — отвлекают твое внимание от главного — от того, что ты ЖИВЕШЬ! То есть ты тратишь положенное тебе весьма ограниченное время на эти второстепенные вещи. Сколько времени мы тратим на так называемую любовь, на борьбу за свое существование, на желание достигнуть каких-то успехов, чем-то выдвинуться, обратить на себя внимание и прочее! Тут нам не до «итогов», тут мы широко и безоглядно тратим себя, свои лучшие силы, свое Божие дарование, расточаем себя, как моты и кутилы. Незаметно в этих вечных хлопотах, исканиях, победах и поражениях проходит главный кусок времени. Проходит жизнь! И когда

все это проходит, и тебе уже за 60 лет, и ты чего-то добился, а чего-то не добился; и когда уже нет сил и ты поздно спохватился, подсчитав свои ресурсы... а ты еще живешь, но уже промотался и в кармане у тебя «последние гроши»... а жить еще надо, и главное — неизвестно, сколько лет надо еще жить,— то тут встает во всей своей простоте и неумолимости вопрос: а чем жить? Ведь почти все растрачено, израсходовано... И сколько жить?

Тишина. Молчание. Никто не знает сколько. Вот тут начинаешь понимать, что ты — банкрот! Что надо жить, а жить нечем! Все уже истрачено. Самое трудное — это жить!

Просто жить!

Так, все хорошо. И номер приличен, и кровать ничего. И коньячку выпьешь, и книжка интересная под рукой... Только холодно... Мерзнут ноги, мерзнет душа — подмерзает «искусство», которого я являюсь «сеятелем».

«Сейте разумное, доброе, вечное» (Некрасов).

Нетопленые театры с полузамерзшими зрителями напоминают музей восковых фигур, которые мне поручено растопить «глаголом» своего «полупризнанного» искусства и превратить в людей. При напряженном труде (выше темпы!), при сверхдозволенной медициной затрате сил я получаю сомнительное удовольствие от удовольствия зрителей или слушателей, которые мимоходом послушали какой-то наивный бред о «красивых чувствах» и разошлись, под шумок покачивая головами и добродушно улыбаясь — есть же, мол, еще такие чудаки! — чтобы приступить опять к своим примусам, авоськам и разговорам, завистливым, злобным и мелочным. А я... получаю взамен холод номера и холод одиночества.

Таким образом мне платят «продуктами из рефрижератора» — свежезамороженной и потому безвкусной дрянью.

Океан равнодушия захлестывает меня. Чем больше живет человек, тем яснее становится ему, в какую ловушку он попал, имея неосторожность родиться!

Все неверно. Все жестоко.
Все навек обречено,—

говорит поэт Георгий Иванов.

И, увы, это так. Мы живем трудно, неустанно боремся за каждое препятствие, напрягаем все силы для преодоления сволочных мелочей, учимся, постигаем, добиваемся побед —

напрягаем свое мышление и разум до предела. И как только мы добиваемся наконец ясности мысли, силы разума и что-то начинаем уметь и знать, знать и понимать — нас приглашают на кладбище. Нас убирают, как опасных свидетелей, как агентов контрразведки, которые слишком много знают.

И другие, новые, юные, неопытные, начинают разбивать свой лоб о то, что нам уже давно известно. Такова жизнь. И нам, старым и мудрым, как змеи, остается только улыбаться и притворяться, что все хорошо, все правильно, все так, как надо... Все еще придет. Все еще будет... Чтобы не разочаровывать их, начинающих жизнь, тех, кто идет за нами.

Жизни как таковой нет! Есть только огромное жизненное пространство, на котором вы можете вышивать, как на бесконечном рулоне полотна, все что вам угодно. Вам нравится токарный станок? Влюбляйтесь в него! Говорите о нем с волнением, с восторгом, с экстазом, убеждайте себя и других, что он прекрасен! Вам нравится женщина? То же самое. Обожествляйте ее! Не думайте о ее недостатках! Вам хочется быть моряком? Океаны, синие дали... Делайтесь им! Только со всей верой в эту профессию! И т. д. И вы будете счастливы какое-то время, пока не надоест токарный станок, не обманет женщина, не очертеют море и вечная вода вокруг. Но все же вы какое-то время будете счастливы.

Жизни как таковой нет. Есть только право на нее. Бумажка, «ордер на получение жизни». Жизнь надо выдумывать, создавать. Помогать ей, бедной и беспомощной, как женщине во время родов. И тогда что-нибудь она из себя, может быть, и выдавит! Не надо на нее обижаться и говорить, что она не удалась. Это вам не удалось у нее ничего выпросить. По бедности своего воображения. Надо хотеть, дерзать и, не рассуждая, стремиться к намеченной цели. Этим вы ей помогаете. И ее последнее слово, как слово матери вашей, всегда будет за вас. Но помогает она только тем, кто стремится к чему-то. Ибо нас много, а она одна. И всем она помочь не может!

Есть люди, которым Судьба оказывает большой кредит.

— Вот вам (тебе) радости жизни, благополучие, достаток, удача, успех и пр. Пока бери, а потом сосчитаемся.

Ну, если человек оказывается недостойным этих милостей Ее — у него их отнимают. Но все же какое-то время, и часто очень длительное, он их имеет и наслаждается ими.

Мне же Судьба не дает ни гроша в кредит. За все мое кажущееся благополучие я плачу наличными. И какой ценой! Самой завышенной! Как платят ростовщику. С процентами! Я получаю только «заслуженный» отдых, только «заработанные» кровью, потом и нервами деньги и ничего даром или легко!

Вот, встав в 6 утра, машиной я мчусь на ст. Невинномысскую. Там сажусь в поезд и томлюсь в нем весь день. В 12 ночи я приезжаю в Грозный. Гостиница. Я получаю после всяких мелких формальностей довольно грязный и вонючий «люкс» с сортиром и ванной, которая не работает, причем меня предупреждают, что это номер обкома! Какая честь! Часа два я раскладываюсь, потом развешиваюсь, потом ем свой скудный ужин — редиску и яйца, купленные на станции, и, наконец, в 2 часа ночи я имею право вытянуть ноги на кровати.

Наступает покой. Да. Наступает. Но когда? После каких длительных терзаний! Я расплатился за него 24 часами!

Страшно. А другим это дается просто. Легко. Как должное. И они не лучше меня. Не благороднее. Не талантливее! А вот им дают в кредит все это...

Все прошло... Забыто...
По дороге к смерти
Путь земной так скучен,
Одинок и сер...

А. В.

Я — врач, спокойно и внимательно наблюдающий за «кроликом моей души», которому, или, вернее, на котором, время производит свои экспериментальные опыты. Мне впрыснули «эликсир времени». Я, конечно, тут ни при чем. Это принудительная вивисекция. И вот он начинает действовать. Сначала у меня пропал аппетит к жизни. Я разлюбил природу, музыку, искусство. Даже свое искусство. Потом я разлюбил людей, детей, цветы, стихи, книги, театр, многое другое. Нвконец — женщин. Это последнее, что я разлюбил. Постепенно сужается круг. Я уже очерчен мелом, как гоголевский философ Хома Брут...

«Закрой глаза! — шепчет мне внутренний голос.— Иначе погибнешь». И я закрываю их. На многое. Чтобы спастись. Чтобы жить.

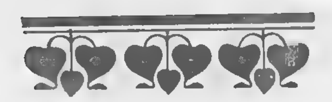
Сужается круг.

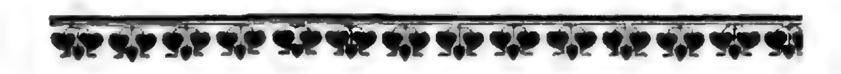
Сейчас у меня остается: дети, семья, жена, дом, немного тщеславия (я еще «игрвю в кино»), и кое-как тлеет (не горит) любовь к искусству, к актерству, к мастерству. Самое страшное — женщины — ушло из моей жизни.

Вот и все.

«Кролик», вероятно, издохнет. Едва ли он выдержит этот эксперимент. А если и выдержит, то уже не будет прежним веселым кроликом, смешившим и забавлявшим людей...

Письма





А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — Б. В. БЕЛОСТОЦКОМУ[1] (США)

Шанхай.
19 марта 1937 г.

Мой дорогой мальчик!

Очень порадовало меня твое письмо. Хорошо знать, что где-то за океаном у тебя есть друг. А их у меня очень немного. Отвечаю тебе сразу на все «больные» вопросы! Да. Я еду домой. Я удостоился высокой, до слез, чести — меня единственного из всей эмиграции Родина позвала к себе. Я не просился, не подавал никаких прошений, анкет и пр. Я получил приглашение от ВЦИКа приехать петь на Родину. Это приглашение было результатом просьбы Комсомола! Ты поймешь мое волнение — дети моей Родины позвали меня к себе! Я разревелся в кабинете посла — когда меня вызвали в консульство и объявили об этом. Этого не выдержали бы ничьи нервы! Все слова излишни. Пойми сам! Не буду тебе говорить о том, что я хожу наполненный до краев высокой и гордой радостью. Поэтому вся газетная грязь у меня вызывает только улыбку — и то добрую и благостную. Песня, о которой так много говорят, написана была 2 года тому назад в Сан-Франциско, а спел я ее только теперь. Ничего советского, конечно, в ней нет. И только кретины и подонки могут находить в ней это. Та же любовь к России, та же тоска по ней. Вот и все. Встречена она публикой бурей восторга и аплодисментов, ибо в ней я говорю, как всегда, то, что думают почти все. За исключением подлецов и идиотов. Теперь дальше. Уеду я, вероятно, осенью — не раньше. Так как у меня есть долги и я должен расплатиться с ними и многое купить и сшить себе. Поэтому я открываю здесь свое кабаре — «Гардения». К 1-му апреля надеюсь открыть. Концерты прошли с безумным успехом — в одном Шанхае я спел 20 концертов <...> Ну, конечно, я много зарабатывал и все проживал. Теперь хочу скопить денег на дорогу домой. В Америку пока не собираюсь. Приеду через 2—3 года из России. К тому времени буду уже миллионером — одни пластинки

[1] Сведений об адресате нет.

будут давать миллионы в год. Понимаешь? А какое счастье петь перед родимыми людьми! На родном языке в родной стране. А те, кто меня порицает, завидуют мне в душе и многое бы дали, чтобы быть на моем месте! Но мне высоко безразлично. Повторяю, это высокая честь и счастье, и это Господь меня наградил! За мои скитанья и униженья в эмиграции и за мою любовь к людям. 17 лет я напоминал эмигрантам, что у них есть Родина. 17 лет я будил в их сердцах чувство, которое у многих заснуло,— любовь к Родине. Теперь — в России — я вижу свою миссию в том, чтобы, рассказав там о страданиях эмиграции, помирить Родину с ней! И все камни, летящие в меня, я принимаю с улыбкой. Я вижу сквозь время. Я гляжу далеко вперед и верю в час, когда мы все вернемся. Вот тогда многим будет стыдно. О тебе, мой дорогой Боринька, я думаю очень часто и больше всех хотел бы видеть и тебя в Москве. Все, что будет в моих силах, я сделаю в Москве, чтобы вернуть на Родину двух людей — тебя и Ивана Мозжухина. Пиши мне, держи в курсе. Целую тебя крепко, мой дорогой друг. Поцелуй от меня всех моих друзей. Скажи, что я их люблю и помню. <...> Да хранит тебя Бог.

Твой Шура

1937—38 г.
Шанхай.

ПУСТЬ «ОН» СОШЬЕТ СЕБЕ ТОГУ ИЗ МОЕГО КОСТЮМА ПЬЕРО

Письмо в редакцию

М. г.г. Редактор!

Не откажите в любезности поместить на страницах вашей единственной приличной газеты в Шанхае эти несколько строк.

В данное время я нахожусь в Циндао, сюда редко и нерегулярно доходят газеты. Тем не менее из разрозненных номеров этих газет я понял, что в Шанхае, так сказать,

«делят мои ризы».

Ризы, правду сказать, не пышные...

Да и что может быть у меня, актера? Костюм Пьеро...

Фражетовые портсигары — «от благородной публики»...

И фотографии...

Реквизит, как видите, театральный и небогатый.

Не думаю, чтобы этот «адвокат от «Иверской», который

преследует меня уже 2 года за неимением лучших дел в своей практике, что-нибудь выиграл от этого аукциона.

Но здесь, очевидно, преследовалась другая цель — вымазать дегтем ворота.

Иначе никак нельзя объяснить эти грязные анонсы в этих грязных газетах.

Ну что же, пусть!..

Оттого, что собака напачкает на памятник Пушкина — качество «Евгения Онегина» не изменится.

Не правда ли?

Да и что могу сказать я после того, как поступили эти «издания» с покойным Шаляпиным...

Уж если ему ворота мазали, то мне удивляться нечего.

Но в интересах, так сказать, «истины» я хочу объяснить, за что с меня взыскивают деньги.

Как вам известно, 2 года тому назад я открыл в компании с другими лицами кабаре «Гардения». Мало зная Шанхай, я попал на такой штат «сотрудников», который в очень короткое время разворовал мое дело, что называется, «до нитки».

Несмотря на блестящие дела, я легко запутался, и был объявлен банкротом. Мои компаньоны благополучно отвязались от этих обязательств, как более опытные люди, а я, как человек мало коммерческий, остался отвечать один за всех.

Надо отдать справедливость моим кредиторам: узнав, что у меня ничего нет (кроме костюма Пьеро), они оставили меня в покое, и только один «ходатай по делам» увязался, так сказать, вплотную.

Лично ему я, разумеется, ничего не должен и даже в глаза его не видал, но, очевидно, он «по дешевке» купил какой-нибудь из моих «вышеуказанных в тираже» чеков и вот развлекается, развлекая в то же время немногочисленную публику объявлениями и заметками подобного сорта.

Конечно, ни одна уважающая себя газета не поместила бы подобного объявления.

Но чего можно требовать от этих изданий?

Я посмеялся, и тем дело кончилось.

Если бы у великого Кина продали с аукциона костюм Гамлета, то это была бы история — история театра.

А если... у Вертинского продают костюм Пьеро — то это маленькая грязная шанхайская история.

Ну что же, костюм мне не нужен, я из него вырос.

Пусть этот «ходатай от «Иверской» сошьет себе из него адвокатскую тогу.

Посмейтесь же и вы со мной, господин редактор!

Александр Вертинский.

ВЕРТИНСКОГО костюм ПЬЕРО,
серебр. портсигары и другие вещи
будут продаваться с аукциона по приказу Исполнительного отд.
местного суда 2-го Особого района Шанхая.
Аукцион состоится 10-го августа
в 9 час. утра. во дворе суда-59.
Участие в аукционе свободно для всех.
05875

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — В. М. МОЛОТОВУ

Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович.

Я знаю, какую смелость беру на себя, обращаясь к Вам в такой момент, когда на Вас возложена такая непомерная тяжесть — такая огромная и ответственная работа, в момент, когда наша Родина напрягает все свои силы в борьбе. Но я верю, что в Вашем сердце большого государственного человека и друга народа найдется место всякому горю и, может быть, моему тоже.

Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция — большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь — самое ужасное.

Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхчеловеческий труд, свои жизни и свои последние сбережения.

Я же прошу Вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно, и, если нужно, свою жизнь — моей Родине.

Я артист. Мне 50 с лишним лет, я еще вполне владею всеми своими данными, и мое творчество еще может дать много. Раньше меня обвиняли в упаднических настроениях моих песен, но я всегда был только зеркалом и микрофоном своей эпохи. И если мои песни и были таковыми, то в этом вина не моя, а предреволюционной эпохи затишья, разложения и упадка. Давно уже мои песни стали иными.

Теперешнее героическое время вдохновляет меня на новые, более сильные песни. В этом отношении я уже кое-что сделал, и эти новые песни, как говорят об этом эдешние советские люди, уже эвучат иначе.

Разрешите мне вернуться домой. Я — советский гражданин. Я работаю, кроме своей профессии, в советской газете Шанхая «Новая жиэнь» — пишу мемуары о своих встречах в эмиграции. Книга почти готова. ТАСС хочет ее издать. У меня жена и мать жены. Я не могу их бросать здесь и поэтому прошу за всех троих:

1. Я сам — Александр Вертинский.

2. Жена моя — грузинка Лидия Владимировна, 20 лет.

3. И мать ее — Лидия Павловна Циргвава, 45 лет.

Вот все. Разбивать семью было бы очень тяжело.

Пустите нас домой.

Я еще буду полезен Родине. Помогите мне, Вячеслав Михайлович. Я пишу из Китая. Мой адрес знают в посольстве в Токио и в консульстве в Шанхае.

Заранее глубоко благодарю Вас.

Надеюсь на Ваш ответ.

Шанхай,
7 марта 1943 г.

А. Вертинский

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — ЗАМ. МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ С. В. КАФТАНОВУ

Дорогой Сергей Васильевич!

Если у Вас хватит времени и терпения прочесть это письмо, то посмотрите на него, как на своего рода «курьез».

Лет через 30—40, я уверен в этом, когда меня и мое «творчество» вытащат из «подвалов забвения» и начнут во мне копаться, как копаются сейчас в творчестве таких дилетантов русского романса, как Гурилев, Варламов и Донауров, это письмо, если оно сохранится, будет иметь свое значение и, быть может, позабавит радиослушателей какого-либо тысяча девятьсот... затертого года!

Почему я пишу его? Почему я обращаюсь к Вам? Не знаю. К Вам оно меньше всего надлежит, если говорить официально.

Но... я не вижу никого, к кому бы я мог обратиться с моими вопросами, и не верю в человечность, внимatель-

ность, чуткость ни одного из ваших «больших» людей, потому что они слишком заняты другими, более важными государственными делами и их секретари никогда не положат на их стол мое письмо и вообще не допустят меня до них. Щадя время, учитывая их занятость и еще потому, что эти большие люди за 13 лет, что я нахожусь в Союзе, ни разу не удосужились меня послушать!

Где-то там... наверху все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране. Газетчики и журналисты говорят «нет сигнала». Вероятно, его и не будет.

А между тем я есть! И очень «есть»! Меня любит народ! (Простите мне эту смелость.) 13 лет на меня нельзя достать билета!

Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну. Я пел везде — и на Сахалине, и в Средней Азии, и в Заполярье, и в Сибири, и на Урале, и в Донбассе, не говоря уже о центрах. Я заканчиваю уже третью тысячу концертов. В рудниках, на шахтах, где из-под земли вылезают черные, пропитанные углем люди, ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие, жмут мне руку и говорят: «Спасибо, что Вы приехали! Мы отдохнули сегодня на Вашем концерте. Вы открыли нам форточку в какой-то иной мир — мир романтики, поэзии, мир, может быть, снов и иллюзий, но это мир, в который стремится душа каждого человека! И которого у нас нет (пока)».

Все это дает мне право думать, что мое творчество, пусть даже и не очень «советское», нужно кому-то и, может быть, необходимо. А мне уже 68-й год! Я на закате. Выражаясь языком музыкантов, я иду «на коду». Сколько мне осталось жить? Не знаю, может быть, три-четыре года, может быть, меньше. Не пора ли уже посчитаться с той огромной любовью народа ко мне, которая, собственно, и держит меня, как поплавок, на поверхности и не дает утонуть?

Все это мучает меня. Я не тщеславен. У меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего добавить не может.

Но я русский человек! И советский человек. И я хочу одного — стать советским актером. Для этого я и вернулся на Родину. Ясно, не прввда ли? Вот и я хочу задать Вам ряд вопросов:

1. Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я?

2. Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Бернеса, Утесова выше моих по содержанию и качеству?

3. Почему нет моих нот, моих стихов?

4. Почему за 13 лет нет ни одной рецензии на мои концерты? Сигнала нет? Я получаю тысячи писем, где меня спрашивают обо всем этом. Я молчу.

В декабре исполняется 40 лет моей театральной деятельности. И никто этого не знает. Верьте мне — мне не нужно ничего. Я уже ко всему остыл и высоко равнодушен.

Но странно и неприлично знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей Родине! До сих пор за границей моих пластинок выпускают около миллиона в год, а здесь из-под полы все еще продают меня на базарах «по блату»! <...>

Мне горько все это. Я, собственно, ничего у Вас не прошу. Я просто рассказываю Вам об этом. <...> Потому что Вы интересуетесь искусством и любите, по-видимому, его <...>

Как стыдно ходить и просить, и напоминать о себе... А годы идут. Сейчас я еще мастер. Я еще могу! Но скоро я брошу все и уйду из театральной жизни... и будет поздно. И у меня останется горький осадок. Меня любил народ и не заметили его правители!

Примите мой привет и мое глубокое доверие к Вам, как к настоящему советскому человеку, и прошу помнить, что это письмо Вас ни к чему не обязывает.

1956 г. *Ваш Александр Вертинский*

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — К. П. ЛИСОВСКОМУ

Москва
5 октября 1955 г.

Милый дружище Казимир!

Совершенно случайно на три дня попал в Москву. Меня отпустили на праздники. Закончив гастрольную поездку, я улетел в Киев, пробыл всего неделю дома. С 25-го октября снимаюсь в Киеве в двух картинах: «Костер бессмертия» и «Фата-Моргана». До конца ноября я — в их плену. (Между прочим, часть натуры снимаем в Сухуми.) С 1-го декабря у меня Рига и Ленинград. Потом январь — концерты в Москве, а дальше — Средняя Азия. Вот вам план моей работы. Устаю. Злюсь. Часто мерзну в нетопленых театрах. Никаких радостей, ни творческих, ни собачьих, кроме кол-

басы, которой нас кормят на студии. Она-то именно и называется «собачья радость» и действует в духе ваших внуковских бутербродов.

У меня к вам вопрос: улетая в Арктику, вы надели шляпу и хотя бы пыльник? Или приехали туда, как в Москву?

Ваши фото лучше бы я не видел. На них какой-то злой, усталый старик. Меня надо долго и «любовно» ретушировать, прежде чем показывать мне.

Супруга моя сдала диплом на «отлично». Ее очень хвалили за вкус, которого «нет у наших талантливых художников», как выразился один из критиков. «Новеллы» лежат и чего-то ждут. Писать некогда. Здоровье обычное, но нервы никуда не годятся. Спасаюсь коньяком. Коты на даче растут и дичают. Нам починили крышу и грозятся сделать ремонт. Поздравляю вас и жену с праздником.

Ваш А. Вертинский

Ставрополь,
3 июня 1956 г.

Дорогой дружище Казимир!

Отдохнув в Москве ровно десять дней, я снова ринулся в турне по Сев. Кавказу. Это, конечно, намного легче, чем ваша Сибирь, но тоже «не подарок»! Погода тут стоит ужасная. Дождь хлещет с утра до ночи. И всю ночь тоже. Успех у меня обычный. Но холод собачий! Удобств никаких. Спел Минводы. Теперь — Ставрополь, Грозный, Краснодар, а дальше, возможно, Ялта. И — конец. В Москву, в отпуск. Я взял в поездку летние вещи в надежде на «жаркий июнь», а теперь замерзаю. Мы все часто вспоминаем тебя и Дашу и твои «банкеты с пельменями». И без оных. Очень беспокоимся: зажили ли уже на твоем «высоком челе» следы Дашиных кошачьих бархатных лапок? Надеемся, что зажили и ты снова бродишь по городу с высоко поднятой головой, как и подобает настоящему поэту. И твои друзья, позвонив тебе в квартиру, снова спрашивают:

Здесь живет звезда поэтов,
Ослепительный Фирдуси?

(Кедрин)

В мире — ничего нового, если не считать «вспышек на солнце» и предполагаемых вспышек Дашиного темперамента! Брохес[1] жаднеет с каждым днем и пил в Кисловодске нарзан

---

[1] *Брохес, Михаил Борисович* — аккомпаниатор А. Вертинского.

от жадности — потому что бесплатно. Абрам[1] — обижается и уже совершенно перестал понимать шутки. Как грузин. Я — еле скриплю. Мотаюсь по размытым дорогам Кавказа. Неохотно пою и пью коньяк после концертов. Закончу, вероятно, Ялтой. Может, там будет теплее. 29-го июня буду в Москве. Доченьки уже на даче. <...>

Как же ты живешь, Казимир? Куда думаешь деваться летом? Как сын? Если захочешь ответить на письмо, то пиши на Москву, иначе меня трудно поймать в этих проездных городах. По радио говорят, что у вас там тепло? Завидую тебе. А я мерзну, как цуцик. Посылаю тебе карточку. Снялся в Кисловодске. Одну — сольную и другую — со своими рабами. Ничего интересного.

А где-то есть в большом и светлом мире
Иная жизнь. И теплые края...
А я живу в нетопленом сортире...

«окруженный постоянными заботами нашей родной партии и правительства», как пишут в газетах.

Ну, пока. Бодрись! Мужайся! Сопротивляйся, елико возможно!

Пиши побольше. И не дозволяй Дарье портить твою благородную вывеску!

Целую. Жму руку.

Даше — привет.

Твой

А. Вертинский

9-го ноября 1956 г.

Дорогой друг!

Вот только что позвонил почтальон и принес твою милую книжку в скромной голубовато-серой обложке — и я получил мешок голубых драгоценных камней, чистых, радостных, сверкающих и... увы, никому в этой проклятой действительности не нужных, бесценных и бесполезных, как и все искусство вообще. И я вспомнил Георгия Иванова:

Даже больше... Кому это надо —
Просиять сквозь осеннюю мглу?
И деревья заглохшего сада
Широко шелестят:
«Никому».

---

[1] *Абрам* — в турне 1956 г. по Северному Кавказу администратор А. Вертинского. Фамилия не установлена.

Я читаю твою книжку понемножку. Стихи нельзя читать сразу, много. И меня бесит, что ты еще веришь во всю эту чушь! Впрочем, иначе их бы не напечатали! Ты растрачиваешь свое большое дарование на воспевание казенных земель и безрадостных событий. Какие-то звенки!.. Убогие радости... И даже не радости, а прозябанье. Оторвись! Пошли к <...> всю эту демагогию. Подумай о том, что ты поэт. И поэт настоящий! Пой бесцельно! Полным голосом о том, что тебе хочется, а не о том, что «нужно».

Они уже <...> со своими «идеалами» и сами не знают, куда им повернуть! Недавно мне попала в руки неизданная поэма Ахматовой «Поэма без героя», написанная еще в Ташкенте, в 42-м году. Знаешь, как она говорит о поэте:

Существо это странного нра́ва...
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла...
А несет по цветущим верескам
По пустыням,— свое торжество.
И ни в чем не повинен. Ни в этом,
И ни в том и ни в третьем... Поэтам
Вообще не пристали грехи!
Проплясать пред Ковчегом Завета
Или сгинуть...
Да, впрочем, об этом
Лучше них рассказали стихи!

Вот тебе — дорога!

Пиши! Ты же можешь. Брось свои Игарки и Курейки. И пой — полным голосом. Не подумай, дорогой, что это — рецензия. Книжку я еще не прочел и говорю не о ней. Те десять страниц, которые я прочитал, уже зацепили меня такими строками, как:

Казалось, что, плутая, колеся,
Рванулась, тронулась в места глухие
Вся — голая, вся — нищенская, вся
Бездомная, бездольная Россия...

И мне еще предстоит много находок в твоей книжке, много радостей... Но... помни мои заветы! Я ведь гляжу через года. В века!.. Я что-то знаю. И пока еще ни в чем не ошибся!

Целую тебя. Желаю хороших праздников в твоем сером, но милом городе. Привет «кровожадной» повелительнице

твоей. Привет сыну. Я уезжаю 14-го в Тбилиси. Написал изумительный сценарий «Дым без Отечества». Скоро начну сниматься в фильме «Олеко Дундич». В ночь под Новый год вернусь домой и больше не буду петь пока.

Твой А. Вертинский

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — В. О. ТОПОРКОВУ

5 ноября 1949 г.

Дорогой Василий Осипович!

Смотрел спектакль и хочу выразить Вам свое восхищение и благодарность за приглашение. Образ композитора Вы создаете верный, советский и подлинно трогательный. Особенно сильное впечатление производит эта сдержанность обиженного человека, эта внутренняя борьба с самим собой. Сцена с танкистами и Ваш уход — просто великолепны. Это, конечно, самое сильное место в роли. А главное, что это советский человек. Вам это удалось необыкновенно. Я получил искренне полное удовлетворение от Вашего творчества. Да иначе и быть не могло. Вы необычайно одаренный актер, да еще и умница. Аплодирую Вам от всей души!

Ваш А. Вертинский

Москва
10 апреля 1953 г.

Дорогой Василий Осипович!

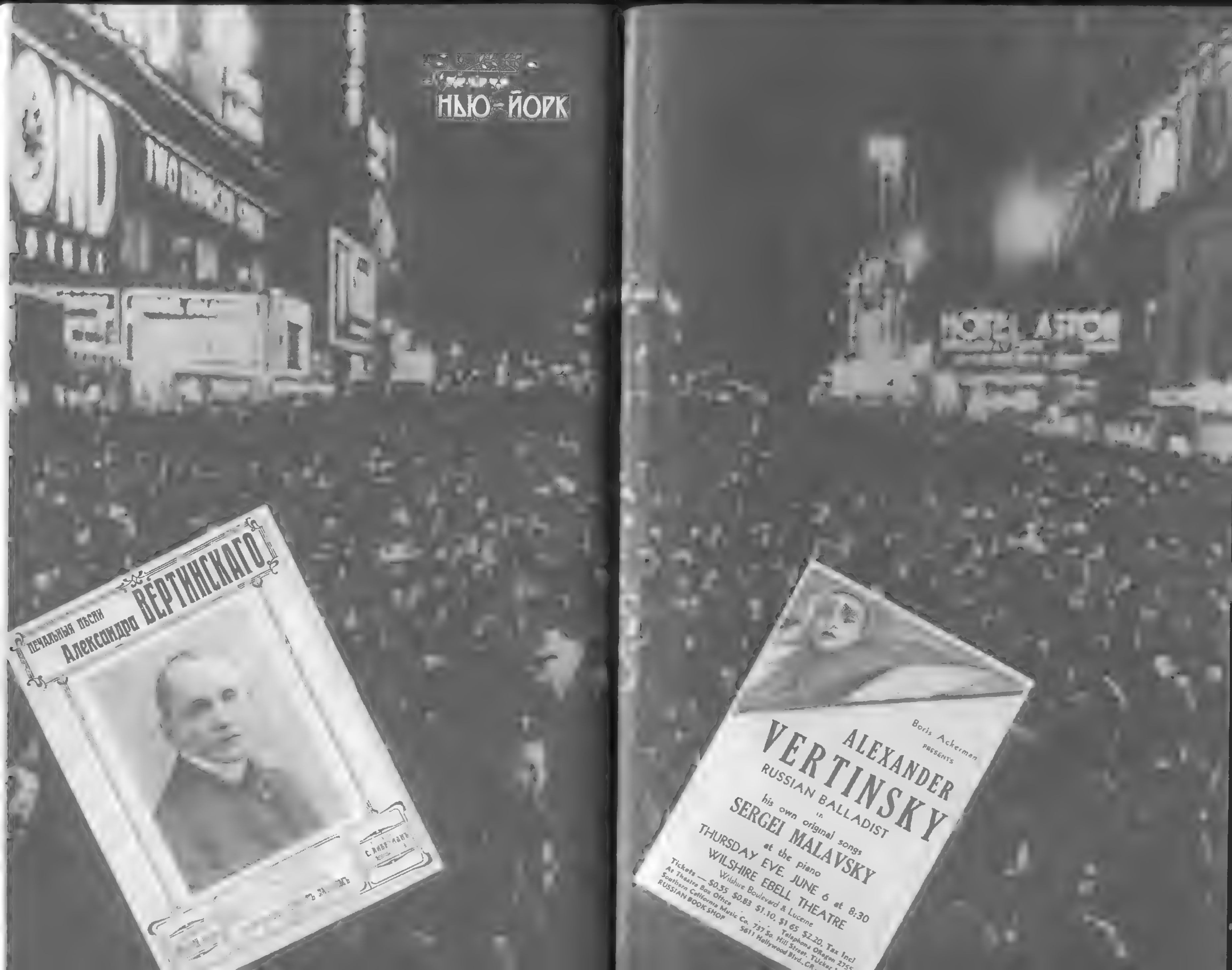
Посмотрите, какой шедевр отыскал я в книге Антокольского. Называется он «Гамлет» и предельно отвечает моим, а может быть, и Вашим настроениям творческим. Посылаю Вам его. Хотя, может быть, Вы его уже знаете? <...>

Москва.
13 апреля 53 г.

Дорогой друг!

Посылаю Вам еще немного стихов. Мы ведь с Вами как антиквары... Любим редкости. Шлю два стихотв[орения] Антокольского и одно написанное в Ленинграде в день смерти Блока его другом, о кот. мало кто знает,— поэтом В. Зорген-

НЬЮ-ЙОРК


НЬЮ-ЙОРК
ПЕЧАЛЬНЫЯ ПѢСНИ
Александра ВЕРТИНСКАГО
Boris Ackerman
PRESENTS
ALEXANDER
VERTINSKY
RUSSIAN BALLADIST
in
his own original songs
SERGEI MALAVSKY
at the piano
THURSDAY EVE. JUNE 6 at 8:30
WILSHIRE EBELL THEATRE
Wilshire Boulevard & Lucerne
Tickets — $0.55 $0.83 $1.10, $1.65 $2.20, Tax Incl
At Theatre Box Office
Southern California Music Co. 737 So. Hill Street.
RUSSIAN BOOK SHOP
5611 Hollywood Blvd.,

САН-ФРАНЦИСКО

Я жених неприходящей
прекрасной невесты
Я бледный томящийся урод
с. [illegible]

[illegible]

CONFIDENCE
·BAR·
RESTAURANT
7up
VAT 69
HONG YUEN
12

ПРАГА

ШАНХАЙ

ПОПУЛЯРНЫЯ ПѢСЕНКИ ВЪ
Вертинскаго

фреем. Сейчас, если не поленюсь, запишу Вам еще одно. Это почти предсмертное стихотворение Осипа Мандельштама.

Наслаждайтесь.

Я скоро уезжаю в поездку месяца на три. Раньше лета не увидимся.

Жму Вашу руку. Привет супруге.

Ваш

А. Вертинский

<Без даты>

Дорогой Василий Осипович!

По уже установившейся традиции и влечению сердца посылвю Вам свое последнее стихотворение. Как Вы его найдете? Черкните два слова.

Привет.

Ваш дружески

А. Вертинский

20 ноября 1953 г.

Дорогой друг!

Все зто время я думал о Вас. Как Вы справляетесь с Вашим горем? Вероятно, уже играете? «Пашете своего Шекспира»? Даже на горе нам отпущено очень немного времени! А дальше... надо... одеваться и гримироваться...

Тащитесь, траурные клячи...
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!
Блок

Бюллетень — кончился...
Надо опять приниматься за старое.
Пахать своего Шекспира...
Хорошо сказано у Гумилева:

Все мы— святые и воры...
Из алтаря и острога...
Все мы смешные актеры
В театре Господа Бога!..

Ну что ж, будем жить и работать!

А. Вертинский

<Без даты>

Дорогой друг!

Посылаю Вам три моих стихотворения и одно стихотворение Блока в надежде, что Вы его не знаете.

Стихи очень помогают жить. В них отыскиваешь свои мысли и чувства, и уже делается лвгче от сознания того, что кого-то мучили те же муки, что и тебя.

В крайнем случае — они, может быть, развлекут Вас.

Привет и спасибо за милый вечер.

Ваш

А. Вертинский

Москва.
18 ноября 1954 г.

Дорогой друг!

Во-первых, спасибо Вам за встречу с Вашей молодежью. Это сильно освежает... Они у Вас любопытные, как воробьи, и веселые, как котята! Меня это немножко встряхнуло. Обязательно спою им в январе.

Посылаю Вам последний «опус»... Стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные, смелые и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках и, кроме всего, они должны быть впору каждому, т. е. квждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него!

Желаю Вам творческих успехов... и уезжаю... «утопая в сиянье голубого дня»!..

А. Вертинский

P. S. Но большой вопрос — отвечвют ли эти стихи моей теории?

17 фееравя 1956 г.

Дорогой друг Василий Осипович!

Давненько мы с Вами не виделись. Последний раз видел Вас на моем концерте в ЦДРИ, но вы не зашли ко мне за кулисы.

Я немного болею. Скоро должен ехать в Ср[еднюю] Азию на 2—3 месяца. Вероятно, раньше лета и не увидимся. Я за это время сыграл две картины в Киеве, спел 15 конц[ертов] в Ленинграде и 12 — в Москве. И все. Больше ничего нового в моей жизни не случилось. Откопал в старом журнале вели-

колепное стихотворение Иннокентия Анненского «Петербург». Посылаю его Вам. Вот как раньше писали! И другой «Петербург» — Мандельштама. Оба стихотворения похожи на засохшие венки со старого кладбища. Венки из бессмертников.

Позавчера была художественная выставка дипломных работ в Академии художеств (ул. Кропоткина). Моя Лилька выставила там свою дипломную работу Суриковского инст[итут]а — «Тристан и Изольда». Об этой работе Ефанов[1] сказал так: «У нас много талантливых художников, но, к сожалению, у них мало вкуса. В лице Вертинской мы выпускаем художника с большим настоящим вкусом». То же сказали и др[угие]. К сожалению, применить свои знания и способности не так-то просто у нас. Я был бы Вам глубоко благодарен, если бы Вы посмотрели ее работы. Они висят в главном зале и есть в каталоге выставки. Если будет время — взгляните, дорогой. Ваше мнение нам обоим очень дорого.

Шлю Вам горячий привет, который прошу разделить с Вашей очаровательной супругой.

А. Вертинский

20 февраля 1956 г.

Так Вы больны, дорогой? Что же не позвонили? Я бы навестил Вас. А я тоже болен. Уже две недели. Острое желудочное заболевание. Глааное, что я никогда обычно не болею ничем. Вероятно, это уже к старости. Спасибо Вам за дружеское письмо и за поддержку Лили. Она Вас благодарит и целует. Посылаю Вам еще стихов, чтобы Вы не скучали. Отвечать не нужно. Вам, вероятно, трудно писать с больным глазом. Даст Бог, это пройдет. Поправляйтесь скорве. Мы не должны болеть... Мы нужны народу! А Вы — особенно. Привет Ларисе Мамонтовне. Она Вас выходит.

Крепко Вас целую.

Ваш *А. Вертинский*

3 ноября 1956 г.

Дорогой Василий Осипович!

Спасибо. Стихи действительно хорошие и оригинальные. Но мало. А я вот отыскал книжку одного изумительного поэта, кот[орый], к сожаленью, уже успел умереть. Его заре-

1 *В. П. Ефанов* — художник, профессор Суриковского института.

зали где-то на даче под Москвой. Недавно о нем была восторженная статья в «Культуре», но книжки его пока не переиздают. А жаль. Поэт он настоящий! Это — Дмитрий Кедрин. Посылаю Вам его «Зодчие». У него есть еще много хороших стихов. Но его — уже нет! Что же Вы не пишете, как Вам понравились изумительные строки Ахматовой из «Поэмы без Героя»? Она не издана. И я имею ее в рукописи.

Шлю привет Ларисе Мамонтовне и пожелания веселых праздников Вам обоим.

А. Вертинский

ПИСЬМА А. Н. ВЕРТИНСКОГО С. И. ЮТКЕВИЧУ

8 дек. 52.

Дорогой Сергей Осипович!

Я ужасно соскучился по нашей группе. Очень трудно отрываться от работы, которая тебе приятна и увлекательна. Поэтому я влачу жалкое существование. В моем «учреждении» (Гастрольбюро) меня ждали неприятности, приготовленные нашим «вождем» — Сулханишвили. Так сказать, «нож в спину»... И теперь я занят распутыванием этой пакости. Как всегда, победа останется, по-видимому, за мной, потому что на моей стороне правда и потому что «наверху» у нас сидят честные и умные люди. Но здоровья это стоит много. Как же Вы работаете, дорогой? Как погода? Не подводит ли она вас? И много ли сняли? Когда думаете вернуться в Москву? Я в день приезда позвонил Елене Михайловне[1], передал ей Ваши приветы и письмо. Она мне сказала, что Албания утвердила Хораву — я тогда еще не знал этого. За это время я видел интересную картину в Доме кино — «Пармскую обитель» и слушал перед этим Жоржа Садуля, который говорил о трудностях французской кинематографии и о том, что поэтому они ставят только... сто картин в год! А мы почему-то десять — на такую страну, как наша! Картина чудесная и снята операторски изумительно, с такой глубиной и чистотой! А какие актеры! Там один играет короля — можно с ума сойти! И, между прочим, руки у него — главное! Есть слухи, что Б.[2] уходит и на его место будет назначен Ильичев. На место «погоревших» картин включили «Овода», и уже все подмигивают мне. Но с меня

---

[1] *Е. М. Ильющенко* — жена С. И. Юткевича.
[2] *И. Г. Большаков* — министр кинематографии.

довольно кардиналов. Я не хочу повторяться, и притом — почему они решили, что я больше ничего играть не могу? Погода у нас крепкая — мороз и много снегу. Я думаю, у Вас там тоже не жарко. До свиданья, дорогой. Передайте привет Жене Андриканису <...>. Желаю Вам «ни пуха, ни пера»... как полагается. Приезжайте, хоть Новый год встречать будем вместе.

Жму Вашу руку.

А. Вертинский

14 дек. 52.

Дорогой Сергей Осипович!

Сегодня разговаривал по телефону с нашей милой Джаннет и узнал, что приехал Бубнов[1], что она еще с ним не разговаривала и ничего не знает, что мой материал смотрели на «Мосфильме» Кузаков, Фролов [2] и еще кто-то (забыл). И что им он очень понравился. Выяснилось, что в моем первом плане лезет парик и что его, по-видимому, придется переснимать. Но это нетрудно. Что Бубнов привез материал, но... еще никто не видел. Джаннет говорит, что Вы там пробудете до 10-го января. Бедненький! Значит, Новый год будете встречать в этой холодной Ялте, вдали от всего света и от семьи! Сочувствую Вам! Там есть традиционные молочницы, с кот[орыми] встречают Новый год все забытые Богом актеры «Мосфильма»! Вероятно, Вам придется с ними встречать.

Калатозов сдал «Дзержинского» — якобы очень удачно. Худсовет «Мосфильма» доволен. Здесь ходят слухи, что Ленинграду и главным образом Файнциммеру[3] отдают «Овод» для постановки, но пока еще он (сценарий) в работе. Сценарий только делается. Я, конечно, трепещу, замирая с присущей мне интуицией и самомненьем, считая, что кардинала Монтанелли должен играть я и никто другой. Но это, конечно, еще большой вопрос, хотя все актеры уже считают это чуть ли не свершившимся фактом. Позвонил сейчас Елене Михайловне, хотел спросить у нее новости о Вас. Но дома нет. По-видимому, она еще в театре. Сейчас только 10 1/2 час. вечера. В ночь под Новый год всей душой буду с Вами. Подыму бокал за нашу картину. И Вы там поднимите! Все будет хорошо.

---

1 *Н. Бубнов* — актер, участник съемочной группы фильма С. Юткевича «Великий воин Албании Скандербег».

2 *Кузаков, Фролов* — лица, представлявшие на просмотре руководство кинематографией.

3 *Александр Михайлович Файнциммер* — кинорежиссер.

Я верю и в Вас и в Албанию! Уррра! Нас еще наградят албанскими орденами. Вот только трудно с Хоравой! Но и это пройдет! Жму Вашу руку. Весь с Вами и с моими боевыми товарищами очень одинокий и скучающий

А. Вертинский

9 янв. 53 г.

Дорогой Сергей Осипович!

Пишу Вам это, вероятно, последнее письмо, потому что ощущаю непреодолимую потребность общения с Вами — режиссером и создателем моей картины, которая в данное время является единственным светлым пятном на фоне моих неурядиц и огорчений. В сущности, у меня ничего нет. По линии моего искусства — одни неприятности. Единственный громоотвод — это работа по фильму. Она — как форточка, открытая в душной комнате,— дает мне глоток свежего воздуха. Что касается меня, то как будто все ясно. Осталась последняя сцена — и все. Но меня глубоко волнует и интересует судьба всей картины. Что Вы сняли? Как подвигается работа? Есть ли удачи? Или неудачи? В общем, во всем этом я кровно заинтересован. Жаль, что Вы мне не пишете. Но ничего. По приезде я все узнаю. У нас в Москве последняя новость — выход на экраны «Садко». У этой картины странная судьба. Наверху она, по-видимому, не понравилась — так говорят. А внизу — т. е. у публики — она имеет сумасшедший успех. Билетов нельзя достать уже пятый день.

Пресса в общем благожелательная, кроме «Правды». Говорят, такова директива сверху. Мою жену Лильку хвалят все, кроме Катаева в «Правде». Она это все, конечно, ужасно переживает. Хотя она ни в чем не виновата, потому что сыграла хорошо и потому что Птушко — штукарь, актеров не любит, и никто ими не занимается. Поэтому получился разнобой. Каждый играет как хочет. Все же картина, в общем, неплоха. Успех у нее грандиозный. Я жду Вашего приезда и волнуюсь. Двадцатого я должен отсняться. Не задерживайтесь, дорогой, а то меня «угонят» куда-нибудь. Я часто думаю о моих товарищах и сочувствую Вашим мукам в Ялте. Передайте привет всем. Крепко жму Вашу руку. Посылаю Вам рецензию «Лит. газеты». В остальных тоже неплохо. У нас морозы. А у Вас? Всего наилучшего. Ваш

А. Вертинский

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — Л. В. НИКУЛИНУ

Ростов-н-Д.
6 апреля 1951 г.

Старый дружище!

Спешу тебя поздравить. Наконец-то ты написал настоящую вещь! И даже больше — блестящую вещь! Если бы я не знал автора и прочел ее за границей, я бы сказал, что это Алданов. У нас в Союзе так мог написать только очень образованный человек. Например — Тарле. Книга написана виртуозно, кроме великолепной эрудиции, знания и прекрасного понимания эпохи, в ней видна опытная рука режиссера <...> Диалоги действующих лиц безупречны и в смысле стиля, и в смысле исторической точности. Персонажи очерчены ясно и ярко, подчас очень скупыми штрихами. А главное, все живут. Нет выдуманности. Повествованию веришь от начала и до конца. Наконец-то ты стал настоящим зрелым мастером! Трудно даже найти в ней недостатки. Может быть, недостаточно тверд в своих убеждениях Можайский? Но какие были убеждения в ту эпоху, да еще у придворных? Он — порядочный человек и ...все. На большее рассчитывать нельзя. Пожалуй, можно было бы чуть ясней и потверже написать или дописать образ Федора Волгина. Но это все. Больше придираться не к чему. Я прочел не отрываясь всю книгу и очень сожалел, что она уже кончилась. Несомненно, ее надо довести до конца Наполеона. Не ленись и сразу приступай к работе. На будущий год мы увидим тебя лауреатом. А какой великолепный киносценарий вышел бы из нее!!! Меня приводит в восторг эта идея. Я бы сыграл Меттерниха, а Борька Ливанов — Александра! Фильм вышел бы потрясающий! Не знаю только, захотят ли ставить у нас такие фильмы? Заглавие тоже замечательное: «России верные сыны». Я бесконечно рад за тебя, мой маститый друг. Наконец-то ты взялся за свою убеленную сединами голову! А то все писал «Прогулки по Парижу» и топил в реке Сене своих старых друзей! Впрочем, это было нужно «для орнамента». За эту книгу я наконец прощаю тебе твои «Прогулки» на мой счет.

Не могу не закончить письма твоими же словами:

> Твори и метайся, Эс-Хабиб,
> Но не впадай ни в какой загиб...

Впрочем, на этот счет я спокоен.

А книгу надо заканчивать как можно скорее.

Желаю тебе успеха.

Твой А. Вертинский

Ялта.
20-е Нб. 52 г.

Сижу в Ялте. Жду кинематографической погоды. Пока ее нет. Волны бьют, заливают парапет, свистит ветер. Холод собачий. Мне топят номер «по блату» — за деньги. Ялта похожа на «бывшую красавицу» — что-то вроде старой проститутки в гробу. Ничего от ее «курортных прелестей» не осталось. Тлен. Прах. Разрушение. Правда, еще бродят какие-то запоздалые «отдыхающие», но они похожи на осенних мух, которые уже приготовились к зимней спячке, где-нибудь на потолке прицепившись к нему вверх ногами. Рестораны закрыты. Молоко бродит в пышных бюстах молочниц из кафе и превращается в кумыс... Никто их не пользует. Где вы, «ушаковцы», «садковцы», «максимовцы»?.. Все актерские коллективы, развлекавшие их и понижавшие их «половое давление» — никого нет. Тишина. Изредка перебегают дорогу коты, которых здесь много. Я гляжу на небо и пью что попало. В ожидании...

Сейчас закончил твою книгу. Надо тебе сказать, что читал я ее так, как будто я ее раньше не читал. Не знаю почему. То ли потому, что в первый раз я читал ее жадно, так сказать, «не разжевывая» глотал, то ли потому, что она действительно прекрасно переработана и дополнена. Во всяком случае, удовольствие я получил совершенно новое.

Какая зрудиция! Какой разумный повествовательный тон! Тон историка, спокойно и точно описывающего события. И в то же время все это живет. Не надумано. Тебе надо писать исторические повести. Они намного выше. Знание зпохи. Правильная советская оценка ее. Молодец, старик! Тебе надо было дать за нее первую степень, а не третью! Таких произведений мало, а они нужны больше, чем вымышленные истории с еще не существующими пока героями, с собирательными чертами будущего «советского человека». Черты его еще пока только намечаются...

Помню, Анатоль Франс говорил как-то в Сорбонне, что для него любое описание какого-нибудь французского городка вроде Лиможа или того же Клош-Мерли дороже и важнее, чем «Ромео и Джульетта». Потому что это — вклад в сокровищницу страны. Это кусочек истории его родины. Так думаю и я. Ну, прощай. Не пей много. Береги себя. Нас осталось немного, и мы еще можем что-то дать Родине. Привет великолепной Катиш! Пусть бережет тебя. Надо беречь свою лошадь! Даже палачи кормят своих канареек!

Твой Саша

Саратов.
8 апр. 54 г.

Дружище!

Пишу тебе из Саратова. Сегодня утром прочел в аэропорту на стене твою статью о «Комеди Франсез»... и загрустил...

Да, Париж... это родина моего духа! Ни с одним городом мира у меня не связаны такие воспоминания, как с ним!

Вспомнил твои стихи:

Как юны Вы теперь на склоне Ваших лет...
Сегодня в небесах так тихо гаснут свечи (вру?),
Вас жесту научил классический балет,
У Комеди Франсез — Вы взяли четкость речи!..

Три человека — Эренбург, Игнатьев и ты, кроме меня,— переживут это событие особенно. Хорошо, что писать дали тебе. Ибо все наши искусствоведы были еще «у мамы в жопе», когда мы наслаждались этим театром и вообще французами. Я помню еще Сесиль Сорель, у которой квартира состояла из таких «уников», что оценивалась в несколько миллионов франков. В один прекрасный день она объявила на нее аукцион! И заявила оторопевшим журналистам: «Она меня старит! А я еще молода!» И... завела себе квартиру-модерн!

Режанс! Ты видел ее? Я нет. Но достаточно, что я видел Мистангет! В ревю в «Казино де Пари» ее носили на руках двенадцать красавцев мальчиков в белых фраках! Как плащаницу по церкви! Она только «спускалась с небес»!.. В 1930 году — в Каннах — мы кутили с ней в компании французских киноактеров Жак Катлен, Шарль Буайе, Аннабеллы с режиссером Рех Инграмом и другими. И в три часа ночи мы задали кошачий концерт мэру городка. За что? Уже на помню! Ей было 75 лет!

А эта изумительная Люсьен Буайе, которую я нашел на Монпарнасе, где она пела в «Буль Бланш» и получала 25 франков в вечер. Я привез ее в «Эрмитаж» к Рыжикову и устроил ее на сто франков. Через два года она уже получала пять тысяч за выход во французских театрах и, встретив меня в Нью-Йорке, расцеловала со слезами на глазах в театре, где она выступала при всей публике, рассказав эту историю. И отдала мне целый сноп живых красных роз, с которыми она пела в публике песенку, раздавая цветы!

А маленькая «moineau», оборванка, которую знал весь Париж, которая была остра на язык и обаятельна. Она водила за собой рыжего кота на веревке и гордилась тем, что он жрет устрицы. Да... есть что вспомнить.

А Кики — натурщица с Монпарнаса? Ванька Мозжухин с ней путался. А мои юные подруги от «Lanwain», «Patear» и «Шанель»... Все прошло! Ничего подобного уже не будет! Да мы и не доживем до этого! <...>

14-го утром я прилечу из Саратова. Вечером у меня премьера в Доме кино. Если хочешь, посмотрим «Анну на шее». Потом посидим.

Целую тебя

А. Вертинский

Киев.
3 февр. 55 г.

Дорогой Лева!

Мне не особенно хочется писать тебе это письмо. Но... в наши годы, при нашей старой дружбе уже нельзя уклоняться от прямых ответов друг другу. Что толку в том, что я напишу тебе ряд своих неискренних высказываний, которые, быть может, будут приятнее, чем это письмо? Нам, на склоне лет, уже нельзя лгать друг другу. Надо говорить просто, искренне и честно, «по сути дела» — как говорят слесарь со слесарем и столяр со столяром! Так или иначе, но мы люди одного цеха и имеем право говорить по существу. Нам не надо похвал. Достаточно, если ты — мне или я — тебе скажем: «Это здорово сделано!» И это будет дороже всех похвал, ибо это похвала слесаря — слесарю и столяра — столяру. Так вот, твоя книга. Я прочел ее внимательно и — уж ты сам понимаешь — дружески. Она разочаровала меня. Ты берешь такую яркую, такую неповторимую эпоху... Конец 19-го века был таким урожаем талантов! Боже мой! Да любой мальчишка, какой-нибудь художник Фриденсон (искокаинившийся в свое время), какой-нибудь поэт «Санди» или Владимир — М. К. Королевич (Санди описан у Толстого) были полны таланта, смелости дерзания. Они не выжили... Но немногие выжили от революции. Тем не менее эпоха была насыщена талантами!.. Я уже не говорю об Ахматовой, Блоке, Гумилеве, Иннокентии Анненском, о Лентулове, Ларионове, Гончаровой, о Жорже Якулове и Володьке Маяковском, который напечатал свое первое стихотворение в газете «Копейка» — «Вечернюю, купите вечернюю!». До этого его никто и нигде не хотел печатать. Потом была газета «Новь»... Мы голодали, ходили в рваных ботинках, спали закокаиненные за столиками «Комаровки» — ночной чайной для проституток и извозчиков, но... не сдавались! Пробивались в литературу, в жизнь! Ходили в желтых кофтах по Кузнецкому, в голову нам летели пустые

бутылки оскорбленных буржуев, и Володькина голова была мною спасена в «Бродячей собаке» в Петербурге, ибо я ловил бутылки и бросал их обратно в публику! Было время — горячее, страшное, темное. Мы жили «вслепую к свету» — сами еще не зная ничего, что сегодня нам так ясно разъяснил марксизм и ленинизм! И тем не менее мы шли вперед, мы боролись, мы были интуитивно с большевиками и... мы были в «аристократическом меньшинстве»! Прости мне эту фразу. Едва ли тогда кто-нибудь понимал это. И все же — мы были с ними! И мы помогали им, как умели. И мы помогли им! Чего ж ты стесняешься писать об этом? Мы были первыми, кто протянул им руку, которой, кстати говоря, они даже и не приняли! (Маяковский, например.) Не такие уж мы маленькие, как кажется! И наша роль в революции не так уж мала и ничтожна! Что же делаешь ты? Ты проходишь мимо величайших событий, ты сознательно не замечаешь всей обстановки, всего того протеста, вызова, бунта, скандала, который предшествовал революции, который помогал и помогает ей, который накипал и взорвался — ей на помощь. Кто у тебя герой? Нудный интеллигент, благополучно качающийся в маятнике сомнений! А где бунтари? Застрельщики революции? Где мы? Разве мы спали? Всем существом своим мы готовили революцию! Где мы? — спрашиваю я. Такое время! Время Маяковских, Велимиров Хлебниковых, Бурлюков, Крученых — где оно? Чем оно отображено в твоей книге? Ничем. Где диспуты, которые срывал из озорства Володька? Где наше великолепное презрение к обывателю? Помнишь, как однажды Володька сказал поэту Мешкову («Снежные будни»): «Я вас понимаю! Вы небось привыкли:

Сучка Божия не знает,
Ни заботы, ни труда...»

Как разбивали мы грудью и лбами толщу обывательской косности, не принимавшей и не желавшей принять Революцию!

Где все это у тебя, Лева?

Тебя, конечно, губит партийность, ты не можешь писать правду — а тогда лучше не писать!..

Вот почему твоя книга произвела на меня впечатление «заказа». Точно писал ее Жаров, а не тот талантливый Лев Никулин, которого я уже столько лет цитирую и не могу забыть и в которого я верю.

Бог с ним, Лева! Если надо так писать, то лучше совсем не писать. Эта книга навсегда отбила у меня охоту писать

«мемуары». Если их так будут выхолащивать, то лучше не надо. Не сердись на меня и помни, что так говорить имеет право только настоящий друг!

P. S. А вообще книга написана зрелым мастером. Она интересна, нравится публике — это незаурядная книга, но, может быть, нам, современникам вроде меня, и не следует ее критиковать? Может быть, мы еще не отошли от этой эпохи на приличное расстояние, чтобы судить о книге объективно?

Киев.
10-го ноября 1955 г.

Дорогой Левушка!

У меня к тебе просьба. Дело в том, что, улетая 8-го нб. на съемку в Киев, я не учел, что сберкассы закрыты 7-го и 8-го, и ничего не оставил семье. Здесь, в Киеве, я получаю зарплату только 19-го нб.

Прошу тебя не отказать мне в любеэности — позвони Лиле и спроси, сколько ей нужно денег. И дай ей их, в размере тысячи-двух. Совершенно ясно, что по приезде я их тебе немедленно верну. Этим ты меня очень выручишь. Благодарю тебя заранее и надеюсь, что по-дружески ты мне это сделаешь.

Недавно в самолете мне попалась твоя книжка «Воспоминанья о Маяковском» — вот это здорово! Написано свежо, увлекательно и честно. Ей-богу, она лучше твоих «Московских Зорь» и как-то даже добавляет их в лучшем смысле. В ней все верно, кроме... той «почтительности», с которой ты пишешь о нём теперь и которой у нас к нему тогда не было! Но это, так сказать, дань веку!

И писать о нем сейчас, когда вот-вот поставят ему памятник,— иначе нельзя! В общем, хорошо, что у тебя еще «есть порох» — и какой порох! Когда «можно» — ты им пользуешься!

Целую тебя и шлю привет Кате, за которую искренно и душевно рад.

Твой А. Вертинский

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — А. А. ЖАРОВУ

Сочи.
1 дек. 1956 г.

Милый Саша!

Я в Сочи. Пою. Тут тепло. Солнце. Греюсь, ибо сильно намерзся в этой поездке. Театры нетопленые. Гостиницы

тоже. Отопительный сезон в них начинается поздно... Поэтому я болен.

Сегодня утром передавали одну из Ваших песен: «Краше моря и тебя, земля родная, и дороже ничего на свете нет...»

Ясные, простые, теплые слова эти, положенные на «насквозь русскую» музыку Листова, как-то особенно зацепили меня, и я вспомнил о Вас и о нашей былой дружбе. У меня навсегда осталось в сердце хорошее отношение к Вам и Полине Васильевне. Вы были моими первыми друзьями, которых я завел по возвращении на Родину, и, увы, последними, ибо больше друзей у меня не завелось.

Пожалуй, это самое трудное — завести друзей... Все заняты... В те недолгие дни, когда я бываю в Москве, я иногда с грустью перечитываю телефонную книжку... Столько номеров, а позвонить некому!

Никогда у меня этого не было. Вот она, жизнь! А уже сколько покойников. Сколько зачеркнутых телефонов!.. Да, невесело...

Ну, как же Вы живете, Саша? На даче? У меня тоже есть дача. Дочки растут, и я вколачиваю в дачу деньги, чтобы у них был дом, когда они выйдут замуж.

Эти две доченьки — моя единственная и большая радость. Хотя нахалки они страшные и «купишки». «Папа, купи!» — только и слышишь.

Но зато они, во-первых, красотки, а во-вторых, папку обожают. Неудивительно. Я их балую и только порчу.

Недавно младшая обнаглела и говорит: «Папка, ты дурак!» Я был потрясен такой наблюдательностью...

А в общем стареем. Идем «на коду», как говорят музыканты. Мне уже 67-й! Я сократился... Поостыл. Главное зло — женщины — почти перестали меня волновать. Остался коньяк. И сигареты. И все.

К старости мы становимся лучше и чище.

> В эти годы Толстой зарекался курить
> И ушел от жены на диван в кабинете.
> В эти годы нетрудно себя укротить...
> Но заслуги ль они, укрощения эти?
>
> (Арсений Несмелов)

До свидания! Целую Вас, дорогой. Привет Полине Васильевне!

А. Вертинский

28 ноября 1955 г.

ДИРЕКТОРУ КИЕВСКОЙ КИНОСТУДИИ т. Д. Д. КОПИЦЕ

Глубокоуважаемый Дввид Демидович.

Прежде всего прошу извинения за то, что отнимаю Ваше время своим делом. Но дело, с которым я обращаюсь к Вам, требует срочного Вашего вмешательства. Я приглашен Киевской киностудией на две картины: «Фата-Моргвна» и «Костер бессмертия». Мой договор с «Фата-Морганой» заканчивается 28 ноября, т. е. сегодня. В те же сроки заквнчивается и мой договор с «Костром бессмертия». Картинв «Фата-Моргана» до сих пор не кончена. Волнуясь, естественно, за ее судьбу, мне удалось оттянуть мои гастроли в Ленинграде до 3-го декабря. Знвчит, 1-го дек[абря] я должен улететь в Москву. До сих пор я не снял еще ни одного метра в картине «Костер бессмертия».

Квк советский гражданин и латриот, я, естественно, переживвю зту ситуацию и не могу и не хочу наносить вред государственному хозяйству. Но я не могу быть дольше в их распоряжении, потому что я должен стоять 5-го декабря на сцене в Ленинграде и петь! Если я не буду в срок на месте, Ленинградской филармонии придется вернуть публике полмиллиона денег за проданные на мои концерты билеты! Стало быть, возможность задержки здесь отпадает. На студии построен Рим! Я играю кардинала Боргезе. До сих пор я не снял ни одного метра! Что делать? Остается три дня.

Кроме зтого, нас, всех актеров, выселяют из гостиницы «Украина» по причине «съезда партии». Я глубоко уважаю партию и съезд ее прекрасно понимаю, но не могу понять, почвму я должен идти нв улицу и спать на скамейке бульвара, а участник съезда ляжет в мою кровать? Мне некуда идти. Я московский актер, меня вызвали сюда спасать положение. Местный артист, игравший роль кардинала Боргезе, оказался недостаточно убедительным в этой роли, и меня в «аварийном порядке» уговорили «переиграть» зту роль, я согласился, идя навстречу моей любимой Украине — родине моей! Теперь меня как собаку выгоняют иэ гостиницы, и дирекция моей картины «Фата-Моргана» бессильна мне помочь! У меня есть один выход — сложить свой маленький актерский чемоданчик и уехать на вокзал. Там, посидевши 2—3 часа, я возьму поезд и уеду в Москву. Но прежде чем так посту-

пить, я хочу поставить Вас в известность обо всем происходящем, чтобы Вы знали, что я иначе не мог поступить — и чтобы Вы или суд, в который мне придется обратиться в дальнейшем, не считали меня вредителем!

Уважающий и глубоко ценящий Ваше расположение ко мне.

Александр Вертинский

P. S. Я прошу также Вашего распоряжения, чтобы со мной произвели окончательный расчет по картине «Фата-Моргана» согласно моему договору, кот[орый] оканчивается 28 ноября.

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — Н. П. ОХЛОПКОВУ

И триста лет меня любила юность...
За фальшь афиш, за лунный свет кулис!..

П. Антокольский «Гамлет».

⟨*Без даты*⟩

С тех пор как Театр был изгнан из театра и заменен «пастеризованной обывательщиной»,— это первый радостный спектакль в Москве. Хорошо, умно и радостно, что Вы первый вернули театр на его место. Я не буду говорить об удачах или неудачах спектакля, все зависит от вкусов. Важно не это, а то, что Вы возвращаете тватру отнятое у него. Целые поколения людей прошлого века (и не плохие поколения) воспитывались на театре. Когда-то люди и молодежь моего времени трепетали, содрогались, вдохновлялись и горели, плакали и дрожали, слушая, видя и переживая тот божественный «нас возвышающий обман», который нам давал театр. Теперь об этом почти забыли. Ваша постановка «Гамлета» — большое и яркое событие театральной жизни. Благодарю Вас от лица нас, актеров — «мимов», «лицедеев», «волшебников», «фокусников», «обманщиков», «светлых лгунов», «крикунов» в сердца людей, «разносчиков» своего священного бaрахла,— благодарю Вас!

А. Вертинский

Я видел много Гамлетов — все они были разные. Каждая эпоха дает своего Гамлета. Именно на нем и пробуется эпоха. Ваш Гамлет — советский Гамлет в лучшем смысле этого слова. Повторяю, в этом коротком письме я не хочу говорить об отдельных (на мой взгляд) ошибках спектакля — все это мелочи по сравнению с грандиозностью и оригинальностью замысла, с размахом Вашей творческой мысли.

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — П. Е. ПОЗНАНСКОЙ

(Ленинград)
5 мая 1957 г.

Милая Полина Евсеевна!

Только что получил Ваше письмо с анкетами и спешу ответить. К моему величайшему сожалению, ехать с Вами в Югославию я не смогу[1]. Перед самым моим отъездом из Москвы выяснилось, что операцию рук (о которой Вам известно) профессор Вишневский может сделать мне только в начале июня, так как дальше он уезжает на медконгресс за границу и когда вернется — неизвестно. Переносить эту операцию нельзя на более поздний срок, так как болезнь запущена и всякое промедление грозит тем, что мне окончательно сведет пальцы и тогда уже никакая операция не поможет. Поэтому на 1 1/2— 2 месяца я вынужден «выбыть из строя». Вам придется передать эту роль другому актеру.

Все это очень печально, но, увы, ничего не поделаешь. Передайте Леониду Давидовичу[2] мой сердечный привет, «ни пуха, ни пера!» — картине и горькие сожаления — товарищам. Вслед за письмом отсылаю Вам обратно сценарий и анкеты.

Жму Вашу руку

А. Вертинский

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — ДОЧЕРЯМ

5 апр. 50 г.

Мои обожаемые доченьки!

Я по вас страсенно соскучился, уже съел все ваши конфетки и теперь целые дни думаю о вас и целую ваши карточки. Я пою концерты — зарабатываю вам денежки на дачу, где мы купим корову, которую будет доить Ольга Алексеевна, и кота. Как вы учитесь? Как себя ведете? Напишите папе, мне будет очень приятно получить от вас письмо. Слушайтесь маму и бабу и Ольгу Алексеевну и не обижайте друг друга — не огорчайте папу. Ко мне на концерт приходил кот Федул — он уехал с Курильских островов, потому что мышей там мало, а рыбы он не любит. Он поступил в Оперу, где и будет петь, а жена его, Феклушка, сделалась балериной и танцует балет «Лебедячее Озеро». Летом они всей семьей приедут к вам в Анапу — купаться в песке, потому что аоды они, коты, не любят.

---

1 Предполагалось участие А. Н. Вертинского в съемках фильма «Олеко Дундич».

2 *Л. Д. Луков* — кинорежиссер.

Сшили ли вам уже штанишки для улицы или нет? Как поживает Володька и серая птичка? Давайте им каждый день булочки. Спасибо вам за телеграмму, что поздравили папу. Хотя в день своего рождения я был в поездке и получил ее уже по приезде в Свердловск на три дня позже.

Будьте умницами, слушайтесь старших и не забывайте своего папу и пишите мне.

Крепко целую вас, мои крошечки, радость и свет моей жизни, да сохранит вас Господь Бог.

Ваш папа Саша

(Насте Вертинской)

Дорогой мой Воробушкин!

Посылаю тебе привет из Ялты. Тут тепло, светит солнышко. Я простужен. Кашляю, но все ж пою свои «кацеты». Вспоминаю своего «воробышка» и рычу, как старый «лева», что он не прилетает. Купил вам ракушек.

Целую тебя, моя радость, крепко-крепко.

Папа

Мой маленький, дорогой Воробушкин!

Спасибо тебе за письма. Мы с мамой очень обрадовались им. Я пою концерты, а мама ходит по Киеву и ест клубничку. Меня не обижает. Она купила вам чудные мисочки и тарелочки. Мама скоро приедет к вам, а я — в августе. Мы очень «скакучились» по своим «муням-пуням». Как я рад, что вы обе стали такими умницами — хорошо кушаете, а главное, что вы слушаетесь бабу. Я показываю маме свой Киев, и вчера мы видели дом, где я родился. Когда вы с Бибой подрастете, я тоже возьму вас в Киев. Здесь очень жарко, и мне трудно петь. Но успех большой.

Целую тебя крепочко в масявочку, и в носик, и в косички, и в бантики. Ты же моя любимая младшая дочь. Будь здоровенькой и не ходи в море без бабы. Бабу и Бибу поцелуй от меня.

Твой папа Саша

Мои дорогие любимые доченьки, Биби и Настенька!

Я сегодня страсенный именинник и потому поздравляю вас с моим днем рождения. Вашу и мамину телеграммку

я получил и очень обрадовался. Тут очень много снега. Дети катаются на санках. У меня в комнате в углу есть дырочка. Там живет маленькая мышка. Я ей положил кусочек сыру, она его кушает и смотрит на меня. А на балконе моем сидят голуби и стучат клювами в окно. Я тоже даю им крошки хлеба. У вас скоро каникулы? Напишите папе, как вы учитесь и как себя ведете. И как себя ведет Фаншетта.

Целую вас в мои дорогие масявочки — тысячу раз. Слушайтесь маму и бабу. Я скоро приеду.

Ваш папа Саша

Ленинград.
21-го мая 1954 г.

Дорогой Воробушкин!

Я очень рад, что тебя приняли в пионеры. Теперь ты у нас совсем большая девочка. Скоро поедешь в Ригу с бабушкой, а я поеду и найду вам дачу. Тут стала хорошая погода, и я днем хожу гулять. «Анна на шее» идет во всех кинотеатрах и имеет большой успех. Я всем рассказываю, что тебе больше всего понравились папа и котеночек. Вчера послал вам чернослив, соломку и «пулезенных» — с одним дядей, но боюсь, чтоб он их не съел по дороге. Напиши мне, привез он их? Киня, Валя и Алеша тебя целуют крепко и Биби тоже. Скажи маме, чтобы она собирала все газеты, в которых будут писать об «Анне на шее». Я уже очень соскучился по тебе и Биби. Недавно в речке Мойке тонула кошка, но ее спасли матросы на лодке. Мы все смотрели и очень волновались за нее. Вчера у меня был большой концерт в саду отдыха. Народу было тысячи две. Я пел хорошо. На пятерку. Напиши мне, как прошли экзамены Биби и мамы, и спроси бабушку, нет ли и у нее экзаменов?

Целую тебя в носик, и в шейку, и в масявочку. Не забывай мыть руки, которые самые красивые в Москве и самые... чистые!

Твой папа Саша

Дорогой мой Воробушкин!

Спасибо тебе за чудное письмо. Ты у нас умница — и на стол накрываешь, и папе письма пишешь за маму. Я очень соскучился по своим доченькам. 8-го надеюсь быть дома часа в 3 дня. Я пою в Кишиневе. Тут тепло, весна и цветут вишни

и яблони. Спасибо за карточки. Кто это вас снимал? Как зубки? Вы носите протезики? Я очень горевал, что тебя не приняли в балетную школу из-за того, что у тебя мои ноги! Я очень рассердился на свои ноги и даже не разговариваю с ними. А твои ножки поцелую, когда приеду. Ничего, не беда. Ты будешь знаменитой пианисткой, если захочешь. И сыграешь папе «Балладу Шопена». Хорошо? А я тебе подарю красивое платье и ты будешь королевой. А орден за «Скандербега» я, вероятно, получу все-таки, но 2-й степени, в группе остальных, как написано, но мне он не нужен. Носить его я все равно не буду. Ну, до свидания. Целую тебя в носик и в затылочек, и ручки, и ножки. Поцелуй Бибочку и не обижай ее. Маму тоже поцелуй крепко.

Скоро увидимся.

Ленинград
Папа Сяся

P. S. А другой листочек — отдай маме.

Мой дорогой воробушек Настенька!

Какое ты мне хорошее письмо написала! Спасибо, что папку не забываешь. Я так счастлив, что мама вам шубки купила! Надо еще купить вам варежки и теплые ботиночки. Ты знаешь, в Сочи я сидел днем в ресторане. Обедал. Окно было открыто. Вдруг я смотрю, в окно влетели воробушки... много... штук десять, и нахально прыгают по полу, подбирают крошки хлеба... Никого не боятся. Трое подскакали к моему столику, и я их кормил хлебом. Они садились на спинки стульев, а один даже сел ко мне на стол. Такие смельчаки! Этого я еще никогда не видел!

Здесь, в Тбилиси, холодно, как у вас в Москве, и я мерзну. Как ты учишься, моя Муничка? Маму слушаешься? С Бибой не дерешься? Поцелуй ее крепко от папиного имени. Что, уже вывели ей из головки квартирантов? Крепко-крепко целую тебя, мою дорогую масявочку, будь умницей. Соблюдай наш договор! Взвесься на весах, и потом посмотрим, на сколько ты поправилась. Еще раз целую крепко тебя, Бибу и маму. Скоро я пришлю вам фруктиков.

Ваш «шобственный»

Папка

21/9/54

Настенька, моя красотуличка!

Что же это вы с Бибой все ссоритесь? Из-за какой-то открытки! Вы же родные сестрички! Меня это очень огорчает. Спасибо за посылку, а то я уже простудился в летнем пальто и два дня лечусь стрептоцидом. Вчера пел концерт больной. Сегодня получу свои вещи, и мне будет тепло. Я очень скучаю по вас и скоро надеюсь быть с вами. Тут холодно. Идет дождь все время. Осень. А у вас на даче, наверное, хорошо? Целую тебя крепко, моя радость.

Твой папа

Кемерово.
9 апреля 1956 года

Дорогая моя младшая любимая доченька Настенька,
уважаемая А. А. Вертинская!!

Если бы ты знала, как я обрадовался, получив сегодня, за кулисами, во время концерта, твое письмо! Я уже давно не имел из дому писем и очень скучал. Единственное письмо от мамы я получил в Иркутске, а уже скоро месяц как я в поездке. Я не надеялся получить что-нибудь здесь, в Кемерово, потому что я велел маме писать на Новосибирск. И вдруг мне приносят твое письмишко! И какое чудесное! И удивительно, как оно поймало меня? Я счастлив, что ты хорошо кушаешь. Это самое главное. Я надеюсь, что, в конце концов, мама и баба найдут тебе демисезонное пальтишко. А каникулы ваши в этом году начнутся раньше. В газетах сказано, что до 5 кл⟨асса⟩ — все кончается 1-го июня. А с 6-го кл⟨асса⟩ — все кончается 4 июня. Таким образом, вы будете на даче в этом году раньше, чем в прошлом. Телевизор я тебе куплю, как я обещал. Но вот не знаю, где его лучше поместить, дома или на даче? Сделаем антенну на даче, а потом заберем его в город. Ладно? Ты ничего не знаешь про котов? Живы они? Кто-нибудь был на даче? Напиши мне в Новосибирск!

Я работаю как всегда. Пою свои «кацеты». Люди меня благодарят за них, и концерты всегда переполнены. В остальном все по-прежнему...

Часто-часто думаю я о тебе, и Бибочке, и маме...

Я рад, что тебя никто не обижает. Ты, наверное, стала доброй и хорошей девочкой? Вот поэтому тебя никто и не обижает. А главное, молю тебя, не ссорься так страшно с Биби! Не считайся мелочами! Будь выше мелочей. Не дерись с ней за каждый пустяк! Ведь она у тебя единственная

сестра и подруга, и она тебя никогда и никому не даст в обиду! А подруги, как и все люди вообще, думают только о себе и тебя так, как сестра, любить не будут!

Ну «покедова».

Приветик.

Теперь мы все завели у себя эту твою моду и говорим друг другу — «приветик»!

Целую тебя крепко и нежно. И очень по тебе скучаю. И по Бибочке. И по маме!

Храни вас Бог.

Папа

P. S. Не забудь, что 1-го мама именинница!

29 мая 1956 г.

Масинька моя! Крысопуличка! Красавица моя!

Дюмовиська!

Здравствуй!

Я по тебе страсенно скакучился и все время вспоминаю тебя! И твой поганый характер! Не обижай, пожалуйста, бабу! Она теперь больная, и ей нужен покой! Поэтому — кушай хорошо, не ссорься с бабой и будь умницей. Я тебе купил брошечку с надписью: «Настя». И еще две пары носочков — желтенькие и апельсиновые — для лета. Телевизор я куплю, как обещал, по приезде. Я пою «кацеты» и в свободное время кормлю воробьев в «Колоннаде». Они тут страшно нахальные и никого не боятся. Их приучила пирожница, которая дает им крошки от пирожного «наполеон». А я, когда прихожу, покупаю один кекс и, покрошив его, даю им. Они никого не боятся и рвут кекс прямо из рук. Очень нахальные и душечки!

Днем тут солнце до 5-ти вечера. А потом дождь. Сегодня был ливень. Но у меня был аншлаг, и театр был полон публики. Но все были мокрые, и только я один сухой. Потому что приехал раньше, до дождя. Скоро я еду дальше.

Целую тебя крепко в носик, и в реснички, и в масявочку! И в самые красивые руки в Москве... и самые грязные! Мой их почаще. Не обижай Бибу. Помни, что она твоя сестра и единственная подруга. И маму не зли.

До свидания!

Ута. Утавакина!

Твой Папсик!

(Марианне Вертинской)

Харькое.
23 июля 1953 года

Бибулек мой ненаглядный!

Поздравляю тебя с днем рожденья, этот день всегда будет самым счастливым днем в моей жизни. Мне очень жаль, что я не с тобой, но я скоро приеду к вам и тогда расцелую тебя и привезу тебе еще подарочек. Будь умницей, слушайся маму и бабу, ты теперь большая, тебе десять лет. Не обижай Настеньку и не лезь глубоко в море, а то я за тебя здесь дрожу от страха. Мама подарит тебе от меня браслетик, а я привезу тебе красивую куколку.

В день твоего рожденья я пригласил на крышу всех воробышков и буду их кормить булочками. Так мы отпразднуем этот день. Целую тебя, мою старшую любимую доченьку, в глазки, в носик, в веснушечки и в бантики, которые тебе заплетут в косюли.

Поздравь от меня маму, и бабу, и Настеньку. Ей я тоже привезу куколку, поцелуй ее за меня и сама себя в зеркало.

Твой «шобственный» папа

Харьков.
12 окт. 54 г.

Моя дорогая маленькая старшая любимая дочь — Бибонька!

Спасибо тебе за письмо. Я всегда так радуюсь вашим письмам, что потом три дня хожу счастливый и улыбаюсь всем. У тебя очень хорошие письма — ты всегда пишешь самое главное и радуешь меня. Кота надо назвать Тимошка — Тимофей. Это старинное котячее имя — очень солидное и сурьезное. Назови его так. Я очень испугался, что ты остригла свои чудесные косы! Боюсь, что это плохо. Но если они лезут, то тогда надо было остричь. Как здоровье моей маленькой любимой младшей дочери — Настеньки? Напиши мне в Ялту о ее здоровье. Я очень боюсь за нее. Она такая слабенькая. Вот видишь, что нельзя вам давать денег. Она покупала мороженое и заболела. Бедненькая! Ты же не обижай ее. Сиди около ее кроватки хоть немного. Играй с ней в куклы. Я приеду к празднику, и мы с вами пойдем на парад на Красную площадь. Я получил сегодня пальто, и мне теперь тепло. Через два дня я уеду отсюда в Симферополь — Ялту. Пиши мне: Ялта, Крымская Госфилармония. Оттуда привезу еще фруктиков. Игрушек тут нет. А вот очень жаль, что Вам до

сих пор не купили шубки. Я ничем не могу Вам помочь отсюда. Только когда нужны деньги — я могу выслать. Очень я по вас соскучился. Жду не дождусь, когда вас увижу и сяду в кресло в кабинете с вами на коленях! Тут холодно, но в гостинице топят, слава Богу! Напиши мне сейчас же на Ялту — как здоровье Настеньки. Слышишь? Сейчас же! Поцелуй ее или лучше не целуй, чтоб не заразиться ангиной, в скажи: «Папа тебя крепко целует!» Ну, до свидания, моя умница, целую тебя крепко-крепко, радость моя!

Твой любящий вас обеих Папа

Новосибирск.
23 апреля 56 г.

Мой дорогой любимый старший дочь
Бибулек! (Это для меня.)

Уважаемая Марианна! (Это для тебя.) Вчера был очень рад, услышав твой голосок по телефону. И Настенькин. И решил сегодня написать вам. Меня очень радует, что вам наконец купили пальто, а также сшили кофточки и юбочки. Я люблю, когда мои дочери хорошо одеты (и причесаны к тому ж!). Интересно было на даче? Так ты говоришь, что коты толстые? Очень рад. И бежали за вами на вокзал? Правильно. Кузя и Джема Энди — кот! А снег уже стаял или нет еще? Десятого мая я приеду, и мы поедем все вместе. Я очень устал от трудной поездки по разным местам, где нет никаких удобств, и от поездов — и теперь хорошо себя чувствую здесь, в Новосибирске, где у меня хороший номер в гостинице. Скоро уже каникулы. Меня только огорчает, что учитесь вы плохо: «на тройках с бубёнцами!..» — как поется в одной песне. У ввс там тепло в Москве, а здесь все еще холодно, идет снег довольно часто, а вчера была прямо снежная вьюга. Я купил тебе хорошую книжечку: А. Грин, «Алые паруса» — привезу. А Настеньке — сказки, но боюсь, что эта книга у вас уже была. Ты в этом году будешь уже семиклассницей. Это уже считается «старшим» классом. Вот как время бежит. Через три года ты кончишь школу! Ну и ну!..

Ну, пока до свиданья. Целую тебя, мой золотой Бибулек, во все твои веснушечки, в носик, в голубые глазки и в косюли.

Ты у меня орел!

Привет маме и бабе.

Настеньку поцелуй.

Папа

25 сентября 1956 г.

Дорогая моя доченька, старшая любимая Марианночка —Бибулек!

Очень, очень порадовался твоему письму, теперь я знаю все ваши новости, и про Кузю, и про дачу, и про новые гольфы. Ты всегда пишешь мне интересные письма. Жаль только, что ты нахватала двоечек. Это очень печально. Ведь ты теперь «пионервожатая». Этим школа оказывает тебе большую честь. Ты теперь как учительница, как педагог. Ты заведуешь малышами, они должны тебя слушаться и уважать как старшую, как начальницу пионеротряда. Но ты подумала, какой будет для тебя конфуз, когда эти малыши узнают, что их начальница сама двоечница? Ведь они будут над тобой смеяться и перестанут тебя уважать и слушаться. Это будет очень позорно. Поэтому ты подтянись, Бибочка, не роняй своего достоинства и престижа. Да и перед школой тебе неудобно. Так-то, мой дружочек. Потом мама пишет, что вы с Настенькой живете неладно. Ссоритесь, деретесь. Вы же уже большие! У меня вас две доченьки — одинаково любимых, и меня это огорчает больше всего. У меня ведь очень мало радости! И ты с Настенькой — это мои настоящие радости, и вдруг... Вы живете как собаки! И меня, и маму это ужасно огорчает. Дай мне слово исправить свои отношения с Настей. Я тогда буду спокойно работать. А так — не могу. Расстраиваюсь очень. Ну, я уже в Ташкенте. Тут жара ужасная. Сегодня прилетел сюда, и завтра первый концерт. Я здоров, пою хорошо, хотя и задыхаюсь от жары. Но вечером тут прохладно. Прочитав мое письмо, пойди и поцелуй Настеньку и скажи: «Папа просил, чтобы мы не ссорились!» Я через месяц приеду на 2 недели в Москву, а потом опять уеду. Привезу вам целую корзину винограда. А что, яблочки были вкусны? Таких даже в Москве нет. И еще очень прошу тебя и Настю — не раздражайте маму, она и так очень устает от вас и от дачи. Когда меня нет, то ведь все дела лежат на ней. И бабушку тоже пожалейте, у нее столько хлопот и забот с вами. Ну, целую тебя, моя красавочка, всю мордашечку твою чудесную. Настеньке передай, что я ее очень люблю и скучаю по ней, по тебе и маме. Сделай это для меня, твоего папсика, которого ты как будто любишь. Поцелуй маму и Настеньку от меня отдельно.

Любящий вас папа Саша

Здравствуй, дорогой Бибулек! Я вчера расстроился, когда услыхал в телефон, что ты плачешь. Из-за такой чепухи. Не надо ссориться. Вы же у меня одни. Я простудился, но уже

проходит. Сегодня надену пальто. Спасибо, что прислали. Что пишет мама? Напишите мне по адресу: гор. Горький. Госфилармония. Мне. Числа 19-го я уже буду дома. Пою я хорошо. Успех хороший. Только скучаю по своим непослушным доченькам. Целую тебя крепко.

Твой папа

Бибуль! Эта девочка похожа на тебя. Только она отличница. А ты — нет. Но ничего. Не в этом счастье. Эта девочка красивая, но моя Биби — лучше. Жаль только — учится хуже. Что же ты там делаешь, моя красавочка? Телевизор уже смотрите по воскресеньям? Как Кузя на даче? Как вы живете с Настенькой? Исполнили вы мою просьбу или ссоритесь попрежнему? Через месяц я прилечу. Ровно 1-го ноября. Целую тебя, моя радость. Привет Настеньке, и маме, и бабе.

Папа

21/9/54

Золотой мой Бибулек!

Как тебе понравилось в колхозе? Как ты учишься? Почему не пишешь папе? Я уже кончил Киев и лечу во Львов. Скучаю по своим доченькам. Послал вам конфетки — «марципаны», их можно кушать. Не гоняй по улицам, учись английскому. Целую тебя крепко в масявочку.

Папа

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ — Л. В. ВЕРТИНСКОЙ

Киев,
21 августа 1945 г.

Дорогая жена моя Лиличка!

Вот я и в Киеве. Не могу тебе описать то чувство, которое охватило меня при въезде в этот город моего детства и юности. Изменился он мало и, кроме неузнаваемого, разрушенного до ужаса Крещатика, во всем остальном он остался таким, как я его запомнил на всю жизнь. Только стал старше немного. Деревья выросли выше и гуще, и оттого он стал похожим на человека, у которого отросли волосы.

Приехали мы вчера в 3 часа дня — тащились по жаре в поезде 20 часов, что ужасно измучивает. Но уже вечером я не выдержал и потащил Мишку[1] на Крещатик. Оттуда мы

1 М. Б. Брохес.

прошли к Днепру, смотрели на него из б. Купеческого сада. Он так красив, этот город, он напоминает немного Тбилиси, но только больше зелени и лучше здания. Они почти все целы.

Был во Владимирском соборе. Он цел также, но обветшал немного. Его уже реставрируют. Он был открыт. Мы вошли внутрь, я снова смотрел на его чудесную живопись и вспоминал, как семилетним мальчиком меня водила сюда Наташа[1], как я замирал от пенья хора и как завидовал мальчикам, прислуживающим в алтаре в белых и золотых стихарях, и мечтал быть таким, как они, и ходить по церкви со свечами... И все на меня смотрели бы... Я уже тогда бессознательно хотел быть актером.

Мы поднялись наверх, на хоры. Я показал в алтаре Божью Матерь Нестерова, в голубом хитоне, в которую я был влюблен и носил цветы. Уверенно, ни на секунду не сбиваясь, я водил Мишку по городу, называя улицы и здания,— как по своему дому. Теперь я так сильно почувствовал свое возвращение на Родину. Если Москва была возвращением на Родину, то Киев — это возвращение в отчий дом.

Сколько воспоминаний! Тут была кондитерская, где мы, гимназисты, воровали пирожные. Вот Купеческий сад, в который я лазил через забор. Вот 1-я гимназия, где я учился в приготовительном классе. Я повел Мишку в Ботанический сад — чудесный сад в центре города, огромный, ветвистый, где я узнавал каждую аллею. Сколько я бегал по ним!

И это только первый день. Я не хотел много ходить — у меня вечером концерт, и где? В том самом бывшем Соловцовском театре, где я был статистом и где открутил бинокль от кресла (я хотел его продать — я был вечно голоден) и откуда меня с треском выгнали! Улица, на которой стоит он, вся разрушена, но театр цел и невредим. Я вчера уже был в нем и узнал его до мелочей, как родное лицо любимого человека. Сегодня я буду стоять на его сцене и колдовать над публикой — бывший статист, теперь — Вертинский. Огромные афиши с этой фамилией — заклеили весь город. Ажиотаж невероятный. Билетов давно уже нет, а все хотят слышать. Администрация замучена и говорят: что вы с нами сделали! Нам не дают жить! Лучше бы вы не приезжали!

У меня чистый двойной номер в Интуристе. Кормят скромно, но ничего. Балкон и окна выходят на Фундуклеевскую улицу, которую я знаю всю наизусть. Завтра я пойду искать дом в колонии за вокзалом, где я жил у тетки. Поду-

---

[1] *Н. Н. Сколацкая* — двоюродная сестра А. Н. Вертинского.

май, сколько раз я видел во сне этот город и этот дом, и теперь я наконец увижу его наяву!

Да, Пекочка, много-много на меня нахлынуло от этого приезда. Писем в Филармонии от тебя нет. Не дошли еще. Но я получу. Пиши мне, когда пойдешь к доктору и что он скажет. Пока целую тебя крепко и любимых маленьких доченек. Привет маме.

Саша

Баку.
12 авг. 44 г.

Дорогая Лиличка!

Сегодня наконец мой 5-й и последний концерт по ВГКО. Завтра начнутся еще 5 концертов, которые я должен спеть здесь. Это уже интереснее. Погода здесь та же. Дует норд, и для меня это спасение от жары. Но петь трудно на воздухе. Ужасно скучаю по тебе и Бибуле и все время думаю о вас. Никого нет знакомых. Сижу целый день в номере отеля и не знаю, что с собой делать. От скуки травлю мух. Их тут множество. Надоело здорово. Перечел все газеты и журналы до корки. Разглядываю часто наши карточки Бибиного рождения. Интересно, начала она уже ходить? Карточки отоваривают после 12-го. Такие тут правила. Сегодня или завтра должны отоварить. Как здоровье твое и Бибиньки? Хоть бы написала мне. Баку, Интурист, и все. Купил две банки огурцов по 9 р. банка — 18 рублей. Дешево! Потом тут дают на сладкое чудные сухие фрукты, изюм, абрикосы и миндаль. Я их не ем, а коплю для тебя, Пека! Ничего интересного, так что даже писать нечего. Голос у меня очень окреп и звучит замечательно. Потому что тут море и потому что я все время на воздухе.

Пекочка, может, взять тебя в Сочи? А то ты, бедненькая, там совсем закиснешь в Боржоми! А? Посмотришь море... Подышишь другим воздухом. Только надо, чтобы бабуня осталась в Боржоми, а то Л. П.[1] одна не справится с Биби. Если хочешь, поедем. Я выеду или 18-го, или 19-го. Дам тебе заранее телеграмму. Приезжай в Тбилиси меня встречать. Как Биба? Все еще нюхает «чвитоцки» и ходит смотреть «хо-хо»? Или уже появились новые желанья? Очень я по вас скучаю, мои дорогие доченьки, и, если бы не деньги, все бы бросил и уехал к вам.

---

1 *Лидия Павловна Циргвава*— мать Л. В. Вертинской.

Ну, до свиданья. Крепко целую свою Пекульцю и Бибу — в носик и в попку. Скоро увидимся.

Ваш папа

Одесса.
21 сент. 47 г.

Дорогая Лиличка!

Пользуюсь случаем, посылаю вам кое-что, чего в Москве нет. Кушайте на здоровье, угостите М. И.[1], это продукты ее родины Одессы. Кроме этого посылаю книги, кот[орые] я купил «по блату» по госцене. Это гроши, а книги нам нужны. Дети подрастут — читать захотят. Вот и будет кое-что. Погода здесь испортилась. Похолодало.

Сегодня я пою свой концерт в зимнем театре, где аншлаг 100 тысяч, а публика 8 тыс. человек. Это стадион-амфитеатр. Таких концертов я спел два. Очень трудно. Пою с микрофонами, но успех огромный и похож на вой во время бокса в Америке. В понедельник, т. е. завтра, уезжаю дня на три-четыре в Винницу — это около Киева — по своим делам. Вернусь, буду продолжать петь Одессу, а затем, возможно, уеду в Молдавию, в Кишинев. Чувствую себя неплохо. Отоспался. Дедову траву процедил, добавил водки и снова стал пить. Жаль, чтоб пропадала. Капли тоже. По радио передавали речь Вышинского, очень тревожную, он упрекал американцев в подготовке к войне и многом другом. Публика здесь настроена довольно пессимистично. Говорят, что война неизбежна. Я ее не слышал сам, а газеты страшно запаздывают. Живу, как в деревне. Во всяком случае, реакция правительства довольно резкая и быстрая. Объявлена мобилизация демобилизованных солдат рож. 1908-го по 1924-й год. Демобилизация остальных солдат приостановлена. Неужели Америка полезет на нас? Я не верю в это. Участь немцев была для них хорошим уроком. Тут есть сигареты, я их подкупаю маненько. А туфельки были, но большие — 27—28. Поищу еще. Липстик[2] есть по 80 р. штука, я куплю тебе пару, цвет посветлей. Темного ты, кажется, не любишь. Есть чай Липтон. А главное — маслины, черные маслины! Это шедевр! Но их очень мало. Скоро придет какой-нибудь пароход и привезет — я запасусь. Скука тут адская. Тишина после Москвы... Я задумал писать не пьесу, а сценарий для кино. Это интереснее.

---

[1] *Мария Ивановна Чиликина* — знакомая по Шанхаю.
[2] Англ. губная помада.

Говорил с реж⟨иссером⟩ Сашей Разумным, он страшно загорелся и говорит, что это будет сенсация, что разрешат безусловно, и умоляет работать с ним. Решили сперва написать «экспозе» и дать т. Александрову из ЦК на прочтение, и если он одобрит, то сейчас же заняться сценарием. Меня это вдохновляет. Интересно. Мой новый администратор Бориневский оказался очень толковым и очень практичным человеком. Он долго служил в Интуристе и 8 лет жил в «Метрополе», над почтой. Жена его переводчица. Он заботится обо мне неусыпно и сам ходит на базар, все покупает умно. Книги тоже он достал. Вообще он культурный и милый человек. Гурий[1] играет плохо и многого не понимает и никогда не поймет. Что, есть какие-нибудь новости от Ротта[2]? А Марья Ивановна еще в Москве? Напиши мне все новости. Как ведут себя наши обожаемые дочули? Убрали квартиру? И как с крышей? Пиши подробно, а то я ничего не знаю. Поцелуй нежно наших писенят. Привет маме и всем домашним. Пиши на Лондонскую. По приезде из Винницы — позвоню. Крепко целую свою дорогую Пеку (любименькую жену). Храни вас Бог.

Саша

Ленинград,
19 декабря 1947 г.

Дорогая Лиличка!

Поздравь и поцелуй от меня мою млвдшую любимую доченьку Настеньку с днем рождения. Я был утром в церкви, в Никольском соборе, в 10 ч. утра — помолился о ее здоровье и о вас всех. Потом об отце, он тоже именинник сегодня. Собор большой, прекрасный, я попал в алтарь. Было очень радостно на душе, принес домой две просфиры. Ну, вчера пел первый концерт. Прием исключительный. Народу миллион. Здесь объявили 15 моих концертов, и на все — билеты проданы дотла<...>

Здесь на новые деньги довольно дороговато. Но я трачу скромно. Подумай, я забыл куртку. Послал за ней проводника, сегодня он зайдет к ВАМ<...> Погода хорошая. Но я не выхожу без куртки. В комиссионках пусто, а антикварные полны, но они были закрыты. Вчера волновались, долго не

---

1 *Г. Ласточкин* — аккомпаниатор А. Н. Вертинского.
2 *Георгий Яковлевич Ротт* — аккомпаниатор А. Н. Вертинского.

пел. Но все сошло хорошо. Целую вас, мои дорогие, крепко и нежно, приезжайте, тут ванна и горячая вода круглые сутки. Тепло. Храни вас Бог.

Ваш папа Саша

Ташкент.
17/III 48 г.

Пекочка дорогая!

Ты не можешь представить, что я испытал за эту дорогу. Приехав на вокзал, я показал билет проводнику и положил его... в наружный карман зимнего пальто, потом в купе я отдал пальто Маруське[1] вместе с билетом. И тут началось.

Сначала я заплатил штраф 142 рубля. Потом я дал телеграмму т. Егорову[2] . Но ответа не было ни на одной станции, и мне пришлось взять новый билет. Денег у меня было 300 р. 142 — я уже заплатил. В общем, с Гурием мы наскребли 200 р. А билет стоит 500 р.! 200 р. мне дал академик Умаров — узбекский академик, кот., на мое счастье, слушал меня в Политехническом вместе с министром Кафтановым. 200 у меня было, и 100 р. дал проводник. Я даю телеграмму в Ташкент, чтобы встречали с деньгами. Поезд опаздывает на 5 часов, но в пути нагоняет и приходит вовремя. Приезжаю в Ташкент, на вокзале — никого. А я должен проводнику 100 р. и не могу взять вещи. Я в отчаянье... Поезд через 20 м. уходит... и вдруг какой-то неизвестный человек говорит: т. Вертинский, вам нужны деньги? Пожалуйста. И дает мне 150 р.! Чудо! И только через час приехали на вокзал люди из Узгосэстрады. Оказывается, им сказали в справочной, что поезд опаздывает на 2 часа. И они себе спокойно сидели. Вот ужас! Дальше все уже было хорошо. Но сколько я наволновался, когда меня чуть ли не с поезда хотели снять! Я вспомнил тебя, как тебя сняли в Калинине. Ужас! Теперь все хорошо. Я в отеле. В номере цветы... Шампанское. Яблоки... и чудесные гранаты, кот. я никогда даже не видел, и изюм. Это они меня так встречают. Видно, что они старались. Но так вышло...

А потом, на мое счастье, потухло электричество на весь вечер. И вот сейчас зажглось. Я и пишу тебе это письмо. Билеты все проданы. Завтра концерт. Будем надеяться, что все будет хорошо. Тут редиска, свежие огурцы и лук зеленый, постараюсь вам послать!

Целую доченек и тебя, моя любимая жена.

Саша

---

1 Женщина, помогавшая семье Вертинских вести хозяйство.
2 По-видимому, кто-то из железнодорожного начальства.

Ташкент.
20/III—48 г.

Дорогая Пекочка!

Уже спел два концерта. Условия, о кот[орых] договорились в Москве, отпали. Из-за нового приказа Лебедева[1], кот[орый] абсолютно выбил почву из-под ног у всех людей этого рода. Но мы придумали другой способ — старый. В общем, придется больше работать. Приняли меня они от души. Номер в гостинице большой и хотя холодный, но с водой. В день приезда на столе были цветы, фрукты и вино — стараются.

Публика принимает не менее горячо. Никакой весны нет. Миндаль отцвел месяц назад и потом весь вымерз от внезапных морозов, так что у них будет «миндальный голод». Урюк — тоже. Пока сыро, холодно, особенно по вечерам, днем еще бывает солнце. Зелени нет. Деревья стоят голые. В общем, весна еще только будет в апреле. Пальто мое теплое мне бы здесь отнюдь не помешало, да и билет был бы цел. Я делаю вливанья йода. Здесь чудный врач — проф. Федорович. У него в госпитале мне делают все. Сегодня второе вливание. Узбекские артисты пришли все на концерт. Помнишь Халиму Насырову? Когда мы приехали, были на ее концерте в зале Чайковского? Вот она и оперные узбеки тоже. Театр тут построили новый, говорят, чудо архитектуры. Но я еще не видел. На днях соберутся директора из округа, будем говорить о гастролях дальнейших. Как себя ведут мои доченьки? Отдали Настеньку в группу? Халин[2] приехал? И что привез? Напиши мне подробно. Как твое здоровье и успехи в живописи? Напиши мне. Буду искать тебе горшочков. Тут есть уже огурцы, лук и редиска. Может быть, пришлю с оказией. Как кабинет? Уже красят его? Я себя чувствую неплохо. Профессор сказал, что у меня расширена печень, и дал еще «диуритин» пить целый месяц. Говорит, что витамин B_1 — очень хорошая штука. Не знаю, сколько успею сделать вливаний. Он говорит, что мое общее состояние «не так плохо». Это меня порадовало. Курить здесь нечего, а мои сигареты кончились. Перейду пока на «Казбек», а потом и совсем брошу. Кормят тут одним бараном, да и то старым. Но у меня еще есть московские запасы. Их я и доедаю. Хватит надолго. Снимали меня тут для Ташкента во всех видах и позах. Как

---

1 Работник Комитета по делам искусств.

2 *Ф. П. Халин*— работник советского консульства в Шанхае.

я ни откручивался, пришлось терпеть. Когда будут карточки, пришлю. Немного позже вышлю деньги Шпильберг[1] и в Киев. На концертах моих все сливки узбекского общества — от председателя Сов. министров начиная. Обещают угостить пловом где-то в горах. По-узбекски. Сидеть надо на полу. Как триста лет назад. Ну вот и все.

Целую крепко тебя, моя дорогая, примерная, образцовая жена, и моих очаровательных писенят. Привет Лидии Павловне. Пиши немножко.

Саша

Алма-Ата.
9 апреля 1948 г.

Дорогая Лиличка!

Вот я в Алма-Ате. Кругом высокие горы в снегу. Городок чистенький, с прямыми улицами, асфальтирован. Но скучный по вечерам, лают собаки, совсем как в деревне, а в пять утра кричат петухи. Движенья мало. Я пою в очень красивом оперном театре. Два концерта в вечер. В 7.30 и 10.30 ч. С микрофонами. Принимают, как везде,— горячо. Жрать нечего. Рестораны ужасные, и в них только селедка и баран — очень старый, со времен Тимура. Мне купили на базаре кусок мяса, и я его ем и на обед и на ужин. Два кило хватит на все мои гастроли здесь, и больше ничего нет, кроме яблок, чудесных зимних яблок, кот[орые] я не ем, а переслать вам не с кем. Холодная весна. Днем солнце иногда. Деревья еще голые. Все же это лучше, чем Ташкент. Несмотря на высоту (1600 метров над уровнем моря), я здесь себя чувствую лучше, чем там. У меня теплый номер, электрическая печка, и меня хоть не трясет целый день. Отсюда 12-го утром на самолетике У-2 перелечу во Фрунзе. Вечером дам концерты. Там пробуду три дня и оттуда в Самарканд. Но для этого надо поездом вернуться в Ташкент и поездом же ехать в Самарканд. Довольно противные здесь поезда — мягких вагонов нет. Из Ташкента, когда ехал сюда 36 часов, в купе, рядом со мной, умер человек. Его так и везли в Алма-Ату, как мертвого, но заплатившего пассажира. На меня это подействовало, можешь себе представить как... Переписываться мы уже больше не сможем, но телеграфировать я тебе буду отовсюду, чтобы ты в любой момент знала, где я нахожусь. После

---

1 *Шпильберг*— врач, знакомый по Шанхаю.

Самарканда — Ашхабад, и конец. Больше городов нет. В Ашхабаде я сяду в большой самолет и через Баку, Сталинград — за 9 часов буду в Москве, если Бог сбережет.⟨...⟩ Как мои доченьки дорогие? Убрали уже квартиру? Приеду я 27-го — 28-го. Привезу чего-нибудь к празднику... Работаю как пес — «бодро пою по казенке». В мае поеду в Киев, а потом июнь — июль буду жить с вами на даче. Эти вливания йода были большой глупостью с моей стороны, при них надо лежать, а не работать, и я чуть не сдох в Ташкенте — так плохо себя чувствовал.

Здесь разница во времени три часа. И когда я уже пью чай в 9 утра, в это время в Москве 6 часов. Я слушаю радио, и мне кажется, что я дома. Через 20 дней я уже буду дома, если Бог даст. Ну, Пекочка, целую тебя крепко. Учись хорошо. Это все, что я тебе смогу оставить. Ремесло. Целуй детей. Привет нашим бабушкам. Да хранит вас всех Господь Бог.

Ваш муж и папа— Саша.

Нальчик.
4/IX 48 г.

Дорогая Лиличка!

Сегодня в 2 ч. дня, закончив вчера гастроли в Орджоникидзе, сел в У-двашку и через 50 минут опустился в Нальчике. Я не хотел лететь в У-двашке, потому что болтает на ней ужасно, но потом подумал, сколько надо переться поездом, потом пересадка, а потом еще 2 часа машиной... и полетел. На мое счастье, погода внезално похорошела, и меня даже не качнуло ни разу. Вот я и в Нальчике. Городок обычный. Гостиница неважная, но у меня номер чистый, и есть вода. Самое главное. Получил твою телеграмму (обе), но пока ты ответила (вчера вечером), в маг[азин]е уже все раскупили. Ну и слава Богу. Здесь я пробуду 2 дня — седьмого утром на машине уеду в Пятигорск — тут часа два езды по чудной дороге (немцы еще ее построили). В тот же вечер у меня концерт в Пятигорске, и утром уеду в Железноводск. А девятого буду в Кисловодске, где задержусь не больше двух-трех дней,— и в Ростов. Теперь пиши мне на Ростов Госфилармонию. <...> Я чувствую себя совсем неплохо и работаю без особого напряжения. Моя печень, очевидно, поправилась от овощей, кот[орые] я стараюсь есть все время. Я живу в поездке, как в деревне. Ничего не знаю. Сегодня, наконец, прочел «Правду» с описанием похорон бедного Василия

Ивановича и с Борькиной[1] статьей о нем, кстати, очень неплохой. Эта смерть произвела на меня очень сильное впечатление. Я вспоминаю его последний творческий вечер в ЦДРИ. Помнишь, когда он вышел, вся публика встала? Потом я был у него. Он был грустный и усталый. И больной, как Шаляпин. Уходят мои учителя и кумиры моей юности... Будут ли еще когда-нибудь такие гиганты актеры? Едва ли. Это уходит созвездие актеров до моей эпохи, а следующее уже мое... Да...

Ну, не будем предаваться грустным мыслям, будем верить, что Бог даст мне еще увидеть своих внучат! Пока все хорошо. Я очень бодро настроен. Как мама, уже уехала? Что говорят писенята? <...> Ужасно скучаешь по Москве и всему в поездке. Сегодня, на мое счастье, в номере у меня есть радио. Я пишу письмо тебе и слушаю хор Свешникова, и мне кажется, что я в Москве и мы с тобой сидим в зале Чайковского на их концерте. В Кисловодске, наконец, прочту твои письма. Ну пока, целую тебя крепочко и доченек любимых, да хранит вас Бог.

Твой Саша.

P. S. Получили доченьки мои открыточки? И что говорили? Напиши.

Москва.
8-е июля 1949 г.

Дорогая Пека!

Что-то по письму не видно, чтобы ты о нас очень скучала! Ну, Бог с тобой, искусство прежде всего! Твое письмо шло 4 дня. А ты тут где-то рядом, недалеко от Москвы. Мы все здоровы. Дети резвятся и шалят на даче. Биби шляется то к соседям, то к Оле и Саше, а Настя дружит с Элочкой и говорит, что «отдыхает от Бибки». Недавно, сидя у меня на коленях, она оглядела меня хозяйским оком, потом похлопала по щеке и сказала: «Ты у меня красавец!» Я скромно согласился. Я частью на даче, больше в Москве. Пока идут только репетиции, примерки моих великолепных облачений, и мы уже вместе с режиссером переделываем окончательно тексты моей роли, которая написана Виртой довольно хреново. С 12-го я начну выступать в Бауманском саду.

---

[1] Речь идет о В. И. Качалове и статье Б. Н. Ливанова.

У меня 12 конц[ертов] с антуражем, я пою только одно отделение. Отпуска пока не беру. Все равно денег у Г-Б[1] нету. Их счет арестован. Возьму, когда у них деньги появятся. Лифт, кажется, закончили. О, счастье! Твое письмо передал Лидии Павловне, она тебе все вышлет. Я очень устаю. Но ничего, бодрюсь. Бибка получила официальный титул «Королевы грибов» — она изумительно их находит, и мы едим их каждый день. Приезжай 26-го. Пока. Целуем тебя всем семейством.

Саша

Львов.
25-е сент. 1949 г.

Дорогая Пекочка!

Долетел я благополучно. В Киеве имел посадку и на аэродроме встретил самолет с нашими мосфильмовцами, кот[орые] уже отыграли свое во Львове и летели домой. С ними была В. Серова, Кадочников и др. Меня встречали, и на другой день я поехал смотреть съемку сцен Ганны Лихта[2]. Встретили меня как родного. Не было ни одного рабочего, кот[орый] бы не приветствовал меня, не пожал мне руку. Я был просто растроган. На другой день, т.е. вчера, с утра начались мои сцены — молебен на площади. Потом часть богослужения — по-латыни. Я тоже выучил. А накануне я провел вечер с экспертами — католическими священниками, они учили меня богослужению и молитвам, и обрядам. И когда вчера я играл при тысячной толпе и еще большей толпе зевак — ксендзы со всего города сбежались смотреть. Они сказали Мих. Конст.[3], что такому кардиналу «мог бы позавидовать даже Ватикан», и были потрясены «благородством образа и точностью исполнения обрядов»! «Можно подумать, что он служил всю жизнь», — сказали они. Здесь был директор Мосфильма — Кузнецов. Так Мих. Конст. говорит, что он в меня влюбился. Я целиком окунулся в эту атмосферу и не замечаю усталости, хотя очень тяжело стоять на площади 12 часов подряд. Я выбирал облачение из музеев — примерял в костюмерной митры, посохи и драгоценности весь первый день. Зато все на мне подлинное, великолепное и без клюквы. Когда я вышел из машины в полном

---

1 Гастрольбюро.
2 Персонаж в к/ф «Заговор обреченных».
3 *М. К. Калатозов* — режиссер к/ф «Заговор обреченных».

кардинальском одеянии, то какие-то старухи крестились, приняв меня за настоящего кардинала. На днях пришлю тебе последнее фото. Вообще я счастлив. Концерты меня мало интересуют, и я вчера, возвращаясь со съемки, с любопытством прочел на стене афишу Вертинского. Оказалось, что он поет 25-го и что у рояля Брохес. Это не доходит до моего сознания. Но денежки нужны... и я пою. Завтра и послезавтра я снимаюсь, а 28, 29, 30 и 1-го — уезжаю в поездку в города на концерты и 2-го утром уже снимаюсь в Ужгороде. Работы много, сценарий сильно расширен в связи с событиями в Венгрии, и сцена моя будет уже не в американском посольстве, а в югославском. Кроме этого, Мих. Конст. поручил мне написать самому себе текст речи о голоде. Я написал, он одобрил, и я уже сыграл эту сцену. Попы были в восторге от текста и сказали, что она написана с большим пониманием образа и типа кардинала и вся в католическом духе. Мишка уже прилетел, сейчас был у меня и рассказал все о тебе, окнах и крыше. Опять надо ходить в Моссовет! Сегодня все наши будут на моем концерте. Вот все пока. Дальше буду писать. Целуй моих обожаемых доченек, про них все спрашивают. Из Ужгорода напишу планы на дальнейшее и дату приезда. Привезу фруктов. В Ужгороде они чуть не даром. Крепко целую тебя и муней-пуней.

Саша

Львов.
27 сент. 1949 г.

Дорогая Лиличка!

Вчера закончил свои сцены на площади и сегодня отдыхаю. Все, кажется, удачно. Я говорил речи к народу — тексты писал сам, и М. К. их одобрил. На новые сцены в Ужгороде М. К. меня просил тоже написать текст. Я уже сдал их ему. Тоже одобрил. У Вирты ничего нет. Приходится самому все создавать. Таким образом, роль кардинала выходит на центральное место. В особенности в связи с последними событиями за границей. За это время я очень подружился с Мих. Конст. Я пел концерт, и весь Мосфильм пришел меня слушать. Я спел «Беса». Мих. Конст. сказал, что я «великий актер», а про Беса сказал, что это вообще гениально. Наш оператор Магидсон тоже был потрясен и хочет снимать весь мой концерт на пленку. Я совершенно уже отравлен фильмом и не могу от него оторваться. Переживаю за всех. Вот что значит крепкий коллектив! Это вопрос самолюбия каждого из

нас. Завтра у меня концерт в Дрогобыче, потом опять Черновцы и оттуда в Ужгород.

Концертов будет немного, потому что глав[ный] устроитель Островский ушел в отпуск и тут осталась одна мелкота, кот[орая] не хочет работать и кот[орой] наплевать на все и на мои концерты тоже. Вообще нигде я не видел столько бездельников, как тут. По улицам города целый день фланируют паны и паненки, кот[орые] нигде не служат и не хотят служить. Все они занимаются «гандлем» — торговлей, перепродавая друг другу отрезы и всякие другие вещи. На это живут, а в субботу идут в «ресторацию» со своими «паненками» и танцуют. Все в длинных пиджаках и причесаны «по-голливудски», как армяне из Еревана. Посылаю тебе ряд разных фото. Тут нас заедают поклонники, на массовках их сотни, и все они хотят «сняться» с Дружниковым и мной, чуть меня не задавили, так все лезут в аппарат, и даже старухи. А глазеющая толпа — еще больше. Не дают работать, и мы их поливаем из кишки пожарной, чтобы разогнать. Они мокнут, идут домой, переодеваются и опять приходят. Ужас! У гостиницы стоит день и ночь толпа и выкрикивает «Дружников», «Кадочников» — даже ночью. Мы никуда не выходим.

Ты, конечно, газет не читаешь и не знаешь, что в Америке паника. Посылаю тебе вырезку. Это значит, что войны не будет и наши дети могут спокойно расти, а страна наша — цвести и строиться. Прочти внимательно и спрячь. Я ее хочу остеклить и в рамку взять. Завтра улечу в Черновцы. Ну, целую тебя и моих «собаков». Скучаю по вас, моя дорогая семья.

Саша

Владивосток.
11 окт. 1950 г.
гост. «Интурист».

Дорогая Пекочка!

Совершенно замучился с этой проклятой дорогой. Девять дней! Спать невозможно — качает и трясет. Есть нечего, кроме взятого с собой. В ресторане ужасная гадость и вдобавок ко всему — собачий холод, топить будут с 15-го! И, как на смех, со мной в вагоне ехали угольные генералы из М[инистерст]ва уг[ольной] пром[ышленности] — здоровые, как медведи! В первый вечер они напились в дымину, вытащили меня из купе и чуть не задушили в объятиях. Потом стали учить проводника всем вагоном, как воровать уголь на станциях с платформ. Он долго отказывался, потом согласился, бед-

няга. С самого начала мне пытались подсадить в купе даму с ребенком. Я поднял страшный «хай», вызвал нач[альника] поезда и стал на него орать. Потом прикинулся сумасшедшим и стал грозить, что выброшусь из поезда. Они испугались и дали мне мужчину — уголь[ного] генерала. Он меня мало беспокоил, так как все время пил в ресторане или играл в купе в преферанс. Приходил только ночью — спать. В Новосибирске они все слезли, и я остался один в купе уже до конца поездки. Девять дней мой слух терзало радио, которое фальшиво, детонирующе до ужаса, играло пластинки Утесова, Бернеса и др[угих] светил нашей эпохи. Особенно много было Александровича на еврейском языке. Почему? Не знаю. Потом, когда население поезда узнало, что я еду,— началось массовое паломничество пьяных пассажиров. Меня обнимали, тискали, обслюнивали и чествовали насильно до потери сознания. Я вспоминал слова Саши Черного:

Боясь, что кого-нибудь плюхну,
Пробрался тихонько на кухню
И плакал за вьюшкою грязной
Над жизнью своей безобразной!

Под самый конец меня поймали в ресторане молодые летчики и моряки — очень славные ребята, которые с таким обожанием слушали меня, окружив кольцом, и так благодарили меня за то, что я вернулся на родину, и за песни, с кот[орыми] они, по их выражению, «с детства не расстаются», и за то, что я стал играть в кино... что это меня как-то утешило, и я подумал, что, в сущности, публика не виновата в том, что я избрал себе такую профессию, в то время как, если бы я был инженером, или банщиком, или, на худой конец, ветеринаром, я бы тихо и скромно ставил клизмы коровам и меня бы никто не знал и не чествовал! Так в размышлениях я доехал наконец до Владивостока. Отоспался, и вечером мы все пошли в цирк, «чтоб забыться». Сегодня первый концерт. Я простужен и чувствую себя неважно. Город огромный, грязный, мощенный булыжником, битком набитый пьяными. Сюда из Магадана прибывают время от времени отсидевшие сроки преступники, набитые деньгами, скопленными за долгие годы работы в лесах, и др., и пропивают их в несколько дней. Потом начинают грабить и опять садятся на прежнее место. Драки на каждом шагу, город портовый, и страсти тут морские, буйные. Никаких комиссионок тут нет. Так что твои мечты развеялись прахом. То есть они есть, но, кроме рваных брюк и стоптанных ботинок, в них

ничего нет. Кораблей никаких нет, кроме наших. Губной помады никто не привозит. О, ужас! Правда, на базаре, говорят, продают живых крабов. Но кто их будет варить? И с чем их есть? Майонез остался у Елисеева. А устрицы вообще обиделись и ушли отсюда вместе со старым режимом. Такова картина «на сегодняшний день», как говорится.

Как прошла твоя проба? Напиши мне подробно о своих переживаниях в Мосфильме. Меня это интересует. Как встретили тебя в институте? Как ремонт, а главное, как мои обожаемые «сябаки», «сюкины дети»? Кто водит Бибочку в школу? Пиши скоро и только авиапочтой. Я пробуду здесь дней 15—20. Потом Хабаровск, я тебе оттуда протелеграфирую адрес, а то филармония может затерять письма.

Я долго думал над ролью Скотта[1] и решил, что она мне не подходит. Во всяком случае, в интерпретации Довженко. Притом я из тех актеров, которых нельзя учить и переделывать на свой лад. Мне надо дать играть так, как я понимаю роль. Тогда будет хорошо, а иначе я не отвечаю за нее. Так было во всем моем творчестве, я одиночка и отвечаю «сам за себя» — так должно быть и дальше. Калатозов меня не трогал — дал играть, как я хочу, — вот роль и удалась. А тут... В общем, я решил не гоняться за этой ролью, а лучше посидеть в турне подольше. Возможно, что я и к Новому году не приеду. А что? Особого удовольствия посидеть в Доме актера одну ночь я не вижу, да и ты тоже. Лучше работать и заработать денег детям на дачу! Если бы Мих[аил] Конст[антинович] дал мне роль Локарта[2], было бы интересно. Я бы сыграл такую штучку, перед которой «кардинал» бы показался пустяком! Но он не начнет скоро, у него еще нет даже сценария. Я успею, я скучаю, Муничка, по своей грузинской жене и украинским детям с кубанским характером. Напиши, кто звонил и что говорил.

Как доченьки оценили новые кроватки? Как их шубки — отнесли? Здесь холодно, но в шубе жарко. А дальше — в Хабаровске и Чите уже морозы! Так что одет я правильно. Предстоит тяжкий путь на Сахалин и по разным точкам. Все же работать интереснее, чем сидеть сложа руки.

Ну, до свиданья, Пекуля. Крепко целую тебя в ямочку на правой щеке, в носик и в губки. Писенят тщательно облизываю и пишу им отдельно открыточки. Привет Л[идии] П[авловне].

Храни вас Бог.

Ваш шмуз и папа Саша

---

1 Персонаж в к/ф «Прощай, Америка».
2 М. К. Калатозов предполагал снять к/ф о т.н. заговоре послов.

Владивосток.
21-е октября 1950 г.

Моя дорогая Лиличка!

Сегодня вечером очень скучал и как раз весь день думал о тебе и детях, и поэтому особенно был рад получить перед самым концертом твое уже второе письмо. Это так успокаивает, когда знаешь, что дома. Ну, я рад за тебя, что ты постепенно обретаешь себя в искусстве и идешь верной дорогой. Надо учиться у своего глаза, сердца и ума. Короче говоря, надо учиться у самого себя. Потому что если у тебя есть талант, то он, во-первых, «божественного происхождения», а во-вторых, он уже не подведет — такой учитель. А школа — это только «курс грамоты», который надо хорошо пройти, чтобы правильно записывать то, что диктует талант. Поэтому работай, как тебе подсказывает он. Ну, я пою. Уже спел 10 концертов. Город отвратительный. Дуют ветры. Ничего нет, хоть шаром покати. Есть нечего. Бегали на базар. Там тоже ничего. В ресторане — травилка и хамство. Хотели мяса кусок купить и у них изжарить — не приняли. В гастрономах ни колбас, ни сыру, ни даже масла, белый хлеб надо искать по городу. Но наплевать. Мне ничего не хочется. Скоро отсюда уедем в Хабаровск, а оттуда на Сахалин. До 30-го пиши сюда, а потом в Хабаровск — Госфилармония, если я улечу — мне перешлют. Вчера отправил письмо Довженко с отказом от роли. Пусть сходит с ума за свой счет, а я не хочу рисковать своим именем, играя, как выученный попугай, то, что ему взбрело в голову. Письмо, конечно, вежливое, с соблюдением всех «аппарансов». Я что-то совсем перестал думать о кино. Надо делать деньги на дачу или квартиру, как ты захочешь. А здесь масса точек, кот[орые] можно петь, и на меня в филармонии уже сотни заявок отовсюду. Вот и буду петь «до <...> смерти» — все равно второй раз я уже сюда не попаду.

К праздникам, вероятно, не попаду домой, а в конце января или февраля — приеду. Что же, надо работать! А кино, ты права, от меня никуда не уйдет. Еще будут сто ролей. В Хабаровске, может быть, мне дадут вагон-салон, чтобы ездить по веткам. Там будут и проводник и кухня. Будем опять в тепле, потому что дальше гостиниц нет. Прием везде хороший, но понимают меня, конечно, хуже, чем в центрах. Все время плохо с желудком, а тут еще в аптеках нет лекарств. Надо было с собой все брать. Сердце меня не беспокоит. Хотя я не лечусь и даже порошков этих не пью. Все же меня очень держит сознание, что я работаю для

своей семьи. Очень мелких и тяжелых — в смысле переезда — точек я избегаю и маршруты просматриваю сам. С меня хватит работы и в больших городах. Написал Калатозову. Читать тоже абсолютно нечего. Книг в магазинах нет.

Был тут чтец Кочарян. Уже вчера уехал в Москву. Он тут с июля крутится. Заработал денег. Писать тебе больше не о чем. Спасибо за письма, пиши, не ленись — это моя единственная радость.

Бедный Ванин[1]! И у него ничего не вышло с Довженко!

Как здоровье Никулина[2]? Не звонил? Ну, Пекочка, моя маленькая, будь здоровенькой, не бегай в «лобзададуйчиках» в институт, одевайся потеплее, учись, трудись — ты гражданка страны трудящихся! Скоро увидимся. На праздниках не скучай, но до них еще далеко. Целуй моих обожаемых писенят — душа по ним тоскует.

Привет маме.

Храни вас всех Бог! *Твой Саша*

Владивосток.
22-е окт. 1950 г.

Пекочка!

У тебя нет конвертиков? Купи. А то ты посылаешь мне письма в конверте Дома актеров. Сегодня послал тебе письмо, а потом вспомнил: купили краба на базаре. Живого краба. Краб сдох. Или притворился мертвым. Мы понесли его в ресторан, чтоб сварить. Там его, во-первых, раскритиковали и сказали, что он несвежий, а потом вообще не захотели варить. После больших скандалов его наконец взяли варить. Он был без движенья. Но когда его сунули в кипяток — он побежал... и оказался живехоньким. Мы его съели. Ничего, краб как краб. И даже довольно вкусный. Но сначала он целый день лежал в номере у Мишки, и Мишка боялся, что он залезет ему в кровать, и дрожал всю ночь. Мишка <...> обходил его, как цепную собаку. А собак он боится больше всего на свете. Письмо твое шло 12 дней. Дольше, чем поезд. Это значит, что самолеты не ходят. Вот и пиши при таких условиях!

Надоело мне ездить катером на Русский остров. Океан. Здесь ведь не море, а Тихий океан. Ну, волны, горы вдали, крепость — на вид зеленые, а на самом деле — не тронь!

---

1 *Ванин, Василий Васильевич* — актер.
2 *Никулин, Лев Вениаминович*— писатель.

Корабли наши разные. А я часто гуляю и стою на набережной и смотрю, как подъемный кран грузит песок. Это успокаивает. Ин[остранных] кораблей теперь нет. Только наши. В порту тихо. На днях уезжаю «на ветку». Мне дал салон-вагон нач[альник] дороги. Будут проводник, мягкие койки, даже кухня. Будем варить в вагоне суп и ездить по линии. Гостиниц нет. А в вагоне будем жить две недели. Как в гостинице.

Театры всюду холодные — я кашляю посреди пенья и проклинаю свою жизнь. Топить, говорят, будут с 15-го ноября. А пока — душа с тебя вон — пой! Тут ко мне лезут разные люди и изъясняются. Надо много терпенья, чтобы деликатно их выставить. Сегодня весь вечер лез один пьяный моряк. Еле спасся от него. Уехал на концерт. Ты не думай, что я жалуюсь, я просто описываю тебе свое положение. А так все хорошо. Все в порядке. Сегодня написал письмо Нине Ивановне. Она ответит, и я буду знать все новости Мосфильма. Тут был Павлик Кадочников и имел большой успех <...>. За картинами тут очень следят — другой жизни нет. И все знают. Меня мальчишки тоже приветствуют, как в Москве. Виктор[1] с отвращением носит мои письма на почту — авиа надо ждать 2 ч. в очереди, и он злится. А я хочу квитанцию. Иначе не верю. Жрать катастрофически нечего. Стараюсь вставать попозже.

23 октября.

Получил твою телеграмму. Что бы это могло значить? Я думаю, что это вина авиапочты. Самолеты не ходят из-за плохой погоды, и письма где-то застревают и ждут ее. Сегодня вернулся с концерта. Пел «Артем-Уголь». 60 километров туда и 60 обратно — замерз. Ноги особенно. Голос тоже, не могу петь. Что-то мешает в горле. Театры нетопленые. Вспомнил то время, когда по приезде в СССР пел в холодных театрах. Тогда была война. Не топили. Теперь тоже не топят. Купил коньяку и кое-как разогрелся. Понимают плохо, а принимают хорошо. Мне в цирке рассказывали клоуны, как погибла моя приятельница, такая Ирина Бугримова. Помнишь, я тебе рассказывал, что я пел в Казани в цирке, а она пришла, познакомилась и сказала: «Пойдемте, я вам покажу моих мальчиков!» Я думал, что у нее дети, и пошел. А оказались львы. Так вот эти львы ее и растерзали. Самый главный лев,

---

1 Администратор А. Вертинского. Фамилия не установлена.

которому она клала в пасть свою голову, прикусил ее. Она вырвалась израненная, по лицу ее текла кровь. Когда лев увидел кровь, он осатанел и, ударив ее лапой в спину, переломил ей хребет. На другой день она умерла. Хотели облить зверей из пожарных шлангов, как полагается, но в них не оказалось воды. Так она и погибла. А я еще говорил ей: «Не надо мучить животных! Зачем вы занимаетесь таким скверным ремеслом?» Она была уже пожилая женщина, но она училась этому с детства, и другой профессии у нее не было.

Я занимаюсь песнями. Смонтировал, наконец, «Красавец России» Смелякова и начисто составил текст. И «Аленушку» тоже. Написал кое-что, но мне не нравится.

Во сне каждую ночь вижу тебя и доченек, и все страшно. Просыпаюсь в ужасе. Скучаю и смотрю на карточки: «Где ж мои муни-пуни?» Завтра уезжаю отсюда. Наконец. Очертел мне этот город! Грязь одна. 14 концертов! Хватит с них!

24 окт. Утро.

Вчера простудился, по-видимому. Это ночи. Очень тонкие подошвы в лак[ированных] туфлях, и хотя я надел теплые носки сверху — все равно простудился. Это уже второй раз. Из вагона буду писать. Оттуда письма, наверное, будут идти годами. Это глушь. Завтра пою Ворошилов — Уссурийский — три дня, а потом пересяду в вагон и — две недели, и только после этого попаду в Хабаровск, где надеюсь найти твои письма.

Как твои успехи, Пекочка? Еще никому не показывала? Интересно. А доченьки хоть вспоминают меня или забыли? Ну, до свиданья, Пекуля. Целую тебя в мвсявочку, не скучай, не беспокойся за меня — ничего со мной не сделается. Биби и Настеньку нежно целую. Будьте здоровы все.

Саша

Ст. Смольянинская.
31-е окт. 1950 г.

Дорогая Пекочка!

Сижу на завалинке станционного амбара и пишу тебе письмо. Тут бродят утки, гуси, куры и козы с козлятами. Все голодные и ищут себе пропитанья, копаясь в мусоре. Мы только что «позавтракали» чаем с сухим черным хлебом

и сходили на базар. Там, кроме семечек, ничего нет. Но мы вчера купили во Владивостоке мяса и зелени и сегодня будем готовить борщ. Неизвестно, что получится. Проводница какая-то «психа» и ничего не умеет.

Вагончик у нас маленький, в нем всего четыре места, а нас с проводниками пять. Причем их надо кормить, одна спит на полу. Трясет и мотает нас страшенно. Маневровые паровозы бьют нас целым составом в грудь. Тогда все стекло летит на пол, а Мишка падает с верхней полки, где он «во снах и грезах» проводит большую часть суток. Так целыми днями мы стоим где-нибудь на задворках маленьких станций, а вечером за нами приходит машина и берет нас верст за 20—40 в Дека, которые мы и обслуживаем. Вагончик дрянной, и мы голодаем. На базарах ничего нет. Приходится питаться консервами, от кот[орых] у меня расстраивается желудок.

После двух-трех таких концертов мы возвращаемся во В[ладивосто]к, где опять поем какой-нибудь концертишко где-нибудь в санатории. Сегодня или вчера исполнился месяц, как мы уже ездим, а еще ничего не сделано. Десять дней взяла дорога и только 20 дней рабочих. За это время я и спел 20 концертов, не потеряв ни одного дня. Условия очень неважные. Клубы нетопленые до сих пор. Света нет. Инструменты убийственные.

Я все время простужен и никак не могу вылечиться. Скоро закончим здесь по линии и числа 10—12-го будем в Хабаровске. А может, и раньше. Плана у них нет, и ничего вперед не знаешь. Вообще халтура в этой филармонии страшная. Хотя люди неплохие, но работать не хотят. Им неинтересно.

Что у тебя нового? Пиши в Хабаровск. Я пробуду там недолго, 3—4 дня. Мы не хотим сейчас петь в Хабаровске, потому что идет зима и надо проскочить Сахалин до морозов, вот мы и торопимся туда сперва. Скучаю по вас, мои дорогие. Как мои красавицы доченьки? Как жизнь в доме? Кто звонил? И нет ли чего нового? Целую тебя крепко. Пиши. А то я как на фронте.

Саша

5-е ноября 1950 г.

Дорогая Лиличка!

Только вчера отправил тебе два письма, а сегодня опять пишу. Это мое единственное утешение — поговорить с тобой

в письме. И хотя ничего нового за это время у меня нет, все же пишу. Как-то легче делается. Сегодня здесь тепло — синее небо, солнце. Сейчас 9 ч. утра, а у вас 2 ч. ночи, и вы еще спите — и ты, и доченьки. Я уже час как проснулся и обо всем передумал. Надо будет купить квартиру. Хотя жалко, что эта нам стоила так много денег и ее надо отдавать даром. Но ничего. А на дачу я заработаю в будущем году. Купил стихи Щипачева. Ничего себе. Пишет как нужно. Иногда трогает, но удовольствия его стихи не доставляют. Потерял свои очки. И к лучшему, а то они были уже слабы для меня. Теперь у меня новые, сильнее, и читаю в них, не утомляя глаз. Вчера концерта не было и до 9-го не будет. Пять дней отдыха. Пора, а то голос утомлен ужасно, да и кашель не проходит. За это время мы переменили парад. Тут все использовано — 24 концерта дал Вл[адивосто]к и район, 9-го первый к[онцер]т в Хабаровске. А завтра в 2 ч. дня мы отсюда отбываем в Х[абаровск] седьмого утром, в день праздника. Получил теплую поздравительную телеграмму — спасибо. В Хабаровске пять концертов и — на Сахалин. Как твои дела, Пекочка? Пиши мне почаще. Я тебе протелеграфирую мой Сахалинский адрес.

В общем, я чувствую себя неплохо, и если отдохну эти 5 дней, то и совсем будет хорошо. Все мы скучаем. Знакомых нет ни у кого. Приходил цирковой приятель мой — Жеребцов. Силач, один поднимает двух коров. Страшной силы человек, настоящий русский богатырь. Добрый, как дитя, и мой горячий поклонник. Тут много интересного, ведь тут рядом — Китай и Корея. Приеду — расскажу. Целую тебя крепочко, моя дорогая верная жена Пека, Биби и Настеньку. Всего хорошего вам к празднику!

Саша

9 ноября

Я уже поправляюсь, Пекочка, но все гудит... в голове шум, сердце стучит... и, главное, это вечное (в последнее время) непрекращающееся беспокойство. (Куда бежать? Что делать?) И главное — дети!

Мне много лет. Как они вырастут? Доживу ли я до этого? Как их обеспечить? Все это мучает меня и терзает дни и ночи. А тут еще расхлябанный нервный аппарат актера-одиночки, дуэлянта и безответственного диктатора своих собственных идей — фактически не признаваемого страной, но юридически терпимого. А на самом деле — любимого народом и признанного им.

Что писать? Что петь? Есть только одна правда — правда сердца. Собственной интуиции. Но это не дорога в искусстве нашей страны, где все подогнано к моменту и необходимости данной ситуации. Сегодня надо писать так. Завтра — иначе. Я устал и не могу в этом разобраться. И не умею. У меня есть высшая надпартийная правда — человечность. Гуманность. Но если сегодня нам не нужна она, значит, надо кричать: «Убей!» и т. д. Все это трудно и безнадежно. И бездорожье полнейшее! От моего проклятого искусства, искусства игры на тончайших и скрытых чувствах и нюансах человеческой души, во мне развернулась сложная и большая машина. Эти маленькие тайные моторы стучат и дрожат и работают на холостом ходу — после концертов или после болезни — и буквально сводят с ума. Целые дни и вечера в голове несутся отрывки мелодий, строки стихов, просто наблюдения, встречи, взгляды, мелочи... Все это шумит, перебивает друг друга, и я часто думаю: уж не сумасшедший ли я? Точно через мою голову льется какой-то поток. Какая-то река, вроде Куры, которая несет щепки и мусор. И только одно-единственное средство — алкоголь. Он оглушает, успокаивает и заставляет исчезать всю эту свистопляску.

Вот почему я после концерта всегда пью.

Извини меня за это письмо, я еще болен. Скоро я приду в себя и в Москве уже буду в порядке. Числа 17-го утром буду в Москве. Доченек — моих ангелочков Божьих — и тебя, мою дорогую жену Лиличку, нежно целую.

Ваш Саша — папа

13-е ноября 1950 г.
Хабаровск.

Дорогая Лиличка!

С большим трудом купил тебе в подарок эту редкую книгу. Ее невозможно достать, т. к. она издана в очень ограниченном количестве. Это антология грузинской поэзии. Все сегодняшние и старые поэты Грузии представлены в ней, тебе это будет интересно почитать, ты же у меня настоящая грузиночка! Посылаю ее бандеролью, чтобы не таскать за собой и не платить за багаж в самолетах. Вместе с этой книгой посылаю второй пакет. Это библиотека поэтов, которую я собираю. У меня будет маленькая специальная полочка для них.

Сегодня вечером у меня тут последний концерт, и завтра утром я улетаю на Сахалин. Это недели на три. Вернусь сюда, в Хабаровск. И отсюда улечу на Магадан. Таковы пути мои, начертанные Богом. Очевидно, я должен исходить все пути и дороги моей родины, чтобы, выражаясь языком поэта, «глаголом жечь сердца людей».

Людей меня слушают тысячи, и слушают затаив дыханье, но «жгутся» ли их сердца, или нет — я не знаю. Впрочем, у некоторых они долго пылают, и при встрече со мной они выражают мне свои восторги, не давая мне проходу. Вчера купил себе коробку носовых платков цветных (рижских) и замшевые кирпичные туфли. В Москве этого не достанешь. Я все еще не вылечился от кашля и пою очень трудно. Целыми днями думаю о тебе и доченьках. Как они выглядят в шубках? После Сахалина полпути уже будет сделано, и станет легче подвигаться к Москве. Пиши мне: Южно-Сахалинск, Госфилармония, а я по приезде завтра тебе протелеграфирую для точности свой адрес гостиницы.

В общем, я чувствую себя неплохо. И когда кашель пройдет, совсем будет хорошо. Была ли ты у врача? Как твои ножки? Одевайся потеплее. [...] Уже холодно, и скоро будут морозы.

Целую тебя крепко в мордочку и в твердый грузинский характер. Твой муж.

«Добродушный хохол»

Саша

P. S. Доченек обожаемых поцелуй за меня.

Южно-Сахалинск.
17 ноября 1950 г.

Дорогая Пекочка!

Вчера прилетел сюда из Хабаровска. Там я кончил 12-го, но три дня ждал самолета — не было. Наконец вчера выпустили нас. А тут, в Южно-Сахалинске, отложили два концерта, потому что я должен был петь 14-го уже. Паника была страшная — звонки, телеграммы... Но ничего не поделаешь — ждали погоды. В Хабаровске было 25° мороза, а в облаках 35°. И самолет не отапливался — трубы замерзли. Можешь себе представить, в какую сосульку я превратился за 3 часа полета! Но вечером уже стоял на сцене — пел и улыбался. А все потому, что здесь получил твое и доченькины письма! Это меня очень поддержало. Тут у меня шесть концертов,

а потом дальше: Комсомольск — Николаевск — Сов. Гавань — буду двигаться на самый крайний север Малой Земли, как здесь называют Сахалин, а вы — Москва, это Большая Земля! Хорош бы я был, если бы уехал в драповом пальто! Мне и в шубе-то холодно! Край тут большой, и даже невозможно посчитать, где я буду петь, потому что артисты сюда хорошие не едут, интерес к ним огромный, и людям хочется послушать. Со всех концов Малой Земли летят телеграммы в филармонию. Боятся, что я проеду мимо. Все это очень трогательно, и как-то совестно отказывать этим дальним точкам нашей родины, приходится терпеть и соглашаться. А условия жизни и переезда очень трудные. Почти всюду самолет, а в такое время — это мука. Да и вообще я их побаиваюсь. Но... ничего не попишешь! Раз попал сюда, надо «выполнять задание», как у нас говорится. Кормят тут прилично, и ты не думай, что я ем одну колбасу. Номер у меня пустой, но большой и теплый. Кровать мягкая. Что ж еще. Только вчера вернулся из концерта, зажег свет, смотрю — крыса бежит через всю комнату и в дырку в угол! Я поднял «хай», вызвал директора. Дырку заложили кирпичами, и я спал спокойно. Я ведь их боюсь до полусмерти! Принимают меня очень тепло и слушают затаив дыхание. Пиши пока сюда. Адрес мой: Южно-Сахалинск, гост. «Дальневосточник», поцелуй моих куколок-доченек и скажи, что папа очень благодарит их за письма. Настеньку за то, что читает по-английски и пьет рыбий жир, а Биби за четверки, и тысячу поцелуев. Привет Лидии Павловне.

Целую тебя крепко. Хорошо, что ты поговорила со студентами, они тебе правильно сказали, а я тебе еще раньше говорил, что «учиться надо у самого себя». И зорко разглядывать других. Ту фразу Чехова, кот[орую] я тебе писал, надо тоже понять. Он говорит: «Надо писать не так, как есть, и не так, как должно, а так, как ты мечтаешь!»

Вот видишь, как это правильно. Надо прислушиваться к себе и уважать свое мнение — если так можно выразиться. Прежде чем писать данный объект, ты спроси: Лидия Владимировна, а как бы Вы это написали? И пиши так, как она хочет! Но старайся держаться в границах разумного и очень уж большой воли ей не давай! А то она может Бог знает куда зайти! Вот тебе мой совет.

О Мосфильме я и не думаю. Играть то, что они предложили — злодеев и шпионов,— меня не увлекает, а настоящей роли нет. Так чего же мне торопиться? Роль меня сама найдет.

Ну, еще раз до свидания!

Крепко вас целую. Храни вас Бог

Саша

P. S. Посылаю доченькам серебр[яные] бумажечки от чая и от папирос. Пусть играют. Я курю теперь хорошие сигареты, а то горло болит от дряни.

21 ноября 1950 г.

Дорогая Лиличка!

Сегодня уезжаю в Корсаков. Это недалеко, там три концерта. Вернусь и уже пересяду в вагон-салон. Буду ползать по острову и петь разные «точки». Это значит — отцепят вагон на какой-нибудь станции и стоишь весь день. Вокруг никого и ничего. Вечером за мной приходит машина и везет куда-нибудь. Километров за 20 — петь. Потом назад в вагон. Покушал — и спать. А ночью уже подцепят вагон к какому-нибудь поезду и повезут дальше. Утром проснешься — уже другая станция и т. д.

Я буду ездить вагоном дней 10—12. Потом вернусь сюда и... дальше неизвестно. Или на Сев[ерный] Сахалин, или вернусь на материк, т. е. в Хабаровск. Сегодня выпал снег. У меня в номере собачий холод. Был сильный шторм, порвал элект[рические] провода, и моя гостиница без света, без воды и без отопления. Впрочем, воду уже наладили. Тут много мышей, и они жрут все. Я прячу свою колбасу и хлеб за окном. Они достать не могут. Так они вчера увели мое мыло. Целый кусок! Я закрыл дырки кирпичами, но не помогает. Говорят, японцы здесь прежде разводили крыс. Не знаю, для чего. Вот они и обнаглели. «На периферии», говорят, есть в универмагах чехослов[ацкое] дамское белье, шелковое. Я куплю «на глаз». Просил тебя дать мне свои размеры, а ты не дала. Вот и угадывай!

Здесь раньше жили японцы, и все постройки очень легкие, из фанеры и папье-маше, поэтому везде холод собачий. Отопление — горшок углей посреди комнаты, и все. Если пожар, то все дома сгорают за 10 минут, как картонажные домики, и целыми кварталами. Все домики одно-, максимум — двухэтажные. Из-за землетрясений. Тут потряхивает время от времени. Если будет сильный снегопад, мои концерты остановятся — заметает дороги, и сообщение прерывается. Тогда улечу в Оху и в Николаевск — на Крайний Север, а так я еще

дней 20 буду на Юж[ном] Сахалине. Между прочим, не удивляйся, если долго не будет писем. Отсюда они идут месяцами. А из Москвы сюда — быстро. Послал тебе телеграмму 16-го. Просил ответить телеграфно — как дома? Но ты не ответила. Но, даст Бог, все хорошо у вас, и дети здоровы. Я держусь бодро, и кашель уже прошел. Пою хорошо. Принимают меня исключительно горячо. Все концерты полны, все продано. Выйти нельзя даже на улицу. Подходят. И проедают плешь. Но такова моя судьба.

Целую тебя, друг мой, крепко и деточек моих драгоценных.

Саша

Холмск.
4 декабря 1950 г.

Дорогая Лиличка!

Случайно на несколько часов приехал в Ю[жно]-С[ахалинск] и получил твое письмо. Страшно обрадовался. Сразу послал телеграмму. Я живу в вагоне и езжу по острову, пою разные «точки». Восточные главным образом. Может, пурга и заносит все на свете — и вагон, и пути, и машины, которые за мной приезжают, но упрямо и твердо мы двигаемся вперед и побеждаем природу. Как нам удалось вырваться сегодня сюда из Паранайска, я и сам не знаю. Бог за меня. Впереди пустили снегоочиститель и подцепили наш вагон к ударному составу — и мы прошли. В вагоне тепло. Проводница нам готовит борщ, и живем мы прилично. Но доставать продукты трудно. Цены тут аховые. Например, мясо 45 р. кило. Яйца 75 р. десяток, правда, я их не покупаю, но вообще — как тебе нрввится? В магазинах, кроме конвертов и спирта, ничего нет. Он страшный, из древесины, его зовут «сучок» или «лесная сказка». Пьют не разбавляя и потом запивают водой. Никто из актеров сюда не заглядывает, кроме халтурных бригад, поэтому мои концерты — событие огромной важности и значения. Один чудак даже сказал: «Мы видим в этом заботу правительства о нас...» Я его не хотел разочаровывать и скромно потупил очи... Бедняжечка, если бы он знал, что это я сам гоняюсь за «длинным рублем», как тут говорят. Кстати, вчера на улице один пьяный пел:

Сахалин мой, Сахалин!
Сопочки с углями...
Завались ты, Сахалин,
С длинными рублями.

А так все хорошо.

Недавно в одной дыре пьяные железнодорожники чуть не сорвали мне концерт. Стали заказывать: спой «Белогвардейские лимончики»! Орали. Я уж хотел повернуться и уйти, но вступилась публика. Их вывели и арестовали, потому что в театре сидело все начальство и даже прокурор. Потом оказалось, что один говорил: «Я сам слышал, как он пел в Киеве белым генералам эту песню!» А у меня отродясь таких песен не было! В конце концов выяснили, что это Утесов пел, и я пострадал за популярность его блатного репертуара! А в общем, если не считать мелочей, публика здесь благодарная. Много пел у летчиков. Они меня обожают и закатывают овации. Мы все очертели друг другу. Мыться можно только из кружечки — лицо и руки. Сидим немытые. Злые. Одичавшие. И я ругаюсь ужасно. Все больные «сутраматом» — это я открыл эту болезнь. В переводе это значит «с утра — мат». Все же самое трудное через неделю останется позади. Дальше работа на материке, где все же есть гостиницы и кой-какие удобства. Главное было проскочить Сахалин до заносов, и мы, кажется, проскочили. Осталось 4 конц[ерта] в двух городах и два в Ю[жно]-С[ахалинс]ке, и я улечу в Хабаровск, а там Чита, Улан-Удэ и т. д. Говорят, там морозы в 35°. Но это полбеды — буду сидеть в гостинице, а поезда топят. Полработы уже сделано. Еще месяца два — и я буду дома. Поздравь мою обожаемую младшую доченьку 19-го и скажи, что папа ее целует всем сердцем, и душой, и глазами, а приедет — привезет подарочек. Все же купи ей что-нибудь от меня тоже. Очень грустно, что Бибочка болеет. Смотрите за ней. Она такая живая и много бегает и от этого простуживается.

Не беспокойся, я пью мало, ибо тут ничего нет, кроме спирта, и вообще ничего нет. (Вот толкнули паровоз, наш вагон — и упала свечка и залила письмо стеарином.) Толкают нас дни и ночи, и я просыпаюсь каждые 10 минут. Для спанья урываю время остановок. А то еще начинает все лететь на пол — посуда, графины, термосы, чемоданы... Природа тут мрачная... санки, снег и сухие деревья.<...> В клубах, где я пою, холод собачий, и натопить их нельзя японскими печечками. Публика сидит в тулупах, а я синею за концерт. Зато потом отогреваюсь в вагоне. Бедность ужасная, край еще не освоен, а один «псих» написал книгу: «У нас уже утро», где расписывает такое благополучие, что уши вянут. Чуть не лимоны и апельсины зреют... Сады цветут... гиганты строятся!..

Получил Ст[алинскую] премию 3-й степени. Прожил тут 4 месяца и, написав, удрал в Москву. Все смеются, говоря об этой книге. Бред! Говорят, ему уже попало за «очковтирательство». В общем, ты обо мне не беспокойся. Я переношу все оптимистично и бодро. Главное — дачу купить. Кино меня совсем не волнует. И бросать свое дело я не собираюсь. Да и ролей для меня нет. Бог с ними. Четыре песни уже у меня намечены, и смонтированы тексты, а две я еще доберу. По приезде уеду в Киев, а не в Казань — и выпишу туда Ротта. Хочу совместить работу с отдыхом. Я не умею отдыхать нигде. Но Киев — родина. Поживу недели две, может, успокоюсь. Вот пока все, что можно было рассказать о себе (трясет поезд страшно).

Целую тебя в «подурневшую», но для меня все равно красивую мордочку, и целую очень нежно и крепко и много раз. Вот. Попроси Л. П. беречь моих дорогих доченек, а то я очень за них беспокоюсь. Передай ей привет. Пиши в Ю[жно]-С[ахалинс]к, Госфилармония — мне передают. Связь всегда есть.

Храни вас Бог.

Саша

Чита.
9 янв. 51 г.

Дорогая Лиличка!

Вчера наконец закончил эту проклятую Маньчжурскую ветку и вернулся в Читу. Нет слов, чтобы описать тебе весь ужас этой поездки! Мороз 57°! Ты подумай только! Дышать невозможно. У меня были припадки удушья, и я рвал на шее ворот рубахи, не имея возможности дышать. Машины только «виллис» — холодные, раскаленные от мороза, а расстояния от одного Дека до следующего 15—20 километров! Правда, нам давали тулупы, но все равно я приезжал полумертвый. Потом отходил, отогревался и вечером как ни в чем не бывало пел концерт. Из пяти концертов только на одном было относительно теплее, а на остальных холод, как на улице. Поешь, а изо рта — струя пара! Публика сидит в тулупах и валенках, а я во фраке. Правда, я под сорочку надевал свой свитер, но это мало помогает. И заметь, печи топятся на полный ход, но обогреть помещение не могут! Доходило до 60°. Я проклинал свою жизнь, но дотянул до конца. Такова театральная дисциплина моя. Даже Мишка при всей жадности к деньгам чуть не плакал и «просился домой» — я все же выпил эту чашу

испытаний до конца. Принимали меня трогательно, сочувствуя моим страданиям. В Дека делали, что могли, но... А самое ужасное — это «У на У»[1]. Приходилось в такой мороз ходить в уборную в сарай. Мы старались есть мало, чтобы не ходить туда. Но это не помогало. Воистину эта поездка может называться «Ледяной поход»! Если я и не был на войне, то теперь я заплатил за это сполна. Конечно, меня держало сознание того, что люди, приходившие меня слушать, живут в такой глуши, ничего не видя, ибо туда никто из артистов не едет, и для них это целое событие — мой приезд. И они так были благодарны, так рады мне. А завтра, т. е. 10-го янв[аря] я сажусь в поезд и еду в Улан-Удэ. Там у меня 4—5 концертов. После Иркутск. Пиши в Иркутск, потому что в Улан-Удэ не успеешь. Дальше, вероятно, будет легче. Все-таки гостиницы там приличные в больших городах, да и театры тоже. Впрочем, в театрах петь приходится мало, потому что они заняты труппами и дают только выходной день, а больше всего — клубы. Заводские, железнодорожные или военные. В Улан-Удэ, например, у меня только один концерт в театре, а остальные в клубах. Конечно, время для поездки неудачное — сезон. С Иркутска я собираюсь проделать обратный путь по тем местам, где я весной пел. Это уже хуже. Много не споешь. И некоторые города не берут меня из-за неимения помещений, которые все заняты. Это меня тревожит, потому что трудно выколотить ту сумму денег, которую я себе наметил для нашей дачи, где мои дорогие обожаемые девочки будут жить, загорать и расти. Но я упрямый хохол и своего добьюсь, хотя бы мне пришлось еще год ездить и мерзнуть. Из Улан-Удэ дам тебе телеграмму. Письма твои меня очень поддерживают, и это моя единственная радость — получить из дому письмо. Пиши мне, помни, что мне очень трудно. Напиши, что у нас дома, как дети, как твое настроение и ученье. Теперь уже, я думаю, недолго осталось. В феврале я приеду. В остальном все хорошо. Я здоров, пока ничем не болею, кроме мелочей — кашля и ревматических болей в суставах рук и ног, от мороза, вероятно. Поздравляю тебя и всю семью с праздником Рождества Христова, которое было вчера — 8-го янв[аря]. Напиши мне про елку и что было у вас и где встречали Новый год. Получил твою телеграмму, довольно суховатую, и от Осмеркина[2]. Да еще Казимир меня поздравил. Вот и все. Ну пока все. Не думай, что я жалуюсь.

---

[1] Уборная на улице.
[2] *А. А. Осмеркин* — художник, друг юности А. Н. Вертинского.

Это просто привычка рассказывать твбе все, что происходит. А иначе и писать не о чем было бы. Поцелуй моих красавиц доченек, передай привет всем остальным.

Да хранит вас Бог.

Саша

Иркутск.
18 января 1951 г.

Дорогая моя Пекочкв!

Ну вот все и кончилось. Улан-Удз был последним городом Дальнего Востока, и на нем мое турне по Дальнему Востоку заканчивалось. Теперь я уже в Сибири, а это на 10 тысяч километров ближе и теплее, чем я был. Так странно, что морозы только 16° вместо пятидесяти и шестидесяти. Можно гулять, можно дышать! Гостиница приличная. Мне дали тот же номер, в котором я жил, когда был тут аесной. Люди тут приветливее. Из Бодай-Бо прилетел геологический генерал Гаврилов — мой горячий поклонник. Все рады мне — встречают как родного. Я потихоньку оттаиваю. От арктического холода и «вечной мерзлоты». Помылся горячей водой, наконец. Надел новый костюм, отоспался и... готов на «ноаые авантюры» и зксперименты над самим собой! О юность, зто ты!.. Получил в У[лан]-Удэ твою телеграмму, и сразу стало спокойнее.

Теперь уже немного осталось. Пока у нас заделаны три города: Иркутск, Красноярск, Новосибирск, увы, только по два концерта каждый (я уже пел в них), а дальше еще два-три города, и конец. Плохо еще то, что часть городов — нельзя петь. Не заплатили Гастроль-Бюро, задолжали, и им не дают артистов, пока они не рассчитаются. В Свердлоаск я, кажется, не попаду из-за этого, а жаль. Там можно спеть пяток концертов! Легко! Там меня очень любят. Одно сознание, что я подвигаюсь к Москве, меня уже приводит в хорошее настроение. Таковы дела мои. Как же ты учишься, бедняжечка? Как зкзамены, ты теперь диамат сдаешь? Я боюсь, что ты станешь такой образованной, что я буду себя чувствовать дураком по сравнению с тобой.

И часто плакал от испуга,
Умом царицы ослеплен,
Великолепный Соломон.

Ну, целую тебя, моя героиня учебы, и своих ненаглядных доченек.

Саша

Новосибирск.
26 янв. 51 г.

Моя дорогая Лиличка!

Вчера ночью приехал сюда — в поезде замучился. Номер мне дали прямо неземной. Ванна, уборная, тепло, чисто! Я блаженствую после своих горемычных дней. Привел себя в порядок. Послал тебе телеграмму — ответ на твою красноярскую. И сел писать тебе письмо. Да, в этой бочке меду есть и капля дегтя. Утром в ванную, где я мылся, спокойно зашла огромная крыса — посмотрела на меня удивленно и ушла. А выражение лица у нее было такое, точно она хотела сказать: «Ну и гость теперь пошел... Голодранцы какие-то... Ни продуктов, ни чего-нибудь съестного!» В чемоданах одни папиросы, а в авоське — черный перец кот[орый] я везу с Сахалина домой. Позвонил Казимиру, у него родился сын. Он, конечно, уже в него влюблен и говорит, что он красавец мужчина и совершенно непонятно, в кого он пошел. Я ему, дураку, еще в прошлом году говорил: рожай сына, это даже лучше стихов! А теперь я сказал, что это мой сын, а не его, потому что это я ему внушил. Он очень смеялся. Через час он придет ко мне. Видел фильм «Далеко от Москвы» — ничего особенного. Павлик играет себя — Кадочникова, а остальные персонажи страшно орут на «полном актерском» темпераменте, изображая нового советского человека, которого, собственно говоря, еще нет, или вернее — он «собирательный тип». Герои не так скоро рождаются, и их надо создавать в литературе и в искусстве годами. Так создавались Обломовы, Онегины, Чайльд-Гарольды и прочие, а потом уже человечество начинает им подражать, этим образцам, и «герой» входит в жизнь. «Советский человек», конечно, есть и существует, но он еще не полноценный «герой нашего времени», и черты его разбросаны в каждом из наших людей. Его надо собрать и умно смонтировать. А вот почему надо его играть на сплошном пафосе, с таким напором — я не понимаю. Хорошо и спокойно играет Охлопков.

Пекочка, что это ты все гриппуешь? Верно, бегаешь опять в своей курточке? Надо одеваться тепло, Пека! А то ты слабенькая. Отдохни от экзаменов. Полежи дома, почитай в кровати. Я скоро приеду. Осталось работы недели на две, и конец. Устал я здорово. Но выгляжу хорошо. Так говорят. Мне ведь надо поспать дня два, и я опять хорошо выгляжу. Скучаю по вас, мои дорогие родственники! Мои писенята,

наверное, уже выросли! Скоро четыре месяца, как я езжу. Тут морозы слабые, 9—10°, и я сразу перестал задыхаться и кашлять.

Поезжай все-таки в Л[енингра]д. Тебе же нужно для творческой зарядки! А к 15-му фев[раля] возвращайся. Я уже буду дома. Целую тебя крепко, лапочка моя, и доченек обожаемых. Привет Л. П.

Саша

Кисловодск.
28 марта 51 г.

Дорогая Лиличка!

Вчера часов в пять вечера попал в Кисловодск, а сегодня утром уже пишу тебе письмо. Погода тут солнечная. Хотя холодновато. Номер мне дали «люкс» — на солнечную сторону. Отсюда вижу весь «пятачок». Все на старом месте. Перемен никаких. Так же движутся, как сонные мухи, наехавшие люди, не привыкшие отдыхать. От растерянности покупают всякую дрянь вроде ермолок и костяных брошек, и с перепугу очень много едят. У курзала огромный мой плакат с тоненькой надписью сверху: «Лауреат Сталинской премии». Мы с Мишкой долго стояли, любуясь плакатом. Даже его фамилия внизу афиши как-то выиграла и звучит по-новому, более благородно, как будто и он стал лауреатом. Впрочем, он так и считает. Что он тоже лауреат. Я бы только крупнее написал зту заголовную строку. А они как-то стыдливо зто пишут, точно боятся, чтоб им не попало за это. Мой первый концерт, увы, только завтра и, увы, не в Кисловодске, а в Ессентуках. А второй — здесь, третий — в Пятигорске и четвертый — опять здесь. Пока все.

И отсюда — в Ростов. Со мной случилась беда. Я забыл все запонки и пуговицы от белого фрачного жилета, не взяв с собой палехскую коробочку, которая лежит с табакерками в шкафу. Что делать — ума не приложу! Сегодня пойду по магазинам покупать пуговицы и буду сам их пришивать к жилету. Ведь таких (с ушками) не найдешь! Перешли мне их (всю коробочку), если можно с кем-ниб[удь] в Ростов. Позвони в Г-Бюро, Горюнову (К-0-65-84) и попроси его переслать с кем-нибудь мне в Ростов и отдать директору Ф-и — Луковскому. Пожалуйста, Пека! Не поленись! И еще одна к тебе просьба: возьми книжку стихов Смелякова и перепиши стихотворение «Если я заболею, к врачам обращаться не стану» и сложи его в письмо. Я совершенно забыл о нем, а оно мне нравится,

и я хочу его петь. В дороге был не в духе, очень стало трудно отрываться от дома, семьи. Сегодня отошел немного. Очень интересуюсь, как сошла таоя встреча с Птушко[1]. Напиши подробно, покупай яблочки доченькам и конфетки. Сегодня все утро смотрел на их карточку с барашком. Как два маленьких голубенка! Что за чудесные девчонки! Жаль, что тебя нет с ними. Рестораны тут на ремонте, обедать надо на вокзале. Но зто близко. Есть тут туфельки ночные, вроде летних, но только чуть оторочены легким пушком. Я хочу их купить тебе, если найду твой номер 37-й или 36-й. Вчера мельком видел в витрине. Ну, целую тебя, лапочка. Не скучай. Скоро приеду. Масявочек моих целую в носики.

Ваш папа и шмуз Саша

Ростов.
4-е апр. 51 г.

Муничка дорогая, что же ты ничего не пишешь? Я был уверен, что застану здесь твое письмо. Но, увы, ничего нет. Вероятно, ты разрываешься между институтом и Мосфильмом!

Я только успел зто написать, как мне подали твою телеграмму. Ну, значит, все в порядке. Я сразу успокоился. Вчера мне сделали операцию. Было немножко больно, но не очень. Я лежал весь день и ночь в кровати, и сегодня уже ничего не болит, а только тянет вспухшее место. В понедельник (я пробуду здесь до вторника) мне снимут швы. Я еду в Тбилиси — лечу самолетом. Краснодар переносится на обратный путь. Через 1 1/2 месяца аернусь в Ростов и сделаю вторую подсадку — так условились с доктором Румянцевым Григорием Евстигнеевичем. Он милый, серьезный и немного угрюмый человек. Говорят, его долго мучили и, пока он добился саоего, глотнул много горя. Операция длилась три-четыре минуты. А народу у него — море. Тут рассказывают чудеса о его опытах. Мое счастье, что я успел к нему вчера, потому что он в тот же день вечером выехал в Среднюю Азию, где он открывает такой же институт. Через месяц он вернется. Сегодня у меня первый концерт в Новочеркасске (еду машиной). Завтра в Таганроге (тоже), а послезавтра начну Ростов, где у меня четыре концерта. Всего — шесть. Сулханшвили страшно пугал меня телеграммами — то запрещая, то разрешая петь в Ростове, пока, наконец, договорился с дир[екто-

[1] *А. Л. Птушко* — режиссер-постановщик к/ф «Садко».

ром] филармонии о погашении задолженности. Я уже думал, что не попаду в Ростов. Пять телеграмм получил от него и ответил. Наконец все устроилось. Дальше все пойдет по графику. Только Краснодар — на обратном пути. Кисловодские концерты прошли великолепно. Одно удовольствие петь в хороших театрах. Публика сидит как зачарованная, а с тех пор как я стал лауреатом, никто уже и пошевелиться не смеет. Я завожу Мишку, что теперь на афише его имя зазвучало «по-новому», что «сияние моей славы» падает частично и на него, и долго серьезно уверял его, что надо что-то добавлять теперь к его фамилии. «Лауреат» — писать нельзя... и вот я выдумал ему титул: «Помощник лауреата Сталинской премии» Михаил Брохес! Это звучит убедительно. Здесь тепло, но как-то неровно. В Кисловодске я вышел в костюме без пальто и схватил грипп. Так я пел с гриппом. И сейчас еще не выздоровел, но уже кончается. Запонок не присылай. Я кое-что купил, кое-что отобрал у Мишки, а к жилету пришил пуговицы. Пришивал сам — крепко.

Лиличка, ты не забыла о даче? Лето на носу, а потом дач не будет. Купил доченькам чувячки красненькие — чу́дные 27-й и 28-й размер. Тебе и Л. П.— тоже. 36 и 37. Но не говори ей об этом. Пиши на Тбилиси — филармония — сразу по получении этого письма, а то я недолго там буду и ты меня не поймаешь. Заканчиваю книгу Никулина. Очень интересная! Вроде Алданова.

Очень скучаю по дому и семье. Скоро пасха. Зелени еще нигде нет, но подснежники продают уже. Интересно, есть еще телеграммы дома? И есть снимки в окнах ТАССа? Кто звонил? Пиши все. Пришли стихи Смелякова. Как твои дела в институте? Не жмут больше? Что ты пишешь и как подвигается композиция? Деньги скоро вышлю — еще ничего не заработал.

Оказывается, будет еще в конце года переучет, сколько я заработал, и будет взыскан п. н. («прогрессивный налог»). Как тебе нравится?

Ну, целую вас всех, мои родные родственники, крепко, крепко.

Ваш муж и папа Саша.

Ростов-на-Дону.
Апрель, 1951 г.

Дорогая Лиличка!

Вчера должен был ехать в Таганрог, где у меня концерт, но уже с утра мне стало так плохо, что я еле держался на

ногах. Я приписываю это гриппу, который я схватил в Кисловодске. Накануне я еле допел концерт в Новочеркасске, а тут и совсем расклеился. Вызвали врача. Прежде всего он уложил меня в постель и запретил ехать в Таганрог, а потом, осмотрев и выслушав, сказал, что грипп сам по себе обычный, но ввиду того, что я сделал подсадку, он усилен стимулом новых тканей, которые борются в организме. Поэтому он в такой сильной степени. Он (врач) дал мне чудесные порошки и ментол с маслом в нос, и к вечеру мне стало лучше. А концерт пришлось отменить. Там была паника, ибо был аншлаг 15 тысяч. Мне пришлось дать телеграмму в газету, что я спою на обратном пути, т.к. съехались лауреаты завода, стахановцы и обком. Сегодня я пою здесь. Но самое интересное это то, что в клинике, где мне делали подсадку, мое состояние вызвало восторг. Доцент сказал, что это значит, что подсадка привилась очень знергично. И поздравил меня с этим. В Новочеркасске видел Князевых,[1] они пришли на концерт с крестницей. Им теперь дали квартиру, и они очень довольны.

Мишка, из рабского подражания мне, тоже простудился в Кисловодске, у него грипп. Он лежит в своем номере, и ко мне никто не заходит. Каждый день справляюсь о письме в филармонии, но письма нет. Карточку доченек выпросил на день Луковский — директор филармонии, и его просили в обкоме показать. Там все в восторге от моих детей. Говорят, что моя премия — зто сильнейший удар по змиграции, кот[орая] меня хоронила и расстреливала. Весь город говорит об зтом. Книга Никулина оказалась чудесной. Давно не читал таких книг, прямо Алданов! Я даже написал ему письмо с комплиментами. Отсюда десятого утром улетаю в Тбилиси, ибо одиннадцатого у меня там первый концерт. Оттуда напишу. В остальном все благополучно, если бы не болезнь, а то все зти дни я ужасно себя чувствовал. С нетерпением жду твоего письма, чтобы узнать, что у тебя вышло с кино и как твои дела в институте. Между прочим, тут уже получен новый приказ Комитета по Делам Искусств за подписью Оськина, чтобы актерам не платить ни копейки, ничего кроме суточных. Остальное все в Москве! Значит, надо быть антрепренером самого себя и ездить на свои деньги! Ибо 26 руб. суточных хватит только на носильщика (15 р.) и постель в вагоне (10 р.). Каково! Ну, пока. Целую вас всех крепко, не скучайте.

Да хранит вас Бог. *Саша*

---

[1] Артисты эстрады, знакомые Вертинским по Шанхаю.

Баку.
2-е мая 1951 г.

Дорогая Лиличка!

Наконец сегодня утром пришла твоя телеграмма, и я успокоился. Весь вчерашний день я был в ужасном состоянии. С утра — ревел. Не находил себе места. Все думал о доме, о тебе и детях — и о том, что никакой жизни у меня нет. Дома я бываю редко и ненадолго. Все праздники я где-то сижу в дырах. Подумай, Рождество — на Сахалине, Новый год — в Чите, Пасху — в Баку... Ни твои, ни детские дни рождения — никогда я не провожу дома. Ни одного праздника! Ну что это за жизнь! А еще Сулханишвили говорит по телефону: «Мы высчитали, что вы заработали в этом году 250 тысяч!» Почему он не вел счета, сколько они заработали? И сколько мне осталось после всех вечеров? И сколько мук и лишений и неудобств я выношу, так тяжело работая? Нервы у меня в ужасном состоянии, я переутомлен до предела. И некому сказать. А тут еще с утра — идет пальба с кораблей, а потом из 24-х орудий. И все эти корабли и пушки стоят против моего балкона и садят! У меня вылетело оконное стекло. Грохот такой, как на войне! Утром и вечером — салюты. Есть отчего сойти с ума. Мне надо отдохнуть и полечить как-нибудь нервы. Вся эта жизнь страшно отражается на здоровье. Сердце у меня дрожит целый день, как телячий хвост, все время хочется плакать.

Это все надо серьезно лечить. Я хочу поговорить с Румянцевым[1] перед второй подсадкой обо всем этом. Пусть что-нибудь сделает. Так нельзя дальше жить! Через год-два я совсем свалюсь или сяду в психиатрическую больницу. Надо как-то спокойнее жить и хотя бы на время перестать мотаться по стране. Я тебе уже писал, что концерты мне тут поломали и я до 3-го, т. е. послезавтра, ничего не делаю и сижу. 3-го и 5-го — два концерта и... дальше вместо 6-го — по плану. Там уже остается 4 города. Махачкала, Таганрог, Краснодар и Ростов. Баку не заплатит ни копейки. Хотел 28-го, приехав сюда и узнав ситуацию, улететь к вам в Москву. Но ни одного билета на самолеты до пятого мая нет! Да и билет туда и обратно 1200 р., другие расходы. Ну я и остался. Расходы у меня большие. Я все записываю — потом подсчитаем, сколько сегодня стоят «в себе» концертные турне. Скоро не будет никакого смысла ездить в эти поездки. Сулханишвили звонил мне сюда — уговорил на 20 тысяч (заем) месячный заработок, как мы высчитали.

---

[1] Врач, специалист по подсадке живых тканей.

Как мои доченьки переживают парад? Биби, наверное, была со своей школой? А ты? А Настенька? Или они стояли, как всегда, на подоконнике? Я сидел в номере и никуда не ходил. Погода вчера была хорошая, а сегодня — хмуро. Целую тебя, лапочка. Спасибо за ласковые слова. Пиши, я думаю, в Ростов. А на Баку ты не писала? Я тебе много пишу, а от тебя только два письма за все время. Целуй доченек. Привет всем.

Саша

P. S. Нашли материал на пальто девочкам?

Баку.
3 мая 1951 г.

Дорогая Лиличка!

Наконец пришло сегодня твое первое письмо сюда. Я очень обрадовался, потому что эти дни был в ужасной душевной депрессии. Нервы развинтились окончательно. Дрожу, плачу — прихожу в ярость, если меня кто-нибудь нечаянно заденет плечом. Вообще надо подумать о себе. Очень радуют меня письма Бибочки — скажи ей это. Но почему Настенька не пишет? Обиделась на меня, что ли? Спроси ее? Хорошо, что купили им пальтишки, я уже хожу по всем универмагам, ищу материал, но ничего нигде нет. А шляпки какие? Посмотреть бы! Чистки в Киеве — результат того, что искусством занимаются люди, ничего в нем не понимающие. Лебедев был трус, перестраховщик и неуч. Сашу Осмеркина он погубил, театры свел на нет, разогнал много хороших коллективов и вообще все разрушил и ничего не построил. Но там полетели еще и другие «подпевалы». Вообще там была паника и, по меткому выражению одного приезжего москвича, это был «пожар в бардаке»! Что же касается фильмового пожара, то это рикошетом отозвался этот разгром и на нем. Сегодня точно известно, что погорело 19 картин, осталось что-то около пяти. А твой «Садко» сгорел за плохой сценарий. Так говорят киношники. Но будут взамен новые — может быть, для меня более интересные. Я тебя очень люблю, Пекочка, ты у меня «любимый враг», нет, шучу — «единственный друг»! Если от тебя долго нет писем, я прихожу в ужасное состояние. Кроме тебя и детей, у меня на свете никого нет. И меня мучат эти вечные разлуки. «А жить уже осталось так немного!» — как говорит Вертинский.

Сегодня, наконец, мой первый [...] концерт в Баку. Послезавтра второй, и я еду в Махачкалу, где их 2. То, что Сул[ханишвил]и поломал мне Баку, это, конечно, перестраховка. Испугался! Как бы чего не вышло! Официальные торжества 1-го мая и вдруг... Вертинский! А театры были тут свободны и все билеты проданы до единого. С 28-го по сегодня я ничего не делал и бесился.

Получили вы компотик детям и травку вам, через одного дядю? Письмо Рогожину[1] в Ригу я напишу, но в «другие домики» я не верю. Их нет. Здесь тепло и скучно. Пыль тоже.

Ты, бедняжечка, учишься здорово. Как твоя композиция и кукуруза? Купи консервы в банках! (Это я сострил.) Как выглядит Настенька? Кушает? Полнеет? У меня осталось четыре города. Два пройдут как сон (4 концерта), а Краснодар и Ростов задержат подольше, но это уже последние. За отпуск получу хорошие деньги. Ну, целую тебя, лапочка моя дорогая, крепко и нежно. Береги моих красавиц доченек. Как справляешься без О. А.? Храни вас Бог, мои дорогие.

Саша

Баку.
5-ое мая 1951 г.

Дорогая Лиличка!

Пишу тебе это письмо, чтобы не разговаривать с самим собой. До чего же осточертел мне этот город, в котором у меня ни души знакомой. Был тут певец — Бюль-Бюль, помнишь? Народный СССР, депутат. Еще цветы мне прислал на концерт? Сейчас и его нет. Уехал в Цхалтубо. Болен. Ревматизм. Никого целые дни, сижу один в номере. Спать не могу, пить не хочется... Хоть задавись.

На второй день по получении твоего письма написал в Ригу Рогожину. Все, как ты хочешь. Не сомневаюсь, чтоб у него что-нибудь было, кроме той дачи, где он жил сам. И Мишка тоже не помнит ничего. В письме просил его срочно ответить мне на Москву. Так что, если придет от него письмо — вскрой и прочти. Сегодня у меня второй концерт, и послезавтра утром я уезжаю. Раньше нет поезда. Я все думаю о доме, тебе и доченьках и о том, как я их повезу в Ригу. Надо будет взять неск[олько] концертов в Риге, чтобы номер в гостинице ничего не стоил. Так, значит, ты не хочешь

---

1 Служащий в Госконцерте.

ехать на практику? Хотя Таллин вполне приличный город и интересный. Там развалины старых замков — архитектура интересная. Чисто очень. В общем, это твое дело. В крайнем случае поеду к Модорову[1] тебя выручать. Как твои экзамены? Мало ты пишешь! Ничего я не знаю. Возможно, что на июнь я опять возьму Ленинград — у них это единственное время, когда они переходят в сад, а театр свободный. Потом Ригу и... отдых. А в сентябре займусь полным репертуаром, выпишу Ротта. Сейчас, конечно, нечего и думать о новых вещах. В реперткоме, как и всюду,— паника. Они ведь тоже виноватые. Это они разрешили эту злосчастную оперу. У них там идет здоровая чистка, и они боятся своей собственной тени. И из перестраховки, конечно, ничего мне не разрешают. Дай Бог, чтобы старого не тронули! А к сентябрю все уже утрясется и успокоится. И будет легче проводить что-то новое. Как чуваки? Напиши мне. Хоть на вас они хороши? Может быть, детям мне сошьют в Ростове. 30—31, да? Принимают меня здесь весьма горячо. Один сказал, что «растворяется» от моих песен, «блаженство»,— говорит. Номер хороший, терраса на море, ванна — горячая вода целый день, чистота — полотенца каждый день меняют, а я с ума схожу от тоски и безделья! С 28-го — только один концерт! Нет, я, кажется, не создан для отдыхов! Зато Мишка блаженствует. Мне бы его заботу, как говорится. В Ростове опять «резаться»! Надоело мне резаться, черт возьми! Одна боль кончается — другую начинай. Как Фаншетта[2] себя ведет? Не сбежала еще из дому? С каким-нибудь бродячим артистом? Как провели праздники? Пасху в особенности. Я ничего не знаю. Когда у Биби начинаются каникулы? И как ее отметки? Ведь она из-за болезни много пропустила. Ну, пока до свидания, Муничка! Целую тебя крепко. Скоро увидимся. Доченек расцелуй за меня. А Настя так мне и не написала! Привет Л. П.

Саша

Таганрог.
13 мая 1951 г.

Дорогая Лиличка!

Вчера приехал сюда. Закончил два концерта в Махачкале и через Ростов — сюда. Страшно выматывают переезды. В Ростове на день задержался (по плану был свободный день)

---

1 *Ф. А. Модоров* — директор Худ. ин-тута им. В. И. Сурикова.

2 Кошка в доме Вертинских.

и сюда. Это я пою тот Таганрог, кот[орый] я отменил вначале,— был болен гриппом. Теперь тут уже два концерта. На мою беду, концерты в открытом театре — летнем, без крыши. Сукна кулис надуваются, как паруса, и щелкают выстрелами, временами хлещет дождь, а ветер дует прямо в горло мне — он лобовой. Публика сидит, накрывшись плащами и зонтиками. Театр полон, а за стенами еще две толпы стоячих людей — так, по тысяче человек — слева и справа. Мне кажется, что я пою на эшафоте. Ни один певец в Союзе не стал бы петь в такой ситуации! Но что же делать? Народ! Люди пришли. Ждали меня месяц. Один раз я их уже обманул. Я собираю все свои силы и... пою. Слава Богу, хоть микрофоны стоят и, кажется, хорошие. Все слышно, все довольны. Ветром меня охлобыстывает с головы до ног, и я думаю, будет у меня воспаление легких или не будет? Так, дрожа от холода и горя, я заканчиваю концерт. Утешаю себя мыслью о том, что если люди идут меня слушать в такую погоду и не уходят до конца, то я не могу уйти со сцены, как часовой со своего поста. А сегодня второй концерт — там же, и погода пока такая же. Может, к вечеру стихнет? Получил два дорогих письмеца от доченек. Грею на них свое замерзшее сердце. Поблагодари их от меня, пожалуйста. Скажи, папа велел вас целовать и очень доволен вами и письмишками. Скоро приеду. Остался Краснодар — один, и потом Ростов. Завтра ночью уже буду в Краснодаре. Там, вероятно, придется поездить поездами, около него. Сам город небольшой, больше двух концертов не выдержит. Значит, еще пара концертов, и после них сделаю операцию и... в самолет — домой. Румянцев уже вернулся из Ср[едней] Азии. По приезде буду с ним беседовать о себе. Как твои экзамены, Пека? Трудишься? Я, вероятно, уже не получу больше твоих лисем? Но если будешь писать, то на Ростов. А так все слава Богу! Выгляжу я неплохо. И пою тоже. У меня много вопросов о даче, о том, кто же останется в квартире и пр., но... ты сама знаешь и, если будешь писать, напиши обо всех этих делах, что это за красненькие пальто, о кот[орых] пишут дети? и почему их продали?

Целую тебя крепко, желаю ни пуха ни пера в экзаменах. Целую доченек. Привет Л. П.

Саша

Ижевск.
13 фев. 1952 г.

Дорогая моя Пекуличка!

Ситуация здесь неважная. Гостиница грязная. Номерок маленький и тусклый, с одной кроватью и шкапчиком, и даже повесить вещи негде. Но все это неважно. Это обычный фон моих поездок, жить можно где угодно. И на второй день мне даже нравится эта дырочка. Тепло. Не дует. Сидит человек на жердочке, как птица. В тесной клетке. И мило даже. Только надо быть скромным. Очень скромным. И мудрым. И тогда будет везде хорошо. А люди... они везде одинаковые. Живут своей трудной жизнью и радуются моему приезду. Сегодня у меня нет концерта. Мы все втроем пошли в цирк и посмотрели, как за 40 р. в вечер люди рискуют жизнью под куполом цирка. Днем они тренируются, а вечером работают. Дьявольский труд. После этого стыдно ворчать на свою жизнь, кот[орая] прекрасна в сравнении с ними. В цирке было пусто. И вся эта страшная работа проделывалась для сотни человек публики, кот[орая] даже не понимала, как это трудно и страшно. Я еще очень богатый человек. У меня есть молодая жена и чудные доченьки. А у других ничего нет. И они рискуют жизнью из-за куска хлеба. Каждый день. Из-за хлеба, то есть тарелки борща и второго блюда. А квартиры тоже нет, потому что они кочуют из города в город. Правда, правительство разрешает им возить с собой жен и даже престарелых матерей, потому что они «кочевники». И это очень мудро. Все расходы оплачиваются. Ко мне пришли клоуны — поговорить в антракте, погрустили. Покачали головами. И разошлись. Все. Кто-то у них недавно убился. И теперь приказ, чтобы все были на «лонжах», т. е. на тонких стальных троссах, кот[орые] их в случае чего удержат. Вчера днем пошли в кино. Посмотрел «8-й раунд». Вспомнил Америку, кот[орую] знал когда-то. Боже, как все это далеко! Холеные благополучные люди, «шикарная» жизнь, выдуманные страсти, искусственные добродетели и наказанный порок... Здорово! Нам бы так! Наверное, не выдержали бы. Померли от чистоты, захлебнувшись собственным благородством!

Городок этот стоит далеко от главной трассы, и к нему очень трудно было добираться с пересадками. А Дворец культуры такой, что в Москве нет! Роскошь! Люстры хрустальные, мрамор, зеркала, ковры! Вот она, наша советская жизнь! Все для народа. Сегодня вечером у меня первый концерт. Один концерт сорвался. Надо было ехать в Сарапул — невероятная дыра — с пересадками и оттуда лететь на У-двашке

обратно сюда, тут садиться в рабочий поезд и ехать в Агрыз, где 5 часов надо ждать московского поезда, идущего на Свердловск. Я отказался. У меня сил нет. А эти маленькие У-2 вытрясают всю душу. Так что здесь только три концерта. 18-го выеду отсюда и 19-го буду в Свердловске. Там уже прилично.

Я уже грущу по дому, вспоминаю своих озорных девчонок и их строгую маму. Тут какие-то кофточки чехослов[ацкие] продают. Зайду поглядеть. А так все обычно. Доедаем сухие московские колбасы, и вечером пью немного водки. Днем ничего не пью. Вещей много набрал. Три чемодана и авоську. И все это не нужно. Мне лень даже чистую рубашку надеть. Незачем и не для кого. И помыться негде как следует. Вода ледяная и умывальники общие. Раздеться нельзя. Пиши, Лиличка, как твои дела в институте и что нового и как доченьки. Целую крепко вас всех.

Ваш муж и папа

Саша

Куйбышев.
21 марта 1952 г.

Моя умная и добрая жена Пекочка!

Спасибо, что ты меня поздравила с днем рождения. Получив телеграмму из Москвы, я, конечно, испугался и долго не решался открыть ее. Я совершенно забыл о дне своего рождения. Наконец открыв — обрадовался. Хоть день моего рождения только завтра. Лиля, Биби и Настя — это все, что у меня есть. Очень дорого и очень приятно. Дорогого «папочку» — я еще помню, но «любимого мужа» — труднее, потому что какой же я муж, да еще любимый? Это только ты у меня такая верная грузинка, что любишь меня, несмотря ни на что, а то.., собственно говоря, любить меня не за что.

У меня уже неделя — грипп. Я в полубольном состоянии пою вечером, а днем сижу дома — не выхожу. Достал уростептокофеин и глотаю. Чувствую себя неважно. Вчера был первый концерт в огромном полуторатысячном зале филармонии. Был аншлаг. Сегодня нет концерта. Завтра в ДК — тоже аншлаг. Прием ультрагорячий, как в Москве. Директор говорил: «После концерта все двери были открыты, и, однако, 15 минут ни один человек из зала не вышел! Чудеса!» А мне все равно. «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти!» Тут много снегу. Старая гостиница, с калориферами, от которых я задыхаюсь. Есть абсолютно нечего. Все с консервами. Но колбасу мы все-таки достали. Сахарный песок тоже. А водка

из сучка. Из опилок. «Лесная сказка» — как ее называют тут. «Сказка Энского Леса» — как называли ее во время войны. Тут Юра Савельев. Из Шанхая. Актер. Я его мельком видел. Он успел уже во второй раз жениться. Я ему холодно заметил, что он начинает не «по-советски» и что у нас на это смотрят без особого восторга. Мальчишка, по-видимому, «влюблен в себя и пользуется взаимностью». Я скучаю совершенно животно по детям и дому. В 63 года трудно так работать, как раньше. Возможно, что я отменю Украину на май и перенесу ее на весну 53-го года. Нечего так загонять себя. С сентября по конец ноября у меня ведь Средняя Азия. Это даст достаточно денег. Дети растут без меня. Тебя я не вижу. Дома не бываю. Скучно и тяжело. Я уже не тот, что был, и мне все труднее работать. Ну, целую тебя, мой друг, верный и настоящий. Надеюсь, ты все понимаешь.

Перекрести моих доченек.

Саша

Минск.
31 мая 1952 г.

Дорогая Лиличка!

Доехал я хорошо. Поезд попался цельнометаллический, вагон мягкий. В общем «культурненько», как говорят у нас. В Минск приехал вчера в 6.13 вечера, в вагоне мы нашли минскую газету и прочли в ней, что в Опере у них танцует Уланова. «Лебединое озеро». Я никогда ее не видел и решил превозмочь свою лень и пойти. И... я был потрясен! Это какое-то чудо! Ни в России, ни за границей — никогда я не видел такой танцовщицы. Сравнить ее не с кем. Разве только с Анной Павловой, но я застал ее уже в преклонном возрасте в Париже, и это было уже «не то». Как она твнцует! Ее тело поет как соловей — каждый жест, каждое движение, каждый мускул! Забываешь обо всем. Уже не думаешь о том, какого дьявольского труда стоит эта легкость, эта воздушность! Ее техника — невидимка! Она исчезает — растворяется в каком-то огромном вдохновении, которое зажигает все. Она пляшет, как пылающее пламя факела. Я ничего подобного не видел в жизни! Боже, каких вершин и высот может достигнуть творчество. Это точно дух Божий! Я сидел и ревел от испуга и восторга перед этим страшным искусством! Так потрясать мог только Шаляпин! Это был даже не танец, а пенье! За много лет я первый раз был потрясен. Почему я ее не видел раньше? Нельзя передать словами это впечатление. Тысячи

мыслей были у меня в голове. Как удержать, сохранить на земле это чудо? Как оставить потомкам это евангелие для грядущих веков, чтобы учились у нее этому высочайшему божественному искусству? Нельзя. Ни записать, ни зарисовать, ни запомнить! Вот в чем ужас людей ее профессии. А век? Балетный век? Ей 42 года, и она уже уходит со сцены. Она сказала, что через год отпразднует свой 25-й юбилей и уйдет в расцвете сил. Я бы запретил это приказом Совета Министров! Как можно уходить в расцвете? Но говорят, что она не хочет пережить свой успех, как многие, и уйдет вовремя. Со сцены она красива, молода и воздушна. В антракте мы пошли к ней за кулисы. Я сидел в первом ряду — она мне кланялась отдельно, знала, что я в театре. Мы вошли к ней в уборную. Перед нами стояла небольшая, очень худая женщина — вся в мелких капельках пота, с дрожащими руками и, о ужас, с немолодым уже лицом и тяжело дышала. Я чуть не расплакался. Мне стало жаль и ее и себя, и это бессилие нашего проклятого искусства! Жечь себя дотла, до дна, сгорать на медленном огне на глазах у всех и уйти в пустоту, ничего по себе не оставив! Воистину мы дети Каина, и на нас лежит печать Божьего проклятия! Нельзя страшней наказать человека! И еще знаешь что? Она была как-то странно похожа на постаревшую Настеньку. Я выскочил из уборной, как сумасшедший. Я даже не помню, что она говорила. Что-то о том, что «пол в этом театре покатый и что ее тянет назад» и что завтра репетиция. Со спектакля я вернулся больным. С этой минуты я все думаю о том, как серьезно надо подумать, прежде чем отдавать наших девочек в балетную школу. Я вспоминаю слова одной балерины там, в училище, куда я водил детей: «Помните, что век балерины очень короток. Это только половина нормальной жизни. Но и из этой половины — половину займет ученье. Значит, ей останется для сцены и карьеры — только четверть!» Понимаешь, что это значит? Она поступит в 10 лет. Кончит школу в 20 лет. Десять лет будет пробиваться и станет балериной в 30 лет. Сколько же лет ей останется для творчества и успеха, если в 42 года — как Уланова — она сойдет со сцены? Двенадцать лет! И это все? Так для чего же идти на такой каторжный труд, на такую тяжкую учебу? Чтобы сгореть, как свеча, в одно мгновение? Нет, лучше уж пусть будет кем угодно, но только не балериной! Не знаю, что ты думаешь об этом, но я думаю так. Напиши мне куда-нибудь твое мнение. Расписание моих гастролей у тебя в ящике туалета. Мне это очень нужно. Мы, кажется, поторопились с решением, т. е., собственно, я пото-

ропился. Надо все взвесить. Прочти это письмо маме, потому что она тоже была моего мнения отдать их в балет. Над этим надо подумать.

Ну, целую тебя, Муничка, крепко и нежно. Сегодня вечером у меня первый концерт. Потом напишу еще. Целуй девочек.

Саша

Москва.
Июнь 1952 года

Лиля!

28-го вечером, после того как я подал прошения твои: 1) О разрешении держать экзамены осенью, 2) О том, чтобы поехать на практику, и пометил их 16 мая — задним числом,— я условился с Любовью Сергеевной[1], что она их подаст Кузнецову[2], а я ей позвоню. Вечером я позвонил. Она сказала, что Кузнецов разрешил 1-е прошение — можно держать экзамены осенью, а второе — сказал, что это не в его власти и зависит от Модорова. Мне это уже не понравилось. Тем не менее я в тот же вечер позвонил Модорову на квартиру и довольно сухо изложил ему, что я еду в поездку завтра и хотел бы знать, будет ли моя жена принята на практику или «по примеру прошлого года» не допущена до таковой. Он, по-видимому, уже получил от Сысоева[3] соответствующие указания, ибо говорил со мной очень холодно. Он сказал: «Я посмотрю, какие у нее успехи». По правде сказать, я немного боялся, что он вломится в амбицию и откажет, и решил, что сегодня утром, 29-го, я позвоню в ин-т, и если получу отказ, то пойду опять к Сысоеву или оставлю тебе письмо для него, чтобы ты сама отнесла в Комитет. Однако в 5 вечера, когда я позвонил его секретарше, она сообщила мне, что Модоров — **разрешил**. Интересно знать, что бы ты делала, если бы я не уладил твои дела? Благодари Бога, что у тебя такой муж. Теперь я уезжаю спокойно. Возможно, что я проболтаюсь числа до 15-го июля в поездке. Тогда отпуск возьму с 1-го августа, и ты к тому времени уйдешь в отпуск. Ну пока, еще раз целую. Пиши на Могилев, как только приедешь, а то письмо меня не поймает. Всего хорошего.

Саша

---

1 Служащая в учебной части Худ. ин-тута им. В. И. Сурикова.
2 *А. М. Кузнецов* — преподаватель того же ин-тута.
3 Работник Комитета по делам искусств.

5 июля 52 г.

Дорогая Пекочка!

Получил оба твоих письма — сюда. Меня очень огорчила история с твоей «практикой». Я много думал об этом, и пришел к заключению, что ты сама во всем виновата. В отделе кадров все были настроены весьма дружелюбно ко мне, когда я пришел, и сами мне посоветовали подать заявление задним числом. Да еще сами его и напечатали. Потом я поручил это заявление той даме (я забыл ее фамилию), словом, главной там, и просил ее доложить Модорову, и она все охотно сделала и у Кузнецова, и у Модорова. Значит, с этой стороны у тебя не было оппозиции. Модоров разрешил мне лично — по телефону. Кузнецову до этого не было дела, потому что он сказал этой секретарше: «Это не в моей власти — это решает Модоров». И ничего против иметь не мог.

Ты не выполнила нужных формальностей, и потому все так вышло. А формальности у нас — все. На днях я уехал на концерт в запретную зону и забыл взять паспорт. Пришлось вернуться за ним, хотя со мной был лауреатский билет, формальности это все. А что ты их не выполнила — неудивительно. Ты так «затуркалась» со своим «Садко», что вообще все бросила, и если бы не я, не привел твои дела в порядок, тебе, наверное, и экзаменов не отложили бы на осень. В общем, сама виновата. Ну, черт с ним. Отдыхай. Это полезнее для твоего здоровья, чем жизнь впроголодь в Одессе. Я кончаю десятого и одиннадцатого утром уезжаю поездом. 13-го днем буду дома. Самолетом очень дорого и лететь надо кругом на Архангельск — Вологду 12 часов... Целую всех, до скорого свиданья

Саша

Ялта.
20-е ноября. 1952 г.

Дорогая Пекочка!

Вот уже третий день сижу в Ялте, а погоды все нет. Холод собачий, и я жалею, что не взял теплых чулок и туфель на резине. Хотя номер мой «по блату» топят, но я целый день на студии слоняюсь и мерзну. Декорации чудесные, костюмы привезли, играть я буду в кресле, сделанном по подлиннику того времени, и на руках у меня будет ручной голубь (это

я сам придумал, чтоб занять руки) С. О.[1] это понравилось! Начинаю сцену стоя, спиной к аппарату — дож кормит голубей. С. О. сказал мне в интимном разговоре, что скорее порежет Скандербега (в монтаже), которого в картине будет до черта, чем меня. Меня и так немного, и он не даст меня даже тронуть ножницами. Сегодня приезжают остальные актеры: Левкоев, Соловьев (мои партнеры) и Тенин и бригада спортсменов-дублеров. Ялта неуютная. Ветер свистит, волны хлещут на тротуары, а небо свинцовое. Я сижу вечерами на диванчике, где спала Бибочка, и греюсь коньяком. Один. Впрочем, вчера к вечеру ко мне зашел Андриканис, очень милый человек, наш оператор. Мы с ним подружились. Дочитываю Никулина. Если будет солнце, то, возможно, я отснимусь в один день. Так сказал С. О. Люди говорят, что солнце будет скоро — вот-вот... Отсюда возьму самолет на Ростов — 4 часа лету. Одеколону «Лаванда» — нет. Расхватали уже. Фрукты на базаре — гниль и мелочь. Сейчас пойду искать теплые носки. Албанцы уже тут. Они все очень скромные и милые. Но актеры никакие. Кажется, Мамицу[2] пришлют русскую из Москвы. Эта слаба. Чуть ли не Павлову — балеринку из т. Станиславского. Скандербег будет, вероятно, Хорава. Андриканис говорит, что он уверен в том, что я был бы прекрасным Скандербегом, если бы меня попробовали, и что меня легче сделать молодым во сто раз, чем Хораву. И фигура у меня есть, и живота, как у него, нету. Но уже поздно. С. О. твердо решил, что мои кадры должны быть лучшими в картине, и сказал мне, что я «украшение» фильма. Ну вот, пока все. Целую тебя, лапочка, и моих непослушных писенят крепко и нежно. Скучаю по дому.

Саша

Ялта.
21-е ноября 1952 г.

Единственное мое развлечение в этой тоскливой холодной Ялте — это поговорить с женой. И вообще, кажется, «разговаривать» — это последнее оставшееся мне удовольствие. Остальное уже не для меня. Ну так вот. Я простудился. Еле хриплю. Кашляю. Все это из-за сырости здешней и холода. В номере натоплено, а мыться надо в уборной — ледяной водой при собачьей температуре. Ясно? Сегодня у меня была

---

1 Сергей Иосифович (Осипович) Юткевич.
2 Героиня к/ф «Великий воин Албвнии Скандербег».

репетиция с моими партнерами. Я пришел на нее без голоса и еле-еле дотянул до конца. Но кое-что интересное мы сообща нашли. Завтра съемка. В 7 ч. утра надо уже гримироваться. И точно Господь сжалился надо мной. Небо чистое, звездное, и потеплело. Вдруг как в сказке. Надеюсь, что завтра будет солнце и мой дворец зальется светом. А сегодня было решено снимать при любой погоде. Потому что декорации уже один раз размыли дожди и больше их держать нельзя. И так они ждали нас два месяца. В два дня я отснимаюсь и уеду в Ростов. Главное завтра — говорить. Мне надавали лекарств, и я глотаю все, чтобы завтра был голос. Приехали актеры. Привезли слухи и сплетни. Много новостей. «Погорел» ряд картин. Между прочим, «Сталинские магистрали» — по сценарию Симонова, где снималась Валя Серова. Картину сняли. Потом — Пудовкинская «Жатва» будто бы тоже снята или будет снята. Приостановлена картина «На далекой заставе», где снимался Владлен Давыдов. Картины Эрмлера, Рошаля и еще кого-то... В общем, разгром, начатый год назад, продолжается. Но есть и приятные новости. Мы будем ставить «исторические» картины. Это то, что я тебе говорил когда-то. Мы должны показывать историю в ее подлинном виде и в марксистско-ленинской трактовке. Я точно предугадал это. Будем ставить как бы ты думала что? «Жанну д'Арк», «Гарибальди» и др. Дойдем, вероятно, и до «Наполеона» Тарле. Меня это только радует. Какое поле деятельности: ведь я же актер для исторических ролей! А у нас таких актеров очень немного. По-видимому, со съемками моими в «Скандербеге» все будет хорошо. Все ясно. Обо всем договорились с С. О., и декорации чудесны. Вот только голос завтра... Приехала Курчинина[1] — она очень милый и скромный человек. Замерзает на студии, где не топят, и завидует мне. Албанцы тоже. Наша картина в центре политики и для юбилея Албании. А так, все под Богом ходят. Никто ни в чем не уверен. «Бориса Годунова» тоже сняли. Татьяна Ник[олаевна] Лукашевич ставит спектакль для кино — «Анну Каренину» и тоже висит на волоске. А Калатозов играет с огнем. Его работу будут пронизывать насквозь. Таковы наши фильмовые перспективы. Я скучаю. Смотрю на диванчик, где спала Бибочка... И все. Трудно в мои годы отрываться от дома. Ну, целую вас, мое «бабье царство». Скоро буду дома. Храни вас Бог.

Саша

---

[1] Художник по костюмам.

Ленинград.
21 сент. 1953 г.

Здравствуй, Пека!

Сегодня туман. Погода испортилась. Из моего окна даже Исакия еле видно. Я вспоминаю стихи Агнивцева:

В этот вечер над Невою
Встал туман. И град Петра
Запахнулся с головою
В белый плащ из серебра...

Неввроятно скучно мне в этот приезд. Уже восемь дней как я здесь, и, кромв Алеши[1], который был у меня два раза, никого не вижу. Театры полны, успех огромный. Вызыеают без конца, а за кулисы никто не заходит.

Ты же грозилась приехать?

Что ж не едешь?..

Хотел сегодня позвонить, да подумал, может, ты на даче у Наташи. Скучно. Уже спел 7 концертов. Сегодня последний у Гершмана[2], и я начинаю Дворцы культуры. Это будет потруднее, тут они огромные.

Ну, целую тебя, Пекочка. Доченек-врунишек тоже — в масявочку.

Саша

Ленинград.
23 сент. 53 г.

Дорогая Лиличка!

Никогда еще не было так скучно здесь, квк в этот раз! Не знаешь, куда себя девать. И выйти на улицу нельзя из-за дождя. Я уже считаю дни, когда кончатся концерты и я вернусь домой. Пока у них выходит до 2-го октября. Вчера пел в изумительном зале б. Императорской придворной капеллы!

Такого красивого зала я еще не видел. В нем только одна царская ложа — слева. По типу он напоминает Большой зал Консерватории, только меньше и наряднее. Акустика в нем замечательная — слышен даже шепот. Я одевался в библиотеке около эстрады. Когда-то директором этой Капеллы был Римский-Корсаков, и это была его нотная библиотека. Публика самая лучшая в Ленинграде. Стврушки, генералы

---

[1] *Алексей Иллерионоеич Ефимович* — двоюродный брат А. Н. Вертинского.

[2] Директор Театра эстрады.

и прилично одетая молодежь. Между прочим, «Ворчливая» имеет сногсшибательный успех. У меня в этом здании будет еще 3 концерта, что очень приятно. А сегодня в Промкооперации, где зал на 2500 человек. У Файнциммера выходит премьера «Над Неманом», и он, по-видимому, занят. Пока не звонит. Вот и все мои новости.

Целую тебя крепко, больше писать нечего. Дочек целую обожаемых в носики. Привет Л. П.

Саша

Р. S. Лиля, ведь маме пора ехать в Цхалтубо? Выслать ей деньги или она дождется моего приезда? Напиши.

Москве.
15-е ночью 53 г.

Пека!

Вернулся со съемки. Ну, все в порядке. Проба удачна. И хотя я ее увижу только в среду, но, судя по восторгу режиссера и окружающих, которые смеялись от души во все время съемки и потом засыпали меня комплиментами, все в порядке. Я, конечно, недоволен. Роль пока не отстоялась, немножко суетливо-горяча. Все это пройдет, и великое спокойствие мастерства снизойдет на меня. Тогда будем делать чудеса. Интересно. Страшно интересно. Все это новое и не в моем ключе как будто... Но... Мой князь — петербургский жуир и бонвиван, уже стареющий барин, бюрократ и шляпа, потому что балдеет перед юностью и красотой. Я его не «комикую», как делает, например, Массальский в «Плодах просвещения», а просто отображаю в нем целую эпоху — людей глупых, пошлых и самоуверенных в своем неотразимом превосходстве. Я, как всегда, обобщаю образ. Он не один такой — их много. Это целый класс! Другими они быть не могут! И этот князь по-своему мил и даже приятен.

Словом, в среду посмотрим. А пока... надо мыться. И смыть с себя клей, грязь и краску и снова быть как ни в чем не бывало чистоплотным Вертинским с усталой улыбкой, проходящим по улице Горького. Мало ли чего мы умеем? «Скучно жить на этом свете, господа!» — сказал Гоголь. Но пока есть искусство... Все же это спасение! Хоть на время!

Покойной ночи.

Саша

Р. S. Посылаю тебе карточки грима. Береги их. Я должен их вернуть, это тоже еще не то, но уже лучше.

Харьков.
1-е марта 54 г.

Дорогая жена Пека!

Как прошли Бибины именины? Кто был у нее? Что ей подарили мы и другие? Был «толт»? Как пережила это событие Настенька? Она ведь не любит, чтобы она не участвовала в 50 %? Я вчера весь день думал о них. Вечером пел концерт в филармонии. Сегодня — в Музкомедии, в театре на 1 700 человек. Бывший цирк. Завтра второе марта — выходной, 3-го и 4-го — опять Музкомедия, 5-го — день смерти Сталина — концертов нет. 6-го и 7-го — опять два концерта и все. После этого я, вероятно, буду петь Киев. Мы созвонились с ним. Там все в порядке, они очень ждут меня, и вся остановка за Гастрольбюро. Я думаю, что препятствий с его стороны не будет, Киев им ничего не должен. Я сделал Киев из-за того, чтобы на месте выяснить ситуацию с кино. Осторожно, конечно. На студии я не покажусь, я вызову к себе Женю Андриканиса и все узнаю. Но Киев я же вообще обожаю, так что для меня это очень приятный сюрприз. Дальше, вероятно, Черновицы, Ужгород, Кишинев.

Сегодня 2 недели как я уехал. О дальнейшем моем продвижении я буду ставить тебя в известность телеграммами, чтобы ты всегда знала мой адрес. В Киеве — гост[иница] «Интурист», вероятно, как всегда. В свободный день был в театре, смотрел «Закон Ликурга» — это переделка романа Драйзера «Американская трагедия», к ней доделали конец в нашем духе и, конечно, испортили ее, потому что Клайд не идет на электрический стул, как у Драйзера, а женится на Сандре, а вместо него идет безработный, которого осудил продажный прокурор под нажимом богатых и т. д. Зрители в фойе утешали себя тем, что говорили улыбаясь: «Если бы Драйзер был жив, он бы теперь сделал такой конец!» Интересно, какой конец дал бы Шекспир «Ромео и Джульетте», если бы жил теперь? Вероятно, он их направил бы в «Загс», а папашу раскулачил.

Мои цветы цветут. Они в горшках, я их поливаю, и они долго будут цвести. Жаль, что их нельзя взять с собой. Дочитал Франса. Что за ум! Что за эрудиция и что за ирония! Прямо жаль, что книга кончилась. У меня, вероятно, не хватит крахмальных рубашек, если поездка затянется. Придется вам подослать мне в Киев пару рубах и воротников с кем-нибудь. Но я тогда напишу, как быть. Может, я вернусь домой после Харькова. Ну, пока целую тебя, Мунечка, и дочек твоих и моих — нашу гордость, наших потомков!

Привет Л. П. А насчет киностудии с ролью фламандца-купца — не надо. Все равно я ее играть не буду. Пиши на Киев.

Саша

Львов.
26 апр. 54 г.

Дорогая Лиличка!

Если бы ты знала, как я обрадовался, получив твое письмо, ты бы чаще писала. А письма доченек!.. Я ревел все утро, когда прочел, как Настенька со свойственной ей чуткостью, зная меня, пишет: «Ты, папочка, не расстраивайся, что меня не приняли»!.. Ах, вообще я был бы нищим, если бы ты мне их не родила! Все ваши домашние переживания, включая и твои огорчения по поводу билетов, как-то сразу согрели меня и на время вернули домой. Я только вчера послал тебе письмо, и поэтому за день еще не случилось ничего нового, что можно было бы тебе написать.

Был вчера у друзей на Пасхе. Очень милый украинский дом. Я, конечно, как всегда, «занимал площадку», т. е. читал стихи и разговаривал. Было очень мило. Там все меня обожают. Академик Вялов был от меня в восторге, и все остальные тоже. Там был один художник, у которого коллекция пластинок тысячи в полторы. У него есть и Люсьен Буайе, и Морис Шевалье, и Мистангет, и Бинг Кросби, и, конечно, главная его «драгоценность» — я. Себя я не стал слушать, но французов послушал с наслаждением. И даже Жозефин Бекер у него есть! Очень было приятно.

Я уже спел три концерта в огромной консерватории — переполненные до отказа — и сегодня пою в опере. Львов, который помнит меня кардиналом, прямо с ума сходит. Но, увы, сегодня последний концерт в городе. Завтра я пою в Стрые в ЦДСА — час езды на машине — и ночью возвращаюсь. А утром выезжаю на машине в Станислав, где у меня два концерта. Оттуда опять на машине в Черновцы, и через два дня — Кишинев. В нем у меня 3—4 дня, и домой. Я пою каждый день без выходных, но пою хорошо и чувствую себя бодро. Меня тут наснимали до черта. Посылаю всем вам по карточке. Встретил одного человека из Парижа. Он говорит, что все в Париже есть, только жрать нечего. Правда, он уже 6 лет как приехал. Говорит, что все мои друзья живы. Многие разбогатели.

Спасибо еще раз за письмо, оно меня очень согрело. Пиши на Кишинев. Поцелуй мою дорогую Бибочку и мою бедняжечку «Тальони», которую забраковали из-за моей дурацкой мужской ступни.

Еще раз поздравляю тебя с «двенадцатилетием» и благодарю за все.

Твой Саша

Ленинград.
30 мая 54.

Дорогая Лиличка, хочу немного рассказать тебе о Ленинграде. За это время было несколько хороших солнечных дней, и он был несказанно прекрасен. В яркой зелени и тепле, он был как-то особо благостный, тихий и добрый, как человек, впервые вышедший на солнце после долгой и тяжелой болезни. Единственное, что портит его, это кумачовые тряпки, навешанные где попало по случаю 300-летия. Едва ли есть еще один город, которому бы так «не шли» эти «украшения». Это выглядит так, как если бы картину Леонардо да Винчи разукрасили бумажными розами. Страшно выглядят на фоне Зимнего дворца и всех этих величественных зданий — мавзолеев прошлого огромные квадратные портреты наших вождей, плохо исполненные, без всякого сходства, с искаженными и одутловатыми лицами, похожие на утопленников. До чего же бездарны наши оформители! Например, Булганин, у которого вообще умное и интеллигентное лицо, выглядит как старый земский врач довоенного времени и уже похож скорее на Калинина или Деда Мороза, чем на самого себя.

Исакий стоит, как улей с мертвыми пчелами. Что-то неладно с его куполом. Он дал трещину. Починка должна стоить что-то около сорока миллионов. Пока этих денег не дают. Каждый вечер, когда я еду на концерт, машина пролетает по площади мимо Зимнего, через Арку — мимо божественного ансамбля Росси, потом по набережной, мимо ростральных колонн или через Зимнюю канавку по Каменному мосту и дальше, где мечеть и вся эта потрясающая панорама — Нева, одетая в гранит, Петропавловская крепость, где бездарно сделали пляж, на котором копошатся какие-то разноцветные муравьи. Все это волнует до слез. Я понимаю, почему ленинградцы не отдали своего города. Я бы сам с удовольствием умер за него! Какой безвкусной и обыкновенной кажется после него Москва! Я понимаю

тебя, когда ты бродишь по городу и отдыхаешь от безвкусицы нашей столицы. Он успокаивает и бодрит в то же время. Красавец город, «блистательный Санкт-Петербург!» — как сказал поэт. А тишина в музеях! А огромные парки, а липы в Летнем саду!

И шумят, как бывало, в Лицейском саду
Академики, липы и дети! —

писал какой-то поэт. Кажется, Всеволод Рождественский.

Зарастает ромашкою мой городок,
Прогоняют по улицам стадо...
На летящий в сирени паровозный свисток
Из глуши отвечает дриада...
Только был бы мой сад золотист и широк,
Ничего мне от жизни не надо!

Посетил по твоему приказу Русский музей. Видел Серова, и Коровина, и Головина, и Куинджи, но до Врубеля не дошел. Живопись меня как-то мало волнует. Очевидно, я в ней ничего не понимаю. Архитектура и скульптура — очень. Какой изумительный Петр 1-й Антокольского! Я бы поставил его фигуру где-нибудь «У морских ворот Невы», как говорит Ахматова, там, где он «в Европу прорубил окно».

Перед «Асторией» в садике цветут тюльпаны и гиацинты, но какие-то чахоточные от недостатка солнца. Я с наслаждением переехал бы сюда жить. С каждым приездом я все больше влюбляюсь в этот город Петра и Пушкина, Фальконета и Росси, Бенуа и Блока. А главное, что тут нет такой толкучки, как в Москве. Тут можно спокойно ходить по улицам, заходить без давки в магазины и не слышать ругательств и визга наших осатаневших баб, злых, как оводы, грязных и жадных.

Дв, хорошо здесь доживать свои дни! Ну... я пою, помнишь, у Ларисы Андерсен замечательные строки:

Я иду в этой жизни, спокойно толкаясь с другими.
Устаю. Опираюсь на чье-то чужое плечо,
Нахожу и теряю какоа-то близкое имя!..

Успех у меня сумасшедший — иначе его назвать нельзя. Но меня он, как всегда, ужв не трогает. У Андерсена (сказочника) есть фраза: «Да...— сказал старый диван,— позолота сотрется — свиная кожа останется...»

Но его уже никто не слушал».

Саша

Ленинград.
31 мая 54 г.

Дорогая Лиличка!

Вчера у меня был выходной. И мы с Алешей пошли посмотреть квартиру Пушкина. На меня это произвело огромное впечатление. Я и сегодня не могу от него отделаться. Это ужасно грустно. Диван, на котором он умер, перо, которым он писал в последний день, письмо его жене — «не кокетничай с царем», библиотека...

Там была какая-то ученая из академии. Она нам много рассказывала — не все в квартире подлинное, его личное. Много пропало. Но заменено вещами, такими же, той же эпохи, только он к ним не прикасался. Все книги заменили точно такими же, а настоящие хранятся в сейфах Академии. Портреты и акварели подлинные. Его трость, сабля, которую ему подарили в Арзруме... Квартира скромная... И все это было так недавно. Точно его вчера убили... Я ходил по комнатам, и мне хотелось плакать.

Все неверно, все жестоко,
Все навек обречено...

Кто-то равнодушный и безжалостный создавал человека! Так подло ни от чего не защищен человек, так коротка эта жизнь, и так трудно подниматься вверх по этой грязной лестнице жизни!..

В Ленинграде все еще держится теплая погода. Мне уже надоело здесь и скучно без тебя и детей. Вчера был на концерте Гилельса — он играет как зверь, какая силища! Точно в упор расстреливает толпу! Видел нашу «Анну» — Ларионову. Она приехала на два дня пробоваться на «12-ю ночь» Шекспира. Рассказывала о дискуссии. Она меня очень расстроила. Оказывается, у Рейстафа[1] — рак желудка и он умирает! А думал, что аппендицит. Вот еще иллюстрация к «устройству» человека! Сегодня 31-е? Ну, тебе еще осталось два дня, и ты будешь свободным человеком. Девятого ночью я сажусь в дизель и 10-го утром буду дома. Противно, что мне предстоит резаться. Ну черт с ним!.. Щеночка не куплю. Очень возни много с ним. Был у Кини, ел картошку и пироги. Она худая, как спичка...

Целую тебя, лапочка, и воображаю, как ты устала. Теперь отсыпайся побольше.

Саша

---

1 Директор к/ф «Анна на шее».

Киев.
9 февр. 55 г.

Моя дорогая Лиличка!

Вот, наконец, я могу сесть за письмо и написать тебе. Это, наконец, свободный от съемок день. Всю эту неделю я с 7-ми утра и до 2-х ночи был на студии. Уезжали актеры, кто в Одессу, кто в Москву, и надо было отснять их во что бы то ни стало. А я играю с ними. Вот нас и мучили до потери сознания. Теперь павильон «Светлица» — отснят, и его уже разрушают. Следующий павильон — «Посольский зал» — не готов еще, и у меня два дня свободных. Я ужасно устал. Сегодня спал целый день и только к вечеру привел себя в порядок. Все гудит, все тело ноет от поясов, сабель, сапог и пр. барахла, в которое меня с утра одевают. Наконец, я принял ванну и блаженствую. За это время я ел два бутерброда в день и ночью, вернувшись, кусочек сала и пару рюмок коньяку. Как всегда, проклинал свою жизнь и клялся, что не буду больше никогда играть в кино! Но!.. роль идет хорошо, и я — красавец поляк, и все в восторге от меня, и, конечно, играть я буду... и все это актерское брюзжание.

10 февр. 55 г.

Сегодня звонил на студию. Надо получить деньги. Они условились 10 февр[аля]. Обещают показать материал. Меня все время мучит мысль о квартире. Течет? Или они уже что-нибудь сделали? Я дал твердую телеграмму Яснову[1], в которой сказал, что В. М. Молотов меня направил к нему и что я полгода не могу попасть к нему на прием. Что были десятки комиссий, а результатов никаких. Что жизни моих детей угрожает опасность и что я жду, что он даст срочные указания, дабы предотвратить неминуемую катастрофу. Подписался полным титулом, указав, что лично не могу даже помочь семье, ибо занят работой — в Киеве. В киностудии, надеюсь, это произведет впечатление?

Во всяком случае, в воскресенье буду звонить тебе. Как только вырву деньги сегодня — сейчас же переведу тебе. Целую тебя крепко, моя Пекочка. Писенят тоже.

Саша

---

[1] *М. А. Яснов* — председатель Мосгорисполкома с 1950 по 1956 г.

Киев.
Воскресенье.
13 февр. 55 г.

Лиличка, здравствуй еще раз. Я говорил с тобой сегодня по телефону, но еще пишу. Сегодня на студии не работают, и я целый день один. Сходил на базар, купил себе огурцов, соленых помидоров и капусты. На ужин. А завтра с утра до 2-х ночи будет съемка. Надо закончить павильон «Светлица», после чего его развалят, и со вторника мы начнем «осваивать» и потом снимать новый —«Посольский зал». После него идет «Подземелье», но я в нем, кажется, не участвую. Так что после «Посольского» я должен освободиться и вернуться домой, если все пройдет благополучно. Таковы мои дела на студии. Вчера видел «материал» — свой. Ничего. Но я, очевидно, не умею смотреть самого себя — особого восторга у меня он не вызвал. А все восхищаются. Очень сочувствую тебе — рождающей в муках своего «Тристана». Но это как при настоящих родах — пыжишься, пыжишься и... наконец рождаешь... что-то вроде дохлого поросенка, а смотришь — он человек, и уже дороже тебе всего на свете, и уже все в восторге от него. Такова наша судьба — людей, избравших своей профессией искусство. Так что не унывай! Всем нам больно рожать. А другим еще хуже. Я тебе писал о «бунте» моих «мальчишек»? Попали в руки бездарному режиссеру и мучаются, хотят в ЦК жаловаться!

Ведь это только постановщики думают, что они делают картину. Картину делает актер! И только актер!

У меня, наверное, будут свободные дни или вечера. Мне пойдут навстречу. Что значит «устал»? От всякого труда устают! А семья у меня большая, деньги нам нужны? Успею отдохнуть до начала Москвы.

Ну пока, целую тебя, моя дорогая Пекочка, еще созвонимся и спишемся. Поцвлуй девочек. Я, вероятно, скоро буду дома.

Твой Саша

Астрахань.
13 марта 55 г.

Здравствуй, Пека!

Летели мы 7 ч. В Астрахани опустились в 2 ч. дня. Приехали в гостиницу. Номер большой, с ванной. Накануне в нем жил министр речного флота, приезжал из Москвы. Ресторан есть. Но все мясные блюда зачеркнуты. Во всем городе ни

куска мяса. Если хочешь суп, вари его из тяжелой индустрии. Зато есть рыба. И очень свежая — из Волги. Я ем солянку. Вчера был первый концерт. Где-то за городом, в рабочем клубе. Прошел удачно. Я боялся, что отвык петь за это время съемок, и думал, что у меня не хватит дыхания на весь концерт. Но хватило, как видишь. Эх, если б меня научили отдыхать, мне бы цены не было! Сегодня у меня концерт в драмтеатре в 4.30 дня. Между двумя спектаклями. Надо было взять сухариков к чаю. Абрам избегал весь город — ничего нет. Даже печенья... И вообще ничего нет — в магазинах пусто.

Голос у меня звучал вчера, как на заграничных пластинках, когда я был молодым. Вот что значит не петь месяц. Теперь если буду напевать новые пластинки, обязательно перед этим недели две помолчу, совсем другой табак получается! Начал пить свои лекарства, из которых главное — коньяк. Сделал вчера первый укол. Еще два концерта — и улечу в Сталинград. Все нахожусь под впечатлением «Овода». Книжку «Талейран» я уже читал раньше. Но самое ужасное то, что я забыл ее в самолете! Не знаю, что я скажу Н. Г.[1]... Вспоминаю свой дом — жену и доченек. Пока еще не скучаю. Абрам сегодня идет на базар. Может, что-нибудь принесет. Вчера надел фрак, спел концерт и почувствовал себя в старой, привычной шкуре. Нет, положительно кино — каторжный труд! Насколько неизмеримо легче петь концерт. Конечно, больше одной картины в год играть не надо! Разве только если попадется очень уж интересная роль. Вот и все, что можно написать из этого города. Больше писать нечего. Да, один шутник написал две глубоко проникновенные строки, которые несомненно войдут в историю нашей теперешней жизни:

Сижу я с исстрадавшимся лицом
Над выеденным мною же яйцом!

До свиданья.

Саша

Сталинград.
18 марта 55 г.

Иличка!

Сегодня туман. Твкой густой, что из окна не видно улицы. Хорошо, что мне не надо лететь, а то бы я волновался. Вчера был первый концерт в Сталинграде. В рабочем районе Беке-

[1] *Надежда Георгиевна,* жена А. А. Осмеркина.

товка, где тракторный завод. Я очень сомневался в своем успехе, да и вообще в необходимости своих концертов для такой аудитории. Но успех был огромный и трескучий. Значит, нужно. С первой песни, «Пред ликом Родины», и до конца концерта внимание и восторг не ослабевали ни на мгновенье. Я пел, не жалея себя. После концерта на улице меня ждала толпа. «Почему вы так долго не приезжали?» — спрашивали меня. «Приезжайте еще к нам, почаще!» Так был перешагнут мой долг Сталинграду. Я уже не буду волноваться сегодня и дальше. Тут есть знаменитый «дом Павлова». Этот дом 57 дней держал маленький отряд в 10—12 чел[овек] под командой сержанта Павлова. Дом был стратегически важен, и его нельзя было отдать. И он его не отдал. Под конец их осталось 3 человека. Он уже отстреливался лежа. Немцы не смогли взять его. Первый дом, который восстановили сталинградские женщины, был этот дом. Сержант Павлов остался жив. Он где-то председатель исполкома. Каждую годовщину Сталинградской битвы он приезжает сюда, по приглашению города. Этот чудо-дом знает весь мир. Все делегации о нем спрашивают. И очень глупо, что его отштукатурили и «привели в порядок» — его надо было оставить таким, как он был: израненным снарядами и шрапнелью, насквозь простреленным — героем! В назидание потомству! Сюда со всего света приезжают люди, и жаль, что все уже убрали и подчистили. Нечего показывать. Всюду мемориальные доски. «Здесь было то-то!» — этого мало. Кое-что надо было оставить в неприкосновенности. Город большой. Он растянулся по течению Волги, на 70 километров в длину. Поэтому концерты мои «в городе», но ехать надо по 20—30 километров.

Знакомых у меня тут нет. Были здесь Менари и Мунцев[1], но уже давно уехали в какой-то Норильск — новый город... Купил дочкам альбом Сталинграда и открытки для школы. Делаю уколы и чувствую себя неплохо. Как подвигается твоя работа, Пекочка? Напиши мне в Горький. Хотя нет смысла. Я там пробуду недолго и — домой.

Как мои писендрулики? Дерутся?.. А главное, по радио, у вас там ноль градусов! Боюсь, что потолок опять течет. Позвоню тебе из Куйбышева. Ну пока до свиданья. Целую тебя и дочулей крепко.

Твой Саша

---

1 Артисты эстрады.

Киев.
15 мая 1955 г.

Доброе утро, Лиличка!

Сегодня воскресенье. На улицах тепло, солнце, весна. Как прекрасен Киев! Вчера бродил по городу. Вишни в таком цвету, что деревьев не видно. Яблони, груши. Каштаны цветут белыми свечами... А мне так грустно и так хочется здесь навсегда остаться доживать свой век! Точно я ввернулся в родной дом к матери, и, увы... надо опять уходить. Вчера чей-то ласковый женский голос где-то на улице звал, по-видимому, ребенка: «Шура! Шурочка!» Я вздрогнул... и расплакался. Ах, какую силу имеет прошлое! И как странно ходить по кладбищу своей юности! Вот и сейчас пишу письмо и заливаюсь слезами. Почему я должен жить в Москве, когда душа моя здесь, в Киеве? Вчера мои друзья из драмтеатра долго уговаривали меня переехать в Киев. Но разве я могу распоряжаться собой? А теперь с этой дачей...

Одно я тебе скажу, что когда я вас крепко и окончательно устрою, выплачу дачу, накоплю денег на черный день... я приеду сюда и буду жить здесь один, в этом городе, из которого я ушел мальчиком и вернусь стариком. Это будет мне наградой за длинную трудовую жизнь. Ведь я с 14-ти лет живу на свой труд! И когда-нибудь я же имею право на отдых?

Сегодня мой первый концерт. На Подоле. Завтра самый интересный и важный — в Оперном театре. Все, конечно, продано, говорят, что на концерте будет все правительство. Правительственные ложи заняты заранее. Тут меня очень любят, как и везде, впрочем,— жаловаться нельзя,— но тут особенно. Меня окружают таким вниманием и заботой и все — от больших людей до самых маленьких, до прислуги в гостинице. Малейшее мое желание исполняется с удовольствием и моментально! Киностудия купила десятки билетов на завтра, все идут меня слушать! Около кассы театра барышники берут сто рублей за билет в 18-м ряду!

Это в том театре, из которого меня, зайца-гимназиста, по три раза в вечер выгоняли суровые капельдинеры! Да... чудеса... Все, о чем я мечтал, стоя в маленькой церкви кадетского корпуса у заутрени (как я буду знаменитым и буду стоять во фраке... и все будут на меня смотреть!), это все сбылось... но тогда, когда мне зто уже не нужно! И только раздражает меня.

К сожалению, завтрв, несмотря на то, что у меня вечером концерт, я должен с утра сниматься в Киево-Печерской лавре.

Будет снят пожар лавры, сожженной поляками. Я должен любоваться им, окруженный иезуитами. Потом еще два дня съемок — 17-го и 18-го, и конец. Картина закончена. Говорят, материал превосходный. Меня все страшно хвалят, актеры особенно. Увидим. Если не вырежут. В июле будет премьера. Мне дадут телеграмму, и я прилечу сюда на один день. Хочу взять тебя с собой. Посмотришь, как я играю на украинском языке. В Москве она пойдет на русском — да это еще надо ее переозвучивать!

Теперь у меня уже не будет ни одного свободного дня. Или съемки, или концерты. Последний — 22-го, а 23-го я уже сяду в самолет.

Ну, как у вас дела? Напиши мне, ради Бога. Что вы делаете? Как дети? Вспомни, что ты все же жена, и оторвись на минутку от своих эскизов! Мне ведь очень тоскливо жить на колесах! Сегодня пойду искать семена. Сейчас оденусь. Загляну во Владимирский собор, потом пойду на рынок, посмотрю, что там есть и чем там торгуют. Подписался на заем на 11 700 руб. Так просило Г-Бюро.

Ну, пока до свидания — скорого, даст Бог. Целую тебя и доченек крепко и нежно.

Не сердись за это письмо
И за слов моих горестный хмель...

— как говорит Вертинский.

До встречи.

Саша

P. S. Тебе, наверное, надоело читать такие длинные письма?

26 июня 55 г.

Сегодня был концерт-загадка по радио. Я слушал. Почти все я угадывал. Но дело не в этом. Я подумал, насколько вкусы и требования нашего народа выше того, что им дается ежедневно по радио. Насколько тоньше и взыскательней их вкус! И вместо ежедневного «пойла» — советскими композиторами, хорами, неграмотной самодеятельностью и «патологическими частушками», исполняемыми нашими рязанскими бабами каким-то особым «внематочным» голосом,— вдруг настоящий взыскательный отбор в программе! Право, на это давно уже нужно обратить внимание. Скрипач Леонид Коган

играл антракт из «Раймонды» Глазунова. Точно теплый летний дождь, лились из-под его смычка длинные, светлые нити музыки. Какое блаженство! Какая радость! Потом играли трагическое — «Valce triste» Сибелиуса — страшный, и роковой, и печальный, и мне казалось, что танцует его какой-то юный рыцарь в старом пустом замке со своей уже мертвой невестой, залитый мертвенно-лунным светом! Потом тепло и скорбно спел талантливый Гмыря романс Рахманинова «В молчанье ночи тайном». Было еще много других заказов, и все это говорило о высоком требовании русского слушателя! А мы все еще не можем слезть с ⟨...⟩ тематических «прейскурантов», переложенных на музыку скучных чужих анкет ⟨...⟩. Кончится тем, что нас возьмет «в учебу» сама публика и начнет нас «воспитывать» настоящим пониманием искусства!

Киев.
30 авг. 55 г.

Вчера мы с моим режиссером были у Бучмы. Он выразил желание меня видеть. Он великий актер, и я отказать не мог. Страшно боялся, что в квартире будет пахнуть лекарствами и что он — живой труп — будет лежать на кровати и мычать. Но этого не было. Квартира киевская, такая, как у меня была в детстве, все открыто: окно, балконы, двери. Он сам похож на памятник самому себе. Все еще прекрасное и вдохновенное лицо большого актера, окаменевшее в бронзе или в камне, и все. Правда, каждые 5 минут жена вытирает ему платком рот. Но он сидит неподвижный и прекрасный, и только одни глаза говорят о большом уме, светлой мысли. Он уже «консультант» по картине. Он говорит еле-еле, не шевеля губами, но ясно. Его высказывания конкретны и точны. Когда я начал говорить о том, как я понимаю свою роль, он сразу взял мою сторону. Как я писал уже тебе, мое понимание сильно расходится с пониманием моего режиссера, вот почему я недоволен пробой. А хочу я играть не украинца с сивыми усами, а петербургского генерала в отставке, который не успел еще «омужичиться». И всего 5 лет, как он ушел из полка и стал помещиком. У него вся внешность и манеры еще тяготеют к Петербургу, он еще «донашивает» свою военную форму и свои либеральные идеи, которыми он пугает семью. На самом же деле он собственник, кулак, помещик и сволочь!

Бучма моментально стал на мою сторону и сказал: «Оставь его в покое, он знает, что он играет!» И еще добавил к моему представлению об образе ряд точных деталей, отчего я полностью утвердился в своем мнении, и настроение у меня теперь прекрасное.

А. Вертинский

Киев
8 сент. 55 г.

Лиличка дорогая!

Пишу тебе письмо (очень короткое) только потому, что это у меня в крови, и я не могу не поговорить с тобой, прежде чем лягу. Значит, так. Я «озвучил» сегодня три «кольца» своей роли в «Навеки». Должен сказать тебе, что это адова работа. Это заняло время от 12-ти до 5-ти ч. Ужасно трудно. Тебе дают наушник. В нем гудит твоя речь — по-украински! А говорить ты должен по-русски, попадая в свою артикуляцию. С ума можно сойти! Но это только одна роль. А еще «пан Беньовский»!.. Этого я успеть не могу, потому что я два дня снимаюсь в «Фате». Из-за этого я должен прилететь 14-го, и дай Бог, чтобы я успел все озвучить до 17-го, потому что 17-го утром я должен улететь в Москву, ибо 18-го я сажусь в поезд и еду в поездку.

Ты, как мой верный друг и жена, беспокоишься, что я набрал много работы. Но не думай об этом. Ты же знаешь, что я люблю работу в кино и, проклиная ее, не могу от нее оторваться. Не бойся! Все это в моих силах, все это я выдержу. Я кончил озвучание в 5 ч. веч. и до семи бегал по студии. Надо же еще вырвать деньги. За «Костер». Но надо еще вырвать... по «Фате»! Завтра обещали. И еще за озвучание они предложили мне гроши. Я отказался. Должны дать больше! В общем — устал. В 7 ч. веч. вернулся в номер, поспал, и в 9 ч. мне позвонили мальчики, у которых все мои пластинки переписаны на магнитофон, предложили послушать. Я пошел к ним, сидел и расстроился окончательно. Подумал о том, что я умру, а все это останется! Не сердись. Меня обуревают скверные мысли... Вероятно, не успею ничего купить на базаре. А хотел привезти вам гостинцы.

Целую тебя крепочко и моих обожаемых. 11-го прилечу. Или утром, или, если меня задержат, вечером.

Твой верный муж.

Саша

Киев.
12 ноября 1955 г.

Вчера поговорил с домом, и легче стало. Все эти дни сердце было в тревожном состоянии из-за этих проклятых денег, которые у них и вообще-то трудно вырывать, а теперь, после праздников, и совсем невозможно. Вчера Володька Моисеенко[1] бегал по гостинице, искал денег на билет актерам, улетавшим во Львов. Позор! Какая-то нищенская студия. Их всех надо разогнать! Неразбериха полная. Все «жучки» и «арапы» Киева собраны в ней. Вчера днем час сидел у главбуха, пытаясь вырвать свои собственные 500 р. Он рассыпался в комплиментах моим талантам и говорил долго, цветисто, сладко улыбался и жмурился. В конце концов я разозлился и сказал ему: «Вам надо купить магнитофон, чтобы записывать на пленку свои речи. А мне их слушать неинтересно!» Встал и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Вот кончу эти фильмы, и ноги моей больше не будет на этой студии! Обещали дать сегодня после пяти. Посмотрим. А как я буду выдирать зарплату за полноября? Я могу только представить себе. Будь они прокляты со своим кино. Мне оно уже осточертело до ужаса!

Погода эти дни стояла чудесная. Ярко-голубое небо без единого облачка. И тепло сравнительно. Вот что значит благословенная земля. Украина! В Москве морозы, снег, пурга, говорят актеры, а тут золотая осень! Сегодня, правда, уже небо в тучах. Я сижу и жду своего партнера Величко, который играет Лоло. Из-за небольшой сцены, которую мы не успели доснять из-за рабочих. Пока снимают проходы пана и кой-какие мелочи. Сегодня я свободен. Приму ванну и отлежусь в кровати. Все еще ужасно кашляю, никак не могу простуду из себя выколотить, хотя пью то кодеин, то стрептоцид, то оба вместе.

Как тебе нравится разгром архитекторов? По-моему, правильно. Такого г... настроили! Крещатик здесь — прямо кондитерская. Одни сливочные торты, а не дома. Балкончики, фестончики, башенки... безвкусица удручающая! Неудивительно. Варятся в собственном соку. Ничего не знают и ничего не видели...

Ну, пока до свиданья. Целуй детей.

Саша

---

1 Работник киностудии им. А. П. Довженко.

Иркутск,
25 марта 1956 г.

Дорогая Лиличка!

Вчера спел пятый концерт. Он был на заводе, за городом. Несколько концертов в самом Иркутске меня радуют (потому что успех их невообразимый). Настолько концерты в рабочих клубах и дворцах культуры — чистое мучение. Публика темная, шепчутся, ходят взад и вперед, не реагируют ни на что, грызут семечки. Мука мученическая! Брохес вообще уходит без хлопка, а я имею десятую долю своего обычного успеха. Я называю эти концерты «самосожжением». Они мне рвут нервы! И ничего поделать нельзя. Сколько я ни бьюсь в Г-Бюро, чтобы мои концерты происходили только в самом городе, а не в его окрестностях, ничего не помогает. Такой Иркутск, например, берет меня на 10 концертов, но в самом городе будет только пять. Остальные — вокруг него. Теперь мне предстоит сегодня ехать машиной в Ангарск — петь там, потом ночевать в вонючей гостинице, потом ехать в Усольск — петь, опять ночевать и утром машиной возвращаться в Иркутск. Еще, слава Богу, что не поездом. После этого у меня два последних — здесь, и конец. Только вместо 10-ти кон[цертов] выходит 9. Они хотели меня загнать в Черемхово — угольный район, где уже, конечно, никто ни черта во мне не поймет, а ехать туда двое суток, но я категорически отказался и не поеду. Следующий этап — Томск (трое суток поездом). Там всего два концерта, причем с пересадкой, т. к. Томск лежит в стороне от главной магистрали, и где-то надо пересаживаться и ждать 7 часов на вокзале поезда. А дальше Кемерово — опять угольный район и вокруг него. У меня руки опускаются, когда я подумаю об этих концертах! Ты понимаешь, за что они дают 6 ставок?

Вот такова картина. Кормят тут ужасно. Ничего нельзя взять в рот. Мясо не разрезается — сплошные жилы, пливы. Даже вилка в него не прокалывается. В магазинах нет ничего.

27 марта 1956 г.

Знаешь, Лиличка, я уже понял, что единственное спасение у нас в труде. Поэтому я понимаю твое томление человека, имеющего твердую профессию и сидящего без работы. Вот за мной приходит машина в 6 ч. вечера, потому что в 9 ч.

я должен петь. Я уже с пяти часов готов. Я еду, работаю, борюсь за свое право жизни и усталый и измученный возвращаюсь домой. Но это **деятельность!** Напряженная и трудная. И она дает закономерный отдых. А вот сегодня у меня «выходной» день. И я — несчастный человек! У меня нет никого, с кем бы я мог поговорить, я не умею «отдыхать» — я предоставлен самому себе и своему одиночеству, и что мне делать? Воистину это «страна труда», и больше ничего! И самое страшное в ней — это отдых! Он уже у нас никак не выходит. За что я только сегодня не хватался! И за стихи, и за прозу... Ничего не выходит. И вот я кончаю тем, что, уже умиротворенный коньяком, сажусь тебе писать письмо. Ты у меня единственный друг! Больше никого нет. Я перебрал сегодня в уме всех своих знакомых и «друзей» ⟨...⟩ и понял, что никаких друзей у меня **здесь** нет! ⟨...⟩ Каждый ходит со своей авоськой и хватает в нее все, что ему нужно, плюя на остальных. И вся психология у него «авосечная», а ты — хоть сдохни — ему наплевать! В лучшем случае они, эти друзья, придут к тебе на рюмку водки в любой момент и на панихиду в час смерти. И все. Очень тяжело жить в нашей стране. И если бы меня не держала мысль о тебе и детях, я давно бы уже или отравился, или застрелился. Ты посмотри эту историю со Сталиным. Какая катастрофа! И вот теперь, на 40-м году Революции, встает дилемма — а за что же мы боролись? Всё фальшиво, подло, неверно. Всё — борьба за власть одного сумасшедшего маньяка! На съезде Хрущев сказал: «Почтим вставанием память 17 миллионов человек, замученных в лагерях и застенках Сталиным». Ничего себе? Теперь нашли письмо Ромена Роллана (в его сейфе в пуб. библиотеке), где он пишет: «Дорогой И. В.! Я не смею верить, но говорят, что в Вашей стране 17 миллионов томятся и обливаются кровью. Ответьте мне! Умоляю вас! Правда ли это?»

И Сталин не ответил!

В субботу меня пригласили в оперетку в 11 ч. утра. Будет зачитываться речь Хрущева на съезде, посвященная этому ужасу. Я пойду. В «оперетку»! Ничего себе? Семнадцать миллионов людей утопили в крови для того, чтобы я слушал «рассказ» в оперетке? Нечего сказать! Веселенькая «оперетка». Веселее «Веселой вдовы»! Кто, когда и чем заплатит нам — русским людям и патриотам — за «ошибки» всей этой сволочи? И доколе они будут измываться над нашей Родиной? Доколе?

Саша

1-го апреля. 1956 г.

Я все еще думаю об «Отелло».

Мне хочется быть объективным. Хорошо ли сыграл Бондарчук? Да. Хорошо.

Но...

Но в тех рамках и той трактовке, которые ему указал режиссер! Он, безусловно, талантливый и умный актер.

И он сделал все, и больше, чем все, из того, что от него требовали.

Но таков ли Отелло?

Нет. Не таков!

И кто виноват? ⟨...⟩

Что понимают в искусстве эти люди, которые представляют собой партию?

Боюсь, что ничего! Или очень мало. Например. Они застроили Москву безвкусными архитектурными домами. Выхолостили всех своих поэтов, заставив их писать «по делу» и отняв у поэзии самое главное — ее свободу и «святую бесцельность». Бескорыстную бесцельность. И во все всунули свой нос! Они обуздали гениальность Шостаковича, обвинили в «формализме» и задушили живопись и теперь делают из Шекспира «рыбные котлеты» в консервах! Не много ли это? Не слишком ли это смело?

В первой половине фильма Бондарчук играет «Отелло» по... Чехову. Во второй — он играет его как человека, «борющегося с мировым злом, ложью и обманом (по Марксу и Энгельсу), и убивает Дездемону, видя в ней это мировое зло»,— как говорят рецензии. Допустим, что это так. А где же любовь? Где этот вулкан страсти, который испепеляет Отелло?

Бондарчук забыл самое главное. Он забыл влюбиться в Дездемону! Отсюда все. Весь романтизм роли прошел мимо него! И на экране был «умный человек», с высокими моральными качествами все того же «безупречного секретаря обкома», который потерпел крушение от косности «империалистического» общества... А трагедия любви? Ее нет. С экрана выглядывает все тот же «собирательный», выдуманный тип «советского» человечка, которого пока еще нет и которого так мучительно мечтает родить партия!

А. Вертинский

Сталинск.
10 апр. 56 г.

Вот, Пекочка, работаешь, мучишься, страдаешь от хамства, от бескультурья, проклинаешь свою жизнь... А все же... чувствуешь, что ты не прав! Чего-то мы «недопонимаем»! Чего? Социализма? Может быть! Коммунизма? (грядущего). Может быть! Но все это неважно. Каково бы ни было то или иное ученье, но скажем просто: оно должно быть «съедобным», «выносимым», «терпимым», оно должно как-то «перевариваться» человеческим желудком. Эта же наша «действительность» не переваривается абсолютно. Мною, по крайней мере!

И все же, по-видимому, я не прав! В вагоне, к тебе в купе садится грязный вонючий парень, пьяный к тому ж. Он разматывает свои прелые онучи, снимает вонючие сапоги и наполняет все купе вонью. Я готов заплакать от бессильного бешенства!

А наряду с этим дымят трубы гигантских заводов, красные огни вырываются из труб. На десятки километров тянутся рабочие города, только что отстроенные. Шахты, металлургические заводы (неизвестно что производящие), иногда целые огромные предприятия, упрятанные под землю... И все это кипит, работает по ночам в две, в три, в четыре смены. Без перерыва, без отдыха! Что это? И вот — мы уже могучая индустриальная держава! И нас уже боятся, с нами считаются! Кто же эти люди? Инженеры с волевыми энергичными лицами? Конструкторы с горящими вдохновеньем глазами? Рафинированная интеллигенция? Нет! Вот эти самые, которые снимают в купе вонючие портянки,— они! Они — новаторы, рационализаторы, двигатели этой «бессортирной» культуры! Они — народ! Во всем его величии и... нечистоплотности!

Вот этого мы недопонимаем. Привыкнув жить в западной культуре, я не могу переварить всей этой безалаберщины, грязи и невоспитанности. Но... их никто не воспитывал! И, обойдя культуру стороной, они с немытыми руками сели за стол, как мать родила! И работают! И творят чудеса!

Новосибирск.
28 апр. 56 г.

Лиличка!

Сегодня спел 26-й концерт. И закончил Новосибирск. Концерт был тяжелый. Вернулся, наконец, машиной домой. Съел

два холодных пирожка — мой ужин. Выпил коньяку и уже хотел совсем было лечь спать — у нас 1 час ночи, но вдруг сказал сам себе громко: «Нет, я напишу письмо жене, а потом лягу!» Я часто говорю сам с собой — я почти всегда один.

Не хочется мне жаловаться, но концерты эти — просто пытка какая-то! Сидят. Как будто понимают. Молчат. Реагируют слухом на исполнение, а аплодировать не находят нужным. Как будто это им полагается! Каждый день! Я злюсь. Не кланяюсь и гоню концерт. Скорее кончить! Занавес! Наконец-то! Вот тут только, когда все кончилось и они получили «по весу» то, за что заплатили деньги, они вдруг начинают просить «прибавки» и разражаются аплодисментами. Но я уже доведен до предела. Нервы натянуты. С наслаждением я даю занавес и даже не выхожу больше на поклон.

Они аплодируют, стучат, орут. Выходит ведущий и говорит:

— Концерт окончен!

Неужели они не понимают моей тяжкой, честной и благородной работы? Я ведь ничего не скрываю от них, пою так же, как я пел бы для Господа Бога,— искренно, глубоко, правдиво, как верующий, как «священнослужитель»! И в ответ... Будь проклята моя профессия! Лучше возить г... в бочках, чем быть на моем месте! Ну ладно. Хватит, не сердись, пожалуйста. Но мне не с кем поделиться всем этим, кроме тебя.

1-го мая еду в Омск, а пока «на простое» — четыре дня. В Омске 6 конц[ертов] подряд. Возможно, 10-го утром прилечу. Целую тебя и детей моих.

Саша

Кисловодск.
1-е июня 1956 года.

Мое уважаемое семейство!

Как вы живете? Как ваши дела? Как разворачиваются архитектурно-строительные планы и творческие замыслы моей уважаемой супруги Лидии Владимировны Вертинской, урожденной Циргвава? Величайшего зодчего 20-го века на станции «Отдых» Московско-Казанской железной дороги? Какими шедеврами одарит нас она после того, как будет отделана веранда и очищен сортир? Трудно проследить творческий полет ея фантазии. Но думаю, что он будет велик и прекрасен!

«Художники и архитекторы!

Создавайте произведения, достойные нашей великой эпохи...»

А главное — сортир!

Начинайте с сортира! С него вообще начинается культура. А у нас строят Дворцы культуры, но забывают о... сортирах!

Что же ты там настроила, Пека? Висячие сады Семирамиды? Строй! Строй на здоровьице! Пусть хоть это развлечет тебя...

Эта поездка не тяготит меня. После Сибири все кажется пустяками, и я совсем не устаю. Тут и воздух, и приличные условия, и приличная публика. В Кисловодске есть все. Я пью сливки, днем гуляю, правда, по холоду, но по свежему воздуху и легко, на машинах двигаюсь по курортам. Прием весьма горячий. Сегодня в Ессентуках был, как и полагается, аншлаг — 10 тысяч! Везде — тоже. Директора довольны, потому что заработали на мне хорошо. А это — самое главное. В остальном чувствую себя прекрасно, и все находят, что я прекрасно выгляжу и в хорошей форме! Пою неплохо. Как идут экзамены моих птах? Пиши мне на Краснодар — филармонию. В конце июля буду дома. Целую тебя нежно, моя лапочка. Дочек тоже. Привет Л. П.

Саша

Ялта.
27 июня 1956 г.

Дорогая Лиличка!

Сегодня у меня воистину счастливый день. Целый день я смотрел на небо и видел только черные грозовые тучи. А у меня концерт на открытом воздухе, в летнем театре! Каково мне петь?..

И вдруг с 2-х часов дня небо стало яснеть. И к пяти стало голубым. Концерт был спасен! Полторы тысячи человек слушали меня спокойно — на чистом воздухе. В пять мне позвонил Черкасов:

— Александр Николаевич, я хочу вас слушать! Я приду на концерт к вам с «очень красивой» женщиной (так и сказал) — с женой нашего художника Альтмана (который нездоров и сам прийти не может).

Я купил 2 билета ⟨...⟩ и оставил ему в кассе — иначе он был бы без места, потому что все было уже давно продано на оба концерта и осталась только «броня». Дул ветер. За час я проверил микрофоны и спокойно начал концерт, и, хотя многое мешало мне, все же концерт прошел блестяще под рев и стон публики. Они сидели в 1-м ряду. В антракте Николай Константинович и она пришли ко мне за кулисы

и наговорили мне столько радостных слов и **таких** слов, которые могут говорить только настоящие профессионалы, актеры друг другу. «Красавицей» я ее не нашел. Это — «бывшая» красавица⟨...⟩ Но как собеседница и как просто культурный человек — она очень интересна. Она умеет говорить и, повидимому, любит искусство⟨...⟩ Людей приличных и интересных у нас очень мало⟨...⟩ А она, т.е. жена Альтмана, очень тепло отзывалась о Сашке Осмеркине и сказала, что он в живописи и в жизни был поэт. И что он много ей рассказывал обо мне. После концерта они зашли за мной, и мы отправились в садик ихнего ресторана гост[иницы] Южной, где и посидели очень мило до часу ночи. Потом разошлись по домам. Черкасов много говорил мне о своей трактовке образа Дон-Кихота и о том, как ему трудно его играть, несмотря на то, что он играл его еще в детском театре когда-то. Он рожает этот образ мучительно и трудно. Я его понимаю и уважаю за это.

Мой концерт его потряс. Я, конечно, пел весь концерт для него и не жалел сил! Потом стали смеяться и говорить о публике. Он рассказывал, как сзади него сидели морячки и говорили:

— Сила!

— Вот дал прикурить! А?

— Вот это артист!.. и т. д.

Посмеялись. Потом лезли всякие люди и к нему и ко мне. Он — как депутат — был со всеми вежлив и добр. А я безжалостно гнал от стола всех этих пьяных любопытствующих! Мадам сказала, что я ужасно раздражительный и что так нельзя. Возможно, что она права. Но я не могу себя переделать. Я ненавижу отсутствие воспитания и назойливость! Потом они проводили меня до половины дороги... На половине дороги какие-то мальчишки остановили их и поднесли ей один цветок магнолии. Очень редкий. Она уже отцвела. У меня в руках были белые лилии, которые мне поднесли в концерте. Я моментально предложил ей поменяться цветами. И вот теперь, отдав ей лилии, я получил магнолию! И она стоит у меня на столе. Это мой любимый цветок! Как невеста! Как белая чайка, залетевшая в комнату, целомудренная и закрытая наполовину и уже чуть подпорченная по краям, она — и святая и грешная и почему-то похожа на святую Цецилию! Я буду долго смотреть на нее, пока она не увянет. И это будет **радость!**

А жизнь, конечно, прекрасна! И надо благодарить Бога за то, что мы живем, а не гнием в могиле и не воняем, как

покойники в Колонном зале Дома союзов, окруженные «почетным» караулом.

— Караул! — закричу я, если меня положат в гроб со всеми удобствами.— Не надо! Надо жить! Во что бы то ни стало! Вот и все.

Я, конечно, притворяюсь «душечкой», «талантом» и «живым человеком»! И могу еще очаровать пару ротозеев! Но... Так нужно...

Ничего, что мне уже ничего не нужно! Ничего, что я уже ничего и никого не люблю! Надо тянуть свой воз. И притворяться, чтоб не постареть. Чтобы — жить!

Саша

Баку.
1 октября 1956 г.

Лиличка!

У меня сегодня торжественный день. **Я кончил сценарий!** Если я что-нибудь понимаю в искусстве, то это — блестяще и здорово! Но кто знает, как его примут? И примут ли? Поэтому я воздержусь от восторгов. Увидим... Одно могу сказать тебе. Я писал его и часто заливался слезами, потому что он **почти** моя жизнь! Ничего я не придумывал. Все это было. Все это **правда!** Прочтешь — увидишь. Теперь надо его перепечатать на машинке в 3-х экземплярах. Тут дерут 5 р. за страничку! Я, конечно, отказался. Возможно, что придется печатать его в Москве. Или я найду дешевле. Я очень взволнован и потрясен им. Помимо моей воли и желания, он вышел ярким и подлинным, горячим и искренним, твердо заявив свои права на жизнь! И он будет. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Он захватывает от первой сцены до последней. В нем нет ни одной банальной сцены. Его нельзя смотреть без волнения и без слез. Я работал над ним неотрывно месяц — и вот он готов! Я вскакивал ночью и что-то писал, чтоб не забыть, я вставал в 7 утра и писал до 3-х дня. И вечером, после концерта, я садился за него. Никогда еще я не был так увлечен работой. Посмотрим!..

Как вы живете? Я жду письма, обещанного в твоей телеграмме. Мне здесь скучно — как и везде. Никого нет. Спасала только работа. Теперь она кончилась. Я уже спел 18 концертов. Буду петь и двигаться дальше. По плану. Думаю о тебе и своих дочулях. Это все — моя единственная радость. С этим я засыпаю. Спокойной ночи. У нас тут 1 час

ночи, а у вас... 10 часов вечера, не буду звонить, потому что ты раздражаешься от моих звонков. Да ведь я все говорю в письмах. Целую тебя.

Саша

4 октября 1956 г.

Дорогая Пекочка!

Хотя я под сильным впечатлением своего сценария и ни о чем думать не могу, я все же — по традиции — пишу тебе письмо. Только что оторвавшись от него. Сегодня переписчица отстучала мне на машинке «пролог» и «галопом» 15 страниц, и он зажил новой, «печатной» жизнью. Стал краше, строже, безукоризненней. Он родился и растет с каждым днем. Он красив, благороден, прекрасен в своем спокойствии печатного медлительного рассказа. Он красив. Я любуюсь его чистотой и конкретностью! Он живет уже без меня и помимо меня. Он — уже драгоценность. Завтра эта старая еврейка (которая скоро умрет, она как спичка!) придет в 10 ч. утра — работать. И я жду ее — как Ромео Джульетту! Дальше, дальше польется горькая повесть об одном человеке без Родины. Как он удался! Если бы ты только знала! Эта машинистка сегодня сказала мне:

— Вы знаете, я не могу печатать, у меня дрожь по всему телу.

Может, я преувеличиваю? Не знаю. Кажется, нет. Увидишь! Ни одну сцену нельзя смотреть без волнения. Ничего банального. Ничего похожего на наши фильмы. Он должен потрясти всех. Я считаю, что уже в таком виде, как он есть, он может быть напечатан в любом журнале. А это ведь только «конспект» сценария!

Ну, довольно влюбляться в собственное детище, поговорим о другом. Сегодня пел концерт в доме отдыха, где «отдыхают» триста чемпионов, приготовленных на Олимпиаду, которая через месяц будет в Австралии: все они едут туда! Они живут здесь в чудном климате, тренируются, отдыхают — готовятся защищать «спортивную честь» нашей Родины. Им предоставлено все, чего только они могут пожелать! Сегодня их «угощали» Вертинским. В большой столовой устроили эстраду. Духота была страшная. Было человек 500. А столовая на 200 человек. Ко мне приходили боксеры, футболисты, бегуны, метатели дисков и пр.— самые лучшие из них, отобранные на Олимпиаду,— и говорили мне нежные слова. Я пел, теперь я дома. Устал. Поужинал. Не буду даже

убирать грязную посуду. Что на меня не похоже. Лягу спать. Устал. Целую тебя в загривочек и моих лошадок! Больше писать не могу.

Саша

P. S. Мне осталось здесь 3 концерта. Десятого я уеду в Самарканд, потом Сталинабад, потом Ашхабад. До 10-го пиши сюда, потом Сталинабад.

P. S. S. А посуду я все-таки не выдержал и перемыл!

7 октября 1956 г.

Пекулечек!

Сегодня у меня знаменательный день. Сегодня в 2 часа дня машинистка достучала последнюю сцену моего сценария и, получивши 200 рублей, «исчезла, утопая в сиянье голубого дня». На моем письменном столе в трех синих папках лежат три великолепно отпечатанных экземпляра моего сценария и являют собой нечто весомое, ощутимое и существующее. В каждом из них 103 страницы материала, ясного, конкретного и ни на что не похожего, как «солнце в консервах», как атомная энергия! Я хожу вокруг него, как кот вокруг сала, и нежно поглаживаю эти три синие папки, не решаясь даже заново перечесть их. Подождем, пока они будут переплетенными. Это — товар! Понимаешь? Это то, за что надо платить. В общем, при всей своей хохляцкой лени, я — молодец! Это 1/2 месяца напряженной работы. Завтра придет переплетчик, и я ему отдам мое детище. Посмотрим, как оно будет выглядеть после этого. Спасибо за поздравления! С этим меня стоит поздравлять.

Ташкент принимает меня, как наркоз,— и охотно, и азартно. Несмотря на то, что весь город «на хлопке», до детей включительно, концерты мои переполнены. Меня засыпают цветами. У меня в номере в кастрюлях, ведрах, кувшинах, банках и стаканах стоят цветы. Огромная кастрюля роз, невероятных размеров георгины, туберозы, гвоздики, астры. И это вовсе не цветочное время. Где они берут их? Познакомился с разными интересными людьми. Самые интересные — муж и жена Козловские. Он композитор и дирижер, директор консерватории, а она искусствовед. Оба буквально «помешались» на мне. Ходят на каждый концерт и горят настоящим огнем искусства. Они мне подарили книжечку классической китайской поэзии. И сделали надпись из стихов Анны Ахмато-

вой, которые я не знал и которые, по их мнению, мне очень подходят.⟨...⟩

Слова изумительные. Они, по-видимому, большие друзья Ахматовой, потому что несколько стихотворений в ее книге посвящены им обоим. Они говорят верно: «Она окаменела в своем гордом одиночестве и уже... памятник самой себе!..»

Теперь у меня три дня отдыха до Самарканда. Это прямо необходимо, потому что у меня болит горло от переутомления. В четверг улечу в Самарканд. Получила ли ты деньги? Мы сделали все для этого. Если опять эти сволочи не дадут, телеграфируй — я вышлю немедленно. Целую тебя, жена дорогая, крепко и тепло. Доченек тоже. Твой

Саша

Баку.
14 октября 1956 г.

Лиличка!

Только что получил твои письма и карточки. Я очень доволен твоим видом. Ты даже лучше и сильнее, чем я предполагал. Именно такой ты и должна быть. Козинцев прав, что убрал все ударенья и выраженья из твоей речи. Люди этого класса и этой породы так и говорили — без выражения, точно делая одолжение уже тем, что отвечали и говорили. Они считали себя выше окружающих. Запомни это! Твой большой план — превосходен. В твоем лице, как будто ничего не выражающем, именно и дано выражение необычайного презрения и холодного высокомерия по отношению к окружающим. Так и надо. И, ради Бога, ничего из себя не «вытягивай» и ничего не изображай. В этом вся сила образа. Поняла? Она как бы делает одолжение уже тем, что слушает других. В предыдущем письме я тебе писал, что не надо играть, а надо **быть** тем, что изображаешь. А ты — есть, существуешь, твердо и убедительно, тебе, как всегда, помогает «порода». Вот это и есть твое право на жизнь в этой картине!

Даже не думай ни о чем большем и другом. Только так — как есть. Козинцев — умный режиссер, он это понял в тебе и держит тебя в этой узде. Абсолютно с ним согласен. Пусть играют другие. Они играют «на тебя», на твое колесо льют воду.

Я очень доволен и очень боюсь, чтобы ты своими «сомнениями» в себе не испортила образа: только так, и никак не иначе! Поняла?

И совершенно нечего сравнивать себя в «Садко» с этой ролью. То одно, а это другое. Никакая «краснота глаз»

с экрана не будет видна. И если Москвин дает на тебя красный луч, то он знает, что он делает. А у нас в кино у всех актеров к вечеру красные глаза от усталости, грима и света, однако с экрана этого не видно и до публики это не доходит.

Костюм — великолепен. Ты в нем⟨...⟩ очень царственна. Знаешь, есть морское выражение: «Так держать!» Вот так и держи! Ты, как говорят, «легла на курс», и легла правильно. Так и держи! Предоставь на себя смотреть. Как Марлен Дитрих. И все. И это самое нужное и главное здесь.

Пусть «вытрющивается» Альтисидора. Тебе с ней не по дороге! Ну вот и все, что я могу сказать. Завтра буду звонить детям. Потом позвоню тебе числа 18-го.

Возможно, что у меня здесь будет не восемь конц[ертов], а четыре, тогда я прилечу 20-го, в день Настенькиного рождения. Так или иначе, я дам знать телеграммой о дне приезда. Кисловодск я уже отменил. А тут нагнали много гастролеров, и они не смогут уместить мне 8 концертов в короткий срок. А сидеть здесь до 28-го я не хочу. Ну что ж, вместо 24-х к[онцертов] по плану я спою 22 — на два концерта меньше, потому что два лишних я уже спел в Тбилиси. Необходимо отдохнуть. Я устал. Посылаю письмо на Москву, т. к. сегодня 14-е, а ты должна быть дома 15-го. Значит, в Л[енингра]де это письмо тебя не застало бы.

Целую тебя крепко.

Скоро увидимся. Купи часы Настеньке, чтобы, когда я приеду, они уже были у нас, но без меня не дари. Если будешь писать сюда, напиши, как туфельки? Целую вас всех.

Саша

Чарджоу.
7 ч. вечера
16 октября 1956 г.

Тоже — город! Ехали целый день поездом и приехали... Номерище громадный, в 5 коек. Все это одному мне! Но ни воды в номере, ни сортира. Вода на 1-м этаже, а сортир... Надо ходить на двор — в сарай. Или на шоссе, если кто хочет простора!

И вот в таких условиях надо жить здесь и петь мои чудесные песни. Это называется «культурное обслуживание». Построили бы им лучше хороший сортир — вот это и было бы настоящее культурное обслуживание! А то строят Дворцы культуры, а сортиров не строят. Забывая, что культура начинается с него. Злость берет. Ни умыться, ни отдохнуть. И на-

кой дьявол им посылают Вертинского? Может, они еще и Ив Монтана захотят? Не могу больше писать от злости. Завтра утром — допишу. 9 часов вечера.

И вдруг мне вспомнилась строчка Есенина:

Жизнь моя, иль ты
Приснилась мне?

Действительно... такая жизнь может только «присниться». Большие поэты вообще все предвидели и предчувствовали. Во всяком случае, идя сегодня в уборную, где-то в поле, я повторял строку Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу...»

Тут лают собаки. В окно ко мне врывается трехэтажный мат с улицы. Воды нет — попить!

«Отче мой, зачем ты покинул меня!» — сказал Христос на Голгофе.

P. S. А еще «Мары» — послезавтра, и после этого покину Ашхабад. Оттуда 12 часов лета. Но, если Бог даст, скоро увидимся. Целую тебя, Лиличка, жена моя дорогая, и родных доченек.

Саша

19 ноября 1956 г.

Моя дорогая жена!

Я уже немножко «скакучился» по тебе! Не хватает... Не с кем поговорить «по душам». А говорить «по душам» с посторонними — не рекомендуется. Итак — я в Грузии. Я немного боялся этой поездки. Говорили и рассказывали разные ужасы, как ты знаешь. Но меня это не коснулось. Как у Ахматовой:

Он ни в чем не повинен. Ни в этом,
И ни в том, и ни третьем. Поэтам
Вообще не пристали грехи!..

Могу тебе с уверенностью сказать, что никогда еще меня так горячо не принимали, как в этот приезд! А настроение публики здесь далеко не в нашу пользу. Они обижены, по-видимому, здесь наша администрация допустила какие-то ненужные и чрезмерные «меры»... и они этого простить не могут. Но так или иначе — меня это не коснулось. Один грузин сказал мне:

«Вы единственный русский артист, которого мы любим и слушаем со слезами на глазах! Потому что все, что вы даете нам, правда!»

Вот видишь, друг мой? Надо в искусстве всегда говорить только правду, и тогда тебя никто не тронет — ни люди, ни события, ни даже Время! Погода здесь приятная. Тепло. Сегодня я гулял по пр. Руставели и наслаждался золотой грузинской осенью. Недалеко от гостиницы, если ты помнишь, есть очаровательная православная церковь в грузинском стиле. Богослужение там ведется на грузинском языке. Когда-то, когда мы с тобой были здесь, я был именинником 30-го августа по старому стилю, в день Александра Невского. И я решил пойти в церковь. Было уже 12 ч. дня. Служба в церкви кончилась. Я разговорился со священником, и он подарил мне иконку Александра Невского, которая, как тебе известно, всегда со мной с тех пор. Так вот, в этот приезд я решил зайти в эту церковь. Церковь была пуста. Я рассмотрел ее. Она необычайно красива со своими узкими витражами. Все святые на иконах — грузинского типа. И вдруг... Я взглянул на роспись над алтарем и чуть не вскрикнул: у Христа было точно твое лицо! Если убрать усы и бородку — то это будешь ты. Все твое: разрез глаз и величина их — прежде всего, потом — лоб, нос, брови и даже волосы! Прическа такая. Только убрать усы и бородку. И он такой нежный и породистый, этот Христос, и раздает милостыню из чаши. Чудеса! Я долго стоял и не мог оторваться. Вот она, грузинская порода! Весь день я под впечатлением этого. Тут у меня много друзей. Все нас приглашают, но нет времени, да и желанья, по правде сказать! Я ведь не люблю есть и пить, а тут это надо. Однако надо делать иногда исключенья. Еще в Свердловске я познакомился с молодым грузином и его женой, они работали в опере. Теперь он здесь главный режиссер Опер[ного] театра. Они были на обоих моих концертах и пригласили меня к себе. Сегодня у меня выходной день. Сегодня в 3 ч. дня они забрали меня к себе. Что это был за обед: только грузинские блюда! Люди они милейшие. Его зовут — Элизбар Дмитриевич, а она из полек — Галина. Мы пошли к ним всей бандой.⟨...⟩ Обед был чудесный. Мило посидели и поговорили о разном, что в письме не напишешь, потом расскажу.

Завтра вечером уезжаю на два концерта в Батуми и вернусь сюда — еще на три. Потом улечу в Сухуми. Составляю дочкам посылку. Нашел чудесную вещь, которую мы еще не знаем. Это сушеная хурма-королек — сладкая и вкусная. Детям она понравится. Я послал бы тебе, в Ленинград, но тебе ведь некогда ездить на почтамт и получать ее. Поэтому пошлю только детям. Куплю еще кинзы, цыцмарты (травки),

потом сыру сулугуни, изюму и, может быть, яблок. Да, еще лобио. А из Баку к Новому году привезу барашка целого. Вот пока все. После Батуми позвоню тебе отсюда. Мужайся, Пека! Бодрись. Не падай духом. Кино — трудное дело. И никогда не знаешь, чем оно кончится.

Целую тебя, моя лапочка.

Твой муж
Саша

Краснодар.
8 дк. 56 г.

Дорогая Лиличка, и Пекуля, и Муничка, и Лапочка! И «Птица Феникс», и... наконец — «Герцогиня»!

Недостаток ласковых слов в наших отношениях — это тоже результат нашей серой собачьей⟨...⟩ жизни, где любовь и нежность — не в фаворе, где ⟨...⟩ человеческие нежные, глубокие чувства, вечные чувства — Ромео и Джульетты, Фауста и Маргариты, Тристана и Изольды — нечто чуждое, «ископаемое», с которыми знакомятся только по книжкам, и то только для того, чтобы не показаться окончательными дураками и невеждами.

И мы уже привыкли стесняться. Иногда мне очень хочется написать тебе все то ласковое и нежное, что у меня есть в душе к тебе, моей первой и настоящей любви, матери моих чудесных детей... Но разве это напишешь?

Вот когда ты «перевыполнишь» четыре нормы, тебя можно будет «поздравить» и попутно поговорить с тобой о своих личных чувствах! Серость и убожество. Рвзве я такие письма писвл тебе когда-то в Шанхае? А здесь? Все увяло! Все умерло! Ну... черт с ним. Переменим тему.

Сегодня я звонил тебе в «Октябрьскую» и ничего почти не слышал. Одни мученья эти звонки. Уж лучше переписываться телеграммами. Я только понял, что номер у тебя паршивый, что ты утомляешься на съемках (а я ведь говорил тебе, что кино — это мука!), что ты купила квкие-то тарелки и что после 15-го ты будешь дома. Ну и слава Богу! Это самое главное.

Я тяжеловато пою. Сказывается переутомление. 4 таких больших поездки подряд: Сев[ерный] Кавказ, Ср[едняя] Азия, Сибирь и Южный Кавказ. Это больше ста концертов! Я уже плохо выдерживаю такую нагрузку. Годы не те! Еле дотягиваю концерт и на 2-м отделении уже выдыхаюсь. Сейчас надо сделать большой перерыв, чтобы набраться сил. Уйду в кино. Все же там хоть петь не надо. Голос отдохнет.

Послал доченькам туфельки. Надеюсь, подойдут. А если 36 будет Насте мал, пусть возьмет 37-й, а Биби я закажу в Баку. Буду им звонить в Москву числа 16-го дек[абря]. Ты уже будешь дома? Приезжай скорей, а то Настенькин день рождения будет печальным без мамы и без папы. Купи ей чего-нибудь хорошенького в Ленинграде. Какой-нибудь подарочек. А часы я сам куплю, когда приеду. Разговариваешь с ними ты иногда по телефону? Говори! А то они скучают без нас и очень радуются нашим (к сожалению, еле слышным) звонкам.

Я с нетерпением жду увидеть твои карточки в фильме, которые ждут меня в Баку. Я думаю, что это будет то, что надо. Главное — «порода»! А она у тебя есть. Марлен Дитрих — вообще не актриса и никогда не «играла». А только позволяла на себя смотреть и еле шевелила губами. И весь мир был в нее влюблен. Надо быть «царицей», а остальное неважно! Пусть сами за тебя доигрывают. Смотри: Алла Ларионова ничего в фильме не делала. Мы за нее и «на нее» играли, а публика была в восторге! Надо **быть** тем, что изображаешь, а не «играть» то, что изображаешь. А ты «будешь герцогиней», и это все!

Ну, уже поздно. 12 ночи. Целую тебя, мой беспокойный друг. Крепко целую. Скоро встретимся, если Бог даст.

Саша

Ленинград.
5 мая 1957 г.

Дорогая Лиличка!

Приехал я 3-го в 11 ч. утра и... номера в «Астории» не было! Был оставлен в «Октябрьской», но я не поехал. Ведь все координаты я давал на «Асторию». Я решил ждать и ждал с 11-и до 9-и вечера. Тут что-то ужасное. Наплыв делегаций — чернокожих, и белых, и желтых... Несмотря на то, что меня тут и знают, и любят, и уважают, ничего сделать было нельзя. Директор просил подождать до 9-и, когда какая-нибудь сволочь уедет. Скоро нам, советским людям, придется спать на вокзалах. На нас плюют и выгоняют из гостиниц, как собак. Поразительно это наплевательство на своих! Приглашают чуть ли не весь мир «в гости», а гостиниц не строят. Вот головотяпство!

В девять мне дали номер, и я был счастлив. Развесился, умылся, выпил коньячку и уснул как убитый. До сих пор не могу прийти в себя. В дизеле я не сомкнул глаз — так мотало, и день промучился! Теперь уже немного отошел и сегодня часа 3 даже работал над книгой〈...〉

Здесь довольно холодно, но солнце светит. Весь май буду здесь работать спокойно. Как твои дела нв даче? Что слышно с кирпичом? Как ведут себя дети? Скажи, что папа им приготовил подарочки.

Целую крепко тебя и их, пиши скорее, а то я скучаю уже!

Твой Сашенька

Ленинград.
9 мая 1957 г.

Здравствуй, Пекуля!

Несмотря на то, что надо работать — писать книгу и не отвлекаться, я не могу все же отказать себе в удовольствии хотя бы письменно поговорить с женой. Такова сила привычки. Я только что вернулся с концерта, съел два пирожка и вот пишу тебе. Хороший город Ленинград! Удивительно он успокаивает как-то. В Москве живешь, как на вокзале. А здесь — как будто уже приехал и дома. И люди другие, и дома благородные, и улицы незыблемые, построенные задолго до нас и навсегда! И течение народа спокойное — как река в старом неизменном русле, и хамства мало — даже почти нет.

Я тихо живу в тихой, несмотря на засилье делегаций всяких тараканов запечных, черных и желтых, с усиками и без, «Астории», где еще докашливают свой горький век благородные старушки на этажах, любезные, аккуратные и печальные. Никто меня не беспокоит. Нет звонков:

— Позовите Настю!

— Позовите Бибу! (извиняюсь — Марьяну).

С утра, с 8-и, я сажусь писать, вскипятив свой чайничек. Пишу до часу. Потом бреюсь, моюсь, одеваюсь и иду в скверик посидеть на солнце. А здесь внезапно потеплело. Уже начинаются белые ночи. После концерта в одиннадцать еще светло. Я вспоминаю Блока:

Придут незаметные белые ночи.
И душу вытравят белым светом.
И бессонные птицы выклюют очи.
И буду ждать я с лицом воздетым.

Я буду мертвый — с лицом подъятым.
Придет, кто больше на свете любит:
В мертвые губы меня поцелует,
Закроет меня благовонным платом.

Придут другие, разрыхлят глыбы,
Зароют,— уйдут беспокойно прочь!
Они обо мне помолиться могли бы,
Да вот — помешала белая ночь!

Принимают меня здесь благоговейно, восторженно. Но и пою я в десять раз лучше, чем в Москве! Ленинградская публика — это нечто совсем особое, не похожее на остальную публику страны. Они «не все кушают», но если любят, то уж очень! Культура иная. Я думаю о тебе, и мне жаль, что ты не смогла со мной сюда поехать. Ты бы отдохнула здесь. А так, ты крутишься, как белка в колесе, в сетях плетеных московских «авосек» и поджариваешься в московском аду на вечном огне наших советских примусов. (Вот сказанул!)

Понемножку пишу, накопляя материал. Уже вызвал машинистку. Думая о тебе, наводил справки о фильмах,— ничего нет! Черкасов в Париже. Здесь идут просмотры на Ленфильме «Дон-Кихота». (Другого места для показа нет.) Я завтра позвоню на Ленфильм и пойду смотреть тебя. В кино идет «Невеста», которую никто не ходит смотреть. Ругают ужасно. Театр Охлопкоеа — горит. Ленинградцы не принимают ни его «Астории», ни «Клопа». Позвони мне, когда соскучишься. Я боюсь звонить, думая, что не застану тебя. Ты ведь целые дни на даче?

Целую тебя крепонько и писенят моих дорогих! Привет Л. П.

Саша

Ленинград.
15 мая 1957 г.
(Последнее письмо)

Моя дорогая Лапочка!

Вот так всегда бывает. Вместе — тесно. А врозь — скучно. Я уже скучаю по тебе, несмотря на то, что всего 12—13 дней как я уехал. Я что-то ни с кем не могу разговаривать. Несомненно, зто признаки старости. Алешка еще ничего. Иногда я его терплю, у него есть свое мнение обо всем и эрудиция огромная. Но он — какая-то «задница», «шляпа», «не от мира сего», и зто меня раздражает. Он, конечно, интеллигент прошлого века и для нашей социально-авосечной эпохи абсолютно негоден. Но он не глуп. Смотрит довольно трезво и не без юмора.

Я дозвонился до Веры Николаевны Бредис[1]. Она сегодня позвонила мне и сказала, что они решили назначить просмотр «Дон-Кихота» на мой свободный день. Я свободен 18-го (у меня выходной), и если они не смогут показать мне картину 18-го, то назначат ее на тот свободный день, который я им укажу дальше. Как видишь, они очень внимательны и милы ко мне.

Киня[2] уже два раза присылала мне пирожков и корюшки. Сегодня у меня все утро сидел Юра (помнишь?). Он готовит к фестивалю самодеятельность — и весь передергивается от отвращения. Ходила ко мне медсестра, толстая тетка. Сегодня заявила, что едет на огород — их отпускают на десять дней. Пришлось взять другую, из платной поликлиники. Та брала по 10 р. за укол, а эта по 20 р.— такова такса! Но мне осталось 6 уколов. Руки мои поправляются. Пою сверхъестественно — чисто и хорошо, и устаю гораздо меньше. Это, конечно, **новокаин**! Кончу числа 30-го, а то и 2-го июня. Приеду и лягу к Вишневскому.

Тут больше бывает холодно. А в театре жарко, потому что до сих пор топят. Как твои дачные дела? Дочки-душеньки? «Астория» набита делегатами. Жду, когда меня выгонят из нее. Пишу книгу — медленно и не очень удачно. Трудная эпоха. А я в ней плохо разбираюсь. По утрам работаю с 8-и и до 12-и. Ленинград чудесный и успокаивает меня. Целую тебя и доченек крепко и нежно.

Ваш Саша

P. S. На днях вечером позвоню.

---

1 Работник киностудии «Ленфильм».
2 *Ксения Николаевна Бочарова* — двоюродная сестра А. Н. Вертинского.

Из интервью и бесед[1]

А. ВЕРТИНСКИЙ О СЕБЕ

Вдумчивые, скорбные нотки слышались в его голосе, когда он рассказывал о своих первых шагах...

— Когда обо мне говорят: «Счастье этому Вертинскому: пропоет вечер — три тысячи... успех...» — когда я это слышу, мне делается немного обидно. Ведь они не знают, какою ценою достался мне этот успех. Разве я мог бы «выдумать» мои песенки, если бы я не прошел трудную и тяжелую жизненную школу, если бы я не выстрадал их...

— Мне 29 лет. И последние годы успеха мне стоили целых 26 лет — ужасных, беспощадных лет унижений, голодовок, скитаний по театрам в качестве маленького актера... Сбегал через окно квартиры — за отсутствием денег для уплаты за них. Ночевал часто под открытым небом, где попало. Ходил в один из монастырей, чтобы там накормили меня обедом: денег ни копейки не было. Но все это было пустяками по сравнению с нравственными страданиями.

Одно время я целый год страдал от злоупотреблений кокаином. Это чуть не кончилось манией преследования, уже дававшей было себя знать.

Я ушел на фронт, там я избавился от страсти к кокаину.

После двухлетнего пребывания на фронте я вернулся и впервые выступил с песенками в Москве. Здесь мне впервые «повезло»...

Вертинский искренен... Он религиозен и даже — суеверен.

Перед выходом он всегда нервничает до ужаса. Но эта нервность, пожалуй, даже нужна для его жанра. Будучи спокойным, невозможно передать глубину трагизма его песен.

---

1 Опубликованы в разные годы в газетах «Сегодня вечером» (Рига), «Новое Русское Слово» (Нью-Йорк), «Новая Заря» (Сан-Франциско), «Шанхайская Заря», «Новости Дня», «Слово», «Новая Жизнь» (Шанхай), в журнале «Рубеж» (Харбин).

— Я боюсь пользоваться хорошими условиями жизни. Тогда я успокоюсь, «осяду», спущусь. И не смогу петь свои песенки. И поэтому я умышленно взял себе тяжелый крест в жизни. И несу его. Это нужно...

Он не договорил и задумался... Вертинский не удивляется, слыша, что многие не понимают его жанра.

— Мой жанр не всем понятен. Но он понятен тем, кто много перенес, пережил немало утрат и душевных трагедий, кто, наконец, пережил ужасы скитаний, мучений в тесных улицах города, кто узнал притоны с умершими духовно людьми, кто был подвержен наркозам и кто не знал спокойной, застылой «уютной жизни»...

ВЕРТИНСКИЙ — КИНОАРТИСТ

После долгого перерыва в Ригу снова приехал известный исполнитель «песенок Вертинского» — А. Н. Вертинский. В редакции А. Н. появился с большим конвертом, в котором довольно неожиданно оказались многочисленные фотографии только что законченной съемки в «Уфе» фильма «Шехерезада». В смуглом «восточном человеке» с довольно окладистой огненно-красной бородой — великом визире в пышной чалме с бриллиантовым эгретом — довольно трудно узнать манерного Пьеро. Однако именно А. Н. играл в «Шехерезаде» эту роль. Вот что рассказывает сам артист о путях, приведших его в кинематограф:

— Немногие знают, что я начал свою карьеру киноартистом у Ханжонкова еще в 1912 г. В одно время со мной начал свою кинематографическую карьеру и Мозжухин. Мы были с ним большими приятелями, хотя я и получал тогда на целых 15 рублей в месяц больше, чем он. Теперь Мозжухин законтрактован «Уфой» на год с окладом в 100 тыс. долларов, так что я не прочь был бы сохранить хотя бы обратную пропорцию наших гонораров. Немало пленки привелось мне испортить в старые годы, но тогда искусство экрана было еще в зачатке и не смогло меня увлечь. Лишь два-три года тому назад мною прочно овладела мысль посвятить себя «великому немому». Я устал, признаться, бороться с препятствиями, с которыми приходится встречаться при переезде из одной страны в другую... Переводить мои вещи на иностранные языки нельзя, т. к. нельзя петь на этих языках с русскими интонациями. А потерять свой жанр, перестать быть автором и перейти на амплуа лишь исполнителя — значит, потерять самого себя.

Однако новичку попасть в киноателье немногим легче, чем верблюду пролезть в игольное ушко. В особенности трудно приходится, пока не получишь роль, в которой можно выдвинуться. Большое участие принял во мне известный русский режиссер А. Волков, прославившийся своими постановками «Кина» и «Казановы». Это один из самых строгих, сосредоточенных и проникновенных работников в этой области. Благодаря ему я получил возможность вступить на экран сразу же в мировой фильм, «гвоздь сезона». Я говорю о «Шехерезаде», поистине сказочной инсценировке волшебного сюжета, в которой принимают участие Марчелла Альбани, Агнесса Петерсен (невеста Мозжухина), Иван Петрович Колин и еще один русский артист — Дмитриев. Постановка этого фильма настолько грандиозна, что в ней можно, пожалуй, только показывать себя, а не играть по-настоящему. На съемки на Ривьеру мы поехали с целым поездом архитекторов, инженеров, скульпторов, макетчиков, декораторов, художников, костюмеров, механиков, статистов и т. д. Вся эта армия целый год трудилась над картиной, обошедшейся в полтора миллиона марок. Зато фильм этот, который еще монтируется, продан уже во все страны мира.

После великого визиря этой осенью мне придется играть еще двух великих князей — в «Адъютанте царя» и «Пожаре Москвы» (по «Войне и миру» Толстого). Уже после первого опыта в нынешней обстановке экран всецело захватил меня. Мне было тесно на маленькой эстраде, где только в словах и мотиве краткой песни можно было выявить себя. Неизмеримо больше дает экран, где артист может учиться, контролировать свои успехи и ошибки, стремиться к новым достижениям и овладевать ими. Конечно, путь к экрану далеко не усыпан розами. Начать хотя бы с того, что нелегко высидеть полтора часа, пока вам приклеивают бороду волосок по волоску, а затем на вашем лице красят ее, сушат и завивают. В «Шехерезаде» нас мучили, топили, жгли (я чуть не сгорел от пылающих факелов), спускали на блоках в недоступные ущелья...

Но зато как приятно предаваться романтическим мечтам о предстоящей карьере, о том, как лет через пять Вертинский сделает себе большое имя и его без всяких виз если не услышат, то увидят в самых запретных странах.

Петь я все же не бросил и бросать не собираюсь. В этом году я дал три концерта в Лондоне, шесть — в Париже,

выступал в Ницце и других городах Франции, пел в Берлине. Из Латвии поеду в Остенде.

Для сегодняшнего концерта в Эдинбурге у меня собралось немало новинок. Вы услышите «Песенку о моей жене», «Ты успокой меня», «Испано-Сюизу», «Мою звезду», «Китайскую акварель» и др. В заключение позвольте два слова о моем аккомпаниаторе. А. Блох приехал со мной из Берлина и аккомпанировал мне и в Париже и в Лондоне. Роста он маленького, но на своем поприще большой чуткий артист.

ПЕВЕЦ А. ВЕРТИНСКИЙ О СЕБЕ

...Александр Николаевич живет в Париже — в Пасси.

Он терпеть не может давать интервью.

В крайних случаях он сам их пишет в шутливой форме. Так было с Ригой и Ревелем, где в местных газетах появлялись полные искрящегося остроумия «самоинтервью» во время гастролей популярного певца.

Но для «Рубежа» А. Н. Вертинский делает исключение и дает беседу... хотя бы на тему о том, что бесед с журналистами не выносит.

Он передает увесистый альбом, где собраны, наряду с отзывами о нем, его собственные статьи и фельетоны.

— Вы пишете и печатаетесь? Значит, вы вдобавок еще и журналист, Александр Николаевич?

— О, я на все руки мастер! — весело шутит он.— Сочиняю песенки, сам пишу к ним музыку, сам их пою, а кроме того, отвратительно плохо играю на бильярде и талантливо глажу крахмальное белье...

Как пишет он свои вещи и как их исполняет — об этом знают сотни тысяч его поклонниц и поклонников!

...Мы пьем чай с шоколадным тортом, а Александр Николаевич вслух мечтает:

— Хорошо бы съездить в Палестину для концертов: вот где много у меня поклонников! В Иерусалиме, Яффе, других местах... Уверен в полных сборах, а главное — за десять концертов здесь, в Париже, столько не заработаешь, сколько в Палестине за один: валюта высокая.

Я говорю А. Вертинскому, что у него не меньше поклонников и на Дальнем Востоке:

— Почему не поехать туда?

Оказывается, Александр Николаевич уже думал об этом и решил:

— Да, я побываю на Дальнем Востоке. Выработаю подробно маршрут и отправлюсь в турне: Шанхай, Тяньцзин, Харбин. Потом — Япония.

Беседа переходит на воспоминания о далеком прошлом.

В 1918—1919 годах популярный певец был в Харькове.

Пишущий эти строки был тогда в Харькове же председателем кафе поэтов «Сезам».

А. Вертинский часто посещал «Сезам» и не раз там выступал.

Речь заходит о «литературном суде над Вертинским», устроенном в Харькове с его согласия.

— Мне понравилось ваше «последнее слово»,— вспоминаю я.— Помните, вы сказали: «Утверждают, что Вертинский — не искусство. А вот когда вашим внукам через 50 лет за увлечение песенками Вертинского будут продолжать ставить двойки в гимназиях и школах, тогда вы поймете, что Вертинский — это искусство!..»

— Какие ваши самые последние песенки?

— «В степи молдаванской» и «Танго «Магнолия».

А. Вертинский в истекшем феврале вернулся из турне по Румынии. Его сопровождал там шумный успех.

В Кишиневе прошло десять концертов при битковых сборах с аншлагами.

Успех дошел до пределов, каких немыслимо было даже и ожидать. Так, например, «В степи молдаванской» до того понравилось, что ее там всюду стали распевать, как... гимн Молдавии!..

«Я ВОШЕЛ НА СЦЕНУ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ДВЕРИ»

Беседа сотрудника «Нового Русского Слова» со знаменитым автором и исполнителем «печальных песенок Пьеро» А.Вертинским.

Кто не знает эти печальные песенки Пьеро, в которых, как в зеркале, отражается целая эпоха жизни нашего, «второго» поколения?..

В период героической войны, когда «цена жизни» упала необыкновенно низко, потом гражданская война... когда цена жизни уже стала почти равна нулю... и среди густого дыма, полусумасшедшего опьянения, нежный звон гитары и... песенки Вертинского...

И вот теперь, в совершенно иной обстановке, среди каменных громад Нью-Йорка, я сижу в тихой комнате и смотрю в живые, немного усталые, глаза Вертинского.

— Здравствуйте, Александр Николаевич,— говорю ему, как старому другу, прошедшему вместе со мной этапы жизни от окопов на реке Бзуре до бродвейского экспресса. Да, мы старые знакомые; он это тоже чувствует, и в пожатии его руки я ощущаю дружескую теплоту.

«Сброшена маска и смыты румяна».

— Теперь я уже не тот,— говорит он.— Теперь я не любитель, выходящий на сцену в маске Пьеро и напевающий свои песенки. Маска Пьеро отброшена, и я выхожу на сцену самим собой. Любительское пение забыто, теперь я певец с правильно поставленным голосом...

— Я вошел на сцену через другие двери,— говорит «новый» Вертинский.— Я не могу причислить себя к артистической среде, а скорей к литературной богеме. К своему творчеству я подхожу не с точки зрения артиста, а с точки зрения поэта. Меня привлекает не только одно исполнение, а подыскание соответствующих слов и одевание их в мои собственные мотивы.

По внешнему виду совсем нельзя сказать, чтобы Вертинский очень «устал от румян и белил и от вечной трагической маски». Он выглядит очень моложаво и по отзывам друзей, не видевших его давно, он за последние десять лет почти не изменился. В жизни он обаятелен, прост, прекрасный собеседник, остроумный и несколько экспансивный. К своим песенкам Вертинский относится как к женщинам — он любит их, ухаживает за ними и думает о них только до тех пор, пока они находятся в периоде творчества — как женщина в периоде «ухаживания». Потом, когда они закончены, пропеты, они становятся уже прошлым, и на их место приходят новые,— новые волнующие слова, новые мотивы, новые переживания, новая «влюбленность» в песенку.

— Каждая песенка связана с каким-нибудь переживанием,— говорит Вертинский.— Но необязательно, чтобы они немедленно выливались в песню. Обычно они укладываются в каких-то далеких уголках сердца. И лежат там непотревоженными до тех пор, пока огонь творчества не призовет их оттуда.

Вертинский в Нью-Йорке впервые. Он давно собирался посетить Америку, но «боялся». Нью-Йорк произвел на него ошеломляющее впечатление.

— Пароход подходил к Нью-Йорку вечером,— рассказывает Вертинский,— и вдруг передо мной раскрылась поразитвльная панорама подымающихся к небу букетов и венков огней. Мне показалось, что я подъвзжаю к городу, в котором происходит вечный праздник, люди живут в другой, вечно счастливой жизни... Вы знаете, в Париже значительно спокойней и тише.

Третье поколение воспитывается на песенках.

— Как-то, после одного моего концерта в Праге, ко мне за кулисы пришла группа русских студентов и курсисток. Это были скромные, тихие молодые люди, застенчиво стоявшие у дверей моей уборной. И вот от них я получил один из самых приятных в моей жизни комплиментов. «Без ваших песенок жизнь была бы еще противнее»,— сказали они. Фактически на моих песнях воспитывается уже трвтье поколение. Первое сейчас уже состарилось; второе — это те, кто в начале моей карьеры были юношами, и, наконец, теперешние юноши. В Париже на мой концерт пришли советские футболисты — славные молодые ребята нового советского поколения, которые не имеют в своей душе никакого озлоблвния и которые не понимают, что творится вокруг них. Они слушвли меня внимательно и благодарили так же, как и пражские студенты.

Я слышал о своей популярности в Советской России. Очень часто в берлинские музыкальные магазины приходят возвращающиеся в Советскую Россию и говорят: «Дайте мне полный комплект Вертинского»... Я убедился в том, что мои песни входят в глубину русской жизни. Особенно это замвчается теперь, когда мы оторваны от родины. Песня создавт какую-то туманную, но красивую иллюзию... Когда жена одного шофера, русского шофера такси в Париже, уходит к другому, то это не простой, шаблонный случай. Для нее он имеет красиво-трагическую окраску, и, уходя, она говорит себе: «Я уйду холодной и далекой, укутав плечи в шелк и шиншиля». И она действительно верит в то, что она кутается в шелк и шиншиля и что онв уходит не просто так, по-мещански, а «холодной и далекой»... И вот так мои пвсни заполняют недостаток иллюзий.

Нет ни подражателей, ни последователей.

— Есть ли у меня подражатели и последователи? Первые были, но больше не будет. Вторых никогда не было и не будет. Раньше всякий, кто надевал маску Пьеро и напевал мои песенки, считался моим подражателем. Теперь я скинул эту маску и перестал быть любителем. У меня слишком много своего собственного, чтобы можно было так легко подражать. Последователей у меня не может быть потому, что нужно сразу совдинить в себе четыре главных качества: быть поэтом, композитором, певцом и артистом. Пусть даже не в большой мере, но все эти данные необходимы. Для своих песен я ищу особыв слова, особые мотивы, особо их исполняю и вкладываю в исполнение особую игру. Очень редко я беру чужие слова, потому что они редко подходят к моему стилю. Недавно я взял слова поэта Георгия Иванова «Над розовым морем», которыв необыкновенно соответствуют моему стилю. Эту песню я буду петь в Нью-Йорке...

Любовных писем теперь не пишут.

— Много мне пишут писем? Нет, теперь не очень много. Раньше я получал по 50 писем в день. И большая часть из них была любовных. Все такие письма всегда начинались стереотипной фразой: «Когда вы откроете зто письмо, вы будете очень удивлены... Но только, пожалуйста, не смейтесь». Я безошибочно узнавал эти письма и, не раскрывая, выбрасывал. Твперь письма приходят иного рода. В эмиграционной жизни не до любви. Теперь на первом месте стоят письма с просьбой о деньгах, потом просьбы прислать карточку, потом принципиальные споры («Что вы хотели сказать зтой песней?») и, наконец, очень немного писем со словами любви. Да, теперь становится странным говорить о любви...

— Нью-Йорка я очень боюсь и сильно волнуюсь перед выступлением. Как встретят меня здесь? Лик американской публики очень загадочен. В течение семи лет я собирался приехать сюда, но мне казалось, что для американцев все равно: я или дрессированная собака... Теперь меня пригласили сюда мои друзья, и им я верю. После Нью-Йорка я еду в Лос-Анжелес, Сан-Франциско, Чикаго, Бостон и в Филадельфию...

ВЕРТИНСКИЙ В САН-ФРАНЦИСКО

Знаменитый русский певец, создатель особого жанра, А. Н. Вертинский приехал в Сан-Франциско в четверг 23 мая поздно вечером. Он остановился в отеле «Сан-Франсис», и, несмотря на позднее время и усталость от путешествия, все же весьма радушно принял сотрудника «Новой Зари».

У людей, никогда не видевших А. Н. Вертинского, но хорошо знакомых с его экзотическими песнями, невольно может создаться превратное впечатление о его наружности и личности.

Можно было бы подумать, что творец «кокаинеточки» и «трех юных пажей» и «пальцев, пахнувших ладаном» должен бы быть человеком, оторванным от действительности, чрезвычайно нервным, если не сказать нервозным, длинноволосым гением, одним словом, человеком таким же экзотическим, как и его ранние песни.

Но с первого же взгляда на А. Н. Вертинского это впечатление рассеивается. Он высокий, стройный, чрезвычайно моложавый человек, с настоящим русским лицом с отпечатком интеллигентности. Весьма общительный и вежливый. В разговоре с группой русских, встречавших его, он поздоровался с каждым за руку и непринужденно беседовал.

В отеле, при разговоре А. Н. Вертинского с сотрудником «Новой Зари», присутствовал и менеджер певца в Калифорнии Б. А. Аккерман.

Конечно, первые вопросы были относительно впечатлений о поездке.

— Ну, знаете,— сказал А. Н. Вертинский,— это большая страна. Едешь, едешь и конца ей нет. Не то, что Европа. Уж кажется большой перегон из Парижа в Варшаву, но его же сравнить нельзя с поездкой из Чикаго в Сан-Франциско.

В Чикаго он дал только один концерт, остановившись там на весьма непродолжительное время, но в Нью-Йорке, где он прожил ровно 200 дней, он дал 12 концертов, прошедших при полном сборе.

— Как вам нравится Нью-Йорк?

— На этот вопрос можно ответить двояко. В смысле удобства жизни — очень нравится. Там удобнее жить, чем в Европе, но темп его мне непонятен. Он меня не вдохновляет. За все время моего пребывания там я ничего не написал нового. Не было ни вдохновения, ни возможности. А пишу ведь я много и часто. Например, даже по дороге из Чикаго в Сан-Франциско, сидя в поезде, я написал новую вещь. И в Европе, где бы я ни был, я писал почти во всех городах, но в Нью-Йорке я этого делать не мог.

— А вы, наверное, исколесили всю Европу?

— Да не только Европу, а побывал и в Египте, и в Палестине. Теперь, после Калифорнии, еду на Дальний Восток, в Шанхай, и, по всей вероятности, в Харбин. Возвращаться к себе в Париж, где я обычно живу, буду опять через Америку, так что, наверное, увидимся еще раз...

Тут к разговору присоединился Б. А. Аккерман:

— Весьма возможно, что в скором времени русские увидят своего любимого певца на экране. А. Н. Вертинскому уже сделано несколько предложений от кинематографических фирм и вскоре по приезде в Лос-Анжелес у него назначен завтрак с представителями фирмы «Метро-Голдвин-Мейер». Так что он может основаться на некоторое время в Голливуде.

— В таком случае русские в Сан-Франциско будут надеяться на частые концерты здесь?

— Ну, об этом еще рано говорить.

— Теперь другой вопрос. В вашем искусстве, в вашем жанре случился известный перелом. Вы значительно ушли от своего первоначального образа. Как вы объясняете это?

— Знаете ли, каждый артист, каждый художник растет. Он стремится к новым исканиям, к новым темам. Так и я. Я тоже вырос. То, что было отражением известных течений, перестало затрагивать нашу действительность. А мое искусство ведь в особенности является отражением родных течений. Тут, между прочим, имеется одна интересная подробность. Я не хочу хвалиться, но должен сказать, что меня почему-то особенно любят в Советской России. Конечно, туда пластинки, напетые мной, проникают только контрабандным путем, но все же меня там любят и считают по духу не русским, а иностранцем. И в то же самое время вся зарубежная Россия считает меня своей собственностью. Пою ведь я, главным образом, для русских. Для того, чтобы понять все нюансы моих песен и переживать их, необходимо знание русского языка, хотя, конечно, есть довольно значительный процент и иностранцев, посещающих регулярно мои концерты.

— Какое из ваших произведений вы считаете самым ценным или самым популярным?

— В настоящее время самыми популярными являются три сравнительно недавно написанных: «Чужие города», «Над розовым морем» и «Классические розы». Я часто меняю свой репертуар и не пою постоянно одни и те же старые вещи.

— Между прочим, здесь, в Сан-Франциско, большой популярностью пользуется «В степи молдаванской».

— Это уже старо. Но все же на предстоящем концерте я спою несколько вещей той эпохи моего творчества.

— Теперь вопрос, не относящийся лично к вам: как вообще живут русские в Париже?

— Большинство из них работают, хотя, конечно, депрессия отразилась пагубно на массе. Она отразилась не только на русских, но и вообще на жизни. Теперь Париж почти пустой. А помню только еще три года тому назад я давал концерт в Париже в помещении, рассчитанном на 2200 человек. Пришло на несколько сот больше, стояли в проходах и возле стен. Было так тесно, что управляющий театра сказал мне, что он никогда больше театр сдавать мне не будет, так как несколько человек из-за тесноты и давки упали в обморок и чуть было не получили увечья... Теперь же Париж почти пустой.

— Знаете,— сказал в заключение сотрудник «Новой Зари»,— каждый русский, приезжающий в Сан-Франциско, невольно вспоминает вашу песню: «В притонах Сан-Франциско...»

— Да,— рассмеялся А. Н. Вертинский.— Думал ли я тогда, когда писал эту песню, что через много лет сам попаду сюда. Держу пари, что никаких «лиловых негров» тут нет...

ЧАС С ВЕРТИНСКИМ

(Беседа со знаменитым создателем песенок настроения.)

Знаменитый творец жанра настроений выглядит вполне здоровым. И, по уверениям присутствующего врача, находится в хорошей форме. Следовательно, всякая опасность для предстоящих концертов миновала.

Обстановка самая благоприятная для беседы с артистом, в речи которого значителен каждый штрих, каждый оттенок.

Седьмой час глядит в широкие окна расцвеченной вдали неонами темнотою шанхайского вечера. Монастырская тишина большого европейского отеля. Цветы.

Третьим при беседе присутствует лишь доктор... Впрочем, беседа началась не с разговора. «В этой комнате проснемся мы с тобой...» — вот первое, что услышал наш сотрудник, едва успев поздороваться с Вертинским. Своей песней, но не из уст, а с диска портативной виктролы, приветствовал его артист.

Скромно приютившийся на столике кожаный аппарат дал серебряное вступление рояля, затем мощно и нежно запел с теми непередаваемыми бархатными оттенками, которых до сих пор никто из сонма подражателей не смог украсть у Вертинского.

Вертинский пел в присутствии Вертинского.

Вертинский слушал Вертинского.

И как слушал... Это надо было видеть! Вернее, это сложное психологическое ощущение надо было осознать.

Артист ушел в себя. Он, вероятно, мысленно пел с аппаратом фразу за фразой, букву за буквой, нюанс за нюансом...

За его спиной неоновым пожаром пламенела глубоко внизу реальная шанхайская улица. А он сам пошел и двух слушателей за собой властно повел по сказочной тропинке нереальной русской песни настроения.

По необычайно выразительному, словно чеканному лицу артиста неслись тени экстаза. Чертили взлеты и падения. Экранно отражали бездонную глубину души большого художника.

Видеть Вертинского, безмолвно переживающего плывущие со стороны стоны своего сердца, зрелище — сильное!..

— Это одна из моих последних вещей,— нарушает очарование А. Н., снимая с пластинки мембрану.— Сейчас послушайте вот это. Тоже одна из новых.

Опять щемящие звуки. Снова их отражение на лице Вертинского.

«Как хороши, как свежи были розы...» — в звуках ярче и благоуханнее, чем если бы вся комната мгновенно была засыпана свежими розами.

— Акварель! — кратко поясняет артист.— Я чуть касался темы, акварельно, боязливо. Я почти прошел мимо нее. Я поставлю ее в концертную программу.

И снова подходит к виктроле.

— А вот сейчас прослушайте «Сероглазочку». Она уже стара. Ей столько лет, сколько самой русской эмиграции.

Послушно льется знакомая «Сероглазочка», сотканная из нежнейших кружевных вздохов.

— Слабо! — качает головой артист.— Это мои первые робкие взлеты. Нет, «Сероглазочку» я не поставлю. Она хороша теперь как память.

Еще несколько песенок, из которых властно берет слушателя за сердце сопровождаемая гитарой «Я так хочу, чтобы ты была со мною...»

— Здесь придется с роялем,— поясняет артист.— Впрочем, совершенно неожиданно мне повезло с аккомпаниатором. Это Георгий Ротт, один из лучших, когда-либо игравших со мною. Художник аккомпанемента!

Понравился ли Шанхай прославленному русскому певцу и композитору? Успел ли он войти в соприкосновение с русской колонией Шанхая? Долго ли намерен пробыть в Шанхае? И куда предполагает направиться отсюда после двух своих концертов?

Эти вопросы можно было задать А. Н. Вертинскому только вчера.

Ранее артист был лишен возможности принимать не только представителей прессы, но и вообще кого бы то ни было. Как известно, на следующий день по приезде А. Н. занемог и некоторое время должен был провести в своем апартаменте «Катзй Меншион», в условиях полной изоляции, под неослабным наблюдением врача.

Однако, как только представилась первая возможность, сотрудник нашей газеты посетил знаменитого артиста и был принят им для продолжительного интервью, занявшего час...

Каждые три минуты, самое большее, звонит звонок.

И каждый раз один и тот же разговор артиста с кем-то, каждый раз новым, из провала черной шанхайской ночи...

— Вертинский у телефона... Что?.. Очень приятно!.. Спасибо, спасибо... Напрасно беспокоитесь... Это очень для меня лестно... Вблизи вы получите возможность увидеть меня на эстраде... Конечно, это буду я сам... Я не вожу с собою двойника... Не можете дождаться концерта? Но это же так скоро!

Артист добродушно улыбается.

— Повеситься можно! — комически сообщает он, отходя от телефона.— Эта музыка начинается с утра и тянется до поздней ночи. Выключить телефон, конечно, я не могу. И вот страдаю.

И снова подходит к телефону, чтобы повести новый разговор. Однако А. Н. нисколько не раздражается телефонной атакой:

— Русская речь мне мила за границей при всех обстоятельствах! Русаки же мои милые мне звонят, не иностранцы.

И в конечном итоге я, разумеется, только рад, что мои соотечественники так тепло встречают меня в далеком и чуждом Шанхае.

Легко и непринужденно вступает А. Н. в беседу, показывая себя блестящим собеседником:

— Понравился ли мне Шанхай? Я его почти не видел, но то, что видел, меня очаровало. Это действительно экзотический город, несмотря на подчеркнуто европеизированный вид. Чувствуется дыхание мирового центра. Но, к моей радости, оно не заглушило движений русской жизни. Она здесь властно чувствуется на самой поверхности! В Европе и Америке этого не замечается. Там внешняя русскость растворяется в основном потоке каждой страны. В Берлине, Париже, Сан-Франциско и пр. вы русского не отличите на улице от аборигена. А здесь, наоборот, иностранцы тонут в русской массе Авеню Жоффр, которую я видел краешком глаза.

— Вы спрашиваете, что на меня произвело большее впечатление? Китайские женщины! Я был ими ошеломлен. Не был подготовлен, вернее, просто не думал на эту тему, когда сюда ехал. Китаянки, особенно полуевропеизированные, какие-то маленькие идолы, для которых можно строить разукрашенные, маленькие же, храмы и жечь курения. Это — совершенная экзотика. Конечно, эти странные женщины с другой планеты!

— К сожалению, пять дней у меня совершенно пропали, и я был лишен возможности познакомиться с милой моему сердцу русской колонией, о которой так много слышал еще в Париже, затем в Америке. Я ехал сюда, словно возвращался на родину. Хотя в Китае вообще впервые. И вдруг на несколько дней заболел. Вы понимаете мое огорчение? Впрочем, концерт уже близок. И я скоро встречусь со своими соотечественниками. Ведь я пою, а значит, и живу, только для них! Только для русских. На других языках я не пою. Петь на другом языке — значит вовлекать иностранцев в невыгодную сделку. Весь смысл моего пения исчезнет, и люди уйдут разочарованными.

— Тяжело без родины. Ой, как тяжело! Всем художникам тяжело. Посмотрите на наших старых русских писателей. Бунин. Куприн. Они же не могут писать ни о чем, кроме России. А России нет. Как писать? Так и мы, артисты. Мы

оторваны от истоков родной жизни, от ее животворящей почвы. Сколько артистов погибло в этой оторванности! Сколько растворилось в чужой атмосфере! Мне было так же тяжело, как и каждому. Но я избег страшной участи. Я спасся от растворения в иностранщине только тем, что подвижнически замкнулся в святости русского слова и русской песни. Я закрыл во внешний мир окна и двери. Я замуровал себя в келье моей песни. Я отбросил все легкие соблазны. Жизнь моя стала сплошным служением русскому искусству и ничему больше. И страшная чаша меня миновала...

Вертинский внезапно возвращается к основной для него теме — технике творческого мастерства:

— Мое творчество является до сих пор загадочным для меня самого процессом. Это необъяснимо. Оно приходит ко мне непрошеным и властно повелевает моей душой. Вот почему я не люблю на концертах бисировать. Повторять пропетую вещь — это то же самое, что раскрывать перед слушателями тайны колдовства. И если мне все-таки приходится петь на бис, я каждый раз пою по-новому. Кроме того, разве бисированье не напоминает вам... вторичное объяснение в любви любимой женщине? Это то же самое. Вы объяснились ей один раз. И она откликнулась вам всем своим сердцем. Это — чудно хороший миг! Но вы недовольны результатом и желаете объясниться вторично... Как будет ваша женщина слушать во второй раз те же пламенные слова? Ясно, что уже с оттенком легкого анализа, с закрадывающимся сомнением в искренности...

АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ О СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ
и о том, что он будет петь на концерте в Шанхае.

Редко у кого-либо из знаменитостей, посещающих Шанхай, собирается одновременно такое многолюдное общество из представителей прессы и богемы, как вчера вечером у А. Н. Вертинского.

Радушный и приветливый певец оказывается обаятельным хозяином, умеющим превратить беседу из официального интервью в настоящую встречу друзей. У него очень приятный, мягкий голос с бесконечным разнообразием и богатством интонаций. Тем для беседы так много, что разговор невольно

перескакивает с одной на другую. О странах, в которых он побывал, А. Н. Вертинский говорит охотно, определяя их — главным образом — с точки зрения своего искусства.

— Прежде всего я должен оговориться, что, где бы я ни пел, у меня публика только одна — русская,— говорит он.— Это, конечно, вполне понятно. Иностранцы меня не могут понять, потому что для этого нужно знание языка, и притом не приблизительное, а во всех его тонкостях. Перевод? Нет, в переводы я вообще не верю, тем более для таких вещей, как мои. Перевод — это рецепт вещи, а не сама вещь, а в нем никогда нельзя передать того, чем она сильна.

— Во всех уголках мира я пел по-русски и для русских. Мне пришлось за эти годы так много скитаться повсюду, что опыт у меня в этом отношении получился колоссальный. Сравнительно недввно было очень хорошо работать в Германии, где я напел 500 000 пластинок. Перед самым приходом к власти Гитлера я заключил контракт с крупнейшей германской фирмой, а руках которой находится изготовление пластинок на всю Европу. Но... изменились политические обстоятельства, и теперь на контракт мне приходится только любоваться.

— Трудно в этом отношении и в маленьких лимитрофных государствах, где благодаря барьерам, отгораживающим их от внешнего мира, создалась нездоровая обстановка для всякого творчества. Экономические условия в этих странах таковы, что местные силы боятся всякой конкуренции со стороны иностранных артистов, так как это могло бы повести к утечке денег за границу. Строгости, применяемые к иностранным артистам, распространяются буквально на всех. Достаточно сказать, что Морис Шевалье, посетивший Прагу... был обыскан на вокзале старательными полицейскими, которые боялись, что он увезет с собой деньги.

— В этом отношении самая свободная страна — Америка. За год моего пребывания там я ни разу не почувствовал себя «нежелательным иностранцем». Нет этого ощущения и у других русских, живущих там. Это — большой плюс Америки, который искупает те культурные недостатки, которые, может быть, дают там себя чувствовать многим из нас. Другое достоинство Америки — тот здоровый дух, которым она проникнута. Теперь, после всех сложностей жизни, иногда хочется вернуться к болве простому и примитивному. Вот, может быть, одна иэ причин, почему я думаю поселиться в Калифорнии.

— Другая причина — необходимость вернуться в Голливуд, где я подружился с режиссвром Рубеном Мамульяном. Он предложил мне главную роль в картине «Принц и клоун», где я должен буду не только петь, но и говорить по-английски. Придется, очевидно, заняться этим языком с особенным рвением, хотя пока эта перспектива меня довольно мало соблазняет.

Дальше разговор касается темы, которая особенно близка и интересна для А. Н.,— вопроса о его творчестве. Начинается он вопросом одного из любопытных журнапистов: «А в каком положении вы предпочитаете творить, Александр Николаевич?»

— Вы думаете, может быть, что для творчества я должен перевернуться вниз головой? — смеется А. Н.— Нет, могу вас успокоить. Такими эксцентричными привычками я не отличаюсь. Мое творчество вообще идет своеобразными путями, которые на первый взгляд даже трудно определить. Нужен какой-то импульс, двигательная сила, которая потом претворяется и перерабатывается путем сложных психических процессов. В качестве примера могу рассказать вам историю одной из моих песенок. Это было на фронте, во время Великой войны. Утомленный, я дремал после трудового дня, проведенного за работой, как вдруг я сквозь сон услышал раэговор двух сестер милосердия. «В том году я вообще много выезжала...» В полусне зти слова дошли до моего соэнания, и мне захотелось крикнуть ей: «На чем? Ведь в этом городишкв и извозчика нет!» А череэ несколько лет из этих случайных слов по каким-то неведомым тропинкам пришло то, что принято наэывать вдохновением. Реэультатом была песенка «Бал Господен».

— Рецепт этой «кухни искусства», в которой я работаю один, очвнь сложный. В нее входит много элементов, из которых каждый имеет решающее значение. Мое творчество родилось иэ любви к русскому языку, в котором я чувствую и пою не только каждое слово, но каждую букву. Я буквально ощущаю каждое слово на вкус, и, когда пою его, то беру все, что от него можно взять. В этом основа и исток моего искусства. Голос, которому иногда склонны придавать большое значение, не более как одно из средств к его передаче. Наряду с ним нужны краски, интонации, нужно много, чтобы заставить публику почувствовать вещь, поверить в то, что это действительно было. Когда я пишу музыку к своей вещи,

я обдумываю каждую ноту, стараясь вложить в нее эту окраску, придать ей характер эпохи, передать в ней целую картину, целую перспективу. Представьте себе, например, что я хотел бы написать музыку к фразе: «Жили-были старик со старухой у самого синего моря». Я написал бы ее так, чтобы в ней ощущалась синева моря, перспектива сказки, вся та нереальность, которая нужна мне в данном случае.

И А. Н. напевает пушкинскую фразу в своей музыкальной трактовке.

— Но дело не только в том, чтобы написать вещь,— надо ее исполнить. Если в то время, когда я пишу, я живу своей очередной песенкой, то с момента, когда она написана, она превращается для меня только в техническую задачу. Многие, вероятно, думают, что я пою под влиянием какого-нибудь особенного настроения? Ничуть не бывало. Я выхожу на сцену, чтобы «сделать песню» точно так же, как можно сделать операцию, как можно починить часы или проделать другой чисто технический процесс. Никакого настроения у меня в этот момент нет,— настроения я жду от публики.

«Вы всегда пишете теперь сами слова для своих песенок?»

— Большей частью да, но иногда мне надоедает петь самого себя, и тогда я ищу тем у других поэтов. Хотелось бы мне, чтобы и шанхайские поэты познакомили меня со своим творчеством, в котором, наверное, отразилось много своеобразий экзотики Китая.

«Какую из своих вещей вы считаете любимой?»

— Ту, которую я в данный момент пишу. С того момента, когда она написана, она теряет для меня часть своего интереса. Например, в данное время я предпочитаю всем остальным вещь, к которой еще не написана даже музыка. Это «Песня о моей собаке». Если хотите, я прочту вам.

И гость Шанхая читает выразительно и эффектно мелодичные и прочувствованные строки своей новой вещи, заканчивая под дружные аплодисменты слушателей.

— Между прочим,— говорит он,— на моем концерте я буду исполнять исключительно новые вещи: «Чужие

города», «Желтый ангел», «Рождество», «Над розовым морем»... Если я буду петь что-нибудь из старых вещей, то только по просьбе публики.

ГОЛЛИВУД «ПО-ВЕРТИНСКИ»

— Вы хотите, чтобы я рассказал о своих встречах в Голливуде? Но для того, чтобы говорить об этом, я должен сначала сказать вам, что такое Голливуд.

А. Н. Вертинский откинулся в кресле, на минуту задумавшись. Он еще не совсем оправился от простуды, и легкая подавленность настроения, вызванная недавней болезнью, гармонирует со сгущающимися за окном осенними сумерками. В комнате пахнет цветами — там, где живет Вертинский, всегда есть цветы. Эти розы, любимые книги на полке, несколько портретов и счастливый талисман — мексиканский гаучо, искусно сплетенный из древесной коры,— все это придает казенной обстановке номера отпечаток индивидуальности и уюта.

Фантазии и факты

— В Европе все, кто так или иначе соприкасаются с искусством, представляют себе Голливуд каким-то раем. В их воображении это город великих королев экрана, грандиозных артистических взлетов, головокружительных успехов и ослепительной славы. На самом деле ничего этого нет. Вы знаете, какое сравнение прежде всего пришло мне в голову, когда я попал в Голливуд? Он показался до странности похожим на какой-нибудь захолустный русский Пинск или Двинск, глухую провинцию, отличающуюся только своим географическим положением и населением. Вам скажут, что это город искусства. Но и это миф. В Америке вообще искусство существует лишь постольку, поскольку оно является товаром, на котором можно заработать.

— Дельцы с Бродвея, и притом дельцы весьма некрупного калибра, взяли там все в свои руки. Пьеса, как и всякое другое художественное произведение, расценивается только с точки зрения того, сколько она стоит. Если ее постановка обошлась в полмиллиона, ее непременно все пойдут смотреть, нисколько не вникая в то, какова, собственно, ее тема. Обычно дело происходит так. Какой-нибудь бизнесмен, торгующий мылом и зубными щетками, слышит о пьесе, которая

где-то имела успех. Он соединяет свой капитал с другим джентльменом, до сих пор уделявшим свое особое внимание ваксе и сапожному крему, и вместе они становятся меценатами. Это, может быть, несколько напоминает наших купцов-меценатов недавнего прошлого, с той большой разницей, что российские купцы знали свое место и не пытались вмешиваться в художественную часть. В Америке, наоборот, они распоряжаются всем. И автор, и режиссер, и актеры превращаются в их покорных рабов.

А. Н. говорит горячо и убедительно, потому что он не только прекрасно знает, но и «чуаствует» свою тему.

Герб Голливуда

— То же самое, если не худшее попожение наблюдается в Голливуде. Там искусством заведуют портные, волей судеб превратившиеся в киномагнатов. Что же удивительного в том, что под их «благодетельным» влиянием и искусство становится каким-то портновским? В департаментах сценариев сидят сценаристы — люди без таланта, вкуса и эрудиции, но со специальным техническим мозгом, приклеивают, сшивают, режут... Если бы я хотел соэдать для Голливуда символический герб, я непременно включил бы в него большие портновские ножницы и большую катушку ниток. А если бы я имел власть, я сделал бы больше: я посадил бы в тюрьму всех диктаторов Голливуда, которые портят вкус американской публики — очень эдоровой и отзывчивой самой по себе,— приучая ее любить дешевку и невероятно ниэкий уровень требований. Если бы это случилось, Америка сразу выросла бы в культурном отношении на двадцвть пять лет.

— Хуже всего то, что ни режиссер, ни артист не имеют ни малейшей свободы творчества. Каприэничать — и то не очень — имеют право только такие признанные эвезды, как Грета Гарбо или Марлен Дитрих. Остальных при малейших признаках «бунта» просто беэжалостно выбрасывают вон. Артист не имеет права отказаться от роли, считая, что она ему не подходит. Слова «нет» для голливудских властителей вообще не существует. Положение исполнителей маленьких ролей прямо-таки трагично. Я видел молодых артисток Голливуда, большей частью не искушенных ни в каком искусстве малокультурных девушек, которыми режиссеры оперируют,

как шахматными фигурками. Из-за какой-нибудь ничтожной сцены каждую из них мучают бесконечно долгими репетициями, потом «накручивают» полторы тысячи метров, из которых на экран в конце концов попадает двадцать. Такова голливудская карьера, и можно ли винить актера, если он иногда и не удовлетворяет публику в том или ином амплуа?

Марлен Дитрих

Останавливаясь на отрывках голливудских воспоминаний, А. Н. с горячей восторженностью отзывается о Марлен Дитрих.

— Марлен Дитрих не только великая артистка, она и в жизни обаятельная, высококультурная и необычайно рафинированная женщина, одаренная тонкой психикой и неповторимой индивидуальностью. Она очень любит русских, и теплое радушие, с которым она меня встретила, очень тронуло меня. Мы встречались с ней еще в Париже, но там наше знакомство было мимолетным, и я сомневался в том, запомнила ли она меня. Мы встретились с ней в Голливуде случайно, в обсерватории, куда она пришла со своей маленькой дочерью и двумя детективами, неизменно сопровождающими ее, так как гангстеры неоднократно грозили похитить девочку. Я незаметно подошел к ней и сказал: «Вы пришли сюда, чтобы смотреть на звезды, но вы сами — самая яркая из звезд». Она обернулась — и я удивился той радостной приветливости, с которой она окликнула меня по имени. Мы потом часто встречались с ней за время моего пребывания в Голливуде, и она даже была настолько мила, что устроила в честь меня особое «парти».

Русский Голливуд

Далее А. Н. касается вопроса о «русском Голливуде», конечно, особенно близкого и интересного для каждого из нас.

— Из русских, которые сделали в Голливуде крупную карьеру, я чаще всего встречался с Рубеном Мамульяном. Он в данное время пользуется там большой популярностью, и притом вполне заслуженно, так как нельзя отрицать, что он исключительно талантливый и культурный человек. Мы встретились с ним на «парти» у одного из братьев Бакалейниковых. Должен сознаться, что сначала мне не хотелось знакомиться с ним первому, потому что мне было бы слишком неприятно

присоединиться к общему льстивому хору, окружающему его теперь. Нас в буквальном смысле слова познакомило мое пение. Мамульян отнесся ко мне с большой чуткостью и вниманием и настойчиво уговаривал работать с ним и дать ему возможность создать мою голливудскую карьеру. Этот вопрос пока остался открытым, потому что ему вскоре пришлось уехать в Нью-Йорк для постановки большого ревю, но меня в этом плане расхолаживает, с одной стороны, моя давняя нелюбовь к кино, а с другой — перспектива усиленных занятий английским языком.

— С другими русскими знаменитостями Голливуда — с Анной Стэн и Р. Болеславских — мне, к сожалению, не удалось встретиться. Она незадолго перед этим поссорилась с администрацией студии и уехала в Европу, а он был как раз занят постановкой фильма. Из крупных русских величин нельзя не отметить Нину Кошец, чудесное пение которой имеет огромный успех. Она пела при мне с большим оркестром в «Голливуд Боул», где на открытом воздухе помещается более 20 000 человек, и ее выступление было настоящим триумфом. Делает большую карьеру также и ее дочь, Машина Шуберт, обладающая прекрасным голосом и очаровательной внешностью.

— К сожалению, надо сказать, что очень многие из русских, достигающие более или менее крупных успехов и карьеры, очень быстро отгораживаются от всего русского, окончательно входя в иностранное общество. Симпатичным исключением из этого печального правила является жена известного режиссера Франка Таттля, урожденная Таня Смирнова, дочь талантливой балерины Евдокии Смирновой, которая также находится в Голливуде. Танечка Таттль — общая любимица русского Голливуда и добрый гений своих соотечественников, для которых она много делает, помогая им, как только возможно, сделать карьеру или получить хорошую службу. Она сама поставила себе целью добиться признания как режиссер, и можно думать, что это ей удастся. Недавно ей было поручено снять короткометражный фильм с Д. Лишиным. Ее опыт удался блестяще, и теперь ей заказано еще тридцать таких фильмов. Если ее работа в этом направлении пойдет успешно, можно быть уверенными, что многие русские получат работу.

— Что касается остальных русских в Голливуде, то еще два-три человека, как, например, Иван Лебедев или Аким Тамиров, снимаются в фильмах и продвигаются вперед. Хорошо обеспечены музыканты, среди которых я нашел много знако-

мых: братьев Бакалейниковых, Макса Рабиновича, который когда-то аккомпанировал мне в Одессе, Темкина и многих других. Скромно, но безбедно живет д-р князь Голицын, обосновавшийся с семьей в Голливуде и пользующийся репутацией святого человека и необычайно отзывчивого врача.

— Остальные? Что можно о них сказать. На их долю остается существование «экстра», состоящее в том, что люди сидят дома с утра до 8 ч. вечера и ждут телефонного звонка из «Бюро распределения ролей». Если этот звонок есть, это означает 7 долларов в день (в худшем случае платят пять, а в лучшем — десять) и каторжную работу. Если его нет — положение часто приобретает катастрофический характер. Все они боятся выйти из дома, потому что, если звонок совпадет с их случайным отсутствием, можно потерять работу. Самое худшее в этой профессии — ее неопределенность. Иногда бывает по два-три звонка в день, а иногда телефон молчит две недели. Но у всего есть своя положительная сторона: это существование сближает между собой русских голливудцев, заставляя их жить общими интересами. Представьте себе — русские в Голливуде даже не ссорятся!

Песенка о Марлен

Наступает молчание. Потом А. Н. с улыбкой берет со стола тетрадь в коричневом кожаном переплете.

— Кажется, я рассказал вам о Голливуде все, что мог. Хотите, я прочту вам теперь песенку, посвященную Марлен Дитрих? У меня уже есть к ней и музыка. Правда, пока только в голове.

А. Н. читает в своей непередаваемой манере — и музыкальные строфы с их кружевной легкостью и чеканным изяществом заканчивают беседу, как красивый аккорд.

А. Н. ВЕРТИНСКИЙ СОЗДАЛ РЯД «БОЕВИКОВ»,

которыми он порадует шанхайцев на своем концерте.

— Что я скажу о Шанхае? Прежде всего я... отдыхаю от отдыха. Ханькоу очень милый город, но долго выносить эту тишину я, привыкший к большим городам, не мог бы. Там мне совершенно невольно приходилось сидеть главным образом в четырех стенах, потому что жара стояла совершенно невероятная. Могу сказать, что, хотя я объездил весь свет, я до

сих пор не испытал еще ничего подобного. Мне угрожают, что в Шанхае бывает еще хуже, но я, конечно, не намерен ждать здесь, чтобы эта полоса застигла меня, и постараюсь скрыться от нее в более прохладное место.

— Впрочем, в смысле встречи, оказанной мне, Ханькоу оказался одним из самых симпатичных городов, которые мне только приходилось видеть. Ко мне относились там с истинно трогательной предупредительностью, стараясь чем-нибудь проявить свое внимание или оказать какую-нибудь услугу. Несколько омрачил мое впечатление от пребывания там цирковой куплетист, фамилии которого я не знаю, но который стал вести себя чрезвычайно агрессивно по отношению ко мне. Дело было, по-видимому, в том, что мои концерты совпали со временем, назначенным для его выступлений, и это взбесило его. Я бы не обратил на него внимания, если бы его пропаганда против меня не проделывалась столь шумно. Он забегал во все магазины, особенно еврейские, стараясь убедить коммерсантов, что я антисемит и что потому ни один еврей не должен идти на мои концерты. Его слушали... и приходили, что, конечно, еще больше выводило его из себя.

— В свободное от концертов время мне не оставалось ничего, как заниматься работой — подготовкой к моим осенним концертам, которые я хочу дать по совершенно новой программе. Должен сознаться, что Ханькоу — удивительно благоприятный город для работы. Вынужденный отдых невольно располагал к тому, чтобы энергичнее работать над своими новыми вещами, и действительно, за это время мне удалось подготовить достаточно вещей, чтобы дать целиком новую программу. К некоторым из этих вещей слова у меня были написаны раньше, к другим же я написал и слова, и музыку во время путешествия.

(Из новых вещей, которыми А. Н. думает порадовать осенью своих почитателей, он назвал «Колыбельную» на слова Дон Аминадо, «Дансинг-гёрл» — на его собственные слова, «Игуменья» (слова неизвестного автора), «Марлен Дитрих» (слова А. Н. Вертинского), «Любовница», «Песенка о моей собаке», «Ее простое желанье», «Забвенье» и «Бессмертный бес» (на слова Сологуба).

— Из этих новых вещей на «Дансинг-гёрл» меня вдохновил Дальний Восток. На эту тему мне давно хотелось написать, и во время моей поездки песня получила окончательное

оформление. Я испытывал ее на дансинг-гёрл из Ханькоу, которые добросовестно посещали мои концерты. Мне хотелось узнать, какова будет их реакция на тему, столь близкую им. В этом отношении я поступал, как Чарли Чаплин, который испытывает свои фильмы на детях и считает их пригодными только в том случае, когда его юная аудитория достаточно смеется. Во всяком случае, реакция, полученная мною на мою песенку со стороны дансинг-гёрл, была вполне положительной, и потому я думаю, что вещь будет иметь успех.

А.-Н. читает слова «Дансинг-гёрл», вкладывая даже в чтение богатство интонаций и нюансов, которое дает возможность предугадать в новой вещи будущий «боевик» его репертуара. Певучесть стиха, яркость образов, фабульность и глубокое чувство, которым проникнута его «Дансинг-гёрл», не смогут не создать этой песенке успеха в неподражаемом исполнении автора.

— Я до сих пор не знаю, чья это вещь — «Игуменья». Эти слова принесла мне в Шанхае одна дама, которая клятвенно уверяла меня, что они написаны не ею и что она даже не знает их автора. Меня поразила в них сила экспрессии, свежесть темы и та яркость содержания, которая имеет для меня такое большое значение. Эта вещь в двенадцати строках излагает маленькую законченную новеллу — с завязкой, действием и развязкой, причем автору удалось в двух-трех словах создать жизненный образ. Я очень доволен, что мне удалось получить эту вещь, потому что петь самого себя я в конце концов устаю. Хочется найти что-нибудь новое, выражающее иные чувства и настроения, но, к несчастью, найти что-нибудь подходящее очень и очень нелегко. Надо помнить, что вещь, которая хороша на бумаге, далеко не всегда звучит так, как нужно, в музыке. «Игуменья» удовлетворяет всем требованиям, которые я предъявляю вещам, и, вероятно, поэтому мне особенно легко удалось написать к ней музыку.

В настоящее время артист работает над музыкой к красивой и сильной вещи Сологуба — «Бессмертный бес».

— К «Бессмертному бесу» я подходил уже давно, лет пять. Но усиленно принялся за нее лишь теперь и думаю только об одном: чтобы у меня хватило музыкальной вырази-

тельности передать весь смысл и содержание этих необыкновенных стихов...

Концерт по новой программе пойдет в Шанхае уже осенью, по его возвращении.

— Мне так и не удалось съездить в Палестину и Египет весной, как я мечтал,— заканчивает А. Н.— Однако мысли о Палестине и Египте я не оставил и когда распрощаюсь с Шанхаем, непременно побываю там на пути в Европу.

ЧТО Я БУДУ ПЕТЬ В СРЕДУ

(Беседа с А. Н. Вертинским)

В среду 11 октября в театре «Ляйсеум» состоится первый в этом году и сезоне концерт популярного русского артиста Александра Вертинского — создателя своего собственного жанра песенок настроения.

Концерт пойдет по совершенно новой программе, будут исполнены вещи только что написанные артистом-поэтом и ни разу им еще не исполнявшиеся.

— Хотя большинство из этих вещей звучат впервые,— сообщил вчера в беседе с сотрудником «Новостей Дня» А. Н. Вертинский,— это еще не означает, что я написал их в момент. Многие из них я очень долго вынашивал и вынянчивал, и только нынешним летом сел писать. И вот результат. Эти вещи значительно разнятся со старыми. В новом творчестве я как бы отхожу от земли и приближаюсь к небу. Любовь становится все реже и реже сюжетом моих вещей. Чаще я затрагиваю человеческие, жизненные и гуманные вопросы. Мои новые вещи отвечают отчасти теперешним душевным переживаниям людей. Меньше в них романов и больше психологии. Однако среди новых вещей есть «Прощальный ужин», в котором еще трактуется тема любви.

— В песенке «Людовик XVI» говорится о короле и Французской революции. 14 июля король мирно охотился в своих лесах и ничего не знал о мятеже в Париже. Он спокойно записал в дневник: «14 июля — ничего». Он подразумевал — ничего не убито на охоте, но зато он потерял в этот день трон, страну и голову. Другая моя новая вещь — «Ближнему», как показывает само название, посвящена ближнему, о котором мы так мало знаем, которым не интересуемся и который, в свою очередь, совершенно не думает о нас, да и не хочет нас

знать. Мы с ним далеки друг от друга, и каждый чувствует себя одиноко. «Жалоба девушки» — это, если можно так выразиться, жалоба неудовлетворенной женской души. Включена в программу и голливудская пикантная вещичка «Марлен». Я написал ее, еще будучи в Голливуде, и посвятил Марлен Дитрих как шутку. Теперь же я переложил ее на музыку и буду петь.

— Вернувшись в Шанхай из Циндао после летнего отдыха, я столкнулся здесь с рядом хороших русских музыкантов, и мне удалось составить приличный оркестр, который и будет выступать на концерте. Лидером оркестра является скрипач Шварцлендер — это новый для Шанхая скрипач из Европы, но не беженец. Это один из даровитых русских музыкантов. У рояля будет Аркадий Вебер, совершенно незнакомый Шанхаю тяньцзинский пианист. Кроме того, в оркестре — лучший на Дальнем Востоке гитарист Герман Бартен, игравший когда-то у меня в «Гардении». С этим гитаристом я буду исполнять цыганские романсы, включая «Ты меня не любишь» на слова Сергея Есенина.

— Сейчас приходится перед концертом много работать — репетировать, записывать музыку. Тут нельзя обойти молчанием помощь А. Я. Рихтера, который изумительно быстро и точно записывает мелодии.

— Приехав в Шанхай, я узнал, что большинство моих произведений теперь исполняются оркестрами. Так, например, Сергей Ермолаев в «Аркадии» часто исполняет мои песенки, включая «Чужие города», которые стали популярными и у иностранцев.

— Я соскучился по публике. Предстоящий концерт будет как бы смотром моих друзей, которых у меня столь же много, как и врагов,— закончил А. Н. Вертинский свою беседу.

СЕГОДНЯ — ВЕРТИНСКИЙ

Сегодня в театре «Ляйсеум» в 30-й раз поет Вертинский!

Собственно, одной этой единственной фразы совершенно достаточно, чтобы касса театра была взята штурмом, «не останавливаясь перед потерями».

Не требуется более одной строки для оповещения публики о концерте ее кумира — самого прославленного певца в русском мире.

Славы уже давно не нужно Вертинскому. Она ему в тягость.

Тем более не нужно рекламы, не нужно газетных выступлений, не нужно ничего, в отличие от других.

Какую славу и какие лавры может предложить Авеню Жоффр артисту, сделавшему эпоху?..

И все-таки пишу...

Не для Вертинского. Для тех, кто всегда и везде готов говорить, думать, спорить о Вертинском.

* * *

— Я ехал в Берлин. И неожиданная остановка в Кельне. Всего на пару часов. Неподалеку прославленный на весь мир Кельнский собор. Грех не взглянуть. Я пошел.

Собор дивно красив и внутри, как и снаружи. Средневековая молитва в линиях, готика, витраже. Шла утренняя служба. С хора неслись какие-то особенные, какие-то неземные звуки. Не орган!

Что же такое? Стал всматриваться, сквозь снопы косых солнечных лучей, падавших как раз к органу. И рассмотрел... Прелестный мальчик в белом кружевном стихаре, в столбе лучей, как в нимбе, играл на чем-то необыкновенном, на каком-то маленьком инструменте. И это-то маленькое и пело таким ангельским тоном, никогда мною не слыханным...

Я был совершенно очарован. Служба быстро кончилась. И я бросился к мальчику:

— Что это такое? На чем вы играете? Что это за инструмент?

— Челеста! — охотно ответил светлый юный виртуоз.— Итальянский очень редкий инструмент. Это — челеста.

— Можете вы приехать в Берлин и там аккомпанировать на моем концерте?

Мальчик мог. Мы быстро договорились. Мальчик привез свой волшебный маленький инструмент в Берлин. И я пел под челесту.

* * *

Так рассказал А. Н. Вертинский пишущему эти строки недавно, при встрече на улице. Челеста нашлась и в Шанхае. Редкий итальянский инструмент оказался во владении маэстро Пачи, согласившегося любезно одолжить его для сегодняшнего концерта.

Аккомпанировать будет не мальчик из Кельнского собора. Но, вероятно, нисколько не хуже. Аккомпанировать будет Георгий Ротт.

«Я БЫЛ ЗАСТЕНЧИВ...
ВОТ ПОЧЕМУ РОДИЛСЯ КОСТЮМ ПЬЕРО»

А. Н. Вертинский о своем творчестве

Завтра А. Н. Вертинский дает свой последний прощальный концерт в Железнодорожном собрании. Прощаясь с харбинцами, Вертинский решил уступить многочисленным просьбам и выступить в костюме Пьеро, который он снял 14 лет тому назад...

Как же появился этот жанр, этот бледный Пьеро и его песенки, которые отразили нашу эпоху и вызвали столько подражателей не только в России и в эмиграции, но и по всему свету?

В беседе с нашим сотрудником А. Н. Вертинский поведал нам тайну рождения Пьеро:

— В начале века в русском обществе произошла перемена в настроениях. Появились новые вкусы, новые требования. В частности, публика хотела чего-то нового, свежего и от сцены, музыки, пения. Всем надоели старые романсы, надоели «грезы» и «розы», «кровь» и «любовь», надоели соловьи и лунные ночи, про которые пелось и писалось. Пионерами в области новшеств в поэзии стали Блок, Ахматова, Игорь Северянин. Новые поэты принесли с собой свежую струю прекрасного.

Помню, я был на концерте соловья русской песни — божественного Собинова, и вот, слушая его, я почувствовал, что его пение не производит на меня впечатления, не доходит, как говорится, «до сердца». Я понял, что артист должен апеллировать не только к слуху слушателя, но и к его сердцу, к его самым чувствительным эмоциям.

Мое искусство родилось из недовольства старыми формами, которые уже не удовлетворяли вудиторию. Я смело выступил со своими песенками. Я очутился в исключительно тяжелых условиях. Раньше за певца отвечала консерватория, в которой он учился, за его арию отвечал композитор, а за меня... отвечал только я.

Но как же родился Пьеро? Да очень просто, проще, чем это думают. Я был молод, был застенчив, боялся смотреть в лицо многоликому страшному зверю — публике, и я скрылся под маской и костюмом печального Пьеро.

Я был тепло и радушно встречен харбинцами в Железнодорожном собрании, и свой прощальный концерт я решил дать там. Где встретились, там и простимся. Это будет мой

последний концерт в Харбине. Мне жаль расставаться с харбинцами. Я так полюбил этот город за время своего в нем пребывания.

На моем прощальном концерте, в воскресенье, я выступлю единственный раз за 14 лет в костюме Пьеро, уступая просьбе харбинцев, которые прислали мне за последнее время более 300 писем с просьбой воскресить прежний жанр. Это подарок для харбинцев. Пусть они посмотрят меня в костюме Пьеро, услышат песни, пусть послушают их и те, кто обвиняет меня в нытье. Они увидят, что этот жанр далеко не так плох, как они говорят.

На прощанье А. Н. Вертинский показывает телеграмму, только что полученную им от нашего русского гения Федора Ивановича Шаляпина в ответ на его пасхальное поздравление: «Токио. Кахотерн (отель). Спасибо, милый Вертинский. Желаем здоровья. Ф. Шаляпин».

Мастерство Вертинского

Как видно из воспоминаний Вертинского, первые громкие успехи его относятся к 1913—1914 годам. После неудачных попыток «найти себя» в драматическом театре, после дилетантских, в сущности, литературных дебютов на страницах киевских газет и журналов молодой Вертинский более или менее случайно и, без сомнения, интуитивно набрел на свой особый жанр: он стал сочинителем и исполнителем томных, меланхолических «песенок настроений», и песенки эти быстро принесли юному артисту большую известность. Один из участников сборных концертных программ, Вертинский стал теперь давать сольные концерты, гастролировать по стране и за какие-нибудь два года завоевал всероссийскую славу. Успех его, ранний, внезапный и шумный, казался сперва дешевым и заведомо непрочным. В популярности Александра Вертинского, певца, не обладавшего ни выдающимися вокальными данными, ни вокальной школой, было нечто неосновательное, эфемерное, кратковременное. Казалось, через год, через два его забудут, как забыли многих любимцев капризной публики, «королей на сезон».

Но случилось иначе. Время, которое рванулось вперед стремительным и мощным темпом сквозь трагедию мировой войны и патетику величайшей революции, время, которое сокрушило и уничтожило многие, казалось, незыблемые ценности, обнаружило по отношению к искусству Вертинского необыкновенную заботливость. Слава, всегда окрашенная легким оттенком сомнительности, сопровождала Вертинского всю его долгую и переменчивую жизнь.

М. Иофьев, автор единственной серьезной и аналитической статьи об искусстве Вертинского, начал ее такими словами: «Существуют привязанности, которых мы себе не прощаем. Такой любовью окружено творчество Вертинского»[1]. Эти слова подсказывают мысль, будто песни Вертинского нравились публике неискушенной, эстетически невоспитанной, что привязанность к Вертинскому миновала тонких знатоков и квалифицированных мастеров искусства. Но я видел,

---

[1] Здесь и далее статья М. Иофьева цитируется по книге: *Иофьев М.* Профили искусства. М., 1965. С. 204—207.

с каким восхищением рукоплескали Вертинскому Василий Качалов и Алиса Коонен, Михаил Яншин и Алексей Дикий, Валерия Барсова и Василий Топорков, Борис Ливанов и Михаил Романов, Алла Тарасова и Сергей Юткевич, Иннокентий Смоктуновский и Михаил Жаров. Возможно, они испытывали при этом ощущения сложные и противоречивые. Тем не менее искусство Вертинского волновало и их, как волновало самых наивных и самых непосредственных слушателей и зрителей его рядовых концертов.

В фойе Дома актера красавец Качалов громко и возбужденно говорил: «Какой мастер!.. И как красив!.. А руки... Вы обратили внимание?»

Были, впрочем, серьезные люди, которые Вертинскому не аплодировали и говорили, что «все это» — безвкусица. Такая точка зрения существует и поныне. Сейчас аргументы в поддержку этой позиции даже легче подобрать, ибо сохранился — в записях — только голос Вертинского и навсегда исчезло его уникальное пластическое мастерство, его способность одним движением руки — резким и быстрым — вдруг показать человека, рукой «сыграть» гнев, презрение, смирение, гордость, покорность судьбе. Голос теперь как бы отделился от фигуры артиста, высокой, гибкой, от его длинных выразительных рук, то повисавших плетьми — беспомощно и бессильно, то вдруг пускавшихся в пляс, от его лица — надменного или нежного, саркастического или трагического, от его скорбных гримас и фамильярных ухмылок.

Он вышел на подмостки в то самое время, когда русский символизм уже отцветал, когда интеллигентной публике знакомы были уже грубо-аллегорические вариации символистских идей в крикливых пьесах Леонида Андреева и мещански красивые, вычурные и кокетливо упрощенные модификации символистских тем в поэзии Игоря Северянина. Шла распродажа символистских образов по дешевке, и распродажа эта была выгодна: недаром Игоря Северянина окружали толпы задыхающихся от восторга поклонниц, недаром его «поэзы» тщательно переписывали гимназистки во всех уголках России, недаром он даже избирался, и не однажды, «королем поэтов». Вертинский противопоставил сладостному и утешительному, баюкающему и мурлыкающему Северянину мироощущение трагическое. Первые песни его были мрачны и горестны. Но трагедии излагались вполне общедоступным языком, и персонажами этих трагедий становились не миражные фигуры, вроде блоковской Прекрасной Дамы, а те самые люди, которые Вертинского слушали: экзальтированные барышни, сбившиеся с пути, девушки, смущенные собственным поведением, их ненадежные и случайные спутники. Поэзия низводилась до уровня этих потребителей, применялась к их судьбам и вкусам.

Юрий Олеша вспоминал один из ранних концертов Вертинского: «Он появился в одежде Пьеро, только не в белой, как полагается, а в черной, выходя из-за створки закрытого занавеса к рампе, освещавшей его лиловатым светом. Он пел то, что называл «ариетками Пьеро»,— маленькие не то песенки, не то романсы: вернее всего, это были стихотворения, положенные на музыку, но не в таком подчинении ей, как это бывает в песенке или в романсе, «ариетки» Вертинского оставались все же стихотворениями на отдаленном фоне мелодии. Это было оригинально и производило чарующее впечатление. Вертинский пел тогда о городе — о том его образе, который интересовал богему: об изломанных отношениях между мужчиной и женщиной, о пороке, о преданности наркотикам... Он отдавал дань моде, отражал те настроения, которые влияли в ту эпоху даже на таких серьезных деятелей искусства, как Александр Блок, Алексей Толстой, Владимир Маяковский»[1].

Действительно, например, тема сладостной и избавительной смерти, спасающей от пошлости и угнетающей прозы бытия, наиболее обстоятельно и высокопарно разработанная в символистской поэзии Федора Сологуба, обретала у Вертинского пугающую простоту и коварную интимность. Он пел о какой-нибудь «кокаинетке», об «одинокой, бедной деточке, кокаином распятой в мокрых бульварах Москвы», о мокрой, облысевшей горжеточке, прикрывающей ее синюю шейку. И без колебаний, сострадательно советовал ей не плакать, а покончить с собой: «Лучше синюю шейку свою затяните потуже горжеточкой и ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы».

В его «ариетку» на равных правах входили и непременные темы городского «жестокого» романса — «осенняя слякоть бульварная», «одинокая деточка», вне всякого сомнения — проститутка, и позаимствованная из опыта больших поэтов того времени, но звучавшая еще «жесточе» и еще эффектнее рекомендация искать утешения в смерти.

Наиболее сильно и по-своему совершенно эта модная тема смерти-избавительницы прозвучала в сенсационном, многократно варьировавшемся и пародировавшемся номере Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном». Этот шлягер был действительно смелым, обладал неоспоримой чистотой формы и исчерпанностью темы. Смерть воспринималась и воспевалась как вожделенная, пришедшая наконец минута покоя и блаженства: «Ничего теперь не надо вам, никого теперь не жаль». Куплет, обещавший умиротворенной покойнице, что «сам Господь по белой лестнице» поведет ее «в светлый рай», оттенялся — по контрасту — мгновенной зарисовкой бедной панихиды в захолустной церквушке.

---

[1] *Олеша Ю.* Ни дня без строчки. М., 1965. С. 297.

Тихо шепчет дьякон седенький,
За поклоном бьет поклон,
И метет бородкой реденькой
Вековую пыль с икон.

Вещь была блаженно-кощунственна, интонация, с которой она исполнялась, меланхолическая и чуть торжественная, звучала вызывающе. Во всей этой песне, написанной и впервые исполненной в дни войны, в 1916 году, содержалось некое возражение духу взвинченного шовинизма, той героической браваде, которую слушатели ежедневно, по выражению Маяковского, «вычитывали из столбцов газет». Фаталистический мотив песни, пользовавшейся грандиозным успехом, варьировался впоследствии во многих вещах Вертинского, иногда — неизмеримо менее удачно (например, «Панихида хрустальная», 1916 г.), иногда весьма изысканно — в музыкальной новелле «Бал господен» (1917 г.) или в очень красивой и нежной песенке на слова Блока (кое-где Вертинским измененные) о том, как

Белые священники с улыбкой хоронили
Маленькую девочку в платье голубом...

Но уже тогда, в самом начале артистического пути Вертинского, обозначались и другие, весьма для него характерные и существенные мотивы, пронизавшие его творчество и сопровождавшие его всю жизнь. Словно по контрасту с темой избавительной, благостной и спасительной смерти звучит уже в раннем его репертуаре гедонистический мотив наслаждения всеми, пусть мимолетными, преходящими радостями бытия, счастливыми минутами и «минуточками», которые удается вырвать из удручающей прозы повседневного существования.

В таких гедонистических ариетках интонация певца резко менялась. Он пел шаловливо, беспечно, радостно, капризничая и легкомысленно заигрывая с судьбой. «Минуточка» или «Сероглазочка» исполнялись игриво. Манера Вертинского становилась одновременно пикантной и невинной, слегка жеманной. Порой оба эти ранних мотива вдруг сливались воедино. Так, «Сероглазочка», начинавшаяся небрежным ассортиментом первых попавшихся ласкательных выражений:

Я люблю вас, моя сероглазочка,
Золотая ошибка моя.
Вы — вечерняя жуткая сказочка,
Вы — цветок из картины Гойя,—

кончалась вдруг сумрачным возвращением к теме утешительной смерти: «Под напев ваших слов летаргических умереть так легко и тепло».

Таким образом обозначалось внутреннее и глубинное родство обоих этих мотивов (кладбищенского и беспечно-жизнерадостного), которые были важны для понимания искусства Вертинского в целом. Они выражали одно, самое для Вертинского и для его слушателей существенное чувство неудовлетворенности жизнью, невозможности мириться с ее прозаическим однообразием, с ее безыдеальностью, приниженностью, духовной скудностью. И одновременно — чувство приговоренности к такой именно, не поддающейся изменению жизни.

Певец богемы, Вертинский в начале своего пути, быть может, именно тем особенно сильно тронул и взволновал сердца своих слушателей, что вполне откровенно высказал уверенность в эмоциональном и духовном бессилии богемы. Он снял с прожигателей жизни романтический ореол. Как ни беспомощно звучали его слова о том, что он «устал от белил и румян и от вечной трагической маски», как ни инфантильна была тоска по «детской сказке наивной, смешной», эта тема звучала с наибольшей искренностью, она оказывалась самой привлекательной, сокровенной и заветной.

В конечном счете Вертинский признавался своим слушателям в том, что он ничего, кроме совершенно необоснованных мечтаний, предложить им не может:

Все бывает не так, как мечтаешь под лунные звуки,
Всем понятно, что я никуда не уйду, что сейчас у меня
Есть обиды, долги, есть собака, любовница, муки
И что все это — так... пустяки... просто дым без огня.

Этот «дым без огня» долго клубился и всем нравился. Признание поражения в определенных условиях равнозначно победе. Вертинский признавался в поражениях — и не только в своих. Он говорил от имени целого поколения интеллигентов, перебиравших самые разнообразные политические лозунги и в конце концов оказавшихся вне игры.

В то самое время, когда Игорь Северянин предвещал близость торжества русского воинства и даже обещался:

— Тогда, ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин! —

Вертинский, будто нарочно, интересовался только теми экзотическими странами, которых мировая война не коснулась, и задавал свои странные вопросы: «Ах, где же вы, мой маленький креольчик, мой смуглый принц с Антильских островов?» Или так: «Где вы теперь, кто вам целует пальцы, куда ушел ваш китайчонок Ли?»

Впоследствии Вертинского упрекали: мол, «песенки его отвлекали от действительности, а она, эта действительность, готовилась к тому, чтобы исполнить свои новые песенки»[1].

Что верно, то верно: этих «новых песенок» Вертинский не спел, да он их и не предчувствовал, не предвидел. Тем не менее он был человеком вполне определенных взглядов и не скрывал своего разочарования войной и политикой.

В период эмиграции в выступлениях Вертинского звучали его излюбленные темы бегства от действительности, меланхолического фатализма и гедонистического наслаждения хотя бы немногими случайными мгновениями радости, «минутами на пути». Они оказались совершенно созвучны настроениям его еудитории. Общая минорная интонация песен Вертинского особенно явственно ощущалась в лучших, прямо ностальгических его вещах. Тоска по родине, покинутой и недоступной, вдохновляла Вертинского, когда он сочинял и пел бесспорные свои шедевры, такие, как «В степи молдаванской», «Молись, кунак...», «Чужие города» (написана в соавторстве с Раисой Блох), «О нас и о родине». Он никогда — ни в одной из его бесчисленных песен на свои или чужие слова — не поддержал ни прямо, ни косвенно эмигрантские претензии к Советской России.

А чувство своей отрешенности от народа и от новой России было мучительно, равнозначно ощущению близкой гибели. И в одном из романсов Вертинского прозвучали такие слова: «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб...». Но этой ностальгической лирикой, выражавшей внутреннюю драму Вертинского, не исчерпывались ни его зрелое творчество, ни его репертуар.

Любовь к экзотике, к поэтизации далеких (желательно тропических) стран и городов, волнуя эмигрантские сердца и как бы обещая им новые заманчивые кочевья, становилась в его репертуаре одной из наиболее ходовых тем. Она звучала все шикарнее, все эффектнее.

Оказавшиеся в Париже, Стамбуле или Шанхае на положении бесправных и часто нищих изгнанников, эмигранты с завистью и болью разглядывали красивую жизнь, проплывавшую мимо них, притягетельную и недоступную, налаженную, роскошную и столь же далекую, как пресловутые Антильские острова. Экзотика песен Вертинского была подменной вариацией этого чувства зависти и отлученности от чужих — совсем близких и совсем невозможных — радостей. В роскошном колониальном стиле сделано знаменитое «Танго «Магнолия», песня горделивая и пышная, с такими неотразимыми подроб-

---

[1] *Борисов Л.* Жестокий воспитатель. Л., 1961. С. 215.

ностями, как «вопли обезьян», как Сингапур, во-первых, «бананово-лимонный» и, во-вторых, «опаловый и лунный», как «крики попугаев» и «львиная шкура», на которой расположилась героиня. В этом же колониальном стиле и не менее знаменитый бравурно-удалой «Бразильский крейсер», но тут, правда, экзотика приправлена шаловливой, кокетничающей авторской усмешкой.

Причудливый мир Вертинского, простирающийся от «притонов Сан-Франциско» до «притонов Барселоны», от Бермудских островов до Камчатки, от «голубых ледников» до «неживого былого Китая», населен эффектными и странными персонажами: тут горбатые скрипачи, гейши, креольчики, епископы, циркачи, женщины в роскошных мехах и в павлиньих перьях, старые клоуны, принцессы и короли, альфонсы и раджи из Кашмира, весталки и проститутки... Кого только нет! В этом мире, в этом «дешевом электрическом раю», как замечено в одной из песенок Вертинского, «перепутались лакеи и лорды». Тут скользят роскошные «Испано-Сюизы», плывут «адмиральские яхты», тут, в вечерних дансингах, толпятся денди и кокотки, тут нюхают кокаин, пьют «простой шотландский виски», тут бутылки вина загадочно зеленеют во льду, гудят джаз-банды, а сам маэстро занят делом чрезвычайной важности: «Зову их в океаны и сыплю им в шампанское цветы»...

Герои Вертинского переживают умеренно нервные драмы «на солнечном пляже» или в «баре Пикадилли», на худой конец — в Булонском лесу. Его действительность сочинена и призрачна. Это многокрасочный мираж. Это широкоэкранный цветной великосветский фильм, отснятый в те дни, когда не было еще ни цветного кино, ни широкого экрана. Нельзя сказать, что Вертинский принимает всю эту великолепную панораму слишком уж всерьез. Временами ее восприятие окрашено веселой или даже издевательской иронией, временами Вертинский вполне откровенно и горько «смеется над собой». В его песнях все уменьшается в масштабах, все подается с инфантильностью, то наивной, то трогательной, а то и саркастической — «экипажики», «плюмажики», «горжеточка», «ручечка», «попик» и «сучечка»...

Мир, вымышленно-прекрасный, цветастый, пряный, пикантный — какой угодно, только бы не прозаический, не обыденный, не реальный — и не выдается за реальность. Он предлагается как мечта, как откровенная игра воображения.

Песни Вертинского становились явлениями большого искусства, а иногда и шедеврами во многом благодаря его собственной интерпретации, благодаря его исполнительскому мастерству. Конечно, в таких случаях, когда артист один выступает в трех лицах — сам себе поэт, сам себе композитор и сам же певец — очень трудно отделить исполнителя от автора, но все же сделать это возможно.

Когда Вертинского поют другие, даже очень умелые и талантливые имитаторы и подражатели, сохраняющие его грассирование и манеру подачи каждого слова, каждого слога, воспроизводящие его фразировку, его тембр, его смысловые акценты — подчас совершенно неожиданные, построенные по принципу прямого контраста интонации и текста или легкого, едва уловимого интонационного сдвига в сторону от текста,— когда все эти условия соблюдаются, все же впечатление оказывается резко ослабленным. Не говорю уже о пластической и мимической технике Вертинского: имитаторы обычно даже не пытаются ее передать или повторить. Как ни странно, более удачны бывают обычно пародии на Вертинского. Один из секретов его искусства как раз в том и состоял, что оно находилось на грани самопародии. И в поздние годы Вертинский нередко сам себя пародировал,— например, с насмешливой издевкой пел знаменитую «Мадам, уже падают листья», которую некогда окрашивал нежной осенней лиричностью. Но все эти пародии и самопародии потому-то и оказывались возможны, что ирония сквозила в исполнении Вертинского всегда и везде, в песнях лирических, экзотических, трагических, бравурных, вызывающе дерзких — каких угодно.

Его ирония была меланхолична, патетика — интимна. Изощренно и хитро разрабатывая каждый свой номер, каждую вещь, переходя от интонаций плавных, текучих — к резкому скандированному речитативу, от вялого и унылого растягивания фразы — к гордой и надменной ударности, от капризного бормотанья — к кокетничанью чистотой мелодического рисунка, к почти фокуснической игре своими небольшими, но тщательно выверенными и превосходно освоенными вокальными возможностями, Вертинский всю эту виртуозность пропускал сквозь призму тоскливой насмешливости. Об этом хорошо написал М. Иофьев: «У Вертинского лирика пересекается иронией, причем и то и другое свидетельствует об отношении автора к самому себе... Пародии обезврежены заранее: Вертинский готов отнестись к себе с той насмешкой, какую заслуживает, но, поверив в иронию, мы тем сильнее поверим в драматизм его положения... Грустное кажется смешным в его искусстве, и наоборот, поэтому банальное становится оригинальным. Ирония Вертинского — не сарказм, печаль — не отчаяние. Выработано удобное отношение к жизни: утверждается и поэтизируется человеческая слабость»[1].

В принципе все это верно. Заметим только, что в некоторых лучших своих вещах Александр Вертинский, автор и исполнитель, умел возвышаться над этой излюбленной темой, умел ей возражать. Эстетизация красивой жизни и поэтизация человеческой слабости переводились в регистр горделивой и мужественной романтики.

---

1 *Иофьев М.* Там же. С. 205—206.

В этом смысле замечательна была песенка о матросах, «идущих в рай». В ней тема для Вертинского автобиографическая и исповедническая — «как трудно на свете этом одной только песней жить» — сперва смыкалась с темой утомленной и скучающей созерцательности. Словно отдаваясь движению плавной и нежной мелодии, Вертинский — руки его медленно танцевали — пел: «А я пил горькое пиво, улыбаясь глубиной души...» И совсем уже свободно, победительно летела следующая, по контрасту изящная и грациозная, быстрая фраза: «Как редко поют красиво в нашей земной глуши...» Но все это только предваряло главный, торжественный и строгий мотив матросов, которым смерть отворяет двери рая. Это движение — услужливое и машинальное движение швейцара — было у Вертинского сухим, отрывистым и падало на слова: «Она открывает двери...» Его матросы встречали смерть геройски, переступали этот порог твердо и без всякого кокетства.

Другая вещь Вертинского — «В синем и далеком океане» — начиналась очень характерным для него чуть жантильным салонным мурлыканьем: «Вы сегодня нежны, вы сегодня бледны...» Появлялся какой-то «лиловый аббат», который должен был, разумеется, отпустить грехи героине. Затем, будто отодвигая и аббата и саму героиню, вступал Вертинский: «Вы усните, а я вам спою». Патетично и сумрачно, резко отделяясь и отдаляясь от мурлыкающей манеры зачина, Вертинский пел о мертвых седых кораблях, плывущих «где-то возле Огненной Земли», о том, что ведут их «слепые капитаны, где-то затонувшие давно», о том, что утром их «немые караваны тихо опускаются на дно». Вся эта миражная картина была словно заморожена холодом интонации и меланхолическим однообразием мелодического рисунка. И в ней была романтическая гордость, в ней было романтическое величие.

В таких вот торжественно-спокойных, суровых и одновременно нежных вещах, как эта песня, как знаменитое «Палестинское танго», Вертинский был особенно заманчив и привлекателен. Подтекстом романтических его произведений становилесь мысль о более высоком предназначении человека, о способности его жить красиво и гордо, быть выше своей повседневно-покорной жизни («путь земной так беден, одинок и сер»,— признавался Вертинский в «Поздней встрече»), о том, что человек достоин лучшей судьбы и способен подняться над мнимостью эмигрантского существования.

Вертинский был искушенным устроителем иллюзорных миров, конструктором миражей, мастером тропических эффектов. Но сам же опровергал и оплакивал эти несостоятельные грезы, когда пел — на слова Тэффи — «к мысу ль Радости, к скалам Печали ли, к островам ли Сиреневых птиц, все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц». Все эти «сиреневые птицы», все эти ласточки,

летящие на Гонолулу, выглядели пустыми фантазиями, когда певец вспоминал свое «жалкое счастье в заплатанном платьице», когда вдруг с отчаянием признавался, что «даже розы... пахнут псиной».

Концертный репертуар Вертинского был широк. Он превращал в песни произведения больших поэтов своего времени — Блока, Гумилева, Ахматовой, Георгия Иванова, Иннокентия Анненского, исполнял весьма популярные и сильно запетые цыганские и «жестокие» романсы. Конечно, петь их «на низах», подчеркивая горловые интонации, он не мог, да и не хотел. У него цыганский романс («Ехали на тройке с бубенцами...», «Ах, душа моя, мы с тобой не пара...») окрасился темой вольности, раскованности, освобожденности. В те годы Вертинский нередко выступал под аккомпанемент маленького оркестра, гитары или скрипки поддерживали мотив бесшабашной и чистой, гордой радости, будто улетающей от реальности. Цыганщина у Вертинского теряла и свою глухую тревожность, и свою лихую или угрюмую чувственность. Она становилась легка, порывисто-безгрешна, мечтательна.

Когда же Вертинский пел жестокие романсы — «Только раз бывают в жизни встречи», к примеру,— он придавал им спокойную и торжественную величавость. Мелодраматизм, свойственный жанру, преодолевался или — в самых удачных случаях — исключался вовсе. Романс исполнялся плавно, благородно, терял свою «жестокость», душещипательность, оказывался лиричен. Он будто бы очищался.

Жестокие романсы собственного сочинения Вертинского — такие, как «Вы стояли в театре, в углу, за кулисами» или «Минута на пути» (на слова В. Рождественского),— могли бы послужить классическими примерами одновременно очищения жанра и верности самому традиционному, резкому мелодраматизму. Надрывно, почти рыдая, Вертинский пел: «Прости за то, что ты была любовницей, женой, что ты сожгла себя дотла...» Но начальная фраза — «Как мне тебя благодарить, минута на пути?..» — была возвышенно-светла, полна благородства. Иной раз Вертинский пользовался приемом намеренного и очень сильного контраста между интонацией и текстом. Будничная бытовая зарисовка — «На креслах в комнате белеют ваши блузки» — подавалась торжественно, многозначительно, монументально. Эти слова он выпевал как хорал. Такие внезапные стыки обыденных ситуаций и гордого, высокомерного тона или, наоборот, капризной манеры пения и высокопарных «важных» слов очень для Вертинского характерны. Патетика перекрещивается с унынием, надменность сменяется надрывностью, бравурная веселость — безысходной тоской. Все его искусство — в этих острых и рискованных переходах, в умении виртуозно маневрировать сменой настроений, балансировать между кокетливой позой и естественным достоинством осанки, между подлинностью искусства и искусственностью манеры.

Вертинский приспособлял стихи больших поэтое или их излюбленные темы к уровню своей аудитории. А вступая в сравнительно вульгарную сферу привычных эстрадных жанров, он их облагораживал, очищал, возвышал. Так обозначалось его своеобразное положение, его место на полпути между высокой поэзией века и эстрадой эмигрантского лихолетья.

Вполне понятно, что в песенную лирику Вертинского очень скоро вошел мотив раскаяния и сожаления о том, что он оказался в эмиграции, вдали от родины. Уже в 1927 году, в песенке «Лимитрофы», написанной в буржуазной Литве, в Каунасе, Вертинский проклинал собственную ошибку, высмеивал себя за то, что «...пресмыкался, сгибался и кланялся, отрекался от родины, льстил...». В 1935 году он выступил с песней, имевшей резонанс громкого скандала:

Проплываем океаны,
Бороздим материки
И несем в чужие страны
Чувство русское тоски...

И пора уже сознаться,
Что напрасен долгий путь...

Подавляющее большинство эмигрантов тогда еще в этом соэнаваться не хотело. Слова Вертинского о покинутой родине, которая «цветет и зреет, возрожденная в огне, и простит и пожалеет и о вас, и обо мне», были восприняты как слова кощунственные, предательские. Многие эмигрантские газеты и журналы, парижские и шанхайские, поторопились объявить, что Вертинский «продался красным», что он — «большевистский наемник»... Весь этот вздор Вертинский и не пытался опровергать. К его чести надо сказать, что он раньше многих крупных мастеров искусства и литературы, покинувших Россию после Октября, стал обращаться в советское посольство с прямыми просьбами о возвращении на родину.

В годы войны чувство отверженности и раскаяния, которое он испытывал, особенно обострилось. В 1942 году, в Шанхве, Вертинский сложил песню «Наше горе»:

Нам осталось очень, очень мало!
Мы не смеем ничего сказать.
Наше поколение сбежало,
Бросило свой дом, семью и мать...
И, пройдя весь ад судьбы превратной,
Растеряв начала и концы,
Мы стучимся к Родине обратно,
Нищие и блудные отцы!
Что мы можем? Слать врагу проклятья?
Из газет бессильно узнавать,
Как идут святые наши братья
За родную землю умирать?

В это время, когда почти вся русская эмиграция увидела свою родину в новом свете, в свете великой войны между силами фашизма и силами свободы, улюлюканье и грубые выпады против «красного Вертинского» прекратились. Наоборот, многие эмигранты, особенно молодые, выросшие вдали от родины и взволнованные героизмом советских солдат, приветствовали Вертинского как выразителя их надежд, их веры, их воспрянувшего патриотизма.

В 1943 году Вертинскому было разрешено вернуться в Советский Союз, и первые его концерты на родине прошли с огромным успехом.

Начался новый период жизни и концертной деятельности Вертинского. Хотя он сталкивался порой с непониманием, хотя находились люди, которые считали его искусство пошлостью, тем не менее такого рода реакции были эпизодичны. Он выступал в неизменно переполненных концертных залах, он гастролировал по всей стране, и совершенно новый мир, ранее неизвестный, незнакомый, богатый и сложный, открывался ему.

Встретившая Вертинского Россия была страной, одержавшей величайшую историческую победу. Но положение в ней в конце 40-х — начале 50-х годов оставалось очень трудным и суровым. Страна залечивала зияющие раны, заново отстраивала разрушенные города, люди жили тяжело, отказывая себе во многом. Одевались по необходимости скромно и серо. Защитный цвет доминировал: донашивались военные шинели и гимнастерки. Многие женщины во время войны расстались со своими мужьями и возлюбленными — иные навсегда, иные надолго, многие, превратившись из девочек в девушек, так и не дождались своих суженых, так и не назвались ни невестами, ни женами: юноши их поколения погибли. Из боли этих утрат, из тягот послевоенного быта рождалась острейшая потребность в лирике, в романтической поэзии, в красоте, в радости...

Вертинский в этот момент пришелся очень кстати. Многие его красивости, над которыми он сам уже иронизировал и посмеивался, воспринимались вполне всерьез. Кроме того, в песнях его отчетливо слышалась выстраданная долгой разлукой искренняя и до боли острая любовь к родине. «Он заставлял нас,— вспоминал Иннокентий Смоктуновский,— заново прочувствовать красоту и величие русской речи, русского романса, русского духа. Преподать такое мог лишь человек, самозабвенно любящий. Сквозь мытарства и мишуру успеха на чужбине он свято пронес трепетность к своему Отечеству...»[1] Он вернулся, по собственным его словам, «птицей, что устала петь в чужом краю и, вернувшись, вдруг узнала родину свою...».

---

[1] *Смоктуновский И.* Помню. Молодая гвардия, 1967, № 11. С. 303.

Артист был уже немолод, когда началась эта новая полоса его жизни. Он старался изменить свой репертуар и создавал песни. Скиталец, изгнанник, певец, прославивший прелесть случайных связей, познал счастье жизни в родной стране, счастье семейного очага и отцовства — и все это излилось в его новых песнях. Пусть голос Вертинского стал глуше звучать, при нем осталось его прежнее изощренное и изысканное мастерство.

Концертируя, Вертинский объездил заново всю страну, причем побывал там, где ему раньше бывать не приходилось, а также в городах, которых, когда он покинул Россию, еще не было на карте. Из писем Вертинского видно, какое впечатление производили на него перемены, происшедшие в жизни страны.

Но в положении Вертинского на советской эстраде была одна сложность. Если критика охотно и доброжелательно комментировала его кинематографические роли, то о Вертинском как о певце после его возвращения в Советский Союз никогда не писали. Ни один рецензент ни разу не отозвался ни на один из его многочисленных концертов, столичных или провинциальных. Было ясно, что певец Вертинский — явление в каком-то смысле особое, исключительное, не подлежащее публичному анализу. Соответственно не принято было ни подражать Вертинскому, ни развивать его темы или варьировать его манеру. Предполагалось и принималось как факт, что Вертинский — беспрецедентен и неповторим. Его искусство не ставилось в связь ни с какими другими явлениями искусства — ни по сходству, ни по контрасту. В какой-то мере это было, возможно, и лестно. Но, без сомнения, как всякий большой мастер, Вертинский мечтал и об учениках, и о гласной, публичной оценке своей деятельности.

Особенную симпатию новой аудитории вызывали те песни Вертинского, в которых с наибольшей силой выразился один из самых для него характерных мотивов — мотив тоски по родине. Проникнутые мучительной ностальгией и болью трагического разочарования «Чужие города», «В степи молдаванской» вызывали волну сочувственных эмоций. Публика, неистово рукоплеща, как бы хотела скезать певцу, что она его понимает, более того — что она его принимает, что она слышит искреннюю и выстраданную боль его интонаций, что ныне боль эта должна исчезнуть, раствориться в счастливой общности певца и его слушателей. Вертинскому аплодировали теперь не чужие — родные города.

Любопытно, что в тех случаях — надо сказать, довольно частых,— когда Вертинский, учитывая изменившиеся социальные обстоятельства, да и свой собственный возраст, иронически переосмысливал прежние лирические песни и пытался, например, с легким сарказмом обрисовать портрет победительного любовника в «Прощальном ужине», или капризной дамочки в «Бразильском крейсере»,

или стареющего ловеласа в песенке «Мадам, уже падают листья», публика, как правило, насмешливости не принимала и даже не всегда ее замечала. Она продолжала ценить в Вертинском иронию, спрятанную под покровом лиризма, но иронии прямой, даже грубой не хотела. Не потому ли, что огрубления эти возражали всей музыкальной и поэтической структуре искусства Вертинского, его тонкости, его изысканности?..

Вертинский более всего восхищал слушателей и зрителей законченностью отделки каждой вещи, необыкновенной точностью ее интонационной и пластической разработки. Искуснее всего по-прежнему были движения рук. Начиная песенку про «Маленькую балерину», Вертинский с неподражаемой грацией и быстротой показывал встречным движением опущенных вниз рук развевающуюся в танце пачку. Его пальцы трепетали, как оборки. Причем вся эта пластическая иллюстрация была очень короткой, она вся укладывалась в одну строчку текста: «Я маленькая балерина, всегда нема...» Когда он пел романс «Над розовым морем» на слова Георгия Иванова, то руки его показывали, как «томно кружились влюбленные пары». Руки плавным лебединым ходом проскальзывали в танце — опять же то было только одно мгновение. Строго говоря, такие движения были иллюстративны. Точно так же иллюстративен был жест, которым Вертинский резко и внезапно раскидывал руки в стороны и растопыривал, словно лучи, пальцы, показывая в «Чужих городах», как «светится звезда». Но мгновенность этих иллюстраций лишала их всякого оттенка назойливой пояснительности. Кроме того, Вертинский широко пользовался и богатым ассортиментом жестов, отдаленно ассоциативных, ничего не «показывающих», но содержащих пластическое выражение музыкальной фразы,— иногда совершенно неожиданное, трудно объяснимое, даже капризное и все же по-своему убедительное. Портретные характеристики, которые он давал подчас своим персонажам, вдруг сменялись интересными попытками пластически и интонационно передать настроение, атмосферу действия, отношение к нему.

С редким искусством умел Вертинский услышать, уловить и прекрасно подать ключевую, самую интересную, эмоционально точную интонацию песни. В нотах, в сущности, ничего нет. Но в исполнении Вертинского есть нечто: есть ударная выигрышная интонация, которая и делает весь «номер». Резко и уверенно эту интонацию выпевая, Вертинский «проглатывал» музыкельный шлак банальных мелодических ходов.

М. Иофьев очень точно заметил, что мастерство Вертинского не претендовало на интимность «общения» с аудиторией, не заигрывало с ней. Вертинский не стремился подкупить зрителя и слушателя задушевностью и вообще никогда не перешагивал, условно говоря,

через рампу, не фамильярничал со зрительным залом. Напротив, его искусство обладало своего рода замкнутостью и не зависело от сегодняшних зрительских реакций. Каждый номер был сделан раз и навсегда и выверен до малейших деталей. Вертинский, писал Иофьев, «замкнут и бесстрастен, он присутствует на сцене только как мастер, но не как человек. Тем самым он вынужден быть мастером блестящим»[1].

Но это блестящее и виртуозное мастерство сложилось в определенных условиях и подавало вполне определенный репертуар. Поэтому к новой тематике, которой наполнилось искусство Вертинского последних лет, его мастерство было не всегда и не вполне применимо. Он, вероятно, и сам это чувствовал, ибо вводил новые песни в свой концертный репертуар экономно, небольшими, строго отмеренными дозами. Иные из этих новых песен пользовались бесспорным и большим успехом — такие, например, как «Аленушка» (слова П. Шубина), «Доченьки». Но, положа руку на сердце, я должен сказать, что в них сквозила порой слащавость, в принципе Александру Вертинскому несвойственная. Зато некоторые старые, казалось бы, вовсе не созвучные времени и утратившие былую актуальность песни,— такие, например, как «В степи молдаванской», или «Сумасшедший шарманщик», или «Прощальный ужин», или «Бал Господен»,— поражали законченностью формы, стройностью всего их развития — музыкального, интонационного, пластического, наконец, мимического. Они воспринимались как безукоризненные и независимые уже от времени театральные и музыкальные миниатюры, пусть скромные, но сделанные прочно. Эта их прочность сохраняется и поныне, хотя сейчас нам остался в наследство от Вертинского только его записанный голос, и теперь мы уже не видим артиста, только слышим его.

Думаю, что наслаждение, которое мы при этом испытываем, почувствуют и слушатели, ни разу не видевшие Вертинского на эстраде. Однако память не подскажет им, как она подсказывает нам, его движения — то резкие и отрывистые, то плавные, элегичные. В их сознании не возникнет образ Вертинского, каким его запомнили те, кто его видел,— образ, являвший собой уникальное воплощение артистичности, так сказать, эссенцию артистизма. Разглядывая фотографии, запечатлевшие лицо певца, некоторые его излюбленные — или случайно схваченные объективом — позы, современные слушатели не смогут представить себе, как мгновенно менялось это лицо: только что был перед нами хмурый и гордый мужчина, который знает «вообще все про рестораны и любовников» (замечание того же меткого М. Иофьева), а вот уже хрупкая полудевочка-балерина, вступив-

---

[1] *Иофьев М.* Там же. С. 207.

шая в неравную и отчаянную борьбу с самой королевой; только что человек горестно смеялся над собой, но вот он торжествует победу над собственной приниженностью, духовно выпрямляется... Все это богатство внезапных перемен ушло, утрачено, как уходит всегда неповторимая индивидуальность любого мастера сцены или эстрады. И все-таки искусство Вертинского живет и будет жить, сохраненное в модуляциях голоса — насмешливого или надменного, капризного или холодного, скользящего легко и плавно или вдруг переходящего на скандированный речитатив, нежного или щемяще-грустного, саркастического или горделивого, намеренно тусклого, неокрашенного или простодушно-веселого, бравого, удалого, но всегда блестяще отшлифованного, выверенного в каждой интонации.

Мастерство, доведенное до степени высокой поэтичности фразировки, до легкости — почти неправдоподобной — в самых рискованных контрастах и переходах,— вот богатство, которое сохранилось и которое перейдет к следующим поколениям, как итог долгой, трудной, скитальческой и все-таки, в последнем счете, не только счастливо закончившейся, но и просто счастливой, удачливой жизни артиста, сумевшего полностью выразить в искусстве свою уникальную, неповторимую индивидуальность и — всю свою судьбу.

К. Рудницкий

Содержание

От составителя 6

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ..

Детство 12
Юность в Киеве 52
Юность в Москве 62
Первые успехи 89
Прощания с родиной 110
Эмиграция началась 122
В Румынии 138
Польша 163
Германия 172
Франция 185
Палестина 231
Америка 239
Китай 268
Эпилог 271

СТИХИ И ПЕСНИ

Минуточка 276
Я сегодня смеюсь над собой 277
Сероглазочка 277
Безноженька 278
Jámais 279
Маленький креольчик 279
Лиловый негр 279
Ваши пальцы 280
За кулисами 280
Панихида хрустальная 281
Дым без огня 282
Аллилуйя 282

То, что я должен сказать 283
О шести зеркалах 283
Бал Господен 284
Пей, моя девочка 285
Пес Дуглас 286
Девочка с капризами 286
Все, что осталось 287
Трефовый король 288
Пани Ирена 289
Принцесса Мален 289
Джиоконда 290
Венок 291
Баллада о седой госпоже 292
«Я Вами восхищен. Я к Вам душой тянусь...» 293
Злые духи 294
В степи молдаванской 295
В синем и далеком океане 296
Концерт Сарасате 296
Испано-Сюиза 297
Ракель Меллер 298
Ты успокой меня... 299
Сумасшедший шарманщик 300
Песенка о моей жене 301
Мадам, уже падают листья... 302
Полукровка 303
Танго «Магнолия» 304
Дни бегут 305
Piccolo Bambino 306
Танцовщица 307
Femme raffinee 308
О моей собаке 309
Кино-кумир 310
Рождество 310
Джимми 311
Палестинское танго 312
Ирине Строцци 312
Оловянное сердце 313
Любовь 314
Любовнице 314
Личная песенка 315
Желтый ангел 316
«Вы мой пленник и гость, светло-серая птица...» 317
Актрисе 318
Малиновка 318

Гуд бай 319
О нас и о родине 320
Дансинг-гёрл 321
Прощание 323
Китай 324
Шанхай 324
Ненужное письмо 326
Бар-девочка 326
Прощальный ужин 327
Убившей любовь 328
Музыканты лета 329
«Есть слова, как монеты истертые...» 330
«Какой ценой Вы победили...» 330
«Каждый тонет — как желает...» 331
«В этой жизни ничего не водится...» 332
Без женщин 332
Обезьянка Чарли 333
Спасение 334
«Хорошо в этой маленькой даче...» 336
Осень 337
Твоя любовь 337
«Ты сказала, что Смерть носит...» 338
Старомодный романс 339
Наше горе 340
В снегах России 341
Иная песня 342
Китеж 343
Салют 344
Доченьки 344
Маленькие актрисы 345
Перед ликом Родины 346
Птицы певчие 347
Детский городок 348
Мыши 349
Отчизна 350
«У моих дочурок много есть игрушек...» 350
Дочери Марианне (Биби) 351
Жене Лиле 351
«Я всегда был за тех, кому горше и хуже...» 352
Ворчливая песенка 353
Киев — родина нежная 354
«Хорошо в этой «собственной» даче...» 355
«По золотым степям, по голубым дорогам...» 355
«Как жаль, что с годами уходит...» 356

«Любовью болеют все на свете...» 356
«Сквозь чащу пошлости, дрожа от отвращенья...» 357
«И в хаосе этого страшного мира...» 357

РАССКАЗЫ, ЗАРИСОВКИ, РАЗМЫШЛЕНИЯ

Рассказы, зарисовки 360

В Киеве 360
Концерт в городишке Килия 362
Мсье Дайблер 363
О Ю. Морфесси 368
История с собакой 371
Обед с Чаплином 377
Черная лихорадка 378
ХЛАМ 381
Шанхай, 1941-й год 383
«Наши достижения» 385
Моим заграничным друзьям 390
«Великий воин Албании Скандербег» 393
О спектакле «На дне» в Ленинградском театре драмы им. А. С. Пушкина 395
О кинокартине режиссера Кристиана-Жака «Кармен» (Франция) 397
Мои дочери 397

Размышления 400

ПИСЬМА

Письма 405

Из интервью и бесед 524

К.Рудницкий. Мастерство Вертинского 554

Вертинский А. Н.

В 31 Дорогой длинною.../Сост. и вступ. ст. Ю. Томашевского; Послесл. К. Рудницкого; Оформ. Г. Саукова. М.: Правда, 1990.— 576 с., ил.

ISBN 5 — 253 — 00063 — 1

В настоящее издание включены воспоминания, стихи и песни, рассказы и письма Александра Николаевича Вертинского (1889—1957)— поэта, композитора, артиста, человека незаурядной судьбы.

Мемуары дают читателю вполне реальное представление о детстве, юности, первых шагах в искусстве А.Вертинского, о горести эмигрантских скитаний, о его тяге к отечеству, о возвращении на «милую навеки» родину после двадцатитрехлетнего странствия по свету.

В сборнике публикуются письма А.Вертинского, адресованные разным лицам, жене, дочерям. Вернувшись на родину в 1943 году, он впоследствии мучительно прозревал в созданной Сталиным удушливой атмосфере. Это была тихая невидимая миру трагедия, о которой можно узнать из его писем. Только искренняя любовь публики была тем источником, который поддерживал в нем жизненные силы.

Такова эта одновременно и счастливая и трагическая судьба.

В $\frac{4702010200 — 2244}{080(02) — 90}$ 2244 — 90 **84 Р 7**

Литературно-художественное издание

ВЕРТИНСКИЙ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ...

Составитель

Томашевский
Юрий Владимирович

Редактор
Н. А. Преснова

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
В. С. Пашкова

ИБ 2244

Сдано в набор 05.12.89. Подписано к печати 19.07.90.
Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Юниверс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 33,71. Усл. кр.-отт. 37,75. Уч.-изд. л. 35,84.
Тираж 200 000 экз. (1-й завод: 1—140 000).
Заказ № 404. Цена 6 р. 20 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.